

## ВМЕСТО ПРЕДИСЛОВИЯ

---

### «НАЦИОНАЛЬНЫЙ ХАРАКТЕР»: АРХЕОЛОГИЯ ИДЕИ

Предлагаемый вниманию читателя выпуск «Диалога со временем» основывается на материалах научной конференции «Национальный / социальный характер: археология идеи и современное наследство», организованной Российским обществом интеллектуальной истории совместно с Нижегородским государственным университетом им. Н. И. Лобачевского в сентябре 2010 года.

Уже само название конференции было своеобразным тестом для ее потенциальных участников, и организаторы вполне отдавали себе в этом отчет. Словосочетание «археология идеи» отсылало к известным трудам М. Фуко и задавало определенную норму понимания того, что стояло в названии на первом месте: национальный (или социальный) «характер» предлагалось рассмотреть не в сущностном плане, а как познавательный конструкт, свойственный той или иной «дискурсивной формации». Например, в анализе «литературы путешествий» предлагалось обратить внимание скорее не на те черты, которые подмечает автор травелога у чужаков, воспроизводя те или иные формы стереотипного этноцентризма, а на то какими описательными средствами он пользуется и откуда их черпает, какие социальные, гносеологические, языковые, психологические механизмы приходят при этом в движение.

Методологическое обновление социально-гуманитарного знания и поиски новой идентичности в России в последние десятилетия имели оборотной стороной (во всяком случае, у части авторов) осознанный или бессознательный возврат к натурализму и фундаментализму прошлого. Своего рода «романтическая реакция», тоска по надежному, устойчивому, предсказуемому усиливается в моменты социальной и мировоззренческой неопределенности. И «национальный характер» (как вариант – более расплывчатый «менталитет», понятый как набор «извечных» предпочтений, ценностей, ориентиров этнической общности) занял довольно прочные позиции в публицистике, в популярной и учебной литературе. Тенденция к овеществлению понятий, латентная для советского обществоведения, вышла на поверхность в постсоветское время<sup>1</sup>. Отсылки к некоей «духовной реальности», в сниженном виде – к психоло-

---

<sup>1</sup> Шнирельман. 2011. С. 328–360.

гии россиян (при всей бедности методологической оснастки и трудностях локализации предмета обсуждения) компенсировали фрустрации затянувшегося переходного периода, когда его конечная цель становилась сомнительной или смутной. И даже в аудитории профессиональных историков, собравшихся на конференцию в Нижнем Новгороде, *существование* «национального характера» еще вызывало споры. Такую ситуацию можно было бы рассматривать и как подтверждение гипотезы о метафорическом характере нашего знания, в частности, о господстве антропоморфной метафоры в «классической историографии»<sup>2</sup>.

Между тем, познавательный потенциал категории «национальный характер» оказался под вопросом уже в середине XX века<sup>3</sup>, когда его пытались нарастить с помощью методов социальной и кросскультурной психологии и антропологии. Уже тогда этот термин воспринимался скорее как конвенциональное иносказание и нередко замещался другими. Во всяком случае, представление о постоянном и неизменном в своей основе наборе культурных и психологических черт ушло в прошлое, а сама реальность, к которой отсылала метафора «характера», как подсказывал исследовательский опыт, требовала контекстуального рассмотрения, а также изощренной техники измерений и интерпретаций<sup>4</sup>.

Способность историков внести свою лепту в эту работу предопределена следующим: «Задолго до того, как та или иная социальная проблема становится предметом научного исследования, она становится и осмысливается людьми на уровне, так сказать, обыденного сознания. Представления, мнения, образы, существующие в обыденном сознании или по-своему обобщенные средствами искусства, конечно, не отличаются научной строгостью, и при ближайшем рассмотрении многие из них оказываются предрассудками. Многие, но не все»<sup>5</sup>. Быть может, эта область обыденного сознания и является *особой* предметной «территорией» для историков? Эта сумеречная зона практического и вместе с тем мифологического знания, по убеждению некоторых, – одно из главных препятствий для превращения истории в подлинную «науку», даже если использовать в определении более мягкий гуманитарный стандарт.

Во-первых, историк в отличие от антрополога или социолога, также изучающих групповое обыденное сознание, не имеет возможности «по-

---

<sup>2</sup> Вжосек. 2009.

<sup>3</sup> Первые сомнения на сей счет можно встретить и у некоторых романтиков: Хэзлитт. 2010. С. 335–349.

<sup>4</sup> Кон. 1971. Ср., однако: Лурье. 1994. Гл. 1.

<sup>5</sup> В переработанной версии статьи автор сохранил этот пассаж: Кон. 1999. С. 307.

левого исследования» и «включенного наблюдения», его знания об объектах всегда опосредованы. С другой стороны, он не может инкриминировать людям прошлого те же модели мышления, что были изучены его собратьями гуманитариями, которые, кстати, несвободны от методологических сомнений относительно своей работы. Категории обыденного сознания ушедших эпох труднее подвергнуть научному острашению, и это одна из причин того, что язык историка до сих пор сохраняет родовую связь с речевой стихией, сопротивляясь инструментализации. Но это всего лишь аргумент в пользу более внимательного отношения к языку и обновленного союза истории и филологии.

Во-вторых, парадоксальным образом обыденное сознание, именно по причине своей распространенности и вездесущности, оказывается трудно уловимым и выявляемым. Оно скорее задает рамки мышления и познания, нежели является таковым. Власть обыденного проявляется в момент создания репрезентаций. И в силу их известного разнообразия можно судить об узости этих врат. Хотя наука, как известно, начинается за порогом очевидного, вряд ли она может торжествовать полную победу над «предрасудками» или уверенно надеяться на нее в будущем. И это общее теперь уже замечание вовсе не отрицает прогресса научного знания или силы научной рефлексии. Но если внимание внутридисциплинарной истории науки чаще всего направлено на магистральный прирост знания – открытия, изобретения и ключевые теории, – то интерес интеллектуальной истории нередко прикован к маргинальным и теневым зонам производства этого знания, где диффузия обыденного мышления, социальные и культурные преломления познавательного процесса предстают в обнаженном виде.

Создание репрезентаций – результат многих выборов, выявляемых с помощью перекрестных контекстов (синхронных и диахронных), а также перемасштабирования и реструктуризации познавательного поля. Вербальная репрезентация или зрительный образ – это акт, обусловленный иными социальными актами. Поэтому анализ коммуникативных процедур и протоколов (их нарушения), семантических сдвигов и визуальных эффектов, понятий и символов является не только вопросом исследовательской дистанции по отношению к предрасудкам и стереотипам (обыденному сознанию) или простого признания «инаковости» прошлого. Это еще и способ понимания многочисленных и многосложных социальных и культурных трансформаций, в конечном счете – современного мира и современного сознания.

**БИБЛИОГРАФИЯ**

- Вжосек В.* Классическая историография как носитель национальной (националистической) идеи // Диалог со временем. 2009. Вып. 30. С. 5–13.
- Кон И. С.* К проблеме национального характера // История и психологии / Под ред. Б. Ф. Поршнева. М. Наука, 1971. С. 122–158.
- Кон И. С.* Социологическая психология. М.; Воронеж: Московский психологический институт, Изд-во НПО «Модек», 1999.
- Лурье С. В.* Метаморфозы традиционного сознания (Опыт разработки теоретических основ этнопсихологии и их применения к анализу исторического и этнографического материала). СПб.: Тип. им. Котлякова, 1994.
- Хэзлитт У.* Застольные беседы. М.: Ладомир–Наука, 2010.
- Шнирельман В. А.* «Порог толерантности». Идеология и практика нового расизма. Т. 1. М.: Новое литературное обозрение, 2011.

*М. В. Белов*

# НАРОДНЫЙ ДУХ, ПРАВ, ХАРАКТЕР

---

Л. П. РЕПИНА

## «НАЦИОНАЛЬНЫЙ ХАРАКТЕР» И «ОБРАЗ ДРУГОГО»\*

---

В статье анализируются концепты «национальный характер» и «образ Другого». Особое внимание уделяется проблемам изучения межкультурного взаимодействия, а также этнической и национальной идентичности. Автор подчеркивает, что историческое содержание оппозиций «мы – они», «свой – чужой» имеет фундаментальное значение для раскрытия специфики формирующей их культуры и ее самосознания.

**Ключевые слова:** национальный характер, идентичность, диалог культур.

---

Проблемы идентичности в конце XX века оказались в самом центре общественного внимания. «Национализм, этноцентризм, расизм – призраки, казалось бы, давно исторгнутые из европейской души – вернулись с возросшей силой после полувекowego сна... И как результат – глубокий кризис идентичности...»<sup>1</sup>. Одни трактовки этнической идентичности во главу угла ставят общность по особой этнической культуре, языку, территории расселения, другие – этническое самосознание. Под этнической общностью понимается «группа людей, члены которой имеют одно или несколько общих названий и общие элементы культуры, обладают мифом (версией) об общем происхождении и тем самым обладают как бы общей исторической памятью, могут ассоциировать себя с особой географической территорией, а также демонстрировать чувство групповой солидарности»<sup>2</sup>. Что касается национальной общности, то, согласно одному из наиболее адекватных ее определений, «нация существует, когда значительное число людей в сообществе считают, что они образуют нацию, или же ведут себя так, как если бы они ее образовывали»<sup>3</sup>.

Чувство общности опирается не только на мифы коллективной памяти, оно также базируется на категоризации/стереотипизации образов «Других» в обыденном сознании, в котором бытует представление о том, что народы, как индивиды, обладают набором устойчивых качеств. В этой связи некоторые исследователи пытаются выделить черты, составляющие в своей совокупности структуру национального характера,

---

\* Исследование выполнено при финансовой поддержке РГНФ, в рамках проекта № 10–01–00403а.

<sup>1</sup> Geary. 2003. P. 3.

<sup>2</sup> Тишков. 2001. С. 230.

<sup>3</sup> См.: Seton-Watson. 1977. P. 5.

описать психологический портрет того или иного народа и сравнить типические черты разных национальных характеров<sup>4</sup>, хотя в последнее время в научной литературе это понятие используется все реже.

В исследовании межкультурного взаимодействия особое место занимает история знаковых для этой темы концептов, а также их современная интерпретация и деконструкция. Сегодня в междисциплинарном пространстве гуманитарного знания концепты «национальный характер», «национальный дух» или «национальное чувство» рассматриваются как социокультурные конструкты, имеющие вполне определенные пространственно-временные координаты и политико-идеологические импликации (включая актуальный в современном мире этнонационализм). Эти конструкты и их содержательно-функциональная историческая динамика располагают значительным когнитивным потенциалом не только для анализа дискурса «стихийного» этноцентризма и «наивной» компаративистики в имагологических исследованиях, но и в актуальных перспективах исторического изучения проблематики национализма и нациестроительства<sup>5</sup>, а также исторической памяти и коллективных идентичностей. Не случайно понятие «национальный характер», фиксирующее эмпирически наблюдаемые различия, оценивается как более поддающийся операциональному определению синоним научного термина «психический облик» или «психический склад» нации<sup>6</sup>.

В большинстве определений понятия «национальный характер» обычно акцентируется его позитивно-содержательная основа: говорится о «совокупности определенных психологических черт, характерных для всех или большинства людей данной нации»; о «совокупности наиболее устойчивых, характерных для данной национальной общности особенностей восприятия окружающего мира и форм реакции на него»; о «совокупности наиболее устойчивых психологических качеств, сформированных у представителей нации в определенных природных, исторических, экономических и социально-культурных условиях ее развития»; о «совокупности внешних проявлений национального менталитета, наблюдаемых свойств представителей соответствующей общности, как

---

<sup>4</sup> В изучении национального характера обычно выделяют этнографический (описание быта, нравов, образа жизни народа), психологический, лингвистический (сравнительный анализ языка, грамматических структур), культурно-исторический (анализ картин мира, традиций, способов мышления и поведения) подходы.

<sup>5</sup> Помимо постоянно цитируемых работ по этой тематике (*Андерсон*. 2001; *Хобсбаум*. 1998; *Геллнер*. 1991; и др.), стоит отметить и менее известные, например: *Eriksen*. 1993; *Hutchinson*. 1994; *Imagining Nations*. 1998; *Hechter*. 2000; *Smith*. 2000.

<sup>6</sup> *Андреева*. 1997. С. 165.

правило, в сравнении и по контрасту с другими национальными общностями»; о «совокупности устойчивых психических особенностей и культурных атрибутов нации, которые зависят от всеобщей жизнедеятельности и условий жизни и проявляются в поступках», о совокупности «однотипных для людей одной и той же культуры реакций на привычные ситуации в форме чувств и состояний» и т.п. Все эти не отличающиеся точностью, новизной и разнообразием этнопсихологические дефиниции восходят к фроммовскому определению термина «социальный характер» как «совокупности черт характера, которая присутствует у большинства членов данной социальной группы и возникла в результате общих для них переживаний и общего образа жизни»<sup>7</sup>, т.е. благодаря общности социально-исторического опыта и культурного развития.

Не затрагивая здесь вопроса о возможности монополии какой-либо нации на ту или иную качественную характеристику (или даже на некоторую их констелляцию), а также о соотношении национального характера и характера отдельных индивидов<sup>8</sup>, принадлежащих к данной группе, можно констатировать, что в научной литературе, как и в обыденном сознании, нации (как коллективной личности) приписывается набор устойчивых качеств-атрибутов. При этом эмоциональный, поведенческий, ценностный и когнитивный уровни национальных характерологий, как правило, «микшируются». Безусловно, эссенциалистские представления о «национальном характере» несостоятельны. Введение этого понятия в концептуальный аппарат науки подразумевает критический анализ представлений обыденного («вненаучного») сознания. И в этом интеллектуальном контексте речь следует вести как об *историчности* национальных (этнопсихологических) стереотипов, так и об исторической динамике самого концепта «национальный характер».

В мировой историографии репрезентации того или иного национального характера (как с позиций «Другого» в записках дипломатов, путешественников, туристов, журналистов, «гастарбайтеров» разных эпох и др. иностранцев, так и в моделях «самоописания») рассматриваются как неотъемлемая составляющая проблематики национальной идентичности<sup>9</sup>. Так, например, когда в этом плане были подвергнуты детальному анализу идеи убежденных сторонников и радикальных критиков Британской империи в период ее наивысшей экспансии, то было

---

<sup>7</sup> Фромм. 1987. С. 230.

<sup>8</sup> См., в частности: *Duijker, Frijda*. 1960.

<sup>9</sup> См., например: *Delanty*. 1995; *Нойманн*. 2004; и мн. др.

установлено, что и те, и другие использовали язык «национального характера» для оправдания имперских устремлений. Одни утверждали, что национальный характер является решающим фактором превращения Британии в имперскую державу, и что ответственность за управление империей укрепляет нацию, другие считали имперское господство деструктивным для национального характера<sup>10</sup>.

Еще на рубеже 1960–70-х гг. И. С. Кон подчеркивал, что термин «национальный характер», впервые появившийся на уровне обыденного сознания в литературе о путешествиях, «не аналитический, а описательный» и, будучи призван «выразить специфику образа жизни того или иного народа», предполагает *сравнение* и фиксацию *различий*<sup>11</sup>. Оригинальность его подхода состояла в понимании *историчности* национальной психологии, в том, «что те черты, которые воспринимаются как специфические особенности национального характера, определяются не природными способностями, а различием ценностных ориентаций, сформировавшихся вследствие определенных исторических условий и культурных влияний, как производные от истории и изменяющиеся вместе с нею <...> и в истории народа каждый этап исторического развития оставляет свои неизгладимые следы. Чем длиннее и сложнее путь, пройденный народом, чем больше качественно различных фаз он содержит, тем сложнее и противоречивее будет его национальный характер»<sup>12</sup>. Сравнение и оценка незримо присутствует в любых этнических и национальных стереотипах, это различие оценок обусловлено различиями в перспективе, в историческом опыте, включая и опыт общения с представителями соответствующей этнической группы. Будучи особыми социальными группами, нации и народности складываются, а затем существуют в течение длительных исторических периодов, вырабатывая уникальный набор механизмов и моделей адаптации, которые призваны ориентировать их поведение и деятельность в контексте тех или иных обстоятельств. Такого рода группа определяется по преимуществу особенностями социально-исторического опыта, его культурной памятью.

В конце XX – начале XXI в. расширяется и концептуально насыщается междисциплинарное исследовательское пространство исторической имагологии, опирающейся на конкретно-исторический анализ коллективных представлений народов друг о друге, этнических, национальных, культурных авто- и гетеростереотипов, путей их формирования, способов функционирования и процессов трансформации в контек-

<sup>10</sup> Langford. 2000; Romani. 2002; Mandler. 2006.

<sup>11</sup> См.: Кон. 1999. С. 312.

<sup>12</sup> Там же. С. 318.



сте отношений «мы – они», «свой – чужой». Историческая имагология, освоив историко-антропологический, социально-психологический и культурологический подходы, накопила значительный объем эмпирических исследований. В центре внимания оказались сложные процессы складывания этнических представлений и формирования национальной идентичности, создание устойчивого образа «своего», что неизбежно предполагает наличие противоположного образа «чужого», от которого и происходит своего рода «отталкивание». Для исследований исторически сложившихся стереотипных представлений о чужом национальном характере используются разножанровые тексты, позволяющие раскрыть языковую картину мира, произведения художественной литературы<sup>13</sup>.

Утверждаются ключевые методологические принципы имагологической исследовательской программы: 1) *необходимость учета психологической составляющей процесса формирования этнических представлений как смеси правды и фантазии, трезвого наблюдения и грубых заблуждений* – предубеждений в отношении «Других» и завышенных самооценок – в контексте различных процессов, происходящих в различных сферах деятельности и внешних взаимосвязях социума в конкретные моменты его истории; 2) *принцип отражения в образе другого народа сущностных черт собственной коллективной психологии*, проецирование базовых идей, ценностей и представлений о самих себе, объективизация собственных пороков и формирование идентичности через отрицание негативных черт, приписываемых «Другим» (иногда, напротив, через «наделение» последних утраченными «Своими» добродетелями). Именно поэтому изучение индивидуальных и коллективных представлений о других народах (оставляя в стороне вопрос об их соответствии реальности или ее искажении) открывает путь к проникновению в духовную жизнь того общества, в котором эти представления складываются и функционируют. Менее успешно реализуется *принцип сочетания синхронического и диахронического подходов в историческом анализе коллективных представлений с императивом выявления происходящих в них изменений*, а также *дифференцированный подход к взаимоотражениям народов в разных социальных группах*.

В отечественной историографии новый импульс имагологическим исследованиям был задан в 1990-е годы развитием исторической антропологии и истории ментальностей с ее обобщенным коллективным об-

---

<sup>13</sup> Блестящие образцы «донаучных» национальных характерологий созданы в классической художественной и исторической литературе.

разом «культурно иного». Важную роль в этом сыграли работы Л. З. Копелева. Важнейшие соображения по поводу изучения коллективных представлений, высказанные им в статье «Чужие», касались именно *историчности и изменчивости* последних: «Мы знаем, что люди как духовные и социальные существа во многих отношениях изменяются от эпохи к эпохе и даже от поколения к поколению. Меняются их представления о большом мире и их ближайшем окружении, меняются их отношения друг с другом и общества, к которым они принадлежат (народы, классы, конфессии и т. п.); меняются их обычаи, потребности и поведение, существенные и несущественные особенности их жизни и их сознания; приходят и уходят идеи и идеалы <...> Для оценки событий и проблем каждой эпохи и каждого общества необходимы особые критерии, особые мерилы. Но <...> это не должно мешать исследованию общих коллективных представлений людей различных поколений и различных наций, представлений *либо унаследованных, либо вновь воскресших, устойчивых или изменчивых* (курсив мой – Л. Р.)»<sup>14</sup>.

На рубеже XX–XXI вв. в России появился значительный корпус работ, посвященных взаимовосприятию отдельных народов<sup>15</sup>, хотя в них нередко не хватает глубины темпоральной перспективы, недостаточно, на мой взгляд, разработан и вопрос о том, от чего зависят и как происходят изменения этого образа в историческом времени, отсутствует социально-групповая дифференциация тех или иных образов, не подвергается рефлексии противоречивость отдельных элементов этих образов и роль коллективных стереотипов, выступающих как своеобразные фильтры даже в ситуациях личного наблюдения и общения, недооценивается возможность любой тенденциозной интерпретации в зависимости от позиции автора изучаемого текста и ожиданий аудитории и т. д.

В этих работах речь идет не только о сложившихся в общественном сознании традиционных представлениях, усваиваемых индивидами, принадлежащими к данной культурной среде, но и о других источниках формирования этих представлений: «Образ “чужого” складывается задолго до реальной встречи с этим “чужим” в процессе соединения архетипических представлений с впечатлениями повседневной жизни <...>

---

<sup>14</sup> Копелев. 1994. С. 10–11. Аналогичная идея изменчивости границ между «своим» и «чужим» в процессе межкультурного общения нашла отражение в редакционной статье: «Границы между “своим” и “чужим” текучи, они изменяются как в пределах каждой эпохи, так и – тем более – в историческом процессе». Там же. С. 5.

<sup>15</sup> Артемова. 1990; 2000; Оболенская. 1991; 2000; Шепетов. 1995; Россия и Европа... 1996; Россия и внешний мир... 1997; Образ России... 1998; Чернышева. 2000; Поляки и русские... 2000; Россия – Польша... 2002; Копелевские чтения... 2002; Многоликая Финляндия... 2004; Россия и Британия... 2006; и мн. др.

Затем эти впечатления, чаще всего непреодолимые, дополняются и развиваются сведениями, полученными из книг и от других людей». «Встреча с другим», собственный опыт наблюдения и общения считается проверкой этих представлений, но при этом «чаще всего человек считает действительным и верным именно то, что он предполагал заранее и что нашло подтверждение при встрече с реальностью»<sup>16</sup>. Этнический стереотип формирует психологическую установку на эмоционально-ценностное (чаще – негативное) восприятие «Чужого» и задает соответствующий алгоритм отбора и интерпретации фактов взаимодействия.

Эта линейная модель оставляет, однако, нерешенным целый ряд вопросов. Например, каким образом, с учетом «непреодолимой» устойчивости архетипов сознания, с одной стороны, образ «чужого» «легко, иногда за одну только ночь, превращается в образ “врага”»<sup>17</sup>, а с другой – как может происходить обратный процесс, и в целом – какова логика «общественных и личностных отношений, при которых система противостояния или сотрудничества приобретает подвижность». Ведь «сама эта система отношений и связанные с ней морально-этические нормы, правила поведения резко меняют свои знаки в ходе тяжелых, опасных политических игр, постоянной и ожесточенной борьбы за власть, территорию, выгоду»<sup>18</sup>. Чтобы «установить, из каких реальных черт возник этот образ, насколько он соответствовал этим реальным чертам, до какой степени и как долго оставались релевантными возникшие представления и оценки, или же они остаются таковыми и поныне»<sup>19</sup>, необходимо реконструировать всесторонне и в мельчайших деталях историю этого образа, а точнее – историю коллективных представлений людей разных поколений, «представлений либо унаследованных, либо вновь воскресших, устойчивых или изменчивых», на протяжении столетий, и вообще – в максимально длительной временной перспективе.

Речь идет именно об *историческом* изучении образов как части культурного наследия, включая набор латентных базовых этнических стереотипов, которые никуда не исчезают, а продолжают свое существование подспудно в практически неизменном виде, готовые «воскреснуть» в моменты социокультурной конфронтации<sup>20</sup>. Однако более под-

<sup>16</sup> Оболенская. 2000. С. 9.

<sup>17</sup> Цит. по: Драбкин. 2002. С. 81.

<sup>18</sup> Сванидзе. 2003. С. 185.

<sup>19</sup> Копелев. 2002. С. 100.

<sup>20</sup> Их живучесть усиливается тем, что люди склонны воспринимать сигналы, которые поддерживают уже наличествующий стереотип. *Fält*. 1995. P. 99.

вижные образы (чаще – их относительный вес) могут изменяться под воздействием кумулятивного эффекта повторяющихся однонаправленных драматических событий. В центр исследования должны быть поставлены следующие вопросы: каков сам образ, как он сформировался, почему он таков, каким целям он служит, какие изменения он претерпел, и что все это говорит о его создателях<sup>21</sup>. Для того чтобы уловить социокультурные изменения, происходящие в режиме *longue durée*, нужно расширить хронологические рамки типового конкретно-исторического исследования и выйти за пределы ставшего привычным круга источников. Богатый материал по формированию представлений о «другом» дают травелоги, или обширная «литература путешествий», получившая особую популярность в XVIII–XIX вв. Характерная черта этих текстов – то, что описание наблюдаемого единичного случая подается как *типичное* для данной культуры. Иную перспективу анализа открывают свидетельства, фиксирующие результаты постоянных контактов, тесного и длительного взаимодействия и изменения в самом характере кросс-культурного диалога, или, напротив, изначальноную внутреннюю противоречивость и практическую неподвижность образов.

Результаты конкретно-исторического анализа путей формирования, способов функционирования и процессов трансформации образов-представлений «я» и «другой», «мы» и «они», «свои» и «чужие», представленные в многочисленных публикациях, продемонстрировали условия и механизмы формирования образов «Другого», которые, будучи усвоены, ориентируют мышление индивида и определяют его поведение в конкретно-исторической ситуации в самых разнообразных ситуациях кросс-культурного диалога. То, что древнейшая система социальной категоризации – оппозиция «мы – они» («свои – чужие») является культурной универсалией, присуща самосознанию любого типа общности, играет решающую роль в ее консолидации, обладает мощным мобилизующим потенциалом и имеет фундаментальное значение для раскрытия специфики любой культуры, никем не оспаривается<sup>22</sup>. Но в конфигурацию и соотношение «Своего», «Иного», «Чужого» новые исследования вносят заметные уточнения. Если «Чужой» находится как бы за внешней границей круга интересов сообщества, то «Другой» может быть фактически своим, но обладание определенными качествами или знаниями делает его культурно «Иным», социально «Чужим», или

---

<sup>21</sup> *Fält*. 1997. P. 61-67.

<sup>22</sup> «Ни история, ни этнография не знают <...> “мы”, изолированных от других, и так или иначе не противопоставляющих себя другим». *Поринев*. 1979. С. 111.

маргиналом. И, в то же время, «Другой» по национальной принадлежности может быть «Своим» по культурно-нравственным приоритетам.

Оппозиция «свой–чужие» складывается на разных уровнях. В обыденной жизни она возникает на основе коммуникативных критериев, подразумевающих возможность установления общения (языка, внешности, одежды, манер поведения) и восприятия внешних форм другой культуры. Но более глубокие контакты непосредственно затрагивают присущие каждой культуре картину мира, ценности, мировоззренческие установки: «В условиях развитого межнационального обмена преобладает система дифференцированных оценок, когда одни черты собственной этнической группы и ее культуры оцениваются положительно, а другие – отрицательно... люди в принципе способны критически отнестись к своей национальной культуре и положительно оценить что-то чужое»<sup>23</sup>. Способность общества воспринимать и адаптировать к местным условиям экспортируемые нововведения, отвечающие современным потребностям, способствует его переходу к новому этапу развития.

На разных этапах исторического развития сложившиеся в коллективном сознании того или иного народа «образы других» выполняют различные функции. Но в определенных провоцирующих условиях могут возобновляться старые антагонизмы, актуализируя полузабытые образы, извлекая из «сундуков» коллективные стереотипы, уходящие корнями в далекую древность. Понимание механизма превращения «образа чужого» в «образ врага» только через изучение инструментов целенаправленного воздействия на массовое сознание чревато серьезным упрощением. Этот сложный процесс должен быть рассмотрен одновременно в широком историческом контексте взаимовосприятия стран и народов и в контексте конкретной исторической ситуации.

Навязывание собирательного конфронтационного «образа врага» пропагандистскими структурами разного уровня и в разных формах облегчается наличием в глубинах обыденного сознания укорененного негативного стереотипа, некогда возникшего на основе неадекватного восприятия внешнего мира и всплывающего на поверхность в благоприятных для этого и намеренно усугубляемых обстоятельствах. Под воздействием массивированной пропаганды сложившийся ранее позитивный или негативный образ может отойти в тень, но не исчезнуть. Сложную структуру, многослойность образов Другого, устойчивое бытование этноцентристских стереотипов, их подспудную сохранность, несмотря на

---

<sup>23</sup> *Кон.* 1999. С. 304-324.

изменения во взаимоотношениях стран и народов, их постоянную «мобилизационную готовность» отмечают многие исследователи. Справедливо подчеркивается, что часто даже в условиях массивной пропаганды и трансляции искусственно сконструированного ею образа врага (важно и указание на динамичность этого образа<sup>24</sup>) существуют разные каналы восприятия (личный опыт непосредственных контактов, опосредованная информация, носители исторической памяти и т.д.).

Подводя итоги, целесообразно напомнить, что историческое содержание бинарных оппозиций «я – другой», «мы – они», «свой – чужой», связанных с процессами конструирования идентичности, имеет фундаментальное значение для раскрытия специфики формирующей их культуры и ее самосознания. Однако, формирование данных понятий – это динамичный социальный процесс, обусловленный не только их взаимным соотношением, но характером самой эпохи, а точнее – конкретной исторической ситуацией и вектором ее развития. Есть время складывания стереотипов, их укоренения в культуре, и время их разрушения и формирования новых стереотипов взаимного восприятия.

#### БИБЛИОГРАФИЯ

- Андерсон Б.* Воображаемые сообщества. Размышления об истоках и распространении национализма. М.: Канон-пресс-Ц – Кучково поле, 2001.
- Андреева Г. М.* Социальная психология. М.: Наука, 1997.
- Артемова Е. Ю.* Культура и быт России последней трети XVIII века в записках французских путешественников. М., 1990.
- Артемова Е. Ю.* Культура России глазами посетивших ее французов. Последняя четверть XVIII века. М., 2000.
- Геллнер Э.* Нации и национализм. М.: Прогресс, 1991.
- Драбкин Я.* О Копелеве в жизни и творчестве // Лев Копелев и его «Вуппертальский проект» / Под ред. Я. С. Драбкина. М., 2002.
- Кон И. С.* Социологическая психология. Воронеж, 1999.
- Копелев Л. З.* Чужие // Одиссей. Человек в истории. 1993: Образ «Другого» в культуре. М., 1994.
- Копелев Л.* Образ «чужого» в истории и современности // Лев Копелев и его «Вуппертальский проект» / Под ред. Я. С. Драбкина. М., 2002.
- Копелевские чтения 2002: Россия и Германия: диалог культур. Липецк, 2002.
- Многоликая Финляндия. Образ Финляндии и финнов в России. Новгород, 2004.
- Нойманн И.* Использование «Другого». Образы Востока в формировании европейской идентичностей. М., 2004.
- Оболенская С. В.* Образ немца в русской народной культуре XVIII – XIX вв. // Одиссей. Человек в истории. 1991. М., 1991.
- Оболенская С. В.* Германия и немцы глазами русских (XIX в.). М., 2000.
- Образ России: Россия и русские в восприятии Запада и Востока. СПб., 1998.

---

<sup>24</sup> *Сенявский, Сенявская.* 2006. С. 62-64, 67.

- Поляки и русские глазами друг друга / Отв. ред. В. А. Хорев. М., 2000.
- Поршнев Б. Ф.* Социальная психология и история. М., 1979.
- Россия и Британия. Вып. 4. Связи и взаимные представления. XIX–XX вв. М., 2006.
- Россия и внешний мир: Диалог культур. М., 1997.
- Россия и Европа в XIX – XX вв.: проблемы взаимовосприятия народов, социумов и культур. М., 1996.
- Россия – Польша. Образы и стереотипы в литературе и культуре / Отв. ред. В. А. Хорев. М., 2002.
- Сванидзе А. А.* «Свой» и «чужой» в процессе общественных игр // От Средних веков к Возрождению. СПб., 2003.
- Сенявский А. С., Сенявская Е. С.* Историческая имагология и проблема формирования «образа врага» (на материалах российской истории XX в.) // Вестник Российского университета дружбы народов. Серия: История России. 2006. № 2 (6).
- Тишков В. А.* Этнология и политика. М., 2001.
- Фромм Э.* Бегство от свободы М., 1987.
- Хобсбаум Э.* Нации и национализм после 1780 года. СПб.: Алетейя, 1998.
- Чернышева О. В.* Шведский характер в русском восприятии. М., 2000.
- Шелетов К. П.* Немцы глазами русских. М., 1995.
- Delanty G.* Inventing Europe: Idea, Identity, Reality. N.Y., 1995.
- Duijker H. C. J., Frijda N. H.* National Character and National Stereotypes: Confluence. Amsterdam: North-Holl Publ. Co., 1960.
- Eriksen T. H.* Ethnicity and Nationalism. Anthropological Perspective. L.: Pluto Press, 1993.
- Fält O. K.* The Historical Study of Mental Images as a Form of Research into Cultural Confrontation // Comparative Civilizations Review. 1995. No. 32.
- Fält O. K.* Global History, Cultural Encounters and Images // Between National Histories and Global History / Ed. by S. Tønnesson et al. Helsingfors, 1997.
- Geary, Patrick J.* The Myth of Nations. The Medieval Origins of Europe. Princeton; Oxford, 2003.
- Hechter M.* Containing Nationalism. Oxford: O.U.P., 2000.
- Hutchinson J.* Modern Nationalism. L.: Fontana Press, 1994.
- Imagining Nations / Ed. by G. Cubitt. Manchester; N.Y.: M.U.P., 1998.
- Langford, Paul.* Englishness Identified: Manners and Character, 1650–1850. Oxford: O.U.P., 2000.
- Mandler, Peter.* The English National Character: the History of an Idea from Edmund Burke to Tony Blair. New Haven, 2006.
- Romani, Roberto.* National Character and Public Spirit in Britain and France, 1750–1914. Cambridge: C.U.P., 2002.
- Seton-Watson, Hugh.* Nations and States: An enquiry into the origins of nations and the politics of nationalism. Boulder, 1977.
- Smith A. D.* The Nation in History. Historiographical Debates about Ethnicity and Nationalism. Hanover: Polity, 2000.
- Репина Лорина Петровна**, член-корреспондент РАН, доктор исторических наук, профессор, заместитель директора Института всеобщей истории РАН; e-mail: lorinarepina@yandex.ru

*Н. И. ДЕВЯТАЙКИНА*

## **НАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕЯ В КУЛЬТУРЕ РАННЕГО РЕНЕССАНСА (ПО СОЧИНЕНИЯМ ПЕТРАРКИ 1350-1370 ГОДОВ)**

---

Анализ сочинений «О средствах против превратностей судьбы», «Путеводитель к Гробу Господа нашего Иисуса Христа», «Против того, кто хулит Италию» позволяет выяснить частоту и смыслы названия «Италия», понятий «родина», «отечество», «нация», «национальность», «италик». Вывод: большой вклад в утверждение чувства нации гуманист внес своей собственной жизнью и культурным патриотизмом; гипотезы: о значимой роли культурного прошлого и интеллектуалов в формировании национального характера и традиций.

*Ключевые слова:* *Петрарка, нация, культурный патриотизм, Италия.*

---

До сих пор не выявлено, можно ли вообще говорить применительно к эпохе Ренессанса о национальных чертах «характера», или хотя бы об устойчивом чувстве культурного единства, понимании общности истоков Италии современниками – гражданами отдельных городов-государств, областей, герцогств, королевств. С другой стороны, не до конца понятно, какую роль в формировании национальной идентичности сыграли ренессансные интеллектуалы, деятели культуры, в какой связи находится культурно-историческое прошлое и «национальный характер», как они соотносятся. Приоткрыть завесу над этими большими вопросами дает возможность и творческое наследие Петрарки.

Часть авторов середины и второй половины XX в. (Де Маттеи, Т. Моммзен, Э. Х. Уилкинс, У. Дотти, Дж. Билланович) уверенно связывали с именем первого гуманиста, поэта Франческо Петрарки (1304–1374) рождение итальянской национальной идеи, при этом не раскрывая во всей полноте, как шло складывание этой идеи, насколько она оказывалась соотносенной с культурным контекстом его сочинений, поразному расставляя акценты с указанием на «римский» патриотизм Петрарки и т.д. Другие, чаще всего историки литературы, шли за старыми авторами (из русскоязычных – за Шепелевичем и другими), полагая, что Петрарка был «гражданином мира», космополитом, уповал на империю и императора, оставался равнодушен к политической раздробленности своей родины и т.д., т.е. вообще не считали возможным обращаться к сочинениям гуманиста для уяснения идеи нации или влияния ренессансного гуманизма на формирование национального характера.



За последние 20–25 лет интерес к Петрарке как общественно-политической фигуре заметно усилился. Уго Дотти, один из самых известных современных исследователей раннего Ренессанса, на конференции, посвященной 700-летию со дня рождения гуманиста, сделал большой доклад о направлении развития его политических взглядов. Исследователь пришел к выводу о том, что Петрарка полностью избавился от упований на императора и от идеи усиления Римской империи в ее средневековом германском варианте<sup>1</sup>. Главные политические темы (среди которых и идея нации), проходящие через все тексты Петрарки, сделал объектом анализа Г. Балдассари<sup>2</sup>. Как *homo politicus* обозначил Петрарку в заглавии своего недавно вышедшего труда один из чешских исследователей<sup>3</sup>. Две последние части его монографии посвящены выявлению характера «национализма» Петрарки, но, к сожалению, автор не ставит вопрос о роли гуманиста в формировании идеи нации.

В данной статье предпринята попытка рассмотреть, какое место занимала тема Италии и «нации» в сочинениях Петрарки, написанных в «миланский период» (между 1354 и 1361 гг.), и в одной из инвектив, появившейся в самом конце жизни, когда он горячо радел по поводу возврата папского престола в Рим. Как известно, первую половину своей жизни поэт, будучи сыном флорентийского политического изгнанника, прожил вне Италии, в Авиньоне или вблизи него в местечке Воклюз. В Италии бывал не один раз, но наездами. В 1353 г. принял окончательное решение переселиться на родину. Получил несколько приглашений, выбрал для начала Милан. За несколько лет жизни там многое в общественной жизни страны уяснил на личном опыте, через общение с правителями не только Милана, но и других городов-государств, в которых бывал с дипломатическими поручениями, чаще всего связанными с военно-политическими конфликтами. Бедственное состояние раздираемой усобицами Италии ежедневно и ежечасно было у него перед глазами, не выходило, судя по письмам и сонетам, из головы и сердца. Как и везде, в Милане Петрарка очень много работал: за несколько лет написал огромный трактат «О средствах против превратностей судьбы» (254 диалога), рассматриваемый здесь с точки зрения развития идеи нации<sup>4</sup>. Добавим,

<sup>1</sup> *Dotti*. 2006. P. 205–218. Новые подходы обозначались и в докладах, звучавших на симпозиуме в Арещо, на родине Петрарки. – См.: *Petrarca politico...* 2006.

<sup>2</sup> *Baldassari*. 2006.

<sup>3</sup> *Špička*. 2010. P. 211–253.

<sup>4</sup> *Petrarque*. 2002a. Vol. 1–2. Это научное издание представляет собой воспроизведение латинского текста сочинения и его перевод на французский язык, снабженный обширным комментарием, вступительными разделами и указателями.

что диалоги разделены на две книги. В первой речь идет о средствах против счастливой фортуны (122 диалога), во второй – против несчастливой (132 диалога). Участниками диалогов выступают аллегорические персонажи: в первой книге – Разум, Радость и Надежда, во второй – Разум, Страх и Печаль. В латинском языке слова, использованные Петраркой как имена, – мужского, среднего и женского рода, но как выясняется из анализа текста, и Разум, и его собеседники говорят о себе в мужском роде, т.е. беседы идут исключительно между персонажами-мужчинами.

Трактат заинтересовал ученых на рубеже XIX–XX вв., его серьезный анализ предпринял в своей замечательной диссертации М. С. Корелин, выявив, что перед читателем – первый манифест гуманистического представления о жизни, обществе и человеке<sup>5</sup>. Но потом интерес к сочинению угас, от него «отмахнулись» вначале литературоведы как от самого средневекового текста Петрарки, а за ними – и историки с философами. Только к концу XX столетия трактат вновь по-настоящему заинтересовал ученых. И этот интерес нарастает<sup>6</sup>. Но до системного изучения интересующих нас вопросов дело пока не дошло.

Параллельно с трактатом «О средствах» возникло еще одно небольшое сочинение, практически не вовлеченное в научный оборот в русскоязычной историографии. Речь идет о «Путеводителе к Гробу Господа нашего Иисуса Христа» или «Итинерарии». Петрарка составил его за несколько месяцев по просьбе миланца Джованни Манделли, вручив ему текст 4 апреля 1358 г.<sup>7</sup> «Итинерарий» интересовал зарубежных исследователей с точки зрения культурной и географической эрудиции Петрарки<sup>8</sup>. Между тем сочинение содержит, на наш взгляд, серьезный подтекст, вобравший гуманистические идеи, культурные и политические пристрастия, знание времени. В нем проступает тема Италии, вопрос о Вергилии как культурного «гиде» путешественника, о роли самого Петрарки как культурного объединителя, «связного» в ситуации политически раздробленной страны. В таком аспекте, насколько можно судить, «Itinerarium» не рассматривался.

Наконец, своеобразным итоговым текстом, связанным с Италией, можно назвать инвективу «Против того, кто хулит Италию», написанную в 1373 г. в форме письма к Угуччоне да Тиене, представителю ста-

<sup>5</sup> См.: Корелин. 1914. С. 3–23 и многие другие.

<sup>6</sup> Špička. 2005; Lentzen. 2006; Rivella. 2006; Gallico. 2005; Laurdens. 2007.

<sup>7</sup> Petrarca. 2002b. Данное издание — факсимильное воспроизведение рукописного текста с параллельным английским переводом-подстрочником, солидными комментариями и обстоятельной библиографией.

<sup>8</sup> См. об этом специально: Cachey. 1997; Petrarch's Guide...

ринной знатной семьи, который встречался Петраркой в Падуе и, очевидно, подтолкнул его к созданию сочинения. Инвектива стала ответом Жану де Исдэну (современник Петрарки, схоласт, получивший образование в Париже и служивший у авиньонских кардиналов и других духовных лиц), который критиковал послание Петрарки к папе Урбану V (1362–1370). В нем гуманист призывал главу церкви вернуть престол из Авиньона в Рим. В инвективе Петрарка доказывает приоритет Рима.

Таким образом, перед нами сочинения трех разных жанров. Попытаемся выявить, что в них связано с темой Италии, обнаруживаются ли общие вопросы, идет ли развитие идеи.

Начнем с простого: определим, насколько часто встречается понятие «Италия» в диалогах трактата «О средствах», и какими смыслами оно там наполнено. Название «Италия» вспоминается примерно в 20-ти диалогах, т.е. почти в каждом десятом тексте<sup>9</sup>. Забегая вперед, заметим, что «присутствует» Италия прошлого и настоящего едва ли не в каждом диалоге. Имя страны Петрарке привычно, оно часто фигурирует в текстах в одном ряду с «Германией», «Британией», «Испанией», «Египтом», «Арменией»; может стоять рядом с «Африкой», «Понтом», «Галлией», «Фессалией»<sup>10</sup>. Среди названий есть исторические, географические, современные Петрарке государственные и иные обозначения. Они встраиваются в соответствующие контексты, связанные с прошлым или настоящим. Но во всех контекстах «Италия» прочитывается как страна или государство. В приложении к XIV в. Италия также обозначается как одна из *стран*, независимо от ее политического разделения на многие десятки упомянутых выше малых и больших городов-коммун, синьорий, тираний, королевств, областей (вроде Патримониума Св. Петра) территорий.

Обратимся к выявлению основных смыслов и контекстов использования наименования Италия, разбросанного в текстах на самые разные темы. Так, в диалогах «О драгоценных камнях» (I, 37) и «О бокалах из драгоценных камней» (I, 38) «Италия» встречается в трактате впервые. И уже в первом диалоге при рассказе о победе римских консулов начала III в. до н.э. Фабриция и Курия над Пирром, царем Эпира, используется как привычный оборот «изгнание из Италии», указывающий, что речь идет об особой территории, чужой для Пирра. В обоих диалогах в острой полемике между Разумом и Радостью по поводу рос-

---

<sup>9</sup> См.: *Petrarca*. 2002a. Vol. I. Lib. I, dial. 31; 37; 38; 41; 54; 60; 69; 112; 118; Lib. II, dial. 5; 9; 13; 21; 32; 91; 125; 132 etc. Здесь и далее римская цифра означает номер книги трактата, арабская — номер диалога.

<sup>10</sup> *Ibid.* I, 69. P. 322 etc.

коши не один раз припоминается Помпей, «который совершил триумф в Италии». Вместе с триумфом, «было перевезено в Рим»<sup>11</sup>, по мнению главного персонажа, увлечение драгоценными камнями и иноземными бокалами. Очевидно, что здесь «Италия» для Петрарки – исторически давнее, с античных времен существующее название страны, особой земли, нравы которой во времена Помпея, создателя в Передней Азии нескольких новых провинций Рима (60–е гг. до н.э.), были «испорчены» чужой, «иноземной» роскошью. «Италия» противопоставляется «Азии», откуда в Рим, по словам Разума, и пришло «это сумасбродство». Подобное противопоставление также свидетельствует о четком понимании того, что Италия уже в древности имела свои общественные традиции, которые можно рассматривать как один из истоков чувства нации.

В диалогах Петрарка использует и такие определения как «восток», «части света» и проч. Тот же Помпей, «победив восток (*oriente perdomito*), с переменной места переменялся и сам, вернулся другим из другой части света (*alia parte orbis*)»<sup>12</sup>. Ясно, что Петрарка указывает одновременно на исторические и территориальные ориентиры, позволяющие воспринимать Италию как особую единицу в «круге земель». Нередко, начиная с диалога «О драгоценных камнях», он говорит об иных странах, их порядках, обычаях, воинах как о «чужой силе» (*aliena vis*), «чужом вероломстве» (*aliena perfidia*). Говорит о «воинственном народе испанцев» (*Hispanos bellicosam gentes*), которых победил Помпей, и о том, что войско полководца победили «мало воинственные и плохо вооруженные азиаты» (*imbelles et inermes Asiaticos*)<sup>13</sup>, а он сам покорился «азиатской роскоши» (*Asie delitias*). Петрарка в этом и во многих других текстах противопоставляет «Азию» (*Asia*) и «латинский круг земель» (*orbem Latium*), в составе которого разумеет Италию.

Помпей не раз дает повод вспомнить его, а вместе с ним Италию, и в других диалогах, в том числе – на очень специальные темы. Так, в диалоге «О предсказаниях гаруспиков» (I, 112) Помпей вспоминается как член триумvirата, участникам которого была предсказана «счастливая старость и прекрасная смерть на родине»<sup>14</sup>. Дальше Петрарка еще раз обнаруживает историческую эрудицию и детальное знание свидетельств римских авторов: «А насколько это оказалось так, ты не пове- ришь своим ушам: все они погибли от железа. Двое – далеко от Ита-

<sup>11</sup> Ibid. I, 38. P. 198. Перевод на русский язык: *Петрарка*. 2008. С. 59–64.

<sup>12</sup> *Petrarca*. 2002a. I, 37. P. 184.

<sup>13</sup> Ibid. P. 186.

<sup>14</sup> *Петрарка*. 2008. Диал. 112. С. 170.

лии». Вновь имя «Италия» обозначает страну, родину, государство. Петрарка сближает прошлое и настоящее, он «перешагивает» через все Средневековье, обращаясь к случаю из древности как к совсем недавнему событию, из которого его современник должен извлечь для себя уроки. Давнее прошлое рисуется как «свое», с которым настоящее не потеряло связи, из которого можно и должно черпать примеры.

На национальную идею и формирование чувства гордости ее великим героическим прошлым «работали» и напоминания вроде того, что Сципиону Африканскому как «освободителю Италии» было решено установить статую (I, 41). Любопытно и «вводное рассуждение» Разума: «Некогда статуи были свидетельством добродетелей. Они возводились тем, кто совершил великое или принял смерть за отечество»<sup>15</sup>. Обозначение Италии как «родины», «отечества» (I, 37, 38, 60 и др.), восхваление римских деятелей и героев как «светочей отечества», а просто италиков как «предков», «прадедов», «дедов» присутствует в диалогах настолько часто, что вырастает в отдельную тему исследования. Здесь остается указать на эти определения как на «маркеры» темы общего прошлого, дорогого всем, в современном словоупотреблении – национального.

Редко гуманист и вовсе стирает грань между римским прошлым и настоящим, «Италии» продолжает служить в таких случаях естественной составляющей, стержневым историческим знаком этой связи. В далеком от политических сюжетов диалоге «О добыче золота» (I, 54) Разум, рассуждая о вреде драгоценных металлов, дурных страстях, порождаемых жадной богатств, припоминает «древнее решение», по которому в «Италии добыча золота была запрещена»<sup>16</sup>. Он явно сожалеет, что этот закон не работает, будто стоящий за ним Петрарка не знает, что в Италии его эпохи нет общих законов, они у каждого из государств свои и могут быть использованы только в его пределах. «Юридическая археология» работает, как и многое другое, на формирование представления об историческом единстве Италии, общих корнях, пробуждают национальное сознание, закладывают чувство национального патриотизма.

Диалоги трактата «О средствах» конструируют Италию как страну, государство, родину, отечество с великим прошлым, которое Петрарка раз за разом находит случай актуализировать. Обращение к прошлому за примерами, в том числе общественными, и есть один из способов превращения гуманистом «археологии» в объект национальной гордости. Кроме того, диалоги, по сути дела, начинают возвращать современников

<sup>15</sup> Там же. Диал. 41 «Об изваяниях». С. 69.

<sup>16</sup> Там же. Диал. 54 «О добыче золота». С. 137.

гуманиста к утраченным за несколько веков понятиям исторической родины не как отдельной коммуны, синьории, но как единой Италии с общим для всех прошлым. Эта Италия имеет выраженные территориальные очертания, место среди других, выражаясь современным языком, геополитических единиц, она обособлена за счет выделения из круга европейских стран и культурно-географической «оппозиции» Азии.

Чтобы уяснить, насколько укорененными в мировосприятии и позиции Петрарки были выявленные для диалогов представления, обратимся к произведению другого жанра – «Путеводителю к Гробу Господа нашего Иисуса Христа». Начнем с того, что в этом небольшом сочинении имя «Италия» фигурирует 14 раз (на 39 страницах текста, если определять объем в понятиях современных форматов). Как и в трактате «О средствах», «Италия» в «Путеводителе» – страна, земля, край, родина, территория. Название впервые встречается во вводной части, когда автор рассуждает о том, как много он передвигался «внутри Европы и Италии»<sup>17</sup>. Как видим, автор выделяет Италию из остальной Европы, обозначая тем самым ее географическое единство. Писатель не раз обращает в путеводителе внимание на то, что Италия отделена от других земель со всех сторон.

«Свое» и «чужое» явно разделяют и читатели «Путеводителя», к которым автор обращает такие слова: «Ради Христа вы покидаете свою страну и отправляетесь в другие земли»<sup>18</sup>. Речь идет о Ближнем Востоке, а значит, Италия отделена не только от заальпийской Европы, но и от Азии. Кстати, *Asia Minor* появляется, когда речь заходит о географическом пункте, от которого путь идет в направлении Святых мест. Она наделяется политически актуальными характеристиками: «...теперь весьма агрессивная страна под властью турок, врагов истины»<sup>19</sup>.

Интересен сам взгляд автора на Италию: это взор «отъезжающего», как он сам говорит, покидающего страну в данный момент. У Италии есть «ворота», «части», «края» (области), провинции. Воротами оказывается Генуя. Петрарка не скупится на детальные топографические и этимологические комментарии: «Название Генуи происходит от слова «дверь»; потому что Генуя – дверь в наши земли» (*nostris orbis*). Здесь единство страны обнимается словом «наши»<sup>20</sup>. И это не случайная обмолвка. «Наши земли» встретятся не менее пяти раз, равно как при-

---

<sup>17</sup> *Petrarca*. 2002b. Pr. 7.

<sup>18</sup> *Ibid.* P. 16.3.

<sup>19</sup> *Ibid.* P. 15.0.

<sup>20</sup> *Ibid.* P.2.1.

вычно используемое словосочетание «наша страна». Генуя вырастает перед читателем как «вход» в общий дом. Иными словами, география и топография Италии воспринимаются как единое целое.

Оглядывая другое, восточное побережье, Петрарка характеризует его особенности «от Равенны до мыса Мизенит», рассуждает о «большой части Италии». Вновь и само побережье, и Италия соединены в некое целое. «Нашими» становятся и берега, – хоть между Генуей и Леричи, хоть между Равенной и южными городами. Гуманист не жалеет слов для восхищенного описания красоты природы. Он указывает на «прекрасные долины, бегущие ручьи, возвышенности», указывает, что «весь берег богат пальмами и кедром», поэтически замечает, что у реки Фреддо «вода и песок искрятся на солнце». И вновь это – разные части одного целого. «Частью Италии» назван Неаполь и его окрестности. Словом, «частей» несколько, и, думается, Петрарка намеренно не обозначает ни одну из них как обособленную политическую единицу, даже любимое Неаполитанское королевство. Это словно бы вторично. В перечне географических ориентиров Петрарка использует и такое понятие как «край Италии»: одним из таких краев назван «самый дальний западный мыс»<sup>21</sup>. Перед нами расстилается большое территориальное и историко-культурное пространство со своими краями, частями и входами.

Ясно, что автор не хочет вбрасывать в путеводитель факты, свидетельствующие об отсутствии единства страны. Возникает даже вопрос: не считает ли Петрарка это явление временным, не полагает ли, что его «Путеводитель» переживет данную полосу в истории Италии, и читатели следующих веков должны быть ориентированы на главное, непреходящее, культурное и историческое единство его родины? В любом случае, Петрарка забывает о раздробленности как о чем-то преходящем, менее значимым для пилигрима, чем историческое единство Италии.

Очень внушительно на тему единства Италии работает выкликание городов. Их названо около 60-ти, многим дана историческая и географическая характеристика. О Генуе, например, сказано, что в римские времена она была провинцией римского государства, частью, которую следовало охранять особенно тщательно. Подчеркнуто, что Генуя может гордиться своими «мужами и стенами». Она превращается под пером автора в пример «культурного соединения» прошлого и настоящего. Для Пизы отмечена ее древность, Рим, естественно, назван «царем городов». Несколько раз определение «город» адресуется Милану,

---

<sup>21</sup> Ibid. P.12.1.

«прибрежный город» – Неаполю. Петрарка кратко проговаривает историю мест и городов как части единой большой истории. Он ведет отсчет городов от римских времен или даже более древних, припоминая происхождение названий. История Генуи увязана в кратком рассказе с богом Янусом, основателем Италии. История Гаэты связывается с именем няни Энея, Террачины – Анхизом. Особенно мощной и выразительной оказывается в «Itinerarium» историко-археологическая география античности: вольски, колонии, цари, места их пребывания, войны, императоры, политические изгнания, ссылки, убийства, естественно, сопровождаемые четкими оценками автора. Прошлое «прорастает» в настоящее, «сигналист» названиями, преданиями, мифами, фактами.

Неожиданным в сочинении такого типа оказывается внимание автора к некоторым политическим реалиям недавнего прошлого и настоящего: Сицилийская вечерня, борьба за море между Пизой и Генуей. Но в целом, как отмечалось выше, автор не останавливает перо на теме политической раздробленности. Читатель, как и в случае с трактатом «О средствах», почти забывает о множестве границ и законодательных установлений, о политических изгнанниках и политических заключенных, малых и больших территориях.

«Itinerarium» обнуживает не только необычность предлагаемого Петраркой маршрута (от Генуи), но и большие различия в описании его этапов. Всего их можно выделить восемь; при этом подробность и азартность описания стремительно падают с «движением» на Восток: из 75-ти упомянутых пунктов 60 приходятся на Западную часть Италии (при этом от Генуи до Пизы – 20, от Пизы до Рима – 18, от Рима до Неаполя – 15). На всю Малую Азию обозначено 11. Из этого становится еще яснее, что для автора не Восток, даже не Святая Земля и не Средиземноморье составляют центр притяжения, внимания и рекомендаций для путешественника. Святые места (Иерусалим, Вифлеем) обозначены крайне скупо, через простое перечисление чудес и событий Святой Недели. Другие города только названы в рамках скупого же описания маршрута, о турках сказано два слова – враги истины (*veri hostium*). Главной темой на протяжении всего текста остается Италия.

Текст позволил исследователям выделить, по крайней мере, 7–8 групп источников, среди которых, наряду с привычными – средневековые хроники, легенды, свидетельства очевидцев, собственный опыт и познания, лингвистические и топонимические данные. Впервые зафиксирован факт самоцитирования; отмечены приемы исторической критики. Точками «схождения» всех «географий» и привлечения всех видов



источников можно назвать характеристики Генуи, Рима, Неаполя. Описание последнего особенно выразительно: Неаполь рисуется как центр живой культурной связи прошлого (Вергилий) и настоящего (Джотто, король Роберт), дохристианского и христианского, культурного и исторического миров. При этом культурное достояние (скажем, фрески Джотто) представляется именно как общеитальянское. Показательны «планы», избранные Петраркой: он помнит о религиозной составляющей путеводителя, называет христианские достопримечательности Неаполя и окрестностей, но начинает с Вергилия, его могилы, мифов и легенд о нем, продолжает королем Робертом и собой, и только в завершающей части эпизода обращается к христианским памятникам.

«Путеводитель» обнаруживает во многих случаях прямую переключку с диалогами трактата. Петрарка занят большими вопросами в большом сочинении, а «Путеводитель» становится их конкретным преломлением и детальным развитием в «национальных» моментах.

Если кратко коснуться инвективы «Против того, кто хулит Италию», написанной в самом конце жизни (1373 г.) и имевшей полемический характер, то она, как специальное сочинение, посвященное Италии, «выдает» яснее всего национальные чувства Петрарки. Папский кардинал из «французской партии» критиковал послание Петрарки к Урбану V, в котором гуманист призывал понтифика вернуться в Рим (папская курия еще находилась в «авиньонском пленении»). Ясно, что сочинение вобрало в себя опыт жизни и творчества, подытожило размышления о политических судьбах Италии и Рима<sup>22</sup>. Инвектива проникнута «чувством нации». «Италия» (это название встречается более десяти раз) и «Галлия» полемически противопоставляются друг другу от начала до конца текста. И по сути дела страны в глазах гуманиста различаются: Италия – это территория культуры и цивилизации, Галлия – «варварский край»; они между собой «несопоставимы»<sup>23</sup>.

Понятия «нация», «национальность»<sup>24</sup> используются как известные всем читателям, равно как и понятия «италик», «грек», «македонец», «испанец», «галл». Они употребляются и самим Петраркой, и его оппонентом Жаном де Идэном. Например, в качестве аргументов в споре о достоинствах или недостатках Рима как места пребывания папства. Рас-

---

<sup>22</sup> Перевод инвективы на русский язык см.: *Петрарка*. 1998.

<sup>23</sup> Там же. С. 373.

<sup>24</sup> Там же. С. 384–385 и др. Ввиду многочисленности и разбросанности по всему тексту инвективы понятий и определений, интересующих нас, отсылки на ее страницы далее будут даваться вслед за приведенными терминами прямо в статье.

суждая о писателях или общественных деятелях, которыми гордились римляне, и тот, и другой вспоминают, где их родина, оттуда они. Скажем, Иседэн, дабы доказать, что многие великие писатели вовсе не римляне по происхождению, и Италии особенно нечем гордиться, напоминает, что «Сенека родом из Испании» (с. 386). Чуть дальше и Петрарка подтверждает как общеизвестное: «да Аристотель не был италиком» (с. 386).

Первым по частоте употребления становится слово «италик» (*italicus*). Поясним, что понятие «италик» рождается под пером Петрарки уже в ранних письмах и не исчезает до последних сочинений. В «Инвективе» оно фигурирует 9 раз (с. 367, 386, 388–389). В семантическое поле этого понятия включаются «италийские силы» (с. 372), «италийские города», (с. 388); не один раз Петрарка противопоставляет «итальянское происхождение» «варварскому» (с. 367), и за этим стоит обозначение различий природного, культурного и исторического характера. Он называет отличительные черты «галлов», «азиатов», «италиков», «фригийцев», «парфян» и других народов «врожденными человеческими свойствами» (с. 389). При этом полагает, что переселения в иные земли меняют характер и «нравы», признает, что даже «наши римляне, переселившиеся в Галлию или Германию, впитали природу и варварские обычаи этих областей» (с. 389). Иными словами, начинает подходить к истолкованию национального характера как исторического явления, подверженного культурно-историческим изменениям.

Он высказывает познания и в вопросах происхождения народов и их «нравов». Так, он напоминает Иседэну, что галлы «имели предками друидских жрецов, а те утверждали, что галлы произошли от подземного бога Дита» (с. 387). Петрарка, конечно, не может упустить случая и не подчеркнуть исторически более длительную приверженность римлян в сравнении с галлами к христианству, каковая для него – знак включенности в великую духовную культуру. Он противопоставляет «кnochь» галльского язычества «ясному полдню» римского христианства эпохи Иеронима (IV в.), а «латинское красноречие» «галльскому невежеству». Есть и попытки высмеять какие-то черты поведения и характера галлов ради уязвления оппонента: «истинно галльское легкомыслие» (с. 368), «высокое мнение о себе» (с. 369), «надменные галльские головы с пером на шлемах» (с. 373), «пустое самомнение» (с. 381), «невежество галлов» (с. 385). Это не мешает ему признать, что «у варваров-галлов и доньше есть уважение к добродетели, хотя и самое малое» (с. 376), или что они «самые мягкие из варваров» (с. 370). С другой стороны, в споре

с «галлом» (так назван оппонент) Петрарка рассуждает по поводу особенностей национального характера италиков или римлян как народа.

«Итальянский» и «римский» у Петрарки часто выступают рядом как понятия одного ряда, синонимы: например, он говорит о Цицероне как писателе «итальянском и римском» (с. 384), и далее в разгаре спора бросает ключевую фразу: «Мы не греки, не варвары, а италики и латиняне» (с. 386). Тем самым автор ясно обозначает самобытность своего народа: он имеет собственное лицо в сравнении с культурными народами (греками) и, тем более, с народами варварской периферии. Нетрудно увидеть, что ключевые понятия «варвары», «латиняне» прочно усвоены Петраркой из римской литературы и общественных представлений античных времен. На первый план выходит гордость за великий Рим как «высочайшую вершину мира». Для римлян-италиков важнейшими чертами «национального характера» оказываются «великая доблесть в военных делах при всякой фортуне» (с. 379), «величие, более поразительное при неблагоприятных обстоятельствах», «то, что в счастье они остаются трезвыми и умеренными» (с. 381), «непреклонный отказ от всяких приношений» (с. 382), «то, что никого нет благодарней, чем римский народ» (с. 383). Огромная тема «Римского мифа» у Петрарки выходит за пределы данной статьи, здесь кажется необходимым подчеркнуть хотя бы одно: этот миф рождался не на пустом месте, и он способствовал укоренению представлений об «исторических» и «культурных» чертах характера италиков, их моральном единстве. В целом, в инвективе фраза за фразой наращивается аргументация в защиту Италии, ее великого прошлого, ее культуры. Среди аргументов – привычные отсылки на философа Сенеку, историков Тита Ливия, Саллюстия, Флора, десятки примеров из доблестного римского прошлого, десятки напоминаний о его великих достижениях в области культуры и науки.

Подведем некоторые итоги нашим наблюдениям. Думается, что самый большой вклад в утверждение идеи нации или, по крайней мере, чувства нации, гуманист внес своей собственной жизнью и своим культурным патриотизмом. Он ясно проступает во всех проанализированных нами текстах в неизменном виде, обогащаясь от одного к другому за счет деталей и сюжетов. Через все сочинения проходит национальная и патриотическая тема. Она обозначена лексически многократным употреблением слов «наш», «наше», «наши»; использованием понятий «части», «ворота», «края» Италии, «наша земля», «народы Италии», «жители Италии», «италики», «латиняне»; развитием «римской идеи».

Особенно отчетливо рисуется роль гуманиста в «Путеводителе». Тема Италии не просто ведущая во всем этом сочинении: оно «итало-

центрично» от первой до последней строки. Интересна фигура Вергилия, на которой не было возможности специально остановиться в данной статье. Его жизненные дороги (Мантуя – Милан – Неаполь – Таранто) и его судьба связывают в глазах Петрарки Италию в единое целое; он выступает в роли главного культурного «гида», несет в себе образ общепитальянского поэта всех времен. У Данте Вергилий – вожатый по миру ирреальному, хотя и пронизанному реальностью от начала до конца, у Петрарки – по Италии и миру реальному, отмеченному авторской гордостью за великое культурное прошлое и настоящее. Одновременно «Itinerarium» углубляет и уточняет автопортрет Петрарки, обнаруживает новые черты в манифестации его гуманистического самосознания.

«Путеводитель» позволяет назвать Петрарку духовным объединителем Италии, а «Инвектива против того, кто хулит Италию» — ее патриотом и защитником, интеллектуалом, который начал дело пробуждения нации и осмысления вклада великого прошлого в формирование черт национального характера.

Изучение трех разных по жанру текстов, вышедших из-под пера Петрарки в зрелые годы его творчества, позволяет сформулировать несколько общих заключений-гипотез. В кратком изложении их можно представить следующим образом: (1) культурное прошлое Италии создавало объективную платформу формирования отдельных черт национального характера эпохи Ренессанса и раннего Нового времени; (2) Петрарка реально оказался культурным связным, культурным объединителем Италии: в ситуации многовековой раздробленности страны он «будил», одновременно формировал заново национальное самосознание; с ним в сложной и противоречивой связи находится национальный характер как явление, вбирающее в себя исторические порядки жизни, глобальные политические и военные реалии, социальные успехи и катастрофы, устойчивые культурные традиции; (3) интеллектуалы и творцы эпохи Возрождения актуализировали культурные традиции античного прошлого и одновременно за два столетия заложили значительный пласт собственно ренессансных традиций, повлиявших на формирование национального сознания Нового и Новейшего времени.

## БИБЛИОГРАФИЯ

- Корелин М.С. Ранний итальянский гуманизм и его историография. Т. 2. Франческо Петрарка. СПб, 1914. С. 3–23.
- Петрарка Ф. Инвектива против того, кто хулит Италию // Франческо Петрарка. Сочинения философские и полемические / Сост., пер. с лат., коммент., указат. Н. И. Девятайкиной, Л. М. Лукьяновой. М.: РОССПЭН, 1998. С. 367–390.

- Petrarca F.* Диалоги на гендерные и эстетические темы (трактат «О средствах против превратностей судьбы», кн.1) / Пер. с лат., комм., указ. Л. М. Лукьяновой; ис- следов. раздел Н. И. Девятайкиной. Саратов: Наука, 2008. С. 5–98.
- Baldassari G.* Unum in locum. Strategie macrotestuali nel Petrarca politico. Milano: LED – Edizioni Universitarie Lettere, 2006. 274 p.
- Cachey Th.* «Peregrinus (quasi) ubique»: Petrarca e la storia del viaggio // Rivista di storia delle idées. Bologna: Il Mulino, 1997. Dicembre. № 27. P. 369–384.
- Dotti U.* Le prospettive storico-politiche di Petrarca nella crisi del Trecento (Cola di Rienzo l'impero- il Principe) // Francesco Petrarca: L'opera Latina: tradizione e fortuna . Atti del XVI Convegno internazionale (Chianchano-Pienza, 19–22 luglio 2004) / A cura di L. Tarugi. Firenze : Franco Cesati Editore, 2006. P. 205–218.
- Gallico K.* La musica a Milano nel Trecento // Petrarca e la Lombardia. Atti del Convegno di Studi (Milano, 22–23 maggio 2003) / A cura di G. Frasso. Roma-Padova: Editrice Antenore, 2005. P. 75.
- Laurdens P.* Un aspect de la fortune du De remediis de Petrarque en Europe du Nord: de illustration a la mise en emblems // Francesco Petrarca, da Padova all'Europa: atti del convegno internazionale di studi 17–18 giugno 2004 / A cura di G. Belloni et al. Roma-Padova: Editrice Antinore, 2007. P. 234–237.
- Lentzen M.* La fortuna del De remediis utriusque fortunae del Petrarca nei Paesi di lingua tedesca: Sebastian Brandt e il Petrarca // Francesco Petrarca: L'opera Latina: tradizione e fortuna . Atti del XVI Convegno internazionale (Chianchano-Pienza, 19–22 luglio 2004) / A cura di L. Tarugi. Firenze: Franco Cesati Editore, 2006. P. 361–372.
- Petrarca Fr.* De remediis utriusque fortunae // Petrarque Fr. Les remedes aux deux fortune / Texte et trad. par Ch. Carraud. Paris: Jérôme Millon, 2002a. Vol. I–II.
- Petrarca F.* Itinerarium ad sepulchrum domini nostri Gehsu Christi // Petrarch's Guide to the Holy Kand / Ed. and transl. by Theodore J. Chachey Jr. Notre Dame, Indiana: University of Notre Dame Press, 2002b. P. 83–160.
- Petrarca politico: atti del Convegno: Roma-Arezzo, 19–20 marzo 2004 . Roma: Istituto Storico Italiano per il Medio Evo, 2006. 191 p.
- Rivella M.* Il concetto di fortuna dalle Controversiae di Seneca il Retore al De remediis utriusque fortunae di Francesco Petrarca // Francesco Petrarca: L'opera Latina: tradizione e fortuna. Atti del XVI Convegno internazionale (Chianchano-Pienza, 19–22 luglio 2004) / A cura di L. Tarugi. Firenze: Franco Cesati Editore, 2006. P. 593–608.
- Špička J.* Strategie dialogu v Petrarkově «De remediis», Olmouc, 2005 (diss). 176 s.
- Špička J.* Petrarca: Homo politicus. Praha: Argo, 2010. P. 211–253.
- Девятайкина Нина Ивановна*, доктор исторических наук, профессор Саратовского государственного технического университета им. Ю. А. Гагарина; *devyatay@yandex.ru*

Е. А. ВИШЛЕНКОВА

## «РУССКИЙ НАРОД» – «ПРАВОСЛАВНЫЙ НАРОД»? ГРАФИЧЕСКИЕ ВЕРСИИ XVIII – ПЕРВОЙ ЧЕТВЕРТИ XIX ВЕКА

---

В центре внимания автора – соотношение этнического, национального и имперского в пространстве «визуального народоведения» Российской империи XVIII – первой четверти XIX в. Представлены результаты, полученные в ходе деконструкции графических репрезентаций, структурирующих человеческое разнообразие империи.

**Ключевые слова:** «русский народ», империя, православие, визуальные образы.

---

В изучении «визуального народоведения» есть два взаимосвязанных сюжета. С одной стороны, внимание сфокусируется на интеллектуальных продуктах, репрезентирующих социальный и этнический мир империи, конструирующих представление современников об их структуре и свойствах. В этой связи я анализирую визуальные послания, запущенные в массовую культуру, их коммуникативные и мобилизационные возможности, стремлюсь выявить категориальную и дискурсивную матрицу визуального языка. С другой стороны, это попытка осмыслить человека до-фотографической эпохи в истории отечественного национализма сквозь призму его визуальной культуры, проследить участие его зрения и воображения в порождении национальной и имперской самости. При этом меня интересует процесс самоотождествления подданного с конструктами, созданными изобразительными (графическими, по классификации Дж. Митчелл) текстами (картинами, книжными иллюстрациями, медалями, карикатурами, лубками, скульптурами, декорациями, зрелищами, архитектурой, расписной посудой и т.д.). Исходное допущение состоит в том, что из этих визуальных текстов можно экстрагировать циркулировавшие в среде отечественных интеллектуалов представления о наличии связи между православной традицией и категорией «русский народ». Вовлеченная в процесс европеизации, Россия включилась в производство самоописания, внутри которого создавались знаки позитивной идентичности империи. Чтобы считаться «цивилизованной», страна в понимании западноевропейских интеллектуалов того времени должна быть рационально познанной и объясненной в универсальных категориях. Однако механическое перенесение понятий и концептов европейской науки на локальный «материал» породило известные трудности<sup>1</sup>.

---

<sup>1</sup> См.: Живов. 1996; Земскова. 2002; Каменский. 2006; Козлов. 1999; Марасинова. 2004; Ширле. 2008; Die Interdisziplinarität der Begriffsgeschichte...; Russische Begriffsgeschichte...; Исторические понятия и политические идеи...; Schierle. 2004.

Процесс присвоения этих понятий сопровождался непониманием, разночтением и приводил к непредсказуемым семантическим последствиям, а потому показать империю как часть европейского мира посредством конвенционально признанных визуальных образов современникам нередко было проще, чем доказывать это посредством семантически неустойчивых вербальных категорий.

Процесс порождения идентификационных текстов не был обезличенным. Сознательная, а иногда и произвольная инициатива шла из разных источников, что отразилось на многообразии возникших форм и их смешанной семантике. Одним из крупных заказчиков и авторитетных ценителей такого рода произведений была верховная власть, стимулировавшая производство знания об империи<sup>2</sup>. Управление взглядом и знанием усиливало властные ресурсы, позволяло присваивать «вновь открытые для цивилизации земли», а также творить иную реальность.

Другим стимулом к созданию народного портрета империи был потребительский интерес и коммерческий спрос на соответствующую художественную продукцию. Зритель второй половины XVIII в. желал увидеть многообразие мира, насладиться его экзотикой, постигнуть неведомую логику природного творения. Соответственно, от визуального народоведения ждали не столько документализма, сколько развлечения и объяснения, в том числе показа опасных для цивилизации зон.

Объяснительная функция графического рисунка еще более усилилась в контексте становления в России конца XVIII в. национализирующего дискурса. Тогда в публицистических статьях и неформальных интеллектуальных объединениях обсуждался вопрос о возможности показа империи как русского государства, о специфике «русского взгляда» на неё, о том, как изображать «русский народ». Озвученные желания стимулировали вовлеченных в это художников на поиск новых и перекодирование старых художественных практик.

### **«Русские народы» или отдельный «русский народ»?**

Для создания художественной проекции Российской империи академические естествоиспытатели привлекали в экспедиции рисовальщиков, которые фиксировали границы между встречающимися на их пути народами. Большинство делало это по аналогии с социальным миром: через костюмы, элементы традиционной одежды, декоративные аксессуары, атрибуты труда и повседневной жизни. Сделать это применительно к социальным стратам было довольно легко, что видно по гравюрам

---

<sup>2</sup> Её заинтересованность я объясняю посредством теории «паноптического режима властвования» М. Фуко. См.: *Foucault*. 1991.

А. Дальштейна, показавшего Москву и Петербург как совокупность жителей в костюмах дворян, торговцев, ремесленников, простолюдинов<sup>3</sup>.

Когда же потребовалось показать империю в целом, то её пространственная протяженность также стала передаваться рисовальщиками через человеческое разнообразие. Множество населяющих страну народов художник показывал в виде галереи экзотических костюмов. Изданная версия такого альбома или сюита гравюр представляла взору зрителя как коллективный продукт, в котором соединялись физические наблюдения путешественника, впечатления посетителя Кунсткамеры, сведения, накопленные естествоиспытателями, бытующие этнические стереотипы, творческое воображение художника и западноевропейские художественные конвенции для изображения племен. Так, четыре монохромные гравюры, часто воспроизводимые в изданиях второй половины XVIII в. (камчадал в зимнем и летнем платье, а также камчадалки с детьми в простом и летнем платье), были сделаны по зарисовкам участника экспедиции 1732-1743 гг. И.Х. Беркхана, рисунки с них выполнил И. Э. Гриммель, а гравировал их И. А. Соколов в Гравировальной палате Академии наук уже в 1754-1755 гг.<sup>4</sup> Участие в создании костюмного образа разных людей, их вмешательство в визуальный текст и различия интерпретаций весьма заметны при сопоставлении оригинальной зарисовки, «беловой» версии рисунка, гравированного отпечатка и расцвеченных экземпляров, поступивших в продажу.

Экспедиционные художники и покупатели костюмных гравюр в России, несомненно, знали образы народов и племен, изданные в Западной Европе. В созданных на основе экспедиционных рисунков И. Георги<sup>5</sup>, И. В. Люрсениуса, И. Х. Буркана, И. К. Деккера гравюрах и в иллюстрациях к «Описанию земли Камчатки» С. П. Крашенинникова<sup>6</sup> российские народы выглядят так же, как туземцы и дикари в гравюрах, сделанных по зарисовкам Д. Веббера и иллюстрирующих путевой журнал Дж. Кука. Независимо от идентификационных подписей, они демонстрировали зрителю набор вещей, приписанных тому или иному народу. При этом постанова, позы, взгляд самих обладателей этих маркеров выдают в них объекты, данные зрителю для наблюдения и изучения.

В 1770-е гг. график Х. Рот осуществил рискованное предприятие. Он собрал воедино известные ему гравюры и рисунки с «русскими народами», дорисовал некоторые типажи по костюмам, хранящимся в Кунст-

---

<sup>3</sup> *Dahlstein*. 1755.

<sup>4</sup> *Жабрѣва*. [www.rba.ru/or/comitet/12/mag7/2.pdf](http://www.rba.ru/or/comitet/12/mag7/2.pdf). С. 2.

<sup>5</sup> *Georgi*. 1775.

<sup>6</sup> *Крашенинников*. 1949.



камере, и выпустил иллюстрированный журнал «Открываемая Россия»<sup>7</sup>. Заглавие и подписи к раскрашенным от руки самим Ротом оттискам были сделаны на русском, немецком и французском языках, что отражало адрес потенциальной аудитории – европейские и российские элиты.

При стилистическом разнообразии графических и материальных источников, Рот подчинил все созданные этнические образы единой интерпретации. В качестве композиционной основы он использовал метод типификации, характерный для «городских криков». В его версии империя предстала своего рода «музеем фигур». Каждый лист издания заполнен гравюрой с однофигурной сценой и письменным указанием имени персонажа и его географической приписки. В целом, в данной художественной коллекции преобладают жители пограничных (западных, северных и восточных) регионов Российской империи. Само по себе это свидетельство зависимости проекта от направления академических экспедиций и геополитических интересов верховной власти.

Подобно художникам-путешественникам, Рот тщательно прописал костюм и орудия занятий каждого персонажа, при этом явно не были важны лицо и контекст природного окружения: фигуры разнятся лишь чертами, делящими мир на «восточные» и «европейские» народы. У них универсальные театральные позы. Специфика народа в проекте Рота приписана не людям, а вещам. Это отражало современную культуру видения мира. Костюм указывал на социальную роль, родо-племенную принадлежность, идейное и эстетическое содержание человека, его смена меняла идентичность личности. Поэтому именно костюмы, а также предметы труда и быта как визуальный признак народа и рассматривал любопытный зритель альбома «Открываемая Россия». Стратегия обобщения и технология производства костюмных гравюр подразумевали признание равенства народов, показывали их однопорядковыми элементами имперского разнообразия. Примечательно, что здесь не оказалось «русских» и «татар» как самостоятельных общностей.

В «Открываемой России» есть образы «калужского купца», «валдайской девки», «донского казака», есть гравюры «тюменский татарин», «крымская татарка», «казанские татары». Но зритель вряд ли мог самостоятельно соединить их в единую группу, которой они стали в сознании людей XIX в. Наличие у жителей, вошедших впоследствии в эти категории, различных вариантов этнического костюма<sup>8</sup> побуждало художника изображать каждый известный ему костюм как самостоятельный народ.

<sup>7</sup> Издание прекратилось в 1775 г. См.: Соловьев. 1907. С. 426.

<sup>8</sup> Молотова, Соснина. 1984. С. 7.

Так появились «калужцы», «валдайцы», «российский крестьянин» и «купцы». Только силой этнографического письма они могли быть объединены в единый комплекс. Это сделал естествоиспытатель И. Георги, написавший справочные комментарии к данным гравюрам<sup>9</sup>. Вышедший отдельным изданием иллюстрированный трактат закрепил в исторической памяти авторство костюмных образов за Георги.

То же стремление объединить локальные костюмы в единый народ посредством введения разных костюмных образов внутрь объяснительного текста обнаруживается в Лейпцигской энциклопедии народов России<sup>10</sup>. Кажется, что спустя четверть столетия художник Х. Г. Гейслер и автор текста Ф. Хемпель решили повторить опыт Рота-Георги: в обоих изданиях визуальные образы служили провокацией для создания текста. Отличие же обнаруживается в новой концептуальной установке. Читателю было обещано, что в книге он обнаружит знание не о внешности, а о *характере* «русских народов». Такая ориентация подвигла отказаться от их классификации по языковым и территориальным признакам. В Лейпцигском издании движение читателя по империи идет с северо-запада (от финнов) на восток (к чукчам), что соответствует логике пространственного путешествия, а не научной таксономии.

Несмотря на то, что данное издание появилось на немецком языке, под гравюрами стоят идентификационные подписи на трех языках – русском, немецком и французском. Их композиция состоит из пар: мужская–женская или вид спереди–вид сзади, и лишь иногда два этнически разных «костюма» соединены в общую сцену. Все типажи представлены без фона и рамки, лица и позы условны, так что внимание зрителя сосредоточено на деталях одежды и предметах быта.

Раздел «Russen» («Русские») самый обширный (не одна-две страницы как в остальных случаях, а 16) и сопровождается семью иллюстрациями: «Российский крестьянин. Крестьянка», «Русская мещанка в зимнем уборе и русская крестьянка в зимнем уборе», «Русский купец и его жена», «Русская купчиха из Ярославля и Русская крестьянка из Тулы», «Русская баба в Арзамасе и русская баба в Пензе», «Белорус и белоруска», «Русский монах и русский поп». Так гравюры очертили визуальные границы «русского» локуса в империи. Образы православного духовенства получили в нем амбивалентный статус. С одной стороны, они были частью социального мира Российской империи, а с другой, их введение в раздел «Русские» придало им этнический оттенок, какового они не

---

<sup>9</sup> *Georgi*. 1776–1780.

<sup>10</sup> *Hempel, Geissler*. 1803.

имели в отечественном сознании того времени. Православное священство мыслило себя в универсалистских надэтнических категориях.

Выделение и показ «русского народа» как единой группы произошло в связи с заказом верховной власти на репрезентацию идеально подданного империи, а также с увлечением отечественных элит крестьянской темой. С одной стороны, императрицы Елизавета Петровна и ее наследница Екатерина II желали легитимировать свою власть ссылками на «русское происхождение», репрезентировали себя в качестве «русских цариц», подчеркивая политическую и культурную значимость этого фактора<sup>11</sup>. Любовь к Отечеству и всему русскому давала большие права на российский престол, нежели официальный закон о престолонаследии. Но она же обязывала по-матерински заботиться о любимом чаде – «русском народе», воспитывать его в «гражданских добродетелях» с помощью наук и просвещения. В связи с этим следовало показать привлекательный образ воспитуемого. С другой стороны, усилившийся трансфер западноевропейских эстетических идей и увлечений привнес пасторальную тематику в декорацию аристократических особняков и поместий, сделал её неизменным участником театральных постановок и дворцовых инсценировок. Придворные залы наполнились шорохом «русских платьев» фрейлин, а «горки» и шкафы – расписными пастушками, миловидными крестьянками и даже образами калек и нищих на поверхности фарфоровых шкатулок и табакерок<sup>12</sup>. Аристократки в кокошниках и сарафанах позировали художникам, а переводные пьесы склонялись на «русский лад»<sup>13</sup>, вынуждая декораторов искать средства для выражения «народной русскости».

Поскольку в XVIII в. гравирование рисунков осуществлялось в Академической мастерской по личному разрешению монарха, то сам выбор образов для тиражирования демонстрировал без дополнительных инструкций и распоряжений желание верховной власти. Мечтая стать известным и получить денежное или иное вознаграждение, художник должен был ориентироваться на эстетические вкусы заказчика и его идеологическое намерение показать современникам привлекательные образы империи. Это делало «костюмные» образы легко управляемыми.

Больше других Екатерине II понравилась версия, предложенная ей Ж. Лепренсом. Он приехал в Россию вместе с группой художников, приглашенных И. Шуваловым на службу во вновь открытую Академию ху-

---

<sup>11</sup> Уортман. 2002. С. 154.

<sup>12</sup> Тройницкий. 1913. С. 23.

<sup>13</sup> Берков. 1950; Рак. 1998. С. 100.

дожеств. Успешный и обласканный императрицей, молодой француз много путешествовал по империи, особенно по Остзейскому краю и Сибири. В результате этих поездок он описал Россию сначала как совокупность социальных типажей – стрельцов, духовных особ, городских и сельских торговцев, крестьян, нянюшек с детьми, ремесленников, дворянских девушек и т.д. Часть таких гравюр была даже объединена в специальные альбомные серии: «Стрельцы», «Торговцы», «Духовенство». Тогда православные священники представлялись Лепренсу той самой экзотикой, которая интересовала его соотечественников в России. Позже его внимание привлекли российские народы. В рисовальных альбомах Лепренса и ранее встречались образы «польского янычара», «финской женщины», «чувашки», «мордовки», «татар», но чем больше художник погружался во внутреннюю жизнь империи, тем больше появлялось у него рисунков, посвященных «русским». В гравюрах Лепренса это люди из разных социальных групп, разных возрастов и полов, связанные общими «нравами» или ритуалами повседневности. В отличие от этнографических костюмов, они не манекены, а люди-функции: кто-то молится, кто-то нянчится, кто-то несет службу, кто-то строит дом, кто-то ест суп или пьет квас, а кто-то тянет сани. Они застигнуты взглядом художника в их рутинной жизни. Собранные воедино данные гравюры представили зрителю хронику русской повседневности.

Для этого художник создал единую композицию из костюмного образа и жанровой сцены. Во второй половине столетия крестьянские образы «в стиле Вагто» активно импортировались в отечественную визуальную культуру. В рисунках Лепренса «русскость» и «нерусскость» воплощены в театральные сценки: «прогулка», «строительство дома», «застолье», «игры», «танцы». В созданных на их основе гравюрах категория «народ» предстала как набор характерных сюжетов-действий. Сам по себе их поиск привел художника, а потом и зрителей к наблюдениям за традиционной (прежде всего, сельской) культурой людей, причисляемых на разных основаниях к «русским». В контексте этих наблюдений православная идентичность стала использоваться как один из идентификационных признаков. Лепренсовские типажи молятся, отпевают умерших, стоят на фоне православных храмов, в интерьере церкви, живут среди икон с нательными православными крестами.

По-видимому, его взгляд на «русскость» соответствовал не только рациональному желанию императрицы, но и эмоциональным настроениям российских интеллектуалов, их представлениям о специфике русской культуры. Впрочем, они не были безусловными. Х. Ян выделил, по крайней мере, два различных понимания русского характера, которые

зародились в среде российских элит второй половины XVIII в. Одно из них увязывалось с простотой и естественностью крестьянской жизни: крестьянство рассматривалось как хранитель моральных и культурных ценностей нации. Соответственно, в фольклоре видели ключ к пониманию национальной сущности. Второе ассоциировало русский характер с пасторальной идиллией (в голландском стиле) и фольклорным «кичем»<sup>14</sup>. Видимо, в этом случае Х. Ян имел в виду то, что Н. Найт называет «фольклор как развлечение». Проявления данной тенденции воплотились в столь любимых знатными особами «народных» маскарадах, в устройении «русских трапез», в фольклорных праздниках.

В отличие от гравюр А. Дальштейна и Х. Рота, «русские» персонажи Лепренса не являются вторичными объектами. Они не воспринимаются ни символом занятия, ни каркасом для этнографической одежды. Более того, с точки зрения физической антропологии и даже особенностей костюма они напоминают типажи соответствующих европейских стран – голландских пейзажей, французских аристократов, немецких бюргеров и т.д. В любом случае его «русские» – это субъекты жизни, участники своей игры. Взятые из разных социальных слоев, они живут по особым, «русским» правилам – играют в салочки, скорбят на похоронах, дерутся на кулаках, проверяют простыни после первой брачной ночи, воюют с соседями, моются в бане, пляшут на празднике, пьянствуют в кабаке. Серия Лепренсовских гравюр посвящена наказаниям. Они тоже часть ритуальной жизни российских крестьян, и потому в них нет мрачности, а только любопытство и интерес наблюдателя<sup>15</sup>. Своими типажам Лепренс как бы убеждал зрителя: «Все эти такие разные люди – русские, потому что они живут по-русски».

Таким образом, созданный художником комплекс рисунков предложил зрителю не типаж, а нарратив народного образа жизни. Его просмотр выдает удивление автора, своего рода взгляд на экзотическую повседневность из мира европейской культуры. Рассматривая её, художник не держал в уме какой-либо дидактической задачи: исправления, искоренения или восхищения. Он редко касался психологической или социальной сторон русской жизни. В выбранном им фокусе зрения зафиксировались, прежде всего, культурные отличия. И поскольку его визуальный рассказ служил познавательным целям, то культурные различия присутствуют в нем как лишенная оценок констатация.

---

<sup>14</sup> Jahn. 2004. P. 56.

<sup>15</sup> Barkhatova. 2004. P. 75.

Рассказать о народе как о типе культуры было легко, когда речь шла о малоизвестном и однородном сообществе. Относительно же «русских» художник оказывался в ситуации выбора. Во-первых, какие локальные общества и культуры в неё включать? Во-вторых, заказ верховной власти на эту тему был несвободен от желания улучшить имперскую реальность. Российскую власть интересовали не столько реальные традиции и прошлое подвластной страны, сколько «русскость», понимаемая как некий желаемый просветительский продукт и будущая культура империи. Поэтому монархи тщательно отбирали, *что* можно и нужно видеть подданным и иностранцам, определяли, *что* есть красиво. В понимании Екатерины II, ставшей собственным примером утверждать новую модель достоинства, благородный человек (в отличие от «подлого народа») связан самоограничениями: он обладает физическим изяществом, духовной утонченностью и интеллектуальной цивилизованностью<sup>16</sup>. Визуализация идеального подданного подразумевала показ здорового стройного тела как проявления красоты души, поэтому в качестве репрезентантов русского народа в бытописательской графике появились образы молодых, веселых, опрятных, с хорошими манерами подданных «сельского состояния». Такими «русские крестьяне» предстали в рисунках Лепренса. Разошедшиеся массовыми по тем временам тиражами, гравюры принесли хороший доход автору и привнесли новую тему в европейское искусство. После него изображение «народных нравов» стало «общим местом» в отечественной графике. Визуальное народоведение империи распалось на рассказы о ритуалах и повседневности отдельных этнических групп. Любительские рисунки Барбиша прекрасно отражают новую практику видения и изложения обретенного знания<sup>17</sup>.

### *Экзотизация русских*

Утверждавшаяся в визуальном народоведении жанровость позволила «оживить» костюмы и приписать народам «характерные черты» – мыслившиеся неизменными культурно-психологические признаки. Благодаря этому у художника появилась возможность опосредованно, но вполне четко выразить отношение к типу политического правления в России (связь между «народным духом» и политическим строем в просветительской философии) и к культуре ее отдельных народов. Таким образом восполнялись пропущенные строки в таблице с описанием «ка-

---

<sup>16</sup> Уортман. 2002. С. 181-182.

<sup>17</sup> Видимо, с его акварелей не были сделаны гравюры. Они не публиковались и ныне хранятся в собрании Государственного Эрмитажа (Барбиш. Альбом рисунков «Киргизия. Обычай». 1793).

честв знатнейших европейских народов»<sup>18</sup>. Народов России в ней еще не было: их «качества» предстояло выявить и стереотипизировать. Социальный заказ на это объясняется активным вхождением Российской империи в европейскую политику и необходимостью сформировать отношение европейских обывателей к её народам.

В период наполеоновских войн, британские и французские графики внесли свой вклад в борьбу с Россией испытанными колониальными средствами – создавая образы дикарей и варваров. Значительную часть гравюр такого рода они создали на основе оригинальных рисунков и изданных гравюр Х. Г. Гейслера, художника много лет проведенного в путешествиях по просторам империи. Большой резонанс в Европе вызвали его многочисленные альбомы с тематическими зарисовками игровых и бытовых сцен<sup>19</sup>. Примечательно, что для «русских сцен» художник предпочитал использовать образ купца. По всей видимости, для Гейслера «русские» не являлись синонимом «крестьяне». Все участники его сюиты – степенные молодые мужчины с небольшими аккуратными бородками, обутые в сапоги и одетые в длинный сюртук и широкополую шляпу. Они разного роста, но одного возраста и с удивительно похожими друг на друга лицами. Внимание художника сосредоточено не на теле и лице персонажа, и даже не на костюме (то есть на выявлении отличий), а на передаче характера действия. И поскольку ему было важно показать специфику форм повседневной жизни, то его образы играют инструментальную роль означающих.

Композиционное решение Гейслеровских образов побуждало зрителя занять по отношению к ним позицию исследователя. Кажется, что художник предлагал их как источник информации или предмет для размышления. Соответственно, к зрителю персонаж обращался косвенно. Гейслеровские типажи редко смотрят в глаза зрителю, а когда делают это, то, как правило, с большой дистанции, значительно нейтрализующей силу воздействия их взгляда. Эффект «остранения» еще более усиливается в тех рисунках, в композиции которых присутствует фигура художника. Он изображен в форменном мундире, своей цветовой лаконичностью подчеркивающим варварское многоцветье народных одежд. Его образ неизменно занимает место между изображаемыми «костюма-

---

<sup>18</sup> На русском языке она много раз издавалась в XVIII – начале XIX в. в «Письмовнике»: Курганов. 1769.

<sup>19</sup> *Geissler*. 1803b; 1805a; 1805b; 1811. Кроме того, его гравюры изданы в следующих публикациях: *Geissler*. 1803a; 1804; 1794.

ми» и зрителем, стоя спиной к последнему и фокусируя его любопытствующий взгляд («Гейслер, рисующий татарскую девушку», 1793 г.).

Вторую особенность гейслеровской интерпретации выделила искусствовед Н. Гончарова: его типажные сцены «не свободны от гротеска»<sup>20</sup>. Примечательно, что ирония художника имеет разные оттенки применительно к «русским» и «нерусским» «костюмам». Экзотичность «нерусских» передавалась художником через едва уловимые искажения в пропорциях тел и необычные позы персонажей. Данная стратегия отчуждения была хорошо известна в западноевропейской колониальной графике. Художник знал, что поскольку зритель склонен «мерить» мир своим телом, то отступления от нормы воспринимаются как знак внутренней «порчи» персонажа и даже как признак нежизнеспособности. Оголенность, татуировка на голом теле, сидение на земле, широко расставленные колени, вывернутые руки, босые ноги, неопрятность костюма и даже его яркая расцветка – все это для просвещенного зрителя конца XVIII в. было маркером очевидной «нецивилизованности».

Гротеск в восприятии «русских» образов порождался не телами, а жанровыми сценами, в которых они участвуют. Изображение народа в контексте православных ритуалов, детских игр или наказаний в конце XVIII века служило указателем его низкого места на цивилизационной шкале. Согласно идеям Просвещения, обыденная и религиозная вера – это набор предрассудков, которые изживают себя по мере взросления человечества<sup>21</sup>. В связи с этим колониальные художники любили изображать племена во время исполнения религиозного обряда.

Визуальной стратегией отчуждения художник передавал культурную инаковость российских народов. Но грань между интерпретацией «другого» как «иногo» и как «плохого» (когда «иначе» приравнивается к «хуже») вообще довольно тонкая, к тому же возможность такой трансформации заложена в самой природе зрительского восприятия. Применительно к русским персонажам, перефразируя Лепренсовское визуальное утверждение, Гейслер мог бы сказать: «Да, они живут по-русски, и это есть варварство». Еще более жесткая тактика экзотизация была использована британскими путешественниками Р. К. Портером и Э. Д. Кларком<sup>22</sup>. Иллюстрирующие их тексты типажи изображены либо подобно заморским племенам (с босыми ногами, непокрытыми волосами, странными позами, с шаржированными лицами), либо как часть

<sup>20</sup> Гончарова, Корнеев. 1987. С. 65.

<sup>21</sup> Лекторский. 2007. С. 15.

<sup>22</sup> Porter. 1809; Clarke. 1810–1816.



фауны (с детенышами/детьми на руках), или в качестве манекенов для репрезентации необычного социального/исторического костюма.

«Русский центр» и «нерусская периферия» империи описаны Портером в двух разных томах. Основными героями иллюстраций первого тома являются русские социальные типажи: православные священники, монахи, казаки, гвардейцы, няни, дворяне, торговцы, извозчики. На протяжении всего рассказа о них Портер в разных вариациях возвращался к мысли об отсталости России во временном континууме, что позволяло говорить о диком образе жизни ее населения. Примечательно, что часть иллюстраций (например, воспроизводившие гравюры Лепренса) не подтверждали этих утверждений. Однако, конфликта между текстом и образом здесь не произошло благодаря успешной текстуальной стратегии автора. Демонстрируя внешне привлекательный образ и разоблачая его в вербальном описании, Портер объяснял соотечественникам, что применительно к России зрение обманчиво. Оно подводит европейца и загоняет его в ловушку. Суть русской культуры в том, что она внешне имитирует «европейскость», таковой не являясь. И в этом отношении она особенно опасна для цивилизации.

Использованный в разного рода изданиях, данный прием породил у европейского читателя стойкое убеждение, что внешность русских, а потому и визуальные впечатления путешественников обманчивы. Ссылаясь на это, Астольф де Кюстин в 1830-е гг. уверенно писал: «Нравы русских, вопреки всем претензиям этого полуварварского племени, еще очень жестоки и надолго останутся жестокими. Ведь немногим больше ста лет тому назад они были настоящими татарами. И под внешним лоском европейской элегантности большинство этих выскочек цивилизации сохранило медвежью шкуру – они лишь надели ее мехом внутрь. Но достаточно их чуть-чуть поскрести и вы увидите, как шерсть вылезает наружу и топорщится»<sup>23</sup>. Таким образом, современники убеждались – чтобы узнать «русскость», недостаточно увидеть «русских», их надо еще и «поскрести», чтобы обнаружить второй слой или подкладку.

Доктор Кларк усилил найденную Портером практику жесткой привязки «картинки» и текста, а также перекодирования изображения посредством вербальных комментариев. В нескольких оригинальных рисунках он использовал физиогномические конвенции для лицевого приписки персонажу культурно-психологических свойств («Девочка калмычка»). Впоследствии эти знаки были концептуализированы в двух разножанровых образах Российской империи во французской энцикло-

---

<sup>23</sup> Кюстин. 1990. С. 182.

педии М. де ла Бретона<sup>24</sup>. Один из них в аллегорической форме описывает место России между восточной (мусульманской) и европейской (христианской) цивилизациями. На гравюре неизвестного художника две статные и величавые женщины сидят в античных позах на кушетке и смотрят на девочку-подростка, стоящую перед ними (спиной к зрителю). Примечательно, что девочка с почтением обращается к христианскому наследию, имея за спиной мусульманскую традицию. Так, языком графической аллегии визуализировалась христианская идентификация русских как смешанная или «нечистая». Данное впечатление усилено антропологическим портретом империи, составленным из шаржированных лиц казака, калмыка, южно- и северо-русского типажей. Евразийская «физиогномия» России была помещена на обложку издания.

Зарубежная росика травмировала чувства просвещенных россиян, побуждая их к участию в сотворении образов русского народа и портрета Российской империи. Недовольство имеющимися графическими образами обосновывалось некомпетентностью или намеренной предвзятостью их создателей. Как правило, уверяли публицисты, записки и рисунки иностранных путешественников – это коллекция смехотворных казусов, небылиц и анекдотов<sup>25</sup>. Как всегда в таких случаях самым сильным аргументом «против» было указание на незнание иностранным путешественником русского языка и на его снобизм.

### ***Русский народ как культурная нация***

Сегодня объяснять экзотизацию иностранным происхождением художника было бы анахроничным упрощением. Во-первых, у приезжих графиков было много российских подражателей, а во-вторых, например, британский график Д. А. Аткинсон, работавший в том же жанре, добился иного зрительского эффекта. Дело, видимо, в априорной установке автора. Как ясно из сопроводительного текста к гравюрам, он, в отличие от Гейслера, стремился не раздать народам России характеристики-оценки, а показать «русский народ» как тип культуры и был убежден в ее европейском характере. В его сюите тоже есть сцены христианской жизни (венчание, отпевание), но здесь они служат пространством для показа культуры чувств «русского народа» (любви и горя). Характерно, что их участниками у Аткинсона являются дворяне.

Вслед за Лепренсом Аткинсон выделял «русских» из совокупности российских народов. В предисловии к альбому он признавался, что сделал это намеренно, стремясь показать европейцам большую и сильную

---

<sup>24</sup> Breton de La Martiniere. 1813.

<sup>25</sup> Особенно досталось за это доктору Э. Кларку. См.: *Svinine*. 1814. P. ii.

нацию, которая им не известна. Поэтому приоритетными для него были не детали костюма, а «верность представления», «живое изображение действий, выражений, характеров». И по признанию современных искусствоведов, «в рамках жанра художнику это удалось»<sup>26</sup>. Развивая в себе способность ценить оригинальность Другого, британский художник помогал этому Другому обретать её. Такая установка давала возможность не только для терпимости, но и для солидарности, для ответственности за неповторимость «русских». «Нерусские» типажи (как правило, кочевые народы) в его рисунках играли роль культурного фона, на котором становилась очевидной «европейскость» (а следовательно, цивилизованность) главного персонажа. Пространством проявлений национального характера русских Аткинсон считал следующие ситуации: мытьё в бане, свадебный обряд, похороны, наказания, специфические городские и сельские занятия, охота, передвижения на повозках, церковный и повседневный быт, развлечения (игры, танцы, драки). Таким образом, для него это своего рода хронотоп «русскости».

Гравюры Аткинсона были изданы в Лондоне в виде дорогостоящего издания с золотым обрезом. Массовому зрителю его композиции стали известны через копии А. Г. Убигана, сделанные в 1830-е годы. В его версии участниками православных ритуалов стали не дворяне, а социальные низы. Это обстоятельство не однажды ставило в тупик организаторов выставок. Как выяснилось в ходе моего исследования, замысел «опрошения» исходил не от французского рисовальщика. Он воспроизвёл данные сюжеты по одноименным гравюрам Е. Корнеева, вышедшим в 1812 г. в Париже и мало известным массовому потребителю<sup>27</sup>.

Для Корнеева, вовлеченного в обсуждение проблемы национальной идентичности, христианская суть русского крестьянина была принципиальной. Воспитанник исторического класса Академии художеств, участник интеллектуальных объединений патриотического характера, он сознательно искал художественные средства для солидарности соотечественников. В результате его работа оказалась сосредоточенной на телесности. В рисунках Корнеева «русский народ» обрел амбивалентное тело: в костюмных сценах – это соответствующее крестьянской или фольклорной эстетике дородное тело, а в жанровых сценах – это соответствующее западноевропейским представлениям о красоте субтильное («дисциплинированное») тело. Но и в том, и в другом случаях крестьянские персонажи помещены в пространство цивилизации, то есть

---

<sup>26</sup> Пожарова. 2002. С. 8.

<sup>27</sup> Rechberg. 1812–1813.

европеизированной жизни: досуговых развлечений, христианских традиций, добротных домов и дорогих вещей. В этой связи в его сюжете о русских появились образы старообрядцев, как символа «народной» (в контраст «церковной» или «обрядовой») православности.

В текстуальном пространстве того времени проблема «русскости» рассматривалась в связи с активизацией процесса самоидентификации элит, что потребовало от образованного меньшинства России переструктурирования собственной самости, введения в нее конструктов нации, национального образования, патриотизма, гражданственности, отечественной добродетели, славного прошлого и других составляющих глобального просветительского проекта. В связи с этим «русский» перестал быть «социальным другим» и воспринимался как часть самости.

Опровергнуть мифологию «дикой русскости» было трудно потому, что российские интеллектуалы почти не имели зафиксированных в письменных источниках исторических свидетельств. Их надо было либо найти, либо создать. Последние десятилетия XVIII века наполнены поисками «русского народного духа» в текстах прошлого: собирались и публиковались летописи, записывались пословицы, издавались сборники песен и сказок, скупались лубочные картинки. Опираясь на эти тексты, в дальнейшем выстраивалась позитивная отечественная традиция, а также осуществлялась её защита от альтернативных версий.

«Конструируя собственную самость в оппозиции к европейской идентичности, – пишет А. Дженкс, – русские элиты опирались на “привилегию отсталости”, используя крестьянские традиции, чтобы создать консервативную утопию, более аутентичную и древнюю, чем ее бездумная альтернатива на Западе»<sup>28</sup>. Видимо, уже тогда стало утверждаться осознание, что просветительство и модернизация могут быть осуществлены не только на общеевропейской основе. Теперь «русскость» выступала внутренней заботой, которую и познать надо изнутри и использовать следует для внутренних нужд. «Почему же Русским не пристойно описывать нравственность Русских? – вопрошал автор статьи о народных пословицах. – Тут дело идет не о похвальбе, а о том, как силою отечественной нравственности двигать души и разумы. Кто же лучше Русских это выведает? *Душа душу знает*. Свои ближе к своим, и потому лучше Русских высмотрят, что для них полезно (курсив в тексте – Е. В.)»<sup>29</sup>. Утверждалось представление, что приписываемая извне иден-

---

<sup>28</sup> Jenks. 2005. P. 21.

<sup>29</sup> О Русских пословицах... С.191.

тичность может служить лишь культурным вызовом и основанием для проверки собственных наблюдений<sup>30</sup>.

Для понимания читательской рецепции фольклорного наследия и отношения интеллектуалов к данному пласту культуры важны их комментарии к изданиям и журнальные отклики. Когда в 1792 г. М. Попов опубликовал сборник народных песен «Русская эрата», он заявил об историческом значении фольклора как источника знаний о древних русских, о периоде их дохристианской жизни. А когда в 1805 г. А. Львов выпустил второе издание русских песен, он утверждал, что фольклор – это ключ к пониманию современного национального характера, дающий доступ к самой сердцевине «русскости». Однако фольклор не значил мертвого неприкосновенного запаса. В этой связи примечателен призыв Измайлова, обращенный к братьям по перу: «Во Франции множество стихов из комедий Мольеровых сделались пословицами; и у нас бы множество выразительных и кратких стихов вошли в общее употребление, есть ли бы мы более занимались своею Словесностью»<sup>31</sup>. Фольклор надо было не только сохранять, но и творить, соединяя опыт простого народа с плодами европейского просвещения. Так оформляется культурная миссия российских элит – адаптировать к традиционной культуре европейские понятия, и тем самым удобрять ее.

Уже сам факт выделения «русской традиции» вел к тому, что отныне нравы и обычаи представляли в виде некоего систематизированного рассказа или структуры, противопоставленной, с одной стороны, европеизированной культуре, а с другой – нравам «диких» народов империи. Н. Найт пришел к выводу, что после признания интеллектуалами за фольклором статуса живой традиции и части национального наследия, в русском обществе утвердилась идея народа как нации-культуры<sup>32</sup>. После этого понятие «народ» перестало быть ограничено тотальностью реальных субъектов. Соответственно, отныне народ как этническая группа не был только продуктом языка и обычаев. Это была вещь в себе – скорее создатель, нежели продукт. Вместе с тем, изучая простонародную культуру, российские интеллектуалы стали по-новому оценивать свою непохожесть с ней. И если ранее они однозначно оценивали это как положительное свойство, как более высокий уровень развития и просвещения,

---

<sup>30</sup> «Повествования иностранных вызывают только нас, чтобы мы лучше и основательнее занимались тем, что составляет запись сердец, душ и помышлений Русских». Там же. С.193.

<sup>31</sup> Там же. С. 184-185.

<sup>32</sup> Knight. 2000.

то теперь непохожесть осознавалась как искажение, отступление от естественного (национального) развития и даже как социальное предательство. В этом контексте заходили разговоры об особом «русском взгляде» на империю. Но в чем он мог выразиться: в сюжетах, в манере письма, в происхождении художника? К поиску ответов на эти вопросы интеллектуалов подталкивали ожидания соотечественников, которые полагали, что если русская нация (о которой обычно говорили лишь в контексте рассуждений о европейских нациях) реально существует, то ее можно увидеть, то есть зрительно определить её представителей. Они верили, что это можно сделать так же, как можно в толпе выделить взглядом дворянина или крестьянина. Для культурной ситуации России Нового времени характерно повышенное доверие к результатам наблюдения. Вследствие этого на рубеже веков столь популярными стали пограничные жанры – литературные «программы» для художников, иллюстрированные поэмы и рассказы, руководства к овладению техникой рисунка, статьи с описаниями произведений искусства. Во всех этих текстах приметно пристальное внимание к визуальным образам русского человека.

Вместе с тем, все эти проявления интереса к народному тогда еще не означали существования сформировавшегося национального дискурса или целенаправленного осуществления «национального проекта». Ни того, ни другого на рубеже веков не было. Однако явно проявлялось желание найти некий механизм или способ для создания либо имперского, либо иного единства в условиях ослабления конфессиональной идентификации. И на то, во что воплотилось это желание, оказывали влияние различные факторы, в том числе спор карамзинистов и шишководов о выразительных возможностях русского языка<sup>33</sup>.

В предвоенное десятилетие полемика между ними и их приверженцами провела две культурные границы: «русский/славянский» и «русский/российский». В общих чертах для А. С. Шишкова, как и для Гейслера, «русскость» представлялась местным вариантом варварства. Полемист противопоставлял ей «славянскость» как знак элитарной культуры, древней традиции, как символ благородства и одновременно концепт, связанный с православной духовностью и мудростью<sup>34</sup>. Из синтеза бытовой «русскости» и высокого «славянства», по мнению Шишкова, должна родиться «российскость»<sup>35</sup>. Для его оппонента Н. М. Карамзина, «славянщизна» – архаизм, омертвевший канон церковной культуры, сдерживающий естественное развитие «русскости»,

<sup>33</sup> Лотман, Успенский. 1975; Гаспаров. 1999.

<sup>34</sup> Шишков. 1811.

<sup>35</sup> Шишков. 1804.

которую он считал живой практикой отечественной жизни<sup>36</sup>. И хотя спор шел о вербальном языке, он затронул и визуальный. Пишущим на русские темы художникам предстояло решить: является ли русский славянином (и в этом качестве должен воплощать наследника славянского прошлого и славянский тип культуры), или локальным вариантом европейца. Ответы были разные. Один из них дала «карикатура 12-го года».

### *Верующий герой карикатуры 12-го года*

Сейчас в распоряжении исследователей находятся около 200 листов, отложившихся в фондах изобразительных музеев и национальной библиотеки С.-Петербурга<sup>37</sup>. За два века их существования многие карикатуры были изданы в специальных художественных альбомах и в качестве иллюстраций к следовательским публикациям, а также к учебной литературе. Они не раз появлялись перед взором разных поколений россиян, а сегодня составляют неотъемлемую часть национальной памяти. Благодаря им, и по сей день исторические представления россиян содержат иронично-шаржированный образ наполеоновского солдата (совокупного «европейца») и сказочно-величественный образ его победителя («русского человека» того времени).

Для российских интеллектуалов Александровской эпохи это был первый коллективный опыт создания политической карикатуры, и он сопряжен с проектом издания патриотического журнала «Сын Отечества». Его инициаторами были молодые петербургские литераторы С. Уваров, И. Тимковский, А. Оленин, А. Тургенев, Н. Греч (официальный редактор). С журналом сотрудничали В. А. Жуковский, К. Н. Батюшков, А. Х. Востоков, А. П. Куницын, Э. М. Арндт, И. С. Крылов<sup>38</sup>. Подписавшийся на данное издание читатель находил в нем политические репортажи, литературные произведения, а в разделе «Смесь» читал короткие рассказы (анекдоты) о подвигах народных героев. Объявленный тираж «Сына Отечества» составлял 600 экземпляров. Но он сразу же оказался недостаточным. Н. Греч дважды увеличивал его вдвое, но и после этого все экземпляры были проданы.

Видимо, идея использовать властные ресурсы площадной речи и народных картинок возникла у столичных интеллектуалов спонтанно в критический момент войны, но она имела прецеденты в отечественной истории. Участники проекта хорошо помнили эффективность сатириче-

---

<sup>36</sup> Карамзин. 1984.

<sup>37</sup> Вишленкова. 2008.

<sup>38</sup> Исхакова. 2005. С. 527.

ских гравюр Екатерининской эпохи. Например, накануне издания указа о ликвидации монастырского землевладения по селам были разбросаны гравюры с изображением «челобитной калязинских монахов»: рисунок и рукопись, из которой он был изъят, посвящались разоблачению грехов монастырской братии<sup>39</sup>. А правительственная кампания по оспопрививанию сопровождалась бесплатной раздачей крестьянам гравюры «Споры и похвальбы между рябыми от упрямства и гладкими от послушания родителей». Современники считали, что она реально «послужила к распространению между простым народом спасительного прививания корьюей оспы и к уничтожению закоснелых предрассудков»<sup>40</sup>.

Военный опыт обращения к медиативным способностям «народного» визуального языка также оказался успешным: даже после сдачи Москвы и вопреки опасениям элит, «народ оставался спокоен; мысль о бессилии русской власти перевешивала ненависть к французам; особенно когда стали доходить известия о их безбожных деяниях в Москве и об оскорблении святыни»<sup>41</sup>. Действие эмоциональных рассказов о «бесчинствах басурман» оказалось эффективнее письменных призывов избегать паники и мародерства. Управление мыслями, чувствами, поступками неграмотного населения империи и было, по-видимому, основным намерением редакции: их адресата выдает тематика текстов, обилие в них слов и выражений простонародного языка. Молодые интеллектуалы творили мифологию народной войны: описывали сказочные подвиги, сочиняли походные песни и шуточные байки, привлекая для иллюстрации разговорные метафоры и рисунки с лубочными и народными образами<sup>42</sup>. Всем этим публикациям свойственны взволнованность, эмоциональность, вопросительно-восклицательные интонации, экспрессивная лексика и фразеология, что характерно для диалогов с равным партнером.

С журналом сотрудничали такие мастера графики как М. Богучаров, К. Зеленцов, И. Иванов, И. Тупылев, И. Терехов, Е. Корнеев, А. Венецианов, И. Шифляр, и лишь некоторые рисунки делали сами редакторы – художники-любители. Это коренным образом отличает российскую политическую карикатуру от британской, которую создавали люди, не имевшие специальной художественной подготовки<sup>43</sup>. Как и литераторы, иллюстраторы широко пользовались освоенной еще в

<sup>39</sup> Голлербах. 2003. С. 45.

<sup>40</sup> Снегирев. 1822. С. 92.

<sup>41</sup> Дмитриев. 1998. С. 85.

<sup>42</sup> Это отличает графику и связанную с ней публицистику военного времени от литературы, которая говорила с читателем высоким стилем, насыщенным церковно-славянскими, библейскими и античными образами: Гаспаров. 1999.

<sup>43</sup> Pattern. 1983. P. 335.



XVIII в. практикой инверсии смысла текстов, взятых из иной культурной среды. Только теперь исходным материалом были не европейские рисунки, а фольклорные источники. Видимо, им пригодился опыт изучения народной культуры, обретенный в Вольном обществе любителей словесности, наук и художеств. Автор одной из первых статей о лубке сформулировал данную задачу следующим образом: «Может быть литография, усовершенствовав печатаемые доньше народные картинки и сказки, при содействии знающих и мыслящих людей будет способствовать просвещению народа столь удобным и простым способом»<sup>44</sup>.

В результате таких переработок на страницах журнала появлялись героические эпосы. Часть из них в рукописном виде сохранилась в архивном фонде А. Н. Оленина<sup>45</sup>. Часть из историй имела вполне реальную основу, заимствованную из сведений походной типографии Главного штаба или из писем офицеров<sup>46</sup>. Но и тогда они стилизовались под народные былины или сказания, сопровождалась аля-лубочными иллюстрациями, что придавало нарративу необходимую реальность. Той же цели служило указание на имя фиктивного автора письма (свидетеля происшествия, якобы видевшего всё своими глазами).

Констатируя успешность опыта редакции «Сын Отечества», но опасаясь в условиях новой официальной идеологии говорить об этом открыто, И. Снегирев писал: «Кто знает, может быть сии картинки и описания, утешая и научая их [народ], удерживают от пороков и преступлений! Может быть оне также служили средством к распространению любви отечественной и полезных мнений, к возбуждению мужества и храбрости в народе, который тогда понимает, когда говорят ему его же языком, близким к сердцу»<sup>47</sup>. Так о чем же хотели элиты говорить с народом на «его же языке»? А. И. Тургенев объяснил это П. А. Вяземскому в письме от 27 октября 1812 г.: «Назначение сего журнала – помещать всё, что может ободрить дух народа и познакомить его с самим собой»<sup>48</sup>.

<sup>44</sup> [Троицкая] Русская народная галерея... С. 94.

<sup>45</sup> Отдел рукописей и редких книг Государственной публичной библиотеки. Ф. 542 «Оленины». Ед.хр.11. 40 лл. «Так, – сообщал Дмитриев, – распространился рассказ о Русском Сцеволе, о том, как старостиха Василиса перевязала пленных французов и привела на веревке к русскому начальству; как один казак победил нагайкой троих артиллеристов и отнял у них пушку, как голодные французы на требование хлеба услышали от старухи, что у нее осталась одна коза, и бросились со своими товарищами из деревни. Все это было ко времени и кстати и производило сильное действие». *Дмитриев*. 1998. С. 85.

<sup>46</sup> *Тартаковский*. 1962. С. 233-255; Полное собрание анекдотов...

<sup>47</sup> *Снегирев И.* 1822. С. 90-91.

<sup>48</sup> Остафьевский архив князей Вяземских. С. 8.

Сотрудничавшие с журналом художники тоже следовали этому правилу – объясняли своему зрителю, что происходит и какой он есть – «природный русский народ». Или показывали, каким он должен быть.

Для показа «русского народа» художники использовали несколько ключевых метафор («русский – это сильный богатырь», «русский – это любящий сын», «русский – благоразумный и добродетельный подданный»). Казалось бы, потребность в военной мобилизации, онтологизация границ «русскости» и «европейскости» должны были ввести в «русский проект» православную идентичность, но этого не произошло. «Русскость» в военных карикатурах прочно спаяна со славянским героическим прошлым и языческим представлением о поведенческой норме в условиях войны. Об этом свидетельствуют визуальные символы (элементы «славянского» костюма, заимствованного из исторических полотен, отнюдь не смиренное боевое настроение, участие стариков, детей и женщин в войне, принуждение врагов плясать и т.д.) и вербальные комментарии (фольклорные присказки, песни, балаганские шутки). А. Дженкс, изучавший творчество палехских иконописцев, объяснил данный феномен так: «Русское православие, ключевой маркер русской имперской идентичности, было само по себе продуктом импорта, заимствованием из универсальной христианской церкви, и оно было открыто для людей всех этносов»<sup>49</sup>. Поэтому попытки считать церковь источником формирования национальной идентичности поставили перед отечественными интеллектуалами серьезные проблемы границ, отделяющих русских от других этнических групп. Кроме того, отсутствие среди визуальных метафор, циркулировавших в карикатуре 1812-го года тандема «русский-православный» я объясняю опасением редакции, что при введении маркеров конфессиональной идентичности появилась бы опасность разделить воюющих за Россию людей на «подлинных русских» и «не настоящих русских». К тому же военная мобилизация потребовала показа откровенного силового действия, приписанного мирному сельскому населению, что противоречило православной традиции означивания подвига. Не случайно в проповедях того времени война интерпретировалась как космогоническое противоостояние, в которое человеку преступно вмешиваться<sup>50</sup>.

В границы русской культуры карикатуристы включили набор добродетелей, а в пространство «не-культуры» вынесли отвергаемые моральные качества, приписанные её носителям-европейцам. Следуя пра-

---

<sup>49</sup> Jenks. 2005. P. 5.

<sup>50</sup> Парсамов. 2006.

вилам фольклора<sup>51</sup>, художник «награждал добродетель» (верующий русский народ) и «наказывал порок» (забывшего Бога и отбросившего христианскую мораль европейца), «усмирял гордость» (Наполеона и его генералов) и «возвышал смирение» (терпеливого русского мужика). В военных сатирических картинках враг всегда лучше вооружен, но русские быстрее, храбрее, сообразительнее. Подобно фольклорным персонажам, русский герой – это человек духа, который совершает поступки открыто, а его враги действуют трусливо и скрываясь. Это давало «русскому» больше, нежели противнику, прав на жизнь.

Итак, карикатура показала современникам «русскость» как альтернативный («европейскости») тип культуры, а «русский народ» как основанное на ней «многонародное» сообщество одинаково чувствующих и поступающих людей веры – без конфессиональных ограничений.

В послевоенные годы коммуникативное пространство национального видеодискурса распалось на несколько альтернативных версий.

1. В официальной версии бинарная оппозиция «русский–европеец» была заменена на более универсальное различие «власть–народ». При этом власть показана через сакральные знаки Богоизбранности, а народ воплощен в фольклорно-славянские образы. Тем самым, «русскость» была отнесена к временам церковного и духовного единства с Европой<sup>52</sup>.

2. Запущенное в массовую культуру визуальное послание интеллектуалов в «низовой культуре» опростилося. В лубочном и декоративно-прикладном производстве самым живучим и популярным оказался языческий образ «русского» как метафоры силы.

3. В национальный проект интеллектуалов вошли знаки православной идентификации «русского народа». Мирный «русский» предстает человеком православной этики жизни. Эта идентификация стала с одной стороны, результатом соединения западноевропейского представления о связи гражданской нации с конфессиональной традицией, а с другой – религиозного мистицизма, охватившего российские элиты в послевоенное десятилетие<sup>53</sup>.

Несмотря на неустойчивость связи создаваемого концепта «русский народ» с православными маркерами, несомненным представляется уча-

---

<sup>51</sup> «Нельзя не заметить того, что почти во всех Русских сказках (дошедших до нас по большей части искаженными) награждается добродетель и наказывается порок, смиряется гордость и возвышается смирение. В сих отношениях не лучше ли они многих романов, кружащих головы и развращающих сердце тысячам молодых людей обоего пола!» ([Троицкая] Русская народная галерея... С. 93)

<sup>52</sup> Вишленкова. 2004.

<sup>53</sup> Вишленкова. 2002.

стие в национальном воображении его творцов их конфессионального опыта. Другое дело, что ни опыт, ни воображение не были гомогенными. Иконописный символизм и библейские метафоры послужили строительным материалом для визуального описания империи, а языческие символы и знаки легли в основу «фольклорно-русского» нарратива. Их вербализация была достигнута в недрах рождающейся искусствоведческой критики, сумевшей в 1820-е гг. генерализировать основные понятия национального мышления и определить критерии «русского» искусства<sup>54</sup>. В контексте создания и утверждения национального художественного канона, в 1830-е гг. православная этика была тесно соположена с разработанным в публицистике концептом «народность».

### БИБЛИОГРАФИЯ

- Берков П. Н.* Владимир Игнатьевич Лукин. М.–Л., 1950.
- Вишленкова Е. А.* Заботясь о душах подданных: религиозная политика в России первой четверти XIX века. Саратов, 2002.
- Вишленкова Е. А.* Сокровищница русского искусства: история создания (1780–1820-е годы). Препринт ГУ ВШЭ. Серия WP6. М., 2009. 63 с.
- Вишленкова Е. А.* Увидеть героя: создание образа русского народа в карикатуре 1812-го года // Декабристы: Актуальные проблемы и новые подходы/ Ред. О. И. Киянская. М., 2008. С. 136-153.
- Вишленкова Е. А.* Утраченная версия войны и мира: символика Александровской эпохи// *Ab Imperio*. 2004. № 2. С. 171-210.
- Гаспаров Б. М.* Поэтический язык Пушкина как факт истории русского литературного языка. СПб., 1999.
- Голлербах Э.* История гравюры и литографии в России. М., 2003.
- Гончарова Н. Н., Корнеев Е. М.* Из истории русской графики начала XIX века. М., 1987.
- Дмитриев М.* Главы из воспоминаний моей жизни. М., 1998.
- Жабрѣва А. Э.* Изображение костюмов народов России в трудах ученых Петербургской Академии наук XVIII века // [www.rba.ru/or/comitet/12/mag7/2.pdf](http://www.rba.ru/or/comitet/12/mag7/2.pdf).
- Живов В.* Язык и культура в России XVIII века. М., 1996.
- Земскова Е.* Русская рецепция немецких представлений о нации конца XVIII – начала XIX века: Дисс... к.и.н. М., 2002.
- Исторические понятия и политические идеи в России XVI–XX вв. СПб., 2006.
- Исхакова О. А.* Сын Отечества // *Общественная мысль России XVIII – начала XIX века: энциклопедия*. М., 2005.
- Каменский А. Б.* Подданство, лояльность, патриотизм в имперском дискурсе России XVIII в.: к постановке проблемы // *Ab Imperio*. 2006. № 4. С. 59-99.
- Карамзин Н. М.* Сочинения. Т. 2. Л., 1984.
- Козлов С.* «Гений языка» и «гений нации»: две категории XVII–XVIII веков // *Новое литературное обозрение*. 1999. С. 26-47.
- Крашенинников С. П.* Описание земли Камчатки. С приложением рапортов, донесений и других неопубликованных материалов. М., 1949 [1818].

<sup>54</sup> *Вишленкова*. 2009.

- Курганов Н. Российская универсальная грамматика, или Всеобщее письмословие, предлагающее легчайший способ основательного учения русскому языку с семью присовокуплениями разных учебных и полезнозабавных вещей. СПб., 1769.
- Кюстин, маркиз Астольф де. Николаевская Россия. La Russie en 1839. М., 1990.
- Лекторский В. А. Вера и знание в современной культуре // Вопросы истории. 2007. № 2.
- Лотман Ю., Успенский Б. Споры о языке в начале XIX века как факт русской культуры // Ученые записки Тартуского ун-та. 1975. Вып. 358. С. 168-254.
- Марасинова Е.Н. Самодержавие и дворянство (Begriffsgeschichte русского XVIII века) // Study Group on Eighteenth-Century Russia. Newsletter, 2004. № 32. P. 21-28.
- Молотова Л.Н., Соснина Н.Н. Русский народный костюм из Собрания Государственного музея этнографии народов России. Л., 1984. С. 7.
- О Русских пословицах (Второе письмо Старожилова) // Русский Вестник. 1809, № 8. Остафьевский архив князей Вяземских. Т. 1. СПб., 1899.
- Отдел рукописей и редких книг Государственной публичной библиотеки. Ф.542 «Оленины». Ед.хр.11 «Собрание разных происшествий, бывших в нынешней войне с французами». Мемуары [1812-1813]. 40 лл.
- Открываемая Россия, или Собрание одежд всех народов, в Российской империи обретающихся. СПб., 1774-1775.
- Парсамов В. С. Библейский нарратив войны 1812-1814 годов // История и повествование: Сб. ст. М., 2006. С. 100-121.
- Пожарова М. А. «Представь мне щеголя...»: Мода и костюм в России в гравюре XVIII века. М., 2002.
- Полное собрание анекдотов достопамятной войны россиян с французами. М., 1814.
- Рак В. Д. Русские литературные сборники и периодические издания второй половины XVIII века. М., 1998.
- Снегирев И. Русская народная галерея, или лубочные картинки // Отечественные Записки. 1822. Ч. XII.
- Соловьев Н. Русская книжная иллюстрация XVIII века // Старые годы. 1907, июль-сентябрь.
- Тартаковский А. Г. Из истории русской военной публицистики 1812 года // 1812 год. К столетию Отечественной войны. М., 1962. С. 233-255.
- [Троицкая] Русская народная галерея, или лубочные картинки // Отечественные Записки. 1822. № 30 (октябрь).
- Тройницкий С. Фарфоровые табакерки императорского Эрмитажа // Старые годы. 1913, декабрь.
- Уортман Р. С. Сценарии власти: Мифы и церемонии русской монархии от Петра Великого до смерти Николая I. Т. 1. М., 2002.
- Ширле И. Учение о духе и характере народов в русской культуре XVIII века // «Вводя нравы и обычаи Европейские в Европейском народе». М., 2008. С. 119-137.
- Шишков А. С. Рассуждение о старом и новом слоге российского языка. СПб., 1804.
- Шишков А. С. Рассуждение о красноречии Священного Писания. СПб., 1811.
- Die Interdisziplinarität der Begriffsgeschichte. Hamburg, 2000.
- Foucault M. Discipline and Punish: The Birth of the Prison. L., 1991.

- Barkhatova E. V.* Visual Russia: Catherine II's Russia through the Eyes of Foreign Graphic Artists // *Russia engages the World, 1453–1825* / Ed. C. H. Whittaker. L., 2004.
- Breton de La Martiniere J.-B.-J.* La Russie, ou Moeurs, usages et costumes des habitans de toutes les provinces de cet empire. Ouvrage orné de... planches, représentant plus de deux cents sujets, gravés sur les des originaux et d'après nature, de M. Damame-Demartrait et Robert Kerr Porter. Extrait des ouvrages angl. et allem. T. 1–6. P., 1813.
- Clarke E. D.* Travels in Various countries of Europe, Asia and Africa. 2 vols. L., 1810–1816.
- Dahlstein A.* Costumes Moskovites et cries de S.-Petersbourg. Cassel, 1755.
- Geissler Ch.G.H.* Beschreibung der St.Petersbourgische Hausierer heraus gegebenen Kupfer zur Erklärung der darauf abgebildeten Figuren. Leipzig, 1794.
- Geissler Ch.G.H.* Abbildung und Beschreibung der Völkerstämme und Völker unter des russischen Kaisers Alexander menschenfreundlichen Regierung. Leipzig, 1803(a).
- Geissler C.G.H.* Mahlerische Darstellungen der Sitten Gebräuche und Lustbarkeiten bey den Russischen, Tatarischen, Mongolischen und andern Völkern im Russischen Reich. Leipzig, 1803 (b).
- Geissler Ch.G.H.* Tableaux pittoresques des moeurs, des usages et des divertissemens des Russes, Tartares, Mongols et autres nations de l'empire Russie. Leipzig, 1804.
- Geissler C.G.H.* Spiele und Belustigungen der Russen aus den niedern Volks-Klassen. Leipzig, 1805(a).
- Geissler C.G.H.* Strafen der Russen. Leipzig, 1805(b).
- Geissler Ch.G.H.* Second voyage de Pallas. Planches. Paris, 1811.
- Georgi J. G.* Bemerkungen einer Reise im Russischen Reich in den Jahren 1773 und 1774. Bd. 1-2. St.-Pb., 1775.
- Georgi J. G.* Beschreibung aller Nationen des Russischen Reichs, ihrer Lebensart, Religion und übrigen Merkwürdigkeiten. V. 1–4. SPb., 1776–1780.
- Hempel C. F., Geissler C.G.H.* Abbildung und Beschreibung der ... Leipzig, 1803.
- Jahn H. F.* 'Us': Russians on Russianness // *National Identity in Russian Culture* / Ed. by S. Franklin, E. Widdis. Cambridge, 2004.
- Jenks A. L.* Russia in a Box. Illinois, 2005.
- Knight N.* Ethnicity, Nationality and Masses: Narodnost' and Modernity in Imperial Russia // *Russian Modernity* / Ed. by D. Hoffman and Y. Kotsonis. L., 2000.
- Pattern R. L.* Conventions of Georgian Caricature // *Art Journal*. 1983. Vol. 42. № 4.
- Porter R. K.* Traveling sketches in Russia and Sweden during the years 1805, 1806, 1807, 1808. Vol. 1. L., 1809.
- Rechberg Ch. de.* Les peuples de la Russie ou description des moeurs, usages et costumes des diverses nations de l'empire de Russie, accompagnée de figures coloriées. T. 1–2. Paris, 1812–1813.
- Russische Begriffsgeschichte der Neuzeit: Beiträge zu einem Forschungsdesiderat / Hrsg. P. Thiergen. Koln et al., 2006.
- Schierle I.* 'For the Benefit and Glory of the Fatherland': The Concept of Otechestvo // *Eighteenth-Century Russia Society, Culture, Economy. Papers from the VII International Conference of the Study Group on Eighteenth-Century Russia* / Ed. by R. Barlett and G. Lehmann-Carli. Wittenberg, 2004. P. 283-295.
- Svinine P.* Scetches of Russia Illustrated with Fifteenth Engravings. L., 1814.
- Вишленкова Елена Анатольевна**, доктор исторических наук, профессор, зам. директора ИГИТИ им. А. В. Поletaева (НИУ-ВШЭ); [evishlenkova@mail.ru](mailto:evishlenkova@mail.ru)

А. Б. СОКОЛОВ

## АНГЛИЙСКИЙ ХАРАКТЕР НЕМЕЦКИЙ ТРАВЕЛОГ XVIII ВЕКА В ЗЕРКАЛЕ СОВРЕМЕННОЙ КУЛЬТУРНОЙ АНТРОПОЛОГИИ

---

В статье поставлен вопрос о константности и/или изменчивости национального характера. Как воспринимался национальный характер англичан в конце XVIII – начале XIX в. и как такое восприятие соотносится с современными представлениями? Для анализа взглядов современников использованы некоторые труды представителей британской «моральной философии» начала XIX в. и сочинение немецкого путешественника К. Морица, посетившего Англию в 1782 г. Автор сравнивает представленные в тексте зарисовки манер, стиля общения и поведения англичан, юмора, патриотизма, кухни, одежды с выводами, содержащимися в исследовании К. Фокс (2004), выполненном в жанре «культурной этнографии».

**Ключевые слова:** национальный характер, образ страны, травелог, патриотический дискурс, К. Мориц, культурная этнография, К. Фокс.

---

Стремление раскрыть национальный характер всегда присутствовало в записках путешественников, но именно в конце XVIII в. национальный характер становится главным инструментом конструирования образа страны, что было следствием порожденного Французской революцией и национальной идеей патриотического дискурса. Авторы почти всех трудов о национальных характерах лишь повторяют источники, приводя из них разные (и даже противоположные суждения). Критерием их оценивания чаще всего служит субъективное восприятие историка.

В отечественной историографии ближе всех к теме национального характера англичан подошел Н. А. Ерофеев в известной работе «Туманный Альбион. Англия и англичане глазами русских 1825-1853»<sup>1</sup>. Его новаторство состояло не только в «открытии» темы как области исследовательского интереса историков и систематическом изучении источников, до этого вызывавших лишь эпизодический интерес, но и в определении методологических сложностей, обнаруживающихся в работе с источниками такого рода. Хотя, руководствуясь стандартами советской историографии, автор акцентировал значимость трудов Маркса, Энгельса, Ленина и цитировал их, в своих выводах он, в сущности, отходит если не от буквы, то от духа марксистской интерпретации. Трудно сказать, насколько это понимал сам Ерофеев. Однако обратим внимание: некото-

---

<sup>1</sup> Ерофеев. 1982.

рые понятия, которые он использовал, не вполне привычны в контексте его времени, но знакомы нам по более поздним трудам. Он утверждал:

«Из сказанного ясно, что этнический образ англичанина – это вовсе не слепок с реальности, не копия ее, а сложный сплав реальности и фантазии. За сложными и густыми наслоениями вымысла подчас трудно обнаружить реальную основу. Очевидно, поразительное совпадение образа англичанина в умах многих русских людей нельзя объяснить тем, что все видели одно и то же. Главная причина заключается в том, что все наблюдатели, несмотря на существенные расхождения в политических взглядах, руководствовались общей или сходной шкалой ценностей. Их оценки определялись общим умонастроением или тем, что в науке именуется *ментальностью* (курсив мой – А. С.)»<sup>2</sup>.

Нет нужды доказывать, что категорию *ментальность*, занявшую центральное место в новой культурной истории, нелегко уложить в прокрустово ложе марксистского подхода, определяющим в котором является учение о доминирующей роли экономических отношений. Рассуждая об английской нравственности, Ерофеев утверждал:

«Таким образом, многие факты (заметим попутно, что в качестве таковых он использует на самом деле суждения, как из журналов, так и из работы Энгельса – А. С.) противоречили мнению о высоком уровне английской нравственности. Это мнение не опиралось на серьезный и объективный анализ фактов – оно было произвольной *конструкцией* (курсив мой – А. С.). Из обилия различных явлений русские наблюдатели, по-видимому, отбирали только то, что соответствовало сложившимся у них представлениям, и не обращали внимания на все, что им противоречило. Задача исследователя состоит в том, чтобы выявить те априорные представления, которые направляли процесс отбора»<sup>3</sup>.

Разумеется, речь не идет о том, чтобы на основании слова «конструкция» сформулировать вывод о близости Ерофеева методологии конструктивизма. Скорее наоборот: последнее предложение из приведенной цитаты говорит о противопоставлении *наблюдателя* и *исследователя* и о способности последнего преодолеть противоречия в свидетельствах. Характерно, однако, что Ерофеев фактически считает задачу описания реального характера англичанина нереализуемой и переводит обсуждение в плоскость поиска факторов, повлиявших на позицию *наблюдателя*.

В поисках более надежного критерия для анализа такого рода исторических свидетельств, обратимся к трудам из области, называемой сейчас культурной этнографией. В основу этой статьи положено сопоставление двух очень разных, на первый взгляд, книг. В качестве основного источника избрано созданное в 1782 г. сочинение немецкого автора, Карла Филиппа Морица (1757–1793), в котором описано его пребывание

---

<sup>2</sup> Там же. С. 235.

<sup>3</sup> Там же. С. 225.



в Англии<sup>4</sup>. Оно не прошло мимо внимания современников – об этом говорит и факт русского издания (1804), и такое надежное свидетельство, как «Письма русского путешественника» Н. М. Карамзина, находившегося в поездке по германским землям, Швейцарии, Франции и Англии в 1789–90 гг. Его сочинение свидетельствует: знаменитый русский писатель и историк не просто был знаком с книгой Морица, но и встречался с ним в Берлине, где тот занимал должность профессора в университете. Кем же был Мориц? Карамзин сообщал об этом так: «Веди меня к Морицу, – сказал я по утру наемному своему лакею. – А кто этот Мориц? – Кто? Филипп Мориц, автор, философ, педагог, психолог»<sup>5</sup>. Карамзин утверждал, что «имел великое почтение» к Морицу, ибо был знаком с его книгой «Антон Райзер» и считал ее «любопытной психологической книгой», в которой автор описывал «собственные свои приключения, мысли, чувства и развитие своих душевных способностей». Равными ей он считал только «Исповедь» Руссо и «Историю моей молодости» Штиллинга – три эти книги «предпочтительнее всех систематических психологий в свете». Карамзин называл Морица «одним из первых знатоков немецкого языка» и выделял его труд «О языке в психологическом отношении». Но и сочинение Морица о путешествии в Англию Карамзин читал. Он замечал: «Человеку с живым чувством и с любопытным духом трудно ужиться на одном месте; неограниченная деятельность души его требует всегда новых предметов, новой пищи. Таким образом, Мориц, накопив от профессорского дохода своего несколько луидоров, ездил в Англию, а потом в Италию собирать новые чувства». Если о путешествии по Италии «публике еще не известно», то описание первого путешествия Карамзин читал с «великим удовольствием». Морица Карамзин представлял стариком, но тот оказался молодым человеком лет тридцати. В разговоре с русским посетителем Мориц, в частности, сказал: «Ничего нет приятнее, как путешествовать. Все идеи, которые мы получаем из книг, можно назвать мертвыми в сравнении с идеями очевидца. Кто хочет видеть просвещенный народ, который посредством своего трудолюбия дошел до высочайшей степени утончения в жизни, тому надобно ехать в Англию; кто хочет иметь надежащее понятие о древних, тот должен видеть Италию»<sup>6</sup>. Немало страниц «Писем русского путешественника» посвящено именно Англии. Было бы интересно проследить, в чем проявилось влияние травелога Морица на травелог Карамзина, однако это не является задачей изучения в настоящей статье.

---

<sup>4</sup> Путешествие Г- на Морица по Англии...

<sup>5</sup> Карамзин. 1964. С. 136.

<sup>6</sup> Там же. С. 136-137.

Вторая книга – это вышедшая в 2004 г. работа по культурной этнографии Кейт Фокс, ставшая бестселлером и вскоре переведенная на русский язык<sup>7</sup>. Методом включенного наблюдения она исследовала так называемую английскую самобытность. Эта книга дала возможность по-новому взглянуть на источник более чем двухвековой давности – ведь то, что делал Мориц, тоже своего рода «включенное наблюдение». Можно ли сказать, что результаты его наблюдения совпадают с теми, к которым пришла Фокс? Насколько успешным наблюдателем был Мориц? В этой статье ставятся два исследовательских вопроса: (1) Если мы признаем, что существуют свойства национального характера, то в какой мере они носят исторический характер, иными словами, обладали ли англичане, например, в конце XVIII века, теми же чертами национального характера, которые приписываются нашим современникам? Существует ли в этом отношении преемственность? (2) В какой степени имеющиеся источники, в частности, свидетельства путешественников-иностранцев позволяют судить о чертах национального характера англичан, насколько авторы способны «раскодировать» их?

Из книги Морица видно: сначала он находился в Лондоне, а затем совершил путешествие по стране, причем большую часть пешком, что создавало трудности, так как вызывало у многих англичан отношение к нему, как к «нищему или бездельнику». Однако для историков это стало счастливым обстоятельством: события в сочинении Морица описаны живо и конкретно, а общих, не относившихся непосредственно к его впечатлениям, рассуждений совсем немного. Кроме того, в силу особенностей своего путешествия Мориц оказался близок к народной жизни, большая часть его зарисовок относится именно к низшим классам. Книга Морица, богатая на любопытные детали, привлекла внимание не только современников, но и историков, занимавшихся социальной историей Англии, повседневностью и затрагивавших тему национального характера. На Морица ссылался известный английский историк либерального направления Дж. М. Тревельян в книге, написанной в 1939 г.<sup>8</sup> Он приводил свидетельства Морица в нескольких случаях: когда речь шла о моде и одежде англичан, в частности о внешнем виде членов палаты общин; об английской кухне и привычках, связанных с приемом пищи; о привычке английского народа к чтению. Тревельян утверждал, что известный политик Чарльз Фокс ввел моду на небрежность в одежде. Он указывал на плохое питание, которое получали в трактирах люди небогатые (в отличие от богачей, тративших на еду огромные средства).

---

<sup>7</sup> Фокс. 2008.

<sup>8</sup> Тревельян. 1959.

К таковым относился и Мориц, «оказавшись во власти хозяек английских пансионеров, которые обращались с ним так, как слишком многие из них до сих пор обращаются со своими несчастными постояльцами»<sup>9</sup>. Наконец, цитата из Морица приводилась для подтверждения мысли Тревельяна о высоком уровне развития английской литературы и об интересе к ней со стороны представителей разных слоев общества. Другим известным историком, обращавшимся к тексту Морица, был К. Хибберт<sup>10</sup>. Для него текст Морица служил доказательством тезиса о сохранявшейся в конце XVIII в. ксенофобии, о манере англичан одеваться, о путешествиях в дорожной карете и о гостеприимности некоторых английских пансионеров. Нетрудно заметить, что и Тревельян, и Хибберт использовали выдержки из сочинения Морица только как иллюстрации без какой-либо попытки их критического анализа.

При работе над статьей были привлечены некоторые труды русских путешественников, в том числе те, которые использовал при подготовке «Туманного Альбиона» Н. А. Ерофеев. И все же, в основе ее именно «Путешествие» Морица. В данном случае концентрация внимания на одном источнике позволяет эффективнее использовать преимущества метода «включенного наблюдения». Для характеристики черт английского характера были также использованы и кратко цитируются некоторые сочинения самих англичан, написанные в начале XIX в., относящиеся к жанру так называемой моральной философии. Полезными были и труды историков, в которых рассматривалась жизнь англичан на рубеже XVIII–XIX вв., в основном они написаны в жанре традиционной социальной истории, сложившемся еще XIX в. У истоков этого направления стоял Д. Р. Грин. Яркий труд такого рода – упомянутая выше книга Тревельяна. К изучению повседневной жизни, быта, правил поведения англичан обращались и другие авторы, которые подчеркивали «особость» своей нации, проявлявшейся в свойствах национального характера<sup>11</sup>.

Традиционная социальная история является по преимуществу историей быта и культуры<sup>12</sup>. Марксистская историография концентрировалась, в основном, на социальных конфликтах: революциях, восстаниях, народных движениях. Новая социальная история, расцвет которой пришелся на 1970–90 гг., опираясь на социальные и структурные теории, сфокусировалась на социальной динамике. Базируясь на массовых источниках, она фактически отвергла концепцию национального харак-

<sup>9</sup> Там же. С. 423.

<sup>10</sup> *Hibbert*. 1987.

<sup>11</sup> *Ashley*. 1967; *Johnson's England*...

<sup>12</sup> См.: *Семенов В.Ф.* Предисловие // *Тревельян*. 1959. С. 7.

тера как ненаучную. Для новых социальных историков, с их уверенностью в принципиальной возможности объективного освещения социальных явлений, неприемлемо такого рода заключительное суждение редактора одной из книг, посвященных английской самобытности: «Справедлив ли наш обзор, правильно ли распределились свет и тени? Судить об этом будет читатель. Но это не единственное сомнение, которое чувствует автор. Есть и другая вещь. Даже если наш портрет правдив, не является ли он портретом, характеризующим Англию наших дней, или наоборот, такой, какой она была вчера, – и не меняется ли Англия такими быстрыми шагами, что уже завтра наш портрет будет лживым?»<sup>13</sup> Таким образом, из всех видов социальной истории только традиционная была сосредоточена на английской «особости».

Историк Э. Баркер полвека назад задавал вопрос: подвергался ли национальный характер сдвигам или оставался постоянным?<sup>14</sup> Баркер полагал, что на развитие характера влияли события, происходившие в истории страны: пуританизм и новая мораль, рост политической и социальной толерантности, промышленная революция и рост городов, гуманизация развлечений. Однако неизменным оставался ряд черт национальной жизни. Прежде всего, это *социальная гомогенность*: несмотря на всю разницу в положении классов, в Англии никогда не было сильного «классового чувства»; его заменяло то, что многие называли «позицией». «Позиция», которую занимает человек, является отражением его возможностей, и уважение к «позиции» демонстрировало степень уважения в английском обществе к индивидуальности. Уважения достоин тот, кто продвигается благодаря способностям, а не по праву рождения. Снобизм, являвшийся объектом социальной критики, как раз отражал стремление занять ложную, не принадлежащую тебе «позицию». Вторая черта английской жизни – это приверженность к *любителству*, сочетание строго организованного профессионального порядка с «анти-профессионализмом». Англия всегда культивировала любителство: в спорте и политике, в хозяйствовании и даже науке. Многие великие англичане, от Кромвеля до Черчилля, от Маколея до Дарвина, фактически были любителями. «“Любителство” имеет свои недостатки, особенно в мире, становящемся более сложным и многообразным, но оно дает и преимущества, оставляя пространство для забавы (юмора и даже каприза), ибо почти в каждом англичанине живет жаждущий этого мальчик», – заключал автор<sup>15</sup>. Третья константа английского характера – идея

<sup>13</sup> The Character of England. P. 573.

<sup>14</sup> Ibid. P. 558.

<sup>15</sup> Ibid. P. 565.

*джентльмена*, носящая не классовый характер (по крайней мере, с XVI в.), а предписывающая особый кодекс поведения элиты. Смысл этого понятия трудно точно описать словами, но джентльмен знает, «как может поступить, и еще лучше знает, как не может поступить в любом случае»; он утончен, но иногда в глаза бросается не утонченность, а мужественность; он не стремится бросаться в глаза, но он в центре внимания. Четвертое, это *привычка к добровольному действию*. Англичанин все делает сам или в содружестве с другими такими же людьми, как он. Он не ждет ничего от «государства» и не передает свои дела на усмотрение правительству. Пятая черта национального характера – *эксцентричность*. Мнение об эксцентричности англичан разделяли многие иностранцы, говорившие о «бешеных собаках и англичанах» или, более мягко, о том, что «англичанином правит погода в его душе». Признавая, что «слухам об английской эксцентричности» есть немало подтверждений, автор вопрошал: «Являемся ли мы страной юмористов, в которой у каждого свой юмор? Не являются ли такие формы выражения способом самоутверждения, пузырями, позволяющими нам чувствовать себя в безопасности и защищенными? Нельзя ли также сказать, что предполагаемая самодостаточность, природный индивидуализм делают нашу эксцентричность выражением реальной, хотя часто бессознательной, эгоцентричности? Вряд ли это все миф. Но для большинства из нас так и остается загадкой, как страну “правильных форм” и флегматичных привычек можно одновременно рассматривать и как страну, восстающую против обычаев и канонов»<sup>16</sup>. Шестая черта – постоянное стремление сохранить свою *молодость*, как в физическом, так и в духовном смысле, кроме того, «есть постоянный интерес у тех, кто в возрасте, к молодым, почти не имеющий следов верховенства или патронажа – все поколения дружественны и равны». Наконец, особое место отводится религии: «Весь рост английских свобод связан с религиозной жизнью страны».

Если так об английском характере писали в середине XX в., то какие мнения о характере нации оставили английские авторы того времени, когда появилось интересующее нас сочинение Морица? Любопытным примером нестандартного мышления может служить книга почти забытого, к сожалению, Уильяма Бурдона. Он, в отличие от большинства авторов той эпохи, рассуждая о воспитании средствами истории, не только сомневался в пользу религии, но и утверждал: человек свободных взглядов не будет придерживаться предрассудков, проистекающих из национальных и местных корней, а будет порицать недостатки со-

---

<sup>16</sup> Ibid. P. 569.

отечественников и друзей, как любых других людей. Он писал: «Нет более явного и вызывающего признака непросвещенности, чем несправедливое предпочтение собственной страны или прошлых времен. Греки называли всех, кроме себя, варварами, и немного найдется современных наций, которые не думают о своей стране как о высшей по сравнению с другими»<sup>17</sup>. Но рассматривая патриотизм как предубеждение сознания и воспитания, Бурдон все же смотрел на англичан как на особую нацию. Например, он замечал, что слышал от иностранцев, будто среди жителей его страны больше людей эксцентричных (чудаков, как предпочитали писать русские путешественники), чем в любой другой. Соглашаясь, Бурдон объяснял эту особенность тем, что пользуясь свободой от деспотической власти, англичанин разнообразнее проводит свое время и свободнее пользуется своей собственностью, чем кто-либо еще. Отсюда проистекает различие в характерах, обнаруживающееся во всех частях империи, но особенно в метрополии. Мы видим здесь иное объяснение эксцентричности, чем то, которое давалось в «Характере Англии». Кроме того, фактором, влиявшим на национальный характер, Бурдон считал возможность общения людей разных рангов (та самая социальная гомогенность, которая отмечалась в предыдущем примере). По его мнению, размытость социальных границ прямо влияла на характер английского народа: «Турок и русский походят один на другого почти во всем, однако трудно найти двух похожих англичан, кроме как в общих чертах их характера: любви к своей стране, храбрости, любви к свободе. Эти черты перемешиваются и дополняются многими другими качествами, но сами по себе настолько сильны, что и составляют суть национального характера»<sup>18</sup>. Если так писал «критический» писатель, неудивительно, что другие авторы были еще последовательнее в прославлении своей нации.

Такой представитель «моральной науки», как шотландец Джон Гардинер, врач по профессии, называет патриотизм среди лучших качеств человека: «Любовь к справедливости, щедрость, благодарность, дружба, патриотизм и другие добродетельные проявления сознания не могут называться страстями, ибо они горят в человеческой душе спокойным, но постоянным пламенем, и если они правильно направлены, то являются великими украшениями человека»<sup>19</sup>. Как видим, ни Бурдон, ни Гардинер не придавали патриотизму националистического оттенка,

---

<sup>17</sup> *Burdon*. 1820. P. 136.

<sup>18</sup> *Ibid*. P. 86.

<sup>19</sup> *Gardiner*. 1803. P. 282-283.

тем не менее, их тексты вполне могут быть рассмотрены как «патриотические нарративы». Описание в них свойств национального характера британцев (в данном случае мы нивелируем различия, проявившиеся в отношении друг к другу у англичан и шотландцев), содержит сугубо положительные коннотации. Сочинения такого рода решали две основных задачи: социально-культурную и педагогическую; они конструировали национальную идентичность и воспитывали патриотизм. Как видим, во всяком случае, по приведенным примерам, принципиальных различий в оценках национального характера у британских авторов начала XIX и середины XX в. нет. Поэтому их невозможно рассматривать как критерий истинности при анализе сочинений авторов – не-англичан.

Убережемся, однако, от соблазна обозначить работу Кэйт Фокс модифицированным вариантом патриотического нарратива. Мы рассматриваем ее как часть научного дискурса. С травелогами дело обстоит сложнее. Возможно, что их следует интерпретировать как сочинения, прежде всего, педагогические (хоть это не единственная их функция), обращенные к своим соотечественникам (или людям мира) и призванные на примере других народов побудить к воспитанию (или к отторжению) качеств, приписываемых этим народам.

Итак, обратимся к двум главным источникам. Не имея возможности провести всесторонний анализ, ограничимся несколькими сравнениями. Начнем с погоды. Мориц много писал об английских ландшафтах и совсем немного о погоде. Тем не менее, он разделял расхожее мнение об особом характере английского климата: «Странно и вместе приятно было для меня видеть себя между одними Англичанами – между людьми, имеющими особый язык, особые нравы, *особый климат* (курсив мой – А. С.)»<sup>20</sup>. Смысл этой фразы в стремлении подчеркнуть свою близость английской нации вопреки ее особенностям. Тем не менее, в ней особый климат страны представлен как данность, как само собой разумеющийся факт.

Книга К. Фокс проясняет важную вещь: англичане так много говорят о погоде, начиная с нее любой разговор, что это заставляет многих поверить: английская погода и в самом деле представляет собой нечто необычное. Еще знаменитый английский писатель и ученый С. Джонсон в середине XVIII в. заметил: «Когда встречаются два англичанина, они сначала говорят о погоде». По мнению Фокс, это наблюдение, сделанное 200 лет назад, верно и поныне. Однако «после констатации данного факта многие исследователи заходят в тупик, не находя убедитель-

---

<sup>20</sup> Путешествие Г-на Морица по Англии. Ч. 1. С. 18.

тельного объяснения “одержимости” англичан погодой. Дело в том, что они исходят из ошибочных предпосылок, полагая, что когда мы говорим о погоде, мы и впрямь делимся впечатлениями о погоде. Иными словами, по их мнению, мы говорим о погоде потому, что испытываем глубокий (прямо-таки патологический) интерес к этой теме. И тогда большинство исследователей пытается выяснить, чем же примечательна погода в Англии»<sup>21</sup>. Кто-то замечает, что она своеобразна тем, что в ней нет ничего поразительного; кто-то утверждает, что она любопытна постоянной изменчивостью. Однако суть дела в том, что «говоря о погоде, мы говорим вовсе не о ней». Разговор о погоде – это форма речевого этикета, призванная помочь преодолеть природную сдержанность и начать общаться по-настоящему. «“Чудесный день, вы не находите?”, “Холодновато сегодня, правда?”, “Что, дождь идет, надо же!” – это не запрос информации о метеорологических данных, а ритуальные приветствия, дежурные выражения, помогающие завязать беседу и нарушить неловкое молчание»<sup>22</sup>. А поскольку английская погода действительно переменчива, то это делает ее удобным социальным посредником. В разговоре о погоде существует правило согласия, предполагающее, что требуется соглашаться с мнением собеседника или, по крайней мере, не высказывать противоположную точку зрения прямо («Сегодня холодновато – «Да, но мне достаточно тепло»). Другое правило предполагает взгляд на погоду как на члена семьи: иностранцам не дозволено ее критиковать. Если соглашаться с Фокс, то приходится признать, что Мориц не раскрыл главный «секрет» английской погоды, однако и правила для иностранцев он не нарушил. Несмотря на «особливый климат», с англичанами он чувствовал себя так, «как будто бы воспитан был с ними с самых ранних лет».

Мориц (напомним: по мнению Карамзина, один из лучших специалистов по немецкому языку) внимательно прислушивался к тому, как говорят англичане, что скрывают языковые формы и интонации. Например, он был явно впечатлен использованием обращения *Сэр* и возвращался к этому на протяжении книги не один раз. Описывая посещение парламента, он замечал: «Все речи клонятся к лицу оратора, и потому они всегда начинаются словом *Сар*. При сем слове оратор несколько приподнимает свою шляпу, и потом опять одевает. Этот *Сар* часто служит и для того, чтобы сделать переход в речи и бывает хорошим способом, как скоро кому изменяет память, ибо между тем, как он говорит

---

<sup>21</sup> Фокс. 2008. С. 35.

<sup>22</sup> Там же. С. 36.



Сэр, и при этом несколько останавливается, имеет он некоторое время, чтобы вспомнить следующее»<sup>23</sup>. Еще подробнее об употреблении слова *Сэр* Мориц писал на последних страницах своего труда, обобщая профессионально значимые для себя особенности английского говорения: «Слово *Sir* в английском языке имеет многообразное употребление. *Sir*, говорит англичанин своему королю, своему другу, своему врагу, своему слуге и своей собаке. *Sir* употребляется в учтивых вопросах. Парламентский ритор говорит *Sir*, желая с помощью этого слова сделать переход в таком случае, когда не находит более материи. И так, *Sir*, в вопросительном тоне значит, что Вам угодно. *Sir* в униженном тоне значит Всемилоостливейший государь, *Sir* в гордом и презрительном тоне – я дам тебе плюху. *Sir*, когда говорится к собаке, значит, что ее хотят побить».

Другое привлекшее его внимание выражение – *Never mind it*: «Ни одного выражения я не слышал здесь чаще, чем *Never mind it*. Один носильщик, оступившись, расшиб себе голову о мостовую. *Never mind it*, сказал англичанин, шедший мимо. Когда я велел свой сундук перевести с корабля на бот и матрос пробирался между лодками; то мальчик его, стоявший впереди, получал сильные удары, потому что другие не хотели его пропустить. *Never mind it!* говорил старик, продолжая гресть»<sup>24</sup>. В этих наблюдениях Мориц прикоснулся к области, которая носит в наше время название социолингвистика. Также чувствуется, что в наблюдаемых им языковых явлениях Мориц видел особенности национального характера англичан, хотя прямо не артикулировал их.

Никакой разговор об «английскости» не обходится без обсуждения английского юмора. Понимал ли его Мориц? У него нет прямых оценок юмора англичан, но есть эпизоды, позволяющие пролить свет на этот вопрос. Как поясняет Фокс, главная черта английского юмора – в ценности, которая ему придается. Почти никогда разговоры англичан не обходятся без подтрунивания, поддразнивания, иронии, уничижительных замечаний, шуточного самобичевания или просто глупых высказываний. В Англии в основе всех форм светского общения лежит скрытое правило, согласно которому запрещено проявлять излишнюю серьезность. Юмор становится способом провести грань между серьезностью и выспренностью. Многих иностранцев это приводит в замешательство. Одно из правил английского юмора Фокс назвала правилом самоуничтожения, поощряющим самоиронию: «Как бы поощряется демонстрация скромности. Это скрытый юмор, зачастую почти неуловимый. Умалая

<sup>23</sup> Путешествие Г-на Морица. Ч. 1. С. 75.

<sup>24</sup> Там же. Ч. 2. С. 165-166.

собственное достоинство, мы подразумеваем противоположное, мы высоко ценим человека, который принижает себя. Проблемы возникают, когда англичане следуют этому правилу в разговоре с представителями других культур, которые не способны оценить иронию и принимают наши самоуничижительные заявления за чистую монету»<sup>25</sup>. В соответствии с этим правилом можно интерпретировать эпизод из книги Морица с описанием церковной службы в маленькой деревне и осмотром церкви: «Некоторые из солдат, хотевшие показаться вольнодумцами, присоединились ко мне, когда я осматривал церковь. Казалось, что они даже стыдились ее, говоря: какая жалкая церковь. Тут осмелился я поучить их, что никакая церковь не может называться жалкою, если она заключает в себе честных и благоразумных людей»<sup>26</sup>. Представляется, что здесь перед нами случай непонимания особенностей английского юмора: англичанин просто пошутил по правилу так называемого преуменьшения, являющегося формой иронии. Мориц, будучи иностранцем, да еще лицом духовным, просто не мог принять предложенной англичанином иронии.

А вот в другом случае Мориц со своим собеседником-немцем «ухватили» момент юмора – таких эпизодов в книге немного. Речь идет о посещении одной из лондонских достопримечательностей, парка развлечений, так называемого Воксала. Немцы были удивлены «наглостью и бесстыдством здешних *непотребных* женщин. Они подходили к нам целыми дюжинами вместе со своими начальницами, которые самым бесстыдным образом требовали одну рюмку за другою для себя и своей свиты, в чем им никто и не отказывал». Тут произошло следующее: «один англичанин пробежал мимо нас чрезвычайно скоро. Некто из его знакомых спросил его, куда он идет. I have lost my Girl (я потерял свою красавицу) – отвечал он таким комически-важным тоном, который всех нас заставил смеяться. Казалось, что он искал свою красавицу так, как будто перчатку или палку, которые он где-нибудь оставил»<sup>27</sup>. В данном случае юмор строился по правилу самоуничижения, требующему демонстрации показной скромности, которая никак не вязалась с присутствием «красавиц» – «непотребных женщин». Память Морица сохранила «комически-важный» вид англичанина, одного из «чудаков», или эксцентриков, которыми богата, судя по травелогам, Англия.

Что еще показалось Морицу смешным? Вот как он описывал посещение парламента: «Чрезвычайно удивили меня явные оскорбления и грубости, которые парламентские члены делали друг другу; например,

<sup>25</sup> Фокс. 2008. С. 90.

<sup>26</sup> Путешествие Г-на Морица. Ч.2. С. 25.

<sup>27</sup> Там же. Ч. 1. С. 51.

когда один переставал говорить, то другой начинал непосредственно: it is quite absurd и так далее, то есть совершенную нелепость предлагал сей right honourable Gentleman (т.е. почтенный господин) – название, которым члены парламента друг друга титулуют. Никто не смеет сказать другому прямо в лицо: ты говоришь глупо, но обыкновенно делают обращение к оратору и говорят: этот почтенный господин говорил очень глупо. *Смешно смотреть* (курсив мой – А. С.), как один говорит, а другой делает за него жесты. Этот пример видел я на одном пожилом почтенном гражданине, который сам не отваживался говорить; но между тем, как говорил его сосед, он означал всякую важную мысль самыми выразительными жестами, причем все его тело приходило в движение»<sup>28</sup>. Эти примеры показывают: смешным Морицу казалось то, что не вписывалось в его представления о правильных проявлениях коммуникации, в том числе политической. Наоборот, не телесные, а словесные проявления юмора, по-видимому, не оценивались в должной мере.

Насколько изменились за два века правила поведения в питейных заведениях? В силу особенностей своего путешествия Мориц многократно останавливался в разных сельских трактирах, чтобы получить пищу и ночлег, и этот опыт не всегда был для него приятным. Недаром, однажды получив отказ в ночлеге, он предался мыслям о «всех тех неприятностях, которые испытал я уже в сих местах, и я не мог скрыть в себе негодования в рассуждении негостеприимчивости англичан, но сие негодование скоро укротилось, когда идучи далее, вспомнил я все те случаи, где был принят ласково»<sup>29</sup>. Хорошие воспоминания остались у него о трактире «Медведь», хозяин которого «ревел, как медведь, на своих людей». Мориц так описывал это посещение: «Сперва не ожидал я от него хорошего приема; однакож попробовал смягчить его и два раза выпил за его здоровье. Это средство помогло мне: он скоро сделался очень ласков и говорлив, и мы вступили с ним в разговор. Сию выдумку занял я у Вакефильдского Священника, который таким же образом делает хозяев своих ласковыми, заставляя их пить вместе с собою»<sup>30</sup>. Такое угощение настолько обрадовало хозяина, что он стал называть Морица сэром: «Я вижу, говорил он, что Вы благородный человек», и разговор вскоре перешел на политику. Трактирщик долго говорил о своем любимом короле Георге II, а вот Георг III «не удостоился его благосклонности». Он также много расспрашивал о прусском короле, и под конец поинтересовался, играет ли его гость на валторне. Выяснилось,

<sup>28</sup> Путешествие Г-на Морица. Ч. 1. С. 80-81.

<sup>29</sup> Там же. Ч. 2. С. 137-138.

<sup>30</sup> Там же. С. 72-73.

что когда он был мальчиком, в доме его родителей останавливался какой-то немец, игравший на этом инструменте. С тех пор он считал, что игра на валторне – отличительное качество всех немцев.

В другом трактире Морица приняли совсем иначе: «Кухня была набита мужиками, и я не мог распознать между ними хозяина, а то бы тотчас выпил за его здоровье. Тут я услышал, что одна девушка за всяким стаканом говорила: *your Health, gentlemen all!* (т.е. за здоровье всех вас, Господа!). Не знаю, как я забыл таким же образом выпить за здоровье всей компании, что принято было очень дурно. Хозяин с язвительной миной выпил два раза за мое здоровье, как будто бы желая пристыдить меня за мою неучтивость, потом начал смеяться надо мною вместе с другими мужиками, которые почти пальцами на меня указывали. Таким образом я должен был несколько времени служить посмеянием для низкой черни». Позже хозяин прекратил насмешки, «но когда я хотел выпить за его здоровье, он не согласился на это, и сказал мне колко, чтобы я сидел у камина и грелся, не заботясь о большом свете. Хозяйка сжалилась надо мною, повела меня из кухни в другую комнату, и оставляя одного, сказала: какой безбожной народ!»<sup>31</sup>. В обеих описанных Морицем ситуациях обнаруживается правило, названное Фокс «И себе нальете бокал?». Сегодня в английских пабах не принято давать на чай хозяину заведения или обслуживающему персоналу: «Вместо чаевых их обычно угощают напитками. Дать персоналу на чай – значит, в грубой форме напомнить им, что они являются прислугой, а угостив их напитком, Вы подчеркнете, что относитесь к ним, как к равным. В правилах, определяющих, как следует угощать напитками, находят отражение и принципы эгалитарной вежливости, и присущая англичанам щепетильность в отношении денег»<sup>32</sup>. Английская вежливость, к которой имеет отношение описанное правило, по словам Фокс, лицемерна, поскольку признана опровергнуть или замаскировать существование классовых различий, которые англичане чувствуют особенно остро. «Бесчисленные “пожалуйста” – это приказы и распоряжения в форме просьб, бесчисленные “спасибо” создают иллюзию товарищеского равенства; ритуал “И себе нальете бокальчик?” – это коллективный самообман: мы все делаем вид, что покупка напитков в пабе никак не связана с такими вульгарными вещами, как “деньги”, и с такими унижительными, как “обслуживание”», – разъясняла Фокс. Но можно ли считать это лицемерием? В каком-то смысле да, поскольку присутствует элемент обмана и маскировки, создается видимость гармонии и ра-

<sup>31</sup> Там же. С. 77-79.

<sup>32</sup> Фокс. 2008. С. 119-120.

венства, скрывающая иную социальную реальность. Но это только одна сторона: «Наша обходительность – это вовсе не отражение наших искренних подлинных убеждений, но и не циничные расчетливые попытки обмануть. Возможно, нам и впрямь необходимо, чтобы наш вежливый эгалитаризм защищал нас от самих себя, не допускал, чтобы наша острая восприимчивость к классовым различиям выражалась в менее пристойной форме»<sup>33</sup>. Как бы то ни было, не приходится сомневаться: Мориц вполне осознал значение обычая угощения и по возможности старался его использовать в собственных интересах.

Необходимость останавливаться в сельских трактирах – приют людей низших классов – ставила немецкого путешественника в ситуацию встреч с людьми грубыми, невоспитанными и даже опасными. Во всяком случае, он так воспринимал их, особенно если они находились под воздействием алкоголя. Недалеко от Ноттингема Мориц остановился на ночлег в трактире для матросов: «Никогда не видел я таких суровых и грубых людей, как сии матросы, которых и нашел я тут в кухне и с которыми должен был проводить целой вечер. Голос их, платье и вид – все было грубо и страшно, но их выражения были еще грубее. Ни одного слова не говорили они, не прибавив *God Damn Me*. Их клятвы, божба и брань продолжались безпрерывно. Впрочем, ни один из них ничем не оскорбил меня, и все пили за мое здоровье. Я не забыл также со своей стороны пить их здоровье, ибо в свежей моей памяти имел поступок прежнего моего хозяина в Матлокском трактире. И так всякий раз, наливши стакан, говорил я: *Your Health Gentlemen all!* (т.е. ваше здоровье, господа!)». Это воспоминание подвело Морица к более общему суждению: «Когда двое англичан бранятся между собой, то все тут, кажется, состоит более на деле, чем на словах. Они говорят мало и несколько раз повторяют сказанное, прибавляя *God Damn You*. Гнев их кипит внутри и скоро обнаруживается на самом деле». Любопытно наблюдение немца: «Несмотря на все это (т.е. на недостойное поведение гостей), хозяйка бывшая также в числе сей компании в кухне, старалась важничать и играть знатную роль (тоже форма эгалитарной вежливости? – А. С.). Наконец, отужинав, Мориц «спешил скорее в постелю, но сон мой был прерываем неистовым шумом матросов, которые почти ночь не умолкали»<sup>34</sup>. Конечно, матросы не относились к respectable части общества, но Мориц, возможно, воспринимал бы происходившее несколько иначе, если бы знал, что Фокс напишет через двести лет: «Ритуал обмена комплиментами – чисто английская особенность, причем он

<sup>33</sup> Там же. С. 122-123.

<sup>34</sup> Путешествие Г-на Морица. Ч. 2. С. 138-140.

характерен исключительно для женщин... Англичане мужчины поддерживают взаимодействие другими способами, которые на первый взгляд диаметрально противоположны ритуалу обмена комплиментами. Если англичанки захваливают друг друга, то мужчины-англичане, напротив, стараются принизить один другого. Их соревновательный ритуал я называю: “У меня лучше, чем у тебя”... В таких спорах мужчины иногда переходят на крик, бранятся, обзывают друг друга, и тем не менее в основе игры “у меня лучше, чем у тебя” лежат благодушие, дружелюбный настрой и скрытый юмор – понимание, что несходство мнений не стоит принимать слишком серьезно. Сквернословие, насмешки, оскорбления дозволительны, даже ожидаемы, но хлопанье дверью в порыве гнева или любое другое проявление *настоящих* чувств категорически запрещено<sup>35</sup>. Так не принимал ли Мориц ошибочно внешние проявления за подлинную враждебность? Смог ли он правильно интерпретировать формы коммуникации в компании, в которой оказался?

Конечно, Мориц оставил свидетельства и об английской кухне. Мягко говоря, путешественник не был ею восхищен: «Мне подали кусок холодной говядины и салату. Говядина или яйца и салат составляют обыкновенный мой обед и ужин во всех трактирах, где я ни останавливаюсь. Редко подают мне что-нибудь горячее. Салат приготавливаю я сам, как это сие здесь обыкновенно делается; для чего получаю все нужное»<sup>36</sup>. А вот другое описание: «Прекрасный белый хлеб с коровьим маслом и Честерским сыром награждают меня за умеренный мой обед, который обыкновенно состоит из куска полусваренной или полусжаренной говядины и из нескольких, в одной воде сваренных зеленых капустных листьев, на которые льют суп из муки и масла, что почитается в Англии обыкновенным способом приготавливать зелень. Ломти с маслом, которые подают к чаю бывают тонки, как маковый лист. Здесь употребляют особый прекрасный способ жарить сии ломти на огне. Взоткнувши на вилку, держать ломоть над огнем до тех пор, пока масло не войдет внутрь, после чего кладут другой, потом третий и так далее, так что масло проходит насквозь целый слой таких ломтей – это называется тост»<sup>37</sup>. Именно эти слова Морица напомнили Тревельяну знаменитую фразу Вольтера: у англичан сто религий и только один соус.

По мнению Фокс в жизни англичан еда – не главное, как у других народов, наоборот, острый интерес к еде расценивается в лучшем случае как странность, в худшем как нравственное извращение, нечто непри-

<sup>35</sup> Фокс. 2008. С. 72-73.

<sup>36</sup> Путешествие Г-на Морица. Ч. 2. С. 136.

<sup>37</sup> Там же. Ч. 1 С. 37.

личное, неправильное. «Наши взаимоотношения с едой и кулинарным искусством больше похожи на не очень счастливое сожительство без взаимных обязательств». Хотя социальный статус определяет, что вы едите, а также когда, с кем и каким образом, есть и общие пристрастия. Англичане всех классов убеждены, что чай обладает чудодейственными свойствами, а главное, «приготовление чая – прекрасный защитный механизм: когда англичане чувствуют себя неловко или испытывают неудобство в социальной ситуации (а это для них почти перманентное состояние), они заваривают и разливают чай». И далее: «А еще мы любим тосты, тост – основной продукт завтрака, универсальная удобная пища на все случаи жизни. То, что не излечит один чай, чай с тостом исцелит непременно»<sup>38</sup>. Судить по тостам о классовой принадлежности бесполезно: тосты любят все. А вот то, что мажется на тост, может дать представление о социальном статусе. Средний и высший классы считают маргарин пищей простолюдинов, а сами используют сливочное масло. Во времена Морица маргарина и тостеров еще не было, и большее внимание он уделил, не чаю, а кофейням, в которых «царствует глубокая тишина, всякой говорит тихонько со своим соседом, большая часть читает газеты и никто не смеет мешать другому»<sup>39</sup>. Однако и тогда тосты с маслом уже были «особливым прекрасным» кушаньем.

Путешествуя, Мориц продвигался не только пешком, но часть пути проделал в пассажирских каретах. Описание этих поездок, содержание разговоров, которые он слышал и в которых участвовал, многое дают для понимания английской повседневности XVIII века и ментальности англичан. Приведем, однако, только два высказывания. Первое отражает его удивление способом поездки: «В Англии есть очень странный способ ехать не в коляске, но на коляске, а именно: люди низкого состояния или которые не могут заплатить много, ездят не внутри, а на верху коляски, и хотя на ней нет перил и мест, однакож они сидят свободно, свесив ноги вниз... Кто умеет держаться в равновесии на верху коляски, тот сидит спокойно, и летом, в ясные дни едет с большим почти удовольствием, чем тот, кто сидит внутри. Жаль иногда очень беспокоит, между тем как внутри можно закрыть окошки, когда угодно»<sup>40</sup>. Почему Мориц говорит, что компания наверху неинтересна? То ли это люди не его круга, то ли путешественники предпочитают молчать? Другое высказывание немецкого автора позволяет сделать предположение

---

<sup>38</sup> Фокс. 2008. С. 376.

<sup>39</sup> Путешествие Г-на Морица. Ч. 1. С. 129.

<sup>40</sup> Там же. С. 153-154.

на этот счет, хорошо иллюстрируя правила поведения в пути. Так, Мориц ехал в коляске с офицером, а верх ее был занят женщинами и солдатами: «Я чувствовал несколько боль в голове и потому играл перед своим товарищем роль Мизантропа, которая ему, так как Англичанину, была бы, конечно, приличнее. Но тут случилось наоборот. Несколько раз начинал он со мною говорить очень ласково. После он признался, что сия мнимая молчаливость еще более привязала его ко мне»<sup>41</sup>. Как видим, именно молчание Морица импонировало его товарищу по поездке, да и сам автор вполне осознавал, что английская традиция не предполагала болтливости в такой ситуации.

Характеризуя правила поведения в пути, Фокс разъясняет: «Наш главный механизм преодоления скованности в общественном транспорте – это вариант того, что психологи называют «отрицанием»: мы стараемся не признавать, что находимся в пугающей толпе незнакомцев, и, замыкаясь в себе, делаем вид, что их не существует, – и большую часть времени делаем вид, что сами мы тоже не существуем. Правило отрицания требует, чтобы мы не заговаривали с незнакомыми людьми, даже не встречались с ними взглядами и вообще никоим образом не признавали их присутствия, пока к тому не принудит нас крайняя необходимость»<sup>42</sup>. По мнению Фокс, иностранцам не свойственны присущие англичанам страхи (что ты не алкоголик или псих, если заговорил), скованность и манья скрываетности, поэтому они с удовольствием вступают в непринужденный разговор. Мориц замечал, что англичанам не свойственна болтливость: «Ответы и выражения здешнего простого народа несколько уже приводили меня в удивление своею краткостью и значительностью. Когда я приехал назад со своим извозчиком, то хозяйка моя советовала не брать с меня лишнего, потому что я чужестранец. “Да если б он был и не чужестранцем, я бы не взял с него ничего лишнего”»<sup>43</sup>.

В заключение стоит сказать о патриотизме, понимавшемся многими авторами travelогов как национальная черта англичан. Мориц, безусловно, относился к их числу. Однако он видел истоки патриотизма в самой английской жизни, а не в поклонении монарху и не в муштре: «Видя как здесь самой последней работник оказывает свое участие во всех происшествиях, как малые дети входят уже в дух народа, как всякой обнаруживает свое чувство, что он человек и англичанин, так же, как король и его министр, видя все это, находишь в себе чувства, совершенно отличные от тех, с которыми смотрим мы в Берлине на уче-

<sup>41</sup> Там же. Ч. 2. С. 54.

<sup>42</sup> Фокс. 2008. С. 168.

<sup>43</sup> Путешествие Г-на Морица. Ч. 1. С. 27-28.



ние солдат»<sup>44</sup>. Чувства любви к отечеству рождается в детстве и разделяется людьми всех сословий: «Здесь всякой, даже из самого низкого состояния людей, беспрестанно твердит имя отечества, между тем как у нас употребляют его одни стихотворцы. Последнюю каплю крови пролью за свое отечество! – говорит часто маленький наш Джекки, мальчик, которому только двенадцать лет от роду. Патриотизм и воинская храбрость есть обыкновенное содержание всех баллад и народных песен, которые женщины поют здесь на улицах, и которые всегда можно купить за несколько пенсов»<sup>45</sup>. Однако любовь к отечеству не есть восхваление монархии или власти вообще. Скорее наоборот: многие англичане презрительно относятся к своему королю. Выше уже упоминался трактирщик, противопоставлявший Георга III его деду Георгу II. Мориц свидетельствовал: «Неуважение народа к королю простирается здесь очень далеко: сколько раз слышал я тут: *Our King is a Blockhead!* т.е. наш король суший болван; но между тем в то же самое время Прусского Короля превозносят до небес похвалами. “У сего последнего, говорят мне, голова мала, но ума в ней во сто раз более, нежели в большой голове Английского короля”».<sup>46</sup> Такие оценки отражают отношение англичан к своей монархии (престиж которой был невелик, тем более, когда она терпела поражения в Америке), а не являются простым противопоставлением качеств Георга III и Фридриха II, которого уже при жизни называли Великим. В словах Морица прослеживается завуалированная критика прусской монархии: недаром англичане удивляются «великому числу солдат, которых он (пруссский король) при себе держит, так что в одном Берлине их находится столь великое множество», а в лондонском Сити «ни одна рота королевской гвардии не смеет показаться».

Если верить книге Фокс, то англичанам чужда «пылкость и помпезная выспренность», которая «бьет через край» у многих наций, когда речь заходит о патриотизме. Не в этом ли одна из причин, что англичане и в конце XVIII века называли своего короля «болваном»? Фокс говорит о том, что англичане, как правило, «изумляются легковёрности ликующих толп, покупающихся на подобную высокопарную чушь», произносимую, в частности, американскими политиками. Англичане чувствуют неловкость, когда политики произносят «постыдные банальности смехотворно пафосным тоном». Она пишет: «С таким же неприятием и презрением мы воспринимаем сентиментальный патриотизм вождей и напыщенную серьёзность писателей, художников, артистов, музыкан-

<sup>44</sup> Там же. С. 88-89.

<sup>45</sup> Там же. С. 90.

<sup>46</sup> Там же. С. 91-92.

тов, ученых мужей и других общественных деятелей всех национальностей, ведь англичане за двадцать шагов чувят малейший намек на важничанье, они способны уловить его даже на зернистом изображении телеэкрана или в иностранной речи, которую совсем не понимают»<sup>47</sup>.

Конечно, в статье затронуты далеко не все связанные с английской самобытностью темы, которых касался Мориц. За пределами внимания остались, например, отношение англичан к одежде, алкоголю, восприятие ими детей и детства, религии. Почти не затронута отношение их к политическим институтам. Однако и приведенные примеры позволяют провести невидимую черту, не разъединяющую, а соединяющую две разные эпохи. Хотя и с осторожностью, но можно говорить, о некоей исторической составляющей, о преемственности, присутствующей вопреки материальным, социальным и культурным сдвигам, произошедшим более чем за два века. Есть и другая сторона: взгляд из сегодняшнего дня, использование материалов культурной этнографии помогает лучше понять, что скрывается в тексте путешественника XVIII века.

### БИБЛИОГРАФИЯ

- Ерофеев Н. А.* Туманный Альбион. Англия и англичане глазами русских 1825 – 1853. М., 1982.
- Карамзин Н. М.* Письма русского путешественника // Карамзин Н.М. Избр. соч. Т. 1. М.-Л., 1964.
- Путешествие Г- на Морица по Англии. В письмах. М., 1804.
- Тревелиян Дж. М.* Социальная история Англии. М., 1959.
- Фокс К.* Наблюдая за англичанами. Скрытые правила поведения. М., 2008.
- Ashley M.* Life in Stuart England. L., 1967.
- Burdon W.* Materials For Thinking. V. I. L., 1820.
- The Character of England / Ed. by E. Barker. Oxford, 1947.
- Gardiner J.* Essays, Literary, Political and Economical. V. I. Edinburgh, 1803.
- Hibbert Chr.* The English. A Social History 1066–1945. L., 1987 (1<sup>st</sup> ed. 1971).
- Johnson's England. An Account of Life and Manners of His Age / Ed. by A. S. Turberville. Oxford. 1933.

**Соколов Андрей Борисович**, доктор исторических наук, профессор, декан исторического факультета Ярославского государственного педагогического университета имени К. Д. Ушинского; [sokolov\\_1457@mail.ru](mailto:sokolov_1457@mail.ru)

---

<sup>47</sup> Фокс. Указ. соч. С. 81.

Е. А. КУЛАКОВА

## СОЧИНЕНИЯ БРИТАНЦЕВ О ПУТЕШЕСТВИЯХ В РОССИЮ ВТОРОЙ ЧЕТВЕРТИ XIX ВЕКА

---

В статье анализируются сочинения британцев о поездках в Россию в 1820–1840-х гг. Показано, что этническая принадлежность западноевропейских путешественников не столько определяла различия в их восприятии России и характера русских, сколько обуславливала цели опубликования травелогов и способ подачи материала. Особое внимание уделяется изучению мотивов публикации «путешествий», использования трафаретных сюжетов и своеобразия художественных приемов.

**Ключевые слова:** *травелог, британцы, путешествия в Россию.*

---

В XIX в. акт путешествия для англичан был тесно связан с написанием «путешествия»<sup>1</sup>. В. М. Гуминский указал, что популярность этого жанра в Великобритании объяснялась «развитой географической прозой, в которой традиции документальной литературы эпохи Великих географических открытий были особенно сильны»<sup>2</sup>. Распространение в начале XIX в. романтического мировоззрения и одновременно оформление индустрии туризма способствовали тому, что сочинения о путешествиях имели широкий спрос. В популярных журналах *Edinburg Review* и *Quarterly Review* регулярно появлялись комментарии и дискуссии о том или ином «путешествии». В журнале *The Globe and Traveller* («Мир и путешественник») помещались отчеты о путешествиях, рассказы о разных странах, обзоры травелогов. Корреспондент «Сына Отечества» И. Головин в 1838 г. писал, что путешествие стало своего рода модой; при этом наблюдения и описания той или иной страны можно было получить «за весьма скромную цену», тогда как поездка в чужие края стоила страннику «много – очень много»<sup>3</sup>.

Предметом нашего рассмотрения станет жанр травелога, под которым подразумеваем сочинение о реальном (или претендующем на действительно совершенное) путешествии, оформленное в виде рассказов, дневников, писем. На материале сочинений британцев о путешествиях в Россию второй четверти XIX в. мы рассмотрим сложившуюся традицию

---

<sup>1</sup> Необходимо разделять акт совершения поездки, странствование (путешествие) и жанр травелога, описания путешествия («путешествие»).

<sup>2</sup> Гуминский. 1987. С. 132.

<sup>3</sup> Головин. 1838. С. 68.

написания подобных записок. Существуют десятки воспоминаний британцев о поездках в Санкт-Петербург, Москву и другие регионы Российской империи. Многие из них хранятся в коллекции «Россика» Российской национальной библиотеки в Санкт-Петербурге<sup>4</sup>. Особенностью записок британцев о России является высокая степень художественной обработки и публицистичности. В конце XVIII – первой половине XIX в. в Британии существовала своего рода мода на издание травелогов – книг о путешествиях, написанных в виде записок, дневников, писем, мемуаров. Сопоставление моделей и структур описаний, сообщаемых сведений и общего тона повествования позволит не только понять специфику жанра, но и выявить особенности восприятия России в британском обществе. Как верно заметил А. Х. Хуссен: «Если автор намерен опубликовать свои впечатления, то он, по-видимому, непроизвольно будет приспосабливаться к ожиданиям предполагаемой читающей публики»<sup>5</sup>.

В 1980 – 2000-х гг. вышло немало трудов, авторы которых реконструировали и проанализировали французские, немецкие, английские образы России, а также представления россиян о западноевропейских странах<sup>6</sup>. К настоящему времени накоплен огромный фактический материал по проблемам восприятия «своего» и «чужого», механизм складывания образа той или иной страны. Однако по-прежнему остается нерешенным вопрос о том, возможно ли выявить специфику французского / немецкого / английского восприятия, или все же следует говорить об общеевропейской модели; каково соотношение в этом процессе национального и общекультурного. В рамках данной статьи мы лишь наметим эту проблему, очертим ее границы, поскольку для ее решения требуется комплексное компаративное исследование.

Давно ведутся дискуссии о существовании национального характера<sup>7</sup> и о том, как он проявляется, можно ли по каким-то специфическим чертам (внешности, темпераменту, особенностям восприятия окружающего мира) точно определить национальную принадлежность. В начале 1870-х гг. известный литературовед А. Н. Пыпин писал, что «национальность отражается на произведениях писателя не только в

---

<sup>4</sup> Лишь небольшая часть из упомянутых книг переведена на русский язык (Письма сестер Вильмот... 1991; Вильсон. 1995; Александер. 2008).

<sup>5</sup> Хуссен. 2003. С. 326.

<sup>6</sup> Ерофеев. 1982; Карацуба. 1986; Артемова. 2000; Оболенская. 2000; Бло. 2006.

<sup>7</sup> Как отметил И. С. Кон, сам термин «национальный характер» «появился первоначально в литературе о путешествиях с целью выразить специфику образа жизни того или иного народа» (Кон. 1999. С. 304).

смысле известной приметы, местного колорита, физиономии, но кладет на него и более глубокий отпечаток. Соединяя в себе весь характер общественной жизни, господствующих понятий, уровня образованности, национальность прямо и существенно отражается на самом *содержании* (так в тексте. – Е. К.) – большей или меньшей степенью самостоятельности и серьезности мысли»<sup>8</sup>. Французский исследователь М. Кадо отметил, что в первой половине XIX в. национальная точка зрения играла большую роль в отношениях между странами<sup>9</sup>. В. А. Мильчина писала о «матрице европейского восприятия»<sup>10</sup>, которая, по ее мнению, полностью сложилась уже к концу 1830-х гг.

Изучением этнических образов и представлений занимается имагология. В России интерес к изучению этнических представлений и образов возник в 1960-е гг.<sup>11</sup> В 1990-х гг. внимание к проблемам этничности, взаимовосприятия народов и культур выросло необычайно. Сочинения путешественников являются важными источниками, в которых фиксируется момент столкновения «своего» и «чужого», рождается новый образ той или иной страны. При этом «интерпретации путешественника трактуются как часть детерминированных его культурой представлений или как набор детерминированных традицией и, возможно, отчасти опытом предположений, субъективных мнений и суждений»<sup>12</sup>.

При использовании имагологического подхода применительно к рассмотрению проблем этничности существуют определенные ограничения<sup>13</sup>. Попытки выделить специфический национальный характер, национальные черты и особенности, заставляют исследователей нивелировать внутригрупповые разногласия и противоречия, часто игнорировать факторы взаимовлияния культур<sup>14</sup>. Например, не вызывает сомнения, что к 1830–1840-м гг. основное направление европейского общественного мнения о России было задано, и стереотипы восприятия

---

<sup>8</sup> Пьтин. 1873. С. 3.

<sup>9</sup> Cadot. 1967. P. 137.

<sup>10</sup> Мильчина. 2008. С. 716.

<sup>11</sup> Подробнее см.: Ерофеев. 1982. С. 7-23.

<sup>12</sup> Хуссен. 2003. С. 327.

<sup>13</sup> В литературоведении сравнительная имагология пользуется большей популярностью, чем в исторических исследованиях. Литература в таком случае рассматривается как «средство трансляции образов мира из страны в страну, из одной литературы в другую». (Миры образов... 2003. С. 15).

<sup>14</sup> Придерживающиеся данного подхода исследователи признают этот факт, однако указывают на несостоятельность индивидуально-психологического подхода к социальным явлениям. (Кон. 1999. С. 305).

были весьма устойчивы<sup>15</sup>. Однако в отдельных западноевропейских странах шла жесткая политическая борьба, наблюдался самый широкий спектр мнений по «русскому вопросу»<sup>16</sup>. Личная заинтересованность, уровень образования, наблюдательность и способность составлять собственное представление о том или ином предмете и феномене играли едва ли не определяющую роль в восприятии России иностранцами.

Е. Е. Рычаловский обратил внимание, что при чтении работ о восприятии иностранцами России часто «создается впечатление, что Россия и русское общество были в гораздо большей степени открыты для Европы, последняя же оставалась маловосприимчивой по отношению к восточному соседу»<sup>17</sup>. Т. Л. Лабутина обвиняет английских путешественников XVI–XVII вв. в том, что они намеренно уделяли недостаточно внимания русской культуре; именно этим, по ее мнению, объясняется формирование стереотипа «русского варвара»<sup>18</sup>. Выдвигая на первый план идеологическую составляющую восприятия британцами России, она недооценивает значение психологических особенностей восприятия «чужой» культуры, не различает акт знакомства иностранцев со страной и литературные труды, написанные по результатам поездки.

Занимаясь проблемами межэтнического взаимодействия и взаимовлияния, важно учитывать факторы, которые могли так или иначе влиять на формирование образа России у иностранцев. Препятствием к этому служит комплекс «иностранности» (термин С. В. Чугурова), в соответствии с которым «иностранец – не только человек из другой страны, но сам он – “иной”, “странный”». Попадая в другую страну, человек начинает разделять все на «“знакомое” и “незнакомое”, разбрасывая [их] в противоположные стороны, “подобно костяшкам на счетах”»<sup>19</sup>; при этом он воспринимает знакомое, «свое», позитивно, а незнакомое, «чужое», враждебно. Поэтому иностранцев так легко объединить в единую группу, воспринимать их не как «лорда такого-то» или «леди такую-то», а как иностранцев или, уже, британцев, французов, немцев. В 1830-х гг., по замечанию государственного секретаря барона М. А. Корфа, всех иноземцев, а точнее иноверцев, в России называли немцами<sup>20</sup>.

<sup>15</sup> Артемова. 2000. С. 206.

<sup>16</sup> Например, об оценках разными политическими группами в британском обществе событий войны 1812 г. см.: Anderson. 1958. P. 215-232.

<sup>17</sup> Рычаловский. 2008. С. 88.

<sup>18</sup> Лабутина. 2009. С. 23.

<sup>19</sup> Чугуров. 1993. С. 46-47.

<sup>20</sup> Корф. 2010. С. 271.

Мы разделяем мнение С. В. Оболенской о том, что «“национальный характер” есть, в сущности, стереотип восприятия “чужих”, сложившийся в раннее Новое время, когда возникло представление о делении людей по национальному признаку», это «предрассудки в широком смысле слова»<sup>21</sup>. Выделить определенные национальные особенности восприятия практически невозможно, поскольку «имел место сложный комплекс идеологических клише, национальных стереотипов и прочего, в котором играли роль национальное, конфессиональное и социальное самосознание (identity), личный опыт того или иного иностранца»<sup>22</sup>.

Изучая британскую специфику тревелогов первой половины XIX в., следует прежде всего анализировать особенности социальной, политической и культурной среды, в которой писались эти сочинения. В то же время накладывали существенный отпечаток на каждое произведение субъективные факторы (воспитание, образование, политические взгляды, возраст и т.д.), поэтому убеждения и оценки авторов сочинений одной национальности могут быть прямо противоположными.

По признанию современных исследователей, «“создание современного туризма” было длительным процессом, корни которого лежат в культурной и интеллектуальной, экономической и социальной истории Британии»<sup>23</sup>. Стремление Туманного Альбиона к политической гегемонии и новым экономическим приобретениям являлось стимулом для подданных английской короны посещать незнакомые страны, разведывать новые территории, сравнивать дальние края со своей родиной. Немецкий историк Х. Квадфлиг, изучающая путешествия британцев в раннее Новое время, писала, что уже в XVI–XVII вв. «Англия всегда становилась отправной точкой в их описаниях, не важно, что они описывали, и сравнения по большей части были в пользу Англии»<sup>24</sup>.

«Путешествия» могли служить целям внешней политики и дипломатии. Часто опубликование воспоминаний или впечатлений о поездке являлось лишь поводом выразить свое отношение к тому или иному политическому вопросу. В конце 1820-х – 1830-е гг. отношения России и Османской империи вызывали озабоченность западноевропейских держав. Русско-турецкая война 1828–29 гг. и последующее подписание Адрианопольского мирного договора (1829) и Ункяр-Искелесийского

---

<sup>21</sup> Оболенская. 2000. С. 199.

<sup>22</sup> Рычаловский. 2008. С. 89.

<sup>23</sup> Berghoff, Korte. 2002. P. 4.

<sup>24</sup> Quadflieg. P. 34.

соглашения (1833), которые расширили торговые и военные связи двух стран, давали повод говорить о том, что укрепление Российской империи на востоке свидетельствует о ее агрессивных намерениях и представляет угрозу владениям европейских государств. Именно в этот период в Лондоне вышло множество книг о поездках на Кавказ, в Крым, на Балканы. Например, сочинения Дж. Александера и Т. Алкока, которые посетили Россию и Балканский полуостров во время русско-турецкой войны, Э. Мортон, Э. Спенсера, Р. Уилбрэхэма, А. Слэйда<sup>25</sup>. В то время, «когда все взоры обращены к востоку, когда активная демонстрация завуалированного неприятия Россией Англии проявилась в захвате британского торгового судна (речь идет об инциденте со шхуной «Виксен» в 1836 г. - *Е. К.*), когда общественное мнение занимает тема войны на Кавказе и прав России как суверена, основанных на Адрианопольском договоре»<sup>26</sup>, британцы считали долгом не просто посетить места военных действий, но и опубликовать свои воспоминания, чтобы познакомить соотечественников с реальной ситуацией, раскрыть «тайные» планы российского правительства к совершению внешней агрессии и нарушению мира в Европе и Азии.

Автор обзора иностранных сочинений о России в *London Quarterly Review* («Лондонском ежеквартальном обозрении») за 1841 г. утверждал, что «немногие путешественники покидают великолепную столицу, Санкт-Петербург, не написав о ней труда»<sup>27</sup>. Хотя Россия в XIX в. часто представлялась «самой странной и интересной страной в Европе»<sup>28</sup>, к этому времени уже существовало множество книг, авторы которых подробно описывали свое пребывание в этой стране. Дж. Бузард, рассматривая феномен путешествия по Европе, писал, что в XIX в. авторы травелогов уже не могли пройти мимо огромного массива литературы, в которой во всех подробностях были описаны многие страны и конкретные маршруты. Британский исследователь отметил, что в Великобритании XVIII–XIX вв. путешествия и чтение рассматривались как дополняющие друг друга элементы. Происходил циклический «ритуальный» процесс, когда «читатели формировали свои ожидания и оживляли в памяти свои прошлые путешествия через чтение текстов»<sup>29</sup>.

---

<sup>25</sup> Александр. 2008. (книга впервые вышла в Лондоне в 1830 г.); Alcock. 1831; Morton. 1830; Spencer. 1838; Wilbraham. 1839; Slade. 1840.

<sup>26</sup> Spencer. 1838. P. I.

<sup>27</sup> Tours in the Russian Provinces. 1841. P. 186.

<sup>28</sup> Coghlan. 1836. P. 4.

<sup>29</sup> Buzard. 1993. P. 160.



Л. Ритчи, решивший издать книгу о своей поездке, в предисловии констатировал: «Россия – это страна, о которой высказано множество противоречивых суждений»<sup>30</sup>. А К. Фрэнклэнд, посетивший Россию в 1830–31 гг., во введении к своему сочинению просил прощения за то, что не привел подробного описания Петербурга. Он аргументировал это тем, что «Доктор Гренвилл уже все сказал и описал, его книга охватывает все темы», и утверждал, что его собственная работа будет лишь жалкой попыткой следовать по стопам Гренвилла<sup>31</sup>. Дж. Э. Александер также подчеркивал, что «после появления на свет основательного труда Гренвилля подобное описание (детальное описание церквей, дворцов и общественных зданий Петербурга. – Е. К.) выглядело бы <...> слишком самонадеянным»<sup>32</sup>. Двухтомное сочинение побывавшего в России в 1827 г. британского врача А. Б. Гренвилла<sup>33</sup> пользовалось большой популярностью. В нем детально описывался Петербург: город, здания, достопримечательности, магазины, быт, образование и т.д. Написать что-то новое о Петербурге (помимо разве что частных эпизодов, событий, происшествий) после этой книги было сложно<sup>34</sup>. Помимо книги Гренвилла, популярностью в 1830–40-х гг. пользовались сочинения капитана Джонса, Э. Кларка, Дж. Холмана, Дж. Кохрэна, Дж. Бэрроу<sup>35</sup>. Из-за этого обилия более или менее подробных сочинений о России перед авторами новых травелогов в XIX в. вставали две проблемы: первая – объяснение актуальности публикации собственной работы; вторая – необходимость высказывания оригинальных идей. Впрочем, во многом эта особенность объяснялась существующим трафаретом для написания травелогов.

Все авторы старались объяснить, почему они решили опубликовать свой труд. Одни обращались к важным вопросам внешней политики и ценность своих книг видели в том, чтобы дать читателю *достоверную* информацию, в отличие от той, которая распространялась сознательно участниками событий. Другие подчеркивали уникальность собственных наблюдений. Так, Р. Венаблз утверждал, что опубликовал воспоминания

---

<sup>30</sup> *Ritchie*. 1836. P. III.

<sup>31</sup> *Frankland*. 1832. P. V.

<sup>32</sup> *Александер*. 2008. С. 39.

<sup>33</sup> *Granville*. 1828. Vols. I, II.

<sup>34</sup> Во многих книгах о путешествиях в Россию, вышедших в 1830–1850-е гг., есть ссылки на труд А. Б. Гренвилля: *Александер*. 2008. С. 39; *Ramble*. 1836. P. 20–21, 68; *Paul*. 1836. P. 37–38. Следует также учитывать, что весьма распространено было цитирование без ссылок на источник сведений.

<sup>35</sup> *Jones*. 1827. Vols. I, II; *Clarke*. 1810; *Holman*. 1825. Vols. I, II; *Cochrane*. 1824. Vols. I, II; *Barrow*. 1834.

потому, что большую часть времени он провел во внутренних губерниях России (в Ярославле, Тамбове), в то время как большинство авторов предпочитали описывать Санкт-Петербург и Москву<sup>36</sup>. Ч. Эллиотт своими заметками хотел привлечь внимание соотечественников к красотам природы стран Скандинавии и России<sup>37</sup>. Л. Ритчи оправдывал издание книги тем, что в его сочинении преобладают конкретные факты, а не пространственные рассуждения, характерные для «путешествий» того времени<sup>38</sup>. Указание на уникальность, необычность и привлекательность для читателей того или иного труда являлось неизменным атрибутом всех британских тревелогов рассматриваемого периода.

Несмотря на большое число книг о Российской империи, для англичан эта страна во многом оставалась *terra incognita*. Б. Долэн отметил, что британцы во второй половине XVIII в. располагали довольно скудными сведениями о географии, природе, населении России, поэтому черпали информацию главным образом из географических и естественнонаучных трудов немецких авторов<sup>39</sup>, широкой популярностью пользовались труды Г. Ф. Миллера, С. Г. Гмелина, П. С. Палласа, И. Г. Георги<sup>40</sup>. Некоторые путешественники сетовали, что российские власти считают любые точные сведения о климате, почвах, социальной системе, армии, флоте секретными и тщательно их скрывают<sup>41</sup>. Однако, вероятно, главной причиной, скорее, было нелюбопытство самих британцев. Английский инженер С. Бентам, который в 1780 г. посетил Россию, был поражен тем, что его соотечественники, живущие в Санкт-Петербурге, «ненавидят все русское и не знают ничего о стране и народе, кроме сведений, почерпнутых ими в английских газетах, издаваемых петербургской интеллигенцией»<sup>42</sup>. Р. Венаблз в своем сочинении пересказал анекдот об англичанах, который он услышал в России. Некий джентльмен страстно хотел приехать в Петербург лишь для того, чтобы осмотреть Летний сад, о красотах которого много слышал. По воде он доплыл до интересующего объекта, внимательно осмотрел его и отправился обратно на родину, даже не сойдя на русскую землю<sup>43</sup>.

---

<sup>36</sup> *Venables*. 1839. P. III.

<sup>37</sup> *Elliott*. 1832. P. V-VI.

<sup>38</sup> *Ritchie*. 1836. P. III-IV.

<sup>39</sup> *Dolan*. 2000. P. 76-77.

<sup>40</sup> *Уортман*. 2004. С. 33-60.

<sup>41</sup> *Dolan*. 2000. P. 77.

<sup>42</sup> *Ibid*. P. 89.

<sup>43</sup> *Venables*. 1839. P. 13.

Склонность британцев к изоляционизму можно, по-видимому, объяснить особенностями островной психологии. В. П. Шестаков писал: «...то, что происходит по ту сторону Ла-Манша, воспринимается англичанами как нечто происходящее по другую сторону культуры и цивилизации»<sup>44</sup>. На континенте, и тем более в далекой России, подданных британской короны интересовали главным образом отдельные достопримечательности, о которых они уже слышали или читали в книгах, написанных преимущественно их соотечественниками. Кроме того, по замечанию А. В. Павловской, британцы в России жили «обособленной колонией, часто не знали языка, по стране практически не путешествовали и пользовались, главным образом, разнообразными слухами»<sup>45</sup>.

Впрочем, уже в XIX в. в Петербурге и Москве сами русские воспринимали британцев как больших оригиналов и чудаков. В «Дневнике писателя» за 1877 г. Ф. М. Достоевский признавался: «В нас как бы укрепилась с детства вера <...>, что всякий англичанин чудак и эксцентрик»<sup>46</sup>. Аристократ и известный библиофил М. Н. Похвиснев, отправившись в 1847 г. за границу, на пароходе встретил человека, в котором «без труда узнал <...> англичанина»: это был «седенький, с румянными щеками, в сером сюртуке, чопорный человечек, в дикой шляпе, очень молчаливый и очень улыбающийся». Он одет «как в броню, в свое эксцентрическое пальто, или перевитый шотландским plaid'ом, руки в карманы, он гордо расхаживает себе по палубе, не взирая на дождь и ветер, и кидает кругом презрительные взгляды, издавая по временам сквозь зубы что-то вроде свиста, называемое английским языком»<sup>47</sup>. Публицист Н. И. Греч удивлялся: все англичане – «поклонники и рабы моды»; они стремятся «отличиться от толпы, показать, что они принадлежат к высшему кругу общества»<sup>48</sup>, и это заставляет их вести себя весьма эксцентрично и экстравагантно. В силу многих, главным образом культурных, причин подобное отношение не могло быть демонстративным и часто оставалось незамеченным непрозорливыми иностранцами. Но, безусловно, дистанция в отношениях являлась одной из причин того, что при написании воспоминаний англичане обращались не к собственным наблюдениям, а к тем мнениям, которые бытовали в английском обществе или среди иностранцев, постоянно живущих в Петербурге.

---

<sup>44</sup> Шестаков. 2000. С. 94.

<sup>45</sup> Павловская. 1996. С. 145.

<sup>46</sup> Достоевский. 1984. С. 71.

<sup>47</sup> Похвиснев. 1910. С. 405-406.

<sup>48</sup> Греч. 1839. Ч. 1. С. 166.

Нельзя утверждать, что британцев вовсе не занимали особенности российского социально-политического строя. Скорее эта информация была значимой лишь с точки зрения сопоставления с британской действительностью. Многое оценивалось с позиции: «А у нас в Великобритании...». Британский офицер Р. Вильсон «был поражен, встретив в “la petite Russie” столь же большое население и не менее возделанную землю, чем почти в любой английской провинции»<sup>49</sup>. Он также заметил, что усадьба графа Ф. В. Ростопчина в Московской губернии «не уступает по красоте пейзажа и расположения вод и дерев любому поместью в британских владениях»<sup>50</sup>. Р. Сандерсон, побывавший в России в середине 1820-х гг., писал, что дружба русских, «которую гораздо легче приобрести, нежели нашу, оказывается не столь прочна и надежна»<sup>51</sup>. Даже тюремные заведения напоминали англичанам «некоторые лондонские тюрьмы, но заключенные находятся здесь в более близком между собой общении»<sup>52</sup>. Жителю Лондона казалось, что Нева – «широкая и величественная река, такая же широкая как Темза, только в сотню раз красивее»<sup>53</sup>. А вот «петербургские магазины не столь приметны, как лондонские, не столь богат в них и выбор товаров»<sup>54</sup>. Жившая долгое время в России М. Вильмот, писала, что «у наших народов поразительно много общих черт», и сравнила русских крестьян с английскими Пэдди (обобщенный образ крестьянина), поскольку у тех и других «сходны воскресные развлечения у дверей своего жилища, да и музыка похожа»<sup>55</sup>.

По замечанию П. С. Куприянова, использование «своего» как инструмента познания «чужой» культуры является характерным приемом для авторов «путешествий» вне зависимости от их национальной принадлежности и времени написания текста. Передача инокультурных реалий посредством аналогий объясняется особенностями человеческого восприятия: «Стремление “сделать понятным” то или иное явление, заставляет “ставить его рядом” с хорошо известным феноменом»<sup>56</sup>.

А. Мончак подошел к сравнениям, сопоставлениям и метафорам в записках путешественников более конкретно, показав, что разные сис-

<sup>49</sup> Речь идет о районе Смоленска. Вильсон. 1995. С. 47.

<sup>50</sup> Там же. С. 59.

<sup>51</sup> Английский путешественник в России... 1902. С. 576.

<sup>52</sup> Записки квакера... 1874. С. 4.

<sup>53</sup> Ritchie. 1836. P. 62.

<sup>54</sup> Александр. 2008. С. 41.

<sup>55</sup> Письма сестер Вильмот... 1991. С. 300.

<sup>56</sup> Куприянов. 2010. С. 29.

темы мер, весов, расстояния часто становились проблемой для авторов «путешествий»<sup>57</sup>. Использование абсолютных величин во многих случаях требовало пояснений. Л. Ритчи признавал, что в России чай намного лучше, но и цена на него намного выше, «самая низкая цена – десять или двенадцать рублей за фунт, – а российский фунт меньше, чем английский»<sup>58</sup>. Получается, что стоимость чая в российской столице приближалась к одной гинее (двадцати одному шиллингу), а в Лондоне цена этого напитка составляла обычно пять-семь шиллингов. Дело было не в том, что в Великобританию завозили худшие сорта чая, а в том, что в Петербурге не были широко распространены более дешевые сорта.

Разница во времени и датах была еще более сложной проблемой для путников; она заставляла британцев сильнее ощущать свою инаковость в России. Ф. Коглан писал, что даже «через два дня после прибытия (в Санкт-Петербург. – Е. К.) я с трудом мог поверить, что это случилось, что я действительно находился в этом царственном (Imperial) городе»<sup>59</sup>, поскольку оказалось, что путешественник покинул Лондон пятого сентября, а в Петербург прибыл третьего числа того же месяца. В России действовал юлианский календарь, в то время как практически во всех европейских государствах придерживались григорианского. Разница в датах между двумя календарями в XIX в. составляла двенадцать суток. В Великобритании старый стиль (то есть юлианский календарь) действовал вплоть до 1752 г. Тем не менее, для английских путешественников в XIX в. эта разница календарей оказывалась существенным фактором, затрудняющим быструю адаптацию в русском обществе<sup>60</sup>.

Обратим внимание еще на один фактор, определявший впечатление, которое на британцев производило посещение России. В XIX в. немногие англичане занимались изучением русского языка. Одной из причин было то, что «до половины XIX в. в Англии почти вовсе не имелось никаких необходимых руководств для изучения русской речи, – словарей, грамматик, учебных пособий»<sup>61</sup>.

Англичане в России часто вращались исключительно в аристократической или же в купеческой среде, незнание русского языка лишало их возможности общения с простолюдинами. Желая посетить Петергоф, Дж. Блумфильд с удивлением обнаружила, что в качестве проводников

---

<sup>57</sup> *Mączak*. 1995. P. 254.

<sup>58</sup> *Ritchie*. 1836. P. 169.

<sup>59</sup> *Coghlan*. 1836. P. 72.

<sup>60</sup> *Black*. 2003. P. XII.

<sup>61</sup> *Алексеев*. 1944. С. 127.

она и ее спутники «могли найти только рабочих, которых не могли понимать»<sup>62</sup>. Офицер Р. Вильсон взял с собой из Англии господина Вибёрна «из-за его знания языков» и «не имел причины сожалеть об этом»<sup>63</sup>. М. Вильмот выражала свое недовольство тем, что «русские часто собираются группами, шепчутся или говорят на родном языке, хотя свободно могли бы объясняться по-французски»<sup>64</sup>. Незнание языка не только ограничивало круг общения англичан в России, но и предопределяло то, что путешественники видели Россию глазами своих соотечественников, либо русских аристократов, то есть тех людей, с которыми непосредственно общались. Впрочем, уже в 1829 г. в Москве было выпущено «Руководство для английских путешественников в России». Помимо разного рода справочной информации (указателя дорог, кратких исторических и географических сведений о главных городах России, таблиц российской валюты и соотношения русских и английских мер и весов) в руководство входил и довольно большой словарь<sup>65</sup>, чтобы англичане могли выразить свои намерения, объяснить что-то человеку, говорящему исключительно на русском, с помощью одного-двух слов<sup>66</sup>. Сложно представить, однако, чтобы подобный разговорник мог существенно облегчить иностранцу коммуникацию.

Изложенные факты позволяют говорить о складывании во второй четверти XIX в. традиции написания британских травелогов о России. Фактор национальности в данном случае влиял не столько на восприятие подданными английской короны России и русских, во многом близкое общеевропейской модели, сколько на способ подачи материала. Путешественники вписывали собственные наблюдения о России в определенный политический, экономический, социальный и культурный контекст. Сведения о «чужой» стране представляли интерес только в сопоставлении со «своей», британской, действительностью. Поэтому, несмотря на публикацию в конце XVIII–XIX вв. большого количества сочинений о Российской империи, эта страна оставалась для многих жителей Туманного Альбиона *terra incognita*. Не случайно М. Н. Похвиснев писал в 1847 г.: «Нынче мода на Россию, хотя нас и бранят, однако нами занимаются, – доказательство, что мы народ интересный!»<sup>67</sup>.

---

<sup>62</sup> Из воспоминаний леди Блумфильд. 1899. С. 240.

<sup>63</sup> Вильсон. 1995. С. 43.

<sup>64</sup> Письма сестер Вильмот... 1991. С. 258.

<sup>65</sup> A Manual for the Use of English Travellers in Russia. 1829. P. 40-90.

<sup>66</sup> Ibid. P. 3.

<sup>67</sup> Похвиснев. 1910. С. 413.

## БИБЛИОГРАФИЯ

- Александр Дж. Россия глазами иностранца. М.: Аграф, 2008. 304 с.
- Алексеев М. П. Английский язык в России и русский язык в Англии // Ученые записки ЛГУ. Сер. филол. наук. 1944. Вып. 9. № 72. С. 77–137.
- Английский путешественник в России и его мнение о русском обществе (1826 и 1827 гг.) / Сообщил И. С. Шукшинцев // Русская старина. 1902. № 6. С. 575–578.
- Артемова Е. Ю. Культура России глазами посетивших ее французов (последняя треть XVIII века). М.: ИРИ РАН, 2000. 256 с.
- Бло Ж. Французский взгляд на Петербург / Пер. с фр. А. Ю. Беспятых // Феномен Петербурга. СПб.: БЛИЦ, 2006. С. 148–155.
- Вильсон Р.-Т. Дневник и письма 1812–1813. СПб.: ИНАПРЕСС, 1995. 312 с.
- Головин И. Путешественник нашего времени // Сын Отечества: Журнал словесности, истории и политики. 1838. Т. 5. Сентябрь - октябрь. С. 56–80.
- Греч Н. И. Путевые письма из Англии, Германии и Франции, Николая Греча. СПб.: В Типографии Н. Греча, 1839. Ч. 1. 254 с.
- Гуминский В. М. Открытие мира или путешествия и странники. М.: Современник, 1987. 286 с.
- Достоевский Ф. М. Дневник писателя за 1877 год // Достоевский Ф. М. Полное собрание сочинений. Л.: Наука, 1984. Т. 26. Дневник писателя: 1877. Сентябрь - декабрь. 1881. Август. С. 5–128.
- Ерофеев Н. А. Туманный Альбион. Англия и англичане глазами русских: 1825–1853 гг. М.: Наука, 1982. 320 с.
- Записки квакера о пребывании в России 1818–1819 гг.: Дневник Греллэ-де-Мобилье / Прим. и коммент. И. Осинина // Русская старина. 1874. Т. 9. С. 1–36.
- Из воспоминаний леди Блумфильд / Пер. с англ. и вступ. ст. Ф. Гогель // Русский архив. 1899. № 6. С. 219–241.
- Корф М. А. Дневники 1838 и 1839 гг. М.: Рубежи XXI, 2010. 567 с.
- Карацуба И. В. Россия последней трети XVIII – начала XIX в. в восприятии английских современников: Автореферат дисс.... к.и.н. М., 1986. 24 с.
- Кон И. С. Социологическая психология. М.: МПСИ; Воронеж: Издательство НПО «МОДЭК», 1999. 555 с.
- Курпьянов П. С. Свое и чужое в русском заграничном путешествии начала XIX века // Российская история. 2010. № 5. С. 27–38.
- Лабутина Т. Л. Представления британцев о русском народе в XVI–XVII вв. // Вопросы истории. 2009. № 8. С. 13–25.
- Мильчина В. А. Несколько слов о маркизе де Кюстине, его книге и ее первых русских читателях // Мильчина В. А., Осват А. Л. Комментарий к книге Астоляфа де Кюстина «Россия в 1839 году». СПб.: Крига, 2008. С. 709–725.
- Миры образов – образы мира: Справочник по имагологии / Пер. с нем. М. И. Логвинова, Н.В. Бутковой. 2-е изд., доп. Волгоград: Перемена, 2003. 94 с.
- Оболенская С. В. Германия и немцы глазами русских (XIX век). М.: ИВИ РАН, 2000. 210 с.
- Павловская А. В. Пореформенная Россия глазами современников-англичан // Россия и Европа в XIX–XX вв.: Проблемы взаимовосприятия народов, социумов, культур. М.: МГУ, 1996. С. 428–441.

- Письма сестер Вильмот из России // Записки княгини Дашковой. Письма сестер Вильмот из России. 2-е изд. М.: Сов. Россия, 1991. С. 245–510.
- Похвиснева М. Н.* Путешествие за границу М. Н. Похвиснева 1847 года // Шукинский сборник. М.: Синаодальная типография, 1910. Вып. 9. С. 384–433.
- Пытин А. Н.* Характеристики литературных мнений от двадцатых до пятидесятих годов: Исторические очерки. СПб.: Типография М. М. Стасюлевича, 1873. 514 с.
- Рычаловский Е. Е.* Представления иностранцев о русских политических реалиях и практика процессов по государственным преступлениям в елизаветинское время // «Вводя нравы и обычаи Европейские в Европейском народе»: К проблеме адаптации западных идей и практик в Российской империи. М.: РОССПЭН, 2008. С. 88–98.
- Уортман Р.* Записки о путешествиях и европейская идентичность России / Авторизованный пер. М. Д. Долбилова // Российская империя: Стратегии стабилизации и опыты обновления. Воронеж: Издательство ВГУ, 2004. С. 33–60.
- Хуссен А. Х.* Хеммо Дейкем – агроном из Гронингена и путешественник по России в 1840–1842 гг. // Нидерландцы и Северная Россия. СПб.: БЛИЦ, 2003. С. 325–336.
- Чугуров С. В.* Этнические стереотипы и их влияние на формирование общественного мнения // Мировая экономика и международные отношения. 1993. № 1. С. 41–53.
- Шестаков В. П.* Английский национальный характер и его восприятие в России // Россия и Запад: Диалог или столкновение культур. М.: РИК, 2000. С. 85–118.
- Alcock Th.* Travels in Russia, Persia, Turkey, and Greece, in 1828–9. London: Printed by E. Clarke and Son, 1831. 228 p.
- Anderson M.S.* Britain's Discovery of Russia 1553–1815. London: Macmillan & Co. Ltd.; New York: St. Martin's Press, 1958. 245 p.
- Barrow J.* Excursions in the North of Europe, through Parts of Russia, Finland, Sweden, Denmark and Norway, in the Years 1830 and 1833. L.: John Murray, 1834. 380 p.
- Berghoff H., Korte B.* Britain and the Making of Modern Tourism: An Interdisciplinary Approach // The Making of Modern Tourism: The Cultural History of the British Experience: 1600–2000. New York: Palgrave, 2002. P. 1–19.
- Black J.* France and the Grand Tour. Basingstoke; N.Y.: Palgrave Macmillan, 2003. 234 p.
- Buzard J.* The Beaten Track: European Tourism, Literature, and the Ways to Culture: 1800–1918. Oxford: Clarendon Press, 1993. 357 p.
- Cadot M.* L'image de la Russie dans la vie intellectuelle française (1839–1856). Paris: Fayard, 1967. 645 p.
- Clarke E.G.* Travels in Various Countries: Europe, Asia and Africa. Part 1. Russia, Tartary and Turkey. London: For T. Cadell and W. Davis Strand, 1810. 760 p.
- Coghlan F.* A Guide to St. Petersburg & Moscow, by Hamburg, Lubeck, Travemunde, and by Steampacket, Across the Baltic to Cronstadt; Fully Detailing Every Form and Expense From London-Bridge to St. Petersburg; From an Actual Visit in the Autumn of 1835. London: J.L. Cox and Sons, 1836. 269 p.
- Cochrane J.D.* Narrative of a Pedestrian Journey through Russia and Siberian Tartary, from the Frontiers of China to the Frozen Sea and Kamchatka. London: Printed for Charles Knight, 1824. Vols. I, II. 428, 344 p.
- Dolan B.* Exploring European Frontiers: British Travellers in the Age of Enlightenment. London: Palgrave Macmillan, 2000. 248 p.



- Elliott Ch.B.* Letters from the North of Europe; or a Journal of Travels in Holland, Denmark, Norway, Sweden, Finland, Russia, Prussia, and Saxony. London: Henry Colburn and Richard Bentley, 1832. 475 p.
- Frankland C.C.* Narrative of a Visit to the Courts of Russia and Sweden, in the Years 1830 and 1831. London: Henry Colburn and Richard Bentley, 1832. Vol. I. 400 p.
- Granville A.B.* St. Petersburg: A Journal of Travels To and From Capital: Through Flanders, the Rhenish Provinces, Prussia, Russia, Poland, Silesia, Saxony, the Federated States of Germany and France. London: Henry Colburn, 1828. Vols. I, II. 582, 743 p.
- Holman J.* Travels through Russia, Siberia, Poland, Austria, Saxony, Prussia, Hanover etc. Undertaken during the Years 1822, 1823 and 1824, While Suffering from Total Blindness, and Comprising an Account of the Author Being Conducted a State Prisoner from the Eastern Parts of Siberia. L.: Pr. for Geo.B. Whittaker, 1825. V. I-II. 408, 383 p.
- Jones G.M.* Travels in Norway, Sweden, Finland, Russia and Turkey; Also on the Coasts of the Sea of Azof and of the Black Sea: With a Review of the Trade in Those Seas, and of the Systems Adopted to Man the Fleets of the Different Powers of Europe, Compared with That of England. London: John Murray, 1827. Vols. I, II. 584, 596 p.
- Mączak A.* Travel in Early Modern Europe. Cambridge: Polity Press, 1995. 357 p.
- A Manual for the Use of English Travellers in Russia.* Moscow: Printed by Auguste Semen, 1829. 120 p.
- Morton E.* Travels in Russia, and a Residence at St. Petersburg and Odessa, in the Years 1827–1829; Intended to Give Some Account of Russia as It Is, and Not as It Is Presented to Be, &c. &c. London: Longman, 1830. 486 p.
- Paul R.* Journal of a Tour to Moscow, in the Summer of 1836. London: Simpkin, Marshall and Co.; Wittaker and Co., 1836. 238 p.
- Quadflieg H.* Approved Civilities and the Fruits of Peregrination: Elizabethan and Jacobean Travellers and the Making of Englishness // The Making of Modern Tourism: The Cultural History of the British Experience: 1600–2000. N.Y.: Palgrave, 2002. P. 21–46.
- Ramble R.* Travelling Opinion and Sketches in Russia and Poland. London: Pall-Mall East, 1836. 305 p.
- Ritchie L.* A Journey to St. Petersburg and Moscow through Courland and Livonia. London: Longman, 1836. 256 p.
- Slade A.* Travels in Germany and Russia Including a Steam Voyage by the Danube and the Euxine from Vienna to Constantinople, in 1838–39. London: Longman, 1840. 512 p.
- Spencer E.* Travels in The Western Caucasus, Including a Tour Through Imeritia, Mingrelia, Turkey, Moldavia, Galicia, Silestia, and Moravia, in 1836. Vols. I, II. London: Henry Colburn, 1838. 358, 374 p.
- Tours in the Russian Provinces // The London Quarterly Review. 1841. March. Vol. LXVII. P. 185–202.
- Venables R.L.* Domestic Scenes in Russia: In a Series of Letters Describing a Year's Residence in That Country, Chiefly in the Interior. London: John Murray, 1839. 348 p.
- Wilbraham R.* Travels in the Trans-Caucasian Provinces of Russia, and Along the Southern Shore of the Lakes of Van and Urumiah, in the Autumn and Winter of 1837. London: John Murray, 1839. 477 p.
- Кулакова Елена Александровна**, соискатель Санкт-Петербургского института истории РАН, e-mail: kulaelena@yandex.ru

*Н. И. НЕДАШКОВСКАЯ*

## «ПИСАТЬ ПО-РУССКИ»: ПРОЕКТ НАЦИОНАЛЬНОЙ ФИЛОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ

ВОЛЬНОЕ ОБЩЕСТВО ЛЮБИТЕЛЕЙ СЛОВЕСНОСТИ,  
НАУК И ХУДОЖЕСТВ, 1801 – 1813

---

В статье представлена реконструкция замысла и культурных практик преобразования империи, выработанных «Вольным Обществом любителей словесности, наук и художеств», члены которого за 14 лет до создания пушкинского «Арзамаса» и его знаменитого столкновения с шишковистами начинают воплощать свой проект новой филологической культуры для России.

**Ключевые слова:** филологическая культура, славистика, интеллектуальный проект, идеология, идеологема, нацистроительство, русский стих, национальный характер.

---

Вольное Общество любителей словесности, наук и художеств (далее ВОЛСНХ) создавалось на рубеже XVIII–XIX вв., когда проектирование интеллектуалами филологической культуры<sup>1</sup> как системы дискурсов для государственного строительства Российской империи становится отрефлексированным и почти массовым движением. Это период всплеска коллективной литературной жизни, возникновения большого числа литературных и «учено-литературных» обществ и кружков, предлагавших конкурирующие проекты преобразования общества в философском, социальном и прочих аспектах. Среди них особенно интересны группы, административно не связанные с учреждениями просвещения и науки и не имевшие узкой специализации. Их внеинституциональная природа позволяла участникам «писать себя», самостоятельно выстраивая иерархию дискурсов и в полной мере используя возможности интеллектуального проектирования, данные школой Просвещения. Таково ВОЛСНХ с его масштабной программой создания новой – национальной (русскоязычной) филологической культуры империи, в которой прочитываются задачи социального, культурного, идеологического строительства.

---

<sup>1</sup> Филологическая культура Российской империи рассматривается как система дискурсов «новой филологии», возникшей в Европе в середине XVIII в. В этой системе наряду с собственно словесностью, по-новому (относительно традиций классической филологии, теологии) оказались востребованы риторика, стилистика, теория стиха и словесности, нормативное филологическое знание (грамматика и пр.).

ВОЛСНХ не исследовалось как факт интеллектуальной истории и идеологии, хотя имеет ряд уникальных черт, делающих его особенным явлением не только для междисциплинарных исследований в рамках Empire Studies и Nation Studies, но даже в самой истории литературной жизни России. Филологическая деятельность ВОЛСНХ, в отличие от его поэтического наследия, до настоящего времени вообще не была проблематизирована. Основанное в 1801 г. выпускниками академической гимназии и студентами Академии Художеств, т.е. преимущественно недворянской интеллигенцией, и завершившее свое существование в первом составе в связи с объективными переменами в личной судьбе участников к 1813 г.<sup>2</sup>, оно рассматривалось исследователями в двух аспектах: 1) в контексте истории формирования новой русской литературы, ее жанровой системы – главным образом, как феномен второго плана<sup>3</sup>; 2) как явление общественной жизни – в связи с участием в работе Общества сыновей А. Н. Радищева, сосланного Екатериной II в Сибирь за нарушение «общественного покоя»<sup>4</sup>. Такие исследовательские подходы являются закономерным следствием иерархической модели российской истории литературы и науки, выстроенной еще в XIX в. и не получившей критического исследования вплоть до наших дней<sup>5</sup>.

Источники, раскрывающие интеллектуальную повседневность ВОЛСНХ, диктуют иной ракурс рассмотрения его деятельности.

Петербургское ВОЛСНХ было учреждено выпускниками гимназии при Академии Наук<sup>6</sup> в июле 1801 г. первоначально под названием Дружеского общества любителей изящного. Вскоре они привлекли в него своих товарищей и знакомых (студентов Академии Художеств и др.). Состав Общества постоянно пополнялся, и в ноябре 1803 г. оно получило высочайшее соизволение «открыть заседания свои»<sup>7</sup>. Судя по дневникам и воспоминаниям, интересы молодых людей были обычными для их круга<sup>8</sup>. Они читали трактаты европейских просветителей, подражали

---

<sup>2</sup> Второй (с 1807 г.) и третий (с 1816 г.) составы, продлившие с небольшими перерывами существование Общества до 1826 г., мы не рассматриваем, как не имеющие идейной и идеологической преемственности с основателями ВОЛСНХ, интеллектуальное взаимодействие которых практически прекратилось после 1813 г.

<sup>3</sup> Лихачев. 1994; Лотман. 1997; Федосеева. 2006.

<sup>4</sup> Орлов. 1953; Макогоненко. 1977; Кочеткова. 1994.

<sup>5</sup> См.: Майофис. 2008.

<sup>6</sup> В. В. Попугаевым, И. М. Борном, В. В. Дмитриевым, А. Г. Волковым, В. И. Красовским, М. К. Михайловым.

<sup>7</sup> В год официального открытия Общество насчитывало около 30 участников.

<sup>8</sup> См.: Из писем И.И. Терebeneва... С. 1-114.

их стихам, увлекались великой мистификацией XVIII века – песнями Оссиана, с восторгом встречали произведения Карамзина. Владея классическими и современными европейскими языками, изучая искусства и словесность, молодые литераторы и художники искали форму для означивания, вербализации своего служения отечественной культуре, и, в то же время, это был способ сотворения себя.

В «Краткой истории Общества любителей наук, словесности и художеств», составленной А. Х. Востоковым по поручению Общества, названы главные цели их объединения: «взаимно себя усовершенствовать в сих трех отраслях способностей человеческих» и «споспешествовать по силам своим к усовершенствованию сих трех отраслей»<sup>9</sup>. Как видно из протоколов, публикаций стихов и других документов Общества<sup>10</sup>, молодые люди вели огромную работу. На заседания они регулярно представляли оригинальные поэтические опыты и философские прозаические трактаты, вели планомерную работу по переводу трудов европейских историков искусства и трактатов просветителей, включая Филанжиери, Мабли, Рейналя, Гельвеция, Вольнея, Руссо. Избранными цензорами осуществлялось подробное аналитическое рецензирование всех материалов, представленных вниманию Общества. Систематичность и продуктивность этой деятельности не оставляет сомнений, что члены Общества ставили перед собой не только частные филологические задачи или задачи эстетического саморазвития. Ими отчетливо осознавалась некая глобальная цель, стоящая перед их поколением и временем. Реконструировать эту руководящую идею становится возможным благодаря сохранившимся документам, в которых отражена творческая лаборатория Востокова, бывшего на всем протяжении работы первого состава секретарем и одним из самых деятельных цензоров Общества.

В его рецензиях представлена работа со стилем, ритмической организацией поэтических произведений членов Общества, и, что важно, – прописана мотивация этой работы. Важнейшую роль в оформлении главной идеи деятельности играло античное наследие. Анализируя перевод оды Горация «К Мельпомене» (1802), сделанный А. Г. Волковым с сохранением размера подлинника, цензор замечает: «желательно, чтобы российская поэзия обогатилась приятными размерами греков и римлян; язык наш духом своим ближе всех языков европейских к вергилиеву и

---

<sup>9</sup> Востоков. 1804. С. 1.

<sup>10</sup> Электронный архив ВОЛСНХ в Научной библиотеке СПбГУ. URL: <http://www.library.spbu.ru/rus/Volsnx/index.html> (время доступа 17.03.2012).

горадиеву языку»<sup>11</sup>. Несколько позднее в примечаниях к своему сборнику «Опыты лирические» (СПб., 1805) Востоков уточнит: «Все сии пробы дактилических и иных разностопных стихов не для того выставлены, чтоб требовать точного им подражания и хотеть на русском языке именно сафических, алцейских, асклепиадейских, ферекратийских стихов. Нет, пусть бы это только побудило молодых наших поэтов заняться обработанием собственной нашей просодии, не ограничиваясь в одних ямбах и хорях, но испытывая все пути, пользуясь всеми пособиями, которые предлагает нам славенорусский язык, благомерный и звучный»<sup>12</sup>. При этом, главный мотив освоения античного наследия как на уровне формы, так и на уровне содержания заключался в стремлении к культурному прогрессу и равенству с другими просвещенными народами Европы: «не прежде земля осенится вечным миром, не прежде добродетель и правосудие с вольностью и равенством утвердят на ней постоянное свое жилище, пока не получают все народы до единого равную степень просвещения»<sup>13</sup>. На этом этапе члены Общества еще не причастны к процессам нацистроительства, которые вызвала к жизни философия Просвещения.

В последующие годы (1805–1810-е) искания молодых литераторов обретают искомый стержень. В их арсенале возникает русский народный размер, стиль, система образов. Фольклор в целом (в том числе Оссиан, воспринимавшийся как народный певец) осмысливается в соответствии с просветительскими представлениями о том, что из рук природы человек выходит одаренным всеми качествами, необходимыми для добра и счастья<sup>14</sup>. На место условного «естественного» человека ставится схема национального идеала. Такая попытка представить наделенный конкретными этнографическими и историческими чертами образ народа как идеальный, быт, русский по национальному характеру и крестьянский по социальному признаку, – по аналогии с бытом античным, который воспринимался как воплощение «природного» развития свободной человеческой личности, не противоречила идеям Просвещения, а наполняла их новым конкретным содержанием. Важно заметить, что мы наблюдаем не реконструкцию, а конструирование народного характера на основе фольклорных источников, наличие знаний о форме, но отсутствие – о духовной составляющей.

---

<sup>11</sup> Е. В. Петухов впервые ввел в научный оборот документы архива ВОЛСНХ и обосновал их значимость для изучения наследия А. Х. Востокова: *Петухов*. 1890.

<sup>12</sup> *Востоков*. 1805-1806. Ч. 1. С. 1.

<sup>13</sup> *Востоков*. 1890. С. 18.

<sup>14</sup> *Лотман*. 1987. С. 44.

В 1810 г. А. Х. Востоков занимается сбором русских фольклорных памятников – песен и пословиц, опубликованных в конце XVIII – начале XIX в.<sup>15</sup> В его поэтических произведениях этого периода преобладает высокая риторика без славянизмов: «Русский царь», «царь-отец», «отец народа» – не тиран, «царь-Просветитель», «Дом великого Петра», «любовь свободных подданных» – не рабов. Присутствует множество картин взращивания наук, искусств, ремесел, труда. Характеристики народа появляются только во время и в связи с войной. «Россы», «россияне», «Русский» – это «верный», «сильный», «твердогрудый», «оружемощны длани», «грудь геройская», нельзя «уловить лестью». Это «достоинейшие сыны России», «добрый народ», «минины и пожарские». Основная оппозиция при выстраивании их национального характера связана с государственным, а не национальным строительством: материальным благам противопоставлены честь, любовь к отечеству, вера. Определение «русский/славянский» – здесь еще отсутствует, славянская – только история. Этот народ обладает прошлым в Европе – общеславянским прошлым<sup>16</sup>.

Показательно, что поэтические опыты членов ВОЛСНХ регулярно подносятся Государю – они осознают себя причастными к государственному строительству. Национальный образ в их текстах только очерчен, нет конкретных этнографических черт, нет содержания. Поэтому параллельно Востоков ведет поиск источников для реконструкции народной философии, и в 1810 г. им подготовлено издание сборника пословиц «Цвет русской поэзии и русской философии...»<sup>17</sup>.

В те же годы Востоков, в отличие от своих друзей и единомышленников, членов общества – художников А. И. и И. А. Ивановых, Ф. Ф. Репина, И. И. Терехова, И. И. Гальберга – главным инструментом конструирования нового сознания для которых стало изобразительное искусство, изучает славянские языки, историю русской словесности, книжной культуры. Востоков интересовался этимологией «словенского» языка еще в конце 1790-х гг., в 1807-1808 гг. от сбора языкового материала он перешел к его систематизации. В дневнике, в записях за 1808 г. от-

<sup>15</sup> Заметки А. Х. Востокова о его жизни... С. 32.

<sup>16</sup> Например: А. Х. Востоков «Ода на день восшествия на всероссийский престол его императорского величества государя императора Александра I. 1813 года марта 12-го, и на истечение второго столетия по воцарении в России рода Романовых, впоследствиивавшем 1613 года марта 14-го дня».

<sup>17</sup> Труд А. Х. Востокова «Цвет русской поэзии и русской философии...» утрачен, сведения об этой работе присутствуют в протоколах заседаний ВОЛСНХ за 1810 г. *Петухов*. 1890. С. 49.

мечено: «начал приводить в порядок «Этимологическое словорасписание»<sup>18</sup> – редактировать уже составленный сравнительный этимологический словарь славянских(!), а также немецкого, древнегреческого и некоторых других языков. Прием сравнения языковых фактов различных народов здесь уже присутствует. На материале древнерусских и церковнославянских памятников он начинает исследовать историю славянских языков. В это время и происходит расширение его исследовательского поля: история русского языка будет рассматриваться им в контексте других славянских. В 1820 г. завершено «Рассуждение о славянском языке, служащее введением к грамматике сего языка, составляемой по древнейшим оного письменным памятникам» (где ученый определяет происхождение церковнославянского языка как древнеболгарского, уточняет генеалогическую классификацию славянских языков, объясняет загадку юсов и пр.). С «Рассуждения...» традиционно начинают историю сравнительно-исторического метода в славянском языкознании, поскольку Востоков обосновывает и применяет этот метод одновременно с Ф. Боппом и Я. Гриммом, не будучи знаком с их трудами<sup>19</sup> и имея только уже поставленную Й. Добровским задачу найти метод для реализации славяноведческого комплекса. Этот труд является ключевым в формировании востоковедского проекта науки о славянском мире еще и потому, что здесь впервые научно обоснована важнейшая идеологема славянского национал-строительства – идеологема славянской общности, родства культур.

В 1812 г., завершая поэтические эксперименты членов ВОЛСНХ, вышел труд А. Х. Востокова «Опыт о русском стихосложении», ставший первым исследованием теории стиха в России. Обобщив весь собранный фольклорный материал и разновременные оригинальные поэтические опыты различных национальных литературных традиций, Востоков выстроил схему взаимосвязи между свойствами языков и системами стихосложения в их историческом развитии, которую прокомментировал уже в дополненном переиздании 1817 г.: «В сем опыте рассматриваются преимущественно народные русские стихи; не с меньшею, однако, подробностью излагаются и другие размеры или виды стихов, заимствованные русскими у иных народов: и сие для полного сравнительного обозрения сих размеров, а не для того, чтобы автор хотел написать учебный курс, или систематическое начертание правил пиитиче-

<sup>18</sup> Заметки А.Х. Востокова о его жизни... С. 24.

<sup>19</sup> См.: Колесов. 1975. С. 82–113; Колесов. 2003. С. 162–192.

ских по всем родам стихов»<sup>20</sup>. Очевидно, что принципы сравнительного изучения фактов родственных культур и сопоставления их с неродственными, которые впоследствии станут основой методологии всей европейской славистики, сложились у Востокова в период работы в ВОЛСНХ. И при этом важно, что свой сравнительный метод, как видим, он впервые применил не к фактам языка, а к формальным структурам средневековой славянской поэзии.

Таким образом, в ходе построения и реализации проекта национальной филологической культуры интеллектуалы ВОЛСНХ провели исследование славянского фольклорного стиха, сопоставление европейских систем стихосложения, разработали критерии и приемы стилистического редактирования художественного текста, дали «образцы» интегрирования европейской стихотворческой техники и русской языковой стихии. Рефлексия нацистроительских задач теории стиха отражена в протоколах заседаний Общества, и реконструируется также при анализе круга чтения и полемики ВОЛСНХ с предшественниками и современниками по проблемам развития стихосложения. Работа с просодией привела ВОЛСНХ к необходимости создания собственной версии того, что предназначалось означивать русскому стиху – русского характера как идеологемы нацистроительства.

Проект создания национальной филологической культуры ВОЛСНХ, по общему мнению историографов, не получил широкой реализации, так и оставшись экспериментом и школой для своих создателей<sup>21</sup>. Однако возможен взгляд и с другой стороны. Деятельность Общества обрела новое качество и стала интеллектуальной предысторией славистики – науки, возникшей в Европе в русле европейских интеллектуальных проектов национального славянского возрождения<sup>22</sup>. Долгое время славистика не могла обрести не только твердой методологической основы, но даже простой договоренности ее основных представителей о методе и цели занятий, оставаясь на уровне идеологических деклараций и эмпирической описательности. И именно российские интеллектуалы и, прежде всего, А. Х. Востоков являются создателями ее методологии. Исследователи, за исключением Р. Якобсона, обратившего в начале XX в. внимание на незаурядность работы о просодии<sup>23</sup>, до настоящего времени не признают непосредственной взаимосвязи ранних филологических

---

<sup>20</sup> Востоков. 1817. С. 3.

<sup>21</sup> См.: *Imposti*. 2000.

<sup>22</sup> См.: *Масира*. 1983; *Гланц*. 2004; *Гланц*. 2007.

<sup>23</sup> См.: *Якобсон*. 2011.



проектов Востокова и других аналитиков ВОЛСНХ с его последующей академической карьерой<sup>24</sup>. Уже при жизни в сознании современников академик А. Х. Востоков<sup>25</sup>, основатель сравнительного изучения славянских языков, издатель Остромирова Евангелия, затмил своими достижениями в славянском языкознании стихотворца, переводчика и философа Востокова. Его учениками был сконструирован образ, соответствовавший тому этапу развития славяноведения (1840-50-е гг.), когда происходила институционализация основанной академиком науки. Российскому славяноведению была необходима своя большая история и ее большие персонажи. Поэтому стихи, не создавшие славы первого стихотворца, и занятия в Вольном Обществе любителей словесности, наук и художеств (ВОЛСНХ) признавались в жизни ученого всего лишь «юношескими опытами», позволившими развить художественный и языковой вкус, испытать свои силы. Закономерно, что научная биография ученого в библиографическом указателе Библиотеки Академии наук завершается фразой: «Сегодня трудно понять, что именно определило целенаправленность поиска Востокова: его личный замысел или потребности времени. Кажется, что в основе его выбора лежит гениальное предвосхищение событий, которое и вело его за собой...»<sup>26</sup>. Не получила осмысления прямая связь предложенного и детально разработанного Востоковым метода сравнительно-исторического изучения славянских языков с его предшествующими сравнительно-типологическими исследованиями средневекового европейского стиха, которые давали философскую мотивацию превращения метода в методологический комплекс, способный охватить все грани неоднородного аналитического объекта «славянский

<sup>24</sup> См.: Лантева. 2005. С. 70-73, Колесов. 2003.

<sup>25</sup> Академик (1841) А. Х. Востоков известен в истории науки как крупнейший языковед первой половины XIX в., стоявший у истоков сравнительно-исторического изучения славянских языков. Ему принадлежат труды по сравнительной грамматике славянских языков, лексикографии церковнославянского и русского языков, палеографии (он осуществил первое научное издание «Остромирова Евангелия»), описал коллекцию рукописей «Румянцевского музеума», коллекцию рукописей митрополита Евгения (Болховитинова). В «Рассуждениях о славянском языке» (1820) Востоков впервые раскрыл существование носовых гласных в старославянском языке, доказал, что буквы ѣ и ѣ в славянских рукописях обозначали гласные звуки. Он также работал над составлением и редактированием словарей: ему принадлежит «Словарь церковнославянского языка» (1858–1861), под его редакцией вышел «Опыт областного великорусского словаря» (1852), а в 1831 г. была опубликована его «Русская грамматика», основанная на изучении и описании фактов живого разговорного языка и языка литературного, преимущественно языка Пушкина.

<sup>26</sup> Выдающийся филолог-славист... С. 13.

мир». А между тем, принципы сравнительного изучения фактов родственных культур и сопоставления их с неродственными сложились у Востокова, как было показано, еще в период увлечений поэзией.

Судьба методологического комплекса, разработанного Востоковым оказалась неоднозначной. Принятый российской и европейской славистикой в ходе ее профессионализации, он практически на протяжении всего существования науки будет конфликтовать с ее эмпирическими изысканиями. Во многом это объясняется тем, что ученики и последователи А. Х. Востокова – представители первого поколения университетских славяноведов, которым предстояло осуществить проект академика, – осмыслили свои задачи уже несколько иначе, были людьми другой эпохи, и их выбор в области методологии оказался принципиально отличным от ее первоначального проекта.

Двое из них – О. М. Бодянский и И. И. Срезневский, на том этапе – более этнографы и фольклористы, чем филологи и историки по своим научным приоритетам, сразу же отказались от методологических поисков. Срезневский прямо утверждал, что славяноведение не может на данном этапе выстроить свою методологию, необходимо прежде всего создать обширную источниковую базу<sup>27</sup>.

П. И. Прейс нашел необходимым в течение года перед поездкой в славянские земли изучать памятники церковнославянского языка в хранилищах Петербурга под руководством А. Х. Востокова. Это позволило ученому освоить метод сравнительного изучения языков, структурировать сведения по их истории. Однако впоследствии он отказался от попыток выстроить комплексные исследования. По свидетельству Срезневского, «предметом диссертации он избрал Богумильскую ересь»<sup>28</sup>, т.е. пошел по пути специализации, и только в преподавании им был выдержан принцип комплексного освещения истории и культуры славян<sup>29</sup>.

Лишь В. И. Григорович, развивая идеи Востокова, предпринял попытку выстроить модель методологического синтеза, при котором славянские культуры в их историческом развитии становятся единым текстом, прочитываемым славяноведением с помощью инструментария целого ряда гуманитарных наук<sup>30</sup>. В магистерской диссертации «Опыт изложения литературы словен в ее главнейших эпохах»<sup>31</sup> Григорович

---

<sup>27</sup> Срезневский. 1849.

<sup>28</sup> Срезневский. 1878. С. 11. Рукопись диссертации П. И. Прейса утрачена.

<sup>29</sup> Срезневский. 1878. С. 10.

<sup>30</sup> Подробнее о методе В. И. Григоровича см.: Макарова (Недашковская). 2005.

<sup>31</sup> Григорович. 1843.

экстраполировал философские и методологические идеи Востокова на весь комплекс дисциплин славяноведения. Тезис о существовании славянского единства, славянской идентичности у Григоровича начинает работать как обоснование необходимости сравнительно-исторического изучения не только славянских языков, но и литератур, истории, этнографии, и на такой основе утверждается адекватность методологического синтеза в славистике. Задача дисциплин, составляющих славяноведение, по Григоровичу, – исследовать, «каким образом в нравственном мире сознание народов Словенских постепенно определяло себя: как оно достигало и достигает в своем развитии всемирного значения...» продиктовала необходимость «доискиваться связи между явлениями»<sup>32</sup>.

Так выстраивается более четкая система будущих междисциплинарных исследований. Концептуальным стержнем, вокруг которого должно строиться дальнейшее изучение составляющих славянской культуры, для Григоровича становится славянское Просвещение как единство фактов языка, истории, культуры: «С появлением Христианства у Словен сопряжено собственное их появление в истории в более индивидуальном значении; от различного определения Христианизма в сознании Словен зависели все явления их духовной жизни, определялись их отношения к другим народам, решалась даже их судьба»<sup>33</sup>. Славяне оказываются вписаны и в контекст всемирной истории. Важно, что «Опыт...» представляет и практическую реализацию метода: вся история литературы восточных, южных и западных славян рассматривается здесь с позиций единой периодизации, в рамках которой делается попытка подтвердить тезис о типологическом единстве развития культур славянских народов фактами истории литературы: «уразуметь, находятся ли признаки взаимности словенской на известных степенях их развития, выражают ли они в общем, в совокупности всех видов целого рода, одну мысль»<sup>34</sup>.

Таким образом, проект славистики, выстроенный академиком Востоковым под влиянием идей государственного и национального строительства Просвещения и Романтизма, в виде методологической модели, развитой и дополненной Григоровичем, мог стать научной основой комплексных исследований славянского мира. Как показала история науки, славяноведение по этому пути не пошло, избрав стратегию накопления фактов и все большей специализации. Это развело в методологическом

---

<sup>32</sup> Там же. С. 6.

<sup>33</sup> Там же. С. 7.

<sup>34</sup> Там же. С. 7.

плане последующие поколения славяноведов с первоначальным проектом науки – славяноведческий комплекс сохранился лишь на уровне декларации, придающей славистике особый идеологический интерес, и позволяющей оставаться внутри процесса нациестроительства.

Итак, взгляд на историю филологических штудий одного сообщества – членов Вольного Общества любителей словесности, наук и художеств (1801–1813 гг.) – в контексте истории развития идей национально-го и государственного строительства первой половины XIX в. позволяет увидеть взаимосвязь и даже преемственность типологически различных явлений интеллектуальной жизни России и Европы данного периода – один просветительский проект создания национальной культуры, родившийся в малоизвестном на том этапе кружке недворянской молодежи, оказывается философским и эмпирическим фундаментом науки, популярной в обществе все последующее столетие и столь известной своими идеологическими надстройками. Идеологемы нациестроительства, созданные членами Вольного общества любителей словесности, наук и художеств оказались вполне жизнеспособными, несмотря на отсутствие какой-либо выдающейся репутации у творцов этих идеологем – впоследствии они вошли в структуру нарратива национальной русской культуры и стали существенным инструментом практик присвоения литературного, научного и публицистического дискурсов.

### БИБЛИОГРАФИЯ

*Востоков А. Х.* Краткая история Общества любителей наук, словесности и художеств // Периодическое издание ВОЛНХ. СПб., 1804. Ч. I. С. 1-19. URL: <http://www.library.spbu.ru/rus/Volsnx/index.html> (время доступа 17.03.2012).

*Востоков А. Х.* Опыты лирические. СПб.: Морская типография, 1805-1806.

*Востоков А. Х.* Опыт о русском стихосложении. СПб.: Морская типография, 1817. 167 с.

*Востоков А. Х.* Речь о просвещении человеческого рода // Петухов Е. В. Несколько новых данных из научной и литературной деятельности А. Х. Востокова. СПб., 1890. С. 18-19.

Выдающийся филолог-славист России академик Александр Христофорович Востоков (1781–1864): Биобиблиографический указатель. СПб.: БАН, 2001. 48 с.

*Гланц Т.* Чешская версия языкового строительства: Национальное возрождение и его остаточные идеологемы // Новое литературное обозрение. 2004. № 68; URL: <http://magazines.russ.ru/nlo/2004/68/glan.html> (время доступа 17.03.2012).

*Гланц Т.* Славянская борьба в Центральной Европе // Неприкосновенный запас. 2007. № 6 (56); URL: <http://magazines.russ.ru/nz/2007/6/gl6.html> (время доступа 17.03.2012).

*Григорович В. И.* Опыт изложения литературы словен в ее главнейших эпохах. Казань, 1843. (1 изд. – УЗКУ, 1842, Кн. 3., С. 105-216; 1843, Кн. 4, С. 3-56).

- Заметки А. Х. Востокова о его жизни / Сообщ. В. И. Срезневский. СПб., 1901. 114 с.
- Из писем И. И. Теребенева к А. Х. Востокову // Русская старина. 1901. № 1. С. 1-114.
- Колесов В. В. Поиски метода: Александр Христофорович Востоков // Русские языковеды. Тамбов, 1975. С. 82–113.
- Колесов В. В. Открытие метода: А. Х. Востоков // Колесов В. В. История русского языкознания: Очерки и этюды. СПб., 2003. С. 162–192.
- Кочеткова Н. Д. Литература русского сентиментализма (Эстетические и художественные искания). СПб., 1994. 279 с.
- Лантвева Л. П. История славяноведения в России в XIX веке. М.: Индрик, 2005. 848 с.
- Лихачев Д. С. Предисловие // Н. А. Львов. Избранные сочинения. Кёльн; Веймар; Вена: Белая; СПб.: Пушкинский Дом, 1994. С. 5.
- Лотман Ю. М. О русской литературе. Статьи и исследования (1958-1993): История русской прозы. Теория литературы. СПб.: «Искусство-СПб», 1997. 842 с.
- Майофис М. Воззвание к Европе. Литературное общество «Арзамас» и российский модернизационный проект 1815 — 1818 годов. М.: НЛО, 2008. 800 с.
- Макарова (Недашковская) Н. И. Проблема методологического синтеза в славяноведении: наследие В. И. Григоровича // Казанский университет как исследовательское и социокультурное пространство: Сборник научных статей и сообщений / Сост. и отв. ред. Г. П. Мягков, Е. А. Чиглинцев. Казань: КГУ, 2005. С. 243-249.
- Макогоненко Г. П. Радищев и литература его времени. Л., 1977. 258 с.
- Орлов В. Н. Русские Просветители 1790–1800-х годов. М., 1953. 542 с.
- Петухов Е. В. Несколько новых данных из научной и литературной деятельности А. Х. Востокова. СПб.: Тип. В. С. Балашова, 1890. 63 с.
- Срезневский В. И. Заметки А. Х. Востокова о его жизни // Сб. ст., чит. в ОРЯС. 1901. Т. LXX, № 6. С. 1-114.
- Срезневский И. И. Программа преподавания славянской филологии в С.-Петербургском университете. СПб., 1849. 28 с.
- Срезневский И. И. На память о Бодянском, Григоровиче и Прейсе, первых преподавателей славянской филологии. СПб., 1878. 47 с.
- Федосеева Т. В. Теоретико-методологические основания литературы русского предромантизма. М.: МГОУ, 2006. 157 с.
- Якобсон Р. Формальная школа и современное русское литературоведение / Редактор-составитель Гланц Т. М.: Языки славянских культур, 2011. 280 с.
- Imposti G. Aleksandr Khristoforovich Vostokov: Dalla pratica poetica agli studi metrico-filologici. Bologna, 2000. 275 p.
- Macura V. Znameni zrodu. Cesko obrozeni jako kulturni typ. Praga: Československý spisovatel, 1983. 540 s.

*Недашковская Надежда Игоревна, кандидат филологических наук, специалист по учебно-методической работе кафедры теории и истории гуманитарного знания Института филологии и истории РГГУ, старший научный сотрудник Казанского (Приволжского) федерального университета; n.nedashkovskaja@mail.ru*

А. Э. АФАНАСЬЕВА

## НАУКА, ЛИТЕРАТУРА И ИМПЕРИЯ АФРИКАНСКИЕ ТРАВЕЛОГИ БРИТАНЦЕВ 1850-х – 1870-х гг.

---

В статье исследуются особенности создания и восприятия британской литературы путешествий об Африке в 1850-е – 1870-е гг. Рассматривается специфика африканских травелогов как жанра, находящегося на стыке науки и литературы, анализируется трансформация языка литературы путешествий в викторианский период.

**Ключевые слова:** литература путешествий, африканские травелоги, империя, викторианская Англия.

---

«Путешественник по Африке в наши дни необыкновенно перегружен работой, – писал в 1858 г. известный исследователь континента Р. Бёртон. – Если раньше читающая публика была удовлетворена сухими подробностями обычных открытий и приходила в восторг от упоминания нескольких широт и долгот, то теперь... запросы возросли. ...От путешественника ожидают, что он будет записывать метеорологические и гидрометрические данные... стрелять и изготавливать чучела птиц и зверей, собирать геологические образцы, добывать сведения о политике и торговле, развивать недавно появившуюся науку этнологию, вести дневники... составлять грамматики и словари и оформлять длинные отчёты, которые не дали бы заснуть членам Королевского географического общества на вечерних заседаниях»<sup>1</sup>.

И хотя Бёртон пытается оградить исследователей Африки от новых обязанностей, указывая на то, что «путешественнику, окруженному проблемами, трудностями и опасностями местных войн», озабоченному необходимостью накормить, вымуштровать и полностью организовать отряд, некогда заниматься «изучением инфузорий и показаний барометра», в его собственном отчёте данные о топографии, геологии и этнографии региона занимают значительное место.

Информация о Другом всегда была важной составной частью рассказов путешественников, но в Англии викторианского периода сбор сведений о различных регионах Земли становится задачей национально-

---

<sup>1</sup> Burton. 1858. May. P. 580.

го значения и основным смыслом написания и публикации травелогов. Интерес публики к научным «фактам» и практически важной информации был прежде всего обусловлен потребностями расширяющейся империи. Только детальное знание об отдалённых землях империи, их природных ресурсах и населении могло, по мысли викторианцев, обеспечить эффективное управление разбросанными по планете территориями, наметить пути их освоения и в конечном счёте способствовать процветанию как колоний, так и Британии, лидера «цивилизованного мира». В викторианскую эпоху литература путешествий превратилась в важнейшее поле обсуждения и распространения главных идей имперского проекта. Отчёты путешественников составляли основу для рассуждений учёных о закономерностях политического и экономического развития обществ, коммерсанты находили в них информацию о возможных новых рынках и источниках сырья, правительственные круги черпали в травелогах сведения, позволявшие принимать дипломатические решения, наконец, обыватели узнавали из них о мире «вне Европы» и формировали своё мнение о нём.

Особенную роль в популяризации знания о населении и географии имперских рубежей сыграли работы британских путешественников 1850–70-х гг., участвовавших в решении основной географической проблемы периода – поиска истоков Нила в Восточной Африке. Именно они открыли европейской публике перспективы экономического развития внутренних областей «Чёрного континента», указали на масштабы работ торговли и проложили путь вглубь материка миссионерам и коммерсантам. Кроме того, эти тексты фактически заложили канон жанра «имперского» путешествия и наиболее полно воплотили в себе произошедшую в викторианский период переориентацию науки на службу империи.

В центре внимания данной статьи находятся два сюжета: это, во-первых, контекст производства и восприятия работ путешественников об Африке в викторианский период, предполагающий рассмотрение причин растущего интереса публики к географическим исследованиям в 1850–1870-е гг., каналов популяризации географического знания и агентов влияния в этом процессе. Вторая задача заключается в выявлении специфики африканских травелогов как жанра, лежащего на стыке науки и литературы, а также изучении трансформации языка литературы путешествий в изменявшихся в новом имперском контексте условиях.

К середине XIX века большая часть Африки всё ещё оставалась «белым пятном» на карте континента: как отмечал на заседании Королевского географического общества известный учёный и авторитетный

путешественник Фрэнсис Гэлтон в 1856 г., «мы находимся в состоянии абсолютного неведения в отношении внутренних областей материка»<sup>2</sup>. Однако уже к концу 1880-х гг. карта Восточной Африки, по словам географа Дж. Бейкера, «приняла совершенно другой вид, а накопившийся материал произвел целую революцию в географических воззрениях на эту область земного шара»<sup>3</sup>.

Укрепление британского влияния в Судане, на Занзибаре и отчасти в прибрежных районах Восточной Африки к середине XIX века сделало возможным продвижение вглубь континента путешественников, миссионеров, охотников, коммерсантов, результатом экспедиций которых стало стремительное «открытие Африки»<sup>4</sup>. Хотя интерес к поиску истоков Нила пробудился благодаря сообщениям немецких миссионеров Л. Крапфа, Я. Эрхардта и И. Ребманна о существовании большого внутреннего озера в Восточной Африке, основная заслуга в разрешении важнейших географических задач принадлежит английским исследователям. Экспедиции Р. Бёртона и Д. Спика 1857-1858 гг., Д. Спика и Д. Гранта 1860-1863 гг., С. У. Бэйкера 1862-1865 гг., Д. Ливингстона 1865-1873 гг., Г. М. Стэнли 1871-1877 гг., а также десятка других менее известных путешественников на протяжении нескольких десятилетий приковывали внимание английской общественности к новостям с «Чёрного континента», стимулируя и удовлетворяя тот «феноменальный

---

<sup>2</sup> *Corrections of Map of Central Africa*. 1856. P. 93.

<sup>3</sup> *Бейкер*. 1950. С. 385. Бейкер, как и путешественники XIX века, называет Центральной Африкой те области континента, которые в современной терминологии именуется Восточной Африкой и в соответствии с классификацией ЮНЕСКО включают территории Бурунди, Джибути, Эритреи, Эфиопии, Кении, Руанды, Сомали, Судана, Танзании и ряда островов в Индийском океане. См.: East Africa. URL: [www.soas.ac.uk/library/archives/specialist-guides/regional/africa/](http://www.soas.ac.uk/library/archives/specialist-guides/regional/africa/)

<sup>4</sup> М. Л. Пратт, как и ряд других исследователей, подвергает сомнению правомерность использования термина «открытие» по отношению к областям, исследованным европейцами. Объекты, «открываемые» путешественниками, были давно известны местному населению, и они получали возможность добраться до них только благодаря африканским носильщикам и проводникам. Так, в случае с «открытием» озера Танганьика Бёртоном и Спиком, отмечает Пратт, в момент обнаружения озера Бёртон был так болен, что африканцы несли его на носилках, а Спик, хоть и был в состоянии передвигаться самостоятельно, однако был практически слеп от лихорадки и открыть буквально ничего не мог (*Speke*. 1859. P. 342). Открытие в таком контексте концептуализируется как акт конвертации местного знания в национальное европейское (*Pratt*. 1992. P. 202). Здесь и далее под «открытием» понимается изучение и описание Африки европейцами в рамках научной парадигмы западного знания.



интерес ко всему африканскому», который путешественник Джозеф Томсон назвал одной из наиболее ярких особенностей XIX века<sup>5</sup>.

Загадка истоков Нила широко обсуждалась в прессе, книги исследователей Африки расходились огромными тиражами, а выступления путешественников с докладами о результатах экспедиций собирали полные залы<sup>6</sup>. Так, встреча Спика, организованная Королевским географическим обществом, проходила при столь громадном стечении народа, что под натиском толпы в зале были выбиты окна<sup>7</sup>. Особым драматизмом был отмечен спор Спика и Бёртона о местонахождении истока Нила: в 1864 г. вокруг результатов экспедиций этих исследователей и сделанных ими выводов развернулась напряжённая научная полемика, в разгар которой Спик погиб на охоте при до конца не выясненных обстоятельствах. Истории, подобные этой, ещё более накаляли и без того наэлектризованную атмосферу, складывавшуюся вокруг путешественников. Возвращавшиеся из глубин материка исследователи быстро становились национальными героями, «сумевшими вырвать у сопротивляющейся природы долго хранимые ею тайны»<sup>8</sup>.

Интерес общественности к географическим проблемам – был ли это поиск нильских истоков или исследование озерных и речных систем Экваториальной Африки – во многом обуславливался тем, какое значение имело их решение для освоения внутренней части континента. Изучение климата, природных ресурсов, возможности установления транспортных путей были необходимым условием для дальнейшего развития европейской инициативы в регионе, которая проходила под флагом «оцивилизации Африки», при этом собственная страна воспринималась британцами как «естественный колонизатор», которая, будучи «мировым торговым лидером, обладает могуществом, обязывающим её принять на себя эту тяжкую ответственность»<sup>9</sup>.

Важную роль в привлечении внимания широкой публики к Восточной Африке сыграли миссионеры. Именно они указали британцам на масштабы работоторговли во внутренних областях континента и на опустошительное действие, которое она оказывает на жизнь африканских племён. Наиболее яркой и харизматичной фигурой среди миссио-

---

<sup>5</sup> Thomson. 1890. P. 339.

<sup>6</sup> Sir Samuel Baker on Central Africa. 1873. P. 5.

<sup>7</sup> *Oliphant L.* 1865. P.101.

<sup>8</sup> *Oliphant M.* 1866. P. 205.

<sup>9</sup> Baker. 1913 (1866). P. XXI; *Petherick J. and Petherick K.* 1863/64. P. 124.

неров был, бесспорно, Дэвид Ливингстон, чьи пламенные речи об ужасах торговли людьми и страданиях африканцев вдохновляли на действие не одно поколение британских гуманистов. По мысли миссионеров, достичь искоренения работорговли и просветить население континента можно было лишь через христианизацию туземцев и установление торговли, которая бы нарушила изолированность племён и послужила импульсом для их развития. Деятельность коммерсантов и миссионеров в Африке, однако, была невозможна без предварительных географических исследований всё ещё слабо изученного региона. Сам Ливингстон, как известно, внёс огромный вклад в европейское знание об Африке, изучив в ходе путешествий треть континента на пространстве от Кейптауна почти до экватора и от Индийского океана до Атлантического<sup>10</sup> в стремлении открыть пути для «проникновения торговли и христианского учения в обширные районы внутренней Африки»<sup>11</sup>.

Между тем, позиция правительства в вопросе о географическом исследовании Восточной Африки была двоякой – разделяя в целом идеи о цивилизаторской миссии Британии и необходимости развития торговли, оно, тем не менее, было ограничено соображениями экономии государственных средств и стремилось избегать активных действий в регионах, чей экономический и торговый потенциал не представлялся достаточно весомым<sup>12</sup>. Несмотря на то, что значительная часть экспедиций во внутренние области Восточной Африки курировалась правительством – так, на средства Министерства иностранных дел снаряжались экспедиции Бёртона и Спика 1857-58 гг., Спика и Гранта 1860-63 гг., кроме того, правительство обеспечивало статус британских консулов в Африке Д. Ливингстону в 1858-64 и в 1865-73 гг. и Д. Пэтерлику в 1861-63 гг., – власти предпочитали не устанавливать прямого контроля над открытыми в результате экспедиций территориями, ограничиваясь поддержкой уже имеющихся британских торговых постов. Если же в ходе экспедиций обнаруживались препятствия для установления торговли с внутренними областями континента (со стороны местных воинственных племён или португальских властей), британское правительство теряло интерес к дальнейшим исследованиям, отзывало экспедиции и прекращало финансирование, оставляя путешественников действовать далее на свой страх и риск. Наивысшего одобрения удостоивались исследователи, совер-

---

<sup>10</sup> Барков. 1956. С. 13.

<sup>11</sup> Ливингстон. 1948. С. 5.

<sup>12</sup> Porter. 2004. Chapters 1 – 3; Darwin. 2009; Hyam. 2010. Ch. 1.

шившие значимые открытия без обращения к финансовой помощи правительства. Так, У. Гладстон, высоко оценивая результаты экспедиции Бэйкера 1862-65 гг., осуществлённой путешественником на собственные средства, подчёркивал, что «Бэйкер проделал такую большую и важную для нас работу в отдалённой и варварской стране... и при этом не стоил государству ни шиллинга»<sup>13</sup>.

Гораздо большую активность в покровительстве инициативам путешественников проявляло Королевское географическое общество (КГО). Созданное в 1830 г., КГО не обладало серьёзными материальными ресурсами для прямого финансирования исследовательских экспедиций, однако оно сыграло важнейшую роль в популяризации и стимулировании географических исследований в викторианский период. Будучи академическим институтом, научным клубом и имперским музеем одновременно, КГО позиционировало себя в качестве средоточия географического знания, которое в этот период приобрело отчётливое имперское измерение. Сведения об отдалённых регионах, предоставляемые путешественниками, рассматривались как ключевые для обеспечения коммерческих, военных и филантропических успехов британцев в мире. Личные связи Президента КГО Родерика Мёрчисона<sup>14</sup> с лордом Кларендоном, возглавлявшим Министерство иностранных дел, позволяли Обществу добиваться официальной, а иногда и финансовой поддержки наиболее перспективных экспедиций. КГО оказывало деятельное содействие сбору средств на нужды географических исследований, организовывало выставки привезённых путешественниками геологических образцов, ботанических коллекций, этнографических артефактов, устраивало публичные лекции исследователей, а также банкеты и торжественные обеды в честь наиболее знаменательных открытий. Общество публиковало научные отчёты путешественников в собственных периодических изданиях и помогало им издавать книги с описаниями экспедиций. Так, именно Мёрчисон уговорил Дэвида Ливингстона написать его первую книгу о путешествиях по югу континента. Книга, изданная Дж. Мюрреем в 1857 г., имела феноменальный успех: она разошлась общим тиражом в 70000 копий и принесла её автору более 12000 ф.ст.<sup>15</sup>. Благодаря энтузиазму Мёрчисона сведения о каждом значимом геогра-

---

<sup>13</sup> Цит. по: *Gray*. 1978. P. 168.

<sup>14</sup> Сэр Родерик Мёрчисон был Президентом КГО в 1843-45, 1851-53, 1856-59 и 1862-71 гг., фактически доминируя в Обществе на протяжении более двадцати лет.

<sup>15</sup> *Youngs*. 2002. P. 160.

фическом открытии немедленно становились достоянием общественности, а КГО стало ассоциироваться с самыми прославленными экспедициями века. Привлекая внимание широкой публики к результатам деятельности путешественников, Королевское географическое общество фактически превращало их в знаменитых исследователей.

Помимо изданий Королевского географического общества, отчёты о путешествиях публиковались в литературных журналах, например, «Уэстминстер Ревью» или «Блэквудз Мэгэзин». Нередко журнал заранее договаривался с будущим автором об эксклюзивных «репортажах», создаваемых непосредственно в ходе путешествия. Это сообщало публикации известную мобильность, давая журналам возможность рассказывать об интересных публике регионах, не дожидаясь окончания экспедиции. Так, в 1862 г. в «Блэквудз Мэгэзин» появилась первая часть путевых дневников Кэтрин Пэтерик, которая сопровождала мужа в экспедиции, снаряжённой Королевским географическим обществом для оказания помощи Спигу и Гранту<sup>16</sup>. Кроме того, труды путешественников охотно публиковали крупные издательства, такие как «Стэнфорд», «Джонстон», «Макмиллан»; лидирующие позиции здесь занимал уже упоминавшийся издательский дом Джона Мюррея.

Энтузиазм английской публики в отношении исследователей – «пионеров империи» – в полной мере относился и к создаваемым ими текстам о путешествиях. В Англии викторианского периода литература путешествий была одним из наиболее востребованных читательской аудиторией жанров. Разнообразные «Записки», «Дневники», «Наброски» и «Впечатления» о «Путешествиях», «Прогулках» и «Странствиях» занимали верхние строчки в списках самых продаваемых изданий, поражая российских современников «громадностью» тиражей<sup>17</sup>. Интерес общественности к разного рода экзотическим историям воодушевлял всё новых авторов: уже в 1845 г. современник писал, что «публика сокрушена томами о пальмах, верблюдах и размышлениях о пирамидах»<sup>18</sup>, а комментатор журнала «Блэквудз Мэгэзин» сетовала на то, что «почти каждый десятый из огромной толпы туристов, побуждаемый наиболее похвальными мотивами – покрыть расходы путешествия... или поделиться впечатлениями с миром, – считает необходимым написать

---

<sup>16</sup> *Petherick Mrs.* 1862.

<sup>17</sup> «Новости науки, искусства и литературы. География». 1858. С. 20-21.

<sup>18</sup> Цит. по: *Pemle.* 1987. Р. 7.

книгу... И этот поток расширяется с каждым годом»<sup>19</sup>. Тем не менее, спрос на травелоги был неизменно высоким. В особенно выгодном положении на рынке литературы путешествий находились «истинные» путешественники – те, кто мог живописать публике картины удалённых и труднодоступных регионов – таких, как Восточная Африка. В письме Джону Пэтеррику (1859 г.) Спик убеждал его извлечь максимальную пользу из популярности всего африканского: «Мне только что пришло в голову, что для Вас нет ничего лучше, как опубликовать короткое описание Ваших путешествий в Африке, обильно сдобренное занимательными историями и битвами с туземцами: это отлично сработает сейчас и будет удерживать всеобщее внимание к Вашим странствиям в дальнейшем»<sup>20</sup>. Сохранившаяся правка текста следующей работы Пэтеррика, написанной уже совместно с супругой, свидетельствует о намерении четы путешественников добавить книге экзотического колорита для увеличения потенциала читательского спроса («В Субчайе, напротив Дарау, нам рассказали удивительную историю о крокодиле...») <sup>21</sup>. Публикация отчётов о путешествиях во многом была коммерческим проектом, над которым работали как сами авторы, так и издатели. Характерно, что уже тогда повышенный спрос на какой-либо особенно ожидаемый труд порождал появление «пиратских» изданий: так, известно, что в период подготовки к печати книги Ливингстона «Путешествия по Южной Африке» в различных частях Европы обнаруживались работы, якобы написанные знаменитым миссионером и исследователем; эти факты изрядно расстраивали Ливингстона и его издателя, вынужденных регулярно размещать опровержения в прессе<sup>22</sup>. Привлечению внимания читателей служили броские заголовки книг, как, например, «Путешествие в Восточной Африке: встречу Лунным горам», «К озеру Танганьика в кресле на колёсах»<sup>23</sup>. Женщины-путешественницы нередко акцентировали внимание на собственной гендерной принадлежности, подчёркивая необычность пребывания представительниц своего пола в отдалённых регионах империи: так, работа Хелен Каддик называлась «Белая женщина в Центральной Африке»<sup>24</sup>.

---

<sup>19</sup> *Oliphant M.* 1855. P. 590.

<sup>20</sup> *Petherick Mr., and Mrs.* 1869. Vol. II. Appendix A. P. 78 - 79.

<sup>21</sup> Wellcome Library for the History and Understanding of Medicine, London, UK. Petherick, John [archive material]. August 1862 - June 1863. MSS 5787/5790.

<sup>22</sup> *Henderson.* <http://www.livingstoneonline.ucl.ac.uk/companion.php?id=HIST2>.

<sup>23</sup> *Pringle.* 1884; *Hore.* 1886.

<sup>24</sup> *Caddick.* 1900.

Малообеспеченной публике были предназначены более дешёвые издания историй о путешествиях, содержавшие пересказ оригинального текста – к середине века, благодаря росту благосостояния викторианцев и интереса к самообразованию, а также повышению эффективности типографских технологий, в процесс чтения вовлекались всё более широкие группы населения, увеличивая спрос на печатную продукцию<sup>25</sup>.

Популярность, которой пользовалась литература путешествий в викторианский период, означала, что образы империи, создававшиеся авторами травелогов, имели обширную аудиторию, циркулируя среди очень разных социальных слоёв. Даже если открываемые путешественниками территории не включались в сферу прямого контроля Британии, представления об этих землях и населявших их народах становились частью сознания британцев, формируя их кругозор и определяя отношение к миру за пределами Европы.

#### *Наука и литература в африканских травелогах 1850–1870-х гг.*

Изменения, произошедшие в викторианский период в отношении к литературе путешествий, к самим исследователям и совершённым ими открытиям, коррелировали с трансформацией содержания травелогов и способов представления в них сведений об изученных регионах.

Начиная с 1800-х гг. к работам путешественников предъявляются всё более высокие требования; акцент с описания экзотического и живописного в их отчётах постепенно смещается в сторону точности и «научности». Смесь вымысла с реальностью, характерная, например, для «Робинзона Крузо» Дефо, уже к концу XVIII в. становится неприемлемой – не случайно работы известного исследователя Африки Джеймса Брюса, в которых он сообщал казавшиеся сенсационными данные, были отвергнуты публикой как недостоверные<sup>26</sup>. К середине XIX в. эта установка, обусловленная институционализацией науки, профессионализацией различных отраслей знания, формированием позитивизма как философии науки, набирает силу. Её ярким выражением стали инструкции путешественникам, регулярно выпускавшиеся Королевским географическим обществом начиная с 1854 г. В «Советах путешественникам» давались наставления о том, какие районы исследуемой территории следует посетить, на какие феномены и объекты нужно

---

<sup>25</sup> Best. 1972. P. 223 – 227; Hallett. 1976. P. 462.

<sup>26</sup> Bridges. 2002. P. 57. Брюс, в частности, сообщал, что жители Эфиопии отрезают стейки от живых коров.

прежде всего обратить внимание и каким инструментарием наиболее целесообразно пользоваться, чтобы «получить результаты, ценные для науки»<sup>27</sup>. Инструкции КГО отражали общеевропейскую тенденцию к изданию руководств для путешественников, определявших порядок наблюдения за миром за пределами лабораторий и кабинетов учёных. Такие руководства, настаивавшие на необходимости использования вопросников, таблиц для записи сведений и специфического инвентаря, формировали особый «способ видения», который должен был отличать взгляд учёного от взгляда обычного путешественника<sup>28</sup>.

Теперь успех травелога мог быть гарантирован лишь представлением научных фактов и практически важной информации, основанной на «беспристрастном» наблюдении. Наблюдение при этом было не просто созерцанием: корректное, точное наблюдение должно было производиться методично, в соответствии с определёнными правилами и с помощью набора специальных инструментов.

Стандартный инвентарь путешественника включал секстанты для определения географических координат и высот, ртутный горизонт, компасы, набор термометров и барометр-анероид для измерения атмосферного давления; к этому нередко прилагались теодолит (угломерный инструмент), дождемер (плювиометр), оптический телескоп для наблюдения за небесными телами, шагомер, хронометр для измерения долготы, промерные тросы для измерения глубин, гидрометр для определения влажности и другие инструменты<sup>29</sup>. Сетую на недостатки образования, дававшего молодым людям лишь «несовершенное знание структуры двух мёртвых языков и совершенно не знакомившего их с устройством реального мира»<sup>30</sup>, руководства, подобные «Советам путешественникам», снабжали исследователей инструкциями по практическому пользованию необходимыми инструментами. Отдельная глава посвящалась новой технике фиксации объектов изучения – фотографированию.

Изобретение фотографии в 1839 г. существенно расширило познавательные возможности экспедиций, при этом добавив путешественникам массу новых хлопот. Громоздкая камера, набор фотографических пластинок и ящики реактивов требовали повышенного внимания: неслучайно в первой официальной британской экспедиции, использовавшей

---

<sup>27</sup> Hints to Travellers. 1883. P. IV.

<sup>28</sup> Driver. 2001. P. 49.

<sup>29</sup> Hints to Travellers. P. 1-189. См. также: Galton. 2000 (1872). P. 10-11, 24-25.

<sup>30</sup> Galton. 2000. P. 2.

фотографический аппарат, – экспедиции Ливингстона по реке Замбези 1858-64 гг. – была специально предусмотрена должность фотографа. Помимо этого, путешественники повсеместно сталкивались с трудностями фотографирования туземцев, боявшихся направленных на них неизвестных объектов. «Вид инструмента, – писал Р. Бёртон в 1858 г., – убеждает варваров, что чужеземец сбивает с неба солнце, останавливает дождь, причиняет смерть и навеки заколдовывает землю»<sup>31</sup>; другой исследователь Африки Д. Томсон отмечал, что оставляемая в деревне камера могла весь день удерживать жителей в отдалении<sup>32</sup>. Тем не менее, уверенность викторианцев в том, что фотография является важным способом получения «самых полезных и правдивых отображений»<sup>33</sup> окружавшей путешественников реальности, прочно утвердила место фотографических аппаратов в арсенале африканских экспедиций, а репродукций снимков – на страницах травелогов<sup>34</sup>.

Использование научного дискурса, однако, имело свои ограничения: язык науки не был гендерно нейтральным, оставаясь на протяжении большей части викторианского периода прерогативой мужчин. Распространённое убеждение викторианцев в том, что занятия наукой не подходят женщинам, подрывают их женскую «природу» и маскулинизируют их, приводило к тому, что женщины-путешественницы, как правило, избегали научного тона в своих работах. Протестуя против допуска женщин в ряды членов Королевского географического общества, Джордж Керзон, известный политик и влиятельная фигура в КГО, писал: «Мы полностью не согласны с тем, что женщины способны вносить вклад в научное географическое знание. Их пол и подготовка равным образом не подходят для исследовательской работы»<sup>35</sup>.

Действительно, возможности формального женского образования во второй половине XIX в. оставались весьма ограниченными. Однако далеко не все путешественники-мужчины в 1850–70-х гг. были профессиональными биологами и географами; многие из них – армейские офицеры, инженеры, охотники – накануне экспедиций были вынуждены брать уроки естественной истории у экспертов в этой области<sup>36</sup>. Жен-

---

<sup>31</sup> *Burton*. 1858. P. 580.

<sup>32</sup> Цит. по: *Ryan*. 1997. P. 143.

<sup>33</sup> *Ibidem*. P. 32.

<sup>34</sup> *Hints to Travellers*. P. 244-250.

<sup>35</sup> *Curzon*. 1893. P. 11.

<sup>36</sup> *Galton*. 2000. P. 3-4.



щины-путешественницы, относившиеся к своим поездкам как к научным экспедициям, так же, как и их современники-мужчины, готовились к ним, штудирова специальную литературу и осваивая необходимые инструменты. Так, известно, что сопровождавшая мужа в экспедиции в Восточной Африке 1861-63 гг. Кэтрин Пэтерик хорошо разбиралась в естественной истории и в астрономии, а голландка Александрина Тинне, занимавшаяся исследованием речной системы Нила в Судане в 1862-64 гг., была отличным фотографом и знала арабский язык<sup>37</sup>. Тем не менее, даже те из путешественниц, кто обладал серьёзной научной подготовкой и действительно способствовал приращению западного знания об отдалённых землях, как правило, позиционировали свою работу как любительскую и не претендующую на профессионализм.

Ярким примером разделения жанров в соответствии с гендерной принадлежностью авторов служит работа супругов Джона и Кэтрин Пэтерик «Путешествия в Центральной Африке и исследование притоков Западного Нила» (1869)<sup>38</sup>. Большая часть повествования о ходе экспедиции принадлежит Кэтрин – главы, написанные Джоном Пэтериком, восполняли пробелы в канве событий, происходивших в то время, когда она была слишком больна, чтобы писать. Такая структура травелога делает контраст стилей особенно очевидным: сравнительно краткие записи Джона изобилуют научной терминологией, данными измерений, детальными описаниями водных систем, классификацией флоры, фауны и геологических образцов. Его сведения о местных жителях систематичны: сообщая о численности населения, этническом происхождении, языковых группах, отношениях с другими племенами, обычаях, болезнях и артефактах, он говорит на языке науки. Характерные ремарки, подобные этой: «Охотясь... и заметив отличное дерево, описание которого мне неизвестно, но это не *Adamsonia* – я спешился, чтобы измерить его окружность и нашел ее равной 24 футам»<sup>39</sup>, призваны свидетельствовать о непрестанном внимании путешественника ко всему, что может оказаться полезным науке. Текст Кэтрин значительно менее аналитичен: даже там, где повествование прерывается сообщениями об африканцах и изображением ландшафта, ее язык может быть назван скорее публицистическим, чем научным. Описание образцов флоры часто предваряется сло-

---

<sup>37</sup> The Europeans in the Sudan. 1980. P. 182; *Abushama-Rademaker*. 2010. P. 6-7.

<sup>38</sup> *Petherick Mr., and Mrs.* 1869.

<sup>39</sup> *Ibidem*. Vol. I. P. 232.

вами «милые»/«симпатичные» (*pretty, lovely*), терминология, как правило, отсутствует; точные определения сопровождаются ссылками на мнение или результаты работы супруга и другие компетентные источники: так, говоря о местном виде обезьян, она сообщает, что «для научного описания я должна отослать читателя к восхитительной работе доктора Рюппеля по фауне Абиссинии, в которой он называет этот вид *Colobus Guereza* и описывает как...»<sup>40</sup>. Несмотря на то, что в этом отрывке Кэтрин обнаруживает своё знакомство с трудами зоолога-современника, которые едва ли составляли обычный круг чтения женщин викторианской эпохи, она, тем не менее, предпочитает говорить о себе как о любителе, чьё мнение не претендует на авторитетность. В результате эта работа воспроизводит викторианскую концепцию разделенных сфер: два отдельных типа повествования соответствуют представлениям того времени о различии женского и мужского опыта, восприятия реальности, способов наблюдения и организации информации<sup>41</sup>.

Характерная для викторианских травелогов об Африке «документальность», однако, не должна вводить исследователя в заблуждение. Несмотря на то, что путешественники в этот период действительно стремились включить в свои отчёты как можно более детальную информацию о посещённых ими землях и их населении, травелогои по-прежнему оставались одним из жанров литературы, с особой структурой и набором специфических черт. Именно это смешение стилей – художественного и документального – и составляет своеобразие языка викторианской литературы путешествий, и особенно африканских травелогов.

Автор африканского травелога 1850–1870-х гг., как правило, выступает в архетипной роли героя. Свойственный викторианскому периоду повышенный интерес к героическим культам воплотился не только в возрождении сюжетов Античности и Средневековья, в новом витке популярности героев скандинавских саг и легенд о короле Артуре – викторианцы охотно создавали новых героев из числа современников<sup>42</sup>. Географические исследования Африки середины XIX века предоставили благодатную почву для формирования культа имперского героя, олицетворявшего величие нации, её коллективную волю в борьбе

---

<sup>40</sup> Ibidem. P. 297.

<sup>41</sup> Подробнее о специфике женских травелогов об Африке второй половины XIX в. см.: Афанасьева. 2004.

<sup>42</sup> MacKenzie. 1992. P. 109-135.

с варварством и первобытным беззаконием. В работах Бёртона, Спика, Бэйкера и других путешественников автор – имперский герой, помещённый не в романтизированное прошлое, а в экзотическое настоящее, – сражался со злом на заморских территориях, демонстрируя все традиционные характеристики своей роли: бесстрашие, решительность, сверхчеловеческую физическую выносливость, безграничную энергичность и непреклонную волю в схватке с «дикостью».

Герои литературы путешествий, обладавшие высокой моралью, преданные делу продвижения прогресса, христианства и цивилизации, становились моделью подражания для молодёжи и вдохновляющим примером для всех остальных, и главное – они представляли в качестве эталонов викторианской мужественности. Мужественность в колониальный период становится одной из главных черт национальной идентичности британцев. Историки считают, что культивирование маскулинности отражало беспокойство викторианцев о подрыве мужественности растущим комфортом городской жизни<sup>43</sup>: современники писали о феминизирующем влиянии городской среды с её удобствами и развлечениями, превращающей мужчин в «изнеженных, как девушки» созданий<sup>44</sup>. Такие перемены ощущались тем более дискомфортно в силу того, что оппозиция «мужественный – женственный» традиционно использовалась в выстраивании иерархий власти в колониальном контексте, где туземные народы описывались как слабые, иррациональные и требующие сильной «мужской» руки твёрдых, решительных британцев.

Имперские рубежи как бесспорно мужское пространство и противоположность привычной домашней сфере становятся в викторианский период тем местом, где можно было доказать свою мужественность истинной проверкой характера – действием. Восточная Африка служила для этого идеальным фоном: отсутствие сильной имперской поддержки в сочетании с малой исследованностью территорий, особенно внутренних областей, способствовали восприятию этих земель как «диких», опасных мест, далёких от цивилизации и населённых враждебными народами. В воображении современников Восточная Африка существовала как враждебная человеку, «кишащая ужасами земля»<sup>45</sup>. «Губительная Африка! – восклицал Г. М. Стенли. – Один за другим гибнут путешественники. Каждый секрет этого громадного континента окружён таким

<sup>43</sup> См.: *Manliness and Morality*. 1987; *Tosh*. 2005.

<sup>44</sup> Цит. по: *An Anthology of Women's Travel Writing*. 2002. P. 252.

<sup>45</sup> *Thomson*. 1887. P. 201; *Burton*. 1961. (1860). Vol. I. P. 91-92.

количеством трудностей – изнурительная жара, ядовитые миазмы, выделяющиеся из земли, нездоровые испарения, обволакивающие все тропы, гигантская жёсткая трава, удушающая путника, безумная ярость туземца, охраняющего любой вход и выход, непередаваемое словами убожество жизни... полное отсутствие какого-либо комфорта... в этой земле тьмы, пронизанной мрачной торжественностью... невелика – слишком невелика – надежда на успех для каждого вступающего на неё»<sup>46</sup>.

Приключенческий сценарий африканского травелога предполагал описание путешествия как «квеста» (рыцарского поиска) – пути к определённой цели с многочисленными «проверками», которые с честью должен пройти герой. Сами путешественники нередко сравнивали себя с рыцарями древних времён<sup>47</sup>, однако главный смысл их героических деяний озвучивался ими весьма сообразно викторианской эпохе – утвердить превосходство англичан как «имперской расы», единственной из всех способной мудро и справедливо управлять другими народами. Описание трудностей пути происходит в терминах героического преодоления, в ходе которого доказываются преимущества «английского характера»: стойкости, находчивости, бесстрашия. Каждое событие представлено как ситуация, заставляющая автора балансировать на грани жизни и смерти, и лишь присутствие духа и непреклонность воли позволяют ему достойно разрешить конфликт.

В отличие от мужчин-путешественников, женщины, создававшие травелоги об Африке, не могли столь же легко применять к себе роль героя приключений, имевшую слишком сильные маскулинные коннотации. В своих текстах женщины демонстрируют меньшую склонность к драматизации собственных подвигов. Бесспорное мужество путешественниц, которому воздавали должное их спутники, описывается самими женщинами как моральный долг, необходимость проявлять терпение и выносливость – традиционные «женские» качества, – не быть обузой для окружающих и по возможности поддерживать их в бодром расположении духа. Не прибегая к героической роли, путешественницы, вместе с тем, так же, как и их современники-мужчины, представляли своё поведение как проявление «истинно английского характера», позволившего им с достоинством встретить и выдержать любые испытания<sup>48</sup>.

---

<sup>46</sup> Stanley. 1909. P. 296-297.

<sup>47</sup> См., например: Thomson. 1897. P. 164-165.

<sup>48</sup> Petherick *Mr. and Mrs.* Op. cit. Vol. I. P. 33, 81, 145, 219, 263 etc; Baker F. 1972. P. 58, 73 etc., Hore. Op.cit. P. 42, 157 etc.

Работы викторианских путешественников об Африке транслировались в массы не только сведения о флоре, фауне, рельефе и ландшафтах имперских рубежей и особенностях развития населявших их обществ – эти тексты формировали и образцы поведения для англичан обоого пола. Хотя идеалы «мускулистого христианства», культивировавшие сочетание в герое духовной силы и необыкновенной физической выносливости, ассоциируются прежде всего с работами Ч. Кингсли и Т. Хьюза конца 1850-х гг., африканские травелоги, имевшие огромную аудиторию, сыграли важнейшую роль в укреплении и распространении этих поведенческих моделей среди британцев. Образ «имперского героя», созданный путешественниками, лёг в основу целой индустрии рассказов об имперских приключениях, превозносивших «английскую отвагу и честь» и ориентировавших британцев на служение империи.

### БИБЛИОГРАФИЯ

- Афанасьева А. Э.* Британские путешественницы в Восточной Африке во второй половине XIX в.: проблемы статуса и репрезентаций /Дисс. к.и.н. Ярославль, 2004.
- Барков А.* Давид Ливингстон / Ливингстон Д. Путешествия и исследования в Южной Африке / Пер. с английского. М.: Географгиз, 1956. С. 4-15.
- Бейкер Дж.* История географических открытий и исследований / Пер. с англ. под редакцией И. П. Магидовича. М.: Изд-во иностранной литературы, 1950. 648 с.
- Ливингстон Д.* Путешествие по Замбези с 1858 по 1864 гг. М.: Государственное издательство географической литературы, 1948. 341 с.
- Новости науки, искусства и литературы. География // Отечественные записки. 1858. № 5. Отд. III. С. 20-27.
- Abushama-Rademakera A.M.* The Dutch Ladies Tinne, in the Sudan: Nineteenth Century Adventurers. Bloomington, Indiana: Trafford Publishing, 2010. 218 p.
- An Anthology of Women's Travel Writing. /Ed. with notes and introduction by S. Foster and S. Mills. Manchester and New York: Manchester University Press, 2002. 337 p.
- Baker F.* Morning Star: Florence Baker's Diary of the Expedition to Put Down the Slave Trade on the Nile, 1870–1873 / Ed. by A. Baker. L.: William Kimber, 1972. 240 p.
- Baker S.W.* The Albert N'Yanza, Great Basin of the Nile sources. L.: Macmillan, 1913 (First published in 1866). 473 p.
- Best J.* Mid-Victorian Britain, 1851 – 1875. New York: Schocken Books, 1972. 316 p.
- Bridges R.* Exploration and travel outside Europe (1720 – 1914). /The Cambridge Companion to Travel Writing. Ed. by P. Hulme and T. Youngs. Cambridge: Cambridge University Press, 2002. P. 53-69.
- Burton R. F.* Zanzibar; and two months in East Africa // Blackwood's Magazine. 1858. Vol. 83, February. P. 200-224; March. P. 276-290; May. P. 572-589.
- Burton R.F.* The Lake Regions of Central Africa: A Picture of Exploration. New York: Horizon Press, 1961. (First published in 1860). 2 vols. 880 p.
- Caddick H.* White Woman in Central Africa. L.; N.Y.: Unwin/Cassell, 1900. 242 p.

- Corrections of Map of Central Africa // Proceedings of the Royal Geographical Society. 1856. Vol. I. P. 92-93.
- Curzon G. N.* To the Editor of the Times // Times. 1893. 31 May. P. 11.
- Darwin J.* The Empire Project: the Rise and Fall of the British World-System, 1830–1970. Cambridge: Cambridge University Press, 2009. 800 p.
- Driver F.* Geography Militant: Cultures of Exploration and Empire. Oxford: Blackwell, 2001. 258 p.
- East Africa. URL: [www.soas.ac.uk/library/archives/specialist-guides/regional/africa/](http://www.soas.ac.uk/library/archives/specialist-guides/regional/africa/)
- Galton F.* The Art of Travel, or Shifts and Contrivances Available in Wild Countries. London: Phoenix Press, 2000. (First published in 1872). 366 p.
- Gray R. A.* A History of the Southern Sudan, 1839–1889. Westport, Conn.: Greenwood Press, 1978. 219 p.
- Hallett R.* Changing European Attitudes to Africa // The Cambridge History of Africa. Vol. 5. From c. 1790 to c. 1870 / Ed. by J. Flint. Cambridge: Cambridge University Press, 1976. P. 458-496.
- Henderson L.* «Everyone will die laughing»: John Murray and the Publication of David Livingstone's «Missionary Travels» / Livingstone Online. Explore the medical writings of David Livingstone. <http://www.livingstoneonline.ucl.ac.uk/companion.php?id=HIST2>
- Hints to Travellers, Scientific and General, edited for the Council of the Royal Geographical Society by H.H. Godwin-Austen and others. 5<sup>th</sup> edition. L.: Royal Geographical Society, 1883. 296 p.
- Hore A. B.* To Lake Tanganyika in a Bath Chair. London: Sampson, Low, Marsten, Searle and Rivington, 1886. 217 p.
- Hyam R.* Understanding the British Empire. Cambridge: Cambr. Univ. Press, 2010. 552 p.
- MacKenzie J. M.* Heroic Myths of Empire // Popular Imperialism and the Military, 1850–1950 / Ed. J. M. MacKenzie. Manchester: Manchester Univ. Press, 1992. P. 109-135.
- Manliness and Morality: Middle-Class Masculinity in Britain and America, 1800–1940 / Ed. J. A. Mangan, J. Walvin. Manchester: Manchester University Press, 1987. 278 p.
- Oliphant L.* Nile Basins and Nile Explorers // Blackwood's Magazine. 1865. Vol. 97, January. P. 100-117.
- Oliphant M.* Modern Light Literature – Travellers' Tales // Blackwood's Magazine. 1855. Vol. 78, November. P. 586-599.
- Oliphant M.* The Nile. //Blackwood's Magazine. 1866. Vol.100, August. P. 205-224.
- Pemle J.* The Mediterranean Passion: Victorians and Edwardians in the South. Oxford: Clarendon Press, 1987. 312 p.
- Petherick J. and Petherick K.* Report of Expedition Up the White Nile // Proceedings of the Royal Geographical Society. 1863-64. Vol. 8. P. 122-149.
- Petherick Mr., and Mrs.* Travels in Central Africa and Exploration of the West-Nile Tributaries. L.: Tinsley Brothers, 1869. 2 Vols. 327/203p.
- Petherick Mrs.* Mrs. Petherick's African Journal //Blackwood's Magazine. 1862. Vol. 91, June. P. 673-701.
- Porter B.* The Lion's Share: a Short History of British Imperialism 1850–2004. 4<sup>th</sup> ed. Harlow: Pearson Longman, 2004. 445 p.
- Pratt M. L.* Imperial Eyes. Travel Writing and Transculturation. L.: Routledge, 1992. 257 p.

- Pringle M. A.* A Journey in East Africa: Towards the Mountains of the Moon. Edinburgh and London: Blackwood, 1884. 386 p.
- Ryan J.* Picturing Empire: Photography and the Visualization of the British Empire. London: Reaktion Books, 1997. 272 p.
- Sir Samuel Baker on Central Africa // *Times*. 1873. 9 Dec. P. 5.
- Speke J. H.* Journal of a Cruise on the Tanganyika Lake, Central Africa. Part I // *Blackwood's Magazine*. 1859. Vol. 86, September. P. 339-357.
- Stanley H. M.* The Autobiography of Sir Henry Morton Stanley / Ed. by Dorothy Stanley. Boston and New York: Houghton Mifflin company, 1909. 551 p.
- The Europeans in the Sudan, 1834–1878. Some manuscripts, mostly unpublished, written by traders, Christian missionaries officials and others / Transl. and ed. by P. Santi and R. Hill. Oxford; New York: Clarendon Press/Oxford University Press, 1980. 250 p.
- Thomson J. B.* Joseph Thomson, African Explorer. London: Sampson Low, Marston and Company, 1897. 358 p.
- Thomson J.* The Results of European Intercourse with the African // *Contemporary Review*. 1890. Vol. 57, March. P. 339-352.
- Thomson J.* Through Masai Land: a Journey of Exploration Among the Snowclad Volcanic Mountains and Strange Tribes of Eastern Equatorial Africa. London: Sampson Low, Marston, Searle, & Rivington, 1887. 364 p.
- Tosh J.* Manliness and Masculinities in Nineteenth-Century Britain: Essays on Gender, Family and Empire. Harlow: Pearson Longman, 2005. 219 p.
- Wellcome Library for the History and Understanding of Medicine, London, UK. Petherick, John (1813–1882) [archive material]. August 1862 – June 1863. MSS 5787/5790. *Blackwood's Edinburgh Magazine*, vol. 91, no 560. June 1862, including (pp. 673-701) «Mrs. Petherick's African Journal». Printed, with additional manuscript notes, corrections etc.
- Youngs T.* Africa/The Congo: the politics of darkness // *The Cambridge Companion to Travel Writing* / Ed. by P. Hulme and T. Youngs. Cambridge: Cambridge University Press, 2002. P. 156-173.
- Афанасьева Анна Эдгардовна*, к.и.н., доцент кафедры всеобщей истории Ярославского государственного педагогического университета; [afanassieva@mail.ru](mailto:afanassieva@mail.ru)

М. В. БЕЛОВ

## «СЛАВЯНСКИЙ ХАРАКТЕР»:

### РУССКИЕ ПУБЛИЦИСТЫ, ЛИТЕРАТУРНЫЕ КРИТИКИ И ПУТЕШЕСТВЕННИКИ ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЫ XIX ВЕКА В ПОИСКАХ «НАРОДНОСТИ»

---

Разработка понятия «славянский характер» на русской почве рассматривается в контексте дискуссии о «народности» первой половины XIX в. и позиционирования интеллектуальной элиты в инославянском окружении. В настоящей статье сделан акцент на натуралистических моделях «национальной антропологии» исследуемого периода, а также на визуальных эффектах, которыми она пользовалась. Обращение к героическим образцам «славянского характера», распространенного на Балканах, явилось аргументом в пользу активного полюса «русской души».

**Ключевые слова:** национальный характер, славянское возрождение, «народность», литература путешествий.

---

Исследования понятия «народность», интенсифицировавшиеся в последнее время<sup>1</sup>, выявили существенные расхождения во взглядах. Когда одни авторы склонны рассматривать его как семантического уродца, возникшего в результате ошибки перевода (К. А. Богданов), другие видят в нем парадигму всей русской культуры «золотого» века и далее (Т. В. Кузнецова). Более частным, но все-таки важным следует считать разногласие исследователей в отношении так называемой «теории официальной народности». Если некоторые из них, развивая либеральную традицию, трактуют известную «триаду» как выражение государственной идеологии периода «национализации» династии<sup>2</sup>, то иные называют официальность «триады» историографическим мифом, поскольку превратно истолкованные А. Н. Пыпиным уваровские инициативы в действительности не получили системной поддержки сверху<sup>3</sup>. При этом часто подобные различия подходов и оценок смикшированы во избежание открытой полемики.

На неопределенности понятия «народность» сходятся большинство исследователей. Они отмечают, как правило, необходимость различения регистра (литературно-эстетического, философско-публицистического,

---

<sup>1</sup> Кузнецова. 1999; Лазари де. 2004; Бадалян. 2006; Богданов. 2006. С. 105-145; Миллер. 2009; Лескинен. 2010. Гл. 1–2; Ebbinghaus. 2006.

<sup>2</sup> Вортман. 1999; Он же. 2001; Миллер. 2007.

<sup>3</sup> Казаков. 1989; Шевченко. 2002.



историко-этнографического), в котором функционировал дискурс. В каждом из них акценты расставлялись по-разному. Вместе с тем, нельзя не признать, что, работая в определенном регистре, многие авторы XIX в. претендовали на универсальность своего понимания «народности», а жанровые границы текстов часто смещались. Во всяком случае, невозможно говорить, учитывая уровень спецификации знания в первой половине столетия, о полной автономии какой-то из его областей.

Семантический разлад, вызванный совмещением в понятии «народность» двух основных, но не единственных смыслов – простонародность (социальный аспект) и самобытность (этнический аспект) – очевидно, был запрограммирован специфичным двоemiрием русской культуры и цензурными запретами на открытое обсуждение общественно значимых вопросов. Силовое напряжение этих смысловых полюсов обусловило частичную абсорбцию в «народности» более ранних и сопутствующих концептов: народный (национальный) характер, дух и т.д.

Проникновение иноязычных концептов в культурный обиход русского общества в настоящее время рассматривается с точки зрения переноса (трансфера) западных идей и практик. При этом справедливо подчеркивается, что речь идет об истории «переосмысления заимствуемых ценностей», предполагающего как потери, так и обретение новых смыслов<sup>4</sup>. В этой связи трудно переоценить роль контекста, принимаемого во внимание исследователем. Расширение горизонта за пределы основной линии заимствований (Европа–Россия) возможно, если учесть, например, позиционирование русской элиты в инославянском окружении. Как неоднократно отмечалось, представления о «братстве» славянских народов первоначально выдвигались идеологами национальных движений, развивавшихся в условиях отсутствия «своей» государственной организации, и лишь затем они распространились в России<sup>5</sup>. Кроме того, в настоящей статье сделан акцент на натуралистических моделях «национальной антропологии» исследуемого периода, а также на визуальных эффектах, которыми она пользовалась<sup>6</sup>.

---

<sup>4</sup> Богданов. 2006. С. 8-9; Ширле. 2008; Миллер. 2010.

<sup>5</sup> Лещиловская. 1976; Фрейдзон. 1979. Например, идея «братства» русских и сербов лежит в основе «Записки» карловацкого митрополита С. Стратимировича, направленной в 1804 г. на имя императора Александра I. Еще ранее сербский историк Й. Раич сформулировал тезис о славянах как «природных» христианах, какими они были задолго до отказа от язычества. Это предвосхитило поздние построения русских славянофилов о предрасположенности славянских народов к истинному христианству, т.е. православию. См.: Белов. 2007. С. 120-121, 156-165.

<sup>6</sup> Вишленкова. 2005; Она же. 2008.

Как известно, представление об особом «славянском характере» было пущено в оборот И. Г. Гердером. Его суждения на этот счет стали складываться еще во время пребывания в Риге в 1760-е гг. и получили некоторое отражение в «Журнале моего путешествия в 1769 г.», когда Гердер, оставивший должность помощника ректора в местной церковной школе, отправился в Париж<sup>7</sup>. Находясь в Риге, он написал хвалебную оду в честь Екатерины II, вследствие чего получил (отклоненное им) приглашение на должность школьного инспектора в Петербург, и стал «горячим русским патриотом»<sup>8</sup>. По словам Л. Вульфа, в дальнейшем Гердер продолжал следить за успехами Екатерины в законодательной сфере и за политической жизнью в России, хотя его интерес все больше смещался к славянской фольклористике и этнографии. В этой связи показательно некоторое сходство в рассуждениях Екатерины II о «свойствах» россиян и в определении Гердером «славянского характера», получившем законченное выражение в четвертом томе его «Идей к философии истории человечества» (1791).

Отвечая на вопрос Д. И. Фонвизина «В чем состоит наш национальный характер?», заданный на страницах «Собеседника любителей российского слова» в 1783 г., императрица заявила: «В остром и скором понятии всего, в образцовом послушании и в корени всех добродетелей, от Творца человеку данных»<sup>9</sup>. Эта апологетическая тенденция проложила путь уже в анонимном «Антидоте» (1770), направленном против измышлений иностранцев (сочинения аббата Шаппа) о России<sup>10</sup>. Впрочем, в имперской идеологии екатерининских времен отсутствовало выделение славянского элемента (и *его* характера) в качестве ведущего. Так, возможный соавтор императрицы по «Антидоту» Н. И. Болтин утверждал, «хотя мы должны назвать своими праотцами и славян, смешавшихся с русскими (т.е. с варягами. – М. Б.), но все заимствованное от них “климат и время превратили в русское и едва ли осталась в жилах наших одна капля крови славянской”...», то же произошло со многими племенами, растворившимися в сложносоставном русском народе<sup>11</sup>.

Взгляд на «славянский характер» у Гердера складывался, по наблюдению критика этой концепции, как антитеза прусскому милитариз-

---

<sup>7</sup> Вульф. 2003. С. 447-461.

<sup>8</sup> Гайм. 1888. С. 123.

<sup>9</sup> Несколько вопросов, могущих возбудить в умах и честных людях особенное внимание // Фонвизин. 1959. С. 275. Об истории этого текста см.: Проскурина. 2010.

<sup>10</sup> Гаврилова. 1984.

<sup>11</sup> Ключевский. 1989. С. 256-258. См. также: Шанский. 1983.

му, который отвергался проповедником гуманности<sup>12</sup>. В специальном параграфе IV тома «Идей...» Гердер характеризовал славян древности как мирных землепашцев, пастухов, ремесленников и торговцев, ведущих «...веселую, музыкальную жизнь. Они милосердны, гостеприимны до расточительства, любили сельскую свободу, но были послушны и покорны (явная параллель с екатерининской трактовкой нрава россиян. — М. Б.), враги разбоя и грабежей. Все это не помогло им защититься от порабощения, а напротив, способствовало их порабощению. <...> Не удивительно ли, если бы после стольких столетий порабощения эта нация, до крайности ожесточенная против своих христианских господ и грабителей, не переменила свой мягкий характер на коварную и жестокую леность раба? И однако, повсюду, и особенно в тех странах, где славяне пользуются известной свободой, можно распознать былые черты их характера»<sup>13</sup>. В последнем пассаже автор очевидным образом вступал в полемику со стереотипными воззрениями своих предшественников и современников. Кроме того, национальный характер оказывался в его описании исторической константой в противоположность просветительской идее обработки нравов по мере приближения к правлению разума. Далее Гердер предсказывал триумф славянских народов в связи с утверждением в Европе принципов гуманности и прямо призывал их пробудиться ото сна, чтобы сбросить с себя цепи рабства<sup>14</sup>.

Как продемонстрировано в новаторском для своего времени исследовании И. М. Собестианского, призыв этот был вскоре услышан. Он прозвучал одновременно с начавшимся и набирающим силу национальным движением (позитивист Собестианский напрасно акцентировал внимание на случайности рассуждений Гердера в угоду «идолу истоков»). Уже в 1809 г. Л. Суворецкий произнес в Варшавском обществе

---

<sup>12</sup> *Собестианский*. 1892. С. 10-17. См. об этой книге и ее авторе: *Лантева*. 2005. С. 806-821.

<sup>13</sup> *Гердер*. 1977. С. 470-472. Собестианский подчеркивал нетипичность подобной характеристики для догердеровского славяноведения. *Собестианский*. 1892. С. 8-9. Список приводимых им примеров можно дополнить сочинением Й. Раича, в котором автор указывал как раз на воинские доблести древних славян и сетовал на отсутствие у них (и у современных ему сербов) просветительских добродетелей: *Белов*. 2007. С. 108-135. В издании известного «Описания...» И. Г. Георги 1799 г., отредактированном М. Антоновским, русские характеризуются как веселый, гостеприимный и страстный народ с «воинской врожденной склонностью». Их портрет дополнен верноподданническими и имперскими качествами: *Ширле*. 2008. С. 129-132.

<sup>14</sup> Л. Вульф указывает на грамматический сдвиг в тексте Гердера, который, как правило, игнорируется переводчиками. См.: *Вульф*. 2003. С. 458. Так в издании 1977 г. побудительное наклонение передано формой будущего времени.

любителей наук доклад, в котором проводилась идея о наследовании национального характера, а добродетелями древних славян компромиссно по отношению к Гердеру признавались мужественность и гуманность в чудесном соединении друг с другом. Эта позиция получила развитие в его «Исследовании начала народов славянских» (1824)<sup>15</sup>. В то же время данная концепция шлифовалась и дополнялась в чешском и словацком Возрождении. В главу пятую «Истории славянских литератур» (1826) П. И. Шафарик поместил пространное описание славянского характера, где, как доказал тот же Собестианский, чешский будитель использовал две проповеди Я. Коллара 1822 г. с ранней версией его идеи «славянской взаимности»<sup>16</sup>.

Шафарик выделил пять черт, «составляющих основу славянского характера: религиозность, трудолюбие, невинная и беззаботная веселость, привязанность к родному языку и миролюбие». Вслед за Гердером будитель перешагнул через века, отделяющие древних славян от современных, и представил характерологический конструкт «национального возрождения» как вневременную данность. Любопытно преобладание мотива молодости, здоровья, жизненной силы, одним словом, витализма, источником которого могла быть та же идеология «бури и натиска» и наследующей ей романтики, в объяснительной части построений Шафарика. При этом портрет славянина рисовался как антитеза «сумрачному германскому гению»<sup>17</sup>. «Славянин от природы более склонен к общительности, к жизнерадостности, нежели к мрачному глубокомыслию. Свежая и здоровая кровь, бьющая ключом в жилах, порождают ту подвижность и возбужденность мускулов и нервов, ту ловкость и гибкость членов, ту веселость и теплоту взгляда, ту сердечность и ласковость лица, ту развязность языка, ту нежность и страстность сердца, которые так отличают славян от других народов. Все это является... делом чистой природы»<sup>18</sup>.

<sup>15</sup> Рус. пер.: *Суровецкий*. 1846.

<sup>16</sup> *Собестианский*. 1892. С. 18-31, 40-59. За год до выхода книги Шафарик опубликовал основанную на ее рукописи статью «Характер славянского народа вообще» в дебютном номере сербского журнала «Летопись». Наполовину она состоит из полемики с писателями-иностранцами, хулителями славян. Статья содержит цитату из Гердера и прямую ссылку на Коллара: *Сербский летопис. 1825. Ч. 1. С. 64-99; Милосавиц*. 1986. С. 93-94, 179-188; *Белов*. 2007. С. 457-458.

<sup>17</sup> Противопоставление двух «стихий» получило методичное развитие у Мацейовского в «Истории славянских законодательств» (1832). См. главу из этого труда: *Мацейовский*. 1858.

<sup>18</sup> Цит. по: *Собестианский*. 1892. С. 41-42.

Натуралистическая точка отсчета Шафарика имела традицию, восходящую к учению Монтестье о климате и ориентации первых европейских этнографов на естествознание, когда в «описаниях народов» они сознательно или по наитию следовали за моделями описания природной среды, причудливо сочетавшихся с европоцентристскими предрассудками<sup>19</sup>. Вульгарный натурализм в суждениях иностранцев о «варварских нравах» порой становился объектом едкой критики.

Примером может служить ироничная реакция Екатерины II на предположение аббата Шаппа в его описании деспотичной России о грубости местного «нервного сока»: «Недостаток гениальности у русских, по-видимому, есть следствие почвы и климата»<sup>20</sup>. С другой стороны, Д. И. Фонвизин, критикуя дворянскую галломанию, использовал как раз «телесный» (естественный) аргумент. Его Иванушка в «Бригадире» изобличает нелепость своего поведения утверждением: «Тело мое родилось в России, это правда, однако дух мой принадлежал короне французской». Путешествуя по Германии, Фонвизин, убедился в «природном» превосходстве отчизны: «Здесь во всем генерально хуже нашего: люди, лошади, земля, изобилие в нужных съестных припасах, словом: у нас все лучше и мы больше люди, чем немцы»<sup>21</sup>. Русский путешественник платил иностранным злопыхателям, побывавшим в России, той же монетой – поверхностностью взгляда с точки зрения заведомого превосходства. Но этот визуальный эффект в данном случае обращался к сопоставлению масштабов и, следовательно, к естественной мощи.

К концу XVIII в. замешанные на сенсуализме физиологические толкования «характеров» (с основой в виде «жидкостного» учения еще античной эпохи о темпераментах) стали частью обыденных представлений культурной элиты в Европе и в России. А некоторые авторы легко редуцировали культурные привычки, как правило, примитивных или неразвитых народов к «телесным качествам» и «внутренним сокам»<sup>22</sup>.

---

<sup>19</sup> Слезкин. 2005. Лескинен. 2010. С. 37-45. В свою очередь учение Монтестье о зависимости нравов (характера) народов от климата восходит к античной традиции, обновленной в духе эмпиризма и сенсуализма XVII–XVIII вв. См.: Монтестье. 1955; Плеханов. 1925. С. 158. Наивная этнография европейских описаний и путешествий, начиная с Возрождения, пользовалась этим наследием. См.: Мильников. 1999.

<sup>20</sup> Антидот. С. 443-449. Впрочем, сама Екатерина в знаменитом «Наказе» (1767) отдала должное построениям Монтестье, объяснив успех петровской реформы, приведением законов страны в климатическую норму.

<sup>21</sup> Письма из третьего заграничного путешествия (1784–1785). К родным. Ниренберг, 29 августа (9 сентября) 1784 г. // Фонвизин. 1959. С. 508.

<sup>22</sup> Богданов. 2005. С. 79-86, 119-140; Слезкин. 2005. С. 140-141; Rogger. 1960; Maurer. 1993; Kra. 2002; Romani. 2002. P. 19-62. Климатически-ландшафтный де-

Навязчивая метафора молодости славянских народов явилась частным приложением теории «народных возрастов», пришедшей в эпоху позднего Просвещения и преромантизма на смену античной и христианской идее «возрастов мира». Она являлась шагом к признанию культурного многообразия исторического пространства и сыграла важную роль в вегетативной версии раннего историзма (у Гердера)<sup>23</sup>. В трактовке последнего мировая история представлялась своеобразной эстафетой народов и культур, сменяющих друг друга по мере выработки жизненного ресурса (старения).

Эта тенденция усилилась в поколенческом конфликте романтиков, а также благодаря руссоистскому компоненту в их мировоззрении, который проблематизировал ценность культуры/цивилизации. Ее оборотной стороной оказывалась дряблость и дряхлость. Напротив, молодость отождествлялась с близостью к природе, а значит – к истине. Их тождество доказывала шеллингианская натурфилософия. В свою очередь гегелевское противопоставление исторических и неисторических народов в этой системе координат превращалось в оппозицию старых и молодых наций. Более того, молодость наделялась «всеми ценностными смысла-

---

терминизм в соединении с гидравлическим толкованием темперамента оставался актуальным и в XIX в. У Н. И. Надеждина: «Тропическое солнце, опалив кожу араба, вместе с тем раскалило кровь в его жилах, воспламенило огненную фантазию, вскипятило восторженные страсти. Напротив, полярный холод, выморозив до белизны льна волосы лапландца, застудил в нем и кровь, оледенил ум и сердце. Горцы, гнездящиеся на утесах, всегда гордее и неукротимее мирных жителей долин. Народ морской предприимчивее и отважнее народа средиземного. Чем роскошнее природа, тем племя ленивее, сладострастнее, чувствительнее; напротив, там, где должно отстаивать, оспаривать, завоевывать средства существования, он бодр, трудолюбив, изобретателен» (*Надеждин*. 2000. С. 781-784). За ним следовал В. Г. Белинский: «Если принять гипотезу, что народы образовались из семейств, то первую причину их субстанции должно положить кровь и породу (гасе)». Далее он дает стандартные характеристики по качествам «ума» (темперамента) южным и северным народам, указывает на различия между горными и долинными, приморскими, островными и удаленными от моря народами («Россия до Петра Великого» (1841) // *Белинский*. 1953–1959. Т. V. С. 124-125). О порче крови и «остроте в соках»: Там же. С. 126-127.

<sup>23</sup> *Мейнке*. 2004. С. 274-338. Ср.: *Берлин*. 2002. См. также: *Савельева, Полтаева*. 1997. Гл. 2–4; 2003–2006. Гл. 11, 12, 15, 16. Почти одновременно с Гердером теорию «возраста нации» развивал Э. Берк в «Речи об американском налогообложении» (1774). См.: *Белов, Витальева*. 2011. С. 83-87. Очевидно, эта теория находилась на грани интуитивно-обыденного уподобления и этнодифференцирующих, организационных тенденций в преромантизме. В России она получила систематическое развитие у Н. И. Надеждина («патриархальное детство», «героическая юность», «возраст мужества» или «эпоха цивилизации»): *Надеждин*. 2000. С. 784-789.

ми эпохи», обращенной в будущее<sup>24</sup>. Новая, послепетровская Россия также оказывалась в ряду молодых наций, и уже Фонвизин в письме Я. И. Булгакову из Монпелье 25 января (5 февраля) 1778 г. высказал перспективное с точки зрения позднейших дискуссий о «народности» замечание: «Если здесь прежде нас жить начали, то по крайней мере мы, начиная жить, можем дать себе такую форму, какую хотим, и избежать тех неудобств и зол, которые здесь вкоренились. Nous commençons et ils finissent (Мы начинаем жить, а они кончают). Я думаю, что тот, кто родится, посчастливее того, кто умирает»<sup>25</sup>.

С этим предположением в чем-то могли бы согласиться первые славянофилы или граф С. С. Уваров, но еще более перспектива начать жизнь с чистого листа привлекала западников, например, Белинского. Критик разделял постулаты эпохи о «концерте наций», в котором каждая исполняет свою партию, и о неизменном национальном характере («физической и нравственной физиономии»), определяемом «почвой и климатом»<sup>26</sup>. Видимое противоречие этих вводных разрешалось через различение *народа* как объекта (низшие сословия, укорененные в традиции) и *нации* как субъекта (образованное сословие). Она возникает только сейчас, вместе с национальной литературой, не утратившей естественной и спиритуальной связи с народом, из которого *вышла* нация<sup>27</sup>.

Спиритуальный компонент в толковании «народности», противопоставляемый внешне-колористическому описанию, достался Белинскому в наследство от «любомудров» и круга Станкевича, Надеждина и Гоголя. Зрелый Белинский, как и Надеждин, усиливал рационалистическую трактовку «народного духа»: «...*тайна национальности* (курсив

---

<sup>24</sup> Софронова. 2008. С. 53; Лескинен. 2011. Организационно это настроение выразилось в образовании радикальных обществ 1830-х гг.: «Молодая Италия», «Молодая Польша», «Молодая Германия», «Молодая Франция» и др.

<sup>25</sup> Письма из второго заграничного путешествия (1777–1778) // Фонвизин. 1959. С. 493.

<sup>26</sup> *Восприимчивость* русских как ключевая черта характера, в понимании Белинского, близкого в этом суждении к екатерининскому ответу Фонвизину, отличает и выделяет их из остальных славянских племен: Сочинения Александра Пушкина. Статья восьмая // *Белинский*. 1952–1959. Т. VII. С. 435–438. Ср.: «Какие хорошие свойства русского человека, отличающие его не только от иноплеменников, но и от других славянских племен, даже находящихся с ним под одним скипетром? – Бодрость, смелость, находчивость, сметливость, переимчивость – на обухе рожь молотит, зерна не обронит, нуждою учится калачи есть, – молодчество, разгул, удалство, – и в горе и в радости море по колено!» (Там же. Т. V. С. 126). Экспрессия русской души передана в формулировке Белинского на уровне синтаксиса.

<sup>27</sup> Там же. С. 121–122; <Статьи о народной поэзии> (1841) // Там же. С. 305–320.

Белинского. – М. Б.) каждого народа заключается не в его одежде и кухне, а в его, так сказать, манере понимать вещи»<sup>28</sup>.

Впрочем, программные статьи второй половины 1840-х гг., как и предшествующие, наполнены физиологическими метафорами, призванными продемонстрировать связность души (нравственности) и тела (физических процессов). При этом критик отказывался окончательно объяснить «таинственную игру... физиономии», имея в виду под ней национальный характер. «Это такая же тайна, как и жизнь: все ее видят, все ощущают себя в ее сфере, и никто не скажет вам, что она такое. Так точно ученые, хорошо зная действие и силы деятелей природы, каковы электричество, гальванизм, магнетизм..., все-таки не умеют сказать, что они такое»<sup>29</sup>. Следовательно, подкладка из шеллингианской натурфилософии в мышлении Белинского, сближавшая его с оппонентами из славянофильского лагеря, сохраняла значение и после прививки гегельянства. Способом постижения оказывалось поэтическое проникновение в действительность, и, парируя обвинения «натуральной школы» в дагеротипии, критик противопоставлял последней истинную живопись, способную раскрыть внутренний мир объекта изображения<sup>30</sup>. В этом случае «народность» попадала под власть визуальных эффектов и творческой фантазии, а также привязывалась, в соответствии с установками раннего реализма, к общественной актуальности.

В дискуссии между М. П. Погодиным и П. В. Киреевским на страницах «Московитянина», тема национального (русского/славянского) характера, быть может, благодаря второму автору-оппоненту, вышла на первое место. В статье «Параллель русской истории с историей запад-

<sup>28</sup> Там же. Т. VII. С. 443. Ср. с его ранней догегелевской статьей: «В чем же состоит эта самобытность каждого народа? В особенном, одному ему принадлежащем образе мыслей и взгляде на предметы, в религии, языке и более всего в *обычаях* (курсив Белинского. – М. Б.). <...> Все эти обычаи укрепляются давностью, освещаются временем и переходят из рода в род, от поколения к поколению, как наследие потомков от предков. Они составляют физиономию народа и без них народ есть образ без лица, мечта, небывалая и несбыточная» (Литературные мечтания (1834) // Там же. Т. I. С. 35; *Манин*. 1969. С. 24-30). *Надеждин*. 1972. С. 440-443; *Гоголь*. 1959. Гоголю принадлежит хрестоматийная формула из статьи о Пушкине: «... истинная национальность состоит не в описании сарафана, а в самом духе народном». Сам Пушкин так определял «народность» в заметке 1825 г.: «Есть образ мыслей и чувствований, есть тьма обычаев, поверий и привычек, принадлежащих исключительно какому-нибудь народу» (*Пушкин*. 1949). Легко заметить, что это понимание близко Белинскому эпохи «мечтаний».

<sup>29</sup> Взгляд на русскую литературу 1846 года // *Белинский*. 1952–1959. Т. X. С. 26-28.

<sup>30</sup> Взгляд на русскую литературу 1847 года. Статья первая // Там же. С. 302-306.



ных европейских государств относительно начала», опубликованной в первом номере за 1845 г.<sup>31</sup>, Погодин изложил свою известную, сложившуюся в общих чертах еще на рубеже 1820–30-х гг. концепцию о противоположности русских государственных «начал» западноевропейским. Отталкиваясь от романтического учения О. Тьерри и Ф. Гизо о борьбе рас и сословий как специфике европейского пути развития после разрушения Западной Римской империи в результате германского завоевания, русский историк указал на легендарное «призвание князей» новгородцами как на альтернативный вариант исторического взаимодействия общества (народа) и государства в Руси/России<sup>32</sup>. При этом, подразумевая, вероятно, некоторые построения Шеллинга, Погодин формулировал основной тезис собственной историософской телеологии: «Ничтожная разница в первом толчке, изменяя направление, решает их (западных европейцев и русских. – М. В.) судьбу и переносит на противоположные точки. <...> В основание государства у нас была положена любовь, а на Западе ненависть»<sup>33</sup>. Система замкнутых речных коммуникаций не позволяла восточным славянам тесно общаться с иноземцами, перенимая их опыт, поэтому «...мы оставались одни и шли своею дорогою, или лучше [сказать], сидели дома в мире и покое и подчинялись спокойно первому пришедшему»<sup>34</sup>. Последнее утверждение Погодина, кстати, и вызовет горячее несогласие Киреевского.

Именно географическая изоляция восточных славян предопределила сохранение их изначальных свойств. Параграф VIII статьи Погодина целиком посвящен «характеру словенскому»<sup>35</sup>. Как и другие авторы, историк опирается на климатическое учение Монтескье: «Нет нужды

---

<sup>31</sup> В начале 1845 г. Погодин, оставаясь номинальным редактором «Московитянина», передал фактическое руководство журналом И. В. Киреевскому. Он редактировал первые три номера за этот год. См.: *Дементьев*. 1951. С. 341–344.

<sup>32</sup> *Цамутали*. 1977. С. 23–34; *Алпатов*. 1985. С. 159–160, 190, 246–247; *Досталь*. 1990. С. 4–17, 57–85 (специально о дискуссии Погодина и Киреевского: с. 68–71); *Дурновцев, Бачинин*. 1996. С. 209–212; *Павленко*. 2003. С. 99–107. Подобные тенденции в истолковании «призвания князей» прослеживаются уже в историко-идеологическом творчестве екатерининской эпохи: *Стенник*. 2004. С. 140–184; *Гордон*. 2004. С. 122–123.

<sup>33</sup> *Московитянин*. 1845. Ч. 1. № 1. С. 4–5, 13.

<sup>34</sup> Там же. С. 15–16. Идея особого пути становится общей для разных направлений общественной мысли России, включая западников, как минимум, после публикации первого «Философического письма» П. Я. Чаадаева в «Телескопе» в 1836 г.

<sup>35</sup> Как известно, Погодин поддерживал тесные связи с зарубежными славистами, в том числе с П. И. Шафариком, и был одним из популяризаторов идей «славянского возрождения» на русской почве: *Лантвева*. 2005. С. 88–102.

входить здесь в доказательства, что одни свойства имеет северный человек, другие южный, западный, восточный; что кровь у одного обращается быстрее, чем у другого, что каждый народ имеет свой характер, свои добродетели и свои пороки. Словени были и есть народ тихий спокойный, терпеливый. Все древние писатели утверждают это о своих словах, то есть западных. Наши имели и имеют эти качества еще в высшей степени. Поэтому они приняли чужих господ без всякого сопротивления, исполняли всякое требование их с готовностью, не раздражали ничем и всегда были довольны своею участью. <...> Такая безусловная покорность, равнодушие, противоположные западной раздражительности содействовали к сохранению доброго согласия между двумя народами (славянами и варягами. – М. Б.)»<sup>36</sup>. Концепция Гердера–Шафарика в переложении Погодина приобрела, конечно, верноподданнический смысл.

П.В. Киреевский нашел «изображение народного характера [у Погодина] самое мрачное и несправедливое». Такой народ «... не может внушить большой симпатии. Это был бы народ лишенный всякой духовной силы, всякого человеческого достоинства, отверженный Богом; из его среды не могло бы выйти ничего великого»<sup>37</sup>. Иными словами тезисы Погодина в глазах Киреевского выглядели клеветой на русский народ, обладающий на самом деле «энергией и благородством», которые «не могут быть привиты никакими господами». Оппонент вспоминал эпоху борьбы с монголами, 1612 и 1812 гг., но что так же важно — указывал на параллели из истории «наших славянских братьев» (сербов), когда говорил о «мнимом равнодушии [древних славян] к общественным делам», выдуманном немцами-норманистами<sup>38</sup>.

<sup>36</sup> Московитянин. 1845. Ч. 1. № 1. С. 16. В примечании оговорка о восстании древлян 945 г. Другим общим местом в суждениях Погодина является тезис о «молодости» славянского племени, не иссушившего душу в борьбе, с которой связывается взросление западных народов: «Новое гражданское образование привито у нас к дереву свежнему, дикому, а там (на Западе. – М. Б.) к старому и гнилому. Их здание выстроено на развалинах, а наше на нови» (Там же. С. 17).

<sup>37</sup> Московитянин. 1845. Ч. 2. № 3. С. 13-14.

<sup>38</sup> Там же. С. 14-16, 17-18. Киреевский обещал продолжить полемику с Погодиным в следующих номерах журнала, однако продолжения не последовало, тем более, что его брат И.В. Киреевский из-за разногласий с номинальным редактором, вызванных в том числе данной публикацией, вынужден был отказаться от редакции «Московитянина». См. об этом эпизоде: Барсуков. 1894. С. 126-129; Гершензон. 1989. С. 353-356. По мнению Гершензона, проанализировавшего заграничные письма П.В. Киреевского, «главной и драгоценнейшей особенностью русского национального характера он считает *нравственную страстность*, в противоположность ни теплым, ни холодным, или вовсе холодным, каковы, например, по его наблюдению

Стратегия полемики, использованная в ответных замечаниях Погодина, соответствовала приемам, принятым в тогдашних журнальных перепалках под бдительным оком цензуры: чаще всего, игнорируя существо расхождений, спорщики выискивали фактические ошибки или логические противоречия в суждениях противника. Любопытно, однако, что поборник единения славянского мира, заслуживший в истории русской общественной мысли репутацию панслависта, в запале опроверг, по существу, свою же теорию VIII параграфа из «Параллели русской истории...»: «Обратите внимание на характеры: малороссиянина, поляка, чеха, серба, великороссиянина, болгарина. Какое разнообразие! Каков характер, такова и история»<sup>39</sup>. Романтическое представление о неизменном национальном характере (народном духе), определяющем ход исторического процесса, уцелело, но какова цена: распад славянского мира на отдельные нации, по-видимому, еще на заре его существования.

Концепция «славянского характера» занимала публицистов одиозного «Маяка»<sup>40</sup> и в частности их главного историка Н. В. Савельева-Ростиславича. Сначала он следовал за линией Гердера—Шафарика, когда писал, что славяне «всегда отличались кротостью, спокойствием характера, любили земледелие, ремесла и торговлю; всегда охотнее брались за оружие для защиты самих себя, своего быта, своей земли, нежели для покорения других стран. <...> Простота, чуждая всякой злости и лжи, откровенность, приветливость и людскость. Этим духом были проникнуты их религия, постановления, обычаи и самый образ жизни»<sup>41</sup>. Однако, по наблюдению М. Ю. Досталь, спустя какое-то время Савельев отверг эту теорию в пользу гипотезы Ю. И. Венелина (главным наследником творчества которого он стал) о славянском происхождении большинства, если не всех, варварских народов эпохи «великого переселения». Поэтому «отличительная черта славянского характера есть воинственность, которая и поныне сохранилась в полной мере во всех племенах»<sup>42</sup>. В пользу историзации царизма Савельев теперь склонялся

---

нию, немцы» (Там же. С. 331–335). Гершензон был убежден, что за этим эмоциональным восприятием не стояло какой-либо связанной концепции.

<sup>39</sup> Московитянин. 1845. Ч. 2. № 3. С. 57. Кроме того, Погодин пенял Киреевскому в том, что он потакает Западу, т.е. западникам, когда отнимает у русских две главнейших христианских добродетели (терпение и смирение) в пользу волевых качеств: «Всех добродетелей иметь нельзя: одна принадлежит Востоку, другая Западу» (Там же. С. 55).

<sup>40</sup> Дементьев. 1951. С. 86–91.

<sup>41</sup> Цит. по: Досталь. 1990. С. 27–28.

<sup>42</sup> Там же. С. 34–35.

к существованию начал единой державы уже у древних славян. Возможно, и в «воинственной» трактовке их характера можно видеть великодержавный аспект.

Однако большинство публицистов 1840-х гг. тяготели, скорее, к точке зрения Погодина. В частности, брат ввязавшегося с ним в спор П. В. Киреевского и один из главных теоретиков славянофильства И. В. Киреевский воспроизводил в одной из своих последних программных статей главные погодинские постулаты. Он соглашался с тезисами об изолированности русских от остальных европейских народов, о племенной предрасположенности славянских народов к восприятию христианских добродетелей и о счастливой случайности, предотвратившей проникновение на Русь «духа вражды» вследствие насильственного завоевания в начале европейской цивилизации<sup>43</sup>.

Как ни странно, со многими положениями погодинской концепции «славянского характера» согласился и его постоянный оппонент в вопросах русской истории К. Д. Кавелин. В знаменитой статье, напечатанной в первой книжке обновленного «Современника» (1847) и носившей характер манифеста западников, он, разделяя со своими оппонентами из славянофильского лагеря органицистское восприятие исторического процесса, рассуждал о «спокойных, миролюбивых и кротких» русско-славянских племенах. Причем «никогда иноплеменные завоеватели не селились между нами и поэтому не могли придать нашей истории свой национальный характер»<sup>44</sup>. Поэтому изначальный «славянский характер», сохранился в первую очередь у русских, в то время как развитие других славянских племен сопровождалось тесными контактами с другими народами и утратой самостоятельности, что повлияло на их общественный и нравственный быт. В ответ на критику Ю. Ф. Самарина, и как бы оправдываясь, Кавелин утверждал, «что славянский мир – новая почва в истории, и, по всем видимостям, не бесплодная – это бесспор-

---

<sup>43</sup> О характере просвещения Европы и о его отношении к просвещению России (письмо к гр. Е.Е. Комаровскому) // *Киреевский*. 1984. С. 199-238. Ранее Киреевский писал о молодости и свежести русской души: Там же. С. 179. Те же идеи концептивно набросаны у А.С. Хомякова в статье «Вместо введения» к «Сборнику исторических и статистических сведений о России и о народах ей единовременных и единоплеменных» (1845): *Хомяков*. 1994. С. 486-493. А их подробное обоснование стало главной задачей исторических записок Хомякова – «Семирамиды», – особенно в ее второй и третьей части. См. комм. В.А. Кошелева: Там же. С. 540-541. Хомяков особо подчеркивал незначительность инородных влияний не только на русских, но и на весь славянский мир (исключая Польшу).

<sup>44</sup> Взгляд на юридический быт древней России // *Кавелин*. 1989. С. 15-23.

но»<sup>45</sup>. Белинский, откликаясь на проповедь Погодина о русском (славянском) характере, на страницах того же номера «Современника», где была опубликована программная статья Кавелина, отверг смирение в качестве его главной и отличительной черты и оспорил национальную приватизацию любви, поскольку она – общечеловеческое чувство<sup>46</sup>.

Разногласию во взглядах авторов программных статей «Современника» верно уловил критик противоположной «партии». Самарин, опровергая своих оппонентов, использовал невятность теоретического и логического фундамента их рассуждений, умело атакуя обе позиции (и Кавелина, и Белинского). С одной стороны, он заметил, что «смирение само по себе, как свойство, может быть достоинством, может быть и пороком, признаком силы и слабости, смотря по тому, от чего оно происходит и перед чем народ или человек смиряется...»<sup>47</sup>, сняв таким образом абсолютизацию этого качества. Он также указал на произвольность в различении и противопоставлении общечеловеческих и национальных добродетелей. С другой стороны, Самарин выступил против тезиса Кавелина об отсутствии личностного начала в ранней и вообще допетровской русской истории: «Общинный быт славян основан не на отсутствии личности, а на свободном и сознательном ее отречении от своего полновластия»<sup>48</sup>. Активная, творческая сила «славянской души», недооцененная в версии ее «смирения и покорности», у Самарина реставрировалась в качестве коллективного достояния, делегировалась верховной (княжеской) власти и воплощалась в церковной общине.

По-видимому, реагируя на вызов нового оппонента в лице критика-преемника «Отечественных записок» В. Н. Майкова о двух диамет-

---

<sup>45</sup> Ответ «Московитянину» // Там же. С. 77. В позднем периоде своего творчества Кавелин еще более сближился со славянофильской позицией: «Каждый человек и каждый народ принимает одну и ту же истину по-своему, насколько к тому способен и сообразно с своим характером. <...> Вероисповедание славянских народов должно бы выражать собою особенное, свойственное славянскому племени понимание христианского учения...» (Там же. С. 350-351).

<sup>46</sup> «Удельный период наш отличался скорее гордынею и драчливостию, нежели смирением» *Белинский*. 1952–1959. Т. X. С. 23-25). Ср. с более ранним откликом: «Битва при Калке, битва Донская, нашествие Литвы, наконец, вторжение в Россию сына судьбы [Наполеона] не стоили нам ни капли крови, и мы отделались от них одними слезами, мы не дрались, а только плакали!!» ([Рец. на:] *Славянский сборник* (1845) // Там же. Т. IX. С. 212).

<sup>47</sup> *Самарин*. 1996. С. 477-480 (479).

<sup>48</sup> Там же. С. 443. Ключевой тезис этой части полемики оказался искаженным при наборе самаринской статьи: *Кавелин*. 1989. С. 552. Прим. 5. См. в целом о дискуссии: *Цамутали*. 1977. С. 65-75.

рально противоположных «физиономиях» у каждого народа<sup>49</sup>, Белинский размышлял в одной из последних публикаций об амбивалентности народного характера с усилением «возрастной» аргументации и звериных аналогий. «Народ – вечно ребенок, всегда несовершеннолетен. Бывают у него минуты великой силы и великой мудрости в действии, но это минуты увлечения, энтузиазма. Но и в эти редкие минуты он добр и жесток, великодушен и мстителен, человек и зверь»<sup>50</sup>. В таком случае образованное общество выступало по отношению к народу в качестве взрослого наставника. Противоположная диспозиция характерна для славянофилов, объявивших народ хранителем сокровенной тайны<sup>51</sup> (по Белинскому, она сводилась к «инстинкту» и «непосредственности»).

Чрезвычайно интересно использование в качестве синонима национального характера в русской публицистике и литературной критике 1830–40-х гг. понятия «национальной (народной) физиономии». Им оперировали как славянофилы, так и западники, и Белинский, и граф Уваров. Рассуждая о «соглашении» в народности из знаменитой триады старого и нового этапов в развитии России, министр писал в 1833 г.: «Государственный состав, подобно человеческому телу, переменяет наружный вид по мере возраста: черты изменяются с годами, но физиономия изменяться не должна»<sup>52</sup>.

Разумеется, эта метафора была производной от свойственного романтическому историзму уподобления коллективных субъектов (народов, сословий, классов) особым личностям с присущими им индивидуальностями. Между тем, иногда данная метафора имела буквальное прочтение и использовалась как исследовательский инструмент<sup>53</sup>. Вероятно, этому способствовало популярность физиогномики – учения о возможности прочитать по лицу характер человека. Традиция, как ми-

---

<sup>49</sup> Механическая подчиненность влиянию климата, местности, племени и судьбы – у большинства народа, и критическое отрицание его черт — у меньшинства: *Майков*. 1985. С. 132.

<sup>50</sup> [Рец.] Сельское чтение, издаваемое князем В. Ф. Одоевским и А. П. Заблоцким. Книжка четвертая. СПб., 1848 // *Белинский*. 1952–1959. Т. X. С. 369.

<sup>51</sup> «Мы не понимаем народ, и потому-то мало ему доверяем. Незнание — вот источник наших заблуждений. Мы должны узнать народ, а чтоб узнать, и прежде чем узнать, мы должны любить его. Сближение с народом, может быть, еще более необходимо для образованного класса, чем для самого народа» (*Самарин*. 1996. С. 466). «Низводя крестьянина, это действительное, серьезное лицо в современной России, на степень «милых детей», общество наше с важностью преподает ему уроки...» (*Аксаков*. 1982. С. 239).

<sup>52</sup> Доклады... С. 71.

<sup>53</sup> Ср.: *Лескинен*. 2010. С. 48-50.

нимум, уходит корнями в предыдущее столетие, когда получила распространение теория швейцарского мистика и филантропа И. К. Лафатера о многообразии человеческих лиц. Она сохранила значение и в первой половине следующего века, оказывая влияние на литературную практику<sup>54</sup>. Кроме того, эта теория находила спонтанное подкрепление в обыденном опыте при недоступности более изощренных приемов наблюдения и обобщения их результатов. Дагеротипия, не приемлемая, по всеобщему убеждению, в области художественной литературы, оказывалась востребованной в квазинаучном или служебном путешествии.

«Статистическое описание Сербии», составленное в 1830 г. капитаном генерального штаба А. Г. Розелион-Сашальским<sup>55</sup>, содержит любопытный образец подобного портретирования: «Физиономия сербов сохранила всю близость к чертам прочих единоплеменных. Они весьма редко имеют совершенно черный цвет волос, но наиболее русый. Лица их, в коих правильности и даже красота не суть редкие явления, представляют выражение мужества и вместе с тем доброхотства, которое обещает готовность всякую минуту предаться приятным ощущениям и удовольствиям сообщества, что находится в разительной противоположности с отгалкивающей угрюмостью турок. Это есть признак, по которому почти всегда можно распознать серба, хотя бы он был в турецкой одежде»<sup>56</sup>. Двигаясь на ощупь, интуитивная этнопсихология такого рода, тем не менее, с неизменной четкостью воспроизводила, как явствует из отрывка, полярность условного Запада и Востока («своего» и «чужого», славянского и турецкого стереотипа).

Пятнадцатью годами позднее, путешествуя по Далмации, Хорватии, Воеводине, Сербии, славянофил Ф. В. Чижов составил целую классификацию физиономий. В ее основе находились типажи Российской империи в следующей иерархической последовательности: русские, украинцы (малороссияне), поляки; иногда к ним прибавляются итальянцы, которым Чижов благоволил. Физиономист либо идентифицировал окружающих с тем или иным, весьма условным типажом, либо (реже) констатировал гибридное смешение. Психологические характеристики соответствуют этническим клише в указанном узком диапазоне и колеблются между полюсами: простота (открытость) – хитрость (скрытность). В географическом отношении им соответствуют координаты

---

<sup>54</sup> Лотман. 1997. С. 61-99; Богданов. 2005. С. 196.

<sup>55</sup> Об обстоятельствах назначения миссии, деятельности и результатах работы Розелион-Сашальского и его коллег в Сербии см.: Достян. 1966; Белов. 2010.

<sup>56</sup> РГВИА. Ф. 439. «Сербия». Д. 6. Л. 60–60об.

Восток–Запад (исключение – средиземноморский Юг); Восток же теперь ассоциирован не с деспотией и варварством, но с нравственной и религиозной истиной – православием. Так, по Чижев, в деятелях хорватского возрождения «... видно что-то не прямое. Они любят нас, русских, иначе и не встречали бы с радушием, но [это] радушие, подмешанное западом. В физиономиях не видно ничего определенного. Одни – настоящие русские, другие – решительные – малороссияне, третьи – поляки»<sup>57</sup>. Однако в процессе непосредственного общения эта элементарная схема давала сбой: «Сейчас бросилось мне в глаза различие между характером русского и серба – эти больше похожи на наших малороссиян. Вечно сиромахи, вечно бедны, между тем как у нас последняя копейка ребром. <...> Хорваты и в этом больше на нас похожи»<sup>58</sup>. Таким образом, нарушалась географическая или, точнее, конфессиональная детерминанта. Православные сербы оказывались в промежуточном пространстве искаженной нравственности.

Свою классификацию «внутренних физиономий» с опорой на натурализм ранее разработал, пожалуй, первый русский славист-романтик Ю. И. Венелин: «Познание как человека, так и народа не состоит в одном познании наружного *обличья, наряда* и образа жизни; еще больше необходимо и познание внутреннего человека. Внутренняя физиономия грека представляет лицо *саркаста* (едкой насмешки); внутренность римлянина есть физиономия *беспощадного гордеца*; душевный облик араба выражает *энтузиазм, доходящий до волшебства*; лицо тевтонских племен представляет *удивление неразгаданному*. А лицо славянина?... Хм!»<sup>59</sup>. Ответить на этот вопрос Венелин попытался с помощью анализа народной поэзии. В этом отношении, как и по своему национальному характеру, задунайские славяне резко отличаются от остальных славянских племен. К их песням примешана кровь, а доминантой характера оказывается «ожесточение», шокирующие нравственность «цивилизованного» читателя»<sup>60</sup>.

<sup>57</sup> Дневник... С. 146.

<sup>58</sup> Там же. С. 165.

<sup>59</sup> Венелин. 1835. С. 33-35. Здесь и далее в цитатах курсив Венелина.

<sup>60</sup> «...Ужасно видеть *мертвую голову!*... Но болгарину, сербу, босняку, герцеговину и черногорцу все равно; он на нее смотрит с каким-то диким услаждением. <...> О, *мертвая голова* есть лучший стих в народной песне задунайского славянина! *Ожесточение* есть степень, на которую повисился его народный характер» (Там же. С. 48-50). «...У болгар и сербов *резать* и *стреляться* составляет такую же потеху, какую у русской молодежи расшибать себе грудь и нос в кулачки. Должно прибавить, что не столько нужда и необходимость, а просто эта страсть к резне причиною тому...» (Там же. С. 41).



В объяснении героического характера задунайских славян, сравниваемых с гомеровскими греками, спартамцами, запорожцами и кавказскими абреками (они «заразились» героизмом после переселения казаков на Терек и Кубань), Венелин использует классифицирующую метафору «царства зверей» с иерархией от пугливого зайца до кровожадного льва: «Все животные стоят *неподвижно* на своих степенях, и улучшить их нравственную природу невозможно: у них нет души бессмертной! Один только человек *подвижен* среди всего царства *неподвижных дышащих*, он только подвижен по своим степеням от малодушия до жестокости, он может быть даже жесточе тигра и боязливее зайца; вот почему нет животного презрительнее человека, и нет тоже животного, которое заслуживало бы больше сочувствия и сострадания и уважения как человек, а это потому именно, что он подвижен по *лестнице пороков и добродетелей*, т.е. может портиться и исправиться, страдать и исцеляться»<sup>61</sup>. Вопреки последней сентенции, то есть игнорируя человеческую исключительность и снимая проблему моральной оценки, Венелин аналогично расставил европейские народы на лестнице «ожесточения», где верхние ступени заняли мадьяр, словак, волох и серб, а в самом низу – «бедный жидок», которого можно «пустым *мушным* мешком прогнать через Карпаты в Галицию». Конечно, позиции народов изменчивы во времени, одни опускаются вниз, другие возвышаются, но балканские славяне волею исторических обстоятельств «удержали свой *ожесточенный, возвышенный* характер»<sup>62</sup>.

В объяснении феномена народной поэзии и, следовательно, «внутренней физиономии» задунайских славян Венелин отдал дань географическому детерминизму в его рельефной версии: «Отличительная черта в поэзии *бодрых* и *горячих* народов есть *резкость*, подобная резкости их природы; она отличается тоже *внезапностью* оборотов, подобною *внезапности* новых картин между гор и ущелий. <...> Вспышка души их (горцев. – М. Б.) настоящий полет трескучей бомбы, метящей в гору, в скалу <...> Чувство болгарина, этого старого русака, и серба, этого неугомонного германца, распяливается между подножием и макушкой гигантских предметов, глаз его парит на высоту подобно орлу, и спускается к подножию подобно соколу, и снует на душу думу высокую, глубокую. Такова природа горца!»<sup>63</sup>. Вследствие применения ландшафтной экспозиции пространство славянской души разрывалось. Ве-

---

<sup>61</sup> Там же. С. 48-50.

<sup>62</sup> Там же. С. 51, 64-65.

<sup>63</sup> Там же. С. 66, 67.

нелин опроверг миф о сонном характере восточных народов, наоборот, их черта – бодрость и болтливость. Именно бодрость способствует развитию такой функции человека, сравнимой с пищеварением (вспомним, что автор по образованию медик), как «сказколюбие». Горцам противопоставлен человек севера, которому свойственна только «людность» (общительность). С другой стороны турки и балканские славяне объединяются в искусстве *мужской* беседы, порождающей эпос. «В этом отношении они составляют совсем отдельный мир от Европы»<sup>64</sup>. Романтическая экзальтация увела Венелина далеко от идеи славянского единства, которой она изначально питалась: задунайские племена с их героическим ожесточением превращались в привлекательно-пугающих антиподов по отношению к русским.

Большая умеренность в оценках свойственна О. М. Бодянскому, который воспроизвел в диссертации о народной славянской поэзии все околонучные штампы эпохи, названные выше. Правда, он попытался разбавить натуралистическое толкование различий в фольклорных традициях социологическими или ситуативно-психологическими аргументами<sup>65</sup>. Для Бодянского «из всех славянских племен северные и южные руссы – самые несходственные между собой...». Протяжные песни первых продиктованы меланхоличностью характера, у вторых – песни «лавою» исторгаются «из самого сердца»<sup>66</sup>.

И все же наиболее значимым «другим» (среди инославянского окружения) в русских поисках «народности» к середине XIX в. стали балканские славяне, в первую очередь черногорцы, чей портрет к этому времени уже оброс романтическими клише<sup>67</sup>. Момент идеализации, свойственный романтическому взгляду, ярко проявился в способах визуального оформления опыта путешественника, в стремлении к созданию сюжетных или жанровых картин. В частности, у побывавшего в Черногории в 1840-х гг. славянофила А. Н. Попова читаем: «Беззаботно

---

<sup>64</sup> Там же. С. 92-102.

<sup>65</sup> Например, бедность польского фольклора объясняется тем, что шляхте некогда было сочинять песни, махая мечом, а крестьянам, неся тяжкие повинности. Веселые краковяки – это краткая минута, которой простолюдин спешит воспользоваться в разгуле: *Бодянский*. 1837. С. 80-95. В свою очередь у сербов в результате многочисленных войн «дух их поднялся до высшей степени героизма, исполнинского мужества, твердости и упругости, сердце ожесточилось, характер сделался энергетическим, стойким, словом: все 12 вековое бытие сербов представляется нам беспрерывным рядом богатырских подвигов» (Там же. С. 96).

<sup>66</sup> Там же. С. 122, 136-137. Ср.: *Венелин*. 1834. С. 49-56; *Азадовский*. 1958. С. 390-399.

<sup>67</sup> *Калоева*. 2002; *Анишаков*. 2005.

ли черногорец курит свою трубку, сидя на камне, или стоит, опершись на ружье и задумчиво глядя в сторону, каждое его положение просится в картину. Это зависит от прекрасного костюма и южной живости характера, который каждому движению придает смысл»<sup>68</sup>.

В привлекательности балканского примера, и собственно черногорской экзотики, можно усмотреть компенсаторную подоплеку. По свидетельству И. С. Аксакова, «...покойный мой брат [Константин] <...> бывало, угнетался самым обликом р[усского] мужика, именно отсутствием в нем определенной животной породистости»<sup>69</sup>. В таком случае на выручку угнетенному, забитому и ослабленному русскому мужику приходили «породистые» братья-славяне – смелые, сильные, гордые воины-коллективисты.

Наметившаяся в спорах 1830–40-х гг. тенденция к построению национального характера по принципу антимонии в 50–60-е отлилась в формуле Аполлона Григорьева о колебаниях русской души между смирением и буйством. Обращение к героическим образцам «славянского характера», распространенного на Балканах, явилось аргументом в пользу ее активного полюса, а возникший попутно стереотип «братьев-славян» в какой-то мере отражал социальное одиночество и политическое бессилие русской интеллектуальной элиты предреформенного периода.

### БИБЛИОГРАФИЯ

- Азадовский М. К.* История русской фольклористики. [Т. 1]. М.: Учпедгиз, 1958. 480 с.
- Аксаков К. С.* [Рец. на:] Народное чтение. Книжка первая. СПб., 1859. // Аксаков К. С., Аксаков И. С. Литературная критика / Сост., вступ. статья и коммент. А. С. Курилова. М.: Современник, 1982. С. 238–240.
- Алпатов М. А.* Русская историческая наука и западная Европа (XVIII – первая половина XIX в.). М.: Наука, 1985. 271 с.
- Антидот (Противоядие) // Осмнадцатый век. Кн. IV. М., 1869. С. 225–463.
- Анишаков Ю. П.* Русские журналы как источник изучения исторического прошлого южнославянских народов и русско-югославянских связей (30-е – середина 50-х гг. XIX в.) // Двести лет новой сербской государственности. К юбилею начала Первого сербского восстания 1804–1813 гг. СПб.: Алетей, 2005. С. 130–149.
- Бадалян Д. А.* Понятие «народности» в русской культуре XIX века // Исторические понятия и идеи в России XVI–XIX веков. СПб.: Изд-во Европейского ун-та в Санкт-Петербурге; Алетей, 2006. С. 108–122.
- Барсуков Н. П.* Жизнь и труды М.П. Погодина. СПб.: Тип. М. М. Стасюлевича, 1894. Т. VIII. 637 с.
- Белинский В. Г.* Полн. собр. соч. в 13 т. М.: Изд-во АН СССР, 1953-1959. Т. I, V, VII, IX, X.

---

<sup>68</sup> Попов. 1847. С. 20.

<sup>69</sup> Цит. по: Цамутали. 1977. С. 67.

- Белов М. В. У истоков сербской национальной идеологии: специфика формирования и механизмы развития (конец XVIII – середина 30-х гг. XIX века). СПб.: Алетейя, 2007. 544 с.
- Белов М. В. Русский офицер в роли этнографа: А. Г. Розелион-Сашальский описывает Сербию // Studia Balkanica. К юбилею Р. П. Гришиной. М.: Ин-т славяноведения РАН, 2010. С. 58–68.
- Белов М. В., Витальева А. И. Эдмунд Бёрк – ранний идеолог Британской империи // Диалог со временем. 2011. № 34. С. 74–99.
- Берлин И. Гердер и просвещение // Он же. Подлинная цель познания. М.: Канон+, 2002. С. 412–512.
- Богданов К. А. Врачи, пациенты, читатели: Патографические тексты русской культуры XVIII – XIX веков. М.: ОГИ, 2005. 504 с.
- Богданов К. А. О крокодилах в России. Очерки из истории заимствований и экзотизмов. М.: Новое литературное обозрение, 2006. 352 с.
- Бодянский И. О народной поэзии славянских племен. Рассуждение на степень магистра философского факультета первого отделения, кандидата московского университета. М.: Тип. университета, 1837. 154 с.
- Венелин Ю. Об источниках народной поэзии вообще и о южнорусской в особенности. М.: Тип. Н. Степанова, 1834. 60 с.
- Венелин Ю. О характере народных песен у славян задунайских. М.: Тип. Н. Степанова, 1835. 118 с.
- Вишленкова Е. Визуальный язык описания «русскости» в XVIII – первой четверти XIX вв. // Ab Imperio. 2005. № 3. С. 97–146.
- Вишленкова Е. Визуальная антропология империи, или «увидеть русского дано не каждому». Сер. WP6. Гуманитарные исследования. М.: ГУ ВШЭ, 2008. 56 с.
- Вортман Р. «Официальная народность» и национальный миф российской монархии XIX в. // Россия. Russia. М.–Венеция. 1999. № 3 (11). Культурные практики в идеологической перспективе. С. 233–234.
- Вортман Р. Национализм, народность и российское государство // Неприкосновенный запас. 2001. № 3 // Сайт «Журнальный зал». URL: <http://magazines.russ.ru/nz/2001/3/vort-pr.html> (время доступа 10.03.2011).
- Вульф Л. Изобретая Восточную Европу: Карта цивилизации в сознании эпохи Просвещения. М.: Новое литературное обозрение, 2003. 560 с.
- Гаврилова Л. М. «Антидот» и теория «официальной народности». (Из истории русской дворянской историографии XVIII века) // Наука и культура России XVIII века. Сб. статей. Л.: ЛВВМИУ, 1984. С. 248–258.
- Гайм Р. Гердер, его жизнь и сочинения. Т. 1. М.: Издание К. Т. Солдатенкова, 1888.
- Гердер И. Г. Идеи к философии истории человечества / Отв. ред. А. В. Гулыга. М.: Наука, 1977. 703 с.
- Гершензон М. О. П. В. Киреевский // Он же. Грибоедовская Москва. П. Я. Чаадаев. Очерки прошлого. М.: Московский рабочий, 1989. С. 315–364.
- Гоголь Н. В. Несколько слов о Пушкине // Собр. соч. в 6 т. Т. 6. Избранные статьи и письма. М.: Государственное изд-во художественная литература, 1959. С. 33–39.
- Гордон А. В. Российское Просвещение: значение национальных архетипов власти // Европейское Просвещение и цивилизация России / Отв. ред. С. Я. Карп, С. А. Мезин. М.: Наука, 2004. С. 114–128.

- Дементьев А. Г. Очерки по истории русской журналистики 1840–1850 гг. М.–Л.: Государственное изд-во художественной литературы, 1951. 504 с.
- Дневник путешествия Ф. В. Чижова по славянским землям в 1845 г. (18 мая – 12 августа) / [Публ. И. В. Козьменко] // Славянский архив. М.: Изд-во АН СССР, 1958. С. 127–260.
- Доклады министра народного просвещения С. С. Уварова императору Николаю I / Публ. М. М. Шевченко // Река времен. Книга истории и культуры. Кн. 1. М.: Элиас Лак, 1995.
- Досталь М. Ю. Об элементах романтизма в русском славяноведении второй трети XIX в. (по материалам периодики) // Славяноведение и балканистика в отечественной и зарубежной историографии. М.: Ин-т славяноведения и балканистики АН СССР, 1990. С. 4–116.
- Достян И. С. Об описании Сербии, сделанном в 1830 г. русским офицером Розелион-Сашальским // Славянское возрождение: Сб. статей и материалов. М.: Наука, 1966. С. 104–116.
- Дурновцев В. И., Бачинин А. Н. Михаил Петрович Погодин // Историки России XVIII – начала XX века. М.: Скриптория, 1996. С. 174–193.
- Кавелин К. Д. На умственный строй. Статьи по философии русской истории и культуры / Сост. и вступ. статья В. К. Кантора. М.: Правда, 1989. 656 с.
- Казаков Н. И. Об одной идеологической формуле николаевской эпохи // Контекст–1989. Литературно-теоретические исследования. М.: Наука, 1989. С. 5–41.
- Калоева И. А. Изучение южных славян в России в XVIII – первой половине XIX в. М.: ИНИОН РАН, 2002. 116 с.
- Киреевский И. В. Избранные статьи / Сост., вступ. статья и коммент. В. Котельникова. М.: Современник, 1984. 383 с.
- Ключевский В. О. И. Н. Болтин // Соч. в 9-ти т. Т. VII. М.: Мысль, 1989. С. 234–261.
- Кузнецова Т. В. Россия в мировом культурно-историческом контексте: парадигма народности. М.: Московский общественный научный фонд; ООО «Издательский центр научных и учебных программ», 1999. 152 с.
- Лазари де А. В кругу Федора Достоевского. Почвенничество / Пер. с польск. М. Лескинен, Н. Филатова. М.: Наука, 2004. С. 47–59.
- Лаптева Л. П. История славяноведения в России в XIX веке. М.: Индрик, 2005. 848 с.
- Лескинен М. В. Поляки и финны в российской науке второй половины XIX в.: «другой» сквозь призму идентичности. М.: Индрик, 2010. 368 с.
- Лескинен М. В. Стереотип «веселого поляка» в описаниях польского национального характера эпохи просвещения и Романтизма // Вестник Нижегородского государственного университета им. Н.И. Лобачевского. 2011. № 2.
- Лециловская И. И. Концепции славянской общности в конце XVIII – первой половине XIX в. // Вопросы истории. 1976. № 12. С. 75–92.
- Лотман Ю. М. Сотворение Карамзина // Он же. Карамзин. СПб.: Искусство–СПб., 1997. С. 10–310.
- Майков В. Н. Стихотворения Кольцова. Статья вторая и последняя // Литературная критика / Сост. и вступ. ст. Ю. Сорокина. Л.: Худож. литература, 1985. С. 125–176.
- Манн Ю. В. Русская философская эстетика. М.: Искусство, 1969. 304 с.
- Мацейковский В. Характерные черты славян и немцев // Чтения в Обществе истории и древностей российских. 1858. Кн. 1. С. 237–246.
- Мейнеке Ф. Возникновение историцизма. М.: РОССПЭН, 2004. 480 с.

- Милисавиц Ж.* Историја Матице српске. Д. 1. Време националног буђења и културног препорода. 1826–1864. Нови Сад: Матица српска, 1986.
- Миллер А. И.* Триада графа Уварова. [2007] // Сайт «Полит.ру». URL: <http://polit.ru/lectures/2007/04/11/uvarov.html> (время доступа 10.03.2011).
- Миллер А. И.* «Народность» и «нация» в русском языке XIX века: подготовительные наброски к истории понятий // Российская история. 2009. № 1. С. 151–165.
- Миллер А. И.* Приобретение необходимое, но не вполне удобное: трансфер понятия нация в Россию (начало XVIII – середина XIX в.) // Imperium inter pares: Роль трансферов в истории Российской империи (1700–1917) / Ред. М. Ауст, Р. Вульпиус, А. Миллер. М.: Новое литературное обозрение, 2010. С. 42–66.
- Монтескье Ш.* О духе законов. Кн. 14 // Избранные произведения / Общая ред. и вступ. ст. М. П. Баскина. М.: Государственное изд-во политической литературы, 1955. С. 350–361.
- Московитянин. 1845. Ч. 1. № 1. Ч. 2. № 3.
- Мильников А. С.* Картина славянского мира: взгляд из Восточной Европы. Представления об этнической номинации и этничности XVI – начала XVIII века. СПб.: Петербургское Востоковедение, 1999. 400 с.
- Надеждин Н. И.* Европеизм и народность в отношении к русской словесности (1836) // Он же. Литературная критика. Эстетика / Сост. и вступ. статья Ю. В. Манна. М.: Художественная литература, 1972. С. 394–444.
- Надеждин Н. И.* Об исторической истине и достоверности (1837) // Сочинения в 2 т. / Ред. и вступ. статья З. А. Каменского. Т. 2. СПб.: РГХИ, 2000. С. 760–795.
- Павленко Н. И.* Михаил Погодин. М.: Памятники исторической мысли, 2003. 359 с.
- Плеханов Г. В.* История русской общественной мысли. Кн. 3 // Сочинения. Т. XXII. М.–Л.: Государственное изд-во, 1925. 364 с.
- Попов А.* Путешествие в Черногорию. СПб.: Тип. Э. Праца, 1847. 329 с.
- Проскурина В.* Спор о «свободоязычии»: Фонвизин и Екатерина // Новое литературное обозрение. 2010. № 5 (105) // Сайт «Журнальный зал». URL: <http://magazines.russ.ru/nlo/2010/105/pro11.html> (время доступа 10.03.2011).
- Пушкин А. С.* <О народности в литературе> // Полн. собр. соч. Т. XI. М.–Л.: Изд-во АН СССР, 1949.
- Российский государственный военно-исторический архив (РГВИА). Ф. 439. «Сербия». Д. 6. Статистическое описание Сербии. 123 л.
- Савельева И. М., Поletaев А. В.* История и время. В поисках утраченного. М.: Языки русской культуры, 1997. 800 с.
- Савельева И. М., Поletaев А. В.* Знание о прошлом: теория и история. В 2 т. СПб. Наука, 2003–2006. Т. 1. 632 с. Т. 2. 751 с.
- Самарин Ю. Ф.* О мнениях «Современника» исторических и литературных (1847) // Сочинения / Сост., вступ. статья и комметн. Н. И. Цимбаева. М.: РОССПЭН, 1996. С. 411–482.
- Сербский летопис. 1825. Ч. 1.
- Слезкин Ю.* Естествоиспытатели и нации: русские ученые XVIII века и проблема этнического многообразия // Российская империя в зарубежной историографии. Работы последних лет: Антология. М.: Новое изд-во, 2005. С. 120–154.
- Собестянский И. М.* Учения о национальных особенностях характера и юридического быта у древних славян. Историко-критическое исследование. Харьков: Тип. Гуава, 1892. 336 с.

- Софронова Л. А. Принципы отчуждения романтического героя // Категории и концепты славянской культуры. Труды Отдела истории культуры. М.: Ин-т славяноведения РАН, 2008. С. 46–60.
- Стенник Ю. В. Идея «древней» и «новой» России в литературе и общественно-исторической мысли XVIII – начала XIX века. СПб.: Наука, 2004. 277 с.
- Суровецкий Л. Исследование начала народов славянских. Рассуждение, читанное в торжественном заседании варшавского общества любителей наук, 24 января 1824 года // Чтения в Обществе истории и древностей российских. М., 1846. Кн. 1. От. III. Материалы иностранные. С. 1–82.
- Фонвизин Д. И. Собр. соч. в 2 т. / Сост., подгот. текстов, вступ. статья и коммент. Г. П. Макогоненко. Т. 2. М.–Л.: Гослитиздат, 1959. 742 с.
- Фрейдзон В. И. Представления и идеи славянской общности в первой половине XIX века // Вопросы истории. 1979. № 9. С. 61–78.
- Хомяков А. С. Соч. в 2-х т. Т. 1. Работы по историософии / Вступ. статья, сост. и подгот. текста В. А. Кошелева. М.: МФФ; Медиум, 1994. 590 с.
- Цамутали А. Н. Борьба течений в русской историографии во второй половине XIX века. Л.: Наука, 1977. 256 с.
- Шанский Д. Н. Из истории русской исторической мысли: И. Н. Болтин. М.: Изд-во МГУ, 1983. 150 с.
- Шевченко М. М. Понятие «теория официальной народности» и изучение внутренней политики Николая I // Вестник Московского университета. Сер. 8. История. 2002. № 4. С. 89–104.
- Ширле И. Учение о духе и нравах народов в русской культуре XVIII века // «Вводя нравы и обычаи Европейские в Европейском народе»: К проблеме адаптации западных идей и практик в Российской империи / Отв. составитель А. В. Доронин. М.: РОССПЭН, 2008. С. 119–137.
- Ebbinghaus A. “National” (narodnyj) und “nationale Eigenheit” (narodnost’) in der russischen Literaturkritik der 1820er Jahre // Russische Begriffsgeschichte der Neuzeit. Beiträge zu einem Forschungsdesiderat / Hrsg. von P. Thirgen. Köln: Böhlau, 2006. S. 51–79.
- Kra P. The concept of national character in 18th century France. [2002] // Сайт “Cromohs. URL: [http://www.cromohs.unifi.it/7\\_2002/kra.html](http://www.cromohs.unifi.it/7_2002/kra.html) (время доступа 10.03.2011)..
- Maurer M. “Nationalcharakter” in der frühen Neuzeit: ein mentalitätsgeschichtlicher Versuch // Transformationen der Wir-Gefühls. Studien zum nationalen Habitus / Hrsg. von R. Blomert, Y. Kuzmics und A. Treibel. Frankfurt a.M.: Suhrkamp Verlag, 1993. S. 45–81.
- Rogger H. National Consciousness in Eighteenth-Century Russia, Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 1960. 319 p.
- Romani R. National Character and Public Spirit in Britain and France, 1750–1914. Cambridge: University Press, 2002. 358 p.
- Белов Михаил Валерьевич**, доктор исторических наук, доцент, заведующий кафедрой истории зарубежных стран Нижегородского государственного университета им. Н.И. Лобачевского, [belov\\_mihail@mail.ru](mailto:belov_mihail@mail.ru)

М. В. ЛЕСКИНЕН

## КОНЦЕПТ “НАЦИОНАЛЬНЫЙ ХАРАКТЕР/ ПРАВ НАРОДА” В ЯЗЫКЕ РОССИЙСКОЙ НАУКИ ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XIX ВЕКА

---

В статье рассматривается содержание и функционирование концептов «национальный нрав / национальный характер», «нравы», «национальная психология» в различных областях гуманитарного знания в российской науке второй половины XIX в. Они анализируются с точки зрения формирования концепции этничности. В центре внимания – этнографические описания народов Российской империи.

**Ключевые слова:** история Российской империи XIX в., этничность, национальный характер, нрав народа, этнография в России.

---

В период формирования этнографии как самостоятельной дисциплины в России, когда вырабатывался ее научный лексикон, предметное поле и методы исследования, “нрав народа” занимал важное место в перечне этнических признаков наряду с языком, физическим обликом и самоназванием, а в спорных случаях мог служить этнодифференцирующим критерием. Еще в характерологических сочинениях романтиков возобладало представление о том, что не все сословия, а только крестьянство является выразителем истинного, «коренного» народного типа. Эта идея получила обоснование и в этнографии, ограничив, таким образом, объект исследования избранной социальной группой, что актуализировало интенсивное изучение всех форм крестьянского быта – «общественного», «нравственного», «материального» и «духовной культуры».

### *Нрав народа / темперамент*

Введение понятия “нрав” в описание этносов не было оригинальным, за ним стояла многовековая традиция. Нрав (характер или психология) народа стал одним из главных элементов в надеждинской концепции народности/этничности, разрабатываемой в 1840-е гг.<sup>1</sup>; в градации предметного поля этнографии он также относился к «психической этнографии», а в первой программе этнографического описания Н. И. Надеждина (1847) его характеристика следовала за языком и

---

<sup>1</sup> Надеждин. 1847. О концепте “нрав/характер” в связи с идеями народности подробно см.: Лескинен. 2010. Гл. 4.



внешним обликом под наименованием «умственных и нравственных особенностей и образования». Понятие «психического склада» («нрава») народа включало «умственные способности, силу воли и характера, чувство своего человеческого достоинства и <...> стремление к непрерывному самосовершенствованию». В пояснении к вопроснику указывалось, что именно необходимо учитывать в этом разделе: «сведения о понятливости, сметливости жителей, о распространении грамотности и характере обучения, об отношении между собой различных групп, о некоторых народных обычаях»<sup>2</sup>. Нрав народа, таким образом, включал умственные способности, нравственные нормы и отступления от них, характер и темперамент. Черты нрава должны были выявляться информаторами так же, как, например, «наружность» или «житейский быт», то есть средствами внешнего наблюдения, а не методом реконструкции.

Главные рубрики и последовательность пунктов программы Надеждина мало отличались от ранних вариантов народоописательных схем XVIII – начала XIX в.<sup>3</sup> В ее шести разделах нрав народа занимал пятое место после наружности, языка, домашнего и общественного быта. Сложность фиксации внешних проявлений коллективной психики и, в частности, нрава, а также крайняя неопределенность понятий, использовавшихся в подобных характеристиках, на начальном этапе сбора этнографических сведений, стандартизированном вопросником, не беспокоила Надеждина. Он прямо указывал: «тут не требуется со стороны наблюдающих особенных усилий и трудов, кроме как видеть и замечать, что у каждого будет перед глазами»<sup>4</sup>, однако предостерегал исследователей от возможных трудностей в описании «нравственного быта»: «По сей части сведений нужна особенная тонкость и разборчивость внимания при наблюдениях; ибо здесь идет дело о таких чертах народного быта, которые, при крайней сложности и взаимной между собой перепутанности и слитости, чрезвычайно беглы и изменчивы, так что их трудно и уловить. <...> А еще нелегко и передавать замечаемые оттенки нравственного и умственного сложения людей с той верностью и отчетливостью, какая требуется для выводов науки»<sup>5</sup>.

Задачи этнографического описания, поставленные перед собирателями сведений по данной программе, становились еще более трудновы-

---

<sup>2</sup> Цит. по: Рабинович. 1971. С. 39.

<sup>3</sup> Подробно об этом: Лескинен. 2010. Гл. 1.

<sup>4</sup> Часть этнографическая... 1852. С. 23.

<sup>5</sup> Там же. С. 27.

полными, если учитывать и другие требования. Например, полагалось желательным, чтобы «собиратель указывал, <...> как далеко простираются замеченные им отличия, где именно они начинаются, где прекращаются, или же где только видоизменяются»<sup>6</sup>. Как возможно было ответить на эти вопросы наблюдателю, впервые оказавшемуся в новом и малоизученном до него регионе, оставалось только догадываться. Если учесть, что главным методом сбора этнографических данных в экспедициях было наблюдение и описание (в прямом и переносном значении — как активное использование зарисовок с натуры), то можно предполагать, что указанное Надеждиным выявление границ отличительных свойств, в том числе и касающихся нрава, могло осуществляться только визуальными методами.

Сведения о «нраве» народа содержались во всех программах вплоть до 1890-х гг. Характеристика «умственных и нравственных свойств» включалась в разные «отделы», но четкого разделения свойств, присущих только уму или только нраву, не было. Иногда они рассматривались вместе, но под каждым из них подразумевались различные сферы проявления человеческой природы: например, «быстрота ума», темперамент, общительность, моральные нормы и т.д. могли в равной степени вступать и как умственные, и как нравственные «способности». Надеждин считал, что нравственный облик народа определяет состояние его цивилизованности, и устанавливал его через сходства с привычными для русского наблюдателя нормами — моральными, правовыми и даже эстетическими. Надеждин подразумевал под «умственными склонностями» «объективные» свойства, такие как, например, сметливость, изобретательность и, в частности, скорость («быстрота») речи, а под «нравом» — те особенности проявления темперамента и выражения чувств, которые передаются из поколения в поколение традицией, идеалами и нормативными установками культуры (позитивные (кротость) и негативные (страсти)). Именно «врожденность» нрава и передача его «по крови» делала характеристику научно-объективной, вновь возвращаясь к природно-обусловленным признакам этноса, и именно это отличало при строгом словоупотреблении «нрав» от «характера».

Если в статье Надеждина умственные и нравственные способности указывались в нерасчлененном единстве, а понятие «психическая этнография» включала проявления этих свойств в обрядах, материальном быте и психических реакциях, то категория «нравственный быт», вклю-

---

<sup>6</sup> Дабижя, *Метлинский*. 1854. С. IV.

ченная в Программу 1852 г.<sup>7</sup> (структура этой части не подвергалась изменениям вплоть до 1890 г.<sup>8</sup>), была более детализирована. Этот пункт содержал описание элементов «духовной природы»: умственные и нравственные «начала» исследуемого народа, которые следовало «отыскивать» в нравах, обычаях, «преимущественно в природно-религиозных верованиях и обрядах». Умственные качества (любопытство, понятливость, изобретательность, сообразительность, богатство и скудость воображения, «измеряемые объемом или недостатком народных сказок, песен и т.п.») предписано было рассматривать в степени развитости этих свойств. К признакам «нравственного развития» Надеждин относил тип преобладающего темперамента, а также господствующие «понятия» о «страстях и пороках, о добродетели и правде, ... представления о *нравственной* (выделено мной. – М. Л.) оценке их»<sup>9</sup> в описываемой культуре. Как видим, автор инструкции вполне осознавал отличие между: а) мнением наблюдателя, б) его непосредственным впечатлением от изучаемого объекта и в) нормами и ценностями их обладателей – и требовал фиксации различий трех оценок. К этой же рубрике относился вопрос о восприятии изящного (народный тип красоты, любимые формы, пропорции и цвета)<sup>10</sup>. Нравственность в этом случае представляла таким же проявлением «духа народа», как и его нрав (темперамент).

Объяснение темперамента, как и другие этнические характеристики, осуществлялось в текстах через понятия «типичного» или «характерного». Темперамент оказывал воздействие на «соотношение между деятельностью и материальностью организма»<sup>11</sup>, а его особенности, как считалось, формировались природой и имели физиологическое происхождение: «совокупность физиологических особенностей в человеке, обуславливающая образ восприятия и впечатлений и способ проявления себя во внешней деятельности»<sup>12</sup>; «физические или духовные типические свойства человека, обуславливающие известную возбудимость к впечатлениям... и способность воздействовать на... внешний мир»<sup>13</sup>.

Темперамент, таким образом, в гораздо большей степени, нежели характер, обусловлен физиологией, т.е. казался врожденной особенно-

---

<sup>7</sup> Часть этнографическая... 1852.

<sup>8</sup> Программа... 1890.

<sup>9</sup> Часть этнографическая... С. 25-26.

<sup>10</sup> Там же. С. 25.

<sup>11</sup> *Старчевский*. 1847-1855. Т. 10. С. 205.

<sup>12</sup> Настольный словарь. 1863-1866. Т. 3. 1866. С. 634.

<sup>13</sup> *Гавкин*. 1894. С. 507.

стью человека или народа, при этом он оказывал влияние на психику индивида и этноса, поскольку определял ту область восприятия и поведения, которая не зависела от исторического прошлого или социального происхождения. Интересно трактовал данное понятие В. О. Ключевский, разделивший народный характер и темперамент. Второй, с его точки зрения, был жестко обусловлен природно-социальными факторами, и рассматривался историком как одна из форм проявления устройства общества, которое он определял как «историческую силу не в смысле какого-то специального людского союза, а просто как факт, что люди живут вместе и в этой совместной жизни оказывают влияние друг на друга». В коллективе качества отдельных личностей во взаимодействии друг с другом видоизменяются, и вырабатываются «преимущественно бытовые условия и духовные особенности, <...> совокупность которых составляет то, что мы называем *народным темпераментом*»<sup>14</sup>.

Темперамент в этнографических инструкциях и конкретных описаниях характеризовался без привычного гиппократовского выделения четырех видов, а через определения («живой», «вялый», «медленный», «жесткий» и т.п.). В этот период содержание понятия в русском языке упростилось: он объяснялся как «свойство, расположение духа человека, зависящее от его организации»<sup>15</sup> или как «сложение человека и зависящие от того его душевные свойства»<sup>16</sup>. Но так или иначе темперамент понимался как врожденное качество психики человека или сообщества.

### ***Нрав/характер в других этнографических программах***

В созданной на основе надеждинской, но более детализированной Программе В. Д. Дабижи и А. А. Метлинского, нрав народа характеризуется в разделе «Степень народного развития». «Нравственное развитие» народа объединено с религиозным, а «умственное» следовало описывать отдельно, отвечая на вопросы о способностях, о понимании явлений природы; за ним следуют описания «художеств» и «произведений народного слова»<sup>17</sup>. Рассказ о народной нравственности должен был включать «характеристические очерки нравственных свойств и склонностей жителей известной местности; замечания о преобладающем темпераменте, о господствующих страстях и пороках». Пороки и добродетели рассматривались вне социального контекста и включали такие явления и

---

<sup>14</sup> Ключевский. 1987. I. С. 39-40.

<sup>15</sup> Михельсон. 1877. Т. 1. С. 490.

<sup>16</sup> Новый словотолкователь... 1878. С. 253.

<sup>17</sup> Дабижа, Метлинский. С. IV.

черты как «пьянство, лживость, хитрость, мстительность и другие, и местные понятия насчет степени преступности тех или иных действий»<sup>18</sup>.

Программы второй половины столетия ярко демонстрируют общность представлений об «умственных и нравственных способностях» (т.е. нраве/характере народа) как важнейшем этническом признаке. Впрочем, известен случай исключения этого пункта из вопросника для этнографического описания. С этой инициативой выступил первый секретарь Этнографического отдела ОЛЕАЭ А. Л. Дювернуа в 1868 г. «Опыт показал, – утверждал он, – что на последний вопрос трудно ожидать сколько-нибудь удовлетворительного ответа по многим причинам. Во-первых, нередко корреспонденты переносят свои случайные наблюдения над личностями на все племя и этим чрезмерно их обобщают. Во-вторых, нередко, не будучи по природе призваны к суждению о способностях и образовании других, корреспонденты в силу одной программы, вменяют себе это суждение в тяжелую обязанность. В-третьих, нередко ложно понятый патриотизм побуждает их панегирически восхвалять способности народа, а вопрос об образовании входит в явное противоречие с несомненными данными статистики»<sup>19</sup>.

Черты характера/нрава народа могли и полностью отождествляться с проявлениями темперамента. Например, в Программе 1890 г. в пояснении к разделу, посвященному описанию «умственных и нравственных» качеств, говорилось: «необходимо обращать внимание на те только свойства и наклонности ума и характера, которыми резко отличаются жители известной местности от их соседей. <...> Прежде всего нужно определить важнейшую *черту характера* (выделено мной. – М. Л.), живость или вялость его». Далее указаны возможные качества ума и эмоциональности: восприимчивость и впечатлительность, сдержанность и обдуманность, настойчивость и любознательность, внимательность, консерватизм или склонность к новым знаниям и т.п.<sup>20</sup>.

Особое внимание уделено в Программе способу выявления психологических качеств: «Необходимо указывать на те обстоятельства, под влиянием которых принято то или другое направление наклонности народа, и вообще сложился весь его характер; <...> подобные объяснения должны основываться на фактах, а не на одних умозаключениях»<sup>21</sup>. Под

---

<sup>18</sup> Там же. С. 13.

<sup>19</sup> ЭО ОЛЕАЭ... 1868. С. 730.

<sup>20</sup> Программа... 1890. С. XLVIII-L.

<sup>21</sup> Там же. С. XX.

«фактами» понимались этногенетические легенды, поговорки, постоянные эпитеты, а также черты, которые представляют собой этностереотипы. Последний раздел предусматривал возможность и обязательность изучения этнического характера, но не как части самосознания, а вновь – в качестве внешнепризнаковой характеристики. Методом верификации выступало сравнение с соседями.

### *Нрав и нравы*

Представления о нраве народа в общей картине этнографических описаний на первый взгляд не претерпело серьезных изменений: термин по-прежнему употреблялся в сочетании «быт и нравы» народа, «типы и нравы» или «нравы и обычаи» в соответствии с начальной немецкоязычной калькой – в том же смысле, что и в конце XVIII – начале XIX в. Однако следует отметить некоторые нюансы значений, связанные с множественным и единственным числом. Слово «нравы» (лат. и англ. *mores*, нем. *Brauch*), используемое в форме множественного числа, определяло нормы поведения, обычаи, традиции, регламентирующие отношения между членами сообщества. Уже говорилось, что описание нравов включало как упоминание об обычаях, так и характеристику нравственного облика группы (сословия, народа).

Такое словоупотребление сохранялось довольно долго. В качестве примера приведем трактовку *нравов* в юриспруденции конца XIX – начала XX вв.: нравы составляют «вторую категорию социальных норм человеческого поведения», это — «сложившиеся в человеческом обществе правила, которые, подобно юридическим нормам, также имеют целью регулировать внешние поступки людей, обеспечить в обществе такое поведение его членов, которое было бы согласно с социальным идеалом», подчинение нравам — не подчинение индивида воле государства или установлениям государственной власти, а «сообразование его (идеала – *М. Л.*) с *воззрениями и вкусами того общества* (выделено мной. – *М. Л.*), к которому он принадлежит»<sup>22</sup>. Мотивами подчинения «нравам» служат психологические основания (страх нарушения), поэтому подчинение нравам покоится на «желании принадлежать тому общественному союзу, где они действуют».

Таким образом, «нравы» сближались, с одной стороны, с «обычным правом» и вообще всяким нормированием социального поведения, например, освященным традицией или религиозными обычаями, с дру-

---

<sup>22</sup> *Хвостов*. 1905. § 13.

гой, могли пониматься как сфера идеалов, поведенческих норм и мировоззренческих установок, которые в XX в. получили наименование «этнос»<sup>23</sup>. Именно с этим значением соотносится и понятие «нравоописание» в значении «этнография», указанном В. И. Далем<sup>24</sup>.

Однако и в инструкциях Надеждина, и в этнографических работах 1850–60-х гг. все более активно использовался термин «нрав» в форме единственного числа. Наиболее полную трактовку этой формы можно найти в дефиниции В. И. Даля, который различал понятия «нрав человека» и «нрав народа». В основе определения – представление о нраве человека как об «одной половине или одном из двух основных свойств духа человека: ум и нрав образуют дух (душу). Ко нраву относятся: воля, любовь, милосердие, *страсти* (выделено мной. – М. Л.), а к уму: разум, рассудок, память»<sup>25</sup>. Соединение нрава и ума в «дух» представляется весьма значимым, если учитывать описание в надеждинской программе «умственных и нравственных» свойств в одном разделе. Можно предположить, что в данном случае это дань романтическому «духу народа». К «умственному», по Далю, относятся «истина и ложь», к «нравственному» – добро и зло; нрав, таким образом, находится в определенной зависимости от понимания этических категорий.

«Нрав» означал также характер (человека) и обычай. При этом «нрав природный, естественный» отличался от нрава «выработанного, сознательного». Под словосочетанием «нрав народа» понимались «свойства целого народа <...> не столько зависящие от личности каждого, сколько от условно принятых, житейских правил, привычек, обычаев». Энциклопедический словарь 1863–1866 гг. также дифференцировал «нравы» и «нрав». «Нрав» определяется как синоним «характера», подчеркиваются его смысловые отличия от «нравов», трактуемых как «высшая форма образа жизни и отношений с другими или между собою, как целого народа, так и отдельного человека»<sup>26</sup>. Нравы (обыкновения, привычки, нормы) и нрав как характер народа, безусловно, различались. Однако «нрав» мог быть описан в рубрике «нравы народа», являя собой элемент более общего понятия.

---

<sup>23</sup> «Этнос» – стиль жизни какой-нибудь общественной группы, общая ориентация какой-то культуры, принятая в ней иерархия ценностей, которая либо выражена эксплицитно, либо может быть выведена из поведения людей (*Оссовская*. 1987. С. 26.)

<sup>24</sup> *Даль*. 1880-1882. Т. 2. 1881. С. 558.

<sup>25</sup> Там же.

<sup>26</sup> *Настольный словарь...* Т. 2. 1864. С. 1034.

Необходимо выделить еще один круг значений, который породил много противоречий на уровне практики описаний народов, а именно: соотношение «нрава» и «нравственности». У Даля «нравственный» толкуется как противоположный телесному, плотскому, с одной стороны, и умственному, – с другой, а также как синоним душевного. Иначе говоря, определение «нравственный» связано с «нравом» не в значении «характера»<sup>27</sup>. Хотя понятия «нравы» и «нрав» в строгом смысле не содержали моральных оценок (а лишь сведения о моральном идеале), однако зачастую понимались этнографами (особенно любителями) именно таким образом; и сегодня российские и зарубежные исследователи XIX в., обращаясь к текстам эпохи, воспринимают определения «нравственный» и «моральный» применительно к характеристике этносов как синонимы, что не всегда адекватно историко-культурному контексту<sup>28</sup>. Конкретные очерки народов могли содержать представления о нравственности в разделе «нрав», но некоторые авторы понимали его только как «страсти» (то есть как темперамент) или соотносили совокупность элементов нрава с психологией – так называемой «общественной нравственностью». Содержание последней может служить примером противоречивой интерпретации термина в отношении к социальным (этническим, региональным и др.) группам. Так, в работах Ф. В. Булгарина (1840-х гг.) дается такое определение «племенной» нравственности: это «ум, душа и сердце народа»; чтобы описать ее, «необходимо нужно знать, как народ мыслил, как чувствовал, чему и во что верил, как понимал и объяснял отвлеченные предметы в каждую эпоху своей истории»<sup>29</sup>. Вполне естественно поэтому, что нравственная жизнь народа отождествлялась с интеллектуальными, умственными проявлениями («идеями»): «нравственная жизнь народа состоит из *идей*, ... исследование их ведет к объяснению *жизни* народа. События и факты истории суть только *формы*, в которые влива-

<sup>27</sup> Даль. 1880–1882. Т. 2. С. 558.

<sup>28</sup> Например, в англоязычной научной литературе словосочетание «нравы и обыкновения» принято переводить как “morals and customs”, хотя корректнее было бы “tempers and customs”. Традиция такого перевода, вероятно, восходит еще к латинскому обозначению описаний народов такого рода – общепотребительным был термин “mores” (обычай, нравы). Однако более точным оказался, например, польский хронист XVI в. Я. Длугош, который использовал для описания польского характера слово “natura” (означавшее и природу, и нрав) – т.е. врожденные свойства темперамента. Интересно, что в современном польском языке «нравы» переводятся как “obyczaje”, а «нрав» – как “charakter”. Иначе говоря, как и в русском языке, сохраняется узкий и более адекватный смысл понятия «нрав» в его архаическом толковании.

<sup>29</sup> Булгарин. 1837. С. XI.



ется эта жизнь»<sup>30</sup>. Такая «программа» изучения народной нравственности почти полностью совпадает с надеждинским толкованием нрава как этнокультурного признака, расширяя значение последнего.

### *Характер народа*

В центре внимания исследователей русской народности в 1850–1890-е гг. находились отличительные черты духовной культуры, описываемые в этнографических программах в рубриках, относящихся к свойствам нрава /характера (с 1870-х – к «психологии») народа. Оба первых термина использовались издавна, начиная с XVIII в.<sup>31</sup> как синонимичные, с той лишь разницей, что сторонники географического детерминизма подчеркивали врожденные и природно обусловленные свойства, а историки-позитивисты акцентировали внимание главным образом на социально-политических факторах его формирования. Это отчасти определило и традиции применения: позитивисты предпочитали использовать термин «характер», «детерминисты» – «нрав» и склонны были отождествлять его с темпераментом. Впрочем, о таком разделении смыслов можно говорить лишь как о тенденции, а не как о строго фиксированных областях словоупотребления. Лексема «характер» вплоть до конца века указывалась как заимствованная, а ее значение трактовалось как а) свойства души (синонимично «нраву», «норову») и б) отличительные черты или особенности чего-либо<sup>32</sup>. Заметим, что признаки темперамента, строго говоря, не включались в данное понятие, что также отчасти объясняет нюансы словоупотребления.

Российские историки уделяли пристальное внимание поиску условий и причин национального своеобразия. Так, В. О. Ключевский в своем курсе истории отличал «племенной характер» от «психологии» великоруса. Под вторым он понимал не статичные и неизменные черты характера, на которые влияют врожденные свойства темперамента и природно-климатические обстоятельства, а иную сферу – привычную логику *действий*, – в сфере хозяйственного быта, социальных отношений, а также в области воли и ожиданий. Следует отметить, что именно комплекс психологических черт историк именовал «национальным складом» или «национальным типом»<sup>33</sup>, но не народным характером.

---

<sup>30</sup> Там же. С. X.

<sup>31</sup> В научных сочинениях на русском языке одним из первых словосочетание «национальный характер» стал использовать И. Н. Болтин (*Болтин*. 1788. С. 5-12).

<sup>32</sup> *Михельсон*. 1872. С. 324.

<sup>33</sup> *Ключевский*. 1987. VII. С. 316.

Н. И. Костомаров нрав народа расценивал как наиболее явное проявление сути народности. С ним он связывал проявления настроений, стремлений и идеалов «народной массы», но утверждал, что «нет ничего труднее объяснить, отчего образовался такой или иной народный характер, хотя он и высказывается всюю историческою жизнью народа. Трудность эта истекает оттого, что начала его обыкновенно восходят к тем отдаленным временам, о которых до нас не дошло сведений»<sup>34</sup>. Историк был убежден в неизменности изначально сформированного «ядра» нрава, однако усматривал в его развитии возможность изменений.

С. М. Соловьев связывал отличия племенных характеров с «влечениями природы», под властью которых находятся многие люди и народы; он (как Кавелин, Ключевский и др.) подчеркивал, что нравственные добродетели (например, приписываемые древним славянским племенам) – общие для всех народов на определенном этапе, но под влиянием истории эти первоначальные качества могут значительно меняться. Развивая общеупотребительную метафору о варварском «детстве» европейских народов, Соловьев писал: «Тождественность явлений у варваров различных племен заставляет нас осторожно относиться к племенным и народным различиям, тем более что в младенце трудно уловить черты, которые будут характеризовать взрослого человека, выражающего в своем нравственном образе все многообразие условий, имевших влияние на окончательное определение этого образа»<sup>35</sup>. Он полагал исторические обстоятельства гораздо более существенными для формирования этнокультурного своеобразия, нежели природные факторы.

Не только исследователи истории России разделяли идеи географического детерминизма в отношении нрава народов. Специалист по раннему европейскому средневековью С. В. Ешевский считал, что свойства племени являются врожденными, доказывал, что именно в них необходимо искать объяснения исторических явлений и подчеркивал «замечательную устойчивость племенного характера», который, однако, вполне способен, не изменяясь в своем ядре, впитывать чуждые обычаи, верования и т. п.<sup>36</sup> Н. И. Кареев был убежден, что «человеческие типы и темпераменты независимы от географических и этнических условий»<sup>37</sup>, но признавал доминирование в их формировании исторического фактора<sup>38</sup>.

<sup>34</sup> Костомаров. 1886. С. 20.

<sup>35</sup> Соловьев. 2004. С. 169.

<sup>36</sup> Ешевский. 2004. С. 61, 75.

<sup>37</sup> Кареев. 1883. Т. 2. С. 133-134.

<sup>38</sup> Кареев. 1876. С. 1.

Особенности характера и темперамента обнаруживали не только в этнических группах, но и в региональных и локальных общностях. Всеобщей была убежденность, например, в отличиях жителей различных великорусских губерний: ярославец объявлялся «самым смышленным, деятельным» и практичным, «простой и добродушный костромич легко подпадал под власть хитрого и расчетливого ярославца-подрядчика или хозяина»<sup>39</sup>; крестьяне Калужской, Тульской и Рязанской губерний представляли тихими, неповоротливыми и грубоватыми<sup>40</sup>. При этом описатели не видели никакого противоречия в том, что типичный великорус «приобретал» в их текстах иные черты: «много уклончивости, гибкости, способности применяться к каким угодно обстоятельствам», он «уживчив и подвижен», работает «живо, переходит от приема к приему»<sup>41</sup>.

Таким образом, видоизменяясь или будучи изъятым вовсе, вопрос о нраве не был отменен в принципе, но обрел более современные формулировки, в соответствии с «психологическим» направлением европейских антропологических исследований.

### *Психология народа*

Рассматривая интерпретации психологических характеристик этносов, нельзя не упомянуть «признание» позитивизма психологической школы, сторонники которой стремились поставить психологию между биологией и социологией, исследуя эмоциональные, нравственные и интеллектуальные элементы цивилизации<sup>42</sup>. Идея взаимосвязи психического склада, который определялся биологическими и нравственными особенностями этнических групп (или племен) и социальной стороной их жизни, получила развитие в рассуждениях о предмете психологии как науки. Одним из первых поставил вопрос таким образом К. Д. Кавелин, обосновав в книге «Задачи психологии» (1872) идею анализа народной психологии (в том же значении, что и Надеждин) по этнографическим и историческим данным – памятникам культуры, мифологии, обрядности. Идеи Кавелина получили развитие, но лишь в рамках фольклористики, хотя во многом перекликались с пониманием задач исторической психологии Вундта, обоснованными позже – в 1886 г., поскольку их подверг резкой критике кумир позитивистов и непререкаемый авторитет в области психологии И. М. Сеченов.

---

<sup>39</sup> Лебедев. 1873. С. 64-65.

<sup>40</sup> Там же. С. 77.

<sup>41</sup> Мостовский. 1874. С. 5-6.

<sup>42</sup> Будилова. 1983. С. 10-44.

Различение народного характера и психологии для большинства исследователей, особенно имевших дело с письменными источниками, в целом не фиксировалось, оно не осмыслялось как значимое, потому многие использовали оба понятия как синонимичные. Для тех же, кто пытался определить содержание термина «психология» (не «психика») более точно, было очевидно, что оба явления описывают пересекающиеся, но не тождественные области человеческих проявлений. И тогда «психология народа» отделялась от простого перечня качеств сообщества и описывала сферу типических реакций, привычных норм социального поведения, эмоциональное состояние. Хотя неверно было бы утверждать, что такое понимание «психологии» было доминирующим, можно отметить некоторые отчетливо выраженные тенденции. Одна касается ограничения «психологии» повседневными, наиболее характерными проявлениями (ныне именуемыми стереотипами этнического поведения<sup>43</sup>), которые неотрефлексированы представителями этнической группы и не могут быть объяснены традицией, религиозными представлениями или нормами обычного права. В этом смысле понимание этнической «психологии» сближалось с содержанием понятия «нрав народа» (врожденные свойства, темперамент, обусловленные климатом и этногенезом). Такая трактовка «психологии» умалчивала о сфере идеалов и ценностей, которые занимали исследователей «народности», опиравшихся на произведения народной словесности и мифологии.

А. П. Шапов – один из немногих историков 1860–80-х гг., стремившийся связать законы естествознания с общественной жизнью и историей народа, обосновав идею психического типа на примере русских, пришел к выводу, что сформировавшийся в России тип психофизиологических реакций обусловил неразвитость «теоретической мыслительности», медлительность (статичность) и стремление к коллективным формам ведения хозяйства. По его мнению, коренными первоначальными «мотивами» умственно-социальной истории русского народа были два свойства его нервной организации, обусловленные физиологическими и психическими законами: а) «общая посредственность, умеренность или медленность возбуждения нервной восприимчивости..., производимая влиянием холодного северного климата, частью всею предшествовавшей политической, социально-педагогической и физиолого-психологической историей русского народа» и б) особенная естественная предрасположенность его нервной чувствительности и восприимчивости к наиболее

---

<sup>43</sup> Байбурина. 1985. С. 7-18.

живому восприятию «только наиболее напряженных и сильных» внезапных впечатлений<sup>44</sup>. Размышляя о ходе русской истории, Щапов призывал учитывать общие особенности нервной системы славянских народов, которые, как полагал он, состояли в нечувствительности и медленной раздражительности, сформированных холодным климатом. Специфику сложившихся родоплеменных отношений, особенности образования, религиозных воззрений, и даже отношений с инородцами (в частности, с финскими племенами и монголо-татарами) Щапов рассматривал через призму этих психических реакций. Отличительные русские свойства – такие как «леность, вялость», «сонливость, неподвижность, недеятельность», неразвитость «внутренней» (интеллектуальной) жизни, отсутствие общественной исторической энергии, а также «умственное развитие общества» – историк объяснял как борьбу врожденных и обусловленных климатом свойств темперамента с вызовами просвещения и цивилизации. Он считал, что русским удалось достичь очевидных успехов в этой борьбе – в отличие от еще более северных народов они смогли перебороть «неподвижность» ума и тела. Оригинальность концепции Щапова состояла в том, что он четко разделил психофизиологические свойства народа (на которые тот обречен природой) и характер, который может меняться под влиянием внешних факторов и под действием образования.

Если А. П. Щапов, возводивший национальные характеры к физиологии, апеллировал к общим закономерностям психических и физиологических реакций, обусловленных геоклиматически, то французские ученые, его современники, сводили своеобразие духа народа к расовым биологическим особенностям, причем в весьма прямолинейной трактовке: исторические судьбы народов полностью зависят от биологии составляющих их индивидов. Так, в 1890-е гг. большую популярность в области изучения психологии народов получили труды Г. Лебона, который строил свои положения, опираясь на заключения А. Гобино в «Опыте о неравенстве человеческих рас» (1853). Расовые, а вовсе не национальные отличия коллективного «духа» интересовали Лебона прежде всего. Он выделял четыре вида рас: первобытную, низшую, среднюю и высшую. Первые две обладают неустановившимся характером, чтобы достичь стадии «культурных народов», им необходимо развить волю и мышление. «Высшее» развитие этих качеств и ведет к формированию народного «характера». Одна из первых дискуссий, развернувшаяся среди российских ученых-антропологов в связи с

---

<sup>44</sup> Щапов. 1870. С. 149.

обсуждением сочинения Лебона «Психологические законы эволюции народов» (1894), может служить примером восприятия концепции национального характера в кругу исследователей-антропологов.

Идея о неизменности *расового характера* не была принята российскими антропологами, поскольку они придерживались мнения о том, что физический тип подвергается постоянным трансформациям, следовательно, и формируемые им психические особенности не могут оставаться постоянными<sup>45</sup>. А характер представителей одной и той же расы меняется в зависимости от географических условий. Критике подверглась и неопределенность термина «народный характер», а Э. Ю. Петри заявил о неприемлемости классификации народов по характеру или силе воли. Обсуждение красноречиво свидетельствует о том, что для российских антропологов (во всяком случае, для петербургской школы) конца XIX в. антропологические признаки не считались доминирующими в установлении этничности, а идеи национального характера как расовой особенности казались архаическими. Однако не все отвергали существовавшие в этнографии постулаты о возможности сравнительного описания черт умственной и психической деятельности народов, активно прибегали к подобным сопоставлениям М. И. Кулишер и Д. Н. Анучин<sup>46</sup>. Так, несмотря на стремление историков учитывать процессы развития этнических черт и признаков, в том числе и в отношении антропологического типа и нрава, продолжала доминировать концепция, исходящая из неизменности и устойчивости этих явлений во времени.

Полный отказ от представлений о существовании характера как признака расы, племени, народа или нации прозвучал в работе российского историка-слависта А. Л. Погодина. Он считал, что все эти теории «построены на совершенно субъективных допущениях, что все они проникнуты симпатиями или антипатиями к той или другой народности», и «в большинстве из них кроется мистическая вера в предназначение наций»<sup>47</sup>. Отвергая наличие национальных особенностей нрава, он склонялся к идее объективности только «национального самосознания». Погодин утверждал, что оно является главным признаком общности, «своеобразным целым чувств и представлений, оказывающим своеобразное влияние»<sup>48</sup>. Эти чувства и представления способны меняться в

---

<sup>45</sup> РАО. 1895. С. 43-53.

<sup>46</sup> Кулишер. 1887. С. 3; Анучин. 1907.

<sup>47</sup> Погодин. 1902. С. 86.

<sup>48</sup> Там же. С. 94-95.

ходе истории. Само национальное самосознание играет, по его мнению, бесспорную роль в образовании вкусов и идеалов сообщества, развивается же оно под влиянием внешних, а не внутренних причин (в частности, необходимости защищаться от врагов). В работе Погодина значим отказ не только от концепции национального нрава или характера, открывающий новый этап в научном осмыслении этноса, но и введение категории «национального самосознания». Последнее понимается как более высокая ступень, объединяющая представителей различных социальных групп общими чувствами и представлениями о себе и Других. Главным в ней является именно акцент на самописание и самоидентификацию индивида, этнических и национальных сообществ.

К концу XIX в. наметилась отчетливая тенденция к отказу от использования концепций нрава (характера) народа или, во всяком случае, к объяснению его формирования системными воздействиями, а не прямолинейной зависимостью от природы. Однако хорошо известно, что такое примордиалистско-биологизаторское понимание этнических феноменов и характера, в частности, в России, продолжилось и в XX веке – в трудах С. М. Широкогорова, Л. Н. Гумилева и других<sup>49</sup>.

### ***Практика описаний***

Идея зависимости «нрава народа» от природных условий населяемой им области и во второй половине XIX в. по-прежнему выражалась в формулах французских энциклопедистов. Так, детально разработанная в их трудах идея зависимости черт этничности от климатических условий получила развитие и в трудах европейских антропогеографов. Прежние предположения о том, что народы «юга» отличает изнеженность, веселый нрав, любовь к роскоши, медлительность и леность, а также склонности к занятиям искусствами (в то время как суровые природные условия закаляют дух народов «севера»), делая их мужественными, суровыми, мрачными и жестокими, но наделяют их воинскими доблестями и талантами), теперь несколько видоизменяются.

Архаическая характерология довольно долго сохраняется в научной и популярной литературе, пока ее не сменяет научная концепция типологии нравов. Неизменными оставались общие представления о теплом или умеренном климате, благоприятном для земледелия и нрава населяющих эти зоны людей. Однако во второй половине XIX в. идеи противопоставления характеров северных и южных народов подверг-

---

<sup>49</sup> Рыбаков. 2001. С. 156-189.

лись некоторой корректировке – различие, впрочем, касалось лишь ракурса. Несмотря на детализацию этих представлений (выделены были типы «горцев», жителей равнин и тех, чей образ жизни был связан с морем) в период развития антропогеографических теорий А. Гумбольдта и К. Риттера, противопоставленные характеристики жителей севера и юга почти не претерпели изменений.

Новые акценты были обусловлены эволюцией географических методов описания и анализа, что изменяло понимание и использование пространственных категорий в целом. В XVIII в. и в начале XIX в. части света и связанные с ними оценки цивилизованности и характеристики нравов диктовались позицией наблюдателя, находящегося в Центральной Европе — его точка зрения определяла ориентиры так называемой «ментальной карты»<sup>50</sup>; они легко поддавались изменению в зависимости от географического и идеологического «положения» наблюдателя. Поэтому оппозиции север / юг, запад / восток в эпоху романтизма легко меняли свое семантическое наполнение<sup>51</sup>, так же, как трансформировались цивилизационные коннотации в определениях Европы и Азии, граница между которыми мало соотносилась с географией, но играла значимую роль в оценках «развитости» обитающих там народов. Детерминирующим их описания стал миф о Европе, в котором «Азия» или «Сибирь» понимались в первую очередь метафорически, а «восток» и «запад» могли оказаться важными маркерами в идентификации «центрального» и «периферийного» в пространстве культуры.

С развитием в XIX в. страноведения эта точка отсчета (условного центра) помещается в границах каждой из стран, что приводит к обнаружению типологических особенностей Юга и Севера внутри них и позволяет обнаружить темпераментных «южан» и суровых и молчаливых «северян» среди представителей одной нации, народа и даже его «отрасли» (то есть субэтноса) – в различных регионах, особенно тяготеющих к окраинам. По этой причине в Российской империи «азиатами» могли называть как финно-угров (расовая принадлежность которых к монголоидам считалась в ту эпоху доказанной) или великорусов (из-за «финской» части их крови), так и поляков, – когда речь шла о сарматских элементах их культуры и нрава в сравнении с западноевропейскими. Эта

---

<sup>50</sup> Шенк. 2001.

<sup>51</sup> О механизмах переориентирования ментальных карт в XVIII – начале XIX в. с оппозиции юг-север на запад-восток см.: Вульф. 2003; Шенк. 2001. С. 42-48.



детализация значима только в рамках одной общности, и символика данных ориентиров может не признаваться даже ближайшими соседями.

Нрав /характер /психология народа считались не только важным маркирующим признаком этнической общности, но (несмотря на дискуссии между историками и антропологами о степени их обусловленности природой и наследственностью) чаще всего воспринимались как неизменные свойства народа, подвергающиеся трансформации только в процессе физического или расового смешения (метисации). Такое объяснение нередко использовалось для обоснования пороков или добродетелей национального русского (великорусского) характера, причем весьма далекими друг от друга по научным взглядам и политическим убеждениям авторами – например, А. Мицкевичем в процессе трактовки славянских вариаций нрава (польского и русского) или И. А. Сикорским в патриотических теориях славянского этногенеза, а также русскими составителями этнографических очерков о финнах и великорусах. Но когда в популярных репрезентациях великорусов описывался процесс их образования посредством смешения славянских и финно-угорских племен, он не оценивался отрицательно, напротив, подчеркивалась устойчивость получившегося племенного типа как показатель «силы» народа<sup>52</sup>.

Большое значение придавалось «способности» этноса (группы) к государствообразованию и «склонности» к определенным политическим формам, которые складываются, как представлялось, на раннем этапе этногенеза. В этом контексте актуализировались как зависящие от географических условий особенности темперамента, так и свойства нрава (волевые импульсы, «способности», «устойчивость» к чужеземному влиянию или правлению). «Неспособными» к государствообразованию считались, в частности, финские народы. Д. И. Иловайский обосновывал концепцию, согласно которой «способность к политической организации, к общественной дисциплине составляет главное условие, чтобы быть народом государственным и потом уже народом культурным; ибо история не знает культурных народов вне государственных форм»<sup>53</sup>.

Итак, термин «нрав народа» на протяжении века отчетливо эволюционирует, из категории классификации превращаясь в нормативное понятие, причем его содержание подвергается уточнению в связи с реф-

---

<sup>52</sup> В частности, см.: *Редров*. 1867. С. XIII–XIV. Эта же идея содержится в помещенном здесь отдельной статьей выступлении С. М. Соловьева на Этнографической выставке 1867 г. в Москве (Там же. С. XXII–XXXIII).

<sup>53</sup> *Иловайский*. 1879. С. 174.

лексией по поводу степени объективности различных психических качеств этноса. Обоснованность понятия национальный нрав / характер не ставится под сомнение, но сопровождается размышлениями о двойственности его содержания и возможности различных – часто противоречащих друг другу – трактовок отдельных этнических свойств. При этом концепт «национальный характер» по-прежнему демонстрирует свою особую значимость, в т.ч. в идеологической и просветительской области.

Определение черт национального характера – даже в научном описании – представлялось в то время простой операцией: достаточно было привести мнения путешественников, исследователей, беллетристов. Главной процедурой стало внешнее наблюдение, поскольку этнография формировалась в поле географических дисциплин и человеческие сообщества рассматривались как результат воздействия естественно-географических факторов. Своеобразие этнических групп понималось в комплексе отличительных особенностей региона или ландшафта (вплоть до конца столетия), и потому к их изучению применялись те же методы, что и в естественных науках, с доминированием *описания* и *классификации* как главных таксономических процедур, реализуемых на основании перечня признаков и качеств объекта.

Еще одним важным принципом стало представление о соответствии внешних черт внутренним свойствам, что позволяло с легкостью «предугадывать» и даже прогнозировать ряд качеств на основании одного известного. Наконец, создается некоторая типология национальных характеров (характерология), в основе которой лежит идея взаимосвязи вида деятельности и складывающегося в ходе истории комплекса черт (земледельцы — в благоприятном климате и в неблагоприятных природных условиях, кочевники, мореплаватели, «горцы» и другие).

Славянские народы рассматривались как мирные пахари, которым изначально были присущи такие качества как трудолюбие, смирение, гостеприимство, консерватизм. Однако с ростом значимости исторического фактора складывается убеждение, что экономические и социальные изменения со временем внесли некоторые коррективы в этот изначальный тип: например, сербы и малорусы сохранили его в полной мере, а великорусы обрели «практицизм» и склонность к предпринимательству, присущую также татарам и армянам. Особое место в перечне свойств характера занимали нравственные качества (например, честность), наличие или отсутствие которых также вписано было в своеобразную «таблицу классификации», реконструируемую сегодня с использованием методов текстологического и терминологического анализа.

В период господства эволюционистских теорий в этнографии нрав как этнический признак, а точнее, его составляющие служили важным инструментом определения стадии развития этнической группы и наоборот. Эта взаимозависимость облегчала этническую, стадияльную и цивилизационную идентификацию: некоторые добродетели или пороки считались неотъемлемым свойством этапа «варварства», а фиксация какого-либо признака «патриархальности» приводила к обнаружению соответствующих свойств нрава. Противоречия в содержании ключевых понятий и способах использования привели к тому, что ученые, анализирувавшие собранный материал вместе с теоретиками-этнографами попытались освободиться от описаний качеств нрава как недостаточно репрезентативных. Свои рецепты предлагали сторонники эволюционизма в этнографии и позитивизма в истории. Однако ни те, ни другие не отвергали концепцию характера как воплощения духовного своеобразия народа, обоснованную Н. И. Надеждиным. Только введение термина «национальное самосознание» могло разрешить ряд противоречий, но для этого необходимо было (как предлагали А. Л. Погодин и В. Д. Спасович) обратиться к представлениям самого объекта этнографического исследования, то есть к его самоидентификации.

В конце XIX в. складывается несколько важных тенденций: 1) бóльшим значением для процесса формирования этнического характера наделяются исторические условия; ставится под сомнение возможность объективного его изучения; 2) центральным звеном в определении «духовной культуры» становятся фиксируемые визуально умственные, нравственные качества, темперамент (нрав), нормы коммуникации.

Неясность формулировок, отождествление характера и темперамента, нерасчлененность свойств интеллекта и «психических особенностей» способствовали произвольному обнаружению этих качеств в исследуемом этническом объекте. Не только научные, но и, тем более, обыденные взгляды на этническое включали убежденность в объективно существующих отличиях в характере народов, поэтому стремление увидеть их при первом же знакомстве с культурой и жизнью Других легко реализовывалось. То, что в путевых заметках могло быть воспринято как первое впечатление или результат размышлений автора, в этнографических описаниях приобретало статус научного знания. Апологизация «научности», впрочем, была характерной и универсальной приметой времени, и обладала значительным потенциалом «долговечности»<sup>54</sup>.

---

<sup>54</sup> *Соколовский. 1993. С. 9.*

## БИБЛИОГРАФИЯ

- Анучин Д. Н.* Япония и японцы. Географический, антропологический и этнографический очерк. М., 1907.
- Байбурун А. К.* Некоторые вопросы этнографического изучения поведения // Этнические стереотипы поведения. Л.: Наука, 1985. С. 7–18.
- Болтин И. Н.* Примечания на Историю древняя и нынешняя России г. Леккерка, сочиненная генерал-майором Иваном Болтиным. В 2-х тт. СПб., 1788. Т. 1.
- Будилова Е. А.* Социально-психологические проблемы в русской науке. М.: Наука, 1983.
- Булгарин Ф.* Введение // *Иванов Н. А., Булгарин Ф. В.* Россия в историческом, географическом и литературном отношении. Ручная книга для русских всех сословий Ф. Булгарина. В 6-ти ч. Ч. 1: Истории часть первая. СПб., 1837. С. XII–XVIII.
- Вульф Л.* Изобретая Восточную Европу. М., НЛЮ, 2003.
- Даль В. И.* Словарь живаго великорусскаго языка. В 4-х тт. СПб.–М., 1880–1882.
- Ешевский С. В.* О значении рас в истории (1862) // Русская расовая теория до 1917 года. Сборник оригинальных работ русских классиков / Под ред. В. Б. Авдеева. В 2-х вып. Вып. 1. М., 2004. С. 55–109.
- Заседание 28 октября 1894 г. // Русское антропологическое общество при Санкт-Петербургском университете. Протоколы заседаний 1893–1894 гг. СПб, 1895. С. 43–53.
- Иловайский Д. И.* о некоторых этнографических наблюдениях (по вопросу о происхождении государственного быта) // Антропологическая выставка 1879 года. Т. 3. Ч. 1. Пятое заседание ОЛЕАЭ от 11 апреля 1879 г.
- Кареев Н. И.* Основные вопросы философии истории. В 2-х тт. М., 1883.
- Кареев Н. И.* Расы и национальности с психологической точки зрения. Воронеж, 1876. Карманный словарь иностранных слов / Сост. Н. Гавкин. Киев, Харьков, 1894.
- Ключевский В. О.* Курс русской истории. Часть первая. Лекция I // *Ключевский В. О.* Собр. соч. В 9-ти тт. М., 1987–1990. Т. I. М., 1987. С. 33–48.
- Ключевский В. О.* Курс русской истории. Часть первая. Лекция XVII // *Ключевский В. О.* Собр. соч. Т. I. С. 295–317.
- Костомаров Н. И.* Последние годы Речи Посполитой. Т. I // Исторические монографии и исследования Н. Костомарова. В 20 тт. СПб., 1863–1889. Т. 17. СПб., 1886.
- Кулишер М. И.* Очерки сравнительной этнографии и культуры. СПб., 1887.
- Лескинен М. В.* Поляки и финны в российской науке второй половины XIX в.: «Другой» сквозь призму идентичности. М., Индрик, 2010.
- Михельсон А. Д.* 30.000 иностранных слов вошедших в употреблении в русский язык с объяснением их корней. М., 1872.
- Михельсон А. Д.* Объяснение всех иностранных слов (более 50.000), вошедших в употребление в русский язык с объяснениями их корней. Изд. 7-ое. В 2-х тт. М., 1877.
- Мостовский М.* Этнографические очерки России. М., 1874. С. 5–6.
- Надеждин Н. И.* Об этнографическом изучении народности русской // Записки Русского географического Общества. 1847. Кн. 2. С. 61–115.
- Настольный словарь для справок по всем отраслям знания (Справочный энциклопедический лексикон). В 3-х тт. СПб., 1863–1866.

- Новый словотолкователь 43.000 иностранных слов, вошедших в русский язык. Необходимая настольная книга для всех сословий. М., 1878.
- Оссовская М.* Рыцарский этос и его разновидности // *Оссовская М.* Рыцарь и буржуа. Исследования по истории морали. М., Прогресс, 1987. С. 25–176.
- Погодин А. Л.* К вопросу о национальных особенностях // *Погодин А. Л.* Сборник статей по археологии и этнографии. СПб., 1902. С. 87–99.
- Программа для собирания сведений по этнографии. Императорское русское географическое общество // *Живая старина*. 1890. № 1. Раздел II. С. XLVII–LII.
- Программа для этнографического описания губерний Киевского учебного округа, составленная по поручению Комиссии, высочайше утвержденная при Университете святого Владимира, действительными членами Князем В. Д. Дабичею и (по языку) А. А. Метлинским. Киев, 1854.
- Протокол второго заседания Этнографического отдела при ОЛЕАЭ от 20 апреля 1868 г. // *Московский университетский вестник*. 1868. № 8. С. 726–736.
- Рабинович М. Г.* Ответы на программу Русского Географического Общества как источник для изучения этнографии города // *Очерки истории русской этнографии, фольклористики и антропологии*. Вып. V. Л., Наука, 1971. С. 36–61.
- Речь, сказанная господином С. Соловьевым по случаю этнографической выставки в Москве // *Руководство к изучению русской земли и ее народонаселения*. По лекциям М. Владимирского–Буданова сост. и издал преподаватель гимназии во Владимирской киевской военной гимназии А. Редров. Киев, 1867. С. XXII–XXXIII.
- Руководство к изучению русской земли и ее народонаселения*. По лекциям М. Владимирского–Буданова сост. и издал преподаватель гимназии во Владимирской киевской военной гимназии А. Редров. Киев, 1867.
- Рыбаков С. Е.* Философия этноса. М., 2001. *Соловьев С. М.* Наблюдения над исторической жизнью народов // *Соловьев С. М.* Наблюдения над исторической жизнью народов. М., 2004. С. 3–254.
- Соколовский С. В.* Этнографические исследования: идеал и действительность // *Этнографическое обозрение*. 1993. № 2. С. 3–13.
- Справочный энциклопедический словарь*, издающийся под ред. А. Старчевского. В 12–ти тт. (13–ти кн.). СПб., 1847–1855.
- Учебная книга географии*. Российская империя. Курс гимназический / Сост. Е. А. Лебедев. СПб., 1873.
- Хвостов В. М.* Общая теория права. Элементарный очерк. М., 1905.
- Часть этнографическая (*Надеждин Н. И.*) // *Свод инструкций для Камчатской экспедиции, предпринимаемой Императорским Российским Географическим Обществом*. СПб., 1852. С. 17–30.
- Шенк Б.* Ментальные карты. Конструирование географического пространства в Европе со времени эпохи Просвещения // *Новое литературное обозрение*. 2001. №6(52). С. 42–61.
- Щапов А. П.* Естественно-психологические условия умственного и социального развития русского народа // *Отечественные записки*. 1870. № 3. Отд. 1. С. 149–202.
- Лескинен Мария Войттовна* – кандидат исторических наук, доцент, старший научный сотрудник Отдела истории культуры славянских народов Института славяноведения РАН; marles70@mail.ru

*Н. Н. Родигина*

## РЕПРЕЗЕНТАЦИЯ ЛИТЕРАТУРНЫХ ПУТЕШЕСТВИЙ В СИБИРЬ

В РУССКИХ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИХ ЖУРНАЛАХ  
ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XIX ВЕКА<sup>1</sup>

---

Статья посвящена изучению роли общественно-политических ежемесячников в популяризации литературного «освоения» Сибири и характеристике содержания географических образов путешествий в регион на страницах «толстых» журналов.

**Ключевые слова:** литературные путешествия, «толстые» журналы, географические образы, образы путешествий.

---

Один из теоретиков гуманитарной географии Д. Н. Замятин, размышляя о роли литературы путешествий в формировании географических образов, заметил: «Русская литература уже по своему происхождению, *ad hoc*, принадлежит путешествиям; роль путешествий в формировании русской литературы переоценить невозможно. Во многом посредством литературных произведений (и текстов, ставших таковыми) Россия осознала и осмысляла свои огромные и слабо освоенные пространства. Можно сказать, что русская литература развивалась на ходу, трясясь в карете, в тарантасе, на телеге, по пыльным проселкам и широким трактам. Отсюда несомненная важность для ее понимания путевых заметок, писем, очерков, дневников и публицистики»<sup>2</sup>. Данное наблюдение можно экстраполировать на процесс литературного освоения/присвоения Сибири, включения ее как «своей» территории в коммуникативное пространство русских интеллектуалов. Путевые очерки и заметки о Сибири, мемуары и отчеты о путешествиях в восточные окраины расширяли представления жителей «внутренней России» о чужой и малоизвестной территории, населенной «другими/чужими» народами, формировали узнаваемые образы территорий и населения

---

<sup>1</sup> Исследование выполнено при поддержке РГНФ в рамках проекта «Тема Сибири в русской журнальной прессе второй половины XIX – начала XX в.: аннотированный библиографический указатель» (грант № 10-01-00445а).

<sup>2</sup> *Замятин*. 2004. С. 26.

«азиатских владений» Российской империи, вписывали «новые земли» в ментальные карты образованных россиян.

Большую роль в процессе коллективного «познания» Сибири играли «толстые» журналы, являвшиеся одним из основных источников формирования, структурирования и трансляции общественного мнения во второй половине XIX в. Именно они публиковали на своих страницах литературу путешествий, осуществляли финансовую поддержку известных писателей, отправлявшихся в Сибирь «за новыми темами и впечатлениями», информировали читающую публику о результатах таких «литературных экспедиций».

Изучение репрезентаций литературных путешествий в Сибирь (и по Сибири) в общественно-политических журналах второй половины XIX в. позволит судить о влиянии путешествий на представления о регионе, уточнить этапы эволюции и факторы формирования образа Сибири, выявить причины «моды на Сибирь» у русских интеллектуалов. Обращение к названной теме поможет расширить представление о структуре и содержании сибирского гипертекста русской культуры, определить роль журналов в процессе его формирования.

Наша задача — раскрыть роль общественно-политических ежечасников в популяризации идеи литературных путешествий в Сибирь, охарактеризовать содержание географических образов путешествий в регион, репрезентировавшихся со страниц «толстых» журналов.

Под литературными путешествиями, вслед за В. М. Гуминским, понимается «жанр, в основе которого лежит описание путешественником (очевидцем) достоверных сведений о каких-либо, в первую очередь, незнакомых читателю или малоизвестных странах, землях, народах в форме заметок, записок, дневников, журналов, очерков, мемуаров»<sup>3</sup>. Представляется важным, что помимо познавательных, путешествие может ставить дополнительные — эстетические, политические, публицистические и другие задачи. Продуктивными, с точки зрения замысла данной статьи, являются наблюдения филологов В. А. Шачковой, М. Г. Шадринной, Е. А. Стеценко о принципе жанровой свободы, характерной для разных уровней текстов литературы путешествий; об отсутствии строгих литературных условностей и жанровых канонов, о необязательности структурированной фабулы в текстах этого жанра; утрированной «фактичности» повествования; о сильном воздействии на литературное пу-

---

<sup>3</sup> Гуминский. 1987. С. 314.

тешестве запросов аудитории, внелитературных обстоятельств<sup>4</sup>. На мой взгляд, «толстые» журналы путем публикации литературы путешествий, с одной стороны, формировали каноны жанра, способствовали его популяризации, с другой, помещая рецензии на такую литературу, информировали о реакции литературно-социализированной аудитории и профессиональных критиков на конкретные произведения.

В 1850–70-е гг. редакции общественно-политических ежемесячников исходили из слабой информированности своих читателей о регионе, описывали его как экзотические и малоизвестные страны. При этом чаще всего с Сибирью соотносился концепт «страна» и повторяющиеся слова-репрезентанты «отдаленная страна», «далекие страны Сибири», «страна, сравнительно богатая от природы», «страна изгнания и забвения», «холодная, мрачная пустыня». Анализ разножанровых публикаций о регионе позволяет распространить на них наблюдения В. И. Тюпы, сделанные на материале русской классической литературы, о том, что хронотопический образ Сибири интерпретировался как образ страны холода (зимы), ночи (луны), т.е. смерти в мифологическом ее понимании. Раскрывая содержательные характеристики «сибирского текста русской культуры», Тюпа акцентировал внимание на том, что «уникальное взаимоналожение геополитических, культурно-исторических и природных факторов привело к мифологизации Сибири как края лиминальной полусмерти, открывающей проблематичную возможность личного возрождения в новом качестве и соответствующего обновления жизни»<sup>5</sup>.

Наряду с этим, регион осмысливался как нечто отдельное, отличное от «своей» Европейской России, даже когда описывался людьми, долгое время прожившими в крае. С позиций европоцентричного просветительства Сибирь для «встраивания» ее в коммуникативное пространство империи нуждалась в научном изучении и литературном описании. В первые десятилетия издания «Русского вестника», «Вестника Европы» знакомство читателей с малоизвестным, окутанным мифологемами, а потому особенно притягательным регионом происходило в том числе и посредством публикации мемуаров и путевых очерков. Например, из 191 выявленного нами текста о Сибири в «Русском вестнике» с 1856 по 1904 гг., 21 составляют мемуары, путевые очерки, письма о добровольных или вынужденных путешествиях по восточным губерниям. При этом большая их часть (16) приходится на период с 1856 по 1887 гг.

---

<sup>4</sup> Шачкова. С. 277-281; Шадрина. 2003; Стеценко. 2003.

<sup>5</sup> Тюпа. 2002. С. 28.



Большой резонанс, как среди современников, так и у исследователей-потомков вызвали знаменитые мемуары Ф. Ф. Вигеля, представляющие собой целостное, хронологически последовательное мемуарно-автобиографическое повествование<sup>6</sup>. Блестяще образованный, ироничный, хорошо информированный, не лишенный литературного дара мемуарист посвятил Сибири пятую главу своих воспоминаний. Упреждая ожидания потенциальных читателей от человека, бравшегося за описание неизвестной зауральской стороны, мемуарист писал: «Не должно ожидать от меня того, что требуется от других путешественников, ученых или литераторов. Любопытных открытий по части естественной, глубоких наблюдений по части нравственной и политической, я делать не мог: если какой-нибудь странный обычай возбуждал мое внимание, если величие новой для меня природы поражало меня, то произведенными во мне ощущениями, сколько могу, готов поделиться с читателем, но много обещать не смею»<sup>7</sup>. Несмотря на это предупреждение, в мемуарах Вигеля мы встречаем тонкие наблюдения о городах, людях, природе Сибири начала XIX в., позволяющие выяснить, какие реалии повседневной жизни отдаленной провинции приковывали внимание «другого», какие эмоции они порождали. Здесь мы рассмотрим мемуары Вигеля как источник изучения культурно-географических образов.

Метафоричная речь рассказчика представляет достаточно типичный набор образов региона. Сибирь, которую, «если Бог милостлив, никогда не увижу», представлялась как *место чиновничьего всевластия*, особенно ярко проявившегося в губернаторство И. Б. Пестеля, имя которого Вигелю напоминало моровую язву, а сам губернатор назван «продолжительным бедствием Сибири». Актуализируя в сознании младших современников *образ края как неожиданно доставшейся государству ресурсной кладовой*, Вигель так описывал отношение России к региону: «Беспечная Россия всегда смотрела на Сибирь как богатая барыня на дальнее поместье, случайно ей доставшееся, куда она никогда не заглядывала, управление коего совершенно вверено приказчикам, более или менее честным, более или менее искусным. Поместье всегда исправно платит оброк золотом, серебром, железом, мехами: ей только и надобно; о нравственном и политическом состоянии его она мало заботится; крестьяне, ходя на промысел и подвигаясь все вперед, наткнулись на транзитную китайскую торговлю, тем лучше, и им прибыль, и госпоже»<sup>8</sup>.

---

<sup>6</sup> Тартаковский. 1991. С. 156.

<sup>7</sup> [Вигель]. 1864. С. 98.

<sup>8</sup> Там же. С. 162-163.

Другая метафора – «медведь, сидящий у России на привязи», – опередмечивается не только через описание несамостоятельного положения различных социальных страт сибирского населения, но и констатацией невозможности Сибири отделиться от России: «Она так велика, так бедна жителями, сообщения между ними так затруднительны, что всякая попытка будет неудачна». Стратегическое значение региона для Российской империи – неизрасходованный запас «беспредельных, необработанных пустошей», который в случае нужды может быть использован для увеличивающегося населения «коренной» России. Итак, Сибирь, по мнению проницательного чиновника, *резервный земельный фонд*, за счет освоения которого «Россия будет все расти, а Сибирь укорачиваться»<sup>9</sup>.

Среди авторов путевых очерков о Сибири, публиковавшихся в «толстых» журналах 1850–1870-х гг., встречаем, как правило, не профессиональных литераторов, а исследователей и путешественников (П. А. Кропоткин, Д. И. Романов, А. В. Вышеславцев, Г. Н. Потанин), офицеров (И. Мевес) и жен офицеров (Ю. Г. Завойко) и чиновников, дочерей золотопромышленников (Л. В. Аксенова), что свидетельствует о популярности жанра и об актуальности темы Сибири<sup>10</sup>.

Рассказы «от первого лица» о необычной природе и ландшафтах Сибири, как правило, сравниваемой с известными читателям европейской части страны окрестностями «средней полосы»; повествование о тяжелых путевых условиях, компенсирующихся, тем не менее, сильными впечатлениями от «новых мест»; описание нетривиальных для повседневности поступков путешественников или мемуаристов, с одной стороны, отражали, а с другой – создавали в общественном мнении романтизированный образ региона, в котором есть шанс проявить свои лучшие человеческие качества и принести славу отечеству, где есть место для открытий и отваги. Публикации общественно-политических ежемесячников 1850–1870-х гг. номинировали регион и как территорию, дающую возможность для повышения своего социального статуса, дарящую иллюзии о легкости улучшения своего материального благосостояния, побуждающую искателей приключений к авантурным поступкам. Как влияли такие представления на поведенческие стратегии, а порой и биографии современников, свидетельствует следующий фрагмент автобиографических заметок, опубликованных в «Русском вестнике» автором, подписавшимся «К. Золотилов»: «Есть убеждение, что Си-

<sup>9</sup> Там же. С. 163-164.

<sup>10</sup> Романов. 1856. С. 117-128; Кропоткин. 1865. С. 663-681; Мевес. 1863; Аксенова. С. 735-768; О. 1871. С. 580-661 и др.

бирь, хотя страна и холодная, но зато богатая, что это наше русское Эльдорадо, где смелого искателя ждет и счастье, и богатство. Поддавшись этому обольстительному убеждению, я полетел туда искать счастья и для первого дебюта поступил доверенным на службу в одну золотопромышленную компанию, не имея ни малейшего понятия ни о сибирской жизни, ни о людях, с которыми приходилось мне иметь дело, ни о золотопромышленности, к которой предназначал себя»<sup>11</sup>.

О популярности литературных путешествий у читательской аудитории «толстых» журналов свидетельствует и факт обращения сибиряков к этому жанру для знакомства читающей публики со своей родиной. Например, о достопримечательностях своей губернии *так* писал тобольский губернский заседатель К. Г. Губарев, *так* информировал подписчиков журнала «Современник» о Туруханском крае енисейский окружной начальник, этнограф А. А. Мордвинов<sup>12</sup> и др. Известные публицисты, идеологи сибирского областничества, активно писали о нуждах региона в «Современнике» и «Деле» именно в этом жанре<sup>13</sup>.

С 1860-х гг. журналы освещали результаты литературных экспедиций в регион и сами принимали участие в их организации. Сибирь постепенно становится местом паломничества профессиональных литераторов, местом культовым для русской литературы путешествий.

Практика литературных экспедиций в изучаемый нами период берет начало с известной экспедиции, организованной в 1855 г. морским ведомством по инициативе великого князя Константина Николаевича для исследования быта жителей Архангельской, Астраханской, Оренбургской губерний, занимавшихся рыболовным промыслом. Результатом экспедиции должны были стать литературные очерки, предназначавшиеся для публикации в «Морском сборнике». В качестве экспертов были привлечены А. Ф. Писемский, С. В. Максимов, А. А. Потехин, А. Н. Островский. Образцом жанра послужили очерки И. А. Гончарова, составившие впоследствии цикл «Фрегат Паллада». Заметим, что путевые очерки Гончарова не только актуализировали тему Сибири в сознании читающей России, но и стали своеобразным литературным канонем для участников последующих экспедиций на восток империи.

Впоследствии практика организации литературных экспедиций стала обыденной. Уже упомянутый мною участник первой литературной экспедиции, писатель и этнограф С. В. Максимов по поручению велико-

---

<sup>11</sup> Золотилов. 1863. С. 313.

<sup>12</sup> Губарев. 1863. С. 353-388; Мордвинов. 1860. С. 373-432 и др.

<sup>13</sup> См.: Семилуженский [Яринцев]. 1868. С. 72-110; Потанин. 1859 и др.

го князя был отправлен для исследования только присоединенного к России Амурского края. Государственный интерес был дополнен личным исследовательским интересом Максимова, который получил дополнительное разрешение посетить рудники и остроги для ознакомления с бытом заключенных и ссыльнокаторжных. Мотивированное обращение к теме каторги являлось проявлением увлеченности писателя темой «общности людей в разнообразных социально-бытовых ситуациях». Это объясняет авторский интерес к артельности каторжного населения. Результатом поездки стал цикл очерков, опубликованных в «Морском сборнике», «Отечественных записках», «Вестнике Европы». В 1864 г. они были изданы под общим названием «На Востоке, поездка на Амур в 1860–61 гг. Дорожные заметки и воспоминания». Широко известно, что они стали одним из литературных источников произведений М. Е. Салтыкова-Щедрина, Н. А. Некрасова, Л. Н. Толстого, А. П. Чехова. Примечательно, что научная общественность восприняла художественный текст как юридическое обоснование необходимости реформирования сибирской ссылки. К примеру, криминалист И. Я. Фойницкий всерьез критиковал Максимова за недостаточный анализ государственно-правовых актов, детерминировавших законодательное регулирование ссылки в регион<sup>14</sup>. Таким образом, в сознании современников материалы литературных экспедиций оценивались не столько с позиции их художественно-эстетической ценности, сколько с точки зрения их научного и практического значения. Они соотносились не только с художественным, но и научным дискурсом о Сибири.

Экспедиция Максимова была наглядным воплощением идеи «научного завоевания» новых территорий, характерной для имперской географии власти. Однако помимо сбора научных сведений о природно-климатических характеристиках, экономических и оборонных ресурсах, образе жизни населения имперских окраин, власть привлекала литераторов для формирования их художественных образов. Учитывая литературоцентричность русского общества второй половины XIX в., она использовала потенциал «путешествий» для включения «далекой», «чужой», «другой» Сибири в ментальное пространство «своей» России.

В 1880–1890-е гг. литературные экспедиции в Сибирь предпринимались уже по инициативе самих писателей, как правило, при финансовой поддержке ведущих периодических изданий. Стремление участвовать в «литературном освоении» восточных окраин было связано с

---

<sup>14</sup> Фойницкий. 1874. С. 124.

изменением статуса региона не только в геополитических стратегиях власти, но и в интеллектуальном коммуникативном пространстве империи. Можно назвать следующие причины актуальности «сибирской темы» в русской общественной мысли: *социально-экономические* (строительство Транссибирской железной дороги, массовое переселенческое движение в регион, ускорение его хозяйственного развития и др.); *социокультурные* (рост регионального самосознания сибирской интеллигенции, активная литературная деятельность политических ссыльных и областников); *общественно-политические* (борьба за распространение на регион либеральных реформ, отмену ссылки) и т.д.

Определенную роль играло стремление открыть читающей России зауральскую *terra incognita*. Заметим, что стереотипное представление о «неизвестной Сибири» бытовало в русской прессе на протяжении всей второй половины XIX в., вне зависимости от реальной степени информированности русского общества о регионе, и было, по сути, общепризнанным аргументом, подтверждающим актуальность «сибирской темы» в журналистике и в художественной литературе. Несмотря на то, что начиная с 1880-х гг. ежемесячники различной политической ориентации регулярно помещали на своих страницах публицистические статьи, информационные сообщения, литературные произведения, рецензии на книги о Сибири, большинство авторов, писавших о регионе, обращали внимание на скудость и неточность представлений читающей России о зауральских окраинах. Сошлось на два типичных в этом смысле свидетельства. В 1883 г. на страницах «Русской мысли» И. Левитов, после путешествия из Москвы до Томска, констатировал: «Боязнь и трепет пред Сибирью, которые многие питают к ней, лишены... смысла. Это объясняется только абсолютным незнанием Сибири и теми ложными сведениями, которые вкоренены у нас с детства»<sup>15</sup>. Почти десять лет спустя историк А. А. Корнилов, заведовавший тогда крестьянским и переселенческим делом в Иркутской губернии, замечал: «Едва ли есть на свете страна, сведения о которой в публике были бы так же сбивчивы и недостоверны, как сведения о Сибири. Можно биться об заклад, что из десятка лиц, приступающих к чтению настоящего очерка, девять не имеют об этой обширной окраине никаких определенных сведений, а только некоторые общие, крайне сбивчивые представления: для одних Сибирь страна морозов и тундр, для других – непроходимый девственный лес, изобилующий хищными зверями и дикарями, для третьих – страна

---

<sup>15</sup> Левитов. 1883. С. 3.

ссылных и бродяг, где убийства, грабежи и т.п. составляют обычный порядок вещей, для четвертых – «золотое дно», открывающее обширный простор для всевозможных видов наживы и т.д.»<sup>16</sup>.

Однако желание узнать «эту чертову яму», «мрачную и холодную» Сибирь (Г. И. Успенский) было связано не столько с противоречивой литературной репутацией региона, сколько с идентификационными исканиями русских писателей. Одним из ключевых мотивов экспедиций писателей-реалистов было желание познать «Россию в Сибири» — месте, наиболее ярко воплощавшем «язвы» и беды русской жизни; понять и описать мужика в экстремальных условиях, в драматичные, переломные моменты его жизни; увидеть своими глазами такого русского мужика, который не знал крепостного права. В этом смысле примечательны и в определенной степени типичны рассуждения Успенского: «... смотрел на эту закованную толпу: всё знакомые лица, и мужики, и господа, и воры, и политические, и бабы, и все-все наше, из нутра русской земли... все это валило в Сибирь из этой России. И меня так потянуло вслед за ними, как никогда в жизни не тянуло ни в Париж, ни на Кавказ, ни в какие бы то ни было места, где виды хороши, а нравы еще того превосходней. Ведь эти люди — отборный продукт тех русских условий жизни, той путаницы, тоски, мертвечины, трусости или отчаянной смелости, среди которых живем мы, не сосланные, томимся, скучаем, мучаемся, пьем чай с вареньем от скуки, врем и лжем, и опять мучаемся...»<sup>17</sup>. Как известно, литературная экспедиция в Сибирь Успенского для ознакомления с состоянием переселенческого дела продолжалась с мая по август 1888 г. Ее основным результатом стали очерки, впоследствии вошедшие в цикл «Поездки к переселенцам»<sup>18</sup>. Не менее важны были встречи авторитетного «бытописателя внутренней России» с политическими ссылными, представителями сибирской интеллигенции, способствовавшие включению провинциалов в имперское интеллектуальное пространство.

Не без влияния поездки Успенского родилась идея экспедиции в Сибирь одного из учредителей «Общества вспомоществования нуждающимся переселенцам» экономиста А. А. Исаева. Несмотря на то, что целью был сбор информации (в первую очередь, статистической) о социально-экономическом положении переселенцев, об организации помощи мигрантам в сибирских губерниях, одним из результатов поездки,

---

<sup>16</sup> А. А. К. [Корнилов]. 1892. С. 40.

<sup>17</sup> Успенский. (1884 г.). 1951. Т. 13. С. 378.

<sup>18</sup> Успенский. 1891. С. 202-220.

в соответствии с традициями эпохи, стали путевые записки «От Урала до Томска», опубликованные в 1891 г. «Вестником Европы».

Самой знаменитой литературной экспедицией на восток империи можно считать поездку А. П. Чехова на Сахалин в 1890 г. Учитывая, что все ее обстоятельства давно и подробно изучены литературоведами, остановимся на констатации ее причин. В их числе чеховеды называли необходимость обогащения новым жизненным материалом, расширения сферы творческого опыта, акцентировали внимание на отсутствии видимого практического смысла у этого трудного и опасного для больного писателя путешествия, указывали на серьезность подготовительной исследовательской работы, проделанной Чеховым перед поездкой в Сибирь. Достаточно емко мотивы своей поездки сформулировал сам писатель в письме к Суворину 9 марта 1890 г.: «Еду я совершенно уверенный, что моя поездка не даст ценного вклада ни в литературу, ни в науку: не хватит на это ни знаний, ни времени, ни претензий... Быть может, я не сумею ничего написать, но все-таки поездка не теряет для меня сильного аромата: читая, глядя по сторонам и слушая, я многое узнаю и выучу». Итогом поездки стали циклы очерков «Из Сибири» и «Остров Сахалин»<sup>19</sup> и... новый этап литературного паломничества в Сибирь. По совету Чехова в Сибирь за «литературным материалом» отправился начинающий писатель Н. Д. Телешов, «открывать свой Сахалин» поехал «король фельетона» В. Дорошевич.

«Голстые» журналы репрезентировали читающей публике не только образы региона, сконструированные в процессе добровольных путешествий по восточным губерниям, но и знакомили читателей с восприятием региона политическими ссыльными<sup>20</sup>. Именно на страницах общественно-политических ежемесячников публиковали свои путевые очерки К. М. Станюкович, В. А. Обручев, В. Г. Богораз (Тан)<sup>21</sup> и др.

Содержательный анализ художественных текстов, написанных по результатам литературных путешествий в Сибирь, позволяет утверждать, что писатели, в основном, транслировали те образы региона, которые бытовали в сознании образованных россиян изучаемой эпохи и в значительной степени были сконструированы «толстыми» журналами. Так, все участники литературных путешествий тиражировали в своем

---

<sup>19</sup> Чехов. 1893.

<sup>20</sup> Более подробно о репрезентациях Сибири в литературном творчестве политических ссыльных см.: Родигина. 2006. С. 235–245.

<sup>21</sup> Нельмин [Станюкович]. 1886; Тан [Богораз]. 1896. С. 110–114; Обручев. 1907. С. 565–595 и др.

творчестве образ малоизвестной Сибири, *terra incognita*, ожидающей интеллектуальной экспансии, то есть изучения и описания учеными, писателями, журналистами, чиновниками, любознательными обывателями. Всеми литераторами поддерживался образ Сибири как отсталой в культурном смысле провинции, нуждавшейся в просвещении и приобщении к достижениям европейской цивилизации.

Общей для путевых очерков и других жанров литературы путешествий была актуализация образа Сибири как места чиновничьего произвола, «страны бесправия и бессудия». Если для С. В. Максимова он был «воспоминанием» о дореформенной России, то Г. И. Успенский и А. П. Чехов рассматривали этот образ как одну из ключевых характеристик региона в современном им социуме. Всеми литераторами тиражировался образ Сибири — *каторги, страны изгнания*. Употребление морбиальных метафор (болезни), метафор «свалки» («канализационная яма империи», «резервуар отбросов Европейской России», «клоака всероссийских подонков самого злокачественного свойства», «лечебница для душевнобольных» и т.д.) свидетельствует о консолидированной оценке негативного влияния уголовной и административной ссылки на социально-экономическое и культурное развитие Сибири.

*Образ далекой, холодной страны, населенной другими/чужими народами*, активно транслировавшийся учебной, справочной и художественной литературой первой половины XIX в., был представлен, главным образом, в творчестве С. В. Максимова.

В 1880–1890-е гг. под влиянием моды «на Сибирь», отражением и одновременно фактором популяризации которой были литературные путешествия, меняется семантическое поле топонима «Сибирь» и в лексиконе русских писателей. Во-первых, вместо распространенного обозначения «страна» все чаще начинает употребляться слово «окраина», фиксировавшее ее географическую удаленность от ядра государства, «внутренней» России. Симптоматично усиление приближенности Сибири к России при помощи местоимений «наша», «наши»: далекая наша окраина, наши дальние края, восточная наша окраина. Изменение семантики концепта «Сибирь» в литературе путешествий отразилось и в активном использовании метафор родства и соседства (Сибирь — *сестра, дочь России, близкая соседка*). Во-вторых, впечатляет обилие указаний на территориальную протяженность Сибирь, обширность, «привольность» края. Чаще всего прилагательные «великий», «обширный» употреблялись при описании аграрных миграций в регион и неосознанно противопоставлялись земельной «тесноте» «коренной» России. Ис-



пользование словосочетаний, указывающих на природные богатства края, в том числе и земельные ресурсы, свидетельствуют о стойкости стереотипа «Сибирь – ресурсная кладовая», «золотое дно». При этом современное им состояние края достаточно часто описывалось литераторами через метафоры «тупика», «застоя».

Однако при этом в путевых очерках доминировало представление о Сибири как «*другой России*». Если «внутренняя» Россия описывалась при помощи антропоморфной, космогонической, генетической символики, домашних метафор<sup>22</sup>, то образ Сибири запечатлевался главным образом через метафоры «свалки» и «болезни». Воплощением «инаковости» Сибири и ее населения в литературе пореформенной империи являлись выводы о социокультурном, этнографическом и антропологическом своеобразии населения региона, активно обсуждавшаяся тема «обынородчивания» русских переселенцев на восточных окраинах.

Основной результат литературных путешествий в Сибирь заключался в том, что властители дум пореформенных интеллектуалов, используя свой символический ресурс, создали канонические тексты о регионе, закрепили в сознании многих поколений читателей ранее существовавшие образные стереотипы Сибири. Литературные путешествия, результаты которых публиковались на страницах популярных периодических изданий, способствовали ментальной и интеллектуальной «колонизации» новых территорий. Репрезентации Сибири как «*другой*» России (виноватой / наказанной / вольной и т.д.) способствовали формированию национальной, мировоззренческой, социокультурной идентичностей образованных русских, стали основой для понимания особенностей своей родной, «внутренней» России.

#### БИБЛИОГРАФИЯ

- А. А. К. [Корнилов А. А.] Богатство и бедность Сибири // Мир божий. 1892. № 7. С. 40–67.
- Аксенова Л. Шесть месяцев в сибирской тайге // Русский вестник. 1880. №2. С. 735–768.
- [Вигель Ф. Ф.] Воспоминания Ф. Ф. Вигеля // Русский вестник. 1864. № 5. С. 98–164.
- Горизонтов Л. Е. Внутренняя Россия и ее символические воплощения // Российская империя: стратегии стабилизации и опыты обновления / Под ред. М. Д. Карпачева, М. Д. Долбилова, А. Ю. Минакова. Воронеж: Изд-во Воронежского гос. университета, 2004. С. 61–88.
- Гуминский В. М. Путешествие // Литературный энциклопедический словарь / Под общ. ред. В. М. Кожевникова, П. А. Николаева. М.: Советская энциклопедия, 1987. С. 314.

---

<sup>22</sup> Горизонтов. 2004. С. 61–88.

- Замятин Д. Н. Географические образы путешествий // Гуманитарная география. Альманах / Сост., отв. ред. Д. Н. Замятин и др. Вып. 1. М., 2004. С. 12–41.
- Золотилов К. Сибирская тайга // Русский вестник. 1863. № 2. С. 779–814.
- Кропоткин П. А. Поездка из Забайкалья на Амур через Манчжурию // Русский вестник. 1865. № 6. С. 663–681.
- Левитов И. От Москвы до Томска // Русская мысль. 1883. № 7. II отд. С. 1–30.
- Мевес И. Три года в Сибири и в Амурской стране // Отечественные записки. 1863. № 5–7.
- Мордвинов А. А. Записки о Туруханском крае // Современник. 1860. № 12. С. 373–432.
- Нельмин Л. [Станюкович К. М.] В далекие края // Русская мысль. 1886. №№ 1, 2, 4, 12.
- О. Поездка по китайской границе от Алтая до Тарбагатай // Русский вестник. 1871. № 6. С. 580–661.
- Обручев В. А. Из пережитого // Вестник Европы. 1907. № 5. С. 565–595.
- Потанин Г. Н. Полгода в Алтае // Русское слово. 1859. № 9–12.
- Родигина Н. Н. Мать или мачеха: образ Сибири у политических ссыльных второй половины XIX в. // Социальные конфликты в истории России. Омск: Изд-во ОмГПУ, 30 ноября 2006 г. Омск, 2006. С. 235–245.
- Романов Д. И. Поездка на прииск Лазоревго камня в окрестностях Байкала // Русский вестник. 1856. Ноябрь. Кн. 1. С. 117–128.
- Семилуженский [Ядринцев Н. М.] Письма о сибирской жизни // Дело. 1868. № 5. С. 72–110.
- Стеценко Е. А. История, написанная в пути... (Записки и книги путешествий в американской литературе XVII–XIX вв.). М.: Наследие, 2003. 312 с.
- Тартаковский А. Г. Русская мемуаристика XVIII– первой половины XIX в.: от рукописи к книге. М.: Наука, 1991. 286 с.
- Тюпа В. И. Мифологема Сибири: К вопросу о «сибирском тексте» русской литературы // Сибирский филологический журнал. 2002. № 1. С. 27–35.
- Тан Н. А. [Богораз В. Г.] Колымские мотивы. Из поездки по тундре // Русская мысль. 1896. № 3. С. 110–114.
- Успенский Г. И. Письма переселенцев: Заметки о текущей народной жизни // Русская мысль. 1891. № 1. С. 202–220.
- Успенский Г. И. Письмо Б. П. Летковой. 10 июля 1884 г. // Успенский Г. И. Полн. собр. соч. в 14 т. М., 1951. Т. 13.
- Фойницкий И. Я. Обзор произведений русской литературы по тюремному делу // Журнал гражданского права. 1874. № 3. С. 231–260.
- Чехов А. П. Остров Сахалин // Русская мысль. 1893. №№ 10–11; 1894. №№ 2–7.
- Шадрин М. Г. Эволюция языка «путешествий»: Дисс. ... д.филол.н. М., 2003. 396 с.
- Шачкова В. А. «Путешествие» как жанр художественной литературы: вопросы теории // Вестник Нижегородского университета им. Н. И. Лобачевского. 2008. № 3. Сер. Филология. Искусствоведение. С. 277–281.
- Родигина Наталья Николаевна**, доктор исторических наук, профессор кафедры отечественной истории Новосибирского государственного педагогического университета; [natrodigina@list.ru](mailto:natrodigina@list.ru).

О. А. КИРЬЯШ

## ПРАКТИКА ПУТЕШЕСТВИЯ КАК СПОСОБ ФОРМИРОВАНИЯ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ О ПРОСТРАНСТВЕ РУССКИМИ ИСТОРИКАМИ ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XIX ВЕКА

---

В статье по письмам, дневникам, воспоминаниям раскрываются особенности восприятия европейского пространства русскими историками второй половины XIX века. Анализируются цели, задачи и маршруты их заграничных путешествий.

*Ключевые слова:* пространство, образ Европы, русские историки.

---

В последнее время исследовательское сообщество значительное внимание уделяет процессу формирования, закрепления и репрезентации различных географических образов и интеллектуальных конструктов, которые выступают основой системы представлений исторической реальности. Одним из факторов конструирования образа территории являются путешествия, в бытовом смысле, «поездки куда-нибудь далеко за пределы родной местности, постоянного местопребывания»<sup>1</sup>.

В ходе путешествия происходит обострение идентичности путешественника в силу столкновения его с иными культурными моделями и поведенческими образцами:

«путешествие способствует созданию целенаправленных географических образов, в структуре которых доля физико- и экономико-географической информации, статистических сведений и т.д. меньше культурных, эмоциональных, психологических элементов и связей, что ведет к “выпуклости”, рельефности, усложненной морфологии образа местности, страны, региона, через которые лежит путь. Такая структура образа означает, что большинство путевых записок, описаний, дневников социально значимы не с точки зрения достоверности сообщаемых сведений и фактов (часто низкой), а с точки зрения силы продуцируемого по ходу путешествия образа». Путешествие – мощный инструмент (де)мифологизации незнакомого пространства. Чужое пространство постоянно «фрагментируется и расщепляется. Пространство становится “пазловым”»<sup>2</sup>. Эти пазлы образуют среду, сквозь которую пролегает маршрут путешественника.

Среди множества путешествий можно выделить путешествия с торговыми, политическими, познавательными и религиозными целями; с целью лечения или оздоровления и т.д. Для русских историков второй

---

<sup>1</sup> Толковый словарь...

<sup>2</sup> Замятин. Образы путешествий...; Замятин. 2003. С. 12.

половины XIX в. были приоритетны ознакомительные и образовательные путешествия, которые привели к новой маркировке исторического пространства, формированию их «ментальной карты». Мощное влияние на провинциалов оказывала уже имеющаяся «ментальная карта» столичного историка, в которой центральное место отводилось университету. Основные маршруты путешествий были связаны с научными центрами, «столицами» Западной Европы, которая обладала развитой системой университетского образования. Здесь преподавали ведущие профессора, формировалась европейская интеллектуальная среда.

Путешествия в Западную Европу предпринимались еще в конце XVIII в. Одним из первых русских историков, совершивших путешествие в Западную Европу, был Н. М. Карамзин. Результатом стало формирование представления о том, что Европейское пространство — не «идеологический конструкт, не мифологема, а географическая, историческая, политическая, экономическая реальность»<sup>3</sup>, которую необходимо изучать, исследовать и осмысливать. «Письма русского путешественника» открыли для России Европу как просвещенное пространство. Главной особенностью поездки Карамзина было то, что путешествие по Европе, по сути, заменило ему обучение в Университете. Поездка стала своеобразной альтернативой получения образования, так как она приводила к обогащению представлений о «другой» культуре, переживанию новых эмоций, впечатлений, появлению новых идей. Профессор Мориц из «Писем русского путешественника» провозгласил: «Ничего нет приятнее, как путешествовать... Все идеи, которые мы получаем из книг, можно назвать мертвыми в сравнении с идеями очевидца»<sup>4</sup>.

Заграничные путешествия историков продолжают и в XIX в., однако изменилась их цель. Стажировка за границей рассматривалась как необходимое условие для получения профессорского звания и дальнейшего преподавания в университете. Характер, направление и интенсивность путешествий на протяжении XIX в. были разными. Начиная с 1830-х гг. заграничные командировки выпускников университетов стали явлением распространенным, благодаря новой политике Министерства и деятельности попечителей учебных округов. Б. Н. Чичерин отмечал, что многие новшества в Московском университете были связаны с именем попечителя Московского учебного округа С. Г. Строганова:

При нем университет обновился свежими силами. Все старое, запоздалое, рутинное устранялось. Главное внимание просвещенного попечителя было уст-

---

<sup>3</sup> Сабурова. 2003. С. 12.

<sup>4</sup> Карамзин. 1980. С. 82.

ревлено на то, чтобы кафедры были замещены людьми с знанием и талантом <...> Он послал Грановского за границу, а Евгения Корша перевел библиотекарем в Москву. При нем вернулись из Германии посланные уже прежде Редкин, Крылов, Крюков, Чивилев, Иноземцев... Из-за границы молодые люди возвращались в Россию воодушевленные любовью к науке, полные сил и надежд<sup>5</sup>.

Период «мрачного семилетия» прервал налаживающие связи между русским и европейскими научными сообществами. В марте 1848 г. «в связи с революциями в Европе издано циркулярное предписание министра просвещения о приостановлении отпусков и командировок в чужие края по настоящим заграничным обстоятельствам»<sup>6</sup>. Практика заграничных путешествий была восстановлена Уставом 1863 г. Текст общего устава Императорских Российских университетов гласил:

Специальные средства университетов составляют их неотъемлемую собственность и предназначаются для таких по университетам расходов, кои имеют предметом преимущественно развитие их ученой деятельности Сообразно с сим специальные средства университетов употребляются: а) на учреждение специальных курсов; б) на напечатание с разрешения Совета сочинений ученого содержания, удостоенных к тому факультетами; в) на премии и награды за решение задач, предлагаемых от Университета <...> з) на ученые путешествия и командировки...

Главными причинами возвращения к практике заграничных стажировок было «решение кадрового вопроса в университетах и установление более тесной связи между русской и европейской наукой»<sup>8</sup>. Необходимость поездок за границу отмечал и А. Н. Пыпин:

Становилась очевидной громадная разница в нашем научном уровне и уровне европейском; было осознано, что для сколько-нибудь правильного изложения той или другой науки на университетской кафедре русский ученый не мог быть ограничен одними средствами нашего, так сказать домашнего обучения, что ему надо познакомиться с постановкой дела в главных очагах европейской науки<sup>9</sup>.

Первые русские исследователи были отправлены за границу уже в апреле 1862 года. Из 19 человек историко-филологического факультета, отправленных за границу в 1862–63 гг., подавляющее большинство составляли исследователи, занимающиеся вопросами всеобщей истории. Только представитель кафедры «русской истории» Н. П. Барсов приготовлялся в России, то есть заграничного путешествия не совершал.

Направляться за границу историки могли не только университетом, но и при содействии Министерства народного просвещения. Имен-

---

<sup>5</sup> Воспоминания... Т. 2. С. 30.

<sup>6</sup> Сборник...

<sup>7</sup> Общий устав...

<sup>8</sup> Трохимовский. 2007. С. 62.

<sup>9</sup> Пыпин. 1996. С. 167.

но при поддержке Министерства совершил в 1842 г. путешествие в Европу ординарный профессор М. П. Погодин; он не только поправлял здоровье, но и имел поручение «войти в сношения с Копенгагенским Обществом Изыскателей Древности»<sup>10</sup>. В феврале 1862 года профессор К. Д. Кавелин был командирован за границу для анализа организации высшего образования в Европе и консультаций по поводу составленного особой комиссией проекта университетского устава. В своих статьях и отчетах о путешествии в Журнале Министерства Народного Просвещения<sup>11</sup>, он подробно анализировал систему образования Германии и Франции, роль профессорского состава в учебном процессе и т. д. Кавелин пришел к выводу о превосходстве немецких университетов перед французскими в том, что касалось роли и значения профессоров.

Профессор существует в Германии не для того, чтобы оправдывать, защищать, поддерживать действующие в стране положение, устройство или господствующие убеждения — и это вводит нас ближе в его роль и призвание: немецкий профессор на кафедре не есть политическое лицо, политический деятель, ни в отрицательном, ни в положительном, ни в хорошем, ни в дурном смысле слова. Он орган науки, ее исследователь, толкователь; наукой и ее изложением ограничивается весь круг его деятельности на кафедре<sup>12</sup>.

Еще в первой половине XIX века начинает закладываться традиция отправления за границу историков, занимающихся вопросами всеобщей истории. Т. Н. Грановский в ходе своего заграничного путешествия в 1836–1839 гг. посетил Париж, Берлин, Прагу, Вену; П. Н. Кудрявцев побывал в Берлине, Гейдельберге, Париже. П. Г. Виноградов, совершал поездки в Германию, Италию, Англию, скандинавские страны.

Во второй половине века по замечанию А. Н. Пыпина «...поездки за границу для учения стали обыкновенным делом; подражание иноземным образцам становилось обыкновенным условием для приобретения каких-либо новых успехов в знании, искусстве, ремесле и прочем...»<sup>13</sup>. В 1862 г. В. И. Герье отправляется в командировку за границу с учебной целью. Первый семестр 1862 г. он провел в Берлине, где слушал лекции Моммзена, Ранке. Помимо Берлина Герье посетил Гейдельберг, Рим, Неаполь и Бонн. Д. А. Цыганков отмечает: «Берлин оставил у Герье двойственное впечатление. С одной стороны, это была цитадель немецкой образованности. Ведь именно из Берлина во все немецкие университеты приходили профессора истории, которые в значительной

---

<sup>10</sup> ЦИАМ. Ф. 418. Оп. 11. Д. 180. Л. 1.

<sup>11</sup> *Кавелин*. 1862; Извлечение...; *Кавелин*. 1863.

<sup>12</sup> *Кавелин*. 1863. С. 8.

<sup>13</sup> *Пытин*. 1889. С. 298.

степени были учениками Ранке. Однако Герье не устроил общий подход к восприятию истории немецкой школой. <...> Герье желал видеть в истории науку концептуальную, идейную»<sup>14</sup>.

Командирование за границу небольшого числа молодых преподавателей и ученых продолжается и в 1870-е гг. За 1874–1878 гг. по историко-филологическому факультету было командировано 6 чел., из них трое – по кафедре всеобщей истории. Молодые историки, специализировавшиеся по истории России, за период с 1874 по 1878 гг. за границу с целью приготовления к профессорскому званию не командировались.

В 1877–1878 гг. Париж посетил Н. И. Кареев, где работал в Национальной библиотеке, в Национальном архиве в Париже, И. В. Цветаев посетил Грецию, Флоренцию, Лондон<sup>15</sup>. В 1885 г. В. И. Герье добился для М. С. Корелина заграничной научной командировки, в ходе которой молодой ученый посетил Германию, Австро-Венгрию, Швейцарию, Италию, Великобританию. И. М. Гревс в 1890-е гг. побывал в Риме и Париже. Своей радостью он делился с К. Н. Бестужевым-Рюминым:

«Я командирован за границу на год... Замечательно сильное средство для научного саморазвития – воспользоваться пребыванием за границей, это чувствуешь и осознаешь здесь ежеминутно...»<sup>16</sup>.

Историки-всеобщники занимались за границей сбором материала для своих исследований, целенаправленно и систематично посещали лекции ведущих европейских профессоров. В. Хорошевский в отчете пишет: «...Я посещаю лекции в *Ecole des Chartes* и *Collège de France*. В *Collège de France* я хожу на лекции профессоров Лабуле и Бодрильера. Первый из них занимает кафедру сравнительной истории законодательств, второй – политической экономии»<sup>17</sup>. М. С. Корелин пишет В. И. Герье об интенсивном графике работы:

Вот мой день в Берлине: с 9 до 12 или до часу – на лекциях и в *Leschalle* – для просмотра газет; с 12–3 – в королевской библиотеке, с 5–8, 9–12 – дома занимаюсь. Больше одного вечера в неделю я не могу тратить, а потому, напр[имер], был только два раза в театре... а тут еще музеи, галереи, куда постоянно тянет и где тратишь достаточно времени. Приходится рассчитывать каждый час, чтобы потом не краснеть перед самим собою, чтобы иметь право сказать, что сделал все возможное». Но не все устраивало историка: «Университет поражает количеством научных сил, привлекает свободой преподавания, но опять не удовлетворяет вследствие элементарности курсов» (Письма М. С. Корелина...).

---

<sup>14</sup> Дыганков. В. И. Герье и историческая наука...

<sup>15</sup> РНБ. Ф. 608. Д. 1400. Л. 32об.-65об.

<sup>16</sup> Письмо И. М. Гревса... С. 185-186.

<sup>17</sup> Извлечения... С. 79-81.

Критичность в восприятии Европы и европейского образования напрямую зависела от профессионального уровня исследователя. Однако европейские взгляды и идеи воспринимались, что впоследствии находило отражение в исследованиях и новых университетских курсах.

О заграничных поездках мечтали и историки, изучавшие историю России. Молодой Е. А. Пресняков писал матери: «Он [Платонов], между прочим, обещал устроить мне на будущее лето, заграничную командировку от университета. Ох, кабы это в самом деле удалось! А почему бы и нет? Устроил же Платонов в нынешнем году такую командировку для Полиевктова [в Италию]»<sup>18</sup>. О желании побывать за границей писал С. Ф. Платонову М. А. Дьяконов: «В мае предполагаю в Париже прочесть курс истории государственной власти в России, если получу своевременный отпуск из министерства. Школа мне предлагает 1000 фр., а это для меня единственный случай побывать за границей». Поездка не осуществилась: «Попаду ли я в ближайшее время в С[анкт-]П[етербург], еще не знаю. Хочется мне все же съездить за границу, по крайней мере, в Германию»<sup>19</sup>. Однако, командирование их за границу, в представлении Министерства Народного Просвещения, не являлось необходимым.

Для историков России характерны ознакомительные путешествия в Европу, которые совершаются ими самостоятельно, либо за счет почитателя. Именно так совершил заграничное путешествие С. М. Соловьев. Научная цель была только сопутствующей: маршрут его заграничного пребывания определял С. Г. Строганов. Посещение тех или иных городов и мест Б. Н. Чичериным, во многом, зависело от семейных обстоятельств (женитьба брата, смерть отца). Однако, при всей условности маршрута, были места, посещение которых являлось своеобразной традицией. Таковыми были Франция, Германия и Италия. Первые две в силу различных причин оказались для русских историков второй половины XIX в. наиболее привлекательными. «Франция и Германия – вот те две стороны, под влиянием которых непосредственно находились и теперь находимся. В них, можно сказать, сосредоточивается для нас вся Европа. <...> Всю образованную Россию можно справедливо разделить на две половины: французскую и немецкую, по влиянию того или другого образования...»<sup>20</sup>. Здесь был самый высокий уровень образования, сильные университеты, ведущие преподаватели в области истории, географии, философии, филологии и т.д.

<sup>18</sup> Цит. по: Корзун, Мамонтова, Рыженко. 2002. С. 100.

<sup>19</sup> РНБ. Ф. 585. Оп. 1. Д. 2860. Л. 28об.; Л. 30об.

<sup>20</sup> Шевырев. 1995. С. 156.



Представление о Германии как о стране просвещенной и ее университетах как о центрах учености сложилось еще в 1830-40-е гг., что подтверждают записи и воспоминания Н. В. Станкевича, П. В. Анненкова, Т. Н. Грановского<sup>21</sup>. Это время широкого распространения философии Гегеля. Между тем, увлечение трудами философа, захватившее поначалу лишь студенческие круги одновременно в различных университетах, довольно быстро вышло за пределы кружков и «захлестнуло и залило широкою волною все общество», проникнув даже в сферы, далекие от философии. «Известно, что в те годы в философских терминах рассуждали о повседневных семейных делах, характеризовали друзей и знакомых, решали денежные проблемы. О Гегеле не забывали даже в минуты веселья. На одном благотворительном бале гостям пришлось в голову провозглашать тосты за категории гегелевской логики. Начали с тоста за «чистое бытие», а закончили последней категорией – «идея»<sup>22</sup>.

Не удивительно, что Н. П. Огарев сравнивал роль, которую играла философия Гегеля в России, с ролью религии<sup>23</sup>. В это время Германию посещает С. М. Соловьев. «Без какой-либо системы юноша посещал лекции оппонента Гегеля, философа Ф. Шеллинга, К. Риттера, Ф. Раумера, А. Бека, историка Л. Ранке. Манера чтения и их содержание, во многом известное уже из ранее прочитанных сочинений этих профессоров, не удовлетворили Соловьева. Так что Берлин он покидал без особого сожаления»<sup>24</sup>. Следующим пунктом его путешествия был Париж.

Образ «революционной» Франции не препятствовал путешествиям историков в эту страну. Париж оставался заветной целью. Свои впечатления о Париже С. М. Соловьев выразил так: «Париж был неповторим! Он казался подлинным центром Европы, средоточием ее духовной, умственной, политической, промышленной жизни»<sup>25</sup>. Просвещенность Парижа воспринималась, прежде всего, через его библиотеки<sup>26</sup>.

Б. Н. Чичерин посещает Гейдельберг, где слушает лекции по праву:

---

<sup>21</sup> Анненков так описывал Берлинский университет: «Университет, в котором читает Гердер – философию, Гого – эстетику, Витке – богословие, Риттер – географию, и множество других лиц, имена которых известны Германии и свету». *Анненков. Путевые заметки...*

<sup>22</sup> *Кучурин. Религиозный мир...*

<sup>23</sup> См.: *Чижевский. 1939.*

<sup>24</sup> *Шаханов. 1996. С. 179.*

<sup>25</sup> Цит. по: *Цимбаев. 1990. С. 114.* См. также: *Соловьев. 1996. С. 73.*

<sup>26</sup> «Здесь восемь публичных библиотек и двадцать два театра – трудно соскучиться! Но лучшие библиотеки далеко от меня и потому я нашел средства, получив ручательство от нашего посланника, брать книги на дом из Королевской библиотеки, самой полной». Там же. *Соловьев. 1996. С. 74.*

...прослушав две, три лекции, я увидел, что они не принесут мне ни пользы ни удовольствия... Поэтому я решил пока изучать все существующие учебники как новые, так и старые: Моля, Блунчли, Цахарие, Шмитгеннера. Скоро я увидел, что это все, что мне было нужно. Слушать общий курс весьма полезно для человека, которому это еще заново, у которого не выработались собственные взгляды. А я достиг уже той степени зрелости, когда мне для пополнения моих сведений нужно было главным образом живое и подробное, а не приобретаемое на студенческой скамье, более или менее элементарное знакомство с учреждениями»<sup>27</sup>.

После Гейдельберга Чичерин едет в Берлин, надеясь найти там достойных профессоров. Тогда же Берлин посещает А. Н. Пыпин: «В университете было чрезвычайно любопытно послушать знаменитых профессоров... мне приятно бывало потом вспоминать, что я слышал не однажды знаменитого Риттера, основателя новой географии, и не менее знаменитого Леопольда Ранке; более специальной знаменитостью был тогда Рудольф Гнейст»<sup>28</sup>. Германия была олицетворением «научной» Европы, туда русские историки стремятся за новыми идеями: «Я по собственному опыту знаю, что заниматься нашему брату можно только в Германии. В Париже это весьма мудрено. <...> В Берлине лучший немецкий университет...»<sup>29</sup>. В 1862–64 гг. Германию и Австрию посещает Н. А. Попов, где собирает материал для докторской диссертации. Очарование Германией и ее «просвещенностью» продолжается и в 1890-е гг.

В поездках за границу русские историки обнаруживали критическое отношение к Европе и европейскому знанию, освобождались от мифологизации, присущей историческому сообществу с XVIII в.

Отличительной чертой поездок в 1870-е гг. стали рекомендации по посещению тех или иных мест и людей. Так, К. Д. Кавелин советовал Д. А. Корсакову: «Ведите себя умненько с иностранцами, то есть без излишней фамильярности, и без фальшивого поклонения. <...> Отыщите в Бонне Александра Ильича Сребицкого (его всякая собака там знает) поклонитесь ему от меня, скажите, что Вы мой племянник и что по моему совету Вы обращаетесь к нему. Он Вам все расскажет...»<sup>30</sup>.

Поездка за границу для русского историка была настоящим событием, часто сопровождалась пересмотром всей его предыдущей исследовательской деятельности. Именно такое переосмысление произошло в результате итальянского путешествия К. Н. Бестужева-Рюмина в 1882–1883 гг. Итальянская среда создавала особые условия для научного саморазвития и поиска. Посещение Рима настолько вдохновило русского

<sup>27</sup> Воспоминания... Т. 3. С. 86-87.

<sup>28</sup> Пыпин. 1996. С. 172.

<sup>29</sup> ОР РНБ. Ф. 568. Л. 6.

<sup>30</sup> ИРЛИ. Ф. 119. Оп. 1. Д. 26. Л. 1 об.-2.

историка, что по возвращении в Россию он задумал чтение курса по истории Рима. «И когда наступит время возвращаться в Россию к прежним занятиям (в Италии он еще думал, что это возможно для него), то окажется, что новые интересы значительно оттеснили прежние: раздумывая какой курс объявить в университете, новой ли Русской истории или историографии, Бестужев признается, что всего более ему хочется читать историю Римскую...»<sup>31</sup>. В то же время, еще будучи студентом, Италию посетил П. Н. Милюков. Италия представляла как место соприкосновения с высокой культурной традицией Античного мира. Однако существовала опасность попасть в сеть обаяния Флоренции, Венеции и Рима. Милюков вспоминал: «Я, однако, не хотел поддаваться первому впечатлению. Мой план был не любоваться, не восторгаться, а учиться»<sup>32</sup>. Н. Н. Платонова в письме к К. Н. Бестужеву-Рюмину сообщала о поездке Е. Ф. Шмурло<sup>33</sup>. Цель, которую он поставил перед собой, – разыскание материалов по русской истории в местных архивах и библиотеках. В «Отчете о заграничной командировке осенью 1897 г.» Шмурло писал: «настоящая командировка, испрошенная на двухмесячный срок, с 1 сентября по 1 ноября 1897 г. была вызвана желанием пополнить материал, собранный мною в первые поездки за границу, без чего я не считал возможным приступить к напечатанию предложенного сборника документов по истории России в конце XVII и начале XVIII столетий»<sup>34</sup>.

С другой стороны, за Италией прочно закрепляется образ страны для отдыха и лечения. В этом случае путешествие в Италию становится «лекарством для души и тела». В представлениях русского исторического сообщества Италия превращается в «желанную родину»<sup>35</sup>. Д. А. Корсаков сообщает о своей поездке с семьей в Италию: «Вследствие настоятельного требования нашего домашнего врача, профессора Котовцева, мы ездили нынешней осенью на морские купания в Италию, купания были, главным образом, необходимы Косте... Мы пробыли по две недели в Венеции и в Риме и 3 недели в Пельи, близ Генуи...»<sup>36</sup>. Италия очаровывала путешественников, наполняла гаммой впечатлений и переживаний. Чичерин описывал свои переживания от посещения Италии: «... я испытал полное очарование. Вся дорога представляла для меня ряд совершенно новых, поразительных впечатлений. Проведя всю

---

<sup>31</sup> Шмурло. 1899. С. 257.

<sup>32</sup> Милюков. 1955. С. 106.

<sup>33</sup> См.: Письма Н. Н. Платоновой и С. Ф. Платонова. С. 206.

<sup>34</sup> Шмурло. 1898. С. 3.

<sup>35</sup> Свешиников. 2004. С. 173.

<sup>36</sup> РНБ. Ф. 621. Д. 425. Л. 16.

жизнь в убогой русской степи, я никогда не видал ни моря, ни скал. Здесь и то и другое явилось мне в неведомом доколе величии»<sup>37</sup>.

Еще одно направление заграничных путешествий русских историков – славянские центры в Европе. М. П. Погодин, затем С. М. Соловьев и другие налаживают взаимоотношения со славянскими учеными и исследователями. В 1860-х гг. Н. А. Попов посещает культурные центры славян, дополняет полученные сведения поездкой в 1870 г. в Константинополь и в болгарские владения Османской империи. Прямым итогом этой поездки стал специальный курс по истории южных и западных славян, который Н. А. Попов начал читать на историко-филологическом факультете Московского университета. Это был первый систематический курс, читанный в Московском университете после лекций на эту тему профессора О. М. Бодянского. Оценивая значение курса лекций Н. А. Попова по истории южных славян для развития русской славистики, известный исследователь Л. П. Лаптева писала: «С этого времени история славянских народов уже как отдельная дисциплина стала читаться в Московском университете профессорами по всеобщей или русской истории, а иногда и специалистами по истории славян»<sup>38</sup>.

Таким образом, русские историки посещали иностранные университеты с целью «расширения и углубления общего исторического образования»<sup>39</sup>. Немецкие университеты были первой и основной ступенью в профессиональном становлении молодого ученого. Слушая лекции профессоров в их стенах, занимаясь в библиотеках и архивах, русские историки знакомились с проблематикой европейских исследований, их методологической основой, комплексом подходов и методов, применяемых европейской наукой. Из Германии русские историки для дальнейшей научной специализации ехали в Англию, Италию, Францию.

Однако И. М. Гревс в 1893 г. опубликовал статью «Очерки современного исторического преподавания в высших учебных заведениях Парижа», в которой отмечал, что «еще недавно французские историко-филологические факультеты едва ли заслуживали названия настоящих высших учебных заведений. Читавшиеся в них публичные лекции, блестяще построенные на чисто ораторских основаниях, предназначались не для студентов (таковых и не было), но для неопределенной, постоянно меняющейся аудитории». Важнейшим недостатком исторического образования является, по мнению историка, спрятанность методик, ос-

---

<sup>37</sup> Воспоминания Бориса Николаевича Чичерина... С. 23.

<sup>38</sup> Гутнов. Нил Александрович Попов...

<sup>39</sup> Свеишиков. 2003. С. 217.

воение которых необходимо для профессионального роста. Обучение дает не столько метод, сколько результат, «готовое знание». «Более тонкие приемы исследования» можно изучить в Школе Хартий». Высокий престиж немецких университетов остается в этот период неизменным. «Я пошел к немцам за настоящей наукой», – провозгласил, отправившись в Германию для обучения у Т. Моммзена, В. Иванов<sup>40</sup>.

В отличие от Н. М. Карамзина, который ехал в Европу для получения образования и расширения кругозора, русские историки второй половины XIX в. совершали путешествия, уже получив образование в университете, имея более или менее сформировавшееся представление об окружающем мире, обладая собственным видением исторического процесса и особенностями его протекания в России и Европе.

Весьма показательно, что к 1890-м гг. уже и исследователи из-за границы стремятся попасть в Россию. В частности Е. Ф. Шмурло обращается к С. Ф. Платонову с просьбой: «Позвольте рекомендовать Вашему вниманию м-г Naumann: он до известной степени наш собрат по оружию (*chargé de cours*) русского языка и русской истории в Лилльском университете. Еще новичок, он хотел бы еще многому подучиться, кое-что повидать, – он славный малый, и я был бы весьма рад, если бы Вы не оставили его своими указаниями и советами»<sup>41</sup>. Пример, достаточно важный, показывающий процесс складывания единого европейского интеллектуального пространства.

Таким образом, заграничные путешествия выступали не только средством диалога русского исторического сообщества с европейским научным миром, но и важной, неотъемлемой составляющей в профессиональном становлении и развитии, формировании представления о Европейском пространстве русских историков второй половины XIX в. Во время путешествия по Европе они сталкиваются с реалиями, которые заметно колеблют идеальный образ этого пространства. Однако он не разрушается, наоборот, он подкрепляется индивидуальным опытом и на смену идеальному образу Европы приходит более реальный. И как итог – все новые поколения русских историков греют о Европе.

### БИБЛИОГРАФИЯ

- Анненков П. В. Путевые заметки. – URL: [http://az.lib.ru/a/annenkow\\_p\\_w/text\\_0060.shtml](http://az.lib.ru/a/annenkow_p_w/text_0060.shtml) (время доступа 15.05.2007).  
Воспоминания Бориса Николаевича Чичерина: В 3-х т. М.: Изд-во М. и С. Сабашниковых, 1929. Т. 2. 296 с.

<sup>40</sup> Сवेशников. <http://www.igh.ru/conf/tesis1/svesh.htm>

<sup>41</sup> РНБ. Ф. 585. Оп. 1. Д. 4662. Л. 17-17 об.

- Гутнов Д. А. Нил Александрович Попов (штрихи к творческому портрету) [Электронный ресурс]. – URL: <http://www.hist.msu.ru/Science/HisUni/Popov>.<http://www.hist.msu.ru/Science/HisUni/Popov.htm> (время доступа 21.02.2008).
- Замятин Д. Н. Географические образы путешествий // Культурное пространство путешествий: Материалы научного форума. СПб.: Центр изучения культуры, 2003. С. 10–13.
- Замятин Д. Н. Образы путешествий: социальное освоение пространства [Электронный ресурс]. – URL: <http://www.ecsocman.edu.ru/images/pubs/2006/01/14/0000246535/002.ZAMIATIN.pdf> (время доступа 19.02.2007).
- Извлечение из письма К. Д. Кавелина от 4/16 октября 1862 // Журнал Министерства Народного Просвещения. 1862. № 8. С. 85–97.
- Извлечения из отчетов лиц, отправленных за границу для приготовления к профессорскому званию // Журнал Министерства Народного Просвещения. 1963. Часть CXVIII. С. 79–81. ИРЛИ. Ф. 119. Оп. 1. Д. 26.
- Кавелин К. Д. Очерки французского университета // Журнал Министерства Народного Просвещения. 1862. № 6. С. 1–27; № 7. С. 1–44.
- Кавелин К. Д. Свобода преподавания и учения в Германии // Журнал Министерства Народного Просвещения. 1863. № 3. С. 3–25.
- Карамзин Н. М. Письма русского путешественника. М.: Правда, 1980. 544 с.
- Корзун В. П., Мамонтова М. А., Рыженко В. Г. Путешествия русских историков конца XIX – начала XX века как культурная традиция // Мир историка. XX век. М.: Институт российской истории РАН, 2002. С. 92–139.
- Кучурин В. В. Религиозный мир С. М. Соловьева [Электронный ресурс]. – URL: [www.it-n.ru/Attachment.aspx?Id=4835](http://www.it-n.ru/Attachment.aspx?Id=4835) (время доступа 27.07.2008).
- Миллюков П. Н. Воспоминания (1859–1917): в 2-х т. Нью-Йорк: изд-во им. А. П. Чехова. Т. 1. 1955. 438 с.
- Общий устав Императорских Российских университетов [Электронный ресурс]. – URL: [http://www.lib.ru/TEXTBOOKS/ustaw\\_18.txt](http://www.lib.ru/TEXTBOOKS/ustaw_18.txt) (время доступа 27.05.2008).
- Письма М. С. Корелина В. И. Герье // История и историки. 2005. № 1. – URL: [http://www.portalus.ru/modules/rushistory/rus\\_readme.php?showfull&id=1192095290&archive=&start\\_from=&ucat=18](http://www.portalus.ru/modules/rushistory/rus_readme.php?showfull&id=1192095290&archive=&start_from=&ucat=18) (время доступа 30.01.2008).
- Письма Н. Н. Платоновой и С. Ф. Платонова // Малинов А. В. Бестужев-Рюмин: очерк теоретико-исторических и философских взглядов. СПб.: Издательство С.-Петербург. ун-та, 2005. С. 206–215.
- Письмо И. М. Гревса К. Н. Бестужеву-Рюмину // Малинов А. В. К. Н. Бестужев-Рюмин: очерк теоретико-исторических и философских взглядов. СПб.: Издательство С.-Петербург. ун-та, 2005. С. 185–186.
- Пытин А. Н. Мои заметки. Саратов: Изд-во «Соотечественник», 1996. 332 с.
- Пытин А. Н. Россия и Европа // Вестник Европы. 1889. Январь. С. 296–337. РНБ. Ф. 568.
- РНБ. Ф. 585. Оп. 1. Д. 2860.
- РНБ. Ф. 585. Оп. 1. Д. 4662.
- РНБ. Ф. 608. Д. 1400.
- РНБ. Ф. 621. Д. 425.

- Сабурова Т. А. Европа в пространственных представлениях русской интеллигенции первой половины XIX века // *Материалы Международной конференции «Россия-Тургенев-Европа»* (17–18 ноября 2003 г.). М.: Библиотека-читальня им. И. С. Тургенева, 2003. С. 11–16.
- Сборник Министерства Народного Просвещения. 1848. Т. 2. 994 с.
- Свешников А.В. Европейские национальные научные традиции в восприятии русских историков-путешественников второй половины XIX в. [Электронный ресурс]. – URL: <http://www.igh.ru/conf/tesis1/svesh.htm> (время доступа 23.09.2008).
- Свешников А. В. Зарубежные командировки русских историков конца XIX- начала XX в. // *Культурное пространство путешествий. Материалы научного форума. 8-10 апреля 2003 г.* СПб., 2003. С. 213–219.
- Свешников А. В. Итальянские путешествия в текстах русских историков конца XIX–начала XX вв. // *Диалог со временем.* 2004. № 13. С. 172–187.
- Соловьев С. М. Письма на родину. 1842–1844 гг. // *С. М. Соловьев. Первые научные труды. Письма.* М.: Археографический центр, 1996. С. 65–108.
- Толковый словарь русского языка / Под ред. Д. Н. Ушакова. М., 1939. Т. III. 1078 с.
- Трохимовский А. Ю. Политика министерства народного просвещения по подготовке молодых ученых за границей (1856–1881) // *Вестник Московского университета. Серия 8. История.* 2007. № 1. С. 58–68.
- ЦИАМ. Ф. 418. Оп. 11. Д. 180.
- Цимбаев Н. И. Сергей Соловьев. М.: Современник, 1990. 366 с.
- Цыганков Д. А. В. И. Герье и историческая наука второй половины XIX века в Московском университете. – URL: [http://az.lib.ru/a/annenkow\\_p\\_w/text\\_0060.shtml](http://az.lib.ru/a/annenkow_p_w/text_0060.shtml) (время доступа 24.04.2008).
- Чижевский Д. И. Гегель в России. Париж, 1939.
- Шаханов А. Н. Становление ученого // *С. М. Соловьев. Первые научные труды. Письма.* М.: Археографический центр, 1996. С. 137–201.
- Шевырев С. П. Взгляд русского на образование Европы // *Смолкина Н. С. Россия и Запад в отечественной публицистике XIX в.* М., 1995. Т. 1. С. 152–171.
- Шмурло Е. Ф. Очерк жизни и научной деятельности Константина Николаевича Бестужева Рюмина (1829–1897). Юрьев: Типография К. Маттисена. 1899. 418 с.
- Шмурло Е. Ф. Отчет о заграничной командировке осенью 1897 года. Юрьев, 1898. 143 с.

**Кирьяш Оксана Андреевна**, кандидат исторических наук, старший преподаватель кафедры социологии, политологии, психологии и педагогики Омского государственного аграрного университета; [mml1982@yandex.ru](mailto:mml1982@yandex.ru)

*О. Б. ЛЕОНТЬЕВА*

## **НАРОД-НАЦИЯ И НАРОД-ДЕМОС В ЗЕРКАЛЕ ИСТОРИЧЕСКОЙ ПАМЯТИ РОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВА XIX – НАЧАЛА XX ВЕКА**

---

Статья посвящена формированию в сознании российского образованного общества XIX – начала XX вв. стратегий коллективной идентичности, связанных с понятиями нации или трудового народа-демоса. Исследована трансформация романтического нарратива в российской культуре, где роль врага-угнетателя обычно отводилась не иноземным захватчикам, а собственному деспотическому государству. Показано, что обращение науки и искусства к темам раскола и «русского бунта» способствовало особому пониманию категории «народ»: как совокупности тех, у кого существовало свое представление о народной Правде, и кто готов был отстаивать этот идеал.

**Ключевые слова:** историческая память, Россия, народ, нация, интеллигенция.

---

Понятие «Народ» принадлежит к числу смыслообразующих категорий русской культуры. Формирование образного представления о народе как субъекте истории происходит во всех сферах культуры, связанных с формированием исторического сознания общества: в исторической науке, историософии, исторических жанрах искусства.

В течение всего XIX века в российской культуре разворачивались серьезные перемены, связанные с поиском стратегий коллективной идентичности меняющегося, модернизирующегося общества. Характерный для культуры XVIII века образ нечеловечески могущественной самодержавной власти, которая может по своей воле изменять облик целой страны, медленно, но неуклонно подвергался деконструкции. На первый план в сознании российского образованного общества выходили иные, более современные стратегии идентичности, связанные с идеями национального государства, национальной культуры или же трудового народа как субъекта истории: утрата веры в титаническую мощь самодержавия вела к обожествлению столь же титанической мощи народа.

В русском языке и в российском самосознании XIX в. огромную роль играло понятие «народ», но плохо приживалось понятие «нация». Тому были как социокультурные, так и политические причины. По мнению А. И. Миллера, в конце XVIII и первой трети XIX в. понятие «нация» в сознании российской элиты было связано с представлениями о «законности, конституционализме, свободе»; нация понималась как



«источник легитимности внутри страны», как «надсословная общность, наделенная суверенитетом и правом политического представительства». Именно поэтому, доказывает исследователь, с 1830-х гг. понятие «нация» было «вытеснено» из официального политического дискурса: оно использовалось не столько для саморепрезентации, сколько для осмысления внешних и внутренних угроз, с которыми сталкивалась империя<sup>1</sup>.

Категория «народ» стала играть центральную роль в отечественной исторической мысли после наполеоновских войн. В 1820-е гг., в ходе дискуссии, разгоревшейся вокруг «Истории государства Российского» Н. М. Карамзина, был брошен лозунг, определивший развитие исторической науки на много лет вперед. На тезис Карамзина «История принадлежит царю» его молодые современники ответили: «История принадлежит народу – и никому более! Смешно дарить ею царей»<sup>2</sup>. Однако, как показал не слишком удачный опыт Н. А. Полевого, написавшего в противовес карамзинской «Истории государства Российского» «Историю русского народа» (1829–1833), недостаточно было декларировать принцип принадлежности истории народу; необходимо было предложить новую систему координат исторического мышления, а для ее разработки требовалось время и соответствующий уровень научной культуры.

Едва ли можно считать случайным совпадением, что именно к началу 1820-х гг. в русском языке появился термин «народность» — калька с французского *nationalité*<sup>3</sup>. Это слово не заменяло понятия «народ» и не стало синонимичным ему, тем более что в зависимости от контекста могло употребляться в различных значениях. Под «народностью», как показала история диспута в русской публицистике 1820–1840-х гг., могли понимать либо национальную самобытность, либо национальную психологию<sup>4</sup>. Согласно первой точке зрения (как правило, крайних славянофилов), «народность» как этническое своеобразие сохраняется исключительно в «простом народе», но не в высших классах. Странники второй точки зрения – среди них могли быть как славянофилы, так и западники – были убеждены, что истинная народность состоит в общности «сердечных, несознанных воспоминаний», «безотчетных пристрастий», «сердечных движений», которые проявляются «в отношениях гражданских, семейных, ... в положениях жизни исключительных», а также в художественном творчестве; «народность» означала для них

---

<sup>1</sup> Миллер. 2010. С.44, 47.

<sup>2</sup> Эйдельман. 1983. С.142-143.

<sup>3</sup> Азадовский. 1958. Т. 1. С. 191-192.

<sup>4</sup> Бадалян. 2006. С. 108-122.

психологическое родство, которое вопреки социальным различиям объединяет «русского в армяке» и «русского во фраке», пушкинскую Татьяну и ее няню<sup>5</sup>. Публицистические диспуты 1820–1840-х гг. выявили – и тем самым закрепили в сознании современников – семантическое противоречие, крившееся в самом слове «народ»: понятие «народ» могло трактоваться и как «народ-демос» (по определению В. И. Даля, «чернь, простолюдье, низшие, податные сословия»), и как «народ-нация» (этническая, политическая и культурная общность, объединяющая людей независимо от социальной принадлежности – по Далю, «жители страны, говорящие одним языком»)<sup>6</sup>. Эта двойственность смысла, на наш взгляд, сыграла ключевую роль в истории русской мысли XIX–XX вв.

Содержание понятий «народ» (как нация) и «народность» (как национальная психология) в русской мысли XIX в. формировалось под влиянием европейской романтической традиции – философской, историографической и литературной. Именно для эпохи романтизма было характерно стремление отыскать некую вечную сущность – «народный дух», «тайну народной психеи», – которая кроется за всеми проявлениями национальной культуры и истории, придавая им смысловую целостность. Это стремление наложило сильнейший отпечаток на развитие российской культуры. В 1830–40-е гг. в отечественной культуре зарождается движение, которое по аналогии с многочисленными «поворотами» в современных гуманитарных науках можно назвать «фольклорным поворотом». В этот период в России формируется этнография как особая сфера научного знания. Этнографическое отделение Русского географического общества в 1848 г. инициировало опрос, в котором участвовали тысячи респондентов. Цель опроса – собрать максимально полный материал о языке, обычаях, традиционных ремеслах и фольклоре русского народа, а затем «отделить чистую сущность “народности” от сырой руды этнографических данных»<sup>7</sup>. В 1830–40-е гг. В. И. Даль, П. В. Киреевский, П. И. Якушкин положили начало своим проектам по собиранию и изучению фольклора; дело литературной обработки народных песен и сказок было освящено авторитетом самого А. С. Пушкина.

Для деятелей культуры той эпохи собирание народных песен и сказок, пословиц и поговорок было не самоцелью, а средством решения важнейшей национально-идентификационной задачи: реконструкции

---

<sup>5</sup> Киреевский. 1984. С. 146-151, 174-175, 178-179; Гоголь. 1984. С. 60; Белинский. 1985. С. 360.

<sup>6</sup> Даль. 1994. Т. 2. Стб. 1201.

<sup>7</sup> Найт. 2005. С. 172.

народного мировоззрения. Следуя логике крупнейших фольклористов Европы, братьев Гримм, российские ученые полагали, что народная поэзия является созданием «коллективной души» народа-творца, «гения нации»; что именно фольклор (в первую очередь его дохристианские, языческие, т.е. наиболее древние и подлинные пласты) является ключом к постижению «тайны народной психеи»<sup>8</sup>. Не случайно к середине века, когда было собрано достаточно «сырой руды этнографических данных», относятся несколько масштабных попыток реконструировать мир языческих верований, картину мироздания древней Руси: «Славянская мифология» Н. И. Костомарова (1847), «О русских народных сказках» А. Н. Пыпина (1856), «О нравственной стихии в поэзии на основании исторических данных» О. Ф. Миллера (1858), «Поэтические воззрения славян на природу» А. Н. Афанасьева (1866–1869) и др.

Эпические образы представлялись воплощением вечной и неизменной сущности народного характера. Поэзия и проза, историческая наука и фольклористика, живопись и музыка способствовали тому, что образы былинного эпоса Киевской Руси обрели новую жизнь в пространстве высокой культуры пореформенной России – в творчестве А. К. Толстого, А. П. Бородина, В. М. Васнецова. «Эти “Богатыри”, – писал В. В. Стасов, впервые увидев картину Васнецова «Застава богатырская» (1881–1898), – ...выходят словно pendant, дружка, к “Бурлакам” Репина. И тут и там – вся сила и могучая мощь русского народа. Только эта сила там – угнетенная и еще затоптанная, обращенная на службу скотинную или машинную, а здесь – сила торжествующая, спокойная и важная, никого не боящаяся и выполняющая сама, по собственной воле, то, что ей нравится, что ей представляется потребным для всех, для народа»<sup>9</sup>. Фигуры центральных персонажей киевского цикла былин, преломленные сквозь призму романтического и/или реалистического искусства XIX в., воспринимались как квинтэссенция русского характера. Причем, если в демократическом и национальном дискурсах образ богатыря выступал как олицетворение мощи народа, то в рамках дискурса монархического он мог интерпретироваться как воплощение крепости самодержавной монархии. Альтернативным способом постичь «народную психею» или «национальную стихию» было обращение не к фольклорно-эпическим, а к историческим сюжетам: в рамках романтического дискурса история народа – в полном соответствии с философией Гегеля – представляла как объективация, развертывание вовне вечных свойств народной души.

<sup>8</sup> Азадовский. 1963. Т. 2. С. 49-52; Коккьяра. 1960. С. 238-253.

<sup>9</sup> Стасов. 1952. Т. 3. С. 265-266.

Согласно романтической традиции, – а расцвет Романтизма совпал по времени с подъемом национальных движений в Европе, – ярче всего народная душа проявляется в борьбе против завоевателей и угнетателей. Необходимыми элементами романтического видения истории в художественном творчестве и в историографии были образы врагов-угнетателей, национальный мученик, пантеон народных героев и воодушевляющие сцены народной борьбы. При обращении к таким сюжетам свойственный романтизму культ героя приобретал особый оттенок: герой представлялся не как демонический бунтарь-одиночка, но как истинный сын (или дочь) своего вольнолюбивого народа, персонификация народной души. Бунт, протест, восстание рисовались как кульминационные эпизоды национальной истории – своеобразные «моменты истины», выявляющие глубинные свойства народной души; главным ее свойством считалось стремление к свободе.

Однако, как это часто происходило с европейскими идеями, на русской почве романтическая историография приобрела свои характерные особенности. Безусловно, тема борьбы против иноземных захватчиков (монголо-татар, поляков, французов и т.д.) присутствовала в русской культуре и периодически – под влиянием внешнеполитической конъюнктуры – даже выходила на первый план. Так, народное ополчение 1612 г. или Отечественная война 1812 г. в культуре XIX в. традиционно трактовались как примеры действия народа-нации, сознающего себя единым целым<sup>10</sup>. Но все же сюжеты борьбы с иноземными нашествиями и чужеземным порабощением не играли здесь структурообразующей роли. Один из парадоксов русской культуры второй половины XIX в. заключался в том, что роль врага-угнетателя чаще всего отводилась не иноземным захватчикам, а собственному деспотическому государству.

Во второй половине XIX в. русская культура становится демократически ориентированной; вслед за «фольклорным поворотом» в 1850–1860-е гг. в ней происходит «народнический поворот». Сущность его состояла в том, что термин «народ» все чаще стал употребляться не в значении «нация», а в значении «демос» (преимущественно крестьянство). Принципы такого подхода очертил еще В. Г. Белинский: «Под *народом* более разумеется низший слой государства: *нация* выражает собою понятие о совокупности всех сословий государства. В *народе* еще нет нации, но в нации есть и народ»<sup>11</sup>. Показательно также высказывание А. И. Герцена: «Русский *народ* продолжал держаться вдали от политиче-

<sup>10</sup> Зорин. 2001. С. 157-186.

<sup>11</sup> Белинский. 2003. С. 181.

ской жизни, да и не было у него оснований принимать участие в работе, происходившей в других слоях *нации*): здесь понятие «нация» охватывает всю совокупность российского общества сверху донизу, тогда как термин «народ» определенно относится лишь к крестьянству<sup>12</sup>.

Идея «народа-демоса» была неразрывно связана с вопросом о том, какие именно социальные слои являются носителями народного мировоззрения и национального характера. Так, для славянофилов было характерно противопоставление «народа» и «верхних классов», или «народа» и «публики»; подчеркивалось, что различия между ними носят не только социальный, но и этнокультурный характер. К. С. Аксаков в статьях 1850-х гг. демонстративно подчеркивал, что в современном ему российском обществе «верхние классы» нельзя считать частью «народа»: «Россия разделилась на две резкие половины: на преобразованную Петром или *верхние классы*, и на Россию, оставшуюся в своем самобытном виде, оставшуюся на корню, или просто *народ*»; «в наше время среди *верхних, от народа оторванных, классов* пробуждается сознание ложности направления иностранного, и стыд обезьянства (курсив мой. — О. Л.)»<sup>13</sup>. Как иронизировал по поводу славянофильства В. О. Ключевский, «добрые люди, державшиеся этого направления, ... подобно царю Ивану Васильевичу Грозному, беспричинно клали опалу на все высшие классы, а о простом народе говорили, что на него гнева и опалы нет»<sup>14</sup>.

Славянофильский подход к употреблению термина «народ» унаследовал Н. И. Костомаров — историк, сыгравший значительную роль в формировании представлений о прошлом в культуре пореформенной России. На страницах «Русской истории в жизнеописаниях ее главнейших деятелей» (1872), Костомаров, как и Аксаков, последовательно противопоставлял «высшим классам» «простой народ», «остальной народ», или «низший класс народа». Он использовал такое противопоставление применительно к истории русских земель в составе Речи Посполитой, т.е. именно там, где стремился показать глубину этнокультурного отчуждения полонизированной элиты от прочего населения украинских земель<sup>15</sup>. Культурный раскол общества — и у Аксакова, и у Костомарова — трактовался как историческое следствие «обезьянничанья» социальной верхушки перед носителями западноевропейской культуры; понятие «народ» приобретало антиэлитарный оттенок.

---

<sup>12</sup> Герцен. 1956. С. 211.

<sup>13</sup> Аксаков. 1999. С. 70; Аксаков. 1889. С. 48, 53-54.

<sup>14</sup> Ключевский. 2004. С. 27.

<sup>15</sup> Костомаров. 1995. Т. 1. С. 524, 526, 532, 542-543; Т. 2. С. 140, 304.

Наконец, идеология народничества, самой влиятельной мировоззренческой системы пореформенного периода, явно тяготела к дуалистическим социальным дискурсам: «привилегированное меньшинство» мыслилось как антагонист «угнетенного большинства», «трудящиеся классы» противопоставлялись «привилегированным» или «образованным классам», «общество» – «народу»<sup>16</sup>. При этом под «народом» всегда подразумевался трудовой народ-демос, демонстративно противопоставлявшийся привилегированным сословиям.

Именно в эпоху Великих реформ, сформировался один из ключевых мифов русской культуры: убеждение, что только «простой народ» является хранителем Правды – одной из сакральных категорий русской культуры, объединяющей истину и справедливость, сущее и должное<sup>17</sup>. Из представления о том, что мужик живет в соответствии с «системой Правды» (определение Н. К. Михайловского), органически вытекало убеждение в том, что образованное общество Правду утратило и может обрести нравственное обновление и возрождение только путем «хождения в народ», «пощения», «возвращения к почве» – что, по замечанию А. Эткинды, было равнозначно «утверждению подлинности другого и отрицанию подлинности самого себя»<sup>18</sup>. Эта вера – как и «комплекс вины» образованного общества перед народом, – роднила представителей самых разных течений русской мысли: славянофилов и нигилистов, анархистов и монархистов, народников и почвенников; ее разделяли величайшие творцы русской литературы – Л. Н. Толстой и Ф. М. Достоевский, при всех различиях в понимании того, что есть Правда.

Однако с начала эпохи Великих реформ в отечественной культуре формировалось отношение к русскому народу-демосу как к народу-страдалицу, знающему Правду, но лишенному возможности жить по Правде. Поэзия Н. А. Некрасова (наряду с П. Л. Лавровым, М. А. Бакуниним и Н. К. Михайловским его по праву можно считать отцом-основателем народничества), проза и публицистика «Современника» и «Отечественных записок», живопись передвижников закрепили в сознании образованной публики представление о родной истории как о хронике народных страданий. Центральное место в этом нарративе занимала тема крепостного права: в многочисленных повестях, романах и

---

<sup>16</sup> Лавров. 1965. С. 75, 81; Михайловский. 1958. С. 171-174; Флеровский. 1958. С. 208, 193-194.

<sup>17</sup> Михайловский. 1911. Т. 1. Стб. V; 1909. Т. 4. Стб. 405-406; Юрганов, Данилевский. 1998. С. 144-170; Юрганов. 2009. С. 14-82; Ахизер. 1998. Т. 2. С. 345-346; Исунов. 2002. Т. 4. С. 442-449.

<sup>18</sup> Эткинд. 1998. С. 166.

поэмах «из недавнего прошлого», в беллетризованных воспоминаниях политических деятелей и людей искусства эпоха крепостничества представляла как безусловно мрачный период грубого насилия, унижений, надругательств над человеческой личностью и достоинством.

Нарратив народных страданий позволял увидеть всю российскую историю в новом свете, отыскать в прошлом корни социальных проблем XIX в., но он едва ли мог удовлетворить национальную гордость – хотя бы потому, что народу в нем отводилась роль жертвы. Для общественного сознания XIX в. народ был достоин своего гордого имени лишь в том случае, если он способен на осознанное коллективное действие в защиту своих идеалов. Если настоящее не давало опоры для веры в народ, эту опору должна была дать история. В культуре пореформенной России шел деятельный поиск таких форм, которые позволили бы адекватно воплотить идею Народа как ведущего субъекта истории. В науке это стремление выразилось в деятельности историков народнического, демократического направления – Н. И. Костомарова и А. П. Щапова, братьев М. И. и В. И. Семевских, И. П. Прыжова, Д. Л. Мордовцева и других, – исходивших из убеждения, «что главный факт в истории есть сам народ, дух народный, творящий историю»<sup>19</sup>. В искусстве это стремление привело к рождению жанров «хоровой картины», «народной драмы» и «народной оперы» (определения В. В. Стасова)<sup>20</sup>.

Сложившийся в исторической памяти пореформенной эпохи образ народных страданий необходимо было уравновесить столь же яркими образами народного действия и народных героев. Такую компенсационную функцию сыграло обращение к истории социальных конфликтов в их крайней форме – народных восстаний, а также пассивного протеста – религиозного диссидентства, старообрядчества. Внутреннюю взаимосвязь этих тем уловил знаменитый литературный критик последней трети XIX в., один из идеологов народничества Н. К. Михайловский. Как писал он в статье «Борьба за индивидуальность» (1875/76), в «тревожные исторические моменты», когда общество остро чувствует «многообразные несоразмерности» существующего строя, и недовольство достигает пика, «в обществе появляются два чрезвычайно любопытные типа, которые я назову *вольницей и подвижниками*... Протестуют они двумя совершенно различными, но все-таки родственными между собою и часто друг в друга переходящими способами... Вольница звонит во всю и часто целым рядом страшных насилий и убийств пытается уничтожить все,

<sup>19</sup> Щапов. 1908. Т. 3. С. XXXI.

<sup>20</sup> Стасов. 1952. Т. 3. С. 60-61.

что мешает ей жить так, как она хочет... Иной путь избирают подвижники... Из общества, которое не дало им ничего, кроме муки, подвижники уходят в леса и пустыни и там либо живут совсем одиноко, умерщвляя, как они говорят, плоть свою, либо основывают общежития аскетического характера... Их протест, их отрицание направлены против одних и тех же явлений, одинаково им ненавистных, и появляются они поэтому всегда вместе, рука об руку, на арене истории»<sup>21</sup>.

«Стрельцы, раскольники, казаки, разбойники» – эти четыре группы выделил в свое время М. В. Ломоносов, перечисляя тех «внутренних врагов», которых пришлось усмирять Петру Великому в борьбе за свои преобразования<sup>22</sup>. По иронии истории, в эпоху Великих реформ именно эти группы стали восприниматься как носители вольнолюбивого народного духа. Сюжеты из истории народных восстаний и религиозного диссидентства, воплощенные в научных публикациях и художественной культуре, сыграли смыслообразующую функцию в исторической памяти эпохи: обращение к этим темам должно было послужить доказательством стихийного свободолюбия русского народа и дать интеллигенции возможность постичь мир народных представлений о Правде.

Одним из самых актуальных исторических сюжетов в художественной культуре пореформенной эпохи оказалась история старообрядчества. Решающую роль в пробуждении общественного интереса к теме раскола сыграл казанский историк А. П. Щапов: в своих исследованиях он сформировал представление о расколе как о широком народном движении за демократические земские идеалы, против крепостнического государства. История старообрядчества превратилась под его пером в доказательство способности русского народа восстать на борьбу за свою Правду и вести эту борьбу, не отступая в течение многих десятилетий<sup>23</sup>. Расколу и раскольникам посвящали романы-эпопеи «из народного быта» (дилогия П. И. Мельникова-Печерского «В лесах» и «На горах», 1871–1881), исторические повести («Запечатленный ангел» Н. С. Лескова, 1873) и исторические романы («Великий раскол» Д. Л. Мордовцева, 1880); живописные полотна («Никита Пустосвят» В. Г. Перова, 1880–1881; «Черный собор» С. Д. Милорадовича, 1885; «Боярыня Морозова» В. И. Сурикова, 1887) и оперы («Хованщина» М. П. Мусоргского, 1872–1881). В большинстве своем эти произведения были проникнуты самым искренним сочувствием к гонимым и преследуемым старообрядцам.

<sup>21</sup> Михайловский. 1911. Т. 1. Стб. 580-581.

<sup>22</sup> Ломоносов. 2003. С. 99.

<sup>23</sup> Щапов. 1859; Щапов. 1862.



Обращение искусства к теме раскола позволило утолить потребность российской общественности в образах народных героев и в формировании национального мартиролога. Протопоп Аввакум и боярыня Морозова были единодушно возведены в ранг самых ярких личностей российской истории, героев «с великими, шекспировскими характеристиками»<sup>24</sup>. Образы старообрядцев органически вписались в парадигму национально-культурного возрождения, реконструкции целостного и самобытного образа навсегда исчезнувшей допетровской Руси. «Невзирая на весь осадок нелепости, закоренелой темноты и дикости..., – восклицал Стасов, анализируя раскольничью тематику в творчестве Перова и Мусоргского, – сколько чудесного, могучего, чистого и искреннего было все-таки на стороне этой Руси..., и как права она была в своем праве, отстаивая свою старую жизнь и зубами, и когтями!»<sup>25</sup>.

Безусловно, сами по себе религиозные идеалы и апокалиптические чаяния «расколочителей» не могли вызывать особенного сочувствия у пореформенной интеллигенции. Но зато безусловное понимание у нее находила способность раскольников к сознательному самопожертвованию, к мученичеству во имя убеждений: слова Д. Л. Мордовцева об умении старообрядцев «страдать с дерзновением» перекликались с высказыванием С. М. Степняка-Кравчинского о «положительной жажде мученичества», которая жила в русских «нигилистах»<sup>26</sup>. Ирония исторического сознания пореформенной эпохи состояла в том, что, отторгая «домостроевские», «душные и темные идеалы» Московской Руси XVII столетия, интеллигенция при этом восхищалась старообрядцами – «замечательными», «удивительными» людьми, которые во имя этих «душных и темных идеалов» бестрепетно шли на смерть<sup>27</sup>.

Тема «вольницы», «русского бунта» приобрела характер лейтмотива. Решающую роль в формировании идейного климата пореформенной эпохи сыграла монография Н. И. Костомарова «Бунт Стеньки Разина» (1858), где восстание трактовалось как закономерный ответ народа на установление единодержавия, бюрократизма, крепостничества, на подавление традиционных вечевых и общинных прав. Казачий мир стал восприниматься как антагонист самодержавного государства, основанного на угнетении и порабощении, как своеобразный опыт практического воплощения народной Правды – «удельно-вечевого уклада», в терми-

<sup>24</sup> Мордовцев. 1991. Т. 1. С. 411.

<sup>25</sup> Стасов. 1894. Т. 2. Стб. 267.

<sup>26</sup> Степняк-Кравчинский. 1982. С. 226-227.

<sup>27</sup> Гариин. 1963. С. 424-430; Стасов. 1952. Т. 3. С. 61.

нологии Костомарова: «Толпы беглецов укрывались на Дону, и там усваивали себе понятия о казацком устройстве, при котором не было ни тягла, ни обременительных поборов, ни ненавистных воевод и дьяков, где все считались равными, где власти были выборные; казацкая вольность представлялась им самым желанным образцом общественного строя»<sup>28</sup>. Именно поэтому «казаки-разбойники» пользовались на Руси всенародной любовью: «Народ сочувствовал удалым молодцам, хотя часто терпел от них; самые поэтические великорусские песни – те, где воспеваются их подвиги; в воображении народном удалый добрый молодец остался идеалом силы и мужской красоты, как герой Греции, рыцарь Запада, юнак Сербии. Слово “удалый молодец” значило у нас героя, а между тем оно смешалось со значением разбойников»<sup>29</sup>.

Тема столкновений казачества и Московского государства – противостояния вольнолюбивого народного духа и самодержавного деспотизма – проходила красной нитью сквозь научные труды и историческую прозу; казаки воспринимались историческим сознанием пореформенной России не столько как экзотическая социальная или этническая группа, сколько как воплощение стихийного народного свободолюбия. Не случайно историки подчеркивали, что казачий мир был открыт для любого пришлеца: он впитывал всех тех, в ком «пробудился» вольнолюбивый народный дух, способный противостоять деспотизму. А это, с другой стороны, означало, что вольнолюбивый дух потенциально может пробудиться в каждом, даже самом забитом и покорном представителе народа-демоса, и что сопротивление может в таком случае стать всеобщим.

В эпоху Великих реформ были радикально пересмотрены представления о причинах стрелецких бунтов конца XVII века. Прежде, в 1840-е гг., биографы Петра Великого писали о стрелецких бунтах исключительно как о преторианских заговорах, вспыхнувших в результате придворных интриг; стрельцы в их работах представляли как развращенная и строптивая столичная гвардия, «буйные мятежники», единственное стремление которых – бить и грабить, пить и буянить<sup>30</sup>. Первым историком, который интерпретировал стрелецкие бунты как проявление социального протеста, был Н. Я. Аристов, ученик А. П. Щапова. Согласно его мнению, стрелецкие бунты были проявлением «стремления народа свалить с плеч гнетущую силу московского государства», «последней попыткой к возвышению самобытности народной, последней

---

<sup>28</sup> Костомаров. 1995. Т. 2. С. 400.

<sup>29</sup> Там же. С. 335.

<sup>30</sup> Полевой. 1843. С. 55.

вспышкой старинной силы земства», последней, отчаянной попыткой народа напомнить власти о своей Правде перед тем, как эта власть – в лице Петра – разрастется до небывалых, колоссальных размеров, «поглощающих внутреннюю самостоятельную жизнь»<sup>31</sup>. Трактовка стрелецких бунтов как морального противостояния «последних ратоборцев за старинные права» и «гнетущей силы государства», предложенная практически забытым ныне историком, оказалась увековеченной в реалистическом русском искусстве XIX в.: «Хованщине» М. П. Мусоргского и «Утре стрелецкой казни» В. И. Сурикова (1881).

Своеобразной квинтэссенцией исторической мифологии пореформенной эпохи можно считать монографию Д. Л. Мордовцева «Самозванцы и понизовая вольница» (1867). В ней представлена русская жизнь XVII–XVIII вв. как картина всеобщего недовольства, массового бегства (крестьян, раскольников, рекрутов, арестантов и т.п.), повсеместного вооруженного протеста, участники которого, в конце концов, образовали своеобразное демократическое «государство в государстве»: «По всем концам государства ходили правильно организованные шайки воров и разбойников, предводительствуемые избранными из себя атаманами и эсаулами; атаманы назывались почетным именем батюшки и держали своих подчиненных в беспрекословном повиновении; провинившихся разбойников казнили по приговору собственного суда»<sup>32</sup>. Это картина не просто разовых вспышек народного гнева, а постоянно тлеющих очагов недовольства, постоянной готовности самых широких слоев населения к организованным выступлениям против власти.

В исследованиях Д. Л. Мордовцева и Н. Я. Аристовой в полной мере проявилась характерная черта общеевропейской культуры XIX в.: героизация и поэтизация разбойников. Эта тенденция брала свое начало из эпохи романтизма с его интересом к сильным личностям, способным преступать любые запреты, бросать вызов обществу и закону. В ходе собирания народных песен П. В. Киреевским, П. И. Якушкиным и др., выявилось, что среди них немало песен о разбойничьей «вольнице»; знакомство с этой гранью фольклора породило множество поэтических подражаний и стилизаций. Многие из этих стихотворений впоследствии стали «народными» песнями и вошли в золотой фонд русского романа<sup>33</sup>: за сто лет до того, как, согласно известному выражению, интеллигенция стала петь блатные песни, она уже пела песни разбойничьи.

<sup>31</sup> Аристов. 1871. С. 57-58, 61-62, 65.

<sup>32</sup> Мордовцев. 1867. Т. 2. С. 7.

<sup>33</sup> Русские песни и романсы. 1989. С. 140, 258-263, 317-318.

Но именно в пореформенный период в разбое стали видеть не выражение личной удали «добрых молодцев», а проявление социального протеста; немалую роль в этом сыграли произведения историков демократического направления. Образы казаков и разбойников в пореформенной культуре сливались в единое представление о «вольнице», где находили себе прибежище самые яркие и сильные личности, выразители сокровенной мощи народного духа. Одним из центральных образов исторического сознания во второй половине XIX века стал образ Степана Разина. Ему посвящали научные труды и исторические романы. Его в буквальном смысле слова воспевали – в тщательно собранных этнографами волжских и донских песнях о Разине и в городских романсах «Иза острова на стрежень» и «Есть на Волге утес» на слова Д. Н. Садовникова и А. А. Навроцкого (в обыденном сознании это тоже народные песни). Его облик был воссоздан в романах Д. Л. Мордовцева «Великий раскол» (1880) и «За чьи грехи?» (1891), на полотне В. И. Сурикова «Степан Разин» (1906). Крайняя мифологизированность образа Разина в русской пореформенной культуре не нуждается в доказательствах: этот образ, вобравший в себя черты «благородного разбойника» из романтической литературы, стал воплощением неукротимого народного стремления к «воле-волюшке» и к возмездию угнетателям. Символично, что первый российский художественный кинофильм «Понизовая вольница» (1908) был посвящен именно восстанию Разина. Это означало, что образ удалого атамана превратился в икону национальной идентичности.

Явным знаменем эпохи можно считать дополнения, внесенные М. П. Мусоргским в текст пушкинского «Бориса Годунова» при работе над одноименной оперой. По свидетельству Стасова, в 1871 г., перерабатывая оперу, Мусоргский «решил кончить ее не смертью Бориса, а сценою восставшего расхोлившегося народа, торжеством Самозванца и плачем юродивого о бедной Руси»<sup>34</sup>. На смену пушкинскому «народ безмолвствует» пришла знаменитая «сцена под Кромами», яркая картина разудалого и грозного, но краткого и заведомо обреченного народного торжества. (Любопытно, что текст разбойничьей песни «Расходилась, разгулялась удал молодецкая» для этой сцены Мусоргскому предложил Мордовцев)<sup>35</sup>. Во время революции 1905 г. «сцену под Кромами» было запрещено представлять в публичных спектаклях<sup>36</sup>. Впрочем, именно в творчестве Мусоргского тема народного бунта обнаружила свою внут-

<sup>34</sup> Орлова. 1963. С. 236.

<sup>35</sup> Там же. С. 235, 404, 406.

<sup>36</sup> Биллингтон. 2001. С. 483.

ренную противоречивость. В «Годунове» бунт быстро переходит в безудержное прославление нового царя – Самозванца. В «Хованщине» показано угасание бунта, трагический путь стрельцов от положения полновластных хозяев Москвы к коленопреклоненным мольбам о пощаде. Бунт оказывается бесперспективным; он не дает ответа на ключевой вопрос оперы – «где святой Руси погибель и в чем Руси спасенье?»<sup>37</sup>. Не победу, а поражение бунта обессмертил Суриков в «Утре стрелецкой казни». Бунт интерпретировался в русской культуре как способ заявить о народной Правде, но отнюдь не как способ реализовать, воплотить ее.

Таким образом, в исторической культуре России второй половины XIX в. сюжеты, связанные с массовыми протестными движениями, сыграли особую роль. Неотъемлемой частью пантеона народных героев стали персонифицированные образы лидеров протестных движений – Степана Разина, протопопа Аввакума, боярыни Морозовой, а также образы социально-типические, собирательные: «стрельцы, раскольники, казаки, разбойники». При воссоздании этих образов акценты могли ставиться на те идеалы, за которые боролись «вольница и подвижники» (в таком случае подчеркивалось, что эти идеалы соответствуют представлениям о справедливости просвещенных людей XIX в. и адекватно отражают вечную народную Правду), либо на те страдания, которые претерпели герои в борьбе против властителей и угнетателей.

Благодаря обращению науки и искусства к образам «вольницы и подвижников», в российской культуре постепенно формировалось особое понимание народа. Теперь под ним понимали не всю нацию как целостность, но и не весь демос как совокупность непривилегированных слоев населения, – а именно тех, в ком пробудился «дух, несовместимый с рабским состоянием»<sup>38</sup>, у кого существовало свое представление о народной Правде, кто был способен отстаивать этот идеал не только словом, но и делом: вооруженной борьбой или мученичеством.

Разумеется, восприятие народа как объекта научного изучения неоднократно изменялось вследствие методологических поворотов в гуманитарном знании – в частности, вследствие «социологического поворота» в гуманитарном знании конца XIX – начала XX в. Усилиями «школы Ключевского», экономистов-народников, «русской исторической школы» прочные позиции в российской мысли завоевал классовый дискурс; «классово-сословная» модель общества стала широко применяться для объяснения хода русской истории со времен раннего средне-

<sup>37</sup> «Хованщина» М.П. Мусоргского. 1975. С. 34.

<sup>38</sup> Костомаров. 1995. Т. 2. С. 303.

вековья до развития капитализма. К началу XX в. в рамках позитивистского и экономико-материалистического подходов была поставлена проблема социальной дифференциации внутри «народа-демоса», который прежде казался единым. «На основе полученных различными отраслями науки данных, отражающих преобладание позитивизма в научном сознании, стало возможным новое понимание народа, новый уровень осмысления этого понятия»<sup>39</sup>. Воссоздавая историю того или иного периода, ученые в первую очередь стремились выявить, из каких социальных групп сложилось общество, каковы были их правовое и материальное положение, интересы и образ жизни, в каких отношениях находились они друг к другу и к государству. История представляла как поле социальных конфликтов, а важнейшим субъектом исторического процесса становился уже не «народ», а классы и сословия.

Однако переход от романтически-национального и романтически-народнического дискурсов к социологическому затронул историческую науку – но не художественную культуру, где народ по-прежнему воспринимался как целостность высшего порядка, а народный бунт и церковный раскол – как своеобразные «моменты истины», позволившие выявить истинное лицо русского народа. Для того чтобы российская интеллигенция в большинстве своем разочаровалась в идее «русского бунта» как способа заявить о народной Правде, понадобился трагический опыт 1917 г. Но по понятным причинам этот перелом отразился только на культуре русского зарубежья, а советская идеология включила образы бунтарей прошлого в пантеон героев победившей революции. В переломные моменты российской истории образы народа-нации как целостности высшего порядка, или страдающего и борющегося народа-демоса вновь оказывались востребованными в искусстве, поскольку могли быть использованы при создании нового идеологического дискурса.

### БИБЛИОГРАФИЯ

- Азадовский М. К.* История русской фольклористики. В 2 т. Т. 1. М.: Учпедгиз, 1958. 479 с. Т. 2. М.: Учпедгиз, 1963. 363 с.
- Аксаков К. С.* Полн. собр. соч. Т. 1: Сочинения исторические / Под ред. И. С. Аксакова. М.: Университетская типогр., 1889. VII, 652 с.
- Аксаков К. С.* Публика и народ // Роман-газета XXI век. 1999. № 7. С. 70.
- Аристов Н.* Московские смуты в правление царевны Софьи Алексеевны. Соч. Н. Аристова. Варшава: В типогр. Варшавского учебного округа, 1871. 314 с.
- Ахизер А. С.* Россия: Критика исторического опыта. Т. 2: Теория и методология. Словарь. Новосибирск: Сибирский хронограф, 1998. 594 с.

---

<sup>39</sup> *Сабурова.* 2005. С. 240-241.

- Бадалян Д. А. Понятие «народность» в русской культуре XIX века // Исторические понятия и политические идеи в России XVI-XX века / Сер. «Источник, историк, история». Вып. 5. СПб., 2006. С.108–122.
- Белинский В. Г. Рецензия на «Деяния Петра Великого, мудрого преобразователя России» И. Голикова // Петр Великий: pro et contra / Предисл. Д. К. Бурлаки, Л. В. Полякова, А. А. Кара-Мурзы, послесл. А. А. Кара-Мурзы, коммент. С. Н. Казакова, К. Е. Нетужилова. СПб.: РХГИ, 2003. С. 177–212.
- Белинский В. Г. Сочинения Александра Пушкина / Вступ. ст. и примеч. К. Тюнькина. М.: Художественная литература, 1985. 560 с.
- Биллингтон Дж. Х. Икона и топор: Опыт истолкования истории русской культуры / Пер. с англ. М.: Рудомино, 2001. 879 с.
- Гаршин В. М. Сочинения / Вступ. ст. и примеч. Г. Бялого. М.; Л.: Гослитиздат. Ленингр. отд-ние, 1963. 448 с.
- Герцен А. И. О развитии революционных идей в России // Герцен А. И. Собр. соч. в 30 т. Т. 7. М.: Изд-во АН СССР, 1956. С. 133–263.
- Гоголь Н. В. Несколько слов о Пушкине // Гоголь Н. В. Собр. соч. в 8 т. / Под общ. ред. В.Р. Щербини. Т. 7. М.: Правда, 1984. С. 58–64.
- Даль В. И. Толковый словарь живого великорусского языка: В 4 т. Т. 2: И – О / Под ред. И. А. Бодуэна де Куртенэ. Репр. воспр. изд. 1903–1909 гг. М.: Прогресс – Универс, 1994. 2030 стб.
- Зорин А. Кормя двуглавого орла... Литература и государственная идеология в России в последней трети XVIII – первой трети XIX века. М.: Новое литературное обозрение, 2001. 416 с. (Historia Rossica).
- Исупов К. Правда/истина // Идеи в России. Ideas in Russia. Idee w Rosji, Leksykon rosyjsko-polsko-angielski pod redakcją Andrzeja de Lazari, t.1-5.Warszawa – Łódź, 1999–2003. Т. 4. С. 442–449.
- Киреевский И. В. Избранные статьи / Сост., вступ. ст. и коммент. В.А. Котельникова. М.: Современник, 1984. 383 с.
- Ключевский В. О. История сословий в России: Полный курс лекций. Мн.: Харвест, 2004. 208 с.
- Коккьяра Дж. История фольклористики в Европе / Пер. с итал. М.: Изд-во иностранной литературы, 1960. 690 с.
- Костомаров Н. И. Русская история в жизнеописаниях ее главнейших деятелей. В 3 т. Ростов-на-Дону: Феникс, 1995. Т. 1. 640 с.; Т. 2. 608 с.
- Лавров П. Л. Философия и социология. Избр. произв. Т. 2. М.: Мысль, 1965. 703 с.
- Ломоносов М. В. Слово похвальное блаженныя памяти государю императору Петру Великому // Петр Великий: pro et contra / Предисл. Д. К. Бурлаки, Л. В. Полякова, А. А. Кара-Мурзы, послесл. А. А. Кара-Мурзы, коммент. С. Н. Казакова, К. Е. Нетужилова. СПб.: РХГИ, 2003. С. 85–104.
- Миллер А. И. Приобретение необходимое, но не вполне удобное: Трансфер понятия нация в Россию (начало XVIII – середина XIX в.) // Imperium inter pares: Роль трансферов в истории Российской империи (1700-1917): Сб. ст. М.: Новое литературное обозрение, 2010. С. 42–66. (Historia Rossica).
- Михайловский Н. К. Полн. собр. соч. [в 10 тт.]. 5-е изд. Т. 1. СПб.: Типогр. М. М. Стасюлевича, 1911. VII с., 970 стб.

- Михайловский Н. К. Полн. собр. соч. [в 10 тт.]. 4-е изд. Т. 4. СПб.: Типогр. М. М. Стасюлевича, 1909. 1020 стб.
- Михайловский Н. К. Русский рабочий вопрос на съезде промышленников // Народническая экономическая литература. Избранные произведения / Под общ. ред. Н. К. Каратаева. М.: Изд-во экономической литературы, 1958. С. 169–177.
- Мордовцев Д. Л. Соч. в 2 т. Т. 1: Великий раскол; Фанатик / Сост., вступ. ст. и коммент. Ю. В. Лебедева. М.: Художественная литература, 1991. 509 с.
- Мордовцев Д. Л. Самозванцы и понизовая вольница. Т. 2. СПб., 1867.
- Найт Н. Наука, империя и народность: Этнография в Русском географическом обществе, 1845–1855 // Российская империя в зарубежной историографии. Работы последних лет: Антология / Сост. П. Верт, П. С. Кабытов, А. И. Миллер. М., 2005. С. 155–198. (Новые границы).
- Орлова А. Труды и дни Мусоргского. Летопись жизни и творчества. М.: Государственное музыкальное изд-во, 1963. 701 с.
- Полевой Н. А. История Петра Великого. Сочинение Николая Полевого. Ч. 1. СПб.: В типогр. К. Жернакова, 1843. 352 с.
- Русские песни и романсы / Сост. В. Гусева. М.: Художественная литература, 1989. 542 с. (Классики и современники. Поэтическая библиотека).
- Сабурова Т. А. Русский интеллектуальный мир/миф (Социокультурные представления интеллигенции в России XIX столетия). Омск: «Наука», 2005. 306 с.
- Стасов В. В. Избр. соч. в 3-х т. Т. 3. М.: Искусство, 1952. 888 с.
- Стасов В. В. Собр. соч. 1847–1886. Т. 2: Художеств. статьи. СПб., 1894. 1050, 484 с.
- Степняк-Кравчинский С. Андрей Кожухов: Роман. Минск: Юнацтва, 1982. 286 с.
- Флеровский Н. Положение рабочего класса в России // Народническая экономическая литература. Избранные произведения / Под общ. ред. Н. К. Каратаева. М.: Изд-во экономической литературы, 1958. С. 192–219.
- «Хованщина» М. П. Мусоргского. Оперное либретто. Изд. 2. М.: Музыка, 1975. 80 с.
- Щапов А. П. Земство и раскол. Вып. 1. СПб.: Издание Д. Е. Кожанчикова, Типогр. Т-ва «Общественная польза», 1862. 161 с.
- Щапов А. П. Русский раскол старообрядства, рассматриваемый в связи с внутренним состоянием русской церкви и гражданственности в XVII веке и в первой половине XVIII. Опыт исторического исследования о причинах происхождения и распространения русского раскола. Казань: Издание книгопродавца Ивана Дубровина, 1859. III, 547 с.
- Щапов А. П. Соч. В 3 т. Т. 3: С биографией А. П. Щапова. СПб.: Изд-во М. В. Пирожкова, 1908. СХ, 705 с.
- Эйдельман Н. Я. Последний летописец. М.: Книга, 1983. 176 с.
- Эткинд А. Хлыст: Секты, литература и революция. М.: Новое литературное обозрение: Кафедра славистики Университета Хельсинки, 1998. 685 с.
- Юрганов А. Л. Категории русской средневековой культуры. 2-е изд., испр. и доп. СПб.: Центр гуманитарных инициатив, 2009. 368 с. (Письмена времени).
- Юрганов А. Л., Данилевский И. Н. «Правда» и «вера» русского средневековья // Одиссей. Человек в истории. 1997. М.: Наука, 1998. С. 144–170.

*Леонтьева Ольга Борисовна, доктор исторических наук, профессор кафедры Российской истории Самарского государственного университета; oleontieva@yandex.ru*



*И. В. КРЮЧКОВ*

## **ВЕНА И БУДАПЕШТ: ДВА ИМПЕРСКИХ ЦЕНТРА В ТЕКСТАХ РОССИЙСКИХ ПУТЕШЕСТВЕННИКОВ**

---

В статье показано восприятие российскими путешественниками Вены и Будапешта. Вену посещали чаще, что отразилось на количестве и содержании текстов. Автор приходит к выводу, что в большинстве случаев у российских путешественников формировался положительный образ столиц Австрии и Венгрии, особенно в начале XX века. Данный образ выступал в качестве эталона для развития городов России.

*Ключевые слова:* турист, гостиница, кафе, восприятие, досуг, Австро-Венгрия.

---

Города Австро-Венгрии довольно часто становились объектами воспоминаний российских путешественников. Наибольшей популярностью пользовались Вена, Прага, курорты Богемии, Нижней и Верхней Австрии. Будапешт, находясь в стороне от основных маршрутов передвижения подданных империи Романовых по Европе, не пользовался славой города часто посещаемого россиянами<sup>1</sup>.

Подавляющее число россиян путешествовало по Австро-Венгрии с помощью железнодорожного транспорта. Однако его качество в их воспоминаниях оценивается диаметрально противоположно. От описания мрачных и тесных вагонов до восхищенных оценок: «Как хороши венгерские железные дороги. Вагоны просторны... Они особенно удобны для туристов»<sup>2</sup>. Чем объясняются такие противоречия? Большую роль играл общий психологический настрой, когда эйфория от поездки затмевала отдельные мелочи и недостатки или наоборот. Существенное значение имело и социальное происхождение путешественников. Представители элиты российского общества были избалованы шиком вагонов 1-го класса в России, в то время как вагоны австрийских и венгерских железных дорог больше соответствовали запросам среднего класса, и его представители были несказанно рады, оказавшись в скромной, но комфортной обстановке вагонов Австрии и Венгрии.

---

<sup>1</sup> В 1909–1914 гг. по линии общества, занимавшегося организацией экскурсий для российских учителей, Вену посетило 6151 чел. Это был самый посещаемый город, на втором месте находилась Венеция (4872 чел.), а Будапешт за этот же период посетило всего 438 чел. См.: Русские учителя за границей... 1915. С. 15.

<sup>2</sup> *Матафтина*. 1895. С. 335.

Знакомство русских с Европой начиналось в Берлине, а чаще всего в Вене, даже если они транзитом проезжали через столицу Австрии в Италию или Южную Францию. Для большинства путешественников Европа начиналась сразу за западной границей Российской империи. Однако многие россияне замечали разительные контрасты Привислинского края (Царство Польское) с остальной частью империи Романовых. Поэтому для них Варшава – это почти Европа, а Вена – уже настоящая Европа. П. Н. Милюков познание Европы начинал именно в Вене, где он увидел настоящий Запад: «Варшава... показалась мне... при сравнении с Москвой настоящим европейским городом – первым, который я видел. Что же сказать о впечатлении, произведенном Веней...»<sup>3</sup>.

Большинство россиян отмечало пограничный характер Вены и Будапешта: граница между Россией и Европой, Западом и Востоком, Германским миром и Балканами. Вена и Будапешт, впитав черты западной и восточной культур, отличались от Берлина и других европейских городов, их специфика заключалась в поликультурности: «Вообще в Австрии перемешались все хорошие качества и все недостатки Востока и Запада. Вена добродетельнее других европейских столиц, а пороков в ней вдвое больше»<sup>4</sup>. Поэтому многие россияне полагали, что Вену нельзя считать германским городом, относя это утверждение к одному из мифов, распространенных в России о Вене и венцах: «Сильно ошибаются те, которые думают, что в австрийцах вообще есть что-нибудь немецкое; еще меньше черт немецкого характера можно отыскать в венцах»<sup>5</sup>.

Для россиян Вена – это симбиоз культур: немецкой, славянской, мадьярской и итальянской, что придавало городу неповторимый колорит. В нем сочетались немецкий педантизм и славянская душевность, мадьярская экспрессивность и итальянский эстетизм. Все это не позволяло ставить немцев Вены в один ряд с немцами Германии. От пруссаков они отличались остроумием, веселостью и доброжелательностью, в том

---

<sup>3</sup> Милюков. 1991. С. 85.

<sup>4</sup> Письма графа П. Василя... С. 395. За псевдонимом «граф (князь) П. Василя» скрывалась дочь генерала А. А. Ржевуского (1858–1941), выданная замуж за представителя германской ветви князей Радзивиллов. Совместно с французской писательницей Ж. Адам Е. Радзивилл опубликовала цикл скандальных работ о жизни правящих элит европейских государств. Она прославилась тем, что доказывала участие российской полиции в создании протоколов сионских мудрецов.

<sup>5</sup> Водовозова. 1883. С. 267. Данная работа не принадлежит к числу классических путевых очерков. Однако Е. Н. Водовозова несколько раз была в Вене, и в основу очерка, посвященного австрийской столице легли ее личные впечатления.

числе по отношению к иностранцам. Таким образом, в своем восприятии Германского мира россияне в лучшем случае признавали близость венцев к баварцам, трудолюбивым и жизнерадостным, одновременно отделяя их от остальной Германии, ибо в стремлении к досугу и жизни в удовольствии венцы больше напоминали французов и итальянцев<sup>6</sup>.

Однако возникал вопрос: чего больше было в Будапеште и Вене – Европы или Востока? В Вене было больше европейского начала, а в Будапеште Восток постепенно сдавал позиции, но этот город в отличие от Вены имел больше восточных черт. Следует подчеркнуть, что такого рода рассуждения основывались не только на путевых заметках. В России и в других европейских странах очень популярной была теория, согласно которой венгры (мадьяры) принадлежали не к финно-угорской языковой семье, а к тюркским народам<sup>7</sup>. Эти взгляды подогревались самими венграми, которые постоянно организовывали экспедиции на Восток в поисках корней венгерского народа; отметим в этой связи знаменитые экспедиции Е. Зичи, в том числе и на Северный Кавказ.

Вена и Берлин – излюбленный формат сравнения Среднеевропейского и Германского миров, и практически все сравнения были в пользу австрийской столицы. Вена – «аристократический шик и древнее происхождение», а Берлин – «город выскочка, с небогатым прошлым»<sup>8</sup>. Городской ландшафт Берлина – это правильная планировка улиц с четкой нумерацией одинаковых домов, что больше походило на принципы организации германской армии. Городской ландшафт Вены – дома-лабиринты, не похожие друг на друга, где можно легко заблудиться; в этом отражалась легкомысленность Вены и отрицание ею универсальных форм. Повседневность Берлина – мир бюрократии, педантизма и прагматизма. Повседневность Вены и Будапешта – «мир кафе», своеобразная культура габсбургских столиц: «Как трудно полюбить Берлин, так легко любить Вену»<sup>9</sup>. Кафе в Вене и Будапеште – это, прежде всего, дискуссионный клуб, художественный салон и «кулинарный эстетизм». Кафе в Вене и в Будапеште порождают своеобразное ощущение времени, измеряемого в чашках выпитого кофе, в числе прочитанных газет или в количестве собеседников. В тесном и душном берлинском кафе

---

<sup>6</sup> Лесков. 1883. С. 141.

<sup>7</sup> Дирр. 1907. С. 7.

<sup>8</sup> Эту тему активно разрабатывал французский писатель В. Тиссо, книги которого были переведены и имели большую популярность в России. См.: Тиссо. 1877.

<sup>9</sup> Письма графа П. Василия... С. 393.

мало кому захочется провести лишнюю минуту, тем более обсуждать злободневные проблемы политики, экономики и культуры.

«Кофейный маркер» служил подтверждением политических и культурных отличий различных областей империи Габсбургов. В Праге кофе пили не так, как в Вене, принося кофейник с приборами и отдельно сливки. Кофейная культура в Праге не была так развита, как в Вене и Будапеште. В этом отношении Вене ближе была российская (польская) Варшава, чем австрийская (богемская) Прага<sup>10</sup>. Венские кафе – своеобразный стиль жизни, политики, интеллектуального пространства. Все воспоминания Л. Д. Троцкого о Вене невольно сводятся к его дискуссиям с Р. Гильфердингом, К. Реннером, О. Бауэром и другими австрийскими политическими деятелями за столиками венских кафе<sup>11</sup>.

Троцкий был поражен «кофейным социализмом» австрийских социал-демократов, которым венский стиль заменил революционность. Аристократизм и мелкобуржуазность, тяга к интеллектуализму и обрывочные познания Маркса, джентльменство и сальные шутки о женщинах спокойно сочетались в характере социал-демократов Вены. Противоречивость и многогранность австрийской столицы не могла не сказаться на венских политиках, в том числе социал-демократах. Они не позиционировали себя радикально по отношению к имперской власти, уживаясь с существующими устоями. «В старой императорской иерархической, суетной и тщеславной Вене марксисты-академики сладостно именовали друг друга “Herz Doctor”»<sup>12</sup>. Это, на взгляд Троцкого, демонстрировало степень «разложения» венских социал-демократов. В Вене, в сравнении с Берлином, не было настоящей политики и политической борьбы, все выглядело буднично и по-домашнему. «Кофе» вытеснил политику, эстетика подавила революционность. Однажды О. Бауэр заявил Троцкому, что в Вене и в Австро-Венгрии нет внешней политики, так как общество в венских кафе не проявляет к ней равным счетом никакого внимания<sup>13</sup>.

Россияне, даже если они негативно высказываются о венской и будапештской кухне, с большим благоговением вспоминали дивный кофе Вены и Будапешта. В своих мемуарах Милюков с восхищением описывал венский кофе: «А венский кофе с не тонушим куском сахара на сливочной пенке и с неизменным стаканом ледяной воды»<sup>14</sup>. Венская кух-

<sup>10</sup> Воробьев. 1901. С. 1126.

<sup>11</sup> Троцкий. 1991. С. 203-204.

<sup>12</sup> Там же. С. 205-206.

<sup>13</sup> Там же. С. 208.

<sup>14</sup> Милюков. 1991. С. 85.

ня – отдельный предмет рассуждений российских путешественников. В 1870-80-е гг. доминировали негативные оценки венской гастрономии: мясо и мясные изделия – полусырые и невкусные, с ненужным обилием зелени, супы – это нечто напоминающее неправильную яичницу, спиртное – дрянь, а водку лучше не просить, принесут нечто дешевое, плохого качества и явно сделанное в Вене. Чай заказывать не рекомендовалось, но, как всегда, даже непримиримые критики венской кухни признавали неповторимый вкус венского кофе<sup>15</sup>. Общий вывод напрашивался следующий: «Вообще, оставив Россию, откажитесь от чая, хороших французских вин и хорошего курительного табака. Особенно в Австрии этого всего не спрашивать; возьмут дорого, а дадут ужасную дрянь»<sup>16</sup>.

Не стоит всерьез воспринимать большую часть такого рода опусов. Здесь проявляется типичное культурное противостояние. Когда россияне с 1870-х гг. стали в массовом порядке осваивать Европу, открылась полная несовместимость русской и европейской кухни. «Сырое» мясо Вены, Будапешта и Парижа отражало стиль приготовления мясных блюд в Австрии, Венгрии и Франции, не предполагавший лишнюю жарку или переварку блюд, чтобы мясо не потеряло свои вкусовые качества. Супы, похожие на яичницу, это супы-пюре. Массовый россиянин оказался абсолютно не готов к восприятию большинства марок европейских спиртных напитков и способов приготовления любимого в России чая. Отсюда бесконечная критика австрийских и венгерских вин. Долгое время показателем дикости Вены у многих россиян являлось отсутствие в гостиницах и в кафе самоваров. В начале XX в. критические выпады в адрес венской и будапештской кухни практически исчезают, что было связано не с улучшением качества и ассортимента предлагаемых блюд, а с тем, что русские путешественники привыкли к австрийской/венгерской еде и напиткам, и они больше не воспринимались как «гастрономический казус».

Городское пространство Будапешта и особенно Вены вызывало восхищение у российских путешественников. Планировка улиц и площадей, их чистота, архитектура общественных и частных зданий становились объектом положительных эстетических впечатлений о Вене и Будапеште. Н. Лесков писал: «Улицы, которыми вел меня проводник, все казались очень изящными, но по мере того, как мы продвигались к Леопольдштадту, изящество их становилось еще заметнее. Здания были

---

<sup>15</sup> Клеванов. 1871. С. 69.

<sup>16</sup> Там же. С. 70.

большие сильные и величественные»<sup>17</sup>. Практически все воспоминания россиян наполнены подробным описанием главных достопримечательностей Вены и Будапешта. Предметом особого внимания становились венские гостиницы, больше походившие на дворцы; многие россияне полагали, что ни в Санкт-Петербурге, ни в Париже нет таких гостиниц. Венские гостиницы отличались роскошью внутреннего убранства, особым уютом в сочетании с помпезным имперским архитектурным стилем, который должен был внушать приезжим мощь и величие империи Габсбургов. В начале XX века Будапешт также имел несколько величественных гостиниц, но их численность значительно уступала Вене.

Важное место в воспоминаниях россиян о городском пейзаже австрийской и венгерской столиц занимали венские и будапештские кучера. В Вене, и особенно в Будапеште, они разрушали убежденность россиян в том, что самые быстрые и лихие кучера находятся именно на их родине. С венскими и будапештскими кучерами могли сравниться только поляки: «Наши кучера так ездить не умеют. Они очень грузны, нет в них такой “элавации”, которая потребна для дышла...»<sup>18</sup>.

Городской ландшафт Вены и Будапешта четко дифференцируется в восприятии россиян. В Вене город делится на исторический центр и окраины, город и пригороды, и особняком стоит «город в городе» – Рингштрассе, воплотившая блеск и величие имперской Вены<sup>19</sup>. В Будапеште роль венского Ринга и Елисейских полей в Париже выполнял проспект Андраши с его имперской помпезностью и яркостью.

Обычно окраины европейских городов представляли печальное зрелище. Однако «...чем Вене можно гордиться перед другими столицами, это своими красивыми и разнообразными окрестностями»<sup>20</sup>. Важным критерием принадлежности того или иного района Вены к центру являлось наличие трамвая<sup>21</sup>. Венские пригороды имели свои особенности. Троицкий четко выделял *Huetteldorf*, где красивые виллы сдавались на лето венской элите и среднему классу, и пригород становился «смещенным» центром Вены на сезон, и где зимой в условиях сезонной дешевизны он мог приобщиться к богемной жизни. В тяжелые периоды семья Троицких переселялась в безнадежный *Sievering*.

---

<sup>17</sup> Лесков. 1883. С. 139-140.

<sup>18</sup> Там же. С. 141.

<sup>19</sup> Клеванов. 1871. С. 59-60.

<sup>20</sup> Водовозова. 1883. С. 270.

<sup>21</sup> Троицкий. 1991. С. 204.

Описания окрестностей Будапешта в воспоминаниях россиян имеют эпизодический характер; они явно не попадали в список туристических мест, которые следовало посещать иностранцам, если это не были знаменитые будапештские водолечебницы и минеральные источники. Поэтому пригороды Будапешта производили унылое впечатление.

Центр Вены воплощал в себе средневековые Св. Стефана и примыкающих к нему узких улиц и порождение модерна – улицы Грабен и Картнер, на которых находились самые роскошные магазины. Грабен для русских – это Невский проспект в Вене. Только Невский был длиннее и шире, отражая масштабы империи Романовых и национальный характер россиян, а Грабен – уютнее, благоустроеннее и непременно с запахом кофе. Грабен и Картнер удивляли надписями о том, что в некоторых магазинах говорили на «французском языке», что было вполне естественно в Санкт-Петербурге или в Берлине<sup>22</sup>. Однако это не говорило о безграмотности населения. Россияне, посетившие школы Вены и Будапешта, были восхищены их материальным оснащением и ориентированностью на передовые достижения европейской педагогики<sup>23</sup>. Даже школы Санкт-Петербурга по многим параметрам уступали школам Вены и Будапешта, не говоря уже о других российских городах. Система образования в школах Вены и Будапешта лишней раз демонстрировала европейскость Австрии и Венгрии, их ориентацию на Запад.

Будапешт – это, прежде всего, застывший в развитии аристократический Офен (Буда) и бурно развивающийся Пешт, блистательный центр и грязные окраины. Из-за своей европейскости Будапешт для россиян являлся самым невенгерским городом Венгрии, его космополитизм и стремление к инновациям восхищали. Будапешт – «не Венгрия», этот лейтмотив довольно часто звучал в словах россиян и иностранцев. Венгрия и ее национальный характер (психология кочевого и воинственного народа, радушие, импульсивность) в наибольшей степени проявлялись в провинциальных городах, особенно в Дебрецене и Сегеде<sup>24</sup>. Приезжая в Будапешт многие российские путешественники были уже «обработаны» панславистской литературой и другими мадьярофобскими изданиями, культивировавшими образ «мадьярского врага». Поэтому, прибывая в столицу Венгрии, они опасались тотального проявления русофобии и враждебного отношения к ним со стороны венгерских

---

<sup>22</sup> Клеванов. 1871. С. 61.

<sup>23</sup> Матафтина. 1895. С. 342.

<sup>24</sup> Водовозова. 1883. С. 491.

обывателей. Но уже первое общение с венграми (мадьярами) развенчивало эти страхи<sup>25</sup>. А. Верещагин, брат знаменитого русского художника, побывавший в Будапеште, с восторгом вспоминал дни, проведенные в столице Венгрии: «Никогда я не предполагал, чтобы венгерцы могли так искренне, сердечно приветствовать русского...»<sup>26</sup>.

Музыкальная жизнь Вены завораживала россиян. Обилие театров, вальсы И. Штрауса, музыка других композиторов на каждом шагу сопровождали путешественников в Вене: «Венцы – народ в высшей степени музыкальный, и эта страсть к музыке дает себя чувствовать уже с раннего утра»<sup>27</sup>. При всем сходстве музыкальной жизни Вены и Будапешта, венгерская столица имела свою специфику. Музыка цыган, чардаши стали неотъемлемой частью музыкальной культуры Будапешта, что отличало его от Вены и в большей степени сближало с Россией, где цыганская музыка пользовалась огромной популярностью<sup>28</sup>.

Воспоминания о Вене и Будапеште постоянно сопровождаются описаниями природного ландшафта, который поражал своей красотой, дополняя имперский блеск и эстетику этих городов. Природа Вены и Будапешта с симбиозом севера и юга Европы и с обилием солнца подчеркивала их поликультурность и отличала от Берлина с его монотонной северной природой и с недостатком солнца. Все это накладывало отпечаток на характер венцев, жителей Будапешта и Берлина. Северный климат закалял берлинцев, делая из них суровых и прагматичных людей<sup>29</sup>. Мягкий климат Вены и Будапешта стимулировал вкус к удовольствиям и безмятежность жителей Вены и Будапешта.

Венские парки с их кафе, массовыми гуляниями и оркестрами производили неизгладимое впечатление. Россияне отмечали ухоженность, демократизм и продуманность до мелочей всех составных частей паркового досуга. Даже та часть Пратера, которая в основном посещалась низами венского общества, поражала своим комфортом и благоустройством. Правда, Н. Лесков обратил внимание на культурный раздел Пратера на аристократическую и демократическую часть (Телячий парк – “Kalbs-Prater”)<sup>30</sup>. Граница проходила там, где начинались продавцы дешевых сосисок и мусор, валявшийся на газонах, хотя его было немного,

---

<sup>25</sup> *Матафтина*. 1895. С. 334.

<sup>26</sup> *Верещагин*. 1896. С. 234.

<sup>27</sup> *Водовозова*. 1883. С. 288.

<sup>28</sup> *Попов*. 1868. С. 97.

<sup>29</sup> *Водовозова*. 1883. С. 269.

<sup>30</sup> *Лесков*. 1883. С. 141.



в сравнении с парками многих российских городов. Еще одно обстоятельство бросалось в глаза россиянам – скорость, с которой венцы гуляли по парку. Объяснялось это тем, что венцы были предприимчивыми и деловыми людьми, очень ценившими время, и в тоже время венцы – большими эстетам и почитателями досуговой культуры. Поэтому им приходилось разрываться между профессиональными обязанностями и досугом, что выливалось в компромиссном отдыхе «в быстром ритме по дорожкам Пратера». Особенно этот ритм чувствовался в Государственном парке, излюбленном месте отдыха среднего класса Вены.

Большое впечатление на приезжающих производили парки Будапешта, особенно зеленая зона острова Маргит. Неотъемлемой частью парковой культуры венгерской столицы были ее минеральные источники и водолечебницы. В этом россияне усматривали последствия турецкого господства в Венгрии и очередное подтверждение пограничного характера Будапешта, впитавшего черты западной и восточной культур.

Важную роль в описаниях Вены и Будапешта играет погода, она оттеняет общий психологический настрой и подчеркивает остроту восприятия имперских столиц Дунайской монархии. В воспоминаниях «пессимистов» погода в Вене и Будапеште обязательно серо-осенняя, холодная с промозглыми дождями, все это драматизирует социальные и культурные противоречия городов. И Дунай – никакой не голубой, а серый и унылый, ничем не отличающийся от других рек Европы. Полная противоположность – восприятие венской и будапештской погоды «оптимистами»: «Про Вену можно сказать, что она никогда не бывает мрачной. Дунай в Вене он, в самом деле, синий... Живописные виды, окружающие Вену, несравненно хороши...»<sup>31</sup>. Встречались и нейтральные описания Дуная: «мутно-беловатый», но с позитивной оценкой<sup>32</sup>.

Достижения модернизации в Вене и в Будапеште у россиян вызвали большой восторг (архитектура, организация транспортного сообщения, городское хозяйство): «В Пеште такая же лихорадочная жизнь, что и в Вене. По всем направлениям несутся электрические трамваи»<sup>33</sup>. Даже Санкт-Петербург в этом отношении не мог тягаться с Веной и Будапештом, не говоря уже о Москве и провинциальных городах Российской империи. Попытки объяснения сводились к признанию различий культурного уровня и наличия в Австрии и Венгрии большей свободы,

---

<sup>31</sup> Письма графа П. Василя... С. 393-394.

<sup>32</sup> *Матафтина*. 1895. С. 325.

<sup>33</sup> *Путник* (Н. Лендер). 1908. С. 244.

чем в России. Троцкий выбрал Вену в качестве места проживания в эмиграции, потому что в Вене не было такого разгула полицейщины, как в Берлине<sup>34</sup>. Россияне обращали внимание на то, с каким достоинством себя держали венцы и будапештцы, даже из низших сословий: они четко определяли свои взаимоотношения с государством и законом, не позволяя излишне регламентировать свою частную жизнь, тем более властям в нее вмешиваться. Лесков описал сцену случайной встречи одной российской княжны в Пратере с Францем-Иосифом, во время которой венцы вели себя непринужденно, в то время как княгиня, к великому удивлению окружающих, находилась в состоянии ступора<sup>35</sup>.

«Свобода» и «несвобода» Вены была постоянной темой для дискуссий между россиянами. Троцкий подчеркивал либерализм дуалистической Вены. Через это пришлось пройти и его детям, которым в венской школе по «Закону Божьему» разрешили без всяких препятствий выбрать лютеранство в качестве объекта обучения<sup>36</sup>. Для него это был одним из самых важных проявлений венской свободы. В России очень много писали о разгуле полицейщины в Австрии в целом, и в Вене в частности. Однако, попадая в Вену, россияне понимали, насколько не соответствуют действительности эти утверждения. Именно свобода и либерализм 1860-70-х гг. сломали в представлениях многих путешественников средневековый, консервативный облик Вены, сделав из нее одну из самых красивых и изящных столиц Европы.

Большинство воспоминаний принадлежит мужчинам, что предопределило интерес к «женской тематике». На их взгляд все лучшие качества Вены и Будапешта были воплощены в их женщинах: элегантность, красота, грациозность, умение комфортно организовать свою жизнь. Женщины Вены и Будапешта отражали слияние лучших качеств Европы и Востока, в частности от восточных женщин они переняли сластолюбие и изнеженность, а от женщин Европы страсть к моде, веселость нрава и остроумие. Тяга венок к узкой талии трактовалась как «попытка хоть как-то отличиться от женщин Востока»<sup>37</sup>. Воплощением красоты венских дам, разумеется, была императрица Елизавета (Си-Си), все довольно быстро забыли о ее баварском происхождении и пренеб-

---

<sup>34</sup> Троцкий. 1991. С. 202.

<sup>35</sup> Лесков. 1883. С. 144-145. С большим возмущением эту историю Н. Лескову рассказала служанка княгини.

<sup>36</sup> Троцкий. 1991. С. 226-227.

<sup>37</sup> Письма графа П. Василя... С. 394.

режительном отношении к дворцовому этикету. Женщины Вены и Будапешта постоянно отслеживали последние достижения парижской моды, но в отличие от женщин Берлина, они не копировали ее полностью, дополняя одежду своими задумками и предпочтениями<sup>38</sup>. В этом проявлялась творческая и неугомонная натура Средней Европы. Однако венки, как и жительницы Будапешта, не были «истуканами». За всей этой монументальностью звучал голос «мужского утешения»: «...не все венки неприступны»<sup>39</sup>. В глазах многих русских мужчин самые красивые женщины в Европе проживали в Будапеште<sup>40</sup>. Такого рода рассуждения, как правило, касались всех мадьяр: «Мадьяры народ в высшей степени красивый, хотя они плотны и широкоплечи, но чрезвычайно стройны, имеют непринужденную, гордую поступь, смелый, гордый взгляд, в котором всякий прочтет сознание своего достоинства»<sup>41</sup>.

Венские и будапештские мужчины не вызывали особых эмоций у русских путешественников. Женщины отмечали в венских и особенно в будапештских мужчинах стремление к щегольству<sup>42</sup>. Рассуждения о женщинах, сексе в Вене непременно приводили к разговорам о З. Фрейде и психоанализе. Российская богема и интеллектуалы были в начале XX в. практически повально увлечены новой доктриной. Даже большевики оказались подвержены данной моде. Иоффе длительное время лечился у ученика Фрейда А. Адлера, о чем не мог не упомянуть в своих воспоминаниях Троцкий<sup>43</sup>.

Многих россиян волновало, что венцы знали о России. Из разговоров с местными жителями россияне делали вывод, что о России венцы имели самые поверхностные и, как правило, негативные представления, полученные со страниц местных газет. Для них Россия – это деспотическая страна, где общество раздавлено произволом бюрократии и собственность ничем не гарантирована. Это, зачастую, порождало ответное пренебрежительное отношение к венцам. Очень примечательны аргументы «за» Россию, что выглядело примерно так: мы россияне имеем большие деньги и мы их тратим у вас, тем самым давая вам заработать на хлеб и масло, а «вы тут еще смеете нас критиковать». Комплекс

---

<sup>38</sup> Водовозова. 1883. С. 276.

<sup>39</sup> Письма графа П. Василия... С. 394.

<sup>40</sup> Клеванов. 1871. С. 71; Водовозова. 1883. С. 513.

<sup>41</sup> Водовозова. 1883. С. 510.

<sup>42</sup> Матафтина. 1895. С. 326.

<sup>43</sup> Троцкий. 1991. С. 216-217.

«толстосу́ма» присутствовал у многих россиян, оказавшихся не только в Вене, но и в других государствах Европы<sup>44</sup>. Обиды за державу и «загубленное» самолюбие компенсировались ощущением собственной финансовой мощи, которой не могли похвастаться европейцы. Еще меньше о России знали жители Будапешта. Восприятие ими далекого восточного соседа шло через призму «агрессии 1849 года» и поддержки панславистских настроений, как внутри России, так и за ее пределами.

При доминировании положительных воспоминаний о Вене и Будапеште встречаются и критические замечания: «И вот, наконец, вы в Вене, в этой казарменно-холодной после мягкого изящества и теплоты Италии...»<sup>45</sup>. Больше всего нареканий вызывала дороговизна Вены и Будапешта, их бюрократическая, холодная неискренность. Ряд авторов отмечал фальшь венского общества, когда даже прислуга старалась напустить на себя аристократизм и важность, за которыми реально ничего не стояло<sup>46</sup>. В Вене невозможно было поговорить по душам, тем более за употреблением спиртного, что россиянам казалось неестественным.

В последней трети XIX в. многие россияне жаловались на прислугу венских гостиниц и кафе и на извозчиков, обвиняя их в грубости и в обмане. По мнению путешественников, венская и будапештская дороговизна заставляла низы общества с трудом сводить концы с концами, поэтому им приходилось жульничать и обманывать туристов, тем более во время денежных расчетов. Этим же объяснялась скромность и воздержанность среднего класса австрийской столицы. Россияне не могли поверить, что представитель среднего класса в большинстве случаев в дорогом ресторане заказывал только один бокал пива и стремился сэкономить на городском транспорте, предпочитая пешие прогулки. Все это было как-то не по-русски, где стремление к шику и показному богатству воспринимались вполне адекватно, даже в том случае, если приходилось залезать в долги. Ответ на возникавший вопрос, кто же постоянно в Вене заполнял дорогие рестораны и гостиницы, был прост: финансовая аристократия, еврейские банкиры и казнокрады<sup>47</sup>. Такого рода критические рассуждения встречаются и применительно к Будапешту.

Тема «еврейского засилья» в Вене и Будапеште постоянно звучала в донесениях российских дипломатов, работавших в Австрии и в Венг-

---

<sup>44</sup> Клеванов. 1871. С. 68.

<sup>45</sup> Путник (Н. Лендер). 1908. С. 225.

<sup>46</sup> Клеванов. 1871. С. 59, 68; Путник (Н. Лендер). 1908. С. 225.

<sup>47</sup> Путник (Н. Лендер). 1908. С. 225-226.

рии, и на страницах периодической печати. Многие россияне были абсолютно убеждены, что банковский капитал, промышленные предприятия, пресса, культура находятся под полным контролем евреев: «Говорят, что весь Лондон принадлежит одному какому-то лорду. Вся Вена составляет собственность также одного владельца и это – еврей. Дома, не принадлежащие ему непосредственно, принадлежат ему через его банки, в которых они заложены. Ему принадлежат все фабрики, в его руках все финансы страны, вся промышленность, вся торговля, весь вывоз и ввоз. Он чуть ли не решает вопрос о войне и мире»<sup>48</sup>.

С восторгом некоторые российские путешественники применительно к Будапешту повторяли эпитет антисемитов империи Габсбургов – «Юденпешт». Особенно у россиян вызывали раздражение евреи из Галиции, которые в отличие от венских и будапештских евреев не имели европейского лоска, сохранив пейсы, национальную одежду, занимаясь мелкой торговлей и сезонными работами. Эти люди принадлежали к низам столичного общества, зачастую не имея даже минимальных средств к существованию. Данные наблюдения о галицких евреях противоречили устойчивому мифу о «еврейском засилье» в Вене и Будапеште. Российские путешественники-антисемиты рассматривали еврейскую общину как единый монолит, отказываясь признавать очевидное глубокое социальное расслоение среди евреев Вены и Будапешта.

Некоторые авторы в Вене и Будапеште видели рельефное отражение политических и культурных противоречий империи Габсбургов, прежде всего «славянского вопроса». Славяне в Вене ими воспринимались как люди второго сорта. Надо подчеркнуть, что такие взгляды россиян формировались во многом под влиянием разговоров с общественно-политическими лидерами славян Вены, которые любили сгущать краски. В Вене налицо были признаки социальной дифференциации славянского населения, но российские путешественники не обращали внимание на этот факт, коллективно относя славян, в отличие от евреев, в разряд угнетенных и обиженных. Хотя и здесь был прогресс, так как, по мнению некоторых горячих критиков Вены: «Деспотическое господство австрийцев над разноплеменными народами теперь уже не так прочно, как это было раньше»<sup>49</sup>.

Следует отметить, что наибольшее количество отрицательных откликов приходится на 1860-80-е гг., затем их число начинает резко сни-

---

<sup>48</sup> Лашин. 1897. С. 472.

<sup>49</sup> Путник (Н. Лендер). 1908. С. 227.

жаться. В начале XX в. такого рода рассуждения практически не встречаются. Россияне, с одной стороны, полностью адаптировались к венскому быту и стилю жизни. С другой стороны, постоянные поездки за границу способствовали росту культурного уровня «среднего» жителя России, тем более провинциалов. К тому же в начале XX в. большую часть приезжающих в Вену и Будапешт подданных империи Романовых уже составляли не представители интеллектуальной и политической элиты, «препарирующие» Вену и Будапешт с точки зрения анализа социальных и политических язв, а туристы, настроенные на отдых и познание новых городов и стран, что не могло не сказаться на содержании текстов российских путешественников.

Вена имела особый «домашний» характер для россиян. Свое путешествие в Европу они начинали в Вене и в ней они его завершали. Прибытие в Вену являлось предвкушением встречи с родиной и близкими, что придавало особую русскую сентиментальность образу Вены. Тоска по Вене присутствует в воспоминаниях многих россиян, и эта грусть перемешивалась с более широким явлением – приятными воспоминаниями о своем пребывании в Европе.

Сконструированные россиянами образы Вены и Будапешта носили многогранный и многоплановый характер, здесь перемешивались представления о блистательной повседневной жизни и идеальном типе европейского города рубежа XIX–XX вв., свободе личности и бедах человека «эпохи модерна», поликультурности «нового Вавилона» и национального снобизма. В отличие от Вены, Будапешт не стал «своим» для россиян, он находился в стороне от основных маршрутов передвижения российских путешественников и не вызывал тех чувств, с которыми уезжали и приезжали в Вену жители Москвы, Санкт-Петербурга и других регионов России. Будапешт оставался довольно симпатичным, но чужим городом.

«Блистательность» Вены становится альтернативой националистичному, чопорному и педантичному Берлину. Россияне не очень комфортно чувствовали себя в германской столице, поэтому Вена с ее стремлением к удовольствиям и поликультурностью является лучшим свидетельством европейскости русских, прежде всего для них самих и показателем того, что они вполне гармонично могут жить в Европе. Отсюда следует бесконечное множество сравнений Берлина и Вены, и практически все они были не в пользу германской столицы. Кроме того, у россиян конструируется образ «Среднеевропейской общности», расположившейся между Германией и Россией.

Жанр путевых очерков показывает, насколько личное знакомство россиян с заграницей и, особенно с традиционным соперником России в Европе – Австро-Венгрией, расходится с доминировавшими в интеллектуальном пространстве России в последней трети XIX – начале XX в. стереотипами и клише, которые зачастую переходили в образ «австро-немецкого» и «мадьярского» врага. «Злой мадьяр» в них превращался в добродушного и хлебосольного человека, а жестокий и скучный австро-немец в веселого и очень открытого венца.

Вена и Будапешт для многих россиян были некоей идеальной моделью развития европейского города на рубеже XIX-XX вв., проецируя свой опыт на российские столицы и другие города России.

### БИБЛИОГРАФИЯ

- Верецагин А.* У болгар и заграницей. 1881-1893. Воспоминания и рассказы. СПб.: Типография А.С. Суворина, 1896. 328 с.
- Водовозова Е. Н.* Жизнь европейских народов. Т. III. Средняя Европа. СПб.: Общественная польза, 1883. 569 с.
- Воробьев Г. А.* Прага златоглавая. Путевые впечатления археолога // Исторический вестник. 1901. Июнь. С. 1122-1155.
- Дирр А. М.* Две статьи о современном положении кавказоведения // Список материалов для описания местностей и племен Кавказа. Вып. XXXVII. Тифлис, 1907. С. 1-17.
- Клеванов А.* Путевые заметки за границей и по России. М.: Типография А. И. Мамонтова, 1871. 543 с.
- Лашин.* Письмо из Вены // Русский вестник. 1897. № 11. С. 469-473.
- Лесков Н.* Воспоминания император Франц-Иосиф без этикета // Исторический вестник. 1883. Январь. С. 139-146.
- Матафтина О.* Из Пешта в Вену (педагогические заметки) // Образование. 1895. № 4. С. 324-342.
- Милюков П. Н.* Воспоминания. М.: Издательство полит. литературы, 1991. 528 с.
- Письма графа П. Василия. Лондонское общество. Венское общество. СПб.: Издание А. С. Суворина, 1886. 486 с.
- Попов Н.* Венгерские степи. Отрывок из путевых воспоминаний // Русский вестник. 1868. № 7. С. 81-98.
- Путник (Н. Лендер)* По Европе и Востоку. Очерки и картинки. СПб.: Издание А. С. Суворина, 1908. 248 с.
- Русские учителя за границей. Возвращение домой. М., 1915. 125 с.
- Тиссо В.* Путевые впечатления. Поездка по Ломбардии и Австрии // Русский вестник. 1877. № 10. С. 878-909.
- Троцкий Л.* Моя жизнь. Опыт автобиографии. М.: Панорама, 1991. 624 с.
- Крючков Игорь Владимирович**, доктор исторических наук, профессор, заведующий кафедрой новой и новейшей истории Ставропольского государственного университета; igory5@yandex.ru.

А. В. КОПЕНЕВСКИЙ

**О ТРАССИБЕ, МОСКВЕ, РУССКОМ «НЕТ!»  
И «КВИНТЭССЕНЦИИ ВИЗАНТИЙСКОГО ДУХА»**  
ПУТЕВЫЕ ЗАМЕТКИ А.ДЖ. ТОЙНБИ О РОССИИ

---

Статья посвящена малоизвестной странице биографии А.Дж. Тойнби – его путешествию из Китая в Европу через территорию Советского Союза в 1930 г. Эта поездка непосредственно предшествовала началу работы Тойнби над «Постижением истории», и впечатления от увиденного существенно повлияли на концептуальную основу главного труда его жизни. В статье предпринята попытка рассмотреть предысторию данного путешествия и проанализировать те сдвиги в мировоззрении Тойнби, которые стали следствием знакомства с советской действительностью.

**Ключевые слова:** Тойнби, Россия, цивилизационный подход, травелог, Транссиб, советская власть, Москва.

---

Травелог – чрезвычайно емкая и выразительная форма постижения и освоения «чужого» культурного пространства. Именно поэтому произведения данного жанра являются первостепенными источниками для исследования ментальности, этоса, идентичности и социокультурных стереотипов. Однако в том случае, когда путешественник оказывается одновременно ученым, и при этом обладает литературным даром, позволяющим облечь плоды наблюдений в яркие образы, емкие метафоры и точные дефиниции, травелог превращается из «сырья» для теоретизирования в его инструмент. Ярким примером такого совпадения позиций наблюдательного странника, пронизательного мыслителя и талантливо-го рассказчика является А. Дж. Тойнби – один из самых противоречивых историков и философов XX в. Как писал известный исследователь творчества Тойнби К. Уайнтроут, он всегда был по преимуществу «странствующим ученым»: «Когда задумываешься, как много написал Тойнби (написано ли кем-либо больше?), остается только удивляться, когда он успевал путешествовать. Если же задуматься, сколько он путешествовал, приходится удивляться, когда он находил время писать»<sup>1</sup>.

Действительно, путевые заметки составляют весьма значительную часть наследия Тойнби, лишь в малой степени изученную исследователями. Однако без должного внимания к этой стороне интеллектуальной биографии Тойнби вряд ли возможна адекватная интерпретация его

---

<sup>1</sup> Winetrou. 1989. P. 208.



взглядов. В творческой лаборатории мыслителя травелогоу отводилась особая роль. Тойнби мастерски использовал этот жанр как способ ментального картографирования исследуемого культурного пространства (сам он называл эту процедуру «нанести страну на карту»<sup>2</sup>) и форму первичного теоретического обобщения.

Еще в студенческие годы А. Дж. Тойнби пришел к убеждению, что прошлое нельзя понять, не вообразив и не прочувствовав его. Эта мысль нашла свое отчетливое выражение в одном из самых ранних сочинений – докладе «Что делает историк», с которым начинающий исследователь выступил в Оксфордском студенческом обществе в 1911 году<sup>3</sup>.

В этом докладе Тойнби утверждал, что главным «орудием» историка, посредством которого тот воссоздает прошлое, является воображение<sup>4</sup>: историк вырывает из тьмы веков минувшие эпохи, но именно воображение, а не само прошлое является источником света<sup>5</sup>. Жизнь живет настоящим и «отбрасывает прошлое, как змея свою кожу», поэтому подлинное волшебство даровано тому, кто способен, переносясь во времени, «возвзвать» к этому прошлому и привнести его в настоящее. Это и есть, по мысли Тойнби, «дар истинного историка». Разумеется, он не отрицает необходимости таких процедур, как классификация фактов, анализ и реконструкция, но это – лишь «прелюдия», имеющая такое же отношение к подлинной работе историка, «как пассы гипнотизера к гипнотическому трансу»<sup>6</sup>. Тойнби был твердо уверен в том, что нет более эффективного способа развить сей волшебный дар историка, чем посещение тех мест, коим посвящены его студии. Этому правилу он стремился следовать всю жизнь, и именно с путешествиями связаны наиболее значимые вехи его интеллектуальной биографии.

Первая догадка о параллельном сосуществовании в истории различных цивилизаций осенила Тойнби в 1912 г. во время путешествия по Греции. Много позже, будучи уже всемирно знаменитым автором «По-

---

<sup>2</sup> Royal Institute of International Affairs (Chatham House). Archives. Toynbee Section. 4/Toyn/11. 2646. Toynbee A. J. Letter to J. W. Headlam-Morley. 25.10.1928.

<sup>3</sup> Bodleian Library. Special Collections. Toynbee Papers. Box 1. Toynbee A.J. What Historian Does (Essay read to an undergraduate club at Oxford in the university year 1910-1911). Сам Тойнби датировал данный опус 1910-1911 учебным годом, но поскольку в нем содержится ссылка на «инцидент Мёберли-Джордэйн», описанный в книге Шарлотты Мёберли и Элеоноры Джордэйн «Приключение» (*Moberly, Jourdain*. P. 127.), то именно год издания данной книги (1911) и должен считаться *terminus post quem* для датировки указанного доклада.

<sup>4</sup> Ibid. P. 7.

<sup>5</sup> Ibid. P. 2.

<sup>6</sup> Ibid. P. 38-39.

стижения истории» и корифеем «цивилизационного подхода», он бережно хранил в памяти этот момент. В письме к известному исследователю творчества О. Шпенглера Г. Хьюзу (4 июня 1951 г.) Тойнби писал, что озарение снизошло на него 23 мая 1912 г., когда он обозревал вид Лаконии, открывшийся с вершины средневековой цитадели Мистры<sup>7</sup>. Эта идея приобрела более конкретные очертания в 1921 г. в ходе поездок Тойнби по Греции и Турции в качестве корреспондента «Манчестер Гардиан». Как рассказал он в том же письме Г. Хьюзу, план будущей книги был набросан им на половинке листа бумаги в поезде, в котором он возвращался из Греции в августе 1921 г., и вплоть до лета 1929 г. продолжалась детализация этого плана. Но, оценивая масштаб предстоящей работы, он осознавал, что для осуществления замысла ему явно не хватает личных впечатлений о тех странах и народах, прошлое которых предстоит оживить на страницах задуманного *opus magnum*.

К счастью, именно тогда, в 1929 г. у Тойнби появилась возможность совершить турне через всю Евразию за счет правительства Его Величества. К тому времени, благодаря своим «Обзорам международной политики», он успел завоевать репутацию маститого аналитика, в связи с чем получил предложение принять участие в конференции Института тихоокеанских отношений. Провести ее планировалось осенью 1929 г. в Киото, что открывало перед Тойнби возможность – на тот момент еще достаточно призрачную – по пути в Японию и по возвращении с конференции посетить разные страны и напитаться впечатлениями, столь необходимыми для воплощения амбициозного замысла. Оставалась сущая мелочь: найти средства для такого турне. За помощью Тойнби обратился к влиятельному чиновнику Foreign Office, историку и политическому аналитику сэру Джеймсу Виклифу Хедлэм-Морли, под началом которого он трудился в годы войны в Департаменте пропаганды МИДа. Бывший шеф был высокого мнения о талантах Тойнби, лестно отзывался о его «Обзорах международной политики» и взялся выхлопотать командировку на конференцию. В октябре 1928 г. вопрос был решен положительно<sup>8</sup>, и Тойнби начал подготовку к поездке. Детали путешествия он обсуждал с Арчибальдом Роузом – членом Тихоокеанского совета Института тихоокеанских отношений, знатоком Китая, Дальнего Востока и Центральной Азии, бывшим коммерческим атташе Британского посоль-

---

<sup>7</sup> Bodleian Library. Special Collections. Toynbee Papers. Box 40. Toynbee A.J. Letter to H.S. Hughes. 4.06.1951.

<sup>8</sup> R.I.I.A. (Chatham House). Archives. Toynbee Section. 4/Toyn/11. 2646. Toynbee A. J. Letter to J. W. Headlam-Morley. 25.10.1928.

ства в Китае и вице-президентом Британской коммерческой палаты в Шанхае<sup>9</sup>, а в то время – президентом крупнейшего английского банка в Восточной Азии Chartered Bank of India, Australia and China<sup>10</sup>.

По предложению жены, заядлой автомобилистки, было решено до Константинополя добираться на машине вчетвером, взяв с собой двух старших сыновей. Поэтому в мае 1929 г. Тойнби обзавелся «фордом» и сдал экзамен на водительские права. 23 июля 1929 г. экспедиция покинула Лондон. Через 23 дня, преодолев 2044 мили, семейство достигло Константинополя. Оставив детей на попечение сотрудников Американского женского колледжа, Розалинд проехала с мужем на поезде до Анкары, после чего вернулась к сыновьям, а сам Тойнби проследовал до пункта назначения. Но это была лишь часть его грандиозного замысла: возвращаться из Киото Тойнби решил не самолетом через США, как остальные участники конференции, а поездом, через Россию.

Это путешествие сулило Тойнби личное знакомство со страной, издавна притягивавшей его внимание. Уже в сделавшей его знаменитым книге «Национальность и война» (1915) он пытается осмыслить исторический опыт России, ее роль в европейской политике и культуре. При этом он признал законность геополитических притязаний России, разоблачил «панславистскую страшилку» германской пропаганды и осудил своих соотечественников-русофобов, выдвинувших лозунг «после Германии – Россия!». Доказывая, что Россия – неотъемлемая часть европейского культурного и политического пространства, Тойнби выразил преклонение перед русской литературой, «столь же значимой и важной для мировой духовной истории, как и французская литература восемнадцатого столетия», и восхищение нравственной позицией российской интеллигенции, не заискивающей перед правительством в отличие от «изолировавшихся» немецких интеллектуалов<sup>11</sup>. Оспаривая мнение об отчужденности русского образованного класса от своего народа, он писал: «Русская интеллигенция обретает живительную влагу в неистощимом источнике народной жизни. Когда вы читаете русский роман, вы попадаете из космополитической среды индустриальной Европы в “Святую Русь” – мир рек и лесов, снега и солнца, религиозных традиций и обычаев, совершенно незнакомый вам прежде. Но вы неожиданно легко привыкаете к нему, потому что струящееся в нем чувство жизни столь же отчетливо, как звук прибой, который улавливается вашим ухом после

---

<sup>9</sup> Encyclopedia Sinica. P. 66.

<sup>10</sup> Mackenzie. 1954. P. 272-273.

<sup>11</sup> Toynbee. 1915. P. 295, 298.

нескольких месяцев пребывания вдали от моря»<sup>12</sup>. О русской литературе Тойнби судил не понаслышке. Упоминания в его работах и переписке свидетельствуют, что он читал книги как минимум четырех писателей – Л. Н. Толстого, И. С. Тургенева, С. Т. Аксакова и Ф. М. Достоевского. Теперь ему предстояло воочию увидеть воспетую ими «Святую Русь».

Однако столкновение с российской реальностью в ходе поездки, предпринятой сразу после Киотской конференции в январе 1930 г., нанесло тяжкий удар по устоявшимся представлениям мыслителя.

Прологом неприятностей стал на первый взгляд малозначительный эпизод во Владивостоке, в фойе «Первой Коммунистической гостиницы», где перед отправкой на вокзал собрались попутчики – японская выпускница университета, мечтавшая о карьере парижского модельера, секретарь французской дипломатической миссии в Китае, немецкий предприниматель из Ханькоу, новозеландец-служащий Восточной телеграфной компании, ирландец-чиновник Китайской морской таможни и сам Тойнби. Отъезжавшие столкнулись с группой англичан, только что прибывших московским поездом. В короткой беседе те успели рассказать горестную повесть о том, как за полтора дня до Владивостока их вагон-ресторан был отцеплен, и на оставшемся отрезке пути они были вынуждены сами добывать пропитание. В тот момент путешественники не придали значения сей ламентации. Оказалось – зря: вагона-ресторана в поезде действительно не было. Поначалу не очень расстроились, так как в представительстве советского бюро путешествий во Владивостоке, где приобретали билеты, вояжеров заверили, что на всем пути следования проводники будут потчевать их чаем, кофе, бутербродами, яйцами, сыром и молоком. Но и это оказалось мифом. Оставалось ждать явления вагона-ресторана. Прибытие в Хабаровск не оправдало надежды. Произошло это только на третий день пути в Бочкарево – узловой станции на соединении Транссибирской и Амурской железных дорог, когда несчастные путешественники уже успели уничтожить все запасы съестного, завалившиеся в их багаже. «Душа моя взалкала бочкаревских котлов с мясом<sup>13</sup>, как лань стремится к потокам воды»<sup>14</sup>, – так, пересыпая речь библейскими аллюзиями, описывал свое состояние Тойнби.

---

<sup>12</sup> Ibidem.

<sup>13</sup> «Котлы с мясом» (flesh-pots) — отсылка к 16-й главе книги Исход, повествующей о том, как сыны Израилевы, страдая от голода в Синайской пустыне, роптали на Моисея: «О, если б мы умерли от руки Господней в земле Египетской, когда мы сидели у котлов с мясом, когда мы ели хлеб досыта!» (Исх. 16: 3).

<sup>14</sup> Цитата из первого стиха 41 псалма (в Библии короля Якова — псалом 42). *Toynbee*. 1931. P. 303.

Впрочем, не ограничиваясь краткой цитатой, позволим автору описать столь долгожданную встречу с вагоном-рестораном: «Когда мы выскочили из вагона в Бочкареве, более нетерпеливо, чем мы делали это в Хабаровске, волна холода заставила моментально забыть о бесценной цели наших поисков. Это был легендарный сибирский холод – холод, который иссушал лицо подобно огню и словно электрическим током пронизывал ноги. Но кого это волновало? Потому что наконец-то мы увидели на запасном пути вагон-ресторан, приближавшийся к нашему поезду неторопливо и размеренно, словно леди, осознающая себя покорительницей сердец. Возликовав, мы кинулись в вагон, и тем же вечером вдосталь насытили свои утробы русской снедью»<sup>15</sup>. Счастье вояжеров было недолгим: через пару дней вагон-ресторан вновь – теперь уже до конца рейса – исчез, обрекая иностранцев на новые мытарства. Но еще до этого произошло событие, побудившее Тойнби к размышлениям о странностях русского национального характера и советской политики.

«На третье утро, лежа на своей полке и постепенно отходя от сна, я вдруг осознал, что поезд стоит на месте подозрительно долго. Что за важная станция удостоилась столь затянувшейся стоянки? Я потянул занавеску и к моему удивлению обнаружил, что мы стали посреди дикой местности. Одетые инеем березы – вот и все, что могло быть замечено»<sup>16</sup>. Вступив в коммуникацию посредством жестов и мимики с «моржеусым» проводником, Тойнби понял (точнее, ему показалось, что тот именно это хотел объяснить), что поезд остановился из-за большого уклона, вследствие чего паровоз отправился на ближайшую станцию за подмогой. «Я не мог разглядеть ни малейшего уклона на всем протяжении пути, пролежавшем, как казалось, по абсолютно ровной местности, – продолжает Тойнби свое повествование, – но как ни странно, я ранее уже попадал в подобную ситуацию с локомотивом (на анатолийской станции, называвшейся Эль Ван, чуть западнее Анкары), поэтому поначалу я не испытал недоверия. Но час шел за часом, и в конце концов я набрался храбрости, чтобы несмотря на холод отправиться на разведку. И когда я пробрался через сугробы к голове поезда, оказалось, что, как я и подозревал, ситуация куда серьезнее, чем можно было предположить поначалу. Локомотив не покинул нас на склоне, а кротко стоял отцепленным всего в нескольких ярдах от переднего вагона. Именно этот вагон был преступником: его передняя тележка сошла с рельсов! И тут я стал свидетелем сцены, которая показалась мне воплощением советской

---

<sup>15</sup> Ibid. P. 304.

<sup>16</sup> Ibidem.

политики. Контрреволюционный элемент подвижного состава был решительно атакован Красной Армией, экипированной по случаю схватки форменными остроконечными шлемами. Но, увы, Красная Армия была домом, разделившимся в самом себе<sup>17</sup>. С одной стороны, фракция Троцкого упорно пыталась закрепить тележку клиньями из свежесрубленных бревен; с другой – фракция Сталина налегала плечами на колеса, явно желая сдвинуть тележку, которую их товарищи старались закрепить. Две силы казались равномерно согласованными, и насколько я мог видеть, их перетягивание каната могло бы продолжаться вечно. Так что я вернулся в свое логово и улегся в ожидании похода в вагон-ресторан<sup>18</sup>.

Но, как уже было сказано, наслаждаться ресторанной кухней пассажирам спального вагона оставалось недолго, и вскоре советская действительность обернулась к ним еще одной малоприятной стороной. За неимением ресторана иностранцы вынуждены были метаться на станциях в поисках буфета, рискуя отстать от поезда, отправлявшегося без всяких предупреждений (на одной из станций шесть пассажиров — пять русских и один бурят – так-таки отстали и были обречены на четырехдневное ожидание следующего поезда). Еще одним неприятным открытием оказались карточки на хлеб, каковых у иностранцев, естественно, не было. Поэтому разжиться хлебом они могли только, если ели купленную еду непосредственно в помещении буфета. Однако из-за коварства паровоза делать это они опасались. Русские пассажиры выходили из положения, совершая набег на буфет с собственной посудой. Иностранцы вынуждены были позаимствовать их тактику, но, увы, ничего вместительней плошек для бритвы у них под рукой не было. Описывая эту трагикомическую ситуацию, Тойнби попутно замечает разницу в ее восприятии пассажирами спального вагона. Ирландец и новозеландец, жившие в Китае и привыкшие к роли *en grand seigneur* перед лицом своих китайских подчиненных и слуг, предпочитали голодать, но не унижаться. Сам Тойнби и немецкий предприниматель в меру сил пытались участвовать в этих гонках за миской сальной баланды, а вот японка проявила невиданную прыть и сообразительность. «Трудно было представить, – с восхищением пишет Тойнби, – что она лишь однажды бывала за границей – плавала пароходом в Шанхай. Можно было подумать, что она путешествовала по России с дюжину раз, и ей были хорошо знакомы все возможные превратности. Самообладание, рассудитель-

---

<sup>17</sup> Евангельская аллюзия: «Всякое царство, разделившееся само в себе, опустеет; и всякий город или дом, разделившийся сам в себе, не устоит» (Мат. 12: 25).

<sup>18</sup> *Toynbee*. 1931. P. 304-305.

ность и инициатива никогда не изменяли ей. И именно ее интуиции мы были обязаны ценным обретением – жареным гусем, который в течение трех черных дней поддерживал искру жизни в наших телах»<sup>19</sup>.

Но и это было не последним испытанием пассажиров спального вагона. В Чите иностранцы стали жертвами «пролетарского нашествия»: по чьей-то злой воле к ним в купе были подселены русские пассажиры, несмотря на то, что соседний вагон был полупуст, и билеты в нем были значительно дешевле, чем в международном. Тойнби еще повезло: его «компаньон» относился к попутчику-иностранцу с бесхитростным любопытством посетителя зоопарка, а вот к японке подсадили «агрессивную представительницу новой коммунистической интеллигенции», которая всем своим видом и поведением демонстрировала классовую ненависть. Но мало этого: захватчики принесли за собой шлейф стойкого запаха немытого тела – «священного благоухания Святой Руси», как назвал его Тойнби, словно насмехаясь над своим прежним, пятнадцатилетней давности, книжным образом России. И будто сводя счеты с прежней любовью к русской литературе, он бросает походя: «Полагаю, что мы наслаждались тем самым “восхитительным резким запахом” русского крестьянина, который с таким удовольствием упоминает Толстой»<sup>20</sup>.

Еще целых три дня иностранцы «наслаждались» обществом русских попутчиков и, наконец, на исходе десятых суток, изголодавшиеся, измученные вагонной тряской, постоянными поломками и опозданиями, достигли Москвы. Но самого Тойнби ждало еще одно испытание.

Итак, сколь бы ни был тяжок путь из Владивостока, теперь он был позади, и Тойнби – пусть и с опозданием в тридцать три часа – оказался у цели своего путешествия. Вот-вот он сможет познакомиться с городом, так давно манившим его. В его блокноте<sup>21</sup> были выписаны фамилии видных советских дипломатов, политиков и ученых, с которыми Тойнби предполагал встретиться в Москве. Среди них – заведующий отделом международных договоров Наркомата иностранных дел, автор капитальных трудов по истории и теории дипломатии профессор кафедры международного права Московского университета А. В. Сабанин<sup>22</sup>, член политбюро компартии Великобритании и британский кор-

<sup>19</sup> *Toynbee*. 1931. P. 312.

<sup>20</sup> *Ibid*. P. 313-314.

<sup>21</sup> Bodleian Library. Special Collections. Toynbee Papers. Box 91. Journeys (1): Visits to China.

<sup>22</sup> *Бассехес*. 1939. С. 122-123. Большинство работ А. В. Сабанина до сих пор не утратило своего научного значения: Вашингтонская конференция...; Международная политика...; *Сабанин*. 1930.

респондент ТАСС А. Ротштейн<sup>23</sup>, один из влиятельнейших чиновников НКВД и близкий друг наркома Г. В. Чичерина П. М. Петров<sup>24</sup>. Не исключено, что встреча с самим наркомом также входила в его планы, если принять во внимание, что Тойнби был близко знаком с двоюродным братом Чичерина, бароном А. Мейендорфом<sup>25</sup>.

Однако эти планы разбились о твердыню советского сервиса. Многочасовые блуждания Тойнби по Москве в поисках гостиницы и препирательства с царственными швейцарами закончились обретением частички родины в британском посольстве и окончательно укрепили в нем желание как можно скорее покинуть враждебный город. Стремление это было столь сильным, что когда в машине, везшей Тойнби на вокзал, лопнула шина, то угроза опоздать и задержаться в Москве еще на сутки довела его до состояния, близкого к истерике. К счастью, машину удалось сменить, и через сорок два часа пребывания в советской столице, сытый по горло российской экзотикой, Тойнби покинул Москву.

Итак, двенадцати суток хватило, чтобы произошло полное превращение интеллектуала-русософила в нового маркиза де Кюстина. При этом характер «испытаний», обрушившихся на Тойнби и приведших к столь радикальной метаморфозе, может на первый взгляд показаться комически несущественным в сопоставлении с трагизмом их восприятия и философско-историческим масштабом сделанных им выводов. Ведь по сути, все это можно отнести к разряду «бытовых неурядиц»: исчезновение вагона-ресторана, опоздания и поломки поезда, очереди в буфете, подселение русских пассажиров, ночное плутание по Москве в поисках гостиницы... Но это *на наш взгляд* «мелочи», ибо русский человек (тем паче – советский) привык, как сказано в армейской присяге, «стойко переносить тяготы и лишения» и с философской невозмутимостью воспринимать бытовую неустроенность, самодурство начальников, «ненавязчивость» сервиса. А в сознании британца, привыкшего к налаженному быту, комфорту и безупречной организации сферы обслуживания, эти неприятности обретают масштаб личной драмы, побуждая к глубоким раздумьям, поиску исторических аналогий и подходящих метафор.

---

<sup>23</sup> В данный период Andrew Rothstein из-за политических разногласий с руководством КПВ временно находился в Москве. Тойнби мог быть знаком как с ним самим, так и с его отцом, членом коллегии НКВД, ответственным редактором журнала «Международная жизнь» Ф. А. Ротштейном, который в годы Первой мировой войны, как и Тойнби, работал в Министерстве иностранных дел Великобритании.

<sup>24</sup> *McHugh, Ripley*. 1985. P. 727-738.

<sup>25</sup> *Meyendorff*. 1971. P. 173-178; *Тойнби*. 2003. С. 486-491.



В какой-то момент Тойнби уже перестает удивляться всем этим напастям, приходя к выводу, что непредсказуемость русских производна от глубоко укорененных в этом обществе тиранических традиций. Тиран здесь – любой, кому обстоятельства позволяют тиранствовать. В этом грехе он подозревает даже паровоз, который норовит прикинуться кроткой овечкой, но как только изголодавшиеся пассажиры отправляются на поиски станционного буфета, норовит под всеми парами сбежать со станции: «Если каприз – сущность тирании, то наш локомотив был столь же законченным тираном, как любой царь или комиссар»<sup>26</sup>.

Но еще больше Тойнби потрясен реакцией русских – проводников, буфетчиков, швейцаров, должностных лиц – на робкие попытки иностранца выяснить, каковы причины возникающих неудобств и как можно их устранить. И в этой реакции ему открылось предельно емкое выражение русского национального характера – маркирующий признак цивилизационной принадлежности России. Всякий раз, спрашивая, будет ли прицеплен к составу вагон-ресторан, почему в буфете нет горячего супа, есть ли места в гостинице, Тойнби слышал предельно краткий и выразительный ответ: «Нет!». То, как это произносится, побуждает его назвать данную реакцию не словом, а *жестом*, в совершение которого вовлечено все тело отвечающего: «вскинутые брови, опущенные углы рта, свисшие плечи, слегка согнутые в коленях ноги. Более того, для завершения общей картины сойдет практически любое слово. В Турции это *Yoq!* В Греции — *dén êχει!* И как только я узрел сей жест в том общем настрое, с каким русский проводник произнес свое “Нет!”, я понял, что уже покинул Дальний Восток и вновь оказался на Ближнем». Тойнби предпринимает «дешифровку» семантики этого «жеста» в выражениях, которые впоследствии с незначительными вариациями будут воспроизводиться на многих страницах «Постижения истории» и других работ, посвященных России и Византийской цивилизации: «Это квинтэссенция византийского духа – духа пораженчества, приправленного злорадством, когда удастся лицемереть неудачи франкского варвара: “Быть может, это вразумит вас – вас, невежественные, нечестивые, неугомонные франки, ропшущие на Бога и Человека, что обетования исполнятся, надежды сбудутся и все свершится, как предначертано. Возможно, это преподаст вам урок того, что есть жизнь, подобная сонму святых, угодных Богу”. Именно эту неприязненность передает сей архивизантийский жест»<sup>27</sup>.

---

<sup>26</sup> *Toynbee*. 1931. P. 309.

<sup>27</sup> *Ibid*. P. 301-302.

Глубоко символично, что все параллели и аналогии, которые использует Тойнби в описании путешествия по России, в полном соответствии с вынесенным вердиктом, связаны с Ближним Востоком и Балканами: остановка поезда из-за сложности преодоления уклона при кажущемся отсутствии такового заставляет его вспомнить сходный случай, произошедший с ним в Анатолии; вереницы телег на льду Шилки показались похожими на караваны верблюдов в Турции или Сирии; испуг лошадей при виде поезда напомнил подобную реакцию лошадей на автомобиль во время его путешествия по Болгарии. Даже зловоние, исходившее от подселенного в его купе русского пассажира, Тойнби сравнивает ни много ни мало, с запахом в церквях на горе Афон или смрадом в курятнике, в котором ему пришлось заночевать однажды в Анатолии.

Однако, указывая на византийское первородство России, Тойнби намеренно подчеркивает различия в культуре, видя в них признак огрубления исходных первообразов. С нескрываемой антипатией пишет он о Москве, ее восточной, варварской «экзотичности». Он многократно подчеркивает «уродливость» и «вымученность» кремлевских церквей: «Нужен наметанный глаз археолога, чтобы распознать в чудовищно искривленных куполах, доминирующих над городом, прямое родство с куполом Святой Софии». И далее: «Полюбуйтесь, что стало со Святой Софией в русских руках. Ее красота низведена до уродства»<sup>28</sup>. А собор Василия Блаженного просто вызывает у Тойнби отвращение, и он признается, что «почти благодарен большевикам за то, что они осквернили сие место поклонения». В этой исторической ретроспективе советизация России видится Тойнби закономерной: «Если Кремль демонстрирует непрерывность русской истории в политическом плане, то собор Ивана Грозного на Красной площади доказывает то же самое на более глубоком уровне – в плане идейном и эмоциональном. Этот ужасный памятник русского духа с очевидностью свидетельствует, что Россия пребывала во власти тьмы еще до того, как власть захватили большевики»<sup>29</sup>.

Тойнби был не первым и не последним западным вояжером, содействовавшим «ориентализации» образа России в глазах Запада. Но, во-первых, в отличие от маркиза де Кюстина или его новой инкарнации, Р. Капуцинского<sup>30</sup>, изначально не испытывавших симпатий к России, его позиция стала *результатом* русского турне, а во-вторых, далеко не все «клеветники России» отличались такой писательской продуктивно-

---

<sup>28</sup> Ibid. P. 329.

<sup>29</sup> Ibid. P. 327.

<sup>30</sup> Капуцинский. 1994.

стью и влиянием на общественное мнение. После войны, когда книги Тойнби издавались многотысячными тиражами, трактовка русской истории, берущая начало в травелоге 1930 года, стала фактом общественного сознания Запада, да в общем-то и остается таковым по сию пору.

### БИБЛИОГРАФИЯ

- Тойнби А.Дж.* Пережитое. Мои встречи. М.: Айрис-пресс, 2003. С. 486-491.
- Бассехес Н.* Исчезнувшие советские дипломаты // Русские записки. 1939. Т. XIX. Июль. С. 121–138.
- Вашингтонская конференция по ограничению вооружений и Тихоокеанским и Дальневосточным вопросам 1921–1922 г. / Пер.: Сабанин А.В. Вступ. ст. Л.Е. Берлин. М.: Литиздат НКВД, 1924. 142 с.
- Международная политика новейшего времени в договорах, нотах и декларациях. Ч. 1–3, Под ред. Ю.В. Ключникова и А.В. Сабанина. М.: Литиздат НКВД, 1925–1929. 1690 с.
- Сабанин А. В.* Посольское и консульское право. М.; Л.: Госиздат, 1930. 342 с.
- Andrew Rothstein // Wikipedia. URL: [http://en.wikipedia.org/wiki/Andrew\\_Rothstein](http://en.wikipedia.org/wiki/Andrew_Rothstein) (время доступа 10.02. 2011).
- Encyclopaedia Sinica. Ed. by S. Couling. Shanghai: Kelly & Walls Limited, 1917. viii, 633 p.
- Kapuscinski R.* Imperium / Translated from Polish by Klara Glowczewska. London: Granta in association with Penguin, 1994. x, 331 p.
- Mackenzi C.* Realms of Silver. One hundred years of banking in the East (A history of the Chartered Bank of India, Australia and China). London: Routledge & Kegan Paul, 1954. xiv, 338 p.
- McHugh J., Ripley B. J.* Russian Political Internees in First World War Britain: The Cases of George Chicherin and Peter Petroff // The Historical Journal. 1985. Vol. 28. № 3. P. 727–738.
- Meyendorff A.* My Cousin, Foreign Commissar Chicherin // Russian Review. 1971. Vol. 30. № 2. P. 173–178.
- Moberly C. A. E., Jourdain E. F.* An Adventure. London: Faber & Faber, 1911. 127 p.
- Toynbee A. J.* A Journey to China, or the Things which Are Seen. London: Constable & Co, 1931. P. x, 345.
- Toynbee A. J.* Nationality and the War. London: J.M. Dent & sons, 1915. P. xii, 522.
- Winetrou K.* After One Is Dead: Arnold Toynbee as Prophet. Essays in Honor of Toynbee's Centennial. Hampden, Mass.: Hillside Press, 1989. vii, 212 p.
- Корневский Андрей Витальевич**, кандидат исторических наук, доцент кафедры специальных исторических дисциплин и документоведения Южного федерального университета (Ростов-на-Дону); [root1961@list.ru](mailto:root1961@list.ru)

Н. А. СЕЛУНСКАЯ

## ИТАЛИЯ, НАРОД, КОММУНА В ТОТАЛИТАРНОМ ДИСКУРСЕ МЕДИЕВАЛИЗМА ДЖОАККИНО ВОЛЬПЕ И В. И. РУТЕНБУРГ\*

---

Статья посвящена переключке тех актуализируемых образов прошлого, которые создавались в исторической науке Италии и России в периоды развития и господства тоталитарной идеологии. Однако речь не идет о простой связи между школами разных национальных историографий или прямом осознанном заимствовании, скорее, можно говорить об интеллектуальных параллелях.

**Ключевые слова:** историография, медиевистика, история концептов, интеллектуальная биография, научные школы, история Италии.

---

Создание представлений об исторической роли народа и развитие медиевистики тесно связаны. Эта тема может рассматриваться в двух проекциях: в контексте изучения национальной истории, с присущими ей националистическими мифами (на примере исторических исследований в Италии периода фашизма), и в контексте интернациональной марксистской исторической мысли в ее специфическом советском варианте. Известно, что периоды господства тоталитарной идеологии сами ее носители нередко называли победой истинной народной демократии. Исторические труды должны были отражать господствовавший миф о подлинно народной основе существующего государства, проецируя некоторые идеи псевдодемократического дискурса на прошлое.

Достаточно часто исследователи историографии фашистского периода указывают, что, согласно господствовавшей доктрине, формирование итальянской нации относили к отдаленному прошлому, например, к эпохе позднего средневековья<sup>1</sup>. К мысли проследить идею континуитета «народа» от Средневековья к Новому времени подталкивает и сам термин *popolo* (*populus*), применявшийся в период существования средневековых коммун к основной массе членов этих городских общин. Неудивительно, что трактовки роли «народа» как актора истории создавались в фашистской Италии. Пронизывают они и работы по Средневековью и раннему Новому времени, и эта тенденция весьма примечательна. Но самое интересное, что идеи историков фашистского периода переключаются с некоторыми клише советской историографии, разработанными применительно к истории Италии, с общими интерпре-

---

\* Исследование выполнено при поддержке РГНФ (проект № 10–01–00403а).

<sup>1</sup> Clark. 1999. P. 189. [https://catalyst.library.jhu.edu/catalog/bib\\_2058480](https://catalyst.library.jhu.edu/catalog/bib_2058480)

тациями народных движений кризисных эпох, и также, казалось бы, с совершенно сухими и академическими выкладками по частному вопросу о характере *conjuratio* в процессе развития средневековых общин.

Обычно мифы национальной истории не находят отклика у исследователей, этой идее непричастных, как и мифы одной идеологической системы не вписываются в другие идеологизированные картины мира. Но из этого правила есть, на первый взгляд странные, исключения. Тема средневековой коммуны стала ключевой и в исследованиях итальянской исторической школы, и опорным понятием в дискурсе марксизма, который искал своих предтеч не только в Парижской коммуне, но и в истории развития самоуправлявшихся городов-коммун средневековья.

В этой связи интересно выявить некоторые особенности концепций «Средневековья» и «Рисорджименто», разработанных известными медиевистами – Джоаккино Вольпе в Италии и В. И. Рутенбургом в СССР<sup>2</sup>. Моя задача состоит не в том, чтобы изучить весь комплекс их исследований по истории Рисорджименто или Средневековья, а в том, чтобы провести анализ способов реконструирования этими учеными исторических объектов и определения ими акторов изучаемых процессов. Этот анализ предполагает также рассмотрение нескольких разноплановых контекстов: вопросы собственного дисциплинарного развития исторического знания, вопросы идеологического порядка, личностные характеристики двух избранных историков, живших в XX столетии – веке великих мистификаций и великих потрясений – и изучавших историю Италии в режиме большой длительности – начиная со времени Средневековья. Оба историка работали именно в те периоды, которые теперь расцениваются как время господства тоталитарной идеологии, однако, основными темами их изысканий были такие революционные, кризисные и динамичные сюжеты истории, как развитие городских общин, консолидация горожан в коммуны и приобретение этими коммунами самоуправления и публичных функций, еретические и народные движения в Средневековье и в период Возрождения, и наконец, Рисорджименто, понимаемое как социальное, политическое и культурное движение, несущее импульсы обновления, освобождения и объединения.

Думается, для каждого из названных историков определенную роль сыграл личный опыт участия в войнах, сопровождавшихся национально-патриотическим подъемом: для Вольпе это была Первая мировая война,

---

<sup>2</sup> Мне бы хотелось посвятить эту публикацию нескольким важным датам, совпавшим с моментом написания работы: в 2011 г. не только праздновался юбилей объединения Италии, но также отмечались памятные даты двух историков: сорок лет со дня кончины Дж. Вольпе и столетие со дня рождения В. И. Рутенбурга.

а для Рутенбурга – Вторая мировая, в годы которой он окончательно сформировался как личность. Вспомним, что согласно клише фашистской идеологии, после долгой предыстории, в том числе Рисорджименто и последующей утраты достижений этой эпохи, «народный дух» окончательно формируется во время Первой мировой войны. Иначе говоря, в этот период формируются идеологические стереотипы, связанные с понятием «народ», которые будут играть особую роль в идеологической базе итальянского фашизма. Относительно роли той части Второй мировой войны, которая получила название Великой Отечественной, можно сказать то же самое: идея народа и его исторической роли сформировалась в идеологическое клише советского дискурса именно в это время. Принятые как истины, идеологические установки, понятия и представления, начинают проецироваться тоталитарным дискурсом и в гипотетическое будущее, и в историческое прошлое.

Политические аспекты мировоззрения историков нельзя отделять от их исторических работ. Как от противного я отталкиваюсь от постановки вопроса П. Оперти. В предисловии к книге, объединившей разноплановые эссе Вольпе под названием *L'Italia che fu*, Оперти пишет: «мы не собираемся углублять обзор исторических работ Вольпе с конкретизацией исторической специализации Вольпе в области средневековой истории, истории коммун и народных движений и ересей. Все это не интересует публикатора, поскольку здесь речь пойдет о Вольпе как авторе политических идей»<sup>3</sup>. Я предлагаю принципиально иной подход: идеологические послышки историков в изучении Нового времени непосредственно связываются с их же концепциями средневековья. Медиовальные штудии нет причин рассматривать вне контекста политических воззрений двух ученых, хотя бы потому, что их исследования Средневековья были не менее тенденциозны, чем труды по истории Нового времени. В этой тенденциозности есть сила своеобразия, которая не воспринималась уже следующим поколением историков, затушевываясь при переизданиях, но не терялась окончательно: так было, например, при повторных публикациях работ Вольпе в послевоенную эпоху. Публикаторы в предисловиях, и даже путем некоторых изменений текста, снимали ощущение той тенденциозности, которой были наполнены работы Вольпе фашистского периода. Работы Рутенбурга пока не стали активно переиздаваться, но думается, также будут адаптированы и обезличены, ибо идеологическая составляющая исторических сочинений этих авторов была не навязанной извне идеей, но лично генерируемым кодом.

---

<sup>3</sup> В оригинале фраза звучит даже более жестко: «non intendiamo di entrare nel discorso del Volpe storico... ci reportiamo del Volpe politico». *Volpe*. 1961. P. VII.

Предполагается на основе компаративного анализа показать некоторые параллели в содержании, особенности концепций двух историков разных стран, живших при различных тоталитарных режимах, и прояснить созданные ими нарративные модели. При этом я не хочу упускать из вида личностные особенности авторов, анализируя идеологические модели, примененные ими, поскольку эти историки как личности были не столько объектами давления со стороны идеологической системы, но, напротив, своими интеллектуальными творческими усилиями, эту систему идеологических координат задавали и поддерживали. Исторические сочинения двух ученых, получивших образование и школу подготовки в области изучения итальянского средневековья, естественно, не равны константам их мировоззрений и политических взглядов.

Итак, речь идет о выдающемся представителе итальянской фашистской историографии Вольпе и его прославленном советском коллеге, создавшем значительную школу русскоязычной италянистики. О Вольпе, как и о Рутенбурге, можно судить как о прекрасных источникововедах и текстологах, но парадоксальным образом они были весьма тенденциозными историками (выражаясь языком другой эпохи, «идеологически выдержанными специалистами»); они работали с оригиналами источников, являлись публикаторами исторических свидетельств, но ощущали необходимость на базе этих свидетельств построить идеологический конструкт. В каждом труде они отвечали на вызовы современности; изучали отдаленное прошлое, одновременно создавая идеологически обоснованный интеллектуальный контекст современной эпохи.

Собственно сама личность крупного ученого и одновременно влиятельного проводника определенной идеологии, искренне преданного ей, – это и есть контекст реконструируемой эпохи. При изучении менее потестарных личностей, мы могли бы говорить о контексте эпохи, который надо учитывать при разборе исторических произведений ученых, в избранных же нами случаях речь идет о творцах идеологом, т.е. о людях, задававших интеллектуальную моду и дисциплинарный стандарт в том духе, который они считали идеологически верным. Именно поэтому при анализе исторических сочинений и концепций в данном случае необходимо «перейти на личности» их создателей.

Стоит задуматься и о таком парадоксе: в каком-то смысле об известных людях широко известно меньше, чем о лицах второстепенных, именно потому, что о главных героях как будто исчерпывающе сообщает обобщающая характеристика – энциклопедическая справка или определение: крупного ученого, идеолога и т.п. Это символы эпохи, люди выдающихся качеств, но именно роль символа и снимает индивидуаль-

ное своеобразие. Для персонажа второго плана в истории непременно найдутся мелкие штрихи к портрету, которые многое расскажут о личностных характеристиках, «героям» же полагаются монументальные формы, за которыми трудно разглядеть человеческие особенности и тем более слабости. Между тем, для анализа работы историка особенности личности и биографии важны не менее, чем знание о внутреннем мире и личностном типе писателя при анализе литературного произведения.

Начнем с биографии Джоаккино Вольпе: историк, идеолог и деятель итальянской культуры родился в небогатой буржуазной семье (отец был фармацевтом), и провел детство в провинциальных центрах: Паганика, Аквила, Сантарканджело ди Романья, Римини. Гимназическое образование он закончил в Римини, но затем удостоился чести стать учащимся одного из самых замечательных учебных заведений Италии – Scuola Normale в Пизе. Педагогическая карьера Вольпе связана с такими городами мирового значения как Милан и Рим, но сам процесс формирования Вольпе-историка проходил в Тоскане с ее богатыми архивами. Пизанская Нормальная Школа (проект образовательных инноваций наполеоновских времен) как учебное заведение уже была в почете ко времени поступления туда Вольпе и еще усилила свои позиции позже, как раз в годы фашистского режима. (Собственно, скромное определение *normale* следует понимать в смысле полномочий заведения устанавливать и продвигать культурные нормы и стандарты).

Наставником многообещающего студента становится Амадео Кривеллуччи, являвшийся признанным авторитетом для многих различных по убеждениям и стилю мышления интеллектуалов, в т.ч. Гаэтано Сальвемини и Джованни Джентили – оба признавали Кривеллуччи своим учителем. Интеллектуальная биография Вольпе пересекалась впоследствии и с творчеством Сальвемини, и с идеями и деятельностью Джентиле, с первым – в связи с дискуссиями по проблемам Юга Италии и с развитием экономико-юридического подхода к истории, со вторым – в связи с созданием интеллектуальной доктрины итальянского фашизма.

Мэтр Кривеллуччи был автором многих интересных работ по истории Тосканы, и не удивительно, что его ученик Вольпе начал свой путь в исторической науке с работ, посвященных институтам коммун Тосканы (в т.ч. Пизы), благо эти архивы находились под рукой. Роль детального освоения именно тосканского исторического материала чувствуется на протяжении всей карьеры Вольпе как историка. Забегая вперед, скажем, что этот «тосканский интерес» имел далеко идущие последствия. Да, именно Тоскана в позднее средневековье стала лидером экономического развития, в тосканских городских центрах попо-



ланство претендовало на совершенно независимую политическую роль и пришло к системе самоуправления в ряде городов в ходе напряженной борьбы с магнатами, что вызывало интерес историков и появление ярких фундированных работ, благодаря которым затем социально-экономические условия Тосканы воспринимались как особенность всей Италии. В этом есть и «вина» историка Вольпе.

Как в начале века (перед Первой мировой войной), так и в период между войнами, Вольпе много публикуется, выступая не только со статьями-исследованиями, но и с критикой работ коллег. Примечательна в этом ряду жесткая критика исследований медиевиста Габотто: его трактовка начального этапа формирования общины и коммуны представлялась Вольпе неверной, негативно оценивалась идея Габотто о приватном характере объединений, хотя именно такая трактовка считается в настоящее время более корректной среди медиевистов. Все множество аморфных средневековых объединений, Вольпе пытался привести к общему знаменателю – к той самой коммуне, которая в исторической перспективе играла роль «народа» в его идеологической системе представлений об истории. Это вольная трактовка Вольпе, однако имя Габотто совершенно забыто, а его критик остается классиком.

Вольпе стал и успешным педагогом. В 1906 г., очень быстро даже по меркам современной Италии, он поднимается на профессорскую кафедру в Милане (Accademia scientifico-letteraria). Этот пост мечтал занять и Сальвемини, будущий идеолог интеллектуалов-антифашистов, увлеченный в то время сходными исследовательскими сюжетами, но проиграл Вольпе по квалификации, по мнению авторитетной ученой комиссии. При этом профиль Вольпе меняется: его предмет теперь *storia moderna* – Новая история. Другой важной позицией была кафедра в Риме, которую Вольпе занимал с 1924 по 1940 г.<sup>4</sup> (окончательно он оставил педагогическую деятельность только после Второй Мировой войны). На протяжении карьеры менялись не только интересы, но и взгляды ученого, при том в очень широком диапазоне – от либеральных до монархических, национал-патриотических, наконец, фашистских.

В самые начальные годы фашистского режима Вольпе занял активную политическую позицию, став депутатом парламента 1924 г. и подписав Манифест фашистских интеллектуалов в 1925 г. Вольпе также становится Генеральным секретарем Итальянской Академии. Он проводил четкую идеологическую линию в своей работе историка, например, во влиятельной Энциклопедии, будучи бессменным директором отдела

---

<sup>4</sup> В 1920-х, уже при новом режиме, труды Вольпе по медиевистике, написанные в начале века тиражировались снова – под нейтральным названием *Medio evo*.

по подготовке разделов энциклопедии по истории Средневековья и Нового времени (работа шла в 1929-34 гг., но этот многотомный труд используется до сих пор). Он активно участвовал в формировании фашистского дискурса, например, в создании к 1925 г. манифеста фашистских интеллектуалов (добавим: немногих интеллектуалов), поставивших свои подписи под документом *Manifesto degli intellettuali fascisti*. Это был период «войны манифестов», момент жесткой идеологической борьбы, в которой выковывались моральные и интеллектуальные стандарты, и более того, формировался определенный *habitus* для нескольких поколений. Участие Вольпе в формировании фашистской идеологии было активным и в исторический момент подписания конкордата с Ватиканом (суть соглашения – реституция национализированных богатств католической церкви и признание ее господствующего положения и статуса государственной религии), и при вступлении Италии в войну в союзе с нацистской Германией. Все это время фашистский дискурс, не существовавший до прихода Муссолини к власти, развивался, в том числе и благодаря историческим и публицистическим работам Вольпе.

Не странно ли, что прекрасно образованный, приученный к архивной работе питомец Высшей Нормальной Школы, автор трудов о средневековых общинах, становится пропагандистом и творцом весьма тенденциозного дискурса? Только на первый взгляд. Источниковые данные могут извлекаться историками технически безупречно, но не восприниматься как самодостаточный результат научной работы. Естественно и стремление к созданию широкого нарратива, рамочной конструкции, картины мира. С другой стороны, детализация, взятая как риторический прием, способствует убедительности восприятия, даже при тенденциозном описании. То, что называется фактами, такие же конструкты, как и макросхемы исторического описания. Построение микродеталей описания происходит таким же образом, как и создание глобальных описательных и объяснительных моделей, а восприятие точно так же зависит от господствующих в сознании общих мест.

Одним из основных мифов XIX века стал «народный характер», мотив исторической роли нации, понимаемой как действующий организм. Эта антропоморфная метафора под расплывчатым определением «народ» действует и в работах фашистских историков, и в трудах историков советского времени, в том числе в исследованиях, обращенных к отдаленному прошлому, в котором идеи народности и национальные идеи еще не были изобретены, а, напротив, практиковалась жесткая статусная стратификация. Кроме того, и в тех и в других работах прослеживаются способы ре-актуализации истории отдаленного прошлого, в силу

включения всего этого прошлого в систему тотального объяснения истории как поступательно развивающегося единого процесса. Объединить такие нестыкующиеся половинки истории как средневековый полицентризм и разновекторно направленные народные и еретические движения с частью истории объединения, централизации и упорядочивания социальных сил мог только дополнительный логический ход, особый вседуший актор, обеспечивающий континуитет истории – народ, предтеча класса-гегемона или нации-гегемона. Как концепт класса, так и концепт нации/расы при необходимости мимикрировал в расплывчатое наименование «народ». Именно в этой перспективе следует рассматривать то, что политически и социально ангажированный Вольпе не был забыт с изменением идеологического климата, не остался в «своем» времени, но продолжал существовать в интеллектуальной традиции и даже экспортировался в иные культурные среды – почитался западными левыми историками 1960-х гг. и советскими итальянистами, которыми рассматривался как представитель близкой ему в молодые годы либеральной школы экономико-юридических исследований. Но и в Италии его причисляют к школе своеобразного либерального марксизма<sup>5</sup>.

Согласно рассуждениям П. Бурдьё, история интеллектуальной и художественной жизни может быть понята как история изменений функций и институций по производству символической продукции, что соотносится с постепенным становлением интеллектуального и художественного поля, как история автономизации собственно культурных отношений производства, обращения и потребления<sup>6</sup>. Одной из важнейших тем является воспроизводство символических ценностей, связанных с тем или иным мифом национальной истории. В случаях, наиболее показательных для национальных историографий рубежа XIX–XX вв., речь идет о символической продукции и структуре воспроизводства мифологизированного капитала, который принимал формы «научного» дискурса: понятийного языка позитивизма или некоторых либеральных разновидностей марксизма. Когда Вольпе заканчивал ученичество и вступал в академическую жизнь, в Италии активно работало целое поколение талантливых ученых, близких по духу, направленности и стилю исследований – это Сальвемини, Вольпе, Родолико (Rodolico), Анцилотти (Anzillotti), Пальмарокки (Palmarocchi), Шипа (Schipa),

---

<sup>5</sup> Сайт Soprintendenza archivistica per l'Emilia-Romagna называет Вольпе одним из представителей экономико-юридической школы, развившейся под влиянием марксизма: «uno de principali esponenti della cosiddetta scuola economico-giuridica, chesotto l'influenza del marxismo...» <http://www.sa-ero.archivi.beniculturali.it/index.php?id=707>

<sup>6</sup> Бурдьё. 1993.

Каджезе (Caggese); их совокупно определяют как особую экономико-юридическую школу. Принято говорить, что ключевую роль в тот момент в развитии национальной школы историографии играли вопросы истории средневековья, прежде всего вопрос об общине (коммуне) как основе социального развития итальянских земель, а также тренд экономико-юридических исследований. Это отчасти верно. Однако надо учесть два момента. Эта школа (точнее – интеллектуальное движение) представляла собой группу интеллектуалов, не связанную строгими иерархическими отношениями, связи в ней были горизонтальными, а не вертикальными. Второе важное замечание: представители этой школы Вольпе и Ромоло Каджезе, став позднее видными представителями фашистской идеологии, заняли особое статусное положение, которое позволило им возвести дискурс экономико-юридических исследований в ранг господствующего. В фашистской историографии сохранялись мотивы исследования народных движений, ересей, коммунальной революции, переустройства средневекового общества в противостоянии городских общин и феодальной системы, сеньориальных структур.

Именно такая предыстория показывает, почему и как в русле развития идеологически чуждых друг другу школ исторической мысли (например, либерально-марксистской и фашистской, фашистской и советской) формировались сходные идеи восприятия «народа» и проекции этого концепта в глубь веков. Более того, некоторым образом логично задаться вопросом о возможных интеллектуальных параллелях, о связях между подходами к изучению новых классов XIV–XV вв., появившихся на сцене итальянской истории, и анализом новых социальных сил эпохи Рисорджименто как звеньями одной цепи в восприятии и Вольпе, и Рутенбурга, с точки зрения тоталитарной идеологии истории.

Вопрос о кризисах исторической эпохи ярко показывает проявления кризиса в методологических подходах историков и является весьма показательным для раскрытия и определения образа науки, того или иного периода, поэтому данный аспект заслуживает особого внимания.

Вольпе взялся за создание концепции Рисорджименто, глобально описания-объяснения эпохи становления нации, в которую историк, сформировавшийся как медиевист, внес проблему «корней» и континуитета. Современная историография повсеместно в Европе считает этот континуитет ложным, но в популистском дискурсе такая точка зрения продолжает существовать. С другой стороны, Вольпе проанализировал комплекс международных отношений как важный фактор дела Рисорджименто, что не было очевидным для многих его предшественников и современников. Однако если концепции средневековья в ин-

терпретации Вольпе прочно вошли в историю науки, то, к сожалению, комплекс его воззрений относительно Рисорджименто рисковал остаться вовсе не известным, тираж сочинения Вольпе уничтожался как приверженцами республики Сало, так и победившим антифашистским режимом. В первом случае: причиной ненависти бывших соратников стало то, что историк, видя крушение фашистской системы, стал склоняться к высокой оценке роли монархии в истории, памятуя о своих юношеских монархических взглядах. Во втором случае – концепция Рисорджименто в трактовке Вольпе искоренялась, поскольку сочинения по новой истории в исполнении интеллектуала фашистского времени казались более опасными и вредными, чем его же средневековые штудии.

Почему по окончании господства фашистской идеологии на работы Вольпе, ассоциирующиеся с интеллектуальной поддержкой режима, не было наложено вето? Отчасти – поскольку они обладали самостоятельным и ценным контентом, отчасти потому, что сразу после краха фашистского режима Вольпе вернулся к истории Средневековья, и эта тема получила признание в период послевоенного восстановления Италии. Естественно, средневековые сюжеты в освещении Вольпе носили отпечаток прежних наработок, проделанных в либеральном ключе, и, кроме того, поддерживали своим патриотическим пафосом моральный дух итальянцев, учащейся молодежи, которая, в отличие от немецкой, не была ориентирована на идеалы покаяния и самоотрицания.

Кроме того, за свою долгую жизнь Вольпе сумел увидеть циклическое повторение ряда идейных тенденций, по счастливому совпадению время работало на мэтра, а не против него. Актуально для эпохи фашизма сформулированные темы и подходы к истории, в частности интерес к народным движениям, реактуализировались в совершенно иной среде и времени, в ходе студенческих и левых движений 1960-х гг. Этот труд Вольпе, сфокусированный на изучении еретических (по сути, диссидентских движений, или, по крайней мере, истолкованных в либеральном ключе) и исполненный с блеском и широким охватом материала, стал подлинным бестселлером: он переиздавался 7 раз с 1920-х по 1990-е, но особенно интенсивно в 1970-е гг. Таким образом, изучение Вольпе роли молодежи в динамике социальных процессов и истории средневековых еретических народных течений может интерпретироваться, если не как предсказание молодежных движений XX века, то как путеводная звезда в изучении этих социальных феноменов.

Теперь рассмотрим знаковую фигуру советского ученого В. И. Рутенбурга, 100-летие которого было бы отмечено с куда большей пышностью, если бы не политические события, произошедшие в стране сра-

зу после смерти историка. Он воспитывался в семье преподавателей (языков и математики). Лингвистические способности и знание языков привели к одному из ранних и, как оказалось, опасных интеллектуальных увлечений – будущий историк, уже поступивший в университет северной столицы, стал страстным почитателем эсперанто. Когда эта культурная практика подверглась репрессиям, как почти все интересные ответвления культуры эпохи мечтаний о мировом единстве народов, студент, уже сотворивший сам для себя имя Рутенбург, от которого он впредь не откажется, был брошен за решетку. Спасло лишь то, что при допросах его дух не был сломлен, и он не подписал признательных показаний. После освобождения он смог окончить учебу, поступил в аспирантуру и начал архивные исследования на базе ЛОИИ, располагавшего интересной итальянской коллекцией. Война прервала эти штудии на долгие годы, аспирантура была закончена только в 1948 г., а вплоть до 1946 г. Рутенбург находился в армии, получив награды за храбрость и окончив войну исполняющим обязанности начальника штаба полка – небывалый взлет военной карьеры для молодого человека, предназначенного для деятельности кабинетного ученого. Рутенбург, несмотря на интерес к филологии и архивным исследованиям, к истории отдаленного прошлого, был деятелем по натуре, человеком, которому был близок идеал гражданского гуманизма Возрождения или гражданская активность человека эпохи Рисорджименто (идея *vita attiva*), а отнюдь не созерцательная жизнь в тиши библиотек. Однако по окончании войны, несмотря на заманчивые предложения продолжения военной карьеры, Рутенбург мечтал лишь о науке и, после ходатайства заведующего кафедрой истории средних веков итальяниста М. А. Гуковского, он возвращается к занятиям историей. Человек, недавно практически единолично командовавший полком, снова становится аспирантом. Рутенбург также получает работу при ЛОИИ; на основе исследований материалов этого архива формулировались наиболее прорывные темы ученого, публиковались документы. Думается, что навыки архивиста позволили ему войти в круг итальянских медиевистов, знатоков архивного дела, уже в период первой научной командировки в Италию в 1956 г. и в дальнейшем быть принятым в итальянские научные ассоциации Лигурии и Тосканы – объединения специалистов архивных исследований, в т.ч. архива Генуи и архива Датины уже в 1970-е гг. Точно так же и работы итальянских историков экономико-юридической школы, а затем представителей фашистской историографии – Каджезе и Вольпе – находились в библиотеках СССР, поскольку они открывали пласт исследований архивных материалов, необходимых итальянисту. Хотя Вольпе

был жив и продолжал публиковаться в то время, когда для советского историка Рутенбурга открылась возможность работы в архивах Италии и выступлений на научных форумах, их личные контакты, разумеется, противоречили идеологическим установкам. Однако круг левых историков 1960-х принял Рутенбурга, и именно ему, иностранцу, были доверены средневековые страницы истории в новой многотомной «Истории Италии», грандиозном проекте, сопоставимом с энциклопедическим проектом фашистского времени, курировавшимся Вольпе.

Нельзя не заметить параллели в работах советского и итальянского историков, такие темы как: новационные черты итальянской городской коммуны, организации средневекового ремесленного производства, торговли и банковского дела в Тоскане. Институты городской коммуны и еретические движения, как мы помним, входили в область научных интересов Вольпе в ранний период. На эти труды Рутенбург смело ссылается и вводит некоторые из них в научный обиход советских ученых. Разумеется, он делал это, отдавая Вольпе дань как источниковеду, но, кроме того, Рутенбурга не могла не привлечь попытка его итальянского коллеги объединить в рамках целостной объяснительной модели ход истории итальянских земель от средних веков до объединения Италии. Развитие полицентризма как стадия на пути движения к единому государству не могло не стать общей проблемой осмысления обоих историков. Развитие коммун и народные движения как важнейшие характеристики развертывания исторического процесса в целом был склонен выделять как Вольпе, так и Рутенбург, придя к сходным выводам независимым путем, в частности, в акцентировании новационного характера коммуны, борьбы внутри коммуны и борьбы с сеньорами.

В советской историографии, в первую очередь благодаря разработкам Рутенбурга, в употреблении источниками названий *comunia*, *comune* видели не просто новый юридический термин для обозначения общины, но качественно новое явление социально-политического развития: акцентировалась борьба за коммуну, а не преемственность ее генезиса, и сами термины *coniuratio*, *juramentum*, сопровождающие первые документальные свидетельства появления коммуны, истолковывались в данном ключе. Хотя в принципе мог быть подчеркнут мотив частного договора, оставалась и возможность выделять момент публичности, политического обновления. Рутенбург прямо указывал, что «торжественный момент перехода власти из рук феодального сеньора в руки города отмечали клятвой *coniuratio*»<sup>7</sup>. Как и в произведениях европейских историков начала прошлого века, речь шла о переломном моменте развития

---

<sup>7</sup> Рутенбург. 1965. С. 8.

общины, а первоначальный этап ее развития (этап *conjuratio*) связывался с обретением этим объединением публичных функций. И, следовательно, уже в силу этого нового качества о плавной линии преемственности не могло быть и речи. Однако при этом никак не доказывается, что время объединения соседей с помощью договора круговой поруки и есть переход к коммуне, что частный характер договора становится непременно публичным. В этом вопросе Рутенбург гораздо ближе итальянским предшественникам экономическо-юридической школы начала века, с которыми ассоциировалось имя Вольпе в его молодые годы, а не своим современникам, итальянским историкам начала 1970-х гг., пришедшим к выводу о преобладании частного характера этих объединений. Историки склада Вольпе и Рутенбурга хотели видеть в конституировании коммун некий подготовительный процесс включения народа в дело управления, которое будет им реализовано в Новое время, причем Вольпе понимал «народ» достаточно расплывчато, а советский историк приближал это понятие к понятию «класс». Однако ни тот, ни другой при создании концепций нисколько не ослабляют стандарт работы с первоисточниками, не теряют навыков источниковедов и исследователей казусов, они просто вписывают эти казусы в особый контекст, конструируемый на основе собственной идеологии. Обе составляющие личности мне кажутся равнозначными для достижения высокого статуса – и уверенное владение техническими навыками, и креативность и харизматичность историка играют равнозначимую роль, в разных обстоятельствах более выигрышным становится либо одно, либо другое умение.

В то же время сказывалось и влияние идеологической доминанты: работы советского историка могли импонировать левым послевоенным интеллектуалам по причине моды на марксизм, а стремление прославлять свободу народа, данную в ее исторических корнях (одновременно с воспеванием определенной личности-выразителя чаяний народа), представленное, например, в произведениях Вольпе, пререкликалось с идеологическим заказом, сформулированным советской эпохой.

Ключевую роль мог сыграть и фактор личностных предпочтений, интеллектуальной биографии ученого. Возможно, рано проявившийся интерес Рутенбурга к филологии и языкознанию привел позднее к тому, что в разрабатываемых до 1980-х гг. концепциях Рисорджименто и Возрождения немалая роль была отведена вопросам языка, а не только экономическим предпосылкам и политической борьбе эпохи. Интересно, что Рутенбург, как и Вольпе, уделял в концепции Рисорджименто особую роль историческим и культурным предпосылкам, а также контексту международной обстановки и европейской политики.



Итак, Вольпе и Рутенбург, авторы трудов об эпохах Средневековья и Рисорджименто, являлись создателями сходной концепции истории – истории как единого целого, как планомерного выражения народного духа или как логики развития классово-борьбы. Неудивительно поэтому, что в их глазах эпохи Средних веков и Нового времени были взаимосвязанными и нуждались в тотальном объяснении, реконструкции отсутствующих видимым образом связей между этими эпохами. При этом наличие цезуры или упадка не вписывалось в такое идеальное прогрессивное развитие, поэтому мотивы регресса и упадка, хотя и признавались как отдельные явления, но снимались на уровне синтеза частных случаев, что позволяло проецировать отдельные положительные импульсы на всю картину исторического развития в целом.

Средневековье, таким образом, несло в зародыше потенциал будущего объединения, и в каждом свершении и народном движении прошлого эти историки видели дух далекого Рисорджименто. Рисорджименто же являлось логическим продолжением лучших устремлений Средневековья и Ренессанса, всех экономических, политических и культурных свершений прошлого (а не только победой Савойской династии). Разработанная в данном ключе концепция Средневековья – это своего рода модернизация, а концепция Рисорджименто, напротив, исторична. Ведь в первом случае некоторые проявления средневековой жизни рассматривались как имеющие ценность для будущего, во втором же случае анализировались корни явлений эпохи Нового времени, но, возможно, долго зрелище в предшествовавший период. Идол происхождения часто не давал покоя историкам, но далеко не всем историкам Рисорджименто и даже не всем его свидетелям, импонировала идея предопределенности Рисорджименто. В принципе в Италии была сильна линия изучения отдельных политических личностей и роли королевской династии свершивших невозможное, а не попытка описать новый этап развития Италии как логическое следствие предшествующей истории Европы. Акцентируя историко-политические предпосылки Рисорджименто, Вольпе стал ближе позднейшим советским интерпретаторам эпохи, чем к традиции итальянской историографии.

Медиевисты Вольпе и Рутенбург, обращаясь к истории Нового времени, одновременно конструировали концепцию Средневековья, исходили из существования неких исконных исторических импульсов, которые стали основой движения, приведшего к объединению Италии. И наоборот, конструируя образ эпохи, когда это изменение произошло, они использовали проекции своих медиевальных штудий, рассматривая Средневековье как нечто нацеленное в будущее, а не самодостаточное.

Оба историка искали предпосылки Рисорджименто, причем у советского ученого этот поиск перерос в стремление отрицать кризис и стагнацию в итальянской истории. По его мнению, любое попятное движение находило компенсацию в других сферах развития, и суммарный импульс не терялся. По разным причинам – националистической гордости или необходимости подвести исторический процесс под стандарты сменяемых формаций, но оба историка создавали научно-исторические нарративы прогрессивного развития и роли народа как его творца, склоняясь к антропоморфной метафоре в описании актора истории.

Вольпе и Рутенбург не могут быть описаны как жертвы или даже пассивные проводники влияния того политического режима, при котором осуществлялась их карьера. Они – не просто кабинетные ученые, а деятели в прямом смысле: оба отважно принимали участие в военных действиях, а также были борцами «идеологического фронта»: они не просто восприняли идеологию, но и творили ее как интеллектуальное обеспечение определенного режима. Прекрасные источниковеды, знатоки казусов, они, однако, не могли быть лишь приверженцами логики источника – идеи, провозглашенной в 1970-е гг. Ученые такого интеллектуального и идейного склада, какими были Вольпе и Рутенбург, сыны своих героических эпох, должны были вести за собой читателя, убеждая и разубеждая, вскрывать корни явлений, анализировать частное и конкретное – но параллельно и мифологизировать результаты, подчинять разрозненные казусы общему идеологическому ориентиру.

Оба историка оказали влияние на процессы взаимопроникновения интеллектуальных традиций двух стран, способствовали ознакомлению с принципами изучения истории в рамках основных школ историографии, с доминирующими проблемами и линиями развития исследований зарубежных коллег. Можно сказать, что работа над сходной проблематикой способствовала сближению исторических школ России и Италии или, по крайней мере, большему их взаимопониманию. Однако необходимо объяснить и саму эту общность интересов. Вполне обоснованным будет констатировать, что близость идей двух не взаимодействовавших прямо интеллектуалов из России и Италии, не стала случайностью, но была предопределена общими идеологическими основами.

Интеллектуальная составляющая дискурса итальянского фашизма создавалась буквально с нуля уже после прихода Муссолини к власти. Среди политиков-практиков не нашлось таких, которые стали бы теоретиками и творцами идеологических манифестов, и к созданию нового дискурса подключились историки, не просто знакомые с модным в начале века вульгарным марксизмом, но сформировавшиеся под влиянием

такого рода историзма. При фашистском режиме этот интеллектуальный субстрат эволюционировал, формально порвав с левой идеологией, но не исчезал полностью. С другой стороны, классический марксизм активно перерабатывался в советской науке, постоянно декларирующей верность марксизму, отнюдь не всегда ее соблюдая. Отсюда сходство идейных установок историков двух стран. При этом отметим, что глобальная идеологическая задача парадоксальным образом не препятствовала кропотливому изучению казусов истории, источниковедческой работе.

Очевидно, что в советской и фашистской историографии было подспудно принято общее представление о связности исторического процесса и об итальянском популяризме как движущей силе истории. Их концепции отдельных исторических эпох были частями общего плана объяснения истории, при котором особую роль играл «народ» (в т.ч. в феномене народной коммуны). Мне кажется, речь идет о крупном, не разработанном на материале медиэвистики блоке вопросов: об общих корнях различных национальных школ при формально враждующих идеологических системах, о сходстве и различии историографических мифов фашистской национальной истории с мифотворчеством марксизма при создании образа истории и образа средневековой коммуны.

### БИБЛИОГРАФИЯ

- Бурдьё П.* Рынок символической продукции // Вопросы социологии. 1993. № 1/2.
- Рутенбург В. И.* Истоки Рисорджименто: Италия в XVII-XVIII вв. Л., 1980.
- Рутенбург В. И.* Италия и Европа накануне нового времени. Л., 1974.
- Рутенбург В. И.* Итальянский город от раннего Средневековья до Возрождения. Л., 1987.
- Рутенбург В. И.* Итальянские коммуны. Л., 1965.
- Рутенбург В. И.* Кампанелла. Л., 1956.
- Рутенбург В. И.* Народные движения в городах Италии. XIV - начало XV в. Л., 1958.
- Рутенбург В. И.* Титаны Возрождения. Л., 1986.
- Рутенбург В. И.* Титаны Возрождения. СПб., 1991.
- Селунская Н. А.* Пройденный путь идей: век Джоаккино Вольпе // Диалог со временем. 2011. Вып. 36. С. 403-423.
- Clark M.* Gioacchino Volpe and fascist historiography in Italy // Writing National Histories: Western Europe Since 1800 / Ed. by K. Passmore, M. Donovan, S. Berger. N.Y.: Taylor & Francis, 1999.
- Volpe G.* Il popolo italiano nella Grande Guerra (1915-1916). Roma, 1998.
- Volpe G.* L'Italia che fu. Milano 1961.
- Volpe G.* Il Medioevo. Firenze: Vallecchi, 1927 [ripubblicato da Sansoni nel 1958].
- Volpe G.* Medio Evo italiano. Firenze: Vallecchi, 1923. [переиздание – Laterza, 2003].
- Volpe G.* Movimenti religiosi e sette ereticali nella società medievale italiana: secoli 11.-14. Firenze: Vallecchi, 1922 (2a ed. 1926) [послевоенные переиздания: Sansoni 1961, 1971, 1972, 1977; Roma Donzelli 1997].

*Селунская Надежда Андреевна*, кандидат исторических наук, старший научный сотрудник Института всеобщей истории РАН; *spesbona@mail.ru*

Е. Е. САВИЦКИЙ

## НАЦИОНАЛИЗМ – ПОСЛЕДНЯЯ УГРОЗА ДЕМОКРАТИИ? ЕВРОПЕЙСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ НАЦИОНАЛИЗМА И ИХ ПОСТКОЛОНИАЛЬНАЯ КРИТИКА В 1980–1990-е гг.

---

В статье показано, как исторический контекст дискуссий о национализме в 1980–1990-е гг. повлиял на изменения в подходах к данной проблематике, и как эти трансформации стали, в свою очередь, предметом критики со стороны историков, относящихся к направлению «постколониальные исследования». Особое внимание уделено позиции Ранаджит Гухи, Парты Чаттерджи, Шахида Амина по вопросу о трактовке и способах репрезентации межнационального и межэтнического насилия.

**Ключевые слова:** национализм, насилие, демократия, колониализм, гуманизм, постколониальные исследования, Ранаджит Гуха, Шахид Амин, Парта Чаттерджи.

---

В 1980-е – начале 1990-х гг. появился целый ряд теоретических и конкретно-исследовательских текстов о национализме (Б. Андерсона, Э. Геллнера, Э. Смита, Э. Хобсбома и др.<sup>1</sup>), в которых история возникновения наций и национализма исследовалась с критической перспективы, указывалось на связь истории наций с «убийствами, казнями, войнами, массовыми бойнями» (Б. Андерсон). Целью этих работ было сделать национализм политически неприемлемой идеологией<sup>2</sup>. Интересно сравнить контекст возникновения этих антинационалистических текстов и их использование в последующие годы.

Андерсон, Геллнер, Хобсбом – британцы, близкие к движению «новых левых». Книги Андерсона и Геллнера вышли в 1983 г., сразу после Фолклендской войны и подъема великодержавных настроений, как реакция на использование правительством Тэтчер национализма для преодоления крайне острых тогда социальных противоречий в стране. При этом своеобразным зеркалом служила судьба национализма в бывших британских колониях, где он изначально культивировался как атрибут цивилизованности (гражданской нации по «британскому образцу»), затем стал идеологическим инструментом борьбы за построение своей нации и независимость от англичан, но к 1970-м годам стал восприниматься как постколониальная идеология подавления («колониализм»).

---

<sup>1</sup> Armstrong. 1982. Breuilly. 1982; Андерсон. 2001 [1983]; Геллнер. 1991 [1983]; Smith. 1986. Хобсбаум. 1998 [1990]

<sup>2</sup> Что отнюдь не было очевидным в те годы – сравнить хотя бы эти тексты с начавшими издаваться тогда же «Местами памяти» П. Нора, где подчеркивается невозможность республики без нации и ее особой памяти.

лизм без англичан»), как оправдание мер по насильственной модернизации страны (принудительные вакцинации и стерилизации, снос «трупобных» домов и выселение городских бедняков, борьба с «религиозными предрассудками», «интеграция» национальных меньшинств). В целом, исследования британских исследователей показывали давнюю и крайне проблематичную связь между парламентской демократией, подразумеваемым ею формированием гражданской нации, прогрессистскими образами времени, модернизацией страны, повышением качества жизни («общества роста», по Геллнеру), и тем насилием, которое ради создания, сохранения и прогресса этой нации совершается.

Иным был контекст дискуссий о национализме в 1990-е гг., когда эта тема (до появления новой главной мировой угрозы в лице «исламских фундаменталистов») стала одной из самых обсуждаемых (и в политических, и в историографических дискуссиях). Тогда в значительной части Европы, освободившейся от коммунизма, национализм стал политически вполне приемлемой и очень востребованной идеологией. Одновременно, однако, кровавые этнические чистки прямо посреди Европы делали связь национализма и демократии слишком уж непристойной. Национализм начинает трактоваться как последняя угроза демократии после победы над коммунизмом. Демократические страны выступают против националиста С. Милошевича в Сербии, против Й. Хайдера в Австрии, в центре внимания оказываются рост ксенофобии во Франции, межэтнические конфликты в бывшем СССР, этнические чистки в Руанде или прошлые преступления С. Хусейна против курдов в Ираке<sup>3</sup>. Эти политические дискуссии повлияли и на обсуждение национализма историками, как на Западе, так и в России: например, Ю. Л. Бессмертный, критикуя А. Я. Гуревича, обвинял историю ментальностей именно в том, что та создает предпосылки для поддержания националистических коллективных стереотипов. Еще более резкие дискуссии вызвало появление издававшегося Ю. С. Пивоваровым и А. И. Фурсовым «Русского исторического журнала», и разные новые версии школьных учебников.

Примечательно, что, в отличие от 1980-х гг., во всех этих дискуссиях демократия и национализм противопоставлялись друг другу. Национализму необходимо было противостоять во имя демократии. Проблема того, в какой мере сама либеральная демократия подразумевает национализм, оказалась вытеснена, а понятие «гражданской нации» было заменено на более удобное «гражданское общество», хотя Геллнер,

---

<sup>3</sup> См., например: Europe's New Nationalism... 1996.

Андерсон и Хобсбом писали именно о британском и, шире, о европейском опыте, сохраняющемся в современности, о капитализме с его «обществом роста» как истоке национализмов. Или, уже в начале 1990-х, ряд авторов обращали внимание на то, что национализм и демократия в равной мере подразумевают на индивидуальном и коллективном уровне самоопределение и самоидентичность, возможность и необходимость коллективной солидарности и самоотграничения<sup>4</sup>. Но это скорее маргинальная позиция для тогдашних политических дискуссий, национализм в основном представлялся как абсолютно недемократическое явление.

Одновременно, однако, появляются другие работы, которые были реакцией на всеобщее осуждение национализма 1990-х, и которые начинают критически исследовать саму его демонизацию. Прежде всего, такое изменение трактовок происходит в рамках «постколониальных исследований». Так, например, индийско-американский историк Парта Чаттерджи в книге «Нация и ее фрагменты»<sup>5</sup> описывает то, как усвоение либерального национализма в Индии XIX – начала XX в. каждый раз сопровождалось его переименованием, переворачиванием, делавшим его зачастую прямо противоположным тому, что ожидали представители колониальных властей. Именно эти непредвиденные аспекты национализма вызывали раздражение как неправильный национализм, как его искажение, как опасность индийского национализма. Национализм все больше ассоциировался с нерациональным, насильственным, антимодернистским и тому подобными отрицательными характеристиками. Таким образом, в национализме неприятным оказывается то, что делает его угрожающим сложившемуся властному порядку. В этой связи Чаттерджи призывал к большей осторожности, как в исследовании националистических движений, так и в принятии аргументов антинационалистической критики. Не выступает ли она в действительности критикой всякого социального протеста вообще? Социального протеста отчаявшихся людей, которые ведут себя нерационально, и в их протестах больше культурной архаики, нежели высоких целей модернизации.

Что часто все бывает именно так, было показано еще европейской историографией 1960-70-х гг. Одним из первых Э. П. Томпсон в «Возникновении английского рабочего класса»<sup>6</sup> написал о «моральной экономике» восстаний, в которой оказываются более значимы, например, религиозные представления рабочих, а не их прогрессивное классовое

---

<sup>4</sup> Violence, Identity, and Self-Determination...

<sup>5</sup> Chatterjee. 1993.

<sup>6</sup> Thompson. 1963. См. также: Hobsbawm. 1959.

сознание, о котором так много писали марксисты. Схожим образом размышлял о восстании 1580 г. в южнофранцузском городе Романе Э. Леруа Ладюри<sup>7</sup>. В «Карнавале в Романе» он сначала подробно описывает социально-экономическое положение в этом регионе Франции, те противоречия, которые накапливались в вопросах землевладения, экономической власти в городе и т.д., но само восстание оказывается связано с событием по природе своей несовременным, имеющим корни чуть ли не в индоевропейской мифологии – с ежегодным карнавалом. Восстание начинается не из-за того, что возросла сознательность низших слоев общества и у них был план прогрессивных изменений своего существования, а потому, что карнавал с его праздничным переворачиванием существующих иерархий давал выход не вполне осознаваемому недовольству, накопившейся иррациональной злобе городских низов. Именно в этой иррациональности насилия происходит обращение к архаике. Наконец, пожалуй, самый известный пример – «Великое кошачье побоище» Р. Дарнтон<sup>8</sup>. Здесь мы снова видим бунтующих горожан, рабочих, причем самых образованных из них – парижских печатников, которые умели читать и по роду занятий должны были читать литературу своего времени. От них-то в первую очередь можно было ожидать классовой сознательности. Но устроенная ими охота на кошек, их избивание и сожжение на костре, подразумеваемое всем этим «символическое изнасилование хозяйки» очень далеки от модели истории как поступательного процесса модернизации общественного сознания. Рабочие протесты в Париже эпохи Просвещения, связанное с ними отвратительное насилие тоже, как обнаруживается, в гораздо большей степени объясняются фольклором того времени, стародавними ремесленными ритуалами, той же карнаваловой культурой, культурой шаривари и других народных праздников. Творимое печатниками насилие, оказывается, невозможно оправдать даже борьбой за лучшее будущее, воплощением некоего позитивного видения этого будущего.

Но стоит ли вслед за Дарнтоном тут же по аналогии осуждать и «революционные судилища» 1789-93 гг.? Задача Дарнтон, писавшего во времена Холодной войны, – дискредитировать историей о кошках событие Французской революции, столь значимое для левой политической традиции. Дарнтон, как и ряд других авторов «ревизионистской школы», представляет Французскую революцию как нечто нормальное

---

<sup>7</sup> *Le Roy Ladurie*. 1979.

<sup>8</sup> *Дарнтон*. 2002. См. также: *Дэвис*. 2006. С. 111-162. *Крузе*. 2006. С. 163-190.

в культуре XVIII в., вписывающееся в тогдашние ментальные структуры, а не исключительное. Но если поставить вопрос иначе? Не заставляет ли событие Французской революции, ее великое значение для европейской истории, невозможность после нее возврата к Старому порядку, по-другому взглянуть на более ранние восстания, о которых писала культурная история 1960-70-х гг.? Не следует ли именно в реакционном насилии, несводимом к экономическим факторам или политическим идеологиям, увидеть нечто более значимое, чем то, что виделось с позиций либеральной историографии, осуждавшей всякие бесчеловечные жестокости. Не возможна ли тут иная, «нечеловеческая» точка зрения?

«Рискуя подвергнуться гневу своих цветных братьев, я скажу, что Черный – не человек»<sup>9</sup>, – пишет Франц Фанон во введении к своей книге «Черная кожа, белые маски», одном из основополагающих трудов в постколониальной теории. Борьба за права чернокожих начинается для него с этого утверждения: «Черный – не человек». Фанону принципиально важно отказаться от разного рода гуманистических видений проблемы подавления и возможностей сопротивления ему. И дело не только во влиянии модного тогда экзистенциализма (книга публикуется в 1952 г. при содействии Сартра). Гуманизм, по мнению Фанона, выдает за универсальную ценность образ мышления и поведения белого человека, притом что цветные люди в действительности заведомо лишены возможности стать как белые. В этой ранней книге Фанон пишет, например, о границах понимания человеческой субъективности в рамках тогдашнего психоанализа. Скажем, сталкиваясь с какими-то трудностями, белый человек может подвергнуть их вытеснению, либо заняться их рационализацией. Иначе, говорит Фанон, обстоит дело в случае негра, которому все, и враги, и друзья, говорят, что направленные против негра предрассудки связаны лишь с цветом кожи. «И что я могу сделать в итоге?», – задается вопросом Фанон. Цвет кожи – это не то, что может быть забыто, это всегда то, что присутствует, что не поддается вытеснению. И одновременно, это проблема, которая не может быть решена в гегелевской борьбе сознаний за признание, поскольку чужая ненависть направлена тут не на сознание, а именно на кожу. Поэтому, считал Фанон, для чернокожего невозможны те формы преодоления связанного с социальным подавлением невроза, которые были возможны для евреев как белых людей – евреи как раз могли, как Мозес Мендельсон, бороться с дискриминацией посредством утверждения всеобщности человеческого разума.

---

<sup>9</sup> *Fanon*. 1952. P. 6.



Чернокожий не может действовать таким образом, и его субъективность разрушается в обществе, где в качестве всеобщей фигуры подразумевается белый, и разрушение это происходит не так, как описано у Фрейда или Адлера. Потому и решать эту проблему нужно иначе. (Тут у Фанона, по сути, и обозначается особое поле постколониальных исследований). Поэтому цинично говорить о чернокожих так, как если бы они были людьми «как все», и ожидать от них столь же универсального гуманизма. Уже особость колониальной травмы делает субъективность чернокожего иной, чем та, что подразумевается в качестве «общечеловеческой». «Черный – не человек», надо начать с этого.

В своей последней, предсмертной книге «Весь мир голодных и рабов»<sup>10</sup> Фанон, сам участвовавший в подпольной борьбе против французских властей в Северной Африке, обращается непосредственно к теме насилия, столь важной и для последующих постколониальных исследований: насилия белых в отношении черных, черных в отношении белых, «черных» (негров, арабов, других национальных групп Африки) по отношению друг к другу. С самого начала он заявляет: «Национальное освобождение, национальное возрождение, восстановление статуса нации, образование новых государств – сегодня мы часто слышим эти слова. Но какими бы ни были газетные заголовки, какие бы новые формулировки ни вводились в информационный оборот, освобождение колоний всегда будет оставаться явлением, связанным с насилием»<sup>11</sup>.

Почему это должно быть так? Фанон тут вводит важную и для позднейших исследователей проблематику того, что в грамшианских понятиях будет называться «господство без гегемонии»<sup>12</sup>. Как пишет Фанон, в Европе, при всех противоречиях между различными социальными группами, в целом существует консенсус относительно основных ценностей общества, например демократии, свободы слова, необходимости решать спорные вопросы в полемике, в конкуренции мнений: «в капиталистическом обществе система образования, светская или церковная, набор нравственных рефлексов, передающихся от отца к сыну, образцовая честность рабочих, которых награждают какой-нибудь медалькой после пятидесяти лет беспорочной службы, наконец, чувство глубокой привязанности, которое проистекает из гармоничных отношений и приличного поведения, – все эти эстетические проявления уважения к основанному порядку служат определенной цели. Они создают

---

<sup>10</sup> *Fanon*. 1961.

<sup>11</sup> Цит. по: *Фанон*. 2003. С. 15.

<sup>12</sup> См., например: *Guha*. 1997.

вокруг эксплуатируемого человека атмосферу подчинения и подавления, что на порядок облегчает задачу полицейского контроля»<sup>13</sup>. Иными словами, по мнению Фанона, в метрополии господство осуществляется, прежде всего, средствами культурной гегемонии, или, по крайней мере, видимости таковой. Правит тот, кто был самым убедительным на выборах, чей властный режим представляется наиболее легитимным, отвечающим принятым представлениям о власти.

Однако европейские страны, утверждает Фанон, даже не пытаются осуществлять такую гегемонию в колониях. «В странах-колониях ситуация выглядит иначе. Постоянное и не закамуфлированное присутствие полицейского и солдата, их частое и осязаемое вмешательство поддерживают непосредственный контакт с коренным населением, с помощью винтовочных прикладов и напалма убедительно советуя ему сидеть тише воды, ниже травы»<sup>14</sup>. Колониальные власти (на самом деле, тут во многом речь идет и о власти вообще), таким образом, сами приносят в колонии насилие, ответом на которое может быть только другое насилие. Ибо у нас нет возможности разговаривать. Дискурсивность здесь, подчеркивает Фанон, оборачивается насмешкой над самой собой, ибо европейцы пытаются доказывать преимущество своих ценностей уже после того, как они установили господство при помощи оружия, и соответственно всякая речь оказывается фальшивой, второстепенной, прикрывающей истинное положение дел. Возвышенные образы великой европейской культуры в этой ситуации иронически выворачиваются. «Любые ценности безвозвратно извращаются, стоит им соприкоснуться с теми людьми, что населяют колонии»<sup>15</sup>. «Насилие, при помощи которого утверждается превосходство ценностей белого человека, и открытая агрессивность, обеспечивающая победу этих ценностей над образом жизни и мышления местного жителя, приводят к тому, что для местного жителя западные ценности, о которых распинаются перед ним, становятся предметом насмешки». Отсюда большой скепсис Фанона относительно посреднических усилий национальной интеллигенции и проповеди ею ненасилия. Снова циничными оказываются призывы к человечности и человеческому достоинству, «ибо эта человеческая личность никогда не слышала о таком достоинстве. Все, что местный житель мог видеть у себя в стране, – арест в любое время дня и ночи, побои, голод». «С момента появления на свет ему ясно, что против это-

---

<sup>13</sup> Фанон. 2003. С. 18.

<sup>14</sup> Там же.

<sup>15</sup> Там же. С. 20. Позднее об этом писал и Х. Баба: *Bhabha*. 1994. P. 85-92.

го замкнутого мира, наполненного запрещающими надписями, можно выступить, лишь прибегнув к абсолютному насилию»<sup>16</sup>. И потому, как только государственное насилие ослабевает, первое желание такого человека – это подняться и воткнуть нож в хозяина<sup>17</sup>.

Таким образом, по мнению Фанона, национальное насилие оказывается неинтегрируемым «другим» западной либеральной демократии; так же и межнациональная вражда в самих (бывших) колониях происходит от того, что в условиях невозможности поднять руку на белого поработенный человек начинает выплескивать свою агрессивность на собственное окружение. «Дело в том, что ему не остается ничего, кроме как защищать свою индивидуальность перед лицом своего брата»<sup>18</sup>. И это еще больше убеждает колонизатора в том, что таких людей нельзя назвать разумными. Тут снова едва ли возможен интеллектуальный диалог, потому что со стороны западных собеседников первым делом

---

<sup>16</sup> Фанон. 2003. С. 22, 23, 17.

<sup>17</sup> Эта тема интересовала писателей и до Фанона, и примером тут может быть рассказанная Г. фон Клейстом в «Обручении на Санто-Доминго» история «страшного старого негра по имени Конго Гоанго». Некогда спасший жизнь хозяина во время плавания на Кубу он, облагодетельствованный им, был во главе тех, кто пришел убивать господина де Вильнёва, как только началось гаитянское восстание рабов, и с тех пор посвятил свою жизнь ловле и истреблению белых. Примечательны комментарии, которыми снабдила текст Клейста радиостанция NDR Kultur, в сентябре 2011 г. транслировавшая в течение недели это произведение немецкой литературы эпохи романтизма. Редактор отметил, что Клейст сводит историю восстания рабов на Гаити к вражде «страшных негров» по отношению к белым. С этим трудно не согласиться. Но что если проблема здесь не только в расизме умершего 200 лет назад Клейста, но и в современном желании заслониться от той дикой и иррациональной ненависти, которая может испытываться по отношению к благополучным европейцам выходцами из «третьего мира»? Не только немецкий редактор, но и многие историки, писавшие об этом первом удавшемся случае создания независимого государства бывшими рабами, стремились отмечать борьбу этих людей за свободу, за равноправие, то, как они вообще восприняли идеи Французской революции, и тем самым в идеологическом плане восстание оказывалось понятным и даже приятным европейскому читателю. Оно вписывалось в готовые объяснения, оно, как кажется, не оказывало никакого деструктивного сопротивления рационализации. О подобном «вытеснении» историками исторического материала, о конститутивном для исторической профессии разделении его на «мыслимое» и «немыслимое» писал еще М. де Серто, предлагавший одновременно пересмотреть задачи историографии. См.: *Certeau*. 1975. P. 77-145.

<sup>18</sup> Фанон. 2003. С. 30. В другом месте Фанон рассуждает в этой связи и о необычайной статусности колониальных обществ, где каждый следит за признаками социального отличия другого и беспокоится о том, чтобы не быть самым последним в этой иерархии. Возможно, это сопоставимо с наблюдениями социологов о значении статусности в современном российском обществе.

для местных жителей организуются учебные семинары о вреде национализма и о том, как построить правильное гражданское общество.

Фанон, таким образом, настаивает на абсолютной ценности насилия. Именно в насилии, по его мнению, рождается новый человек, чернокожий становится человеком. «Подавляемые своей ничтожностью, зрители спектакля превращаются в привилегированных актеров и внезапно оказываются в ослепительном свете мощных прожекторов, которые наводит на них сама история. Национальное освобождение привносит в бытие естественный ритм. Это бытие рождается вместе с новым человеком, а вместе с обновленным бытием появляется новый язык и формируется новая человеческая общность. Освобождение колоний оборачивается настоящим сотворением нового человека», но «это может произойти лишь после кровопролитной и решительной схватки»<sup>19</sup>.

Эта линия рассуждений получила в 1980-90-е гг. развитие в индийской постколониальной историографии, она оказалась востребована для переосмысления собственного прошлого. Уже основатель индийских «Subaltern Studies» Ранаджит Гуха указывал на самостоятельное значение насилия в книге «Основные аспекты крестьянских восстаний в колониальной Индии»<sup>20</sup>, изданной тогда же, когда и «Воображаемые сообщества» специалиста по Юго-Восточной Азии Андерсона и «Нации и национализм» Геллнера). Гуха показывал, что в существующих работах историков восстания описываются обычно как нечто спонтанное и вызванное внешними причинами. Усиливается угнетение, и люди восстают. Какой-то чиновник отличается злоупотреблениями, и люди обращают на него свой гнев. В итоге, главным действующим лицом восстания, как и его истоком, причиной, является господин, а активность подвластных людей, «субалтернов», вторична. И соответственно, Гуха ставил задачу писать историю восстаний, учитывая представления и мотивы самих восставших. И для этого необходимо, прежде всего, отказаться от подчинения истории восстаний принятой научной логике причин и следствий, потому что именно эта научная логика позволяла осмысливать восстания в рамках западных, «буржуазных», объяснительных моделей, и тем самым вытеснялось то, что этим моделям «буржуазного общества» сопротивлялось. Восстания, таким образом, ассимилируются в исторических повествованиях о них, делаются понятными, ни в чем не подрывающими колониальный взгляд на мир.

---

<sup>19</sup> Там же. С. 30, 31.

<sup>20</sup> Guha. 1983.

Этот текст написан под влиянием Хейдена Уайта, и по его образцу Гуха выстраивает классификацию первичных, вторичных и третичных нарративов (непосредственные свидетельства, официальные отчеты, сочинения историков), которые, однако, все навязывают материалу связность и осмысленность, делают возможной речь о восстании в отсутствие самих восставших, и в итоге вписывают эти события в поступательную перспективу становления национализма (в смысле Индийского национального конгресса) или пути к социализму (в понимании индийскими марксистами времен Неру). В любом случае утрачивается то, что не вписывалось в существующие модели придания связности и осмысленности и было «немыслимым» для создаваемой по западным образцам историографии – прежде всего «реакционное» содержание восстаний, то, что в них не было направлено на какие-либо «позитивные», с европейской точки зрения, результаты, а было абсолютно бессмысленным, абсурдным, деструктивным. Но в этом, по мнению Гухи, и заключен особый интерес крестьянских восстаний для написания иных историй колониализма, того, что представляет собой неинтегрируемое «другое» западной либеральной демократии, что сопротивляется рационализации и включению в принятые модели осмысления социального. Восставшие перестают вести себя согласно нормальной человеческой логике и правилам поведения, и как раз в этом они восстают. То есть, у Гухи, при всех сходствах, было важное отличие от европейской культурной истории, «истории снизу», и это подчеркивают комментаторы его текстов: если в европейской «истории снизу» утверждалась субъективность человека, его качество индивида, то здесь, хотя и происходит тоже обращение к действующему лицу, но в тот момент, когда он «выходит из себя», утрачивает характерную для субъекта саморефлективность, самоконтроль, и начинает бунтовать. Причем бунт, как правило, заканчивается неудачей, в итоге это всегда еще и сугубо разрушительный опыт. Так Гуха не только стремится ввести новый объект рассмотрения, но и обратить внимание на то, что до сих пор служило вытеснению этой проблематики из историографического дискурса.

Историей бенгальского крестьянства занимался и тот самый Парта Чаттерджи, что в 1993 г. критически писал о либеральном присвоении темы национализма как последней угрозы демократии после коммунизма<sup>21</sup>. Но в то время как Чаттерджи позднее стал в большей мере заниматься интеллектуальной историей индийского национализма, ряд ав-

---

<sup>21</sup> См.: *Chatterjee*. 1986, 1993.

торов в 1990-е гг. из схожих соображений стали в большей мере уделять внимание памяти о крестьянских восстаниях, деланию их безобидными в современной культуре, а также неадекватности языка новейшей историографии феномену межэтнического или межрелигиозного насилия.

Пожалуй, наиболее значимым исследованием такого рода является книга Шахида Амина «Событие, метафора, память: Чаури Чаура, 1922–1992»<sup>22</sup>, где Амин своеобразно развивает проблематику работ Гухи. Он рассматривает историю бунта в индийской деревне в Утар-Прадеше, во время которого был сожжен полицейский участок вместе с находившимися там двадцатью тремя полицейскими, которые в основном тоже были местными жителями. События в Чаури Чаура были сразу использованы британской пропагандой для дискредитации освободительного движения, и сам Индийский национальный конгресс, от имени которого действовали крестьяне, поспешил отмежеваться от таких насильственных действий. Ганди пришлось временно прекратить все акции гражданского неповиновения. По этой причине в официальной националистической историографии крестьянский бунт рассматривался даже как удар в спину прогрессивной борьбе ИНК с британским колониализмом. Характерное описание этого случая можно найти в автобиографии Дж. Неру: «Мы негодовали, узнав о прекращении борьбы в тот самый момент, когда мы, казалось, укрепили наши позиции и успешно продвигались на всех фронтах. <...> Мой отец (находившийся в это время в тюрьме) был сильно огорчен этим. Представители младшего поколения были, естественно, еще больше взволнованы. Такой реакции надо было ожидать, ибо внезапно рухнули наши все возраставшие надежды. <...> Случай в Чаури Чаура мог быть, и действительно был, прискорбным инцидентом, резко противоречащим всему духу ненасилия. Но разве допустимо было, чтобы отдаленная деревня и толпа охваченных возбуждением крестьян в каком-то глухом месте могли положить конец, по крайней мере на какое-то время, нашей многонациональной борьбе за свободу?»<sup>23</sup> Шахид Амин видит в этих словах о «глухом месте», «возбужденных крестьянах», всего лишь «отдаленной деревне» проявление того высокомерия, которым отличалось правительство независимой Индии и позднее, игнорируя местные интересы, дисквалифицируя их как проявления отсталости и дикости, подлежащих преодолению в общей борьбе за лучшее будущее.

Схожим образом, как уголовное преступление, рассматривали сожжение двадцати трех полицейских и судебные власти. Возглавлявший

---

<sup>22</sup> Amin. 1995.

<sup>23</sup> Неру. 1955. С. 94-95.

расследования судья Теодор Пигготт говорил, что объявить этот случай восстанием – было бы сделать слишком много чести этим крестьянам, возвысить их до героев, решившихся на сопротивление Королю, и потому их следовало судить как обычных преступников.

Шахид Амин, который сам родом из тех мест, исследовал как официальную (британскую и националистическую), так и локальную память об этом событии. С одной стороны, он показывает, что в новейшей мемориальной традиции как крестьяне, так и погибшие полицейские стали в равной мере рассматриваться как жертвы колониализма. Событию стало приписываться преимущественно политическое измерение, так что оно теперь виделось более нейтральным. Одновременно, главной действующей силой оказывались разные внешние факторы, а не сами крестьяне. С другой стороны, исследуя предысторию восстания, беседуя с родственниками участников тех событий, Амин реконструировал локальную предысторию произошедшего, религиозные представления крестьян того времени, во многом объясняющие их поведение и выявляющие важность отнюдь не «передовых» взглядов в борьбе за независимость от британского господства. При этом он показал и то, как эта локальная память трансформировалась под воздействием позднейших официальных версий, и Амина даже упрекали позднее в том, что он так и не смог реконструировать настоящий мир угнетенного человека прошлого<sup>24</sup>. Для Амина, однако, было важно показать как раз наличие этого зияния, того, что только в качестве такого зияния и существует, показать это отсутствие голоса крестьянина прошлого, в котором, в этом отсутствии, его собственная позиция лишь и становится заметной<sup>25</sup>. И дело не только в недостаточности источников, в том, что тогда, в 1922 г., никому не пришло в голову заняться устной историей, а в том, что определенные вещи в прошлом только и присутствуют как такие зияния, как абсолютная негативность. Или складки чужого нарратива, в котором четко выделялись определенные действующие лица, начала и конец истории, причины и следствия – это нарративы, которые выстраивались в первых слухах о произошедшем, в последующих официальных реакциях ИНК и материалах полицейского расследования, в дальнейших интерпретациях событий.

Это внимание к «пустотам» в истории, а не только к тому, что позитивно присутствует, кажется мне важной инновацией в историогра-

---

<sup>24</sup> Freitag. 1998.

<sup>25</sup> Это прямо противоположно известному нам изучению «культуры безмолвствующего большинства» как чего-то позитивного, что надо наделять присутствием.

фии того времени. На самом деле, схожая проблематика в то же время появляется, например, и в историографии Холокоста<sup>26</sup>, так что эту постановку вопросов нельзя считать специфически индийской или постколониальной. Особой постколониальной постановкой вопроса является тема соотношения между ненасильственным, «цивилизованным» и «прогрессивным» национализмом и национализмом насильственным, «диким» и «реакционным».

Является ли «дикое насилие» более свободной формой протеста, в большей мере сопротивляющейся идеологическому присвоению той же господствующей культурой, против которой идет борьба, – вопрос очень спорный. В отличие от Фанона, занимающийся мемориальной культурой Амин тут более скептичен. Тем не менее, представляется важным, в том числе и для российских дискуссий о национализме, что эти историки (Гуха, Амин, Пракаш и др.) считали необходимым отказаться от прямолинейно-осуждающих стереотипов в истории столкновений, погромов, мятежей, в том числе – в трактовке современных случаев межэтнического или религиозного насилия, о которых писал, например, Джан Пандей<sup>27</sup>, занимающийся не только изучением индийской истории, но и правозащитной деятельностью.

Общие объяснительные модели вроде «национализма», по мнению этих авторов, больше мистифицируют, чем объясняют. Необходимы более тонкие инструменты анализа (они обращались к вошедшему тогда в моду микроанализу), а исследование различных уровней памяти указывало на невозможность какого-либо единого, центрального национального нарратива. При этом представители «постколониальных исследований» особенно настаивали на необходимости множественного взгляда на историю. Идея «многоликости прошлого» сегодня звучит банально, но она может пониматься и так, что различные трактовки прошлого несводимы друг к другу, между ними невозможно согласие и унификация, однако это и хорошо, такое множественное прошлое создает пространство для культурной и политической множественности в настоящем. Это понимание прошлого, которое не требует непременно создания, скажем, межгосударственных «комиссий историков», которые должны непременно договориться об общей трактовке чего-то. Само желание достигнуть такого рода согласия, единства во взглядах, и при этом «демифологизировать» прошлое, отрицает то, что прошлое изначально было мифологизированным – оно было таковым, разделенным, уже в

---

<sup>26</sup> См.: Probing the Limits... 1992, а также, особенно: Агамбен. 2004; 2003.

<sup>27</sup> Pandey. 1992, а также: *Idem*. 2001.



момент своего свершения, и потому никакого «чистого» и единого прошлого быть не может. Как показывает Амин, единственное, что мы имеем – это крайне сложный процесс множественной памяти, в котором событие всегда как минимум раздвоено. И дело не в том, чтобы найти истину за некими ложными определениями (например, российском случае, «братства народов» и «советской оккупации»), а в том, чтобы мыслить историю множественно.

Эти размышления Амина, связанные с особой судьбой индийского федерализма, на самом деле, снова, совпадают с тем, что писали и некоторые европейские авторы – например, Мишель Фуко, отстаивавший преимущество раздвоенного, «шизоидного», скорее даже вообще множественного, взгляда на вещи, понимание самих вещей как не редуцируемых к некоей окончательной определенности<sup>28</sup>.

Однако такая множественность в постколониальном взгляде на прошлое возникает не только из расщепления различных единств. Она возникает и из совмещения того, что обычно не соотносилось одно с другим. Это взгляд на историю, на проблематику национализма, в котором должны учитываться взаимосвязанность «отвратительного» и «прекрасного», «азиатского» и «европейского», «экстремизма» и «демократии», ее нормализующих экспансионистских проектов.

### БИБЛИОГРАФИЯ

- Агамбен Д.* Свидетель // Синий диван. 2004. № 4. С. 177-204.
- Андерсон Б.* Воображаемые сообщества. Размышления об истоках и распространении национализма. М.: Канон-Пресс-Ц, Кучково поле, 2001. 287 с.
- Дарнтон Р.* Великое кошачье побоище и другие эпизоды из истории французской культуры. М.: Новое лит. обозрение, 2002. 378 с.
- Делез Ж., Гваттари Ф.* Капитализм и шизофрения. Тысяча плато. Екатеринбург, М.: У-Фактория, Астрель, 2010. 892 с.
- Дэвис Н.З.* Обряды насилия // История и антропология: Междисциплинарные исследования на рубеже XX-XXI вв. СПб.: Алетейя, 2006. С. 111-162.
- Геллнер Э.* Нации и национализм. М.: Прогресс, 1991. 319 с.
- Крузе Д.* След другой истории: Бог и избивающие младенцы // История и антропология: Междисциплинарные исследования на рубеже XX-XXI вв. СПб.: Алетейя, 2006. С. 163-190.
- Лакан Ж.* Семинары. Кн. 11. Четыре основных понятия психоанализа (1964) / Под ред. Ж.А. Миллера. М.: Гнозис, Логос, 2004. 299 с.
- Неру Д.* Автобиография. М.: Изд. иностр. лит., 1955. 654 с.

---

<sup>28</sup> Фуко. 1999. О шизоидности взгляда см. также: Лакан. 2004. С. 75-131. О противопоставлении шизоидности и множественности см.: Делез, Гваттари. 2010.

- Фанон Ф. Весь мир голодных и рабов: Отрывки из книги // Антология современного анархизма и левого радикализма. Т. 2. М.: Ультра. Культура, 2003. С. 15-78.
- Фуко М. Это не трубка. М.: Художественный журнал, 1999. 142 с.
- Хобсбаум Э. Нации и национализм после 1870 года. СПб.: Алетейя, 1998. 306 с.
- Agamben G. Ce qui reste d'Auschwitz. Paris: Rivages, 2003. 195 p.
- Armstrong J. A. Nations Before Nationalism. Chapel Hill: Univ. of North Carolina Press, 1982. VII, 410 p.
- Bhabha H. Of Mimicry and Man: The Ambivalence of Colonial Discourse // Idem. The Location of Culture. L., N.Y.: Routledge, 1994. P. 85-92.
- Breuilly J. Nationalism and the State. Manchester: Manchester Univ. Press, 1982. 421 p.
- Certeau M. de. L'écriture de l'histoire. Paris: Gallimard, 1975. 527 p.
- Chatterjee P. The Colonial State and Peasant Resistance in Bengal, 1920-1947 // Past and Present. No. 110. 1986. P. 169-204.
- Chatterjee P. The Nation and Its Fragments. Colonial and Postcolonial Histories. Princeton: Princeton Univ. Press, 1993.
- Europe's New Nationalism: States and Minorities in Conflict / Ed. by R. Caplan, J. Feffer. L., N.Y.: Oxford Univ. Press, 1996. 256 p.
- Fanon F. Les damnés de la terre. Paris: La Découverte, 1961. 311 p.
- Fanon F. Peau noire, masques blancs. Paris: Seuil, 1952. 188 p.
- Freitag S. B. Review of: Amin Sh. Event, Metaphor, Memory. Chauri Chaura, 1922-1992. Berkeley, Los Angeles, 1995 // American Historical Review. Vol. 103. № 5. 1998. P. 1676-1677.
- Guha R. Dominance without Hegemony. History and Power in Colonial India. Cambridge (Mass.), L.: Harvard Univ. Press, 1997. XX, 245 p.
- Guha R. Elementary Aspects of Peasant Insurgency in Colonial India. Delhi: Oxford Univ. Press, 1983. XI, 361 p.
- Hobsbawm E. Primitive Rebels. Studies in archaic forms of social movement in the 19th and 20th centuries. Manchester: Manchester Univ. Press, 1959. 202 p.
- Le Roy Ladurie E. Le Carnaval de Romans: de la Chandeleur au Mercredi des cendres (1579-1580). Paris: Gallimard, 1979. 426 p.
- Pandey G. In Defence of the Fragment: Writing About Hindu-Muslim Riots in India Today // Representations. № 37. Imperial Fantasies and Postcolonial Histories. 1992. P. 27-55.
- Pandey G. Remembering Partition: Violence, Nationalism and History in India. Cambridge: Cambridge Univ. Press, 2001. 236 p.
- Probing the Limits of Representation: Nazism and the «Final Solution» / Ed. S. Friedlander. Cambridge (Mass.): Harvard Univ. Press, 1992. 416 p.
- Smith A. The Ethnic Origins of Nations. L., N.Y.: Blackwell, 1986. 336 p.
- Thompson E. P. The Making of the English Working Class. L.: Vintage, 1963. 960 p.
- Violence, Identity, and Self-Determination / Ed. H. de Vries, S. Weber. Stanford: Stanford Univ. Press, 1997. XIV, 401 p.

**Савицкий Евгений Евгеньевич**, кандидат исторических наук, доцент кафедры истории и теории культуры Российского государственного гуманитарного университета; savitski.rgu@gmail.com.

# «СВОЙ» – «ЧУЖОЙ» – «ДРУГОЙ» ЕСЛИ НЕ ДРУГ, ТО ВРАГ?

---

А. В. ХАЗИНА

## АНТИНОМИЯ «СВОЙ – ЧУЖОЙ» В ИСТОРИЧЕСКОМ НАРРАТИВЕ ВЗГЛЯД ЭЛЛИНИСТИЧЕСКОЙ ИСТОРИОГРАФИИ

---

В статье исследуется специфика эллинистического исторического нарратива в его отношении к устойчивым этнокультурным стереотипам античной историографии. В центре внимания – тексты Посидония Апамейского. Многочисленные фрагменты его «Историй» позволяют говорить о том, что Посидоний не ограничивался воспроизведением привычных при описании варваров клише, и преодоление им этих клише основывалось не столько на позиции историка и этнографа, сколько на философско-этической концепции стоика-энциклопедиста.

**Ключевые слова:** греко-варварский антагонизм, этнокультурные стереотипы, эллинистическая историография, Посидоний Апамейский.

---

В античности процесс этнокультурного взаимодействия был практически односторонним (выстроенным по оси: центр–периферия) и представлял собой развернутое во времени противоречие. Основной антонимией являлось противопоставление: «грек–варвар», «римлянин–варвар», постепенно трансформировавшееся в противопоставление «цивилизация–варварство»<sup>1</sup>. В этой антиномии отражалась специфика мировосприятия человека древности, ядром которого являлась базовая бинарная оппозиция «сакральное–профанное»<sup>2</sup>, неотрефлексированная по форме, разворачивающаяся в антиномиях более низких уровней: свое–чужое, правильное–неправильное, нравственное–безнравственное, цивилизованное–варварское. Для греков принцип полярности был одним из ведущих в их способе восприятия и изображения мира<sup>3</sup>. Сами античные авторы пользовались аналитическим приемом – мыслить «парами оппозиций», формулируя противоположности, которые, по их мнению, структурировали мир<sup>4</sup>. Вслед за пифагорейцами Аристотель в «Полити-

---

<sup>1</sup> Историография этой проблемы достаточно обширна: Müller. 1975. P. 501-509; Baldson. 1979; Franci. 1989. P. 225-233; Schmitt. 1990. P. 41-58; Millar. 1981; Dauge. 1981. См. также: Грацианская. 1999. С. 46-58; 2002. С. 3-4.

<sup>2</sup> См.: Элиаде. 2000. С. 254-350.

<sup>3</sup> Lloyd. 1966. Ср.: Видаль-Накэ. 2001. С. 168-169.

<sup>4</sup> Согласно Аристотелю, и пифагорейцы утверждали, «что имеется десять начал, расположенных попарно: предел–беспредельное, нечетное–четное, единое–

ке» пытался решить вопрос, насколько совпадают и в каких смыслах не совпадают пары: взрослый–ребенок, мужчина–женщина, хозяин–раб, владелец мастерской–ремесленник (*Arist. Polit. I. 1259a, 37sq.*). В канву греческого дискурса включались и такие пары: номос–фюсис, дикий–культурный, гражданин–чужестранец, грек–варвар.

Чужое, варварское, нецивилизованное, т.е. все внесистемное, с точки зрения греческого сознания, содержало в зародыше амбивалентную оценку, порождая определенные этнокультурные стереотипы массового сознания и историко-философской рефлексии. Образ варвара, нашедший свое выражение в понятиях «свой» – «чужой», первоначально констатировал лишь лингвистическое различие, ибо варвар для грека был тот, кто не владеет логосом<sup>5</sup>. Формирование самого понятия βάρβαρος с первичным значением непонятности чужой речи и его первые упоминания относятся к VI в. до н.э. – у Гекатея, Гераклита, в дельфийском оракуле (FGrH. I. f. 119; *Diod. VIII. 29. I*)<sup>6</sup>.

В дальнейшем различия постепенно приобретали религиозные, политические и культурные смыслы, охватывая и тип питания, и манеру одеваться, и другие социально-культурные аспекты<sup>7</sup>. Основу противопоставления составляли не только огромный разрыв в уровнях социального и культурного развития, и психологическая несовместимость, но и высокий уровень этнического самосознания греков. Сформировавшийся к VII–V вв. до н.э., он породил достаточно раннее возникновение греко-варварского антагонизма (*Hecat. fr. 119, FGrH. I. S. 23; Aesch. Pers. 186-187; Heraclit. fr. 75. Diels. Bd. I. S. 175*), отразившегося в устойчивом стереотипе массового сознания. Варварское – это нечто чужое, дикое, как минимум, требующее переделки. Параллельно негреческое как внесистемное подвергалось инверсии, перемещаясь в противоположную зону – зону идеализированного возвышенного. И тогда оно воспринималось как воплощение естественного, природного и непорочного. В литературной, историко-философской традиции появлялся и функционировал другой стереотип – идеализированный варвар как воплощение естественного, близкого к природе человека (*Hom. II. I. 423; XIII. 5-6; Od. I. 22-24; V. 282; IX. 92-97, 106-115, 269, 272-3; X. 112-116; Hesiod. fr. 55; Ephor. fr. 42, 158 = FGrH. Bd. I. S. 54-55, 91*).

множество, правое–левое, мужское–женское, покоящееся–движущееся, прямое–кривое, свет–тьма, хорошее–дурное, квадратное–продолговатое» (*Arist. Met. I. 5. 986a, 21-26, пер. В. Ф. Асмуса*).

<sup>5</sup> См.: *Diller. 1961. P. 40-41; Schwabl. 1961. P. 4-5.*

<sup>6</sup> О первичной семантике концепта «варвар» см.: *Rochette. 1997. P. 38-40.*

<sup>7</sup> Подробнее об этом см.: *Crudelitas. The politics of cruelty... P. 86.*

В IV–III вв. до н.э. оба клише получают свое логическое завершение в устойчивых оппозициях: «варвар–раб–враг», «варвар–непорочный человек»<sup>8</sup>. Эти оппозиции, видимо, и определяли закономерности восприятия и изображения варваров, часто противоречащие реальным данным (*Arist. Polit.* 1252a–1254b, 1285a; *Demosth.* X. 33, XX. 150).

Закреплению стереотипов могло способствовать и негативное отношение к «дальним путешествиям», к мореплаванию, одному из главных способов получения этнографической и географической информации в античности. У греков, сам характер расселения которых приводил к шутливым сравнениям их с лягушками, сидящими по берегам «средиземноморского пруда», некоторые авторы считали, что в «идеальной» гражданской общине нет и не должно быть места мореплаванию, приносящему с собой лишь опасности, роскошь и развращение нравов (*Plat. Phaed.* 109,6; *Cic. De re publ.* II. 4,9). Такое отрицательное отношение к морским путешествиям недвусмысленно выражено и в традиционной общественной морали Рима, представлявшей его идеализированный образ как патриархальную аграрную общину, не оскверненную никакими заморскими влияниями (*Cat. De agr.* 2; *Verg. Georg.* II. 458–474).

В эллинистически-римское время, наряду с употреблением бинарных «варварских клише», в источниках встречается и многомерное противопоставление греческого и варварского, проведенное по ряду признаков: лингвистическому, этническому и этическому (*Dion. Hal. Rhet.* XI. 4–6). Намечается и выход за пределы стереотипных суждений. Представления о других этносах и о принципах межэтнических контактов могли существенно корректироваться вследствие реального расширения античной ойкумены, конвергенции языков и культур, в результате непосредственного соприкосновения множества этнокультурных миров. Для эллинистических монархий уже характерен устойчивый греко-варварский дуализм, в более ранние эпохи имевший лишь спорадический характер<sup>9</sup>. Разрешение межгосударственных конфликтов мирными способами (арбитраж, посредничество) получило распространение у

---

<sup>8</sup> Вопрос о времени возникновения этих стереотипов как устойчивых клишированных форм породил научную дискуссию. Большинство авторов считает, что уже в произведениях Гомера прослеживается представление об этической разнице между этносами. Однако некоторые исследователи полагают, что до греко-персидских войн в эллинской письменной традиции не существовало конфронтации «грек–варвар», «хороший грек–плохой варвар», «плохой грек–хороший варвар», и что окончательно она оформилась лишь в эллинистический период. См.: *Schwabl. Op. cit.* P. 24–36; *Diller.* 1961. P. 69. См. также: *Taxтаджян.* 1992. С. 43–52; Иванчик. 1999. С. 7–45; *Грацианская.* Указ. соч. С. 47–48.

<sup>9</sup> См.: *Андреев.* 1996. С. 3–117; *Кащеев.* 1997. С. 16 и примеч. 11–12.

греков в III в. до н.э. и особенно в первой половине II в. до н.э. (*Plut. Pelop.* 26; *Pyrh.* 16; *Syll.*3. 471; 243; 599). Вероятно под влиянием греков<sup>10</sup>, римляне, вовлеченные в дела греко-римского мира, тоже прибегали к мирным формам урегулирования межгосударственных споров<sup>11</sup>.

Расширение границ ойкумены трансформировало общественную психологию, раздвинуло рамки отдельных областей знания и повлияло на их структуру. В среде интеллектуалов появились новые, принципиально отличные от прежних взгляды на среду обитания человека и на законы развития общества (Эвдокс, Эратосфен, Гиппарх, Птолемей).

Порождением эллинистического времени следует считать как саму идею, так и термин «космополитизм», развитые стоиками. В эллинистической историографии обсуждалась закономерность всеобщей человеческой истории, ее цель и смысл; исследовались вопросы о границах обитаемого мира, количестве ойкумен, населенных различными расами, о причинах их вариативности и принципах взаимоотношений.

В историографии показано, как эти вопросы решались Полибием, Страбоном, Диодором Сицилийским, Помпеем Трогом, Цицероном. Однако в наиболее систематизированной и отрефлексированной форме стереотипы в восприятии варваров перерабатывались Посидонием Апамейским, или Родосским (ок. 135 – ок. 50 г. до н.э.), учеником и приемником Панеция, пожалуй, самым универсальным представителем Средней Стои (*Suid. Pos.* 2107-10 = Т. I. Jacoby)<sup>12</sup>. Помимо традиционных разделов, он

<sup>10</sup> См.: *Кащеев*. 1991. С. 43.

<sup>11</sup> Источники отмечают регулярное использование Римом арбитража с 200 г. до н.э. (*Polyb.* XXII. 15; *Syll.*3. 627; *Liv.* XXIX. 12, 8-11). Нередко сам Рим выступал и как посредник в мирном урегулировании конфликтов эллинистических государств: Селевкидов и Птолемея, Пергама и Вифинии, Спарты и Ахейского союза (*Matthaei*. 1908. P. 262-263; см. также: *Кащеев*. 1997. С. 81-100 и примеч. 1-5). Разумеется, нельзя не учитывать различное отношение греков и римлян к мирным средствам улаживания конфликтов. В основе международного права и дипломатии греков лежала рациональная идея нейтралитета, Рим же относился к другому государству либо как к другу и союзнику, либо как к потенциальному врагу. Этим и объясняется силовое давление и угрозы, которыми римляне нередко сопровождали свои третейские решения и посреднические услуги (*Polyb.* XXIX. 27). См.: *Gruen*. 1984. P. 111-116, 262-263.

<sup>12</sup> *Locus communis* в историографии – тезис о влиянии Посидония на таких авторов как Страбон, Цицерон, Тит Ливий, Тацит, Диодор Сицилийский, Аппиан и др. (*Reinhard*. 1921. S. 3-19 ff.; *Laffranque*. 1964. P. 2 ss.; *Malitz*. 1983. S. 60). Некоторые историко-этнографические сюжеты и проблема отношения Посидония к варварским народам фрагментарно исследуются в работах Л. И. Грацианской, А. И. Иванчика, И. С. Свенцицкой, Н. С. Широковой. Фрагменты Посидония (fr.) и свидетельства о нем (Т.), приводятся по следующим изданиям: *Posidonius*. 1989; *Poseidonios*. 1982; *Posidonius*. 1999; *Long, Sedley*. 1987.

занимался широким спектром естественных наук, а также географией и этнографией (*Strab.* XVI. 2, 13; *Athen.* VI. 252e; Т. 3, 31, 91, 100 ЕК), что нашло отражение в его историческом труде<sup>13</sup>.

Представление о «научности» у Посидония основывалось на убеждении в необходимости для философа, историка, географа занятий физикой, астрономией, геометрией, так как эти науки верифицируют историко-этнографический опыт. Он критикует предшествующих ему авторов за то, что у них очень мало сведений о далеких странах и народах, что многие из них находятся в плену предубеждений, ибо большинство своих сведений они получили по слухам. Сам он совершает много путешествий, объезжая почти все Средиземноморье, а также посещает неизвестные грекам северные области Европы, реализуя на практике важный, по его мнению, для ученого принцип личного присутствия при сборе информации (*Strab.* II. V. 11-12; VII. III. 7; Т. 14-20; 23-24; 26 ЕК).

Включая в предмет историописания традиции различных народов (и, может быть, чувствуя в них средоточие и проявление чужой культуры), Посидоний мог применить для их интерпретации только доступный ему код греко-римской культуры, в рамках которого оценка «чужого», «внесистемного» могла колебаться между полярными стереотипами: «варвар–раб–враг», «варвар–непорочный человек». Собственно, во времена Посидония именно в этом состоял основной принцип осознания нового историко-географического пространства.

В многочисленных фрагментах его «Историй», повествующих о традициях и нравах кельтов, парфян, германцев, сирийцев, египтян и других народов, находим немало примеров использования клишированных форм описания «чужого» (*Athen.* IV. 151e, 152a-f, 154b-c; V. 210d-f; XII. 549e-f, 550a-b). Некоторые обычаи британцев Посидоний определяет как варварские и странные, они характерны для скифов и кельтов и «свойственны большинству северных народов». Обильное потребление молока и меда<sup>14</sup>, неопытность в садоводстве и земледелии, наличие племенных вождей сближают британцев со скифами; человеческие жертвоприношения у них подобны кельтским обычаям (fr. 274; 276 ЕК).

---

<sup>13</sup> Греческий автор Афиней в «Пирующих софистах» пишет: «Посидоний из Стои, философию которой он избрал, в [своих] "Историях", прилежно собрал множество обычаев и традиций, установленных у [различных] народов» (*Athen.* IV. 151e). «Истории» Посидония в 52 книгах представляли собой продолжение «Истории» Полибия и заканчивались, по-видимому, 84-83 гг. до н.э. Они были утрачены, и их фрагменты дошли до нас только через тексты позднейших античных авторов.

<sup>14</sup> Питание молоком для ранних античных авторов – признак дикости (*Иванчик.* 1999. С. 9 и сн. 4). У Посидония, как будет видно из других фрагментов (fr. 45 Theiler), этот обычай может инвертироваться и в положительную идеализацию.

На описании Посидонием Британии сказалось традиционное восприятие варварских окраин, как диких мест, рассказы о которых содержали элементы утопизма. Около Британии он помещает остров Иерну, обитатели которого более дикие, чем британцы, так как отличаются непомерным обжорством и канибализмом. На юго-западе от Британии он помещает мифический остров, на котором пребывают женщины «одержимые Дионисом» и совершающие человеческие жертвоприношения (Strab. IV. V. 4). Описывая пиршественные традиции<sup>15</sup> кельтов и отмечая их ритуальную выстроенность, сопоставимую с греческим хором, он не преминул упомянуть что они, в отличие от греков, «подобно диким львам, обеими руками хватают все куски мяса» (Athen. IV. 151e).

Примером варварской жестокости у Посидония могла служить и зарисовка обеда у парфянского царя. Некто, именуемый «другом царя», должен был сидеть подле царского ложа на земле. «Он ест как собака то, что царь швырнет ему, а также часто, по малейшему проступку, его оттаскивают от его низменной трапезы и секут палками или узловатыми ремнями до тех пор, пока он, окровавленный, не простирается на полу и не превозносит своего мучителя как благодетеля» (Athen. IV. 153a).

С другой стороны, в описании обычаев сирийцев и древних италийцев проявляется семантически противоположное клише с элементами положительной идеализации. Будучи выходцем из сирийской Апамерии, Посидоний все же свидетельствует, что жители Сирии благодаря богатству их земли были избавлены от всех горестей, и поэтому устраивали роскошные пиры и праздники (Athen. V. 210e-f; fr. 61b EK). Образ жизни древних италийцев – фактически образ «золотого века», ибо они пили и ели «всякое такое, что дает счастье», например, груши и орехи, и удерживали детей от невоздержания в еде (Athen. VI. 275a; fr. 267 EK).

Можно предположить, что и в другом сюжете Посидоний следовал традиции многих греческих авторов. Создавая красочный образ благочестивых мисийцев, он идеализировал не только их пищевые обычаи, но и богобоязненность и неустрашимость этого народа, считая их, по всей видимости, жителями Европы – фракийцами<sup>16</sup>. Интерпретируя на-

<sup>15</sup> Более детальный анализ интерпретации Посидонием в его «Историях» традиций пиршеств и застолий различных народов см.: Хазина. 2008. С. 167-175.

<sup>16</sup> Вероятно, под влиянием александрийских филологов (Эратосфена, Аристарха, Аполлодора) Посидоний отказывается связывать образ «абиев» с некоторыми племенами скифов, как это делал, например, Эфор (Strab. VII. 3, 9). Позже, во времена Августа, по сообщению Стефана Византийского, филолог Дидим считал абиев фракийским народом (Steph. Byz. Ethn. = FHG. f. 3. 397). О влиянии посидониевой трактовки на автора VI в. н.э. Псевдо-Кесария см.: Иванчик. 1999. С. 36-37.



чало XIII песни гомеровской «Илиады» (II. XIII. 3-5), как сообщает Страбон, Апамеец соотносит эпитеты Гомера об удаленных народах – «справедливейших из людей», с идеальными мисийцами. Они настолько благочестивы, что не употребляют в пищу никаких живых существ, не едят мяса, а питаются лишь молоком, сыром и медом. При этом у них господствует обычай безбрачия<sup>17</sup>, мисийцы – храбрые воины, и с великим рвением почитают богов (*Strab.* VII. 3. 2-4 = fr. 45. Theiler).

В этих сюжетах еще проявляется стремление Посидония рационализировать и вписать в географическое пространство мифологическую дихотомию, которая представляет собой и конъюнкцию: «канныализм» и «вегетарианство» одновременно бытуют как признаки «нечеловеческого»<sup>18</sup>. Критерии «нормальности», «человечности», отделяющие культуру от дикости, цивилизацию от варварства были сформулированы еще Гомером и Гесиодом. Антропологическое и нормативное понятие «человек» в эпической поэзии связано, прежде всего, с земледельцем, скотоводом, с тем, кто покончил с каннибализмом, готовит пищу и совершает жертвоприношения (*Hesiod.* Opp. 47-50, 232-237, 276-278; *Hom.* Od. V. 101-102; X. 30-33, 98, 101, 524-525; XIII. 354). Показательно, что когда в IV в. до н.э. киники начинают разрабатывать идеи образа жизни, «соответствующего природе» в противовес традиционной культуре, они осуждают мясоедение и жареную пищу, оправдывая пищу сырую, людоедство и кровосмешение (*Diog. Laert.* VI. 34. 72-74; *Dion. Chrys.* X. 29-30).

Однако не привычное колебание между противоположными этнокультурными стереотипами, и даже не попытка сознательного преодоления этих стереотипов обуславливали отбор материала и нарративную структуру «Историй» Посидония. Историко-этнографический материал и его интерпретация встраивались в историческое повествование в соответствии с философскими взглядами, подтверждая правоту философской концепции стоика. Именно философия была основанием синтети-

<sup>17</sup> По мнению Посидония, из-за того, что мисийцы воздерживаются от общения с женщинами, Гомер и назвал их ἄβιοι, подразумевая, что жизнь без женщины неполная (fr. 45. Theiler). Многочисленные схолии к гомеровскому тексту, комментарий Евстафия сохранили ряд противоположных переводов слова ἄβιοι в зависимости от понимания префикса: «не-жизненные», «не-живущие», «много-жизненные», «живущие на повозках», «лишенные луков» и т.д. (*Apol. Soph.* s.v. ἄβιον 3,16 Bekker). См.: *Иванчик.* 1999. С. 9-10.

<sup>18</sup> У древнегреческих авторов трактовка Гесиодова золотого века, века Кронаса также содержала бинарности. С одной стороны, это было время, когда существовало вегетарианство, не было ни приготовления пищи, ни жертвоприношения, с другой стороны – это век людоедства и человеческих жертвоприношений. Обзор примеров см.: *Видадь-Наке.* 2001. С.48-49 и сн. 13-14.

ческого универсализма научных интересов Апамейца<sup>19</sup>. По Посидонию, лишь философия способна понять и объяснить мир, так как она познает «причины божественных и человеческих дел» (*Sen. Epist.* 89. 5). Важнейшим же познавательным методом он считал этиологию – выявление причин (*Strab.* II. IX. 8; II. III. 8). Исследуя любые предметы и явления, стоик стремился выяснить их причины и философские основания<sup>20</sup>. В таком ракурсе история являлась, по Посидонию, не простым набором сведений о различных странах и народах: она претендовала на объяснение мира (*Strab.* II. III. 8.; *Diod.* I. I. 3; fr. 49 EK). Стоические идеи «всеобщей мировой симпатии», «единого космополиса», «стоического мудреца», «иррационального начала псюхе» (fr. 105, 106, 170 EK; fr. 361, 354, 332 Theiler) формировали принципы историописания и позволяли ему, таким образом, выйти за привычные рамки полярных аксиологических оценок: «варвар» – либо плохой, либо хороший, друг или враг.

Не случайно, Посидоний соглашается с Зеноном и Эратосфеном, которые резко возражали против деления людей на эллинов и варваров и предлагали делить людей согласно их качествам, ибо многие из эллинов плохи, а из варваров культурны индийцы, арии, карфагеняне (*Strab.* I. 4, 9). Он развивал идеи естественного равенства различных народов, разрабатывая «теорию договора» между победителями и побежденными, между сильными и слабыми, на примерах древних форм зависимости этносоциальных групп (илотов, мариандинов, пенестов). Эта теория, фиксируя отсутствие равенства в действительности, ставила проблему происхождения неравенства общественного. До Посидония о ней говорил Эфор, отзвуки ее можно встретить у Страбона (*Strab.* VIII. 5, 4; XII. 3, 4), Архимаха (*Athen.* VI. 264b)<sup>21</sup>. Но наиболее заверченный характер идея договора, на основе которого создается общественное неравенство и устанавливается взаимосвязь между различными этносами, получает у

<sup>19</sup> Стремление Посидония к полиматии (*πολυμάθεια* – многознание, ученость) Страбон и Симплиций считали следствием влияния сочинений Аристотеля (Т. 85; fr. 93а EK). Страбон характеризует его как самого многознающего (*πολυμάθης*) среди философов (*Strab.* XVI.2.10. fr. 48 EK). Сенека говорит, что он один из тех, кто больше всего принес философии (*Sen. Epist.* 90. 20). Цицерон включает его в список ученейших людей (Т. 31), а Гален именует ученейшим из стоиков (Т. 32).

<sup>20</sup> В стоической системе этиология занимала место первостепенной важности. Учение о причинах было органической частью теории познания (*Sen. Epist.* 88. 21-28; *Diog. Laert.* VII. 122-123). Сохранилось определение понятия *αἰτίων* «причина» у Посидония: «Причиной вещи является то, посредством чего вещь возникла, или первое создающее начало вещи, или первоначало ее создания» (fr. 95 EK). Как и Хрисипп, он различал несколько видов причин: «предшествующие причины», изначальные, вспомогательные, «действующие причины», основные (fr. 170, 190 EK).

<sup>21</sup> См.: *Свенцицкая.* 1992. С. 244-245.

Посидония. Самый показательный пример связан с историей мариандинов Гераклеи Понтийской. У авторов V в. до н.э. о мариандинах рассказывается как о варварском вифинском или пафлагонском народе, на земле которого гераклиоты основали свой полис. Сообщается, что они контролируют вход в пещеру Кербера (*Hecat.* FGrH. I. f. 198; *Herod.* I. 28, III. 90, VII. 72; *Xenoph.* *Anab.* VI. 2. 1)<sup>22</sup>. В сохранившихся к «Аргонавтике» Аполлония Родосского сохранились отрывки из произведений мифографов и историков, начиная с Геродора до эллинистически-римского времени, у которых описание мариандинов развивает тему «добротного варвара» и встраивается в мифологический сюжет об аргонавтах<sup>23</sup>.

В изложении Посидония повествование о мариандинах выводится из мифологического пространства: предпринимается попытка направить этот сюжет в историко-философское русло. Он отмечает: «Многие из них, будучи не в состоянии управлять собой вследствие бессилия разума, передают себя в услужение более разумным, чтобы, получая от них постоянную заботу о необходимом, сами в свою очередь платили бы им всем тем, в чем они способны обслуживать их...» (*Athen.* VI. 263 e-d; fr. 60 EK). Посидоний акцентирует не насилие (в отношении тех же мариандинов Страбон пишет: их «принудили илотствовать») (*Strab.* XII. 3, 4)<sup>24</sup>, а добровольное соглашение, вызванное различием людей по степени разумности. Не касаясь вопроса о том, насколько это свидетельство стойко отражает реальное положение зависимых этнических групп, подчеркнем только, что налагаемые на них ограничения объясняются у Посидония добровольной взаимной договоренностью.

Теория договора Апамейца – не только попытка исторически объяснить происхождение неравенства: важный ее компонент – утверждение о взаимных обязанностях управляемых и управляющих по отношению друг к другу. У Посидония более разумные не просто имеют право «властвовать и господствовать», как считал Аристотель (*Arist. Polit.* 1252a), но должны проявлять неустанную заботу о тех, кто добровольно им подчинился. Поэтому римляне, если они правильно оценивают свою

<sup>22</sup> О мариандинах известно достаточно много, вероятно, и потому, что тиран Гераклеи Понтийской Клеарх был учеником Платона и Исократы (*Phot. Bibl.* 224). См. практически все известные источники о мариандинах: *Asheri.* 1972. S. 17-23.

<sup>23</sup> Аргонавты, высадившись на побережье Малой Азии, столкнулись с агрессивными варварами бибриками и с дружелюбными мариандинами. В храме Соглашения греки заключили мирный договор с царем мариандинов Ликом (*Apoll. Rhod.* II. 352 sqq., 722 sqq.).

<sup>24</sup> Афиней приводит мнение Каллистрата о том, что мариандинам дали имя *дорοφόροι* (носители дани), чтобы не называть их унижительным словом *οικέται* (слуги) (*Athen.* VI. 263d-e).

роль, определяемую провидением, несут ответственность за обеспечение и сохранение мира в пределах всей человеческой общности, полагает философ (fr. 49, 316 Kidd; *Cic. Off.* III. 21).

Представления о праве и законе, о взаимных обязательствах, в которых отсутствовали элементы насилия и агрессии, логично вписывались в философские воззрения Посидония. Единый мировой космополис, управляемый согласно Разуму и Природе, был для стоиков земной моделью космоса (*Plut. De virt. Alex.* I. 1; *Porphir. De abst.* 3; *Philon Alex. De Ios.* 2. 46). Весь космос пронизывала *συμπάθεια* — природное соответствие, образуемое ростками разума (*οἱ λόγοι στερμάτικοι*), которое определяло проникновение единого начала во все мельчайшие вещи и явления в мире, выражая его единство (fr. 105, 106, 170 EK). Как между небом и землей, как между миром вечным и миром гибельным должно быть природное соответствие, так и в человеческом обществе симпатия выступает связующей силой, принимая форму «филантропии» и «справедливости». Пока эта связь не нарушена между людьми, общество развивается гармонично: примером тому, по Посидонию, может служить образ жизни древних римлян, ариев, мариандинов. Нарушение принципа единства, спровоцированное конфликтами, войнами и чрезмерным накоплением богатств, изменяет природные «симпатические» связи, раскалывая общество и народы на враждующие группы (fr. 226 EK). Претендовать на власть в едином космополисе может лишь тот (монарх, народ), кто ориентируется на Разум, на нормы, установленные природой (*Diog. Laert.* VII. 87; *Dion. Chrys.* LXIX. 4). Править же означает не подавлять, властвовать, а исполнять обязанности, заботиться (*Sen. Epist.* XC. 5-6).

В эллинистических монархиях, где царская власть подчинила разные народы, сама терминология официальных надписей проявляет такую концепцию отношений правителя и подданных, которая была принята обеими сторонами, хотя не всегда соблюдалась в реальности<sup>25</sup>. Так, в число обязательных для правителя добродетелей, на которые была ориентирована официальная пропаганда, входили не только «мужество» (*ἀνδραγαθία*) (Syll.3. 606; OGIS. 332), «доблесть и благородство» (*ἀρετή*) (Syll.3. 606, 575, 628, 670) – традиционные черты героев, полководцев и правителей. Сюда относились также «благодетяние» (*εὐεργεσία*) (Syll.3. 670, 632), «доброжелательность, милостливость» (*εὐνοία*) (Syll.3. 606, 629, 639) и человеколюбие (*ἀνθρωποφιλία*) (OGIS. 229).

Еще более примечательно, что позиция Посидония по отношению к стандартным для его времени этнокультурным стереотипам – это не

<sup>25</sup> *Chatoux.* 1981. P. 22.

просто позиция философа-созерцателя. Более того, это даже не позиция историка-повествователя, а, скорее, позиция государственного деятеля, философа-практика. Может быть, наиболее наглядно и ярко его философские убеждения реализовались в его публичном политическом действии, связанном с известным «пуническим вопросом»<sup>26</sup>.

Посидоний, по свидетельству Диодора Сицилийского, поддерживал протест консула Сципиона Назики против разрушения Карфагена (*Diod. XXXII-XXXVII*). Однако, он возражал совсем по другим причинам. Диодор передает, что Назика обосновывал свое возражение тем, что страх перед могучим городом заставляет римлян не нарушать общественное согласие, а уничтожение большого соперника приведет к гражданским войнам и мятежам. Фактически это было изложением популярной идеи, согласно которой кризис в римском обществе был вызван устранением внешней опасности (*metus Punicus*), предохранявшей государство от внутреннего раскола. Наиболее развитую форму эта идея получила в историко-философских взглядах Саллюстия (*Sall. Cat. 10 sqq.; Jug. 41 sqq.; Hist. I. 11 sqq.*), Веллея Патеркула, Флора (*Vell. Pat. II. 1. 1; Flor. Epitome. II. 1. 1*). Аргументы же Посидония не сводились к теории *metus Punicus*, так как для стойка внешняя опасность и агрессия выступали в роли разрушителей «симпатических» связей и не могли быть формообразующими принципами межгосударственных отношений. Поэтому само уничтожение Карфагена, насильственные действия со стороны Рима, а не исчезновение внешней опасности как регулирующего и сдерживающего начала, имели, по Посидонию, каузальную связь с падением нравов в Риме, с катастрофически прогрессирующим разложением общества. Общую концепцию Посидония отличала явно ощутимая связь между конкретно-историческим аспектом и философской интерпретацией исторических событий и фактов.

Таким образом, теория договора и философско-этические поиски Посидония вносили новые акценты и в традиционное восприятие образа «варвара–врага», и в публичную политическую прагматику.

Античные источники, как правило, наделяли «жестокостью» или «дикостью» народы, живущие на географической периферии с неорди-

---

<sup>26</sup> По сведениям источников, Посидоний имел богатый опыт государственного деятеля и политика. На Родосе он был почтен пританией (*Strab. VII. 5, 8; T. 27 EK*), а в 87/86 гг. приезжал в Рим к Марию в составе родосского посольства (*Plut. Mar. 45. 3-7; T. 255 EK*). Он был знаком с Рутилием Руфом, Тубероном (*T. 12-13 EK*), его принимали в семьях Бругов и Марцеллов (*fr. 256-257 Theiler*), к нему приезжал Цицерон (*Cic. De nat.deor. 16; Tusc. II. 61*), дважды навещал Помпей, о котором Посидоний написал книгу (*Strab. XI. 1, 6; Plin. N.H. VII. 112; Plut. Pomp. 42. 5*).

нарным климатом, отличающиеся иным политическим устройством, экономическим или религиозно-культурным укладом. При этом даже в том случае, когда первоначальная религиозная мотивация или мотивация военной безопасности отпадали, этническое предубеждение сохранялось. В греческих источниках подобные обвинения относились чаще всего к народам, населявшим Север и Восток известной ойкумены<sup>27</sup>. Не разбирая всех мотивировок, отметим, что, прежде всего, страх, скудость сведений об образе жизни других народов толкали к тому, чтобы создать представление о «варваре» как о жестоком агрессоре, попирающем стабильность и безопасность привычного существования, и оправдать собственное агрессивное поведение по отношению к нему<sup>28</sup>.

Посидоний же стал свидетелем объединения различных этносов в единой эллинистической ойкумене. Это могло подтвердить правоту его философских представлений о едином «космополисе» и всеобщих «симпатических» связях. Эта концепция, в свою очередь, позволила Посидонию при создании исторического нарратива включить в реальное географическое и политическое пространство многие этносы (британцев, кельтов, иберов, мариандинов и других). В его «Историях» стереотипные представления о варварах постепенно уступали место нейтральным этнографическим описаниям, в которых варвары представляли людьми, имеющими и добродетели, и пороки – людьми с собственными своеобразными обычаями (fr. 105, 106, 170, 226, 244-246, 269, 285 EK; fr. 80, 147 Theiler). И в этом смысле «этнический варвар» в повествовании Посидония начинал расходиться с традиционным «этическим».

Результатом географических и этнографических изысканий стало убеждение в существовании множества ойкумен, населенных другими расами. Отличие же физического типа людей, по Посидонию, определялось не тем, варвары они или нет, а «физическими» и «широтными» зонами, в которых они живут<sup>29</sup>. Языковые и этнические различия обу-

---

<sup>27</sup> Геродот так описывал скифов: «Скиф, убив первого врага, пьет его кровь. Сколько человек он убьет в битве – головы их он приносит царю. Кожу он сдирает с головы, продает ее в уздечку коня, на котором он ездит, и гордится этим» (*Herod. IV. 64*). У римлян бытовал образ галлов как чрезвычайно жестокого народа, практиковавшего человеческие жертвоприношения. Расширенный подбор примеров см.: *Грацианская. 1999. С. 51-52.*

<sup>28</sup> См.: *Crudelitas... P. 86.*

<sup>29</sup> Идеи о влиянии климатических факторов на сознание, характер, облик и деятельность людей встречаются уже у Псевдо-Гиппократ (De aer. 12, 15-16, 18-19), Геродота (I. 142), но в качестве теории они были окончательно осмыслены и сформулированы Посидонием. См.: *Reinhardt. 1921. S. 74; Dihle A. 1961. P. 229-232; Mül-*

словливались набором и сочетанием различных этнографических признаков (*Strab.* I. II. 34; II. III. 7; I. IV. 1, 6; II. V. 2, 13).

В историко-философской рефлексии эти идеи оформились в представления о родстве и общности различных народов. Посидоний полагал, что современный ему дифференцированный мир этносов развился из первоначального единства под влиянием различных климатических условий (fr. 105, 280 ЕК). Видимо, поэтому при изображении политической истории он не смог провести принципиального различия между цивилизованными римлянами и менее развитыми народами. Он не видел оснований, которые давали бы победителям безграничные права господства над побежденными. История учила, что все народы в равной степени находились под «наблюдением» божественных сил, что всеми управляла *εἰσαρμένη* (судьба). И такие чувства «варваров», как любовь к родине или предрасположенность к мусическим искусствам, пусть и обладали своеобразием, но принципиально не отличались от греко-римских (*Diod.* V. XXXI. 5; XXXII. XII. 2; XXXV. IV. 2).

В разнообразном, динамичном мире человеческих сообществ Посидоний пытался найти общие черты, используя кардинальную для стоиков категорию «всеобщего». История народов представляла в изложении Посидония единством в различии, показывала множественность ступеней и форм единого исторического бытия. Высказанная стоиком идея естественного равенства народов меняла акценты в восприятии других этносов и требовала признания недопустимости насильственных, враждебных мер по отношению к ним, ставя их в один ряд с греками и римлянами. Метафорически она прекрасно выражена в знаменитой автоэпитафии Мелеагра: «Если сириец я, что же? Одна ведь у всех отчизна – / Мир, и Хаосом одним смертные мы рождены...»<sup>30</sup>.

### БИБЛИОГРАФИЯ

Греческие тексты приводятся по: Thesaurus Linguae Graecae, <http://www.tlg.uci.edu/> (февраль, 2012); латинские – по: Thesaurus Linguae Latina, <http://www.usc.edu/libraries/databases/records/database.php?db=753> (февраль, 2012).

*Apollonii Sophistae Lexicon Homericum* / Ex recensione I. Bekker. Berolini, 1833.

Asheri D. Über die Frühgeschichte von Herakleia Pontike // *Ergänzungsbände zu der Tituli Asiae Minoris n°5. Forschungen an der Nordküste Kleinasiens*. I. Wien, 1972. S. 17-23.

Baldson J. P. V. D. *Romans and Aliens*. L.: Duckworth, 1979. 310 p.

Chamoux F. *La civilisation Hellenistique*. P.: Arthaud, 1981. 631 p.

---

ler. 1972. S. 315. О влиянии на Посидония Агафархида и эллинистичнской этнографии см.: *Dihle*. Op. cit. P. 217-226.

<sup>30</sup> Греческая эпиграмма... С. 223.

- Crudelitas: The politics of Cruelty in the Ancient and Medieval world: Proceedings of the intern. conf., Turku (Finland), May 1991 / Ed.: T. Viljamaa. Krems, 1992. 188 p.
- Dauge Y. A.* Le Barbare. Recherches sur la consepction romaine de la barbarie et de la civilisation. Bruxell: Latomus, 1981. 859 p.
- Die Fragmente der griechischen Historiker / Hers. von F. Jacoby. III Tl. Berlin; Leiden, 1923-1958.
- Diels H., Kranz W. Die Fragmente der Vorsokratiker griechisch und detsch. Berlin: Weidmannsche buchhandlung, 1903. 618 s.
- Dihle A.* Zur hellenistischen Ethnographie // Grecs et Barbares. Entretiens sur l'Antiquité classique T. VIII. Vandoeuvres-Genève, 1961. P. 207-232.
- Diller H.* Die Hellen-Barbaren-Antithese im Zeitalter Perserkrirge // Grecs et Barbares. Entretiens sur l'Antiquité classique T. VIII. Vandoeuvres-Genève, 1961. P. 39-82.
- Dittenberger W.* Orientis Graeci inscriptionis selectae. Lipsiae: S. Hirzel, 1903-1905. Fragmentae Historicorum graecorum / Ed. C. Müller. V. I-V. P., 1849-1870.
- Franci G. R.* Asoka ai confini dell'ellenismo // Mnemosynum. Studi in onore di Alfredo Ghiselli. Bologne, 1989. P. 225-233.
- Gruen E. S.* The Hellenistic World and the Coming of Rome. Berkeley: Berkeley University Press, 1984. 800 p.
- Laffranque M.* Poseidonios d'Apamée. Essai de mise au point. P.: PUF, 1964. 579 p.
- Lloyd G. E. R.* Polarity and Analogy. Two Types of Argumentation in Early Greek Thought. Cambridge: Cambridge University Press, 1966. 503 p.
- Long A. A., Sedley D. N.* The Hellenistic Philosophers. V. II: Greek and Latin Texts with Notes and Bibliography. Cambridge.: Cambridge University Press, 1987. 512 p.
- Malitz J.* Die Historien des Poseidonios // Zetemata. Monographien zur klassischen Altertumswissenschaft. H.79. München: Verlag C. H. Beck, 1983. 459 s.
- Matthaei L. E.* The place of arbitration and mediation in the ancient systems of international ethics // CQ. 1908. V. 2. P. 241-264.
- Millar F.* The Roman Empire and its Neighbours. L.: Duckworth, 1981. 362 p.
- Müller K.* Geschichte der antiken Ethnographie und ethnologischen Theoriebildung. Von der Anfängen bis auf byzantinischen Historiographen. Bd. I. Wiesbaden, 1972. S. 315.
- Müller R.* Zu einem Aspekt der Antithese Hellenen-Barbaren in der hellenistischen Philosophie, dans Eiréné // Actes de la XI<sup>e</sup> Conférence int. d'Études classiques. Bucarest; Amsterdam, 1975. P. 501-509.
- Poseidonios.* Die Fragmente / Hrsg. von W. Theiler. Bd. I. Berlin, New York: Walter de Gruyter, 1982. 339 s.
- Posidonius.* The fragments / Ed. by L. Edelstein and I. G. Kidd. V. I. Cambridge: Cambridge University Press, 1989. 336 p.
- Posidonius.* The Translation of the Fragments by Ian Kidd. V. III. Cambridge: Cambridge University Press, 1999. 432 p.
- Reinhard K.* Poseidonios. München: Verlag C. H. Beck, 1921. 474 s.
- Rochette B.* Grecs, Romains et Barbares. A la recherché de l'identité ethnique et linguistique des Grecs et de Romains // Revue Belge de Philologie et d'Histoire. Antiquité-Oudheid. T. 75 (1). Bruxelle, 1997. P. 37-57.



- Schmitt R.* Ex occidente lux. Griechen und griechische Sprache im hellenistische Fernen Osten // Beiträge zur hellenistischen Literatur und ihrer Rezeption in Rom. Stuttgart, 1990. P. 41-58.
- Schwabl H.* Bild der fremden Welt bei frühen Griechen // Grecs et Barbares. Entretiens sur l'Antiquité classique T. VIII. Vandoeuvres-Genève, 1961. P. 3-36.
- Sylloge Inscriptionum Graecarum* / Ed. W. Dittenberger. V. I-IV. Lipsiae: S. Hirzelium, 1915-1924.
- Андреев Ю. В.* Греки и варвары в Северном Причерноморье // ВДИ. 1996. № 1. С. 3-17.
- Видаль-Накэ П.* Черный охотник. Формы мышления и формы общества в греческом мире / Пер. с фр.; Под ред. С. Г. Карпока. М.: Ладомир, 2001. 419 с.
- Грацианская Л. И.* Центр и периферия: литературное воплощение этнопсихологических реалий в описании "варваров" // Древнейшие государства Восточной Европы. 1996–1997 гг. Причерноморье в античности: Вопросы источниковедения. Отв. ред. А. В. Подосинов. М.: «Восточная литература» РАН, 1999. С. 46-58.
- Грацианская Л. И.* Варвар этнический и варвар этический (проблемы источниковедения) // Античный мир и археология. Вып. 11. Саратов: Из-во СГУ, 2002. С. 3-4.
- Греческая эпиграмма. М.: Наука, 1993. 448 с.
- Иванчик А. И.* «Млекоеды» и «Абии» «Илиады». Гомеровский пассаж в античной литературе и проблемы возникновения идеализации скифов // Древнейшие государства Восточной Европы. 1996–1997 гг. Причерноморье в античности: Вопросы источниковедения. Отв. ред. А. В. Подосинов. М.: Издательская фирма «Восточная литература» РАН, 1999. С. 7-45.
- Кащеев В. И.* Из истории межгосударственных отношений в эпоху эллинизма: Два очерка. М.: Греко-латинский кабинет Ю.А. Шичалина, 1997. 127 с.
- Кащеев В. И.* Посредничество и арбитраж во взаимоотношениях эллинистических государств и Рима // Из истории античного общества: Межвузовский сборник. Н. Новгород: ННГУ, 1991. С. 38-49.
- Свенцицкая И. С.* Человек и мир в восприятии греков эллинистического времени // Эллинизм: восток и запад. М.: Наука, 1992. С. 201-247.
- Тахтаджян С. А.* ΑΜΑΧΟΙ ΣΚΥΘΑΙ Геродота и последующая идеализация скифов Эфором // Этюды по античной истории и культуре Северного Причерноморья / Отв. ред. А. К. Гаврилов. СПб.: Глагол, 1992. С. 43-52.
- Хазина А.В.* Приглашение историка на пир: исторические фрагменты Посидония в «Пирующих софистах» Афиней // Диалог со временем. 33 (2008). С. 167-175.
- Элиаде М.* Священное и мирское // Избранные сочинения: Миф о вечном возвращении; Образы и символы; Священное и мирское / Пер. с фр. Н. К. Грабовского. М.: Ладомир, 2000. С. 251-356.
- Хазина Анна Васильевна*, кандидат исторических наук, доцент, заведующая кафедрой всеобщей истории и дисциплин классического цикла Нижегородского государственного педагогического университета; [Annh1@yandex.ru](mailto:Annh1@yandex.ru).

Д. А. ДОБРОВОЛЬСКИЙ

## ВОСПРИЯТИЕ ПОЛОВЦЕВ В ЛЕТОПИСАНИИ XI–XIII ВВ.

---

Отношения Древней Руси и степи являются одним из важнейших «мест памяти» в российской истории. Историография Нового времени диктует восприятие этих отношений как однозначного противостояния. Однако с точки зрения современников ситуация была более сложной. Изучение характеристик и функций, приписываемых половцам в летописных текстах, позволяет увидеть многоплановость и неоднозначность русско-половецких отношений XI–XII вв.

*Ключевые слова:* Древняя Русь, степь, половцы, летописание, восприятие Другого.

---

Отношения с половцами являются одним из важнейших сюжетов древнерусской истории<sup>1</sup>. Именно с половецкой темой связано самое известное и символичное «место памяти» домонгольского времени – Слово о полку Игореве. Временная перспектива стерла нюансы этих противоречивых отношений, сведя динамику исторического процесса к «вечному» противостоянию двух начал – оседлого и кочевого, «Цивилизации» и «Степи»<sup>2</sup>. С этой точки зрения (корни которой, замечу, могут быть прослежены даже не до написанных в позднесталинское время работ Д. С. Лихачева<sup>3</sup>, а по меньшей мере до «Истории государства Российского» Н. М. Карамзина<sup>4</sup>), вооруженное противостояние степнякам оказывается патриотическим долгом, а сотрудничество с ними — предательством, или, в лучшем случае, проявлением недалковидности. Очевидно, однако, что для самих жителей Руси ситуация не выглядела столь однозначной. Это, в частности, воплотилось в том, как половцы изображались в летописании XI–XIII вв.

До известной степени такая реконструкция позиции книжников выглядит обоснованной. В частности, характеризуя упомянутый набег на Киево-Печерский монастырь, летописец (бывший, судя по его собственным словам, непосредственным очевидцем событий) не только под-

---

<sup>1</sup> Предлагаемая вниманию читателя статья обобщает материал и результаты обсуждения выступлений автора на всероссийской конференции «Национальный/социальный характер: археология идей и современное наследство» (Нижний Новгород, сентябрь 2010 г.) и интернет-конференции «Новая локальная история: социальные практики и повседневная жизнь горожан и сельских жителей» (сайт Межвузовского научно-образовательного центра «Новая локальная история» <http://www.newlocalhistory.com>, октябрь 2010 г.).

<sup>2</sup> Ср.: Гребенюк. 1995. С. 3–15.

<sup>3</sup> Лихачев. 1947. С. 145–169

<sup>4</sup> Карамзин. 1991. Т. 2–3. С. 45, 68–69 и др.

робно описывает злодеяния «безбожных сынов Измаиловых», но и призывает на их головы заслуженную кару: «тѣмже и мы, послѣдующе пророку Давиду, вопьемъ: “Господи Боже мой, положи [я], яко коло, яко огонь предъ лицемъ вѣтру, иже поपालяеть дубравы, тако пожениши я бурю твою”. “Исполни лица ихъ дасаженья”, се бо оскверниши и пожгоша святыи домъ твои, и монастырь Матере твоея, и трупье рабъ твоихъ, убиша бо нѣколико отъ братья наша оружьемъ»<sup>5</sup>. Понятно, что эмоции автора этого фрагмента накалены до предела и о мирных взаимоотношениях со степняками не может быть и речи. Вместе с тем, утверждение о парадигматической роли половцев-измаильтян как образца чуждого народа нуждается, как минимум, в уточнениях.

Для концепции Л. С. Чекина весьма важен историко-богословский экскурс, помещенный под 6604 (1096) г. в продолжение цитированного выше рассказа о нападении степняков и помещающий набег половцев в эсхатологический контекст<sup>6</sup>. И действительно, как в статье 6604 г., так и в рассуждении о татаро-монголах<sup>7</sup> говорится, что степняки появились из пустыни Ятриб, расположенной «между вѣстокомъ и сѣверомъ», и что могущество степных народов будет расти с приближением Конца Света. Кроме того, оба книжника ссылаются на авторитет епископа Патарского Мефодия, чьим именем было подписано составленное в Византии и рано переведенное на Руси апокрифическое «Откровение» о бедствиях, ожидающих человечество перед наступлением Последних Времен. В то же время, летописец конца XI в. заимствовал у своего византийского учителя прежде всего сведения о количестве кочевых «колен», тогда как автора середины XIII века больше интересовала область, на которую распространится грядущее нашествие. В результате в летописи появилось два разных пересказа одного и того же произведения:

**ПВЛ, 6604 г.**

Ищли бо суть си отъ пустыня  
Нитривьскыя межю вѣстокомъ и  
сѣвером. Ищли же суть ихъ  
колѣнь 4: тортьмени и печенѣзи,  
торци, половци. Мефодии же

**Новг. I лет., 6732 г.**

<...> инии же глаголють, яко се  
суть, о нихъ же Мефодии,  
Патомьскыи епископъ  
свьѣдѣтельствуеть, яко си суть ишли  
исъ пустыня Етриевьскыя, суще межю

<sup>5</sup> ПСРЛ. М., 1997. Т. 1. Стб. 233.

<sup>6</sup> ПСРЛ. Т. 1. Стб. 234; ср. Чекин. 2000. С. 694–695, 707–708.

<sup>7</sup> В Лаврентьевской летописи известие о битве на Калке, а соответственно и благочестивые рассуждения по этому поводу находятся под 6371 (1223) г., а в Новгородской I – под 6372 (1224) г. (ПСРЛ. Т. 1. Стб. 445–446; М., 2000. Т. 3. С. 61–62, 264). О возможном общем источнике двух летописей (с обзором предшествующей литературы) см. в: Рудаков. 2009. С. 20–25.

свѣдѣтельствуеть о нихъ, яко 8  
колѣнъ пробѣгли суть, егда исѣче  
Гедеонъ, да 8 ихъ бѣжа в пустыню,  
а 4 исѣче <...> и по сихъ 8 колѣнъ г  
кончинѣ вѣка изидуть заклѣпении в  
горѣ Александромъ  
Македонскимъ нечистыя  
человеки<sup>8</sup>.

вѣстокомъ и сѣверомъ. Тако бо  
Мефодий глаголетъ, яко скончанию  
врѣмень явится тѣмъ, яже загна  
Гедеонъ, и поплѣнять всю землю от  
вѣстокъ до Ефранта и от Тигрь до  
Поньскаго моря, кромѣ Ефиопия<sup>9</sup>.

Определенная связь между двумя приведенными фрагментами, вероятно, есть (хотя бы потому, что знакомство с трудами предшественника могло предопределить интерес позднейшего книжника именно к Откровению Мефодия). Однако разное содержание получившихся текстов свидетельствует о независимом обращении к византийскому эсхатологическому трактату. Иными словами, характеристика половцев в статье 1096 г. была не основанием, а лишь одним из воплощений парадигмы восприятия степных народов, опиравшейся на византийские образцы.

Не прослеживается прямой связи между двумя образами и на уровне эпитетов. Комментируя известие о восстании против сборщиков податей, помещенное в Новгородской I летописи под 6767 (1258) г., Л. С. Чекин пишет: «как и половцы во введении к Повести временных лет, “оканнии” татары резко противопоставлены христианам <...>, названы сыроядцами и сравнены с дикими зверями (звѣри дивияя), которых Бог за наши грехи привел “ис пустыня” чтобы пожирать плоть сильных мира сего и пить боярскую кровь»<sup>10</sup>. Между тем, описание обычаев разных народов, помещенное во вступительной части Повести временных лет, не ограничивается характеристикой одних только половцев. Напротив, неприемлемые нравы степняков оказываются лишь одним из множества «законов», самое разнообразие которых (а вовсе не отдельные негативные черты) противопоставляется единому «закону» христиан: «Глаголетъ Георгии в лѣтописаны: “ибо комуждо языку, овѣмъ исписанъ законъ есть, другимъ же обычаи, зане [законъ] безаконикомъ отечствие мнится” <...> Мы же хрестьяне, елико земля, иже вѣрують въ святую Троицу [и] въ едино крещенье, въ едину вѣру законъ имамъ единъ, елико во Христа крестихомся и во Христа облекомся»<sup>11</sup>. Это не позволяет говорить о резком противопоставлении, а

<sup>8</sup> ПСРЛ. Т. 1. Стб. 234.

<sup>9</sup> Там же. Т. 3. С. 61. «Рассказ Лавр[ентьевской летописи]», по признанию ученых, «несет в себе гораздо больше следов серьезной редакторской правки» (Рудаков. 2009. С. 24).

<sup>10</sup> Чекин Л. С. Указ. соч. С. 709; ср. ПСРЛ. Т. 3. С. 82–83, 310–311

<sup>11</sup> ПСРЛ. Т. 1. Стб. 14, 16.

поскольку в одном ряду с половцами оказываются и вполне праведные народы (*сирии, ктириане, глаголемии врахманеи*), то и смягчает жесткость первоначальной оценки. Что же касается выражений *сыроядьци* и *звѣрье дивши*, то они в принципе отсутствуют в лексиконе летописцев XI – начала XII века. Очевидно, книжник XIII века не механически переносил характеристики одного народа на другой, а творчески перерабатывал наследие предшественников, уточняя и дополняя их оценки применительно к новой ситуации. Но, значит, стереотип восприятия степняков если и сформировался, то был относительно гибким.

Взгляды на половцев, выраженные в самой Начальной летописи (как собирательно именуется все летописные своды XI – начала XII в., включая Повесть временных лет), также далеки от однозначности. Прежде всего, необходимо отметить, что экскурс, включенный в статью 6604 г., посвящен не столько отталкивающим нравам и негативной роли степняков в истории (и то, и другое достаточно очевидно из основного текста указанной статьи), сколько проблеме классификации кочевых племен. В опиравшейся на Библию средневековой схеме этногенеза было как минимум два подходящих для половцев «слота» – они могли быть либо аммонитянами, либо измаильтянами, причем принадлежать к «сынам Аммоновым» было существенно хуже, ибо Аммон родился от связи Лота с собственной дочерью, а значит и он сам, и все его потомство заведомо нечисты<sup>12</sup>; измаильтяне не многим лучше, но их «родовое» преступление ограничивается присвоением чужого имени: «творятся “Сарини”, и прозваша имена собѣ “саракыне”, рекше “Сарини есмы”». Бесчинства, учиненные степняками в разоренном Печерском монастыре, должны были бы склонить летописца к менее престижному из двух возможных отождествлений. Более того, на момент составления обсуждаемой статьи уже существовала точка зрения, согласно которой половцы суть именно аммонитяне: «друзии же глаголють: “сыны Амоновы”»<sup>13</sup>. Однако монастырский историк возражает своим неназванным оппонентам, «сынове бо Моавли – хвалиси, а сынове Аммонови – болгаре, а срацини от Измаиля». Уверенно говорить о мотивах книжника по понятным причинам трудно, примечательно, однако, что и *хвалиси* (хорезмийцы), и *болгаре* были мусульманами, чья «нечистота» наглядно представлена еще в рассказе о крещении Руси<sup>14</sup>, тогда как половцы ос-

<sup>12</sup> Ср.: Быт 19: 30–38

<sup>13</sup> В дальнейшем схожая догадка будет высказана и о татаро-монголах, которых станут причислять к моавитянам (ПСРЛ. Т. 2. Стб. 740. Моав – двоюродный брат Аммона, рожденный старшей дочерью Лота).

<sup>14</sup> ПСРЛ. Т. 1. Стб. 84–85, 86, 107.

тавались язычниками, а отношение летописцев ко многобожию было более сложным (ср. характеристики тех же «сириев» или «ктириан»).

Амбивалентность восприятия половцев в полной мере проявила себя в тех ситуациях, когда составителям Начальной летописи приходилось описывать практики взаимодействия восточных славян и степняков. В 1095 г. в стольный град Владимира Мономаха Переяславль прибыло половецкое посольство во главе с ханами Итларем и Китаном<sup>15</sup>. Двумя годами раньше, в 1093 г. половцы нанесли Руси очень серьезный урон, чему посвящен, пожалуй, самый пронзительный фрагмент летописного рассказа за XI в.: «Половци же, приимше град, запалиша и огнем [и] люди раздѣлиша, и ведоша в вежѣ к сердоболем своимъ и сродникомъ своимъ много роду хрестьяньска. Стражуще, печални, мучими зимою, оцѣпляеми, въ алчи и в жажи, и в бѣдѣ, опустнѣвше лица, почернѣвше телесы, незнаеми, страну, языком испаленым, нази ходяще и боси ноги имуще сбодены терньем со слезами отвѣщеваху другъ к другу, глаголюще “Азь бѣхъ сего города”, и други: “А язъ сея вси” – тако съупрашаются, со слезами родъ свои повѣдающе и въздышюче, очи возводяще на небо к Вышнему, свѣдущему тайная»<sup>16</sup>. В одной из битв этой провальной для русского воинства кампании погиб младший брат Владимира Ростислав<sup>17</sup>. Теперь же ханы со свитой расположились лагерем внутри городских укреплений. Дружина рекомендовала Владимиру перебить посольство, воспользовавшись удобным случаем для мести, однако князь воспротивился, ссылаясь на клятву: «како се могу створити, ротѣ с ними ходивъ»<sup>18</sup>. Перед нами едва ли протокольная запись беседы. Напротив, диалог, в ходе которого нерешительность Владимира Всеволодича была побеждена доводами дружины, напоминает беседу другого Владимира – Святославича – с епископами, описанную в статье 6504 г.<sup>19</sup>:

#### 6504 г.

И рѣша епископи Володимеру: «Се умножишася разбоиници, почто не казниши ихъ?» Он же рече имъ: «Боюся грѣха. Они же рѣша ему: «Ты поставленъ еси от Бога на казнь злымъ, а добрымъ на милованье. Достойтъ ти казнити разбоиника, но со испытомъ».

#### 6603 г.

Володимеру же не хотяше сего створити, отвѣща бо: «Како могу се створити, ротѣ с ними ходивъ?», отвѣщавше же дружина рокоша Володимеру: «Княже, нѣту ти в томъ грѣха, да они, всегда к тобѣ ходяче ротѣ, губять землю Русьскую и кровь хрестьянску проливають бесперестани».

<sup>15</sup> Там же. Стб. 227.

<sup>16</sup> Там же. Стб. 225.

<sup>17</sup> Там же. Стб. 220.

<sup>18</sup> Там же. Стб. 227.

<sup>19</sup> Там же. Стб. 126–127.

Вполне вероятно, поэтому, что соответствующая часть статьи 6603 (1095) г. имеет литературно-риторическую природу: «хорошему» князю полагалось посомневаться перед тем, как пролить чью-то кровь. В конце концов, месть над Итларем и Китаном свершилась, к вящему удовлетворению летописца: «и тако Ольбегъ Ратиборичъ приима лукъ свои и наложивъ стрѣлу, удари Итларя в сердце, и дружину его всю избиша. И тако злѣ испроверже животь свои Итларь в недѣлю сыропустную, въ час 1 дьне, месяца февраля въ 24 днь»<sup>20</sup>. Примечательно, однако, что и аргументы Владимира не были прямо расценены как нелегитимные. Очевидно, ненависть к врагам Руси занимала в системе ценностей книжников по крайней мере такое же место, что и верность данной присяге.

А. А. Шахматов полагал, что «длинные благочестивые рассуждения в конце летописной статьи 6601 (1093) года» представляли собой завершение Начального свода, написанного около 1095 г.<sup>21</sup>. Это заставляло ученого относить статьи 6603 и 6604 гг. либо к авторскому тексту Повести временных лет, либо к вставкам ее редакторов. Однако современные исследователи пишут об «идейной и стилистической перекличке», связывающей с Начальным сводом значительную часть статьи 6605 (1097) г.<sup>22</sup>, что позволяет датировать данное произведение как минимум второй половиной десятилетия, а соответственно и переатрибутировать все рассмотренные выше статьи. Судя по всему, относительно толерантное восприятие половцев сформировалось уже в конце XI века.

При составлении Повести временных лет тенденции, заложенные в Начальном своде, получили дальнейшее развитие. Весьма характерна сцена, включенная во второй, более поздний слой текста статьи 6605 г. Князь Давид Игоревич и его союзники-половцы, сообщает нам книжник, готовились к битве с венграми, нанятыми Святополком Изяславичем. Ночью накануне сражения «вставъ Бонякъ, отѣха от вои, и поча выти волчьскы, и волкъ отвыся ему. И начаша волци выти мнози, Бонякъ же приѣхавъ повѣда Давыдови, яко: “победа ны есть на угры заутра”»<sup>23</sup>. Общее знакомство с логикой летописания, последовательно противопоставляющего истинное знание христиан и вымыслы язычников, одним из которых является вера в приметы и гадания<sup>24</sup>, склоняет ожидать, что на следующий день Давид и Боняк потерпят поражение. Одна-

---

<sup>20</sup> Там же. Стб. 228.

<sup>21</sup> Шахматов. 2002. Т. 1, кн. 1. С. 29–30.

<sup>22</sup> Гунтуис. 2005. С. 15–16; Гунтуис. 2008. С. 6–11.

<sup>23</sup> ПСРЛ. Т. 1. Стб. 270–271.

<sup>24</sup> Ср.: Там же. Стб. 170, 178–179.

ко гадание себя оправдало: венгры были наголову разбиты и бежали, потеряв убитыми «пискупа ихъ Купана и от боляръ многы»<sup>25</sup>.

По мнению М. Д. Приселкова, цитируемый фрагмент представляет собой пересказ половецкой народной песни<sup>26</sup>, но это крайне маловероятно, хотя бы потому, что в арсенале летописца имелось достаточно средств разграничения авторской речи и цитаты, а значит, такой пересказ был бы соответствующим образом оформлен. Видимо, перед нами текст, написанный от имени самого книжника, который в определенных ситуациях был готов становиться на точку зрения степняков.

Показательно и то, как книжники воспринимали участие степняков в междуусобных конфликтах русских князей. Все три основных игрока на политической сцене 1090-х гг. – князь киевский Святополк Изяславич, князь черниговский Олег Святославич и князь переяславский Владимир Всеволодич Мономах – были так или иначе связаны с кочевниками. Олег нанимал половецкие орды в качестве военной силы<sup>27</sup>, Владимир принимал уроженцев степи в дружину и отправлял в походы вместе со своими детьми<sup>28</sup>, а Святополк и вовсе был женат на дочери хана Тугоркана, что привело, в итоге, к коллизии, не ускользнувшей от внимания летописца: хан был убит в сражении с полками собственного зятя, который вынужден был хоронить свойственника «аки тьстя своего и врага»<sup>29</sup>. Наивно полагать, что половцы, сражавшиеся, скажем, на стороне Владимира Мономаха и его сыновей, принципиально отличались по внешнему виду и манерам от половцев, которых нанимал Олег Черниговский. Однако осуждается, причем в самых жестких выражениях, только Олег: «се уже третье навезде поганья на землю Русьскую, егоже грѣха дабы и Богъ простилъ, занеже много хрестьянь изгублено бысть, а друзии полонени и расточени по землям»<sup>30</sup>.

Столь негативное отношение к черниговскому князю не удивляет; своей жестокостью и крутым нравом князь настроил против себя бук-

---

<sup>25</sup> Там же. Стб. 271.

<sup>26</sup> Приселков. 1996. С. 288–289.

<sup>27</sup> ПСРЛ. Т. 1. Стб. 226.

<sup>28</sup> «и вдасть Мстиславъ стягъ Володимеръ половчину именемъ Кунуи, и вдавъ ему пѣшыць и постави на правѣмъ крилѣ. И, заведъ Кунуи пѣшыць, напя стягъ Володимеръ, и узрѣ Олегъ стягъ Володимеръ, и убоясь, и ужась нападе на нь и на воѣ его. И поидоша к боеви противу собѣ <...> И видѣ Олегъ, яко поиде стягъ Володимеръ, нача заходити в тылъ его. И, убоясь, побѣже Олегъ. И одолѣ Мстиславъ» (Там же. Стб. 239–240).

<sup>29</sup> Там же. Стб. 231–232.

<sup>30</sup> Там же. Стб. 226.



вально всех<sup>31</sup>. Примечательно, однако, что сам по себе союз с половцами осуждения не вызывает.

Обращает на себя внимание то обстоятельство, что по мере развития летописного текста образ половцев становился конкретнее и богаче деталями. Составитель Начального свода характеризует поведение степняков обобщенно, следуя, очевидно, некоему канону: «емлюще иконы, зажигаху двери, и укаряху Бога и законъ нашъ. Богъ же терпяше, еще бо не скончались бяху грѣси ихъ и безаконья ихъ, тѣмъ глаголаху: “Кдѣ есть Богъ ихъ, да поможеть имъ и избавить я”, и ина словеса хулная глаголаху на святыя иконы»<sup>32</sup>. Так или примерно так вели бы себя в церкви любые другие безбожники. Напротив, автор Повести временных лет интересуется особенностями половецкой военной тактики, подробно описывая, например, маневры полков Боняка в ходе битвы с венграми, а иногда и любителю ордами кочевников, подыскивая для их действий нетривиальные метафоры: «и сбиша угры, акы в мячь, яко се соколъ сбиваетъ галиць»<sup>33</sup> [5, стб. 271], «и поидоша полкове, акы борове»<sup>34</sup>. Весьма показательна в этом отношении сцена военного совета в степи, помещенная в статье 6611 (1103) г. и построенная на том же противопоставлении старых и «уных», что и оценка политики Всеволода Ярославича (отца Владимира Мономаха), данная десятью годами раньше:

#### 6601 г.

и нача [Всеволод — Д.Д.] любити смысл уных, свѣтъ творя с ними. Си же начаша заводити и негодовати дружины своя первая, и людем не доходити княже правды. Начаша ти унии грабити люди и продавати, сему не свѣдуше в болѣзнях своих<sup>35</sup>.

#### 6611 г.

Половци же слышавше, яко идет русь, собращася бе-щисла и начаша думати. И рече Урусоба: «Просим мира у руси, яко крѣпко имуть битися с нами, мы бо много зла створихом Русскѣи земли». И рѣша унѣиши Урусобѣ: «Аще ты боишися руси, но мы ся не боимъ, сия бо избивше, поидем в землю ихъ и примемъ грады ихъ. И кто избавить и от насъ?»<sup>36</sup>.

Иными словами, половецкие ханы могут описываться в тех же категориях, что и «свои» для летописца русские князья.

<sup>31</sup> Под 6603 г. рассказывается, как отказавшись выдать Итларевича, Олег вызвал «ненависть» Святополка и Владимира (Стб. 228–229), а под 6604-м — приводятся «словеса величава», которыми князь оскорбил уже всех киевлян (Стб. 230).

<sup>32</sup> Там же. Стб. 233.

<sup>33</sup> Там же. Стб. 271.

<sup>34</sup> Там же. Стб. 278.

<sup>35</sup> Там же. Стб. 217.

<sup>36</sup> Там же. Стб. 278.

Итак, если *sub specie* классической «национальной истории» отношения русских и половцев выглядят как последовательное противостояние, то анализ структуры соответствующих летописных известий делает картину существенно более сложной и многоплановой. Времена противостояния сменялись временами мира, а воспроизведение стереотипов, предписываемых образом врага, – проявлениями человеческого интереса. Представляется важным дополнить наблюдения о восприятии степняков, сделанные на материале Начальной летописи, сведениями о том, как образ кочевых соседей эволюционировал в последующей летописной традиции. Такая работа позволит не только полнее представить себе спектр возможных подходов к «вопросу о половцах», но и определить момент, когда раннесредневековая гибкость уступила место последовательному неприятию, определившему то, какое место отводилось степнякам в историографии XIX–XX вв.

### БИБЛИОГРАФИЯ

- Полное собрание русских летописей. [Репринт. изд.] М.: Языки русской культуры, 1997–2000. Т. 1–3.
- Гитцус А. А.* Повесть об ослеплении Василька Тербовольского в составе Повести временных лет : к стратификации текста // Древняя Русь : вопросы медиевистики. 2005. № 3 (21). С. 15–16.
- Гитцус А. А.* К проблеме редакций Повести временных лет: II // Славяноведение. 2008. № 2. С. 3–24.
- Гребенюк В. П.* Принятие христианства и эволюция героико-патриотического сознания в русской литературе XI–XII вв. // Герменевтика древнерусской литературы. М.: Наследие, 1995. Сб. 8. С. 3–15.
- Карамзин Н. М.* История государства Российского. М.: Наука, 1991. Т. 2–3. 828 с.
- Лихачев Д. С.* Русские летописи и их культурно-историческое значение. М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1947. 499 с.
- Приселков М. Д.* Летописание Западной Украины и Белоруссии // *Приселков М. Д.* История русского летописания XI–XV вв. СПб.: Дмитрий Буланин, 1996. С. 283–304. (Studiorum slavicozum monumenta.)
- Рудаков В. Н.* Монголо-татары глазами древнерусских книжников середины XIII–XV вв. М.: Квадрига, 2009. 244 с. (Исторические исследования.)
- Чекин Л. С.* Безбожные сыны Измаиловы: половцы и другие народы степи в древнерусской книжной культуре // Из истории русской культуры. М.: Языки русской культуры, 2000. Т. 1: Древняя Русь. С. 691–716.
- Шахматов А. А.* Разыскания о древнейших русских летописных сводах // *Шахматов А. А.* История русского летописания. СПб.: Наука, 2002. Т. 1, кн. 1. С. 20–483.
- Добровольский Дмитрий Анатольевич*, к.и.н., доцент кафедры теории и истории гуманитарного знания Института филологии и истории Российского государственного гуманитарного университета; [dmdobrowski@gmail.com](mailto:dmdobrowski@gmail.com).

С. С. ХОДЯЧИХ

## “ANGLI” vs. “NORMANNI”: ПРОБЛЕМЫ И ПАРАДОКСЫ АНГЛО-НОРМАНДСКОГО ВЗАИМОВОСПРИЯТИЯ

---

В статье рассматриваются «парадоксы» англо-нормандского взаимовосприятия и их воздействие на некоторые аспекты этнической и социальной самоидентификации нормандской аристократии в Англии после Нормандского завоевания 1066 г.

**Ключевые слова:** Нормандское завоевание, англосаксы, норманцы, этническая самоидентификация, социальная самоидентификация.

---

Проблемы этнического и социального взаимовосприятия различных групп составляют более широкий круг вопросов, связанных с изучением образа Другого. Категория *Другого* заняла прочные позиции в исторической науке<sup>1</sup>. По мнению М. Ю. Парамоновой, «в том или ином обличье она неоднократно вставала на страницах исторических и культурологических изданий, хотя в собственно исторической науке, в том числе и отечественной, она почти не рассматривалась, или же под этим флагом изучались совсем иные проблемы – культурное взаимодействие, культурные или политические контакты, международные отношения и прочее». Причины заключались в «недостаточной теоретической разработанности самой темы, непродуманности методики ее изучения, круга относящихся к ней вопросов и приемов анализа источников»<sup>2</sup>.

Весомый вклад в исследование этой проблематики вносят медиевисты. В условиях, когда процессы были менее «глобальными» и на формирование представлений о противоположном этносе в каждом отдельном случае влияло меньше факторов, воздействие каждого (а многие из них сохраняют свое значение и сегодня) может быть прослежено более четко. Такая постановка вопроса предполагает изучение Другого в контексте социокультурных трансформаций средневекового общества.

В последнее время наблюдается процесс «размывания» структуры этнической идентичности путем противопоставления «мы» – этнического «мы» – внеэтническому, из содержания понятия «нация» («национальность») исключается «этническое ядро» (это чревато потерей этническими элитами этнической идентичности), а также происходит сближение «между двумя ключевыми видами идентичности – этнической и гражданской – путем их синонимизации» и поглощения последней первой<sup>3</sup>.

---

<sup>1</sup> См.: Нойманн. 2004; Лучицкая. 2001; Шатинская. 2009; Schneeberger. 2009.

<sup>2</sup> Парамонова. 2003. С. 168.

<sup>3</sup> Губогло. С. 196-198.

По мнению ряда отечественных медиевистов, как в англосаксонском, так и в нормандском (а позднее – в английском) обществах носителями этнического самосознания были представители элит<sup>4</sup>. После Нормандского завоевания 1066 г. англосаксонская знать «перестала существовать и была полностью замещена нормандской аристократией с вкраплением бретонских и фламандских элементов»<sup>5</sup>, однако некоторые аристократические роды поднимали восстания и мятежи против нормандцев. Важно учитывать тот факт, что взаимодействие победителей (нормандцев) с побежденными (англосаксами) происходило двояким образом: на уровне элит – это было этническое взаимовлияние, на уровне простых людей, крестьянства и т.д. – социальное.

Л. П. Репина высказала мысль о том, что в результате Завоевания произошло размывание граней между этническим и социальным компонентами в сторону укрепления последнего (т.е. социального «водораздела в обществе»). Во взаимоотношениях нормандской знати с английскими крестьянами этнический компонент был сведен к минимуму, поскольку «там, где не было особого произвола, а местный лорд обеспечивал своих людей надежной защитой»<sup>6</sup>, им было неважно какая национальность у нового господина. Другое дело – представители элиты: осознание этнического превосходства со стороны завоевателей тесно переплеталось с социальными катаклизмами: изъятием земель, лишением собственности и т.д. Вывод, к которому приходит Л. П. Репина, состоит в том, что со второй половины XII в. уместно говорить не об этносоциальном противостоянии, а о социально-политическом<sup>7</sup>.

Основы англо-нормандского взаимовосприятия следует искать в сфере социокультурного противостояния англосаксов и нормандцев, которое нарративно представлено этнонимическими концептами “*Angli*” и “*Normanni*” (“*Franci*”). Непосредственное (и наиболее ранее по времени создания источника) отношение англосаксов к нормандцам отражено в погодной статье 1066 г. рукописи D Англосаксонской хроники. Авторы Хроники, объясняя причины Завоевания исключительно своими грехами и божественным провидением («Французы завладели местом резни, так как Господь даровал им из-за грехов народа»<sup>8</sup>), имплицитно выстраива-

---

<sup>4</sup> Л. П. Репина называет их «феодальными элитами», а М. М. Горелов считает, что «носителем идеалов восставших была знать». Репина. 2007; Горелов. 2007. С. 148.

<sup>5</sup> Репина. 2007. С. 237.

<sup>6</sup> Репина. 2007. С. 239.

<sup>7</sup> Репина. 2007. С. 243.

<sup>8</sup> The Anglo-Saxon Chronicle. 1861. P. 199. См. также: Англосаксонская хроника (далее – АСХ). С. 132.

ют этническую дихотомию «свой – чужой» через употребление латентной конструкции «добрые» («лучшие») люди – «злые» люди. Прямого противопоставления «мы – они» на страницах Хроники мы не найдем, однако, косвенные свидетельства и ее подробный анализ позволят получить представление о восприятии нормандцев англосаксами. «Добрый» король Гарольд со своим войском пал смертью храбрых на поле Гастингса («Там король Гарольд был убит, и Леофвин, его брат, и эрл Гюрт, его брат, и много добрых людей»<sup>9</sup>), а «злой» герцог Вильгельм на правах *победителя* «разорил все земли по пути» и «подчинил» «всех лучших (курсив мой. – С. Х.) жителей Лондона», «когда очень много зла уже совершилось»<sup>10</sup>. Хронист сетует на волю Господа, который «ничего исправить не пожелал из-за наших грехов», в результате – Вильгельм продолжил «разорять все земли по пути», а когда на следующий год решил отправиться в Нормандию, то «он [Вильгельм] <...> взял с собой многих других *добрых* (курсив мой. – С. Х.) людей из английской земли, а епископ Одо и эрл Вильгельм остались здесь, строили повсюду замки, притесняя несчастных людей, так что с тех пор становилось только хуже и хуже»<sup>11</sup>. Тем более парадоксальным на общем фоне пессимизма и уныния звучит обнадеживающее восклицание в конце статьи за 1066 г.: «Когда Господь пожелает, тогда и будет (хороший) конец»<sup>12</sup>.

Осмысление собственного поражения наложило значительный отпечаток на ментальность англосаксов и явилось завершением процесса осознания потери собственной идентичности: произошел мировоззренческий кризис. По мнению Н. Уэббера, «битва при Гастингсе и ее последствия стали поворотным пунктом для английской идентичности и незамедлительно существенным образом изменили отношение англичан к нормандцам – этнический конфликт вызвал переопределение английской идентичности»<sup>13</sup>. Х. Томас, детально изучив английскую идентичность до Нормандского завоевания, пришел к выводу, что «она в действительности была очень мощной», «*gens Anglorum* никогда не отделяли себя от своего отечества, в то время как *gens Normannorum* делали это часто», сначала отправившись в Англию и на юг Италии, затем путем «отрыва» Нормандии от Англии в период правления Вильгельма II Ры-

<sup>9</sup> ASC, 1066 (D). P. 167; ACX. C. 132.

<sup>10</sup> Ibid. P. 168-169; Там же. C. 133.

<sup>11</sup> Ibid. P. 170-171; Там же.

<sup>12</sup> Ibid. P. 171; Там же. В тексте рукописи над словом «ende» – «конец» вписано слово «god» – «хороший», но до сих пор неясно, сделана вставка тем же почерком или более поздним. См.: The Anglo-Saxon Chronicle. Manuscript D.

<sup>13</sup> Webber. 2005. P. 121-122.

жего и Генриха I. Кроме того, английская идентичность по сравнению с нормандской имела более глубокие традиции, она «прошла» более длительный путь становления<sup>14</sup>. Возникает вопрос: почему более «мощная», имеющая традиции, английская идентичность «проиграла» более слабой, возникшей практически накануне Завоевания, нормандской идентичности? Очевидно, на него еще только предстоит дать ответ. Утрата англосаксами собственного «Я» наряду с восприятием нормандцев как победителей оказала существенное влияние и на самоидентификацию нормандской аристократии в новой для них, *иноэтнической* среде.

Возвращаясь к анализу восприятия англосаксами нормандцев, зафиксированному в Англосаксонской хронике, отметим, что рукопись D значительно отличается от рукописи E: в последней нормандцы и их действия в Англии репрезентируются не столь разрушительными и угрожающими. Так, под 1091 г. (E) встречаем запись: «Когда Вильгельма не было в Англии, король Шотландии Малькольм пришел сюда, в Англию, и опустошил большую ее часть, до тех пор пока *лучшие люди* (курсив мой. – С. X.), которые несли ответственность за эту землю, не выслали навстречу ему [Малькольму] войско и отправили его назад»<sup>15</sup>. Неясно, кого именно хронист называет *лучшими людьми*, но именно эти *лучшие люди* проинформировали Вильгельма Рыжего о случившемся нападении, и король тут же вернулся из Нормандии в Англию. Степень доверия, оказанная королем, а также критерий, который лежал в основе его социальной политики (назначение на высшие политические и церковные должности нормандцев по происхождению – традиция, заложенная еще Вильгельмом Завоевателем), позволяют сделать вывод о том, что *лучшие люди* все же были нормандцами.

Однако рукопись E содержит гораздо больше описаний деструктивных действий нормандцев. Так, в 1068 г. в ответ на подход к Йорку Эдгара Этелинга с огромным числом нортумбрийцев, «король Вильгельм пришел с юга со всем своим войском, и разрушил город, и убил многие сотни людей»<sup>16</sup>. Хронист отмечает, что в 1069 г. в ответ на угрозу нападения датчан «король Вильгельм вторгся в графство и разрушил его полностью»<sup>17</sup>. Самые серьезные обвинения и неодобрительные реплики в адрес нормандцев встречаются в погодной записи 1083 г. и касаются событий, произошедших в Гластонбери: «Французы ворвались в хор и с силой бросились к алтарю, где находились монахи, некоторые

<sup>14</sup> Thomas. 2003. P. 24.

<sup>15</sup> ASC, 1091 (D). P. 195.

<sup>16</sup> ASC, 1068 (E). P. 173.

<sup>17</sup> ASC, 1069 (E). P. 174.

молодые французы поднялись на верхний этаж и начали выпускать стрелы в святую святых таким образом, что многие стрелы остались в кресте, что стоял над алтарем. Несчастные монахи лежали вокруг алтаря, некоторые ползали под ним и настоятельно молились Господу, умоляя его о милосердии, понимая, что они могут не получить какой-либо милости от этих людей. Что мы можем сказать, кроме того, как они стреляли неистово, другие разломали двери и вошли внутрь, и лишили некоторых монахов жизни, а также ранили многих из них так, что кровь стекала с алтаря по ступеням, а со ступеней на пол. Трое были убиты, а восемнадцать ранены<sup>18</sup>. По мнению Н. Уэббера, описанные шокирующие деяния не должны ассоциироваться непосредственно с королем: в контексте рукописи E эти события являются скорее исключением, тогда как в рукописи D «подобные факты будут вполне ожидаемыми»<sup>19</sup>.

Наконец, не самую лицеприятную характеристику автор Англосаксонской хроники дает Вильгельму Рыжему: «Он был крайне жесток и безжалостен по отношению к своим подданным, своим землям, и всем его соседям, также он был очень жуток, но *злые люди* (курсив мой. – С. Х.) всегда были признательны ему, несмотря на его алчность. Он был вечно раздражен этим народом, вместе со своей армией и несправедливыми поборами <...>. Он угнетал церкви, а все епархии и аббатства, чьи настоятели погибли в его времена, он либо продавал за деньги, либо оставлял в личное пользование или отдавал в аренду <...>. Он был ненавистен абсолютно всем его подданным, презираем Господом, а его кончина стала празднеством <...>. Он покинул этот мир без покаяния и какого-либо искупления»<sup>20</sup>. Вильгельм Завоеватель, напротив, на удивление благопристойно представлен в рукописи E: «Король Вильгельм, о котором мы говорим, был очень мудрым человеком, и чрезвычайно могущественным, более величественный и непоколебимый, чем кто бы то ни было из его предшественников. Он был благосклонен к тем, кто любил Господа, но в то же время был в меру жесток по отношению к тем, кто возражал его воле»<sup>21</sup>. Хронист справедлив: он славословит Вильгельма за обеспечение порядка и безопасности в стране, а также введение суровых наказаний за воровство и изнасилование; за проведение земельной переписи; за завоевание Уэльса, Шотландии и Ирландии. Но, с другой стороны, обвиняет его в жадности и издании сурового законодательства об охране зверей и птиц, а также так называемых «лесных»

---

<sup>18</sup> ASC, 1083 (E). P. 185.

<sup>19</sup> Webber. 2005. P. 120.

<sup>20</sup> ASC, 1100 (E). P. 203-204.

<sup>21</sup> ASC, 1087 (E). P. 188.

законов. Несмотря на это, из текста Хроники следует, что автор описывает Вильгельма как правителя *своей* нации, а не как завоевателя. Это весьма существенное допущение, поскольку мы видим, как происходит процесс «размывания» структуры этнической идентичности путем нивелирования противопоставления «мы» – «они» и имплицитного сближения английской и нормандской идентичностей.

К середине XI в. нормандцы были народностью, сравнительно недавно появившейся на территории Франции (после битвы при Шартре в 911 г.<sup>22</sup> потомки норманнов стали *нормандцами*, и основали герцогство *Нормандия* на северо-западе Франции). В глазах остальных *Franci* они перестали быть «некультурными варварами, какими их считали ранее», поскольку военные успехи наряду с благочестивыми намерениями и религиозностью со временем начали вызывать уважение у прочих этнических групп, населявших территорию Франции, которые также уже не видели угрозы со стороны своих северных соседей<sup>23</sup>. Образ нормандца в пределах Франции перестал восприниматься как *образ Другого*.

Нормандское восприятие англосаксов наиболее ярко отражено в источнике лироэпического характера «Песни о битве при Гастингсе» – латинской поэме, написанной Ги Амьенским<sup>24</sup> в 1068 г.<sup>25</sup>. «Песнь...» заложила основу пронормандской версии событий 1066 г.<sup>26</sup>, а описанную в ней битву при Гастингсе следует рассматривать как своеобразное противостояние английской и нормандской идентичностей. В «Песне...» выстраивается гиперболизированный образ *храброго нормандца*

---

<sup>22</sup> Эту битву норманны, по выражению Э. Альбу, под предводительством «лидера грабительской банды» Роллона, проиграли королю западных франков Роберту I (Роберту III) (866–923). Однако король Карл III Простоватый, не имея сил для борьбы с норманнами, заключил с их лидером договор, по которому последний получал в лен побережье в районе Сены с центром в Руане, а взамен признавал своим сеньором короля Франции и переходил в христианство. См.: *Albu*. 2001. P. 1.

<sup>23</sup> *Webber*. 2005. P. 116.

<sup>24</sup> Ги Амьенский приходился дядей Ги, графу Понтё (который фигурирует на гобелене из Байе в качестве вассала Вильгельма и, согласно нормандским источникам, в 1064 г. взял в плен будущего короля Гарольда). Ги Амьенский приехал в Англию вместе с супругой Вильгельма Завоевателя Матильдой спустя несколько лет после битвы при Гастингсе. См.: *Davis*. 1978. P. 252; *Bradbury*. 2000. P. 151.

<sup>25</sup> Проблема датировки «Песни...» по сей день вызывает дискуссии, но принято считать, что она создана не позднее 1075 г. (Ги занимал пост епископа Амьена с 1058 по 1075 гг.), поэтому мы не согласны с точкой зрения М.М. Горелова, согласно которой «Песнь...» была написана в 1090-е гг. *Горелов*. 2001. С. 31; 2003. С. 125.

<sup>26</sup> Тогда как «Деяния нормандских герцогов» Вильгельма Жюмьежского и «Деяния Вильгельма, герцога нормандцев и короля англичан» Вильгельма из Пуатье «фактически придали пронормандской версии ее классические формы», став основными текстами нормандской исторической традиции. См.: *Якуб*. 2008. С. 222.



(«французы, сведущие в военной хитрости, опытные в военном искусстве»<sup>27</sup> и т.д.). Во время битвы (кульминации противостояния), как и на протяжении всей поэмы, Гарольд и Вильгельм предстают антиподами. Вильгельм, исходя из контекста произведения, проявляет в бою героизм и мужество, подавая пример простым воинам. Все его действия и движения пронизаны пафосными восклицаниями и восхищениями автора поэмы: «Покорный и богобоязненный герцог организовал хорошо спланированное наступление и бесстрашно приближался к склонам холма»<sup>28</sup>; «<...> битва проходила в угрожающем беспокойстве и ужасный бич смерти надвигался»<sup>29</sup>. Герцог с нормандцами сражался в центре, что еще раз свидетельствует о его отваге и смелости. Противник бился храбро и самоотверженно, в поэме об этом прямо говорится: «Англичане стояли твердо на своей земле сомкнутым строем. Они метали снаряд за снарядом, нанося удар за ударом мечами, <...> и противнику не удалось бы проникнуть в густой лес к англичанам, если бы обман не укрепил их силу»<sup>30</sup>. Именно благодаря военному мастерству Вильгельма и успешно сработанной хитрости нормандцы («сведущие в уловках, опытные в приемах ведения войны, притворились, что спасаются бегством, как будто их разбили»<sup>31</sup>) побеждают в тяжелейшей схватке.

Вильгельм проявил себя воистину как выдающийся воин: когда нормандцы начали беспорядочно бежать назад «он осудил их и свалил с ног своей рукой, и своим копьем он остановил и сгруппировал их»<sup>32</sup>, и «как настоящий лидер начал новую атаку»<sup>33</sup>. В поэме встречаются такие

<sup>27</sup> Atribus instructi, Franci, bellare periti (The Carmen de Hastingae... P. 26).

<sup>28</sup> Dux, humilis Dominumque timens, moderantius agmen  
Ducit, et audacter ardua montis adit. (Ibid. P. 24).

<sup>29</sup> Interea, dubio pendent dum prelia Marte,  
Eminet et telis mortis amara lues. (Ibid. P. 26).

<sup>30</sup> Anglorum stat fixa solo densissima turba,  
Tela dat et telis et gladios gladiis.  
Spiritibus nequeunt frustrata cadauera sterni,  
Nec cedunt uiuis corpora militibus.  
Omne cadauer enim, uita licet euacuatam,  
Stat uelut illesum, possidet atque locum.  
Nec penetrare ualent spissum necum Angligenarum,  
Ni tribuat uires uiribus ingenium. (Ibid.).

<sup>31</sup> Atribus instructi, Franci, bellare periti,  
Ac si deuicti fraude fugam simulant. (Ibid. P. 26, 28).

<sup>32</sup> Dux, ubi perspexit quod gens sua uicta recedit,  
Occurrens illi signa ferendo, manu  
Increpat et cedit; retinet, constringit et hasta. (Ibid. P. 28).

<sup>33</sup> Dux, ut erat princeps, primus et ille ferit. (Ibid. P. 30).

дескриптивные характеристики герцога как «рычащий лев», человек «с силой Геркулеса», «находчивый воин»<sup>34</sup>. Гарольда и его войско автор «Песни...» называет «ордой»<sup>35</sup> и сравнивает с дрожащей толпой, беспорядочной массой обреченных людей, которые отступали, полностью обессилев. Гарольд – злой и кровожадный убийца, ведь своими действиями он загубил много невинных душ. «Англичане отвели войска назад с места битвы. Побежденные, они молили о милости»<sup>36</sup>.

Автор «Песни...» включает этническую категорию *Normanni* в состав конструкта *Franci*, и зачастую не разделяет эти понятия (так, во время описания битвы фигурирует именно концепт *Franci*), но не откалывает первым в наибольшем восхвалении («Нормандцы, готовые к несравненным достижениям»<sup>37</sup>), хотя, как известно, в войско нормандского герцога входили и рыцари из других государств<sup>38</sup>. По М. М. Горелову, «для нормандцев также было не чуждо самоназвание “*Franci*”, но этноним “нормандцы” отличал их от французов из других областей Франции»<sup>39</sup>, тогда как факт того, что нормандцы называли себя «франками (*Franci*), или французами», Л. П. Репина объясняет «несовпадением этнического состава и этнического самосознания, фиксирующего принадлежность той или иной социальной группы к конкретному территориально-политическому объединению»<sup>40</sup>. Р. Дэвис идет дальше, заявляя, что «до конца XI в. большинству нормандцев было безразлично называли ли они себя «нормандцы» или «французы», используя слова *Galli* или *Franci* как синонимы для *Normanni*»<sup>41</sup>. Наконец, Х. Томас считает, что традиция идентификации *Normanni* как французов *Franci* была впервые зафиксирована в английских грамотах, правовых актах, «Книге Страшного суда», а иногда и в нарративных источниках с целью «обозначить, выделить захватчиков». На это повлияла «разнородность захватчиков» и «английская практика словоупотребления», однако Х. Томас уверен, что нормандцы считали себя «особой», исключительной нацией<sup>42</sup>.

Этнонимическая дуальность в терминологии (*Normanni* и *Franci*) также свидетельствует об англо-нормандском взаимовосприятии. С точ-

<sup>34</sup> sequitur ueluti leo frendens; Obstat et oppositis uiribus Herculeis (Ibid.); memor ut miles (Ibid. P. 32).

<sup>35</sup> Anglica turba (Ibid.).

<sup>36</sup> Bella negant Angli. Veniam poscunt superati. (Ibid. P. 36).

<sup>37</sup> Normanni faciles actibus egregiis (Ibid. P. 18).

<sup>38</sup> Apulus et Calaber, Siculus, quibus iacula feruunt; Normanni <...> (Ibid.).

<sup>39</sup> Горелов. 2007. С. 145.

<sup>40</sup> Репина. 2007. С. 237.

<sup>41</sup> Davis. 1976. P. 54.

<sup>42</sup> Thomas. 2003. P. 32-33.

ки зрения англосаксов, концепт *Franci* больше наполнен социальным содержанием, чем этническим: для них *Franci* – победители в целом, люди, которые вторглись на их территорию и подчинили себе. Для нормандской исторической традиции характерно употребление этнонима *Normanni*, и даже если встречается понятие *Franci*, то под двумя терминами следует понимать одно и то же – нормандцев. С другой стороны, *Normanni* для англосаксов были не более чем завоевателями и зачастую они не разделяли *Normanni* и *Franci*. К примеру, под 1066 г. в Англосаксонской хронике (рукопись D) значатся две битвы – при Стэмфорд-Бридже и Гастингсе. В первом сражении английский король Гарольд разбил “*Normen*”<sup>43</sup>, во втором он был разбит французами (*Frencyscan*)<sup>44</sup>. В Хронике *нормандцы* неизменно фигурируют как *французы*: приближенные Эдуарда Исповедника, бароны и знать Вильгельма I и Вильгельма II были не нормандцами, но *французами*. В многочисленных грамотах нормандские короли, хотя и именовали себя «королем англичан и герцогом нормандцев», всегда обращались к своим подданным как к «французам и англичанам»<sup>45</sup>. По мнению Р. Дэвиса, в сознании англосаксов и жителей северной Европы *Normanni* (или *Nordmanni*) ассоциировались и идентифицировались прежде всего со скандинавами (данами и норвежцами), тогда как жители Нормандии, пришедшие в Англию, стали для англосаксов *Franci*<sup>46</sup>. Х. Томас объясняет подобную метаморфозу лингвистическим фактором: «“Norman” звучало слишком двусмысленно и запутанно в их [англосаксов] языке» и многих сбивало с толку<sup>47</sup>. По всей вероятности, англосаксы просто не придавали большого значения тому, кем являлись их захватчики. К тому же, учитывая присутствие других народностей в войске Вильгельма Завоевателя, употребление концепта *Franci* кажется более чем уместным и оправданным.

<sup>43</sup> ASC, 1066 (D). Ða com Harold ure cyng on unwær on þa Normenn 7 hytte hi begeondan Eoforwic æt Steinfeld Brygge mid micclan here Englisces folces, 7 þær wearð on dæg swiðe stranglic gefeoht on ba halfe. Þar wearð ofslægen Harold Harfagera, 7 Tosti eorl, 7 þa Normen þe þær to lafe wæron wurdon on fleame, 7 þa Engliscan hi hindan hetelice slogon. См.: The Anglo-Saxon Chronicle. Manuscript D.

<sup>44</sup> ASC, 1066 (D). Ðær wearð ofslægen Harold kyng, 7 Leofwine eorl his broðor, 7 Gyrð eorl his broðor, 7 fela godra manna, 7 þa Frencyscan ahton wælstowe gewæld, eallswa heom God uðe for folces synnon. См.: The Anglo-Saxon Chronicle. Manuscript D.

<sup>45</sup> Willelmus Rex Anglorum <...> omnibus suis fidelibus Francis et Anglis <...> salutem. См. напр.: Confirmation by King William II of England, A.D. 1095-1100. P. 14; Willelmus rex Anglorum omnibus hominibus et legiis nostris tam Francis quam Anglis salutem. См.: Confirmation by William II to the hospital of St. Peter, York... P. 141.

<sup>46</sup> Davis. 1976. P. 12.

<sup>47</sup> Thomas. 2003. P. 33-34.

Довольно опосредованно этническая принадлежность нормандцев отражена и в источниках юридического характера. В *Institutio regis Willelmi*<sup>48</sup>, изданном, вероятно, между 1067 и 1077 гг. и представляющем собой разбор возможных вариантов развития правовых отношений (поведения в суде, порядка подачи жалоб и т.д.) между англичанами и *французами*, для обозначения нормандцев в Англии используется термин *Francigena*, т.е. *француз*. В отдельных случаях *Francigena* имел возможность выступать в тяжбе «с помощью своих свидетелей по законам *Нормандии* (курсив мой. – С. X.)»<sup>49</sup>, т.е. речь идет о некоем подобии судебного иммунитета у нормандцев в Англии в первые годы после завоевания. Семантический анализ *diplomata regia* также показывает, что на страницах грамот отчетливо проявляется этнонимическое «превосходство» нормандцев (французов) над англичанами. Практически во всех документальных и юридических источниках этнонимы *Francis*, *Francigenis* при перечислении в одном ряду других народностей (*Anglis*, *Scottis*) стоят перед ними, на первом месте<sup>50</sup>. Такой порядок выстраивания этнонимов не случаен: он вполне осознанно и справедливо, с точки зрения нормандцев, фиксирует их законное право считаться хозяевами английской земли, быть первыми во всем, закрепляя это право в официальных документах. Подобные действия первых *нормандских* королей Англии имели конкретные цели: в памяти последующих поколений они должны были быть главными действующими лицами английской истории.

Определенные аспекты англо-нормандского взаимовосприятия прослеживаются и на лингвистическом уровне. После 1066 г. началась *бинарная* ассимиляция традиций. Примерно до конца XI в. она имела двусторонний характер. Континентальный *нормандский* (французский) компонент не поглотил бытовавший в Англии древнеанглийский язык. Нормандцы, как ни пытавшиеся изъять из употребления английский язык, сами начали его изучать, равно как и англосаксы, по словам Э. Чертона, «смешивать свой язык с нормандско-французскими словами»<sup>51</sup>. Завоеватели были слишком немногочисленны, чтобы навязать новой стране свой язык в неизменном виде: «сравнительно небольшая группа нормандцев и их союзников вступила в контакт с гораздо более

<sup>48</sup> Wilhelm I: Lad (Beweisrecht zw. Engländern u. Franzosen)... P. 483-484.

<sup>49</sup> <...> per testes sous secundum legem Normannie. (Wilhelm I: Lad. P. 483).

<sup>50</sup> Нап.: <...> et omnibus suis fidelibus Francis et Anglis et Scottis, salutem (Confirmation by King William II. of England... P. 14); <...> maxima multitudine Francorum et Anglorum (Charter by King Edgar to Durham... P. 13); <...> Willelmus <...> rex Anglorum comitibus uiccomitibus et omnibus Francigenis et Anglis, <...> salutem (Wilhelm I.: Episcopales Leges... P. 485).

<sup>51</sup> Churton. 1842. P. 316; Knight. 2001. P. 149, 151.

древним королевством с его собственными традициями и институтами». Как «господствующее меньшинство нормандцы могли ассимилировать англичан и их культуру, лишь изменив свою собственную». Так, нарративно этнонимический разрыв идет еще глубже: нормандская историческая традиция наряду с современниками изучаемых событий не всегда имели в виду одно и то же, говоря о «нормандцах» и «нормандских людях». Подобным же образом семантика концепта «англичане» изменилась в их текстах в течение нескольких лет после 1066 г.<sup>52</sup> Добавим, что в области государственного управления древнеанглийский язык сменила латынь, а сфера применения находящегося на этапе своего становления английского языка (смешанного англо-нормандского диалекта) была ограничена «устной речью низших классов»<sup>53</sup>.

Проблема трансформации нормандского диалекта старофранцузского языка и его влияния на язык англосаксов намного глубже, чем может показать на первый взгляд. По справедливому замечанию М. Н. Губогло, человек, «попав в иноэтническую среду, мгновенно обнаруживает различия в языке в том случае, если он не владеет никаким другим языком, кроме языка своей национальности. Определенный дискомфорт и неловкость создают и менее значимые этнические определители, или маркеры, например одежда, пища, манеры общения»<sup>54</sup>. Нормандская знать – как светская, так и церковная – владела, по меньшей мере, двумя языками: родным *нормандским* и латынью. Последняя нашла свое выражение в обширной нормандской документации. Англосаксонский язык оказался незнакомым для *novus Anglus*, что наложило существенный отпечаток и на этнолингвистическое противостояние “*Angli*” и “*Normanni*”.

Важную роль в «формировании» образа англосакса сыграла и нормандская церковная знать. Многие священнослужители, после 1066 отправившиеся в Англию, крайне негативно восприняли свои назначения (одним из главных факторов было изначальное неприятие и отрицательное отношение к местным англосаксонским святым и англосаксонской церкви в целом). Приведем наиболее яркий пример. В 1070 г. архиепископом Кентерберийским стал Ланфранк, прежний настоятель аббатства Бек и монастыря Сент-Этьен в Кане. Уже в одном из ранних писем Ланфранка папе Римскому видно его отношение к Англии и ее жителям: «В мое оправдание я не знал языка, и местные народы были варварскими <...> Словом, я согласился, я приехал, я вступил в должность. И сейчас я каждый день испытываю столько трудностей, притеснений и духовных

<sup>52</sup> Chibnall. 2006. P. 109.

<sup>53</sup> Репина. 2007. С. 241.

<sup>54</sup> Губогло. 2003. С. 197.

страданий <...> Я постоянно слышу, вижу и чувствую беспокойство среди разных людей, несчастья и оскорбления, жестокость, скупость, лживость, падение Святой Церкви, что я утомился от моей подобной жизни и весьма глубоко опечален тем, что живу в такие времена». Недовольство и неудовлетворенность Ланфранка выражаются в просьбе к папе, близкой к мольбе, освободить его «от рабской зависимости, <...> сбросить оковы с этой обязанности и позволить <...> вернуться к монашеской жизни, которую я люблю более, чем что бы то ни было»<sup>55</sup>. Очевидно, что у англосаксонских «варваров» было мало общего с нормандской элитой: их взаимоотношения, в лучшем случае, считает Х. Томас, «были по большей части деловыми, и часто очень напряженными»<sup>56</sup>.

Таким образом, нормандцы, признавая свою исключительность, относились к англосаксам как к побежденному народу, врагу, в то время как жители Англии парадоксальным образом вверяют свою дальнейшую судьбу в руки Господа, пессимистически сетуя на зло чужих людей. Проблемы и «парадоксы» англо-нормандского взаимовосприятия имеют не социальную, а в первую очередь этническую окраску.

### БИБЛИОГРАФИЯ

- Англосаксонская хроника / Пер. с др.-англ. Метлицкой З.Ю. СПб.: Евразия, 2010.
- Горелов М.М. Датское и нормандское завоевания Англии в XI в. СПб.: Алетейя, 2007. С. 148.
- Горелов М.М. Датское и Нормандское завоевание Англии в восприятии средневековых авторов XI-XII веков // Диалог со временем. 2001. № 6.
- Горелов М.М. Этнополитическая идентичность и традиции историописания в Англии XI-XII вв. // Образы прошлого и коллективная идентичность в Европе до начала Нового времени. М.: Кругъ, 2003. С. 115-131.
- Губогло М.Н. Идентификация идентичности: Этносоциологические очерки. М.: Наука, 2003. С. 195-251.
- Лучицкая С.И. Образ Другого: мусульмане в хрониках крестовых походов. СПб.: Алетейя, 2001. 350 с.
- Нойманн И.Б. Использование «Другого». Образы Востока в формировании европейских идентичностей. М.: Новое издательство, 2004. 336 с.
- Парамонова М. Ю. Рец. на кн.: Лучицкая С.И. Образ Другого: мусульмане в хрониках крестовых походов. СПб.: Алетейя, 2001 // Вопросы истории. 2003. № 10. С. 168-170.
- Репина Л.П. Феодалные элиты и процесс этнической консолидации в средневековой Англии // Социальная идентичность средневекового человека. М.: Наука, 2007. С. 234-243.
- Шатинская Е. Н. Образ Другого в текстах культуры: политика репрезентации // Обсерватория культуры. 2009. № 4. С. 38-45.

<sup>55</sup> The Letters of Lanfranc... P. 30-32.

<sup>56</sup> Thomas. 2003. P. 119.

- Якуб А.В. Образ «норманна» в западноевропейском обществе IX–XII вв.: становление и развитие историографической традиции. Омск: Изд-во ОмГУ, 2008. 460 с.
- Albu E. The Normans in their Histoires: Propaganda, Myth and Subversion. Woodbridge: The Boydell Press, 2001. 230 p.
- The Anglo-Saxon Chronicle, according to the Several Original Authorities / Ed. with a transl. by B. Thorpe. London: Longman, Green, Longman, and Roberts, 1861.
- The Anglo-Saxon Chronicle. Manuscript D. URL: <http://www8.georgetown.edu/departments/medieval/labyrinth/library/oe/texts/asc/d.html> (время доступа 10.02.2011).
- Bradbury J. The Battle of Hastings. Sutton: Sutton Publ., 2000. 151 с.
- The Carmen de Hastangae Proelio of Guy Bishop of Amiens / Ed. by C. Morton and H. Muntz. Oxford: Oxford univ. press, 1972. P. 1-52.
- Charter by King Edgar to Durham A.D. 1095. // Early Scottish Charters prior to A.D. 1153 / Ed. by A.C. Lawrie. Glasgow: James MacLehose and Sons, 1905.
- Chibnall M. The Normans. Oxford: Blackwell Publ., 2006. 109 p.
- Churton E. The Early English Church. N.-Y.: D. Appleton & Co., 1842. 316 p.
- Confirmation by King William II of England, A.D. 1095-1100 // Early Scottish Charters prior to A.D. 1153 / Ed. by A.C. Lawrie. Glasgow: James MacLehose and Sons, 1905.
- Confirmation by William II to the hospital of St. Peter, York, of the ancient foundation of the hospital, namely one thrave of corn from each plough at work within the province of York. c. 1090-1098 // Early Yorkshire Charters / Ed. by W. Farrer. Edinburgh: Ballantyne, Hanson & Co., 1914.
- Davis R.H.C. The Carmen de Hastangae Proelio // English Historical Review. 1978. № 93.
- Davis R.H.C. The Normans and their Myth. London: Thames and Hudson, 1976.
- The Gesta Guillelmi of William of Poitiers / Ed. by R.H.C. Davis and M. Chibnall. Oxford: Oxford univ. press, 1998. 248 p.
- Knight J. Middle Ages: Primary Sources / Ed. by J. Galens. L.: The Gale Group, 2001.
- The Letters of Lanfranc Archbishop of Canterbury / Ed. by H. Clover and M. Gibson. Oxford: Oxford univ. press, 1979.
- Schneeberger A. I. Constructing European Identity Through Mediated Difference: A Content Analysis of Turkey's EU Accession Process in the British Press // PLATFORM: Journal of Media and Communication. July 2009. Vol. 1. P. 83-102.
- Thomas H. M. The English and the Normans: Ethnic Hostility, Assimilation and National Identity 1066–c.1220. Oxford: Oxford univ. press, 2003. 395 p.
- Webber N. The Evolution of Norman Identity, 911-1154. Woodbridge: The Boydell Press, 2005.
- Wilhelm I: Episcopales Leges (Geistliches Gericht) [1070-76(1072?)] // Die Gesetze der Angelsachsen / Ed. by F. Liebermann. Halle a. S.: Max Niemeyer, 1903. Vol. I. P. 485.
- Wilhelm I: Lad (Beweisrecht zw. Engländern u. Franzosen) [1067-77] // Die Gesetze der Angelsachsen / Ed. by F. Liebermann. Halle a. S.: Max Niemeyer, 1903. Vol. I. P. 483-484.
- William of Jumièges, Orderic Vitalis and Robert of Torigni. Gesta Normannorum ducum / Ed. by E.M.C. van Houts. Oxford: Oxford univ. press, 1995. Vol. I: Introduction and Books I-IV.

Е. В. ЛЕЖНИНА

## ОБРАЗ «ВРАГА»: ИРЛАНДСКИЕ КАТОЛИКИ ГЛАЗАМИ АНГЛИКАН В КОНЦЕ XVII – НАЧАЛЕ XVIII в.

---

В статье рассматривается процесс создания англиканами негативных стереотипов «враждебных ирландских католиков» в период после Ирландского восстания 1689–1692 гг. и до начала правления Ганноверов (1714). Автор рассматривает образ «врага» в религиозных и политических текстах этого времени как важный элемент идеологии «протестантского господства» в Ирландии и, одновременно, выражение отношения этноконфессионального меньшинства к иным социальным общностям.

**Ключевые слова:** англиканизм, ирландские католики, «протестантское господство», антикатолицизм, якобитизм, британская идентичность.

---

Одним из приоритетных направлений исследований является изучение профессиональных идентичностей – сложного феномена, отражающего отношение членов одной религиозной группы к самим себе и инаковерующим. Данная тенденция обусловлена как социокультурными изменениями в мире, так и сменой методологических парадигм. Масштабные политические, экономические, демографические сдвиги последних десятилетий вызвали эскалацию конфликтов, часто протекающих в религиозной форме, а с отходом от «вигской» и «марксистской» интерпретаций истории религиозная вера перестала оцениваться как тормоз развития человечества<sup>1</sup>. По мнению исследователей, анализирующих межэтнические отношения и механизмы формирования наций, религия – решающий фактор европейской и мировой истории<sup>2</sup>.

Британская профессиональная идентичность формировалась в течение нескольких столетий и была органично связана с процессами этнического, политического и национального самоопределения<sup>3</sup>. Протестантизм сформировал у населения ощущение духовного единства, создал систему ценностей, следование которым давало надежду на спасение души. В то же время он был орудием защиты суверенитета Англии, стабильности политической системы, залогом экономического процветания.

---

<sup>1</sup> *Claydon, McBride.* 1998. P. 4-5.

<sup>2</sup> *Hastings.* 1997. P. 1.

<sup>3</sup> См.: *Armitage.* 2000; *Clark.* 2000; *Colley.* 1992; *Серегина.* 2007.



К началу XVIII в. протестантизм вышел за пределы этнических границ, став идеологическим обоснованием Британской империи. «Протестантское христианское государство» стремилось к экономическому, политическому, культурному и, безусловно, религиозному единообразию, применяя ради достижения своих целей все возможные методы, в том числе военную силу и репрессивное законодательство. В итоге, политическим ядром протестантского государства выступила английская монархия, этнической основой — английский народ, а духовной опорой — англиканская церковь, ставшая синонимом слова «нация»<sup>4</sup>.

Обязательным условием развития Британской империи в XVII–XVIII вв. было расширение жизненного пространства, освоение новых территорий. Ранним выражением имперской политики стал «внутренний колониализм» — «политическое инкорпорирование отличных в культурном плане групп центром»<sup>5</sup>. На новых территориях предполагалось создать «мини-империи», построенные на тех же ценностях, что и метрополия. Сталкиваясь с представителями иной этноконфессиональной группы, переселенцы предлагали местному населению свои модели поведения, стили хозяйствования и религиозную веру. Если жители колонизируемых территорий отказывались подчиниться, либо плохо воспринимали чуждые законы и правила, их квалифицировали как «врагов», которых необходимо «умиротворить» или уничтожить.

На большей части архипелага к концу XVII в. утвердилась английская модель управления и хозяйствования. Ирландия не стала исключением, и после серии восстаний Стюартам удалось обуздать местное дворянство и получить контроль над островом. Несмотря на продолжающуюся в научных кругах дискуссию о статусе Ирландии (братское королевство или первая и последняя колония Англии)<sup>6</sup>, несомненно, она была интегрирована в формирующуюся империю.

Все усилия новой ирландской элиты, английской по происхождению, политическим, экономическим и культурным связям, были направлены на утверждение «протестантского господства»<sup>7</sup>. Начиная с 1534 г. в

---

<sup>4</sup> Лурье. 1996. С. 74.

<sup>5</sup> Hechter. 1999. P. 32.

<sup>6</sup> Canny. 1988; Connolly. 1995; Bartlett. 1998; Ohlmeyer. 2004; etc.

<sup>7</sup> Выражение «протестантское господство» (protestant ascendancy) было впервые использовано членом Дублинского парламента Б. Рошем в 1782 г. во время обсуждения проекта земельной реформы. Первоначально под ним подразумевалось засилье в Ирландии протестантской земельной аристократии, в дальнейшем — политическое и социально-экономическое преобладание протестантского меньшинства. Английские и ирландские историки, помимо этого, ставшего «классическим», вы-

Ирландии проводилась политика распространения протестантизма, который, тем не менее, оставался больше религией переселенцев, чем коренного населения<sup>8</sup>. Апофеозом «внутренней» колонизаторской политики в Ирландии стали принятые в конце XVII в. «карательные законы»<sup>9</sup>.

Важным элементом в создании британской религиозной идентичности было формирование негативного образа ирландских католиков. Являясь важнейшей составляющей социокультурного самосознания индивида и группы, коллективная идентичность предполагает принятие и усвоение совокупности представлений, ориентаций, идеалов, норм, ценностей, форм поведения той общности, с которой данный индивид себя отождествляет, что предполагает и разграничение «своих» и «чужих»<sup>10</sup>. Одной из ипостасей образа «чужого», выражавшей крайнюю форму недоверия стал образ «врага», в ряде случаев формирующийся стихийно, но чаще являющийся результатом целенаправленной «мифотворческой» деятельности политической и интеллектуальной элиты государства.

Основным вдохновителем и проводником антикатолической политики, частью которой стало конституирование и популяризация образа «врага», в Ирландии стала «учрежденная по закону» англиканская церковь<sup>11</sup>. Закрепление этого образа в массовом сознании жителей Ирландии было сложной задачей. Следует учитывать, что если антикатолицизм в Англии был главным идеологическим выбором большинства населения<sup>12</sup>, наиболее распространенной, эклектичной и гибкой идеологией постреформационной истории, в Ирландии он стал позицией этнического и конфессионального меньшинства<sup>13</sup>.

ражения, используют варианты «англиканское господство» (anglican ascendancy), «англо-ирландское господство» (Anglo-Irish ascendancy), подразумевая исключительный статус в королевстве англикан или англо-ирландцев – англичан, рожденных на ирландской земле (см.: *McCormack*. 1989); в ирландской историографии период 1692-1714 гг. известен как период «установления протестантского господства», см.: *A new history of Ireland... Vol. IV*. 1986. P. 1.

<sup>8</sup> До недавнего времени в ирландской национальной историографии господствовал конфессиональный подход, историки-католики утверждали, что во времена Реформации «ирландцы были слишком хороши, чтобы быть протестантами», историки-протестанты – что они были «недостаточно хороши» (см.: *Corrish*. 1993. P. 90).

<sup>9</sup> «Карательные законы» (penal laws) – серия запретительных законов, направленных против католиков и нонконформистов.

<sup>10</sup> *Penuna*. 2007. С. 8.

<sup>11</sup> См.: *As by law Established... 1995; Acheson*. 2002; *Murray*. 2000.

<sup>12</sup> *Black*. 1986. P. 161.

<sup>13</sup> *Hempton*. 1996. P. 145. Точное соотношение протестантов и католиков Ирландии в период после Славной революции невозможно точно подсчитать, так как

Среди источников, представляющих ценность в создании образа ирландца-католика, следует выделить исторические произведения, проповеди англиканского духовенства, записки путешественников, посетивших остров, письма и воспоминания представителей протестантской англо-ирландской и английской политической элиты. Ценным свидетельством является и английская драматургия, запечатлевшая распространенные в обществе стереотипы ирландца.

Если историография подробно освещает особенности восприятия протестантами ирландцев в эпохи Реформации и Гражданских войн середины XVII в.<sup>14</sup>, а также викторианского периода<sup>15</sup>, то собирательному портрету ирландца-католика рубежа XVII–XVIII вв. уделяется недостаточно внимания<sup>16</sup>. Долгое время утверждалось, что негативный образ ирландца полностью сформировался только в XIX в., а в XVIII в. воображение британских протестантов в основном волновали континентальные католики<sup>17</sup>. Работы последних лет вносят коррективы в столь однозначную оценку взаимовосприятия подданных отдельных частей формирующейся империи. В частности, эпиграфом к недавно изданному диссертационному исследованию американки Сары Йе, посвященному сравнительному анализу британских идентичностей в Ирландии и английских колониях в Карибском бассейне, послужили слова протестанта, жителя юго-западного графства Киллани, провинциального судьи Ричарда Хеджеса, находившегося летом 1714 г. в Дублине: «Я могу со всей справедливостью заявить, мы – в стране врага, и если бы у них [католиков] были власть и возможность, то они продемонстрировали бы это»<sup>18</sup>.

Причины негативных оценок протестантами ирландских «папистов» нужно, вероятно, искать в двух плоскостях: в политическом недоверии и в теологическом несогласии, основанных на неспособности понять и принять представителей другой этноконфессиональной группы.

---

до 1732 г. в стране не проводилось переписи населения. Сэр У. Петти в 1672 г. утверждал, что на острове проживает 300 тыс. не католиков и 800 тыс. католиков (Петти. 1940. С. 94), у иных современников соотношения протестантов и католиков различались от 1:20 до 1:5 (Connolly. 1995. P. 144–145), историки XX – начала XXI в. придерживаются пропорций от 1:3 до 1:4. Больше всего протестантов проживало в Дублине (примерно 1/3 всей общины Ирландии), меньше всего – в провинции Коннат, на западе острова (Barnard. 2004. P. 2–3).

<sup>14</sup> См.: Clifton. 1971.

<sup>15</sup> См.: Lebow. 1976, Foster. 1993.

<sup>16</sup> Среди работ, подробно освещающих данный вопрос, следует выделить: Hayton. 1988; Eccleshall. 1993.

<sup>17</sup> Haydon. 1998. P. 34.

<sup>18</sup> Quoted from: Yen. 2006. P. 1.

В XVII–XVIII вв. в христианских обществах религиозная принадлежность отождествлялась с политической верностью. В представлениях протестантов католик не мог быть преданным слугой британского государства, так как верил папе и был готов стать слепым орудием его воли, а потому возвращение католиков к власти грозило утратой свобод, обретенных в результате Славной революции. «Папство и тираническая власть», «Папство и рабство», «Папство и деревянные башмаки» – такие ассоциации рождались в умах протестантов<sup>19</sup>. Ситуацию осложнило то, что Рим признал свергнутого Якова II и его наследников законными правителями английской монархии и предоставил им право инвеституры епископов. В 1702 г. католикам Ирландии было предложено произнести «клятву отречения», в которой они отказывались признавать бежавших из страны Стюартов законными наследниками. Отказ большей части католического населения упрочил решимость законодателей не смягчать уже действующие против католиков «карательные» законы<sup>20</sup>.

С теологических позиций «папизм» был антитезой истинному христианству и виновником всех страданий жителей Британских островов. «В свое время христианская вера была перенесена на этот остров первыми посланниками Евангелия и исповедовалась в британских церквях до тех пор, пока папство не развратило ее, но даже тогда были те, кто сохранил ей верность и защищал ее: и во время счастливой Реформации, она была упрочена замечательными людьми, которых Бог выдвинул из этой нации...»<sup>21</sup>, – так в 1705 г. описывал историю английского христианства активный борец за чистоту религии, друг Дж. Свифта Джон Эдвардс. Вера в непогрешимость папы, деу Марию и святых считалась идолопоклонством, признание «папистами» чистилища – стремлением избежать расплаты за грехи, а использование индульгенций – попыткой заключить сделку с Богом. Проведение служб на латыни и недоступность Библии для массового чтения воспринимались как претензия на тотальный духовный контроль над паствой.

Искоренение католицизма для англикан было переходом от невежественного вероисповедания и безусловной веры к сознательно выбранной, основанной на Библии и законе религии<sup>22</sup>. Однако в отличие от единоверцев-англичан, ирландские протестанты крайне редко чувствовали себя в безопасности. Как отмечает британский исследователь

---

<sup>19</sup> Haydon. 1993. P. 4.

<sup>20</sup> Catholic Ireland... P. 108.

<sup>21</sup> Edwards. 1705. P. iv.

<sup>22</sup> As by law established... 1995. P. 2.

Роберт Эклшелл, в англиканской политической теологии особое положение протестантов в Ирландии проявлялось «интересной комбинацией уверенности правящей элиты и неуверенности религиозной секты»<sup>23</sup>. Отношение к католикам было противоречивым и представляло собой смесь страха, презрения и чувства собственного превосходства.

В основу образа ирландца конца XVII – начала XVIII в. были положены стереотипы, созданные еще при Тюдорах и ранних Стюартах<sup>24</sup>. Главным качеством «гэлов» или «тигов»<sup>25</sup>, как обычно именовали ирландцев современники-протестанты, были природная «дикость» и «варварство», идущие с дохристианского периода и контрастирующие с «просвещенностью» и «цивилизованностью» англичан. Было написано немало проповедей и трактатов, обосновывающих необходимость поддержания британского контроля над примитивными аборигенами, причем большинство основывалось на официальной летописи «протестантского господства» – трактате Ричарда Кокса «Англиканская Ирландия: история Ирландии от завоевания англичанами до настоящего времени»<sup>26</sup>. Во вступительной части Кокс доказывал, что ранние ирландцы (милезианцы<sup>27</sup>) пребывали в «варварстве, бедности и невежестве» вплоть до завоевания Ирландии Генрихом II в XII в. Описывая остров как «самую богатую и плодородную землю в мире», он сетовал, что она долго находилась в руках «кроважидных некоронованных лордов», управляющих страной при помощи силы, а не закона, больше интересующихся междуусобными войнами, чем экономическим процветанием своих зе-

---

<sup>23</sup> *Eccleshall*. 1993. P. 37.

<sup>24</sup> Наиболее знаковой работой данного периода стал написанный в первой половине 1590-х гг. памфлет английского поэта Эдмунда Спенсера «Взгляд на современное положение Ирландии», см.: *Spencer*. 1934.

<sup>25</sup> «Гэл» (gael) — название древних ирландцев, кельтов по происхождению; «Тиг» (Teague/Taig) — с кельтского переводится как «бард», одно из наиболее распространенных мужских имен в Ирландии.

<sup>26</sup> *Сох*. 1689–1690; *Ричард Кокс* (1650–1733) — историк, юрист, с 1703 по 1707 г. лорд-наместник Ирландии, отличался консервативными взглядами, полностью поддерживал политику «протестантского господства». «*Hibernia Anglicana*» – первая подробная история острова.

<sup>27</sup> Милезианцы (milesians) – в раннесредневековой ирландской мифологии потомки Милезиуса (Milesius), одного из прародителей кельтского народа, пришедшего на Британские острова из Скифии. Он женился на египетской принцессе Скоте (Scota) и завещал своим восьмерым сыновьям поселиться в Ирландии, которая, по его убеждению, была предназначена кельтскому народу. Его сыновья стали основателями четырех свободных кланов острова. В правление Тюдоров англичане часто подчеркивали, что ирландцы являются потомками варваров-скифов. См.: *Hadfield*. 1993.

мель. Владея золотом и драгоценностями, они не имели денег и расплачивались с соседями скотом, их подданные не знали торговли с другими странами и не преуспели в ремесле. Кокс заявлял, что «ирландцы никогда не занимались градостроительством», и все каменные здания и церкви на острове были возведены британскими поселенцами. Фактически он подводил читателя к выводу: потомки «гэлов» должны «благодарить Бога и англичан за введение более цивилизованного и регулярного управления», уничтожающего признаки дикости – «позора ирландского народа». Кокс подробно описал приход на остров христианства, подчеркивая, что оно распространилось здесь достаточно рано и имело особый хибернианский характер: «Если в наши дни их [ирландцев] религия приводит в рабство Папы, то в ранние времена это было не так, их религия была чистой и ортодоксальной». Исходя из этого, католицизм ирландцев – формальность, «обычай, а не догма, не более чем невежественное предубеждение». Фактически, они сами повинны в росте зависимости от Рима. Будучи легковверными и ограниченными, ирландцы доверяли «каждой глупой истории», которую рассказывали им священники. В итоге – полное подчинение духовенству, ставшему проводником «папизма»<sup>28</sup>.

В рассуждениях Р. Кокса явно прослеживается тенденция, характерная для английской литературы конца XVII столетия: в век Просвещения необходимо избавиться от неправдоподобных сказок, при анализе прошлого использовать все накопленные данные и новые методы исследований. В частности, в «Англиканской Ирландии» тщательно анализируются и проверяются на достоверность средневековые хроники, а также используются элементы научных подходов основателя политэкономии У. Петти. Как и автор социологического анализа Ирландии, Кокс отрицал «врожденную дикость» ирландцев и связывал ее с такими факторами, как окружающая среда, история, влияние правителей и духовных наставников. Варварство ирландцев неоспоримо, но объяснимо. Их образ негативен, но не ужасен, тем более, что в жилах ирландского народа течет и британская кровь.

В конце XVII – начале XVIII в. было создано немало более «страшных» образов представителей коренного населения острова. Николас Форстер<sup>29</sup>, рассуждавший об опасности католицизма в 1715 г., представил ирландцев как народ, «объединенный одной религией и единым намерением разрушить нашу Церковь, наши Законы и наше Государство,

<sup>28</sup> *Сох.* 1689–1690; *An Apparatus.*

<sup>29</sup> *Николас Форстер* – преподаватель Колледжа Троицы, епископ Киллало (1714–1716) и Рафо (1716–1743).

чьи предки наполнили нашу историю таким количеством примеров жестокости, <...> что о них нельзя упоминать без содрогания»<sup>30</sup>. Демонстрирующими всю низость и жестокость «папистов» для протестантов были события 23 октября 1641 г. Предпринятая католиками попытка захвата дублинского замка и подчинения ирландского правительства закончилась провалом, но унесла жизни многих протестантов. Ежегодное празднование этой даты восхваляло существующую власть, обличало восстания католиков, укрепляя престиж церкви и государства<sup>31</sup>. В то же время приуроченные к дате проповеди, напоминали верующим, что этот «бесчеловечный, варварский и жестокий» заговор являлся расплатой народа «за свои грехи и грехи королевства» и одновременно свидетельством особой милости Бога, защитника «британской и протестантской» нации<sup>32</sup>. Религиозная оценка этого события, заимствованная у современника католического мятежа Джона Тэмпла, была развита в англиканских проповедях эпохи Реставрации<sup>33</sup>.

Степень виновности ирландских «папистов» зависела от политической конъюнктуры и широты взглядов авторов, их отношения к англо-ирландским противоречиям. Чудовищные сцены избиения «кровожадными» ирландцами невинных протестантов чаще всего появлялись в периоды, беспокойные для обоих королевств, например, в 1690–1692, 1698, 1708 и 1715 годы. «Сея смерть среди младенцев, они... бросали их на пики, ...вспарывали животы женщинам и отдавали их младенцев свиньям...», – так Ральф Ламберт<sup>34</sup> описывал в проповеди (1708 г.) страдания мирного протестантского населения, в дни, когда французские корабли вплотную подошли к берегам Шотландии<sup>35</sup>.

Помимо экзальтированных стенаний, страшных картин избиения протестантов и идеализации «мучеников за веру» литература, посвященная событиям 23 октября, содержала элементы анализа причин жестокости «гэлов». Проповедники связали агрессию ирландских католиков с принадлежностью к нечестивой религии («приверженцы Дьявола должны доказывать свою верность реками крови»<sup>36</sup>), видели ее истоки в характере «гэлов» (есть «некая странная необъяснимая антипатия, при-

<sup>30</sup> Forster. 1716. P. 12.

<sup>31</sup> Barnard. 1991. P. 889.

<sup>32</sup> An Act for Keeping and Celebrating... 1689. P. i-ii.

<sup>33</sup> Temple, Musgrave. 1812; Lightburn. 1661. P. 15-18.

<sup>34</sup> Ральф Ламберт (1665–1732) – настоятель собора Дауна, епископ Дромора (1717–1727) и Мита (1727–1732), апологет политики «протестантского господства».

<sup>35</sup> Lambert. 1708. P. 8.

<sup>36</sup> Ibid. P. 12.

существующая в их природе, делающая их совершенно непримиримыми ко всему английскому»<sup>37</sup>). Тем не менее, в предвзятых, суеверных, порою фантастических описаниях преступлений ирландцев присутствовали и подтверждения обоснованности их действий. Так, в «Кратком обзоре протиестественного восстания и варварской бойни...», автор которого остался неизвестным, приведены свидетельства угнетенного положения католиков накануне восстания. Виновниками массовой резни были названы не только природные ирландцы, но и «старые англичане», потомки первых английских поселенцев времен Генриха II, сохранившие приверженность римской вере<sup>38</sup>.

Проповеди при всей их односторонности все же создали многомерный образ мятежного острова и его жителей. Фактически они призывали не к «крестовому походу» против папизма, а к поиску путей сосуществования с ирландскими католиками. Страх вооруженного восстания, испытываемый всеми протестантами, был сопряжен с боязнью их экономической, политической и культурной деградации. Они считали «дикость» и «варварство» заразными, способными привести к упадку немногочисленного протестантского населения. Опасения были не беспочвенны: экономический климат на острове препятствовал развитию предпринимательства<sup>39</sup>, королевская администрация в Ирландии неоднократно обвинялась в коррупции, самоуправстве и склонности к якобитизму<sup>40</sup>, англиканская церковь, основа протестантского владычества, нискала у современников репутацию «наихудшей в христианском мире»<sup>41</sup>.

Если риск ирландизации местной элиты, культивирующей все английское, был маловероятен, то за судьбу «индепендентов» (под ними понимались шотландские пресвитериане, английские пресвитериане и собственно индепенденты) следовало опасаться. Согласно рассуждениям британских теологов, религиозные представления диссентеров-протестантов находились примерно посередине между нечестивой верой католиков и истинной религией англикан. Соответственно, они могли поддаться тлетворному влиянию «папистов» и вернуться в лоно католицизма. К началу XVIII века в свете готовящейся унии Англии и Шотландии, различия между англиканством и пресвитерианством намеренно

<sup>37</sup> *Walkington, Sclater.* 1692. P. 10.

<sup>38</sup> *An Abstract of the Unnatural Rebellion...* P. 4-5, 8.

<sup>39</sup> На рубеже XVII–XVIII вв. появилось немало памфлетов, сигнализовавших о кризисе ирландской экономики, в частности, ирландской шерстяной мануфактуры и торговли, см.: *Brewster.* 1698; *Cox.* 1698; *Hovell.* 1698.

<sup>40</sup> *Hayton.* 2004. P. 49.

<sup>41</sup> *Doyle.* 1996. P. 161.



замалчивались. В целях сохранения общественного мира и поддержания безопасности внешних границ подчеркивались общие корни протестантской религии<sup>42</sup>. Так верхушка англиканского духовенства Ирландии пыталась остановить рост «сектантского» движения и способствовать переходу диссентеров в лоно «учрежденной по закону церкви»<sup>43</sup>.

Шотландские пресвитериане, активно осваивавшие северо-запад Ирландии после «Славной революции»<sup>44</sup> должны были изменить облик «гэльской» Ирландии: развить в ней капиталистическую мануфактуру, распространить на острове протестантские политические, религиозные и культурные ценности. В случае провала этой миссии, по мнению англикан, новопоселенцы сами могли превратиться в «ирландцев и варваров»<sup>45</sup>. «Деградация» шотландцев, в свою очередь, могла еще больше усилить кризис ирландской англиканской церкви и поставить под вопрос власть английской монархии.

Стремление сохранить целостность монархии и продолжить интеграцию Англии, Шотландии и Ирландии в единое государство нашло выражение в особой политической демагогии. Ее демонстрирует анонимный памфлет «Толчок для Джеков, или все их надежды напрасны», содержащий перечень планов и надежд «внутренних и внешних врагов государства», к которым причисляются «французы», «паписты» и «якобиты»<sup>46</sup>. Автор памфлета утверждает, что в 1689–1692 гг. «французы не имели радушного приема в Ирландии», как и у «любящих Короля и Страну» шотландцев. Их верность привела к полному провалу планов французов и Якова II в отношении «одной или всех трех наций»<sup>47</sup>.

Дальнейший ход событий показал, что якобитское движение в Ирландии не имело широкого размаха, так как католическая элита была обескровлена, «непросвещенное» крестьянство аполитично, а протестантский якобитизм ограничивался стенами Тринити-колледжа и не-

<sup>42</sup> К примеру, см.: *Smith*. 1698.

<sup>43</sup> См.: *King*. 1710. P. 4. Среди прелатов англиканской церкви *Уильям Кинг* (1650–1729), епископ Дерри (1691–1703) и архиепископ Дублина (1703–1729) внес наибольший вклад в формирование протестантской Ирландии.

<sup>44</sup> Епископ Туама *Эдвард Синж* подсчитал, что за 1689–1715 гг. в Ольстер переселилось 15 тыс. семей шотландцев. По мнению современных авторов, эта цифра завышена, но можно говорить об удвоении пресвитерианской общины в 1715 г. по сравнению с 1660 г. См.: *Bardon*. 1992. P. 171.

<sup>45</sup> *The Interest of England*... 1698. P. 12.

<sup>46</sup> *A Jerk for the Jacks*... 1696. «The Jacks» в памфлете – презрительное название якобитов, Jack – производное от James (имеется в виду Яков II), и в то же время – мужлан, глупый, недалекий человек.

<sup>47</sup> *Ibid*. P. 22.

сколькими поместьями недовольных режимом лендлордов<sup>48</sup>. И, следовательно, ирландский католицизм, который у многих отождествлялся с якобитизмом, не имел очевидного антигосударственного и антипротестантского характера. В 1716 г., после очередного неудачного якобитского восстания, связанного со сменой правящей династии, вышел трактат Рональда Дэвиса, четко разграничивший веру «папистскую», идущую из Рима, и «католическую», легшую в основу христианской религии на Британских островах<sup>49</sup>. Данная трактовка религии «гэлов» давала определенную надежду на «окультуривание» коренного населения. На рубеже XVII–XVIII вв. основным элементом политики в отношении католиков продолжали оставаться «карательные законы», но с 1720–30-х гг. возрастает роль протестантских просветителей-«цивилизаторов». У ирландских протестантов, переживающих кризис самоидентификации, возрастает интерес к «гэльскому» наследию, начинается изучение истории своей второй родины и ирландских древностей<sup>50</sup>.

Формированию образа «врага» во многом способствовали записки англичан, совершивших путешествие по Ирландии. Большая их часть была написана людьми, имевшими весьма отдаленное представление о «гэльском» природном характере и религии. Их источниками были антикатолические проповеди англиканского духовенства, рассказы друзей и знакомых, распространенные в Англии сплетни и слухи о жизни «гэлов». Путешественников мало интересовала история ирландцев, их духовное наследие, их внимание привлекали внешний облик, жилище, система питания, примечательные обычаи и традиции. Путевые заметки, написанные с позиции стороннего наблюдателя, фиксировали эмоциональное отношение авторов к поработленным современникам.

Наслышанные о враждебности и воинственности ирландцев, путешественники увидели жалких крестьян, живущих в убогих хижинах, спящих со свиньями и домашней птицей, питающихся в основном капустой и картофелем. Пьянство, драки, воровство, невежество и разврат – эти явления, согласно запискам англичан, определяли жизнь «тигов». Путешественники противопоставляли «гэлов» британцам, сравнивали их нрав с характерными чертами других народов; в итоге, их ассоциации приобретали расистский характер. «Поколение подонков», – так характеризовал «диких», похожих обычаями на североамериканских индей-

<sup>48</sup> Подробнее об ирландском якобитизме см.: *Ó Ciardha*. 2002.

<sup>49</sup> *Davis*. 1716. P. 3.

<sup>50</sup> См.: *Kidd*. 1994.

цев, ирландцев Джон Дантон<sup>51</sup>. Согласно Эдварду Уорду, местные жители аккумулировали в своем характере все отрицательные качества европейских народов. Они обладали «жестокостью испанских инквизиторов, развращенностью итальянцев, легкомыслием французов, трусостью савойцев, вероломством шотландцев, невежеством москвитов, бунтарским нравом датчан и своей гордыней»<sup>52</sup>. Религиозные верования ирландцев, примитивные и невежественные, скорее вызывали смех и удивление, чем внушали опасения. Уорд отметил, что большинство католиков даже не знают имени девы Марии и считают святого Патрика ее отцом<sup>53</sup>. Один из авторов «Краткой характеристики Ирландии» сравнивал поклонение святым на острове с верой в мальчика-с-пальчика<sup>54</sup>.

По мере укрепления позиций протестантов в Ирландии образ ирландцев порой приобретал унизительный смысл. Неслучайно «гэлы» стали действующими лицами популярных в Британии комедий. С периода Реставрации сатира на ирландцев стала распространенным явлением литературной и театральной жизни Лондона. Британские актеры получили возможность не только описать, но и изобразить «дикого» гэла, дополнить его образ характерным акцентом, коверкающим до неузнаваемости литературный английский язык, показать его нелепую одежду, грубые повадки. Особенно часто в пьесах использовались специфический ирландский юмор, ссылки на трилистники, арфы, пахту и болото. Смех британцев вызывали ирландская суеверная религиозность и «ложная» гордость, сравнимая с высокомерием и спесью гасконцев<sup>55</sup>.

Новые штрихи появились в портрете ирландца благодаря военным пьесам, описывающим события начала 1690-х гг. В одной из них, «Путешествие короля или военная экспедиция», автор, имя которого осталось неизвестным, поставил цель изобразить «вероломную, подлую, трусливую и кровожадную натуру ирландцев» и описать все бесчинства, которые сотворили католики в отношении «своих миролюбивых британских соседей»<sup>56</sup>. В трагикомедии образы ирландских католиков вызывают не страх, а презрение и смех. Изображаемые в пьесе ирландские лор-

---

<sup>51</sup> Dunton. 1991. P. 152, 143; *Джон Дантон* (1659–1733) — известный английский журналист, любитель путешествий.

<sup>52</sup> Ward. 1699. Introduction; *Эдвард «Нед» Уорд* (1667–1731) – английский писатель-сатирик, оставивший записки о путешествиях на Ямайку (1698), в Новую Англию (1699) и Ирландию (1699).

<sup>53</sup> Ibid. P. 10.

<sup>54</sup> A Brief Character of Ireland... P. 57.

<sup>55</sup> Hayton. 1988. P. 19.

<sup>56</sup> The Royal Voyage... 1690. To the Reader.

ды свирепы, но глупы и недалёковидны, многочисленные солдаты кроваважны, но трусливы и плохо обучены. Исход кампании Вильгельма III очевиден: «все болота Ирландии дрожат от ужаса»<sup>57</sup>, а незаконный король Яков вынужден бежать. Вера в силу и непобедимость протестантизма и английского оружия в комплексе с едкой сатирой помогала англичанам преодолевать страх перед ирландскими католиками.

Образ ирландского католика-врага, запечатленный англиканской политической риторикой и художественной литературой предганноверианской эпохи, сложен и многогранен. Его можно рассматривать и как действенный инструмент идеологического воздействия, и как свидетельство нерешенности ирландских проблем в условиях интеграции Британских островов в могущественную империю. В источниках прослеживается очевидная эволюция образа «врага» – от оформившегося в период Реставрации и Гражданских войн по-настоящему устрашающего образа «гэла», к новому, возникшему в условиях полного протестантского превосходства, вызывающему презрение, отвращение и, порою, смех.

Влияние этих двух стереотипов ирландского католика на общественно-политическую, религиозную и духовную жизнь острова бесспорно. Ими оперировали при разработке «карательного законодательства» и методов умиротворения и окультуривания «гэлов», разрабатывали способы уничтожения «папистов» и выведения их из-под влияния Рима. В дискуссиях о природе ирландского варварства рождалась идеология британской исключительности и богоизбранности, создавался своеобразный миф о варварстве, под который были подведены многие другие народы. Образ «дикого» ирландца достиг своего наивысшего развития в образе «кроваважных» фенианцев в викторианской литературе.

В то же время предвзятое отношение англичан к коренным ирландцам быстро распространялось на протестантов острова, включая представителей местной англо-ирландской элиты. В 1712 г. Алан Бродрик<sup>58</sup> переживал: «<...> если я перееду в Англию <...> обо мне будут думать <...> (чего бы я хотел меньше всего), что я ирландец»<sup>59</sup>. Как точно заметил североирландский историк Дж. К. Беккет, для многих протестантов слово «ирландец» было синонимом слов «якобит» и «католик»<sup>60</sup>.

---

<sup>57</sup> Ibid. P. 32.

<sup>58</sup> Алан Бродрик, первый виконт Мидлтон (1656–1628) – представитель англо-ирландской элиты, в 1703–10 гг. – спикер палаты общин Ирландского парламента, в 1707–09 гг. – генеральный прокурор, а в 1714–25 гг. – лорд-наместник Ирландии.

<sup>59</sup> Victory. 1985. P. 124.

<sup>60</sup> Beckett. 1976. P. 45-46.

Английские переселенцы стремились поддерживать свою этническую идентичность, опасаясь стать, даже в глазах окружающих, «дикими» ирландцами. Кризис этнической идентичности англо-ирландцев («амфибий»<sup>61</sup>, как называли их в Ирландии эпохи «протестантского господства») в условиях формирования национальной идентичности стимулировал возникновение «колониального национализма» – отстаивание идеи самоуправления Ирландии в рамках империи<sup>62</sup>.

Образ «врага», запечатленный многочисленными источниками позднестюартовского периода, был, хотя и не единственным выражением этноконфессиональной враждебности к ирландцам, но одним из наиболее ярких ее проявлений. Восприятие ирландцев-католиков британскими англиканами может быть рассмотрено в контексте политического и социокультурного становления британской протестантской нации.

Образ «врага» являлся составным элементом британской имперской идеологии, оправдывающей все экономические, политические и карательные санкции центрального правительства против Ирландии и прославлявшей величие британского государства и религии.

Эмоциональная окраска образа ирландского католика служит маркером психологического состояния населения отдельных частей Британии. Уровень психологической тревожности был гораздо более высоким у ирландских англикан, что видно в действительно устрашающих описаниях деяний «гэлов». В то время для жителей Англии ирландский католик, в отличие от континентального «паписта», переставал быть достойным, равным по силе англичанину «врагом», а превращался в агрессивное, но неразумное существо.

Наконец, несмотря на внешнюю статичность, образ «врага»-ирландца вполне соответствовал духу времени, став антиподом идеального человека эпохи Просвещения.

## БИБЛИОГРАФИЯ

- Лурье С. В. Российская и Британская империи: культурологический подход // *Общественные науки и современность*. 1996. № 4. С. 69-77.
- Петти У. Политическая анатомия Ирландии // *Экономические и статистические работы*. Т. I-II. М.–Л.: Соцэкгиз, 1940. С. 90-153.
- Репина Л. П. Память и знание о прошлом в структуре идентичности // *Диалог со временем*. 2007. №21. С. 5-21.
- Сергина А. Ю. Мифы об обращении Англии в христианство и национальная/конфессиональная идентичность // *Диалог со временем*. 2007. №21. С. 389-411.

---

<sup>61</sup> Smyth. 1993. P. 785.

<sup>62</sup> См.: Simms. 1976. P. 9.

- An abstract of the Unnatural Rebellion and Barbarous Massacre of the Protestants, In the Kingdom of Ireland, in the Year 1641. London, 1689.
- An Act For Keeping and Celebrating the Twenty third of October as an anniversary thanksgiving the Kingdom of Ireland. London, 1689.
- A Brief Character of Ireland: with some observations of the customs & c. of the meaner sort of the natural inhabitants of that kingdom. London, 1692. 103 p.
- A Jeck for the Jacks or, All their Hopes are lost. London: printed Anno Dom., 1696. 32 p.
- A new history of Ireland. In 9 vol. Vol. IV. Eighteenth-century Ireland 1691-1800 / Ed. by T.W. Moody, W.E. Vaughan. Oxford: Clarendon Press, 1986. 849 p.
- Acheson A. A History of the Church of Ireland 1691-2001. Dublin: The Columba Press-APCK, 2002. 320 p.
- Armitage D. The ideological origins of the British Empire. Cambridge; New York: Cambridge University Press, 2000. 239 p.
- As by law Established: The Church of Ireland since the Reformation / Ed. by A. Ford, J. McGuire, K. Milne. Dublin: The Lilliput Press, 1995. 288 p.
- Bartlett T. This famous island set in a Virginian sea: Ireland in the British Empire, 1690-1801 // The Eighteenth Century / Ed. by P. Marshall. Oxford History of the British Empire. Vol. 2. Oxford: Oxford University Press, 1998. P. 253-275.
- Bardon J. A history of Ulster. Belfast: The Blackstaff Press, 1992. 914 p.
- Barnard T. The uses of 23 October and Irish protestant celebrations // English Historical Review. Vol. 106. No. 421. P. 889-920.
- Barnard T. A New Anatomy of Ireland: The Irish Protestants, 1649-1770. New Haven-London: Yale University Press, 2004. 489 p.
- Beckett J. C. The Anglo-Irish Tradition. London: Faber and Faber, 1976. 159 p.
- Black J. Natural and necessary enemies: Anglo-French relations in the eighteenth century. London: Duckworth, 1986. 236 p.
- Brewster F. A discourse concerning Ireland and the Different Interest thereof. London: Printed for Tho. Nott at the Queen's-Arms the Pall-Mall, 1698. 72 p.
- Canny N. Kingdom and colony: Ireland in the Atlantic World 1560-1800. Baltimore: John Hopkins University Press, 1988. 149 p.
- Catholic Ireland in the eighteenth century: collected essays of Maureen Wall / Ed. by G. O'Brien. Dublin: Geography Publications, 1989. 209 p.
- Clark J.C.D. Protestantism, nationalism and national identity, 1660-1832 // Historical Journal. Vol. 43. No. 1. P. 249-276.
- Claydon T., McBride I. The trials of the chosen peoples: recent interpretations of Protestantism and nation identity in Britain and Ireland // Protestantism and national identity: Britain and Ireland, c. 1650–c. 1850 / ed. by T. Claydon., I. McBride. Cambridge: Cambridge University Press, 1998. P. 3-30.
- Cliffon R. The Popular Fear of Catholics during the English Revolution // Past and Present. 1971. No. 52 (1). P. 23-55.
- Colley L. Britons: forging the nation, 1707-1837. L.: Yale University Press, 1992. 464 p.
- Connolly S. J. Religion, Law and Power: The Making of Protestant Ireland, 1660-1760. Oxford: Clarendon Press, 1995. 346 p.
- Corrish P. J. The Irish Martyrs and Irish History // Archivium Hibernicum. 1993. Vol. 47. P. 89-93.

- Cox R.* Hibernia Anglicana: or The History of Ireland from the Conquest thereof by the English To this Present Time. In two parts. London: St. Paul's Church-Yard, 1689–1690. 456 p.
- Cox R.* Some thoughts on the Bill Depending before the Right Honourable the House of Lords For Prohibiting the Exportation of the Woollen Manufactures of Ireland to Foreign Parts. Dublin: Printed by Joseph Ray, 1698. 16 p.
- Davis R.* The truly Catholic and Old Religion, shewing that the Establish'd Church in Ireland, is more truly a Member of the Catholic, than the Church of Rome. And that All the Ancient Christians, especially in Great-Britain and Ireland, were of her communion. Dublin, 1716.
- Dunton J.* Dunton's Conversation in Ireland (1705) // The English Traveller in Ireland. Accounts of Ireland and the Irish Through Five Centuries / Completed and ed. by J. P. Harrington. Dublin: Wolfhound Press, 1991. P. 143-153.
- Doyle T. J.* The politics of protestant ascendancy: politics, religion and society in protestant Ireland. 1700-1710: a theses submitted in fulfillment of the degree of Ph.D. of the National University of Ireland. Dublin: University College Dublin, 1996. 418 p.
- Eccleshall R.* Anglican political thought in the century after the Revolution of 1688 // Political thought in Ireland since the seventeenth century / Ed. by D. G. Boyce, R. Eccleshall, V. Geoghegan. L.; New York: Taylor and Francis, 1993. P. 36–72.
- Edwards J.* The Preacher. A Discourse, Shewing, what are The Particular Offices and Employments of those of that Character in the Church. London: printed for F. Robinson, F. Lawrence, F. Wyat, 1705. 185 p.
- Forster N.* Unanimity in the Present Time of Danger Recommended in a Sermon, Preach'd Before their Excellencies The Lord Justices of Ireland at Christ's Church, Dublin. On Sunday, February the 5<sup>th</sup>, 1715 by Nicholas, Lord Bishop of Killaloe. London: printed for W. Taylor, at the Ship in Pater-Noster-Row, 1716. 15 p.
- Foster R. F.* Paddy and Mr. Punch: Connections in Irish History and English History. London: Allen Lane, The Penguin Press, 1993. 372 p.
- Hadfield A.* Britons and Scythian: Tudor representations of Irish origins // Irish historical studies. 1993. Vol. 28. P. 390-395.
- Haydon C.* Anti-Catholicism in eighteenth-century Ireland, c. 1714-80. A political and social study. Manchester and New York: Manchester University Press, 1993. 276 p.
- Hastings A.* The Construction of Nationhood: Ethnicity, Religion and Nationalism. Cambridge: Cambridge University Press, 1997. 245 p.
- Haydon C.* «I love my King and my Country but a Roman Catholic I hate»: anti-catholicism, xenophobia and national identity in Eighteenth-century England // Protestantism and national identity: Britain and Ireland, c. 1650–c. 1850 / Ed. by T. Claydon, I. McBride. Cambridge: Cambridge University Press, 1998. P. 33–52.
- Hayton D. W.* From Barbarian to Burlesque: English Images of the Irish c. 1660 – 1750 // Irish economic and social history. 1988. Vol. 15. P. 5–31.
- Hayton D. W.* Ruling Ireland, 1685-1742: politics, politician and parties. Woodbridge: The Boydell Press, 2004. 304 p.
- Hampton D.* Religion and political culture in Britain and Ireland. Cambridge: Cambridge University Press, 1996. 202 p.
- Hechter M.* Internal colonialism: the Celtic fringe in British National Development, 1536-1966. New Brunswick: Transaction Publishers, 1999. 360 p.

- Hovell J.* A Discourse on the Wollen Manufactory of Ireland and the Consequences of Prohibiting its Exportation. London: re-printed by J. B[rent]. and S. P[owell] at the back of Dick's Coffee-House in Skinner-Row, 1698. 22 p.
- Kidd C.* Gaelic Antiquity and National Identity in Enlightenment Ireland and Scotland // *English Historical Review*. 1994. Vol. 109. P. 1197–1214.
- King W.* A serious Admonition to the Dissenters: being a vindication Of a book entitl'd The Invention of Man in the Worship of God. London: printed, and sold by Samuel Ballard, and John King, 1710. 79 p.
- Lambert R.* A sermon Preach'd to the Protestant of Ireland, now residing in London: At their anniversary meeting on October XXIII, 1708. L.: printed for Tim Goodwin, 1708. 25 p.
- Lebow R. N.* White Britain and Black Ireland. The influence of Stereotypes on Colonial Policy. Philadelphia: Institute for the Study of Human Issues Inc., 1976. 152 p.
- Lightburn W. A.* Thanksgiving Sermon Preached upon the 23 of October, 1661. Dublin: printed by John Crook <...> and are to be sold by Samuel Dancer, 1661. 19 p.
- McCormac W. J.* Eighteenth-Century Ascendancy: Yeats and the Historians // *Eighteenth-Century Ireland*. 1989. Vol. 4. P. 159-181.
- Murray J.* Enforcing the English Reformation in Ireland: Clerical Resistance and Political Conflict in the Diocese of Dublin, 1534-1590. Cambridge: CUP, 2000. 374 p.
- Ohlmeyer J. H.* «A Laboratory for Empire?»: Early Modern Ireland and English Imperialism // *Ireland and the British Empire* / Ed. by K. Kelly. Oxford: OUP, 2004. P. 26-60.
- Ó Ciardha É.* Ireland and the Jacobite cause, 1685–1766: A fatal attachment. Dublin: Four Courts Press, 2002. 468 p.
- Political Thought in Seventeenth-Century Ireland: Kingdom or Colony / Ed. by J. H. Ohlmeyer. Cambridge: Cambridge University Press, 2000. 290 p.
- Schwartz H.* The French Prophets in England. A social history of Millenarian group in early eighteenth century. New Haven: Yale University Press, 1980. 382 p.
- Simms J. G.* Colonial Nationalism 1698-1776: Molyneux's The case of Ireland — stated. Cork: Leinster Leader LTD, 1976. 80 p.
- Smith E. A.* Sermon, Preached Before Their Excellencies The Lord Justices, At Christ-Church, Dublin, The 29th of May, 1698. Dublin, 1698.
- Spencer E. A.* View of the Present State of Ireland. London: Scholartis Press, 1934. 330 p.
- Temple J., Musgrave R.* The Irish Rebellion Or, an History of the Attempts of the Irish Papists to Extirpate the Protestants in the Kingdom of Ireland. L.: R. Wilks, 1812. 236 p.
- The Royal Voyage, or the Irish Expedition: a Tragicomedy, Acted in the Years 1689 and 90. London: printed for Richard Baldwin, 1690. 32 p.
- Victory I. L.* Colonial nationalism in Ireland, 1692–1725: from common law to natural right. Unpublished Ph.D. theses. Dublin: Trinity College, 1985. 289 p.
- Walkington E., Sclater, W.* A sermon preached October 23, 1692 in St. Andrews Church, Dublin, before the House of Commons. Dublin: printed by Joseph Ray, 1692. 19 p.
- Ward J.* A Trip to Ireland being a Description of the Country, People and Manners: As also some Select Observations on Dublin. London, 1699. 12 p.
- Yeh S. E.* In an enemy's country: British culture, identity and allegiance in Ireland and the Caribbean, 1688-1763. Providence: Brown University, 2006. 523 p.
- Лежнина Елена Владимировна*, старший преподаватель кафедры всеобщей истории Марийского государственного университета; [elena-lezhnina@yandex.ru](mailto:elena-lezhnina@yandex.ru)



Н. В. СЕРЕДА

## “СВОИ” – “ЧУЖИЕ” – “ДРУГИЕ” В КОНТЕКСТЕ ЗАПИСОК У. КОКСА И ИХ СУДЬБЫ В РОССИИ

---

У. Кокс полагал, что Лжедмитрий I был настоящим царевичем Дмитрием, и писал о России конца XVIII в. как о стране варварской, критиковал Петра I, а возможные в будущем перемены связывал с именем Екатерины II. Оценки Кокса оказались «чужими» и даже опасными для царствующего дома Романовых, входили в противоречие с представлениями отечественных историков конца XVIII – начала XIX в. и с концептуальными построениями ученых советского периода.

**Ключевые слова:** *Россия, источники, описания путешествий, историография.*

---

До недавнего времени исследования сочинений иностранцев, побывавших в России, проводились прежде всего с точки зрения их ценности и достоверности данных о событиях российской истории. В настоящее время эти источники интересны, прежде всего, как воплощающий восприятие иностранцами России периода их пребывания. Записки англичанина У. Кокса о его путешествии в Россию примечательны еще и потому, что позволяют ученым понять, как проходил процесс познания россиян образованными представителями других стран.

Англичанин Уильям Кокс (1747–1828) дважды побывал в России в качестве наставника молодых людей из состоятельных семей, которые совершали образовательные туры по Европе<sup>1</sup>. Оба раза он провел в России примерно по полгода: с августа 1778 г. по февраль 1779 г. и с ноября 1784 г. по апрель 1785 г. Обе поездки пришлись на период серьезных преобразований. Значительное влияние на него оказало знакомство с Екатериной II: вместе со своим подопечным графом Пемброком он был удостоен ее аудиенции. Кокс имел также возможность сравнить жизнь россиян и населения других европейских стран. Впечатления от первой поездки, дополненные познаниями, почерпнутыми из географических и исторических трудов, а также из архивных материалов, были изложены в книге «Путешествие в Польшу, Россию, Швецию и Данию». Первое издание этого труда было опубликовано на языке оригинала в 1784 г., в 1785 г. был издан немецкий перевод «Путешествий».

Сочинение Кокса знала вся цивилизованная Европа, это было самое цитируемое и самое объемное сочинение иностранца о России при Екатерине II. Оно выдержало шесть изданий в Англии еще при жизни автора. При этом каждое новое издание несло в себе авторские исправ-

---

<sup>1</sup> Биографию У. Кокса см.: Кокс Уильям... 1891; Смирнова. 1993. С. 22-34.

ления и дополнения. На родине Кокса последнее прижизненное издание вышло в 1803 г. «Путешествия» были переведены на все основные языки континентальной Европы и во многих странах неоднократно переиздавались в конце XVIII – первой половине XIX в.<sup>2</sup> В России же судьба записок Кокса сложилась весьма драматически и была совершенно не адекватна чести, оказанной ему Екатериной II, которая не только удостоила Кокса аудиенции, но и в письменной форме ответила на его вопросы о судебной системе и системе наказаний в России. Процесс подготовки ею ответов на вопросы англичанина заставил Екатерину много размышлять над пенитенциарной системой России, что в итоге даже повлияло на российское законодательство о тюрьмах.

Известно, что императрица выражала желание приобрести текст записок сразу после их издания на немецком языке (1785 г.), однако уже в конце XVIII в. труд Кокса в России был фактически запрещен. Только в 1837 г. была переведена на русский язык и издана одна глава – с описанием его переезда из Москвы в Петербург<sup>3</sup>. К тому времени Западная Европа уже утратила интерес к «Путешествиям». Впоследствии в России были изданы пересказ сочинения Кокса (1877)<sup>4</sup>, переводы некоторых мест с историческими сведениями об отдельных городах и регионах<sup>5</sup>, было опубликовано описание материалов Кокса, хранящихся в библиотеке Британского музея, в том числе относящихся к истории России<sup>6</sup>. Лишь недавно стал доступен читателям текст перевода на русский язык 5-й главы третьего тома под названием «Состояние цивилизации»<sup>7</sup>. Полный текст записок Кокса до сих пор не издан в России.

Нельзя не отметить возрастающий интерес отечественных исследователей к сочинениям Кокса: их активно исследуют в русле изучения восприятия реформ россиянами, а также образовательных туров как социокультурного явления XVIII – начала XIX в.<sup>8</sup> Однако многие из поставленных вопросов не получили ответа, некоторые из предлагаемых ответов спорны, либо требуют дополнительных обоснований, в частности вопрос о причинах столь длительного забвения записок Кокса в России. Именно на него мы и попытаемся дать свой вариант ответа.

---

<sup>2</sup> Характеристику изданий и переводов «Путешествий в Польшу, Россию, Швецию и Данию» см.: *Гулякова*. 2010. С. 46–68.

<sup>3</sup> Путевые записки от Москвы до Санкт-Петербурга... 1837.

<sup>4</sup> [Белозерская] 1877.

<sup>5</sup> *Кокс*. 1902; *Смирнова*. 1993.

<sup>6</sup> С соображениями о достоверности сведений Кокса. См.: *Викторов*. 1898.

<sup>7</sup> Текст опубликован в качестве приложения к диссертации И. В. Гуляковой (*Гулякова*. 2010. С. 223–237).

<sup>8</sup> См., например: *Карацуба*. 1991; *Смирнова*. 1993; *Белякова*. 2006.

Существует мнение, что причиной забвения сего труда стало осуждение Коксом крепостного права<sup>9</sup>. Но в таком случае его записки могли быть использованы в ходе общественной борьбы первой половины XIX в., когда обсуждался вопрос о путях развития России, однако этого не произошло. Даже после отмены крепостного права мнения Кокса о России и русских предпочитали не делать достоянием гласности!

Фактическое запрещение труда Кокса в России, на наш взгляд, можно объяснить другими причинами. Первая заключается в общем негативном отношении Кокса к русской действительности, в его неуважительном отношении к Петру I, так почитаемому и до октября 1917 г. и в советский период, и к результатам его преобразований, в пренебрежительной оценке возможности развития цивилизации в России. Многие историки Западной Европы XVIII в., и прежде всего Вольтер, превозносили проведенные Петром преобразования, считая, что благодаря им начался переход России к цивилизации. Кокс достаточно четко сформулировал мысль о том, что «рассказы об изменениях национальных нравов и обычаев [в результате реформ Петра I]... принадлежат путешественникам, никогда не посещавшим Россию, которые для изучения истории Петра пользовались необъективной информацией»<sup>10</sup>.

Этот упрек в адрес западноевропейских историков и прежде всего Вольтера, глубоко почитаемого русской императрицей<sup>11</sup>, едва ли мог понравиться ей. Однако заявления Кокса о том, что он был «поражен тем состоянием варварства, в котором пребывает основная масса населения»<sup>12</sup> страны в конце XVIII в., т.е. через полстолетия после смерти великого реформатора, должно было понравиться ей еще менее.

Между тем описание Кокса содержит примеры, которые должны были изумить иностранцев и составить у них не слишком благоприятное впечатление о России. Так, радостно отметив, что в Твери в отличие от других мест по дороге из Москвы в Петербург имеется гостиница, Кокс замечает, что в гостинице этой нет кроватей. Расточительность русских вызывает его негодование: в России наблюдается «огромный расход древесины из-за устоявшейся привычки делать доски топором.

<sup>9</sup> Белякова. 2003. С. 110-112.

<sup>10</sup> Кокс. 2010. С. 223.

<sup>11</sup> Екатерина II писала о Вольтере и его трудах по истории России: «80-летний старик старается своими, во всей Европе жадно читаемыми сочинениями прославить Россию, унижить врагов ее и удержать деятельную вражду своих соотчичей, кои тогда старались распространить повсюду язвительную злобу против дел нашего отечества, в чем и преуспел». Цит. по: Павленко. 1996. С. 53-54.

<sup>12</sup> Кокс. 2010. С. 234.

Такая практика, причиняющая колоссальный ущерб лесам империи, распространена среди судостроителей не менее чем среди крестьян»<sup>13</sup>.

Справедливое суждение Кокса о том, что «цивилизация многочисленной, разбросанной на огромной территории нации, – длительный процесс, который может быть успешным только благодаря последовательному, постепенному прогрессу»<sup>14</sup>, – ставило под сомнение быстрое получение видимых результатов проводимых императрицей преобразований. Кокс достаточно жестко критиковал российскую систему получения чинов и продвижения по служебной лестнице, негативное отношение высказывал он и к политике секуляризации: «Во многих странах уничтожение монастырей может считаться полезным обстоятельством, а в России оно имеет негативное последствие: монастыри были единственными образовательными учреждениями для будущих церковнослужителей, а монахи, если можно так сказать, – единственные обладатели знаний в среде духовенства». Степень невежества приходских священников, многие из которых «не могут даже прочесть Евангелие на их родном языке для проповеди, а богослужение отправляют по памяти...»<sup>15</sup>, потрясла Кокса едва ли не больше крепостного права. Отмечал он и необразованность купцов и торговцев, которые «не знакомы с арифметикой», а для счета пользуются «приспособлением с несколькими рядами проволоки, на которые нанизаны шарики. Первый ряд шариков – это единицы, второй – десятки...»<sup>16</sup>. Что обозначает третий ряд, думаю, хорошо помнят даже те из россиян, кому нынче около тридцати, притом, что шарики на проволоке изумляли Кокса еще 250 лет назад.

Крайне низко Кокс оценивал уровень жизни народа, отмечал неразвитость орудий труда крестьян. «Всеобщее улучшение невозможно, пока большая часть населения продолжает пребывать в рабстве», – писал он в заключении главы о состоянии цивилизации в России. Очевидно, эта концовка и дает основание исследователям считать, что причиной забвения записок Кокса стала критика крепостного права в стране.

Отметим, что в этой главе наряду с критикой и скепсисом в отношении перспектив развития страны встречаются высокие оценки некоторых реформ Екатерины II. Так, Кокс одобрительно оценивает введение гильдейского сбора для купечества, полагая, что он «пробуждает трудолюбие» в людях и формирует другие положительные качества. Однако в целом в его изображении жизнь россиян мрачна и убога. И именно эта

---

<sup>13</sup> Цит. по: *Смирнова*. 1993. С. 26-27, 34.

<sup>14</sup> *Кокс*. 2010. С. 224.

<sup>15</sup> Там же. С. 228.

<sup>16</sup> Там же. С. 223.

картина стала, на наш взгляд, важнейшей причиной упорного игнорирования записок Кокса в России в имперский период. Его откровенный скептицизм по поводу возможности скорого преодоления Россией состояния варварства мог бы внести дополнительные сомнения в души подданных, многие из которых и без того не видели смысла в проводимых преобразованиях. Эти соображения вполне могли явиться причиной запрета в России не только труда Кокса. Такая судьба была у значительной части записок иностранцев о России. Определенным образом понимаемый патриотизм привел к тому, что многочисленные источники такого рода лишь в последние четверть века впервые были опубликованы на русском языке, еще часть текстов впервые изданы без купюр<sup>17</sup>.

Еще одной причиной забвения труда Кокса стала его трактовка событий некоторых исторических деятелей. Кокс проявлял симпатии к тем персонажам, которые в российской историографии принято оценивать отрицательно. Например, он доказывал, что у царевны Софьи не было мысли совершать заговор против Петра и пытаться его отравить. Его очерки о царевиче Алексее Петровиче и Иване Антоновиче проникнуты духом сочувствия к ним. Особенно неприемлемой оказалась его идея, что Лжедмитрий I был не самозванцем. Эта и почти все «чуждые» для российской историографии оценки и суждения по истории XVI–XVII вв. родились в результате знакомства Кокса с трудами Г. Ф. Миллера и А. Ф. Бюшинга. Они печатались в журналах по русской истории, издававшихся на немецком языке, а ряд работ Миллера были опубликованы за границей анонимно: высказать свои суждения о некоторых эпизодах российской истории открыто, тем более в самой России, Миллер не имел возможности. Еще часть познаний в области российской истории Кокс приобрел в личных беседах и в ходе переписки с Миллером.

При изложении событий начала XVII в. Кокс придерживался гипотезы Миллера о том, что Лжедмитрием в российской истории назвали истинного младшего сына Ивана Грозного. В примечании к пятому изданию своего сочинения (1802 г.), Кокс сообщил, что Миллер придерживался именно этой точки зрения и в беседе с ним привел убедительные аргументы в ее пользу. Кокс заявлял, что Миллер благословил его на критику версии, изложенной им в опубликованных трудах, но при этом просил не упоминать об их разговоре, покуда он будет жив<sup>18</sup>.

Обнародование такой трактовки событий Смутного времени, тем более со ссылкой на Миллера, могло стать поводом для обсуждения обстоятельств появления на троне династии Романовых. Следует ска-

<sup>17</sup> См., например: Московское государство...; Россия глазами иностранцев...

<sup>18</sup> Гулякова. 2010. С. 178. Г. Ф. Миллер умер в 1783 г.

зять, что статья Миллера «Опыт новейшей истории о России», посвященная Смутному времени, так и не была полностью издана в России: вышла только первая часть статьи, посвященная Борису Годунову, печатать сведения о жизни Лжедмитрия было запрещено<sup>19</sup>, притом, что своих истинных взглядов Миллер так и не решился изложить. Текст, изданный на немецком языке, вызвал негодование М. В. Ломоносова: «Миллер пишет и печатает на немецком языке смутные времена Годунова и Росстригины, самую мрачную часть российской истории; из чего иностранные народы худые будут выводить следствия о нашей славе. Или нет других известий и дел российских, где бы по последней мере и добро с худом в равновесии видеть можно было?», – вопрошал он<sup>20</sup>.

У. Кокс и его записки о путешествии в Россию могли стать транслятором идеи, крайне опасной для правящего дома Романовых, и в этом заключалась, на наш взгляд, едва ли не важнейшая причина, по которой они не были изданы в России в имперский период. История России, представленная Коксом, была «чужой», поскольку строилась на изысканиях представителей зарубежной и российской науки, работавших на основе принципов, неприемлемых для лидера официальной отечественной школы историографии середины XVIII в. Ломоносова и его последователей. Следы глубоких разногласий Ломоносова и Миллера в понимании ими задач истории и историка отчетливо видны в уже упомянутой статье, где Миллер анализировал российские события начала XVII в. Неслучайно именно здесь им поставлены проблемы методологического плана. Миллер заявил, что историк обязан «о всех делах, худых и добрых, рассуждать беспристрастно»<sup>21</sup>. Официальная же российская историография того времени исходила из принципа «полезности» исторических сведений для конструирования положительного образа России<sup>22</sup>. Представители формирующейся отечественной историографии считали, что при отборе сведений нужно исходить из принципа «не предосудительно ли славе русского народа будет». При такой установке труд Кокса, излагающий весьма сомнительные действия российской верхушки во время Смуты, никак не мог вызвать одобрения, а значит – получить рекомендации к переводу и изданию текста на русском языке.

Сочинение У. Кокса с его крайне низкой оценкой возможностей России в достижении цивилизации способствовало формированию и у самих россиян, и у европейцев нелюбимого образа России, что

---

<sup>19</sup> Белковец. 1989. С. 206-207.

<sup>20</sup> Ломоносов. 2007. С. 407.

<sup>21</sup> Миллер. 1761. Февраль. С 147.

<sup>22</sup> Каменский. 1991; Маловичко. 2010. С. 25.

также создавало препятствие для их издания в России. Не имея возможности запретить печатать сочинения Кокса на различных европейских языках, власть предержавшие пытались не допустить проникновения этого труда в Россию. Опасными видимо казались и осуждение рабства, и указание на примитивность жизни основной массы населения, и идеи относительно некоторых сюжетов истории страны. Однако остается не понятным еще один вопрос. Почему сочинение У. Кокса не было переведено и опубликовано в советское время? Осмелюсь предположить, что это было обусловлено весьма высокими оценками, которые давал английский путешественник преобразованиям Екатерины II. При всем своем скепсисе он, тем не менее, выражал надежду, что именно благодаря политике Екатерины II Россия окажется в числе великих держав.

Он явно противопоставляет Екатерину Петру I, заявляя, что цивилизация может быть достигнута лишь «благодаря последовательному, постепенному прогрессу», и подчеркивая, что излишне энергичная деятельность Петра не дала ощутимых результатов. Подобные взгляды не устраивали официальную советскую историографию, ведь ей гораздо более импонировал образ Петра, вздыбившего Россию. Это возводило исторический фундамент под большевистские методы преобразований.

Восприятие Коксом Екатерины как «своего» человека отчетливо прослеживается в его записках. В то время как Петр I для него – воплощение азиатчины, всяческих пороков, символ пренебрежения к человеческой личности, что видно из его отношения к своему сыну Алексею, историю которого Кокс излагает с явной симпатией к царевичу. В сочинении Кокса Екатерина II выступает не только антиподом Петра I. Кокс противопоставляет ее и остальным российским правителям. Осуждая крепостное право, которое он отождествлял с рабством, Кокс не связывает его с именем Екатерины. В то же время последовательный процесс внедрения основ цивилизации прежде всего через гуманизацию законов английский путешественник связывает именно с этой императрицей<sup>23</sup>.

Для Кокса «своей» была Екатерина, для отечественной историографии был и остается ближе Петр. И новейшие работы молодых историков свидетельствуют об этом. Так современная исследовательница и переводчица сочинения Кокса И. В. Гунякова подвергает сомнению его рассказ о том, что царевич Алексей «под влиянием постоянного пьянства и гонений» в 1716 г. решил отказаться от престола и уйти в монастырь. Оспаривает она и некоторые другие положения Кокса<sup>24</sup>. В случае с царевичем это делается со ссылкой на работу Н. И. Павленко «Петр

<sup>23</sup> Гунякова. 2010. С. 119-160.

<sup>24</sup> Там же. С. 93-95.

Великий». При этом автор диссертации объясняет неверность выводов Кокса пренебрежением теми источниками, которые работают на привычные оценки. Коксу действительно была предоставлена возможность ознакомиться с содержанием документов по истории России из Архива коллегии иностранных дел<sup>25</sup>, которой он не воспользовался, вероятно, в силу необходимости вовремя вернуться в Англию со своим воспитанником. Однако в работе, специально посвященной историческим взглядам Кокса, имело бы смысл попытаться найти аналогичные оценки в трудах отечественных исследователей.

Отношение молодой исследовательницы к взглядам Кокса – это во многом отражение ситуации, сложившейся в отечественной историографии на рубеже XX–XXI вв: по-прежнему мы превозносим Петра и недолюбливаем Екатерину II. По-прежнему мы уверенно, без сомнений, излагаем версию о Лжедмитрии, даже не упоминая трактовку Миллера, согласно которой приставка Лже не имеет право на существование. И нам трудно принимать иные оценки правления и отдельных поступков исторических деятелей, особенно те, которые формулируют «другие», «чужие», не «свои» исследователи.

И это относится, конечно же, не только к судьбе записок У. Кокса в России и к восприятию его оценок сегодняшними россиянами, в том числе историками. Речь идет о глобальной проблеме – упорном нежелании рассказать о «другом» восприятии событий нашей истории, тем более о восприятии ее кем-то «чужим».

## БИБЛИОГРАФИЯ

- Coxe W.* Travel into Russia // *Coxe W.* Travels into Poland, Russia, Sweden and Denmark. Ed. 4. London, 1792. V. 2. Book IV. С. 174-532.
- Белковец Л. П.* Россия в немецкой исторической журналистике XVIII в. Миллер Г. Ф. и Бюшинг А. Ф. Дисс. на соискание уч. степ. д.и.н. Томск, 1989. 250 с.
- [*Белозерская Н. А.*] Россия сто лет тому назад: путешествие английского историка Кокса в 1778 г. Пер. с англ. // *Русская старина*. 1877. Т. 18. № 2. С. 309-324; Т. 19. № 5. С. 23-52.
- Белякова Н. Ю.* Уильям Кокс и его «Путешествия»: Екатерининская Россия в программе английского образовательного Grand Tour. Дисс.... на соиск. уч. степ. канд. ист. наук. СПб., 2006. 210 с.
- Белякова Н. Ю.* У. Кокс о положении русского крестьянства в екатерининскую эпоху // Герценовские чтения. 2003. Актуальные проблемы социальных наук. Сб. ст. СПб., 2003. С. 110-112.
- Викторов Н.* Сочинения Вильяма Кокса о России // *Исторический вестник*. 1898. Т. 74. С. 778-787.

---

<sup>25</sup> *Гуныкова*. 2010. С. 188, 193.



- Вольтер*. История Российской империи при Петре Великом. СПб., 1809.
- Гулякова И. В.* Записки Уильяма Кокса второй половины XVIII века о его путешествии в Россию как исторический источник. Диссерт. на соиск. уч. степени кандидата исторических наук. Рукопись. Нижний Новгород, 2010. 236 с.
- Каменский А. Б.* Ломоносов и Миллер. Два взгляда на историю // Ломоносов: Сб. статей и материалов. Т.9 / Отв. ред. Э. П. Карпеев. Сб., Наука, 1991. С. 39-48.
- Карацуба И. В.* Реформаторы и реформируемые в России XVIII века: взгляд извне и изнутри // Из истории реформаторства в России. Философско-исторические очерки. М., 1991. С. 34-42.
- Кокс В.* Английский путешественник конца XVIII столетия Вильям Кокс о Твери и Тверской губернии / Пер. И. К. Линдемана // Журнал 89-го заседания Тверской ученой архивной комиссии, 12 декабря 1902 г. Тверь. 1902. С. 10-18.
- Кокс У.* Состояние цивилизации Пер. с англ. И.В. Гуляковой // Гулякова И. В. Записки Уильяма Кокса второй половины XVIII века о его путешествии в Россию как исторический источник. Дисс. на соиск. уч. степени кандидата исторических наук. Рукопись. Нижний Новгород, 2010. С. 223-237.
- Кокс Уильям // Энциклопедический словарь. Издатели Ф. А. Брокгауз и И. А. Ефрон. Т. IVa. СПб., 1891. С. 650.
- Ломоносов М. В.* Записки по русской истории. М.: Эксмо, 2007. 735 с.
- Маловичко С. И.* Историописание: научно ориентированное vs социально ориентированное // Историография источниковедения и вспомогательных исторических дисциплин. Материалы XXII Международной научной конференции (Москва, 28-30 января 2010 г.) М., 2010. С. 21-28.
- Массон Ш.* Секретные записки о России времени царствования Екатерины II и Павла I // Россия в мемуарах. М., 1996.
- Миллер Г. Ф.* Опыт новейшей истории о России // Сочинения и переводы, к пользе и увеселению служащие. СПб.: Императорская Академия наук, 1761. Январь – март. С. 3 – 63; 99-154; 195-254.
- Московское государство XV – XVII вв. по сказаниям современников-иностранцев / Сост. Н.В. Бочкарев. 2-е изд. М.: Крафт, 2000. 254 с.
- Путевые записки от Москвы до Санкт-Петербурга одного англичанина в царствование императрицы Екатерины II, заключающие в себе весьма любопытные сведения, относящиеся к России в XVIII столетии. Пер. с фр. М., 1837.
- Павленко Н. И.* Екатерина Великая // Родина. 1996. № 3. С. 53-54.
- Россия глазами иностранцев / Подгот. Ю. А. Лимонова. Л.: Лениздат, 1989. 542 с.
- Смирнова Е. И.* Тверской край конца XVIII в. глазами английского путешественника Уильяма Кокса // Книги. Библиотеки. История. Вып. 1. Тверь, 1993. С. 22-34.
- Середина Надежда Владимировна***, доктор исторических наук, профессор, зав. кафедрой Документационного обеспечения управления Тверского государственного университета; nv.sereda@yandex.ru

О. Ю. СОЛОДЯНКИНА

## ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О РУССКИХ В ПИСЬМАХ, ДНЕВНИКАХ, ВОСПОМИНАНИЯХ ДВУХ АНГЛИЙСКИХ ГУВЕРНАНТОК

---

Цель статьи – сравнить впечатления о России двух британских гувернанток, трудившихся в нашей стране с интервалом почти в сто лет (в 1730-е и 1820-е), выяснить, что было устойчиво-стереотипным в восприятии России у лиц одного профессионального круга, а что зависело от личных качеств (образовательного ценза, готовности к восприятию нового, любознательности и т.п.) самой иностранки.

**Ключевые слова:** *Россия, гувернантки, межкультурная коммуникация, стереотипы.*

---

Служба «в гувернантках» – это такой временной континуум, в котором женщины в большинстве случаев недворянского происхождения обнаруживают себя (что в других случаях нехарактерно для столь низкого статуса) в пространстве дневниковых записей, произведений эпистолярного жанра, мемуаров. Они оказывались в России в силу разных причин, имея за плечами разный жизненный опыт, что влияло на их впечатления от страны пребывания. Часть текстов – дневники, письма – писались не для «внешнего» пользования, другие же материалы издавались по возвращении на родину с целью заработать, и это также определяло специфику изложения. Нужны были яркие факты, резкие оценки, приходилось сгущать краски для полноты впечатления и что-то додумывать и прибавлять «от себя». Многое зависело от уровня подготовки гувернантки и от того, каким образом она очутилась на такой должности – «упав вниз» по статусной лестнице, или «поднявшись вверх». Если это был подъем по социальной лестнице, иностранка чувствовала себя успешной, и могла с интересом воспринимать новое русское окружение. При «обвале» вниз, в статус гувернантки, нарастали комплексы, связанные с ухудшением социального положения, и женщина негативно воспринимала все окружающее, что также отражалось в написанном ею.

Проанализируем тексты, созданные двумя британскими гувернантками, Элизабет Джастис и Клер Клермонт, работавшими в России в 1730-е и 1820-е гг. соответственно.

Англичанка Элизабет Джастис, оставленная мужем без средств к существованию, прибыла в Петербург и в 1734–37 гг. работала гувернанткой в семье английского купца, с интересом наблюдая жизнь столичного города, не владея сначала русским языком, но проявляя любознательность. Для нее это был подъем по социальной лестнице: «Мои

мысли были теперь совершенно заняты этой высокой должностью, в которую я вступала, – должностью гувернантки». Она с восторгом воспринимала свою новую должность и место работы – Петербург, позволявшие ей обеспечить определенную финансовую стабильность: «Если бы не получила письма из Англии [с просьбой] возвратиться и помочь моим собственным детям, то оставалась бы в Петербурге до сих пор»<sup>1</sup>.

Джастис видела императрицу Анну Иоанновну, цесаревну Елизавету Петровну, принцессу Анну Леопольдовну, других знатных людей в театре и давала им оценки по внешнему впечатлению: «Ее величество высока, очень крепкого сложения и держится соответственно коронованной особе. На ее лице выражение и величия, и мягкости. <...> Я имела честь дважды видеть ее величество в опере. Оба раза она была во французском платье из гладкого силезского шелка; на голове у нее был батистовый платок, а поверх – то, что называют шапочкой аспадилли из тонких кружев с вышивкой тамбуром и с бриллиантами на одной стороне»<sup>2</sup>. Со знанием мельчайших деталей туалета описаны костюмы, ткани, кружева – какого цвета, чьего производства. Подробная характеристика внешнего вида русской знати позволила ей сделать вывод, что русские «знамениты показной пышностью и парадностью. Думаю, что в этом русский двор невозможно превзойти». Но такая же страсть к показному внешнему виду характерна была и для простых русских: «Русские приобретут красивый жакет и шапку, даже если за душой у них не останется ни гроша»<sup>3</sup>. Англичанка обращала внимание на то, как различаются головные уборы замужних дам и девиц, какое носится белье, в ходу ли чулки и башмаки. По вниманию ко всем этим деталям Джастис показывала себя женщиной практического склада; даже в театре она в первую очередь отмечала, что он хорошо отапливаем восемью печами, а идущие там пьесы интересовали ее в последнюю очередь. Практицизм замечен и в том, как четко определила гувернантка предметы российского экспорта: «Товары, обычно отправляемые русскими в Англию, — это железо, пенька, поташ, сукно, меха и так далее»<sup>4</sup>.

Жизнь простых россиян казалась Джастис достойной наблюдения во всех деталях: как одеты, что едят, в каких домах живут, чем занимаются, как развлекаются. Понимание национального характера видно в коротких замечаниях: «Я заметила, что русским [простолюдинам] не приходится много тратиться на пропитание, так как они могут насы-

---

<sup>1</sup> Джастис. 1997. С. 90.

<sup>2</sup> Там же. С. 90-91.

<sup>3</sup> Там же. С. 91-92.

<sup>4</sup> Там же. С. 101.

тяться куском кислого черного хлеба с солью, луком или чесноком. Пить они любят крепчайший напиток, какой только могут достать, и если не удастся добыть его честным путем, то они крадут его, так как не в состоянии отказаться от этого пристрастия»<sup>5</sup>. Детальнейшим образом англичанка разбирала те продукты, которые потреблялись в России, и сравнивала их с английскими аналогами. Так, она характеризовала цену и качество рыбы («я видела корюшку лучшую, чем где бы то ни было в Англии»<sup>6</sup>), икры, раков («речные раки крупнее, чем когда-либо виденные мною в Англии»), телятины («есть очень хорошая телятина, однако ее мало»), говядины («говядина же исключительно хороша и дешева»), свинины, баранины («овцы у русских мелкие, но баранина вкусна и жирна. <...> У русских имеется также превосходная свинина, и они очень любят козлят, которых там множество. Их ягнята хороши»), дичи, птицы («гуси очень жилистые и хуже наших»), варианты потребления этих продуктов. По такому сравнению становилось ясно, что в Англии она сама вела хозяйство и хорошо знала цены на разные товары. Столь же хорошо она разбиралась в приготовлении блюд: «Способ приготовления пищи у русских — варка или выпечка. Они большие любители мясного бульона, который приготавливают из самого постного мяса, какое только смогут достать, и заправляют его крупой вместо овсянки, имеющей то же происхождение, а также большим количеством трав и луком. Русские часто варят суп из рыбы, пренебрегая зеленью»<sup>7</sup>.

Национальная кухня – один из тех пунктов, по которым проверяется терпимость иностранца к чужой культуре. Именно еда, как потребляемая неоднократно в течение дня, способна вызвать наибольшее удовольствие (если эта национальная кухня импонирует иностранцу), или же сильнейшее раздражение (если манера приготовления блюд не соответствует изначальным привычкам). Русская кухня редко нравится англичанам, слишком различны наши вкусовые пристрастия, но Элизабет Джастис продемонстрировала здесь удивительную житейскую мудрость, делая такое заключение: «Не могу сказать, что русская манера приготовления пищи мне нравится, но полагаю, что ни в одной части света англичанам не живется лучше, чем в Петербурге»<sup>8</sup>.

В меню англичанина традиционно представлены ягоды и фрукты (и свежие, и в виде пудинга и пирогов). Поэтому британцы, как правило, сразу же замечают их отсутствие или недостаточное качество. Джа-

---

<sup>5</sup> Там же. С. 92.

<sup>6</sup> Там же.

<sup>7</sup> Там же. С. 93.

<sup>8</sup> Там же.

стис отмечала: «Там очень мало дождя и очень скудные фрукты. Правда, много всевозможной земляники, очень хорошей; много смородины и крыжовника. Вишни мало, и она очень плохая. Имеются груши, хотя и весьма посредственные. Но есть яблоко, называемое прозрачным. Спелое, оно такое прозрачное, что сквозь него видны семечки. По вкусу оно превосходит любые яблоки, какие я когда-либо пробовала в Англии»<sup>9</sup>. Таким образом, традиционно потрясающий воображение иностранцев белый налив произвел впечатление и на британскую гувернантку.

Климат – еще один «пунктик» проверки терпимости иностранца. За исключением скандинавов, редко кто не критиковал крайности русского климата, особенно знаменитые морозы. Джастис посвятила русской зиме лишь несколько предложений самого общего свойства: «Что же до русского климата, то он чрезвычайно холоден, как вы можете себе представить»<sup>10</sup>. А вот лето и комары заставили ее быть более многословной: «Поскольку я описала вам русскую зиму, чрезвычайно холодную, то скажу и о русском лете, которое продолжается четыре месяца – май, июнь, июль и август. В июне и июле – жара жестокая. В эти два месяца особенно донимают насекомые, их русские называют комарами, а у нас в Англии они зовутся мошкой. От их укусов тело покрывается волдырями, которые воспаляются и жутко зудят. Народ обычно лечится от этого способом, состоящим в том, чтобы натирать укушенное место водкой, но у меня от этого воспаление еще более усилилось. Я использовала кислое молоко и нашла его лучшим средством»<sup>11</sup>. Даже русские грозы сравнивались с английскими: «Там часты грозы с громом и молнией, и раскаты грома гораздо громче и длятся дольше, нежели я когда-либо слышала в Англии. Молнии часто причиняют большие повреждения, что уменьшает удовольствие от лета. А потом, невыносимая жара порой вызывает гибель лесов на протяжении нескольких верст»<sup>12</sup>.

Джастис, где бы она ни находилась, все время замечала соотечественников – среди офицеров, моряков, кораблестроителей («Браун – англичанин, он имеет честь занимать несколько должностей на службе ее величества, каковые исполняет очень достойно»<sup>13</sup>). Это совершенно естественное свойство – отмечать своих соотечественников в чужой земле. Но англичанка, кроме того, сравнивала русских и иностранцев, определяла, какими качествами они обладают. Далеко не во всех случа-

---

<sup>9</sup> Там же. С. 102.

<sup>10</sup> Там же. С. 93.

<sup>11</sup> Там же. С. 101-102.

<sup>12</sup> Там же. С. 102.

<sup>13</sup> Там же. С. 103.

ях все английское было знаком лучшего качества. Джастис могла быть справедливой и объективной, признавая и за русскими определенные достоинства. Правда, первой в этом списке достоинств шла безграничная русская выносливость: «Простой [русский] человек может выдерживать большие лишения и будет жить в таких местах и на такой скудной пище, какая убила бы наших соотечественников»<sup>14</sup>. Потрясающую выносливость демонстрировали и русские женщины при родах: «Русские женщины преодолевают это недомогание гораздо легче англичанок. Я купила кое-что для одной, которая должна была вскоре родить, а ровно через неделю она сама пришла ко мне без башмаков и чулок посреди зимы и сказала, что разрешилась от бремени и чувствует себя превосходно. И это для тамошних женщин совершенно в порядке вещей»<sup>15</sup>.

Англичанка видела и некоторые преимущества в организации бытовой стороны жизни (на фоне потрясающих недостатков, как например то, что простые люди спали на скамьях и на полу скопом, не имея представления об отдельных кроватях или тем более спальнях, столь типичных для британцев). Подробнейшим образом описав печной способ отопления русских домов, Джастис указывала: «Я должна признать этот способ отопления совершенным»<sup>16</sup>. В тех же превосходных степенях англичанка оценивала праздничные иллюминации: «Все это несравненно и не может быть превзойдено»<sup>17</sup>. Ей казалось также, что в русском климате вырастают очень здоровые люди: «Например, лишь очень немногие сходят с ума или накладывают на себя руки, и я не видела ни одного горбатого, будь то мужчина, женщина или ребенок»<sup>18</sup>.

Джастис описывала сани, кареты, кибитки, удобства транспортных средств, взятую в дорогу еду, но простодушно признавалась: «Вот то, что мне рассказывали, сама я за время пребывания в этой стране не совершила ни одного путешествия»<sup>19</sup>.

При всей очевидной здравости большинства рассуждений и наблюдений Джастис, надо отметить, что были ситуации, которые она не понимала вовсе и интерпретировала неправильно. Именно к таким «не поддающимся интерпретации» эпизодам относятся сообщения о наказаниях и штрафах: «Если кто-то ворует у огня, вы можете столкнуть его в огонь, ничего более не предпринимая. А если кто-то берет слуг и держит

---

<sup>14</sup> Там же. С. 94.

<sup>15</sup> Там же. С. 98.

<sup>16</sup> Там же. С. 95.

<sup>17</sup> Там же. С. 96.

<sup>18</sup> Там же. С. 99.

<sup>19</sup> Там же. С. 95.

в доме дольше двух дней, не зарегистрировав в полиции, то обязан заплатить такой штраф, какой сочтет уместным начальник полиции. Если слуги виновны в каких-то проступках, вы можете послать за офицером, дабы тот наказал их – высек плеткой-девятихвосткой по спине до крови. Но такое наказание считается у русских пустячным, и ему не придают никакого значения. Ибо они тотчас же натирают спину водкой, и если это делать часто, спина становится столь твердой, что во время наказания они смеются»<sup>20</sup>. К сожалению, невозможно узнать, кто поведал англичанке о таком способе «затвердевания» кожи спины и где она видела смеющихся во время порки простолюдинов. Это действительно сложный вопрос, ведь с «внутренней стороны» повседневной жизни русских эта гувернантка, поскольку жила в семье соотечественника, так и не смогла познакомиться: ее так интересовали обряды, а она не была ни на крестинах, ни на свадьбе. С похоронами она столкнулась только через два года жизни в Петербурге, и этот ритуал вызвал у нее наибольшее недоумение: «Подойдя узнать, что это такое, обнаружила, что это многочисленные факелы: их среди бела дня несли перед телом. Я сочла это в высшей степени абсурдным. Но человек, в чьем обществе я была, рассказал мне, что русские кладут в гроб, а это еще более абсурдно; туда кладут пару башмаков, несколько свечей и пропуск. Последний – чтобы покойника впустили, но я не знаю, куда. Полагаю, русские считают, будто существует несколько степеней счастья, ибо такой пропуск можно купить в лавке или на рынке, и его действительность зависит от цены»<sup>21</sup>. «Абсурдно» – это одна из наиболее резких оценок в тексте Джастис.

Совершенно другие возможности узнать жизнь русских были у тех гувернеров и гувернанток, что трудились в русских семьях. Но такая «погруженность» в жизнь дома не всегда оказывалась приятной, а знание особенностей домашней жизни во многих случаях не добавляло позитива в восприятии русских.

Показательна реакция Дж. К. Клермонт, служившей гувернанткой в 1823–1831 гг. Джейн Клер Клермонт (Claire Clairmont) (1798–1879) – падчерица Уильяма Годвина, английского философа и писателя, который после смерти первой жены, Мэри Уолстонкрафт, женился на матери Клер. Сводной сестрой Клер стала Мэри Годвин, впоследствии известная как писательница Мэри Шелли. Перси Биши Шелли, муж Мэри, также стал близким и любимым другом Клер. Сама Клер сошлась с Ч. Байроном, и в 1817 г. у нее от Байрона родилась дочь Аллегра (1817–

---

<sup>20</sup> Там же. С. 100.

<sup>21</sup> Там же. С. 99.

1822). Связь с Байроном была недолгой, ребенок, отобранный отцом у Клер, через несколько лет умер, а сама она, из-за стесненных денежных обстоятельств, вынуждена была трудиться гувернанткой в русских аристократических семьях в 1823–1831 г. После нервной борьбы с Байроном за дочь, закончившейся в итоге поражением Клер и смертью малышки, Россия была тем местом, где никто ее не знал, и можно было начать жизнь с чистого листа, попытавшись скопить денег на будущую скромную жизнь в Италии: «Я отправилась в Россию, потому что я надеялась забыть посещения моей темной и изменчивой судьбы, гибельные преследования, казавшиеся неотделимыми от моего имени»<sup>22</sup>.

Еще с 1821 г. во Флоренции Клер начала знакомиться со многими русскими, будучи принята в доме графов Бутурлиных, центре «русского кружка» Флоренции. Но она и представить не могла тогда, что проведет среди русских несколько лет. В феврале 1823 г. Клермонт заключила соглашение с графиней Зотовой и 22 марта покинула Вену, сопровождая графиню и двух ее дочерей. Так началась карьера гувернантки мисс Клермонт в России. Здесь она пробыла до 1826 г., когда вместе с семьей Кайсаровых, где она воспитывала дочь Наташу, отбыла в Дрезден и уже в Россию не возвращалась. Ее впечатления о России и русских отразились в дневниках и письмах, адресованных Мэри Шелли и приятельнице Джейн Уильямс. Клер была хорошо образованной, начитанной особой с достаточно свободными взглядами и незашоренным умом. Она пожила в Швейцарии, Италии, Австрии, прежде чем оказалась в России. Конечно, она тщательно скрывала своё происхождение и прошлое, ведь никто бы не доверил своих дочерей девушке из круга таких страшных вольнодумцев, как Годвин, и безнравственных типов, как Шелли и Байрон. Клер знала несколько языков, была музыкально одарена, не чужда литературных талантов, и ее зарисовки московского быта, рассуждения о детях и их воспитании, о русских вообще, подробная запись ежедневной рутины английской гувернантки – интереснейший источник.

Конечно, она считала, что попала в страну медведей, как тогда воспринималась Россия: «Я предпочитаю мою ледяную пещеру и моих медведей здесь»<sup>23</sup>. Достойными внимания в России ей представлялись только иностранцы. 27 октября 1825 г. она писала Джейн Уильямс: «Недавно я познакомилась с одним немецким джентльменом, который составляет для меня великое прибежище. В такой стране, как Россия, где я могу встречаться только с малообразованными людьми, развитой ум состав-

<sup>22</sup> The Journals of Claire Clairmont. P. 437.

<sup>23</sup> Clairmont to Jane Williams. 11.09.1824 // The Clairmont correspondence. P. 211.



ляет для меня величайшее сокровище. Его общество напоминает мне наш прежний кружок, потому что он является хорошим знатоком древней и новых литератур и имеет широкий кругозор и благородный образ мыслей. Ты можешь представить себе, с каким восторгом он обрёл меня здесь, столь отличную от всех его окружающих и способную понять то, что так долго теснилось в его уме как сокровища слишком драгоценные, чтобы их стоило расточать на необработанной русской почве»<sup>24</sup>.

С позиций ярко выраженного этноцентризма Клер описывала русских: «В России я, пока еще, не встретила ни с одним выдающимся характером – все безнадежно вульгарные. <...> С русскими я никогда не связываюсь, и меня считают неизлечимой гордячкой». Но именно в «варварстве» русских и была для нее особая привлекательность – работать гувернанткой (раз уж выпала такая незавидная участь) именно в этой стране: «Одна вещь заставляет меня предпочесть Россию Англии, если уж я должна быть гувернанткой. Здесь они (русские родители. – О. С.) настолько неосведомлены и вульгарны, что, по крайней мере, я могу сказать, что мне нравится, в то время как, в Англии, я должна была бы руководствоваться их мнением, а не своим собственным»<sup>25</sup>.

Бесчисленная бесправная дворня привлекла внимание англичанки, выросшей в стране с давним уважением к человеческой личности: «Многочисленная армия рабов – бедные несчастные существа, почти как скоты, которые слоняются по дому, воруют при каждой возможности, и их постоянно секут; единственные существа, которых не секут в российском доме, – сами хозяин и хозяйка, а также иностранцы, а всем остальным при малейшей ошибке угрожают поркой, и то же самое относится к детям»<sup>26</sup>. Клермонт отмечала это привилегированное положение иностранцев среди прочей обслуги барского дома: их не секут. Но эта привилегия была весьма относительной. В дневниках Клер приводит эпизод, случившийся с графиней Толстой. Та подбирала наставника для сына, и когда английский джентльмен представился ей, то первый вопрос, с которым она обратилась к нему, был: «Я надеюсь, сэр, Вы не пьёте». Англичанин отказался иметь дальнейшие сношения с леди, которая могла задать такой вопрос<sup>27</sup>. Для Клермонт реакция воспитателя была естественной, а графиня Толстая выражала большое негодование по поводу удивительной наглости этого человека, ведь он был из категории «обслуги» и понятие человеческого достоинства на него не распространялось.

<sup>24</sup> Clairmont to Jane Williams. 27.10.1825 // Ibid. P.230.

<sup>25</sup> Clairmont to Jane Williams. 11.09.1824 // Ibid. P.212.

<sup>26</sup> Ibidem.

<sup>27</sup> The Journals of Claire Clairmont. P. 312.

Интересно, что при столь низкой оценке русских Клермонт отдала именно им пальму первенства в сравнении с австрийцами, поскольку у русских больше живости, больше мягкости, никакого формализма, и они гораздо менее глупые. И главный аргумент в пользу русских – некоторое сходство с англичанами: «У них были бы английские качества, если бы не мода подражать французам, даже в малейших чувствах. Они полностью пренебрегают своей собственной Литературой, хотя особенно их поэзия очень красивая. Вся их умственная пища поставляется из Парижа. Либеральные книги и труды философов запрещаются, и каждый день получаешь вместо книг – мусор. Это – главная причина российской ошибочности, и деградации в нравах, которая не естественна на их стадии развития цивилизации. Если, как я часто говорю им, они согласились бы быть просто русскими, то, притом что нельзя было бы любить их грубость, все же нельзя было бы не признать ее как средство. При их дикости, их природная сила имела бы вид достоинства»<sup>28</sup>.

Клер занималась воспитанием девочек в семье сначала графини Зотовой, затем Посниковых, и так оценила принятую в среде российского дворянства воспитательную методу: «У меня с русскими прямо противоположные цели – они тянут в одну сторону, а я в другую. Они обучают ребенка, формируя его внешние проявления, а это, фактически, ничто, образование, пригодное разве что для обезьян, это – просто система подражания; а я хочу, чтобы внутреннее работало на внешнее; то есть чтобы моя ученица была настолько свободна, насколько это возможно, и чтобы ее собственное соображение подсказывало бы ей, как действовать»<sup>29</sup>. В силу разницы во взглядах на воспитание, Клер не так выполняла свои гувернантские функции, как было нужно русским родителям. В 1825 г. она жаловалась Мэри Шелли, как трудно выстроить доброжелательные отношения с русскими: «Если Вы не вмешиваетесь в жизнь воспитанницы ежеминутно, запрещая ей наиболее невинные вещи; если Вы не распрямляете ее плечи, не укрепляете шею по сто раз в час, Вас на весь город ославят как самую небрежную и невыносимую гувернантку, и вот именно такой считают меня!»<sup>30</sup> Клермонт считала, что нужно развивать внутренний мир девочки, а внешние формы – лишь обезьянничанье, и не сходилась в этом вопросе с матерью своей ученицы, М. И. Посниковой. А поскольку Клер не желала в вопросах воспитания руководствоваться ничьими мнениями, кроме собственного, она была обречена оказываться в ситуации непонимания и вечных спо-

<sup>28</sup> Clairmont to Jane Williams. 11.09.1824 // The Clairmont correspondence. P. 212.

<sup>29</sup> Claire Clairmont to Mary Shelly. 29. 04. 1825 // Ibid. P. 215.

<sup>30</sup> Ibidem.

ров: «Беседа Московских леди такая же, как у жен двух владельцев магазинов в провинциальном городке: первый вопрос, после обсуждения городских скандалов, это довольны ли они своей гувернанткой? Они никогда не ответят утвердительно, и Вы услышите целый список обид, нанесённых несчастными гувернантками, так что можно подумать, что это рой саранчи, которая прибыла, чтобы обосноваться, на некую несчастную территорию, и изничтожила последние остатки изобилия – гувернантки настолько капризны, настолько дерзки, они поедают и выпивают все, что только найдут в доме; они загоняют лошадей до смерти, они ломают всю мебель, и докторские счета на них самые дорогие, и у каждой гувернантки не меньше тысячи любовников». Клер называла все эти домыслы «ужасной клеветой на несчастных гувернанток»<sup>31</sup>.

Еще одна причина жалоб – перлюстрация писем, характерная особенность российской жизни. Клер не могла писать свободно, зная, что ее письмо подруге будет читать по долгу службы кто-то еще. Боясь цензуры, она жестко контролировала тексты своих писем и, хотя, судя по дневниковым записям, была в курсе событий, связанных с междуцарствием и восстанием декабристов, позволила себе выплеск эмоций только в письме, переданном через соотечественников, минуя почтовую службу: «Наш политический горизонт был очень бурным; не было никакого конца паническому террору, который правил бал в течение шести месяцев. Арестам и тюремному заключению подвергся цвет российской молодежи; выкосили всех, кто имел таланты и выделялся на фоне остальных; остались худшие»<sup>32</sup>. Если бы такой текст стал известен ведомству Бенкендорфа, Клермонт ждало бы повторение участи, постигшей ее в Вене: оттуда ее выслали как подозрительную особу. Наученная печальным «венским опытом», Клер не рисковала в Москве, понимая, что и для хозяев часто пишущая гувернантка была подозрительной, поскольку это «не может быть для развлечения, потому что они сами не находят удовольствия в этом; поэтому это должно быть для чего-то вредного»<sup>33</sup>.

Клер сравнивала российские климат, флору и фауну, переменчивость погоды с тем, что она привыкла видеть особенно в милой ее сердцу Италии. Ее, привыкшую к относительно теплым зимам, особенно угнетала продолжительность зимы. 16 мая 1825 г. она писала подруге: «Снег наконец-то растаял, но холодные пронизывающие ветра вернули, если не саму зиму, то по крайней мере ощущение Зимы»<sup>34</sup>.

---

<sup>31</sup> Ibid. P. 216-217.

<sup>32</sup> Claire Clairmont to Mary Shelly. 14. 05. 1826 // Ibid. P. 236.

<sup>33</sup> Claire Clairmont to Mary Shelly. 29. 04. 1825 // Ibid. P. 215.

<sup>34</sup> Claire Clairmont to Jane Williams. 16.05.1825 // Ibid. P. 224.

Вид города, планировка улиц, качество дорог также были предметом внимания Клер, так как, давая уроки английского в разных дворянских семьях, ей пришлось много ходить пешком, и она узнала Москву с «изнанки». Обширность Москвы и плохие дороги, не позволявшие совершать прогулки, редкая растительность, почти отсутствующие цветы (после нескольких лет жизни в Италии это было особенно заметно), минимум фруктов (за исключением яблок, груш и редких вишен) также были предметом жалоб. Для всех остальных плодов нужны были оранжереи, и фрукты превращались в несбыточную мечту. Если тебе дадут 10 или 12 вишенок, надо радоваться, – горестно восклицала Клер, вспоминая итальянское изобилие. Кроме того, ее мучили насекомые, из-за которых она не могла спать нормально: «Целые полчища черных тараканов, клопов и ухверток, которые роятся в каждом российском доме <...> нигде еще я не спала так мало. Я не замечаю ничего, кроме этих неприятных животных, ползающих весь день, и мне уже мерещится, будто моя кровать вся покрыта полчищами черных насекомых»<sup>35</sup>.

Организация российского дома (загородного и московского, с удаленной кухней, отсутствием стабильных спальных мест, когда хозяева могли спать то в кабинете, то в гостиной, то еще где-то; путающимися под ногами бесчисленными слугами, раскладывающими свои матрасы-подушки на полу вблизи хозяйских кроватей) и стиль поведения в нем вызывала недоумение у воспитанной в уважении к ‘privacy’ англичанки. Русские готовы ссориться бесконечно, ведь для них это так же нормально, как есть хлеб, но британка, приученная к тихому образу жизни, делалась больной от этих постоянных свар. Молчать в ответ на упреки не получалось, потому что это молчание, «которое в других странах было бы признаком вашей образованности» и обеспечивало вам уважение, здесь воспринимается как раболепное молчание, и на вас смотрят как на раба, не осмеливающегося возражать. «знаком вашего достоинства здесь является то, что Вы смеете обсуждать и бранить хозяев»<sup>36</sup>.

Информационный голод также был для Клер характерной чертой России: «Одна из самых ненавистных вещей в этой неприятной стране, это невозможность достать книги или ноты, или газеты. Все эти вещи, столь обычные в других странах, где они доступны каждому классу общества, здесь превращаются в предмет роскоши только для богатых»<sup>37</sup>. Характерно обилие негативных эпитетов: ненавистный, неприятный...

<sup>35</sup> Claire Clairmont to Jane Williams. 29.04.1825 // Ibid. P. 222.

<sup>36</sup> Clairmont to Jane Williams. 20.06.1825 // Ibid. P. 227.

<sup>37</sup> Ibid. P. 225.

Ее душили эмоции, и процесс обучения тоже приобретал негативные оттенки: «Все, что я пытаюсь, это вжаться в угол, чтобы избежать оглуляющего состояния моих ушей, из-за криков и выговоров, которые сопровождают каждый урок. Затем – еще хуже, чем дети – их матери и няни, которые окружают их. Их грубые, вульгарные манеры годны только для того, чтобы сформировать варваров по своему подобию; и российские дети так приучены к угрозам и порке, что это напоминает больше исправительный дом, чем что-либо еще. Я стойко сопротивляюсь всему этому, но с ужасающими потерями духа. Это утомляет до последней степени, ведь в каждое усилие, в каждый шаг примешиваются невежество и предубеждения, а самое печальное, что если бы не это вмешательство, если бы детьми занимались иначе, они были бы не предметом мучения, а маленькими приятными существами, достойными восхищения»<sup>38</sup>.

Оценивая опыт своей гувернерской работы в России, Клер употребляла применительно к профессии гувернантки слово «рабство»<sup>39</sup>: «Никто лучше меня не знает, что значит ежедневно подниматься по чужим ступеням и чувствовать с каждым шагом, что тебя ждёт одинокая комната и лица, проникнутые странным равнодушием. Мир закрылся для меня в молчании. Прошло уже четыре года, которые я провела среди чужих. Голоса, которые звучали мне в юности, лица, которые окружали меня, теперь почти забыты, и невозможность вспомнить их усугубляет то, что я чувствую»<sup>40</sup>. Она так оценивала свои перспективы, когда, скопив некоторую сумму денег, вновь обретёт свободу: «Лучшие годы моей жизни приносятся здесь в жертву, а независимость будет получена только когда из-за рабства деградирует мой ум и от долгого страдания ослабнут всякие чувства и таким образом я потеряю способность наслаждаться обретенной свободой»<sup>41</sup>. От таких размышлений и восприятие России приобретало отрицательные черты. Да, заметки Клер Клермонт полны точных деталей, описания московских дорог и погоды, нравов большого помещичьего дома, гостей, хозяев – и все это написано наблюдательной, умной и крайне негативно по отношению к русским настроенной женщиной. Ни один «прокол» в организации жизни русского дома не ускользал от ее беспощадного взора. Все слова, заметки, суждения, комментарии русских хозяев и их гостей четко отслеживались и разбирались на страницах дневника. При этом учить русский

---

<sup>38</sup> Ibid. P.225.

<sup>39</sup> Claire Clairmont to Mary Shelly. 2. 05. 1826 // Ibid. P. 234.

<sup>40</sup> The Journals of Claire Clairmont. P.411.

<sup>41</sup> Clairmont to Mary Shelly. 2. 05. 1826 // The Clairmont correspondence. P. 234.

язык Клер не считала нужным. Из-за изначально негативного отношения к стране и русским пребывание в России для английской гувернантки оказывалось бесконечно тягостным, а выход для негативных эмоций она находила на страницах дневника и иногда – в письмах, которые отправляла не с почтой, а личной оказией.

Приезжающие в Россию иностранки буквально «на ощупь» выстраивали модели своего поведения в инокультурном обществе – этноцентричного, как у К. Клермонт, либо полного энтузиазма и любознательного интереса, как у Э. Джастис. Кто из них больше узнал о русских, их обычаях и особенностях – настроенная с предубеждением к русским, уверенная в полном превосходстве англичан Клермонт или толерантная, готовая бесконечно сравнивать русских и англичан (и видеть те ситуации, где русские выглядели лучше) Джастис? Сопоставляя тексты двух дам, сразу и не ответишь, каким взглядом – критическим или любознательным – лучше видит человек. И острый глаз мизантропки Клермонт, и жизнерадостный подход практичной Джастис создают обширную картину жизни русских, полную всевозможных деталей и наблюдений. Однозначно можно сказать лишь, что вечно всем недовольная Клермонт ощущала себя в Москве бесконечно несчастной рабыней, а интересующаяся любыми деталями Джастис чувствовала себя в Петербурге замечательно. И это уже урок вневременного свойства.

Итак, одним из источников стереотипных представлений о России и русских стали дневники, письма и воспоминания иностранных гувернанток. Но, с другой стороны, еще в большей мере – это источники о самих иностранках, создавших их. Тексты показывают, что было для них странным, что вызывало интерес, а что оставалось безразличным, и в итоге возникает образ самих гувернанток-англичанок.

### БИБЛИОГРАФИЯ

*Джастис Элизабет*. Три года в Петербурге / Пер. с англ. // Беспятых Ю.Н. Петербург Анны Иоанновны в иностранных описаниях. Введение. Тексты. Комментарии. СПб.: «Блиц», 1997. С. 87-110.

The Clairmont correspondence: letters of Claire Clairmont, Charles Clairmont, and Fanny Imlay Godwin / ed. by Marion Kingston Stocking. Vol.1. 1808-1834. Baltimore & London: The John Hopkins University Press, 1995. 316 p.

The Journals of Claire Clairmont 1814-1827. Ed. by Marion Kingston Stocking. Cambridge: Harvard University Press, 1968. 571 p.

**Солодянкина Ольга Юрьевна**, доктор исторических наук, профессор Череповецкого государственного университета; [olga\\_solodiankin@mail.ru](mailto:olga_solodiankin@mail.ru)

В. В. ПРИЛУЦКИЙ

## ИДЕИ НАТИВИЗМА В США В 1830-1850-е ГОДЫ

---

В статье рассмотрен нативизм в США накануне Гражданской войны. Понятие «нативизм» использовалось для различения урожденных американцев и новых иммигрантов «первого поколения». Он был также связан с антикатолицизмом, который приобрел для американцев особую остроту в связи с войнами с Францией, Испанией, существованием «папской угрозы» для Нового Света и достиг пика в 1830–1850-е гг. на фоне усиливавшихся дебатов по вопросу о рабстве.

**Ключевые слова:** нативизм, антикатолические настроения, ксенофобия, заговоры, политическая борьба, Американская партия.

---

Возникновение нативизма (native – «коренной», «уроженец»), североамериканского национализма, характеризовавшегося неприязненным отношением к католикам и иммигрантам, связано с историческим антагонизмом между протестантами и католиками, начиная с религиозных конфликтов XVI–XVII вв. в Европе. Причинами усиления антикатолических и антииммигрантских настроений явились сложные экономические, культурные и социальные трансформации, которые переживала Америка в первой половине XIX в. Промышленный переворот и транспортная революция (строительство каналов, железных дорог, новых портов) нарушали привычный уклад жизни и способствовали притоку иммигрантов-рабочих. Из преимущественно фермерской, патриархальной, аграрной страны США превращались в индустриальную, урбанизированную, бурно развивавшуюся державу<sup>1</sup>. Происходила болезненная смена ценностей. Большие группы населения с трудом приспосабливались к изменениям, искали врагов – виновников общественных проблем. Эти настроения выразились в деятельности нативистских организаций. Наибольшего успеха из них достигла в середине 1850-х гг. Американская партия (ее члены были прозваны «ничего не знающими»). В условиях кризиса и краха двухпартийной системы «ничего не знающие» заняли место распавшихся вигов и претендовали на статус второй партии и ведущей политической силы, противостоявшей демократам.

Нативисты полагали, что в стране проживают «пять миллионов папистов, четыре с половиной миллиона рожденных за границей, четыре миллиона говорящих на иностранных языках»; «все они воспитывались с раннего детства в ненависти к протестантизму». Кроме того, сле-

---

<sup>1</sup> Hofstadter. 1955. P. 37–38.

дует учитывать восемь миллионов людей, «не имеющих англосаксонской крови». Таким образом, по оценке националистов численность «чуждых элементов» составляла не менее трети населения США<sup>2</sup>.

Действительно, в первой половине XIX в. в США наблюдался быстрый рост численности представителей этноконфессиональных меньшинств. В 1820–1860 гг. там поселились пять миллионов иностранцев<sup>3</sup>. Это было связано с тем, что Европа в то время переживала революционные потрясения, экономический кризис и неурожаи, приведшие в Ирландии к «Великому голоду»<sup>4</sup>. Северные штаты стали районами массовой иммиграции ирландцев. В Калифорнии и на других территориях Запада обосновались китайцы, чилийцы и мексиканцы. В некоторых городах иммигранты стали численно превосходить местных уроженцев. При этом американские католики составляли не менее 10–15% населения. В Филадельфии и Нью-Йорке более трети жителей относились к Римской церкви. Признанным центром американского католицизма была долина реки Миссисипи, особенно ее северная часть с г. Сент-Луис<sup>5</sup>.

Наплыв «иноверцев» вызывал неприятие англосаксов-протестантов, составлявших большинство населения США. Среди обывателей стали распространяться представления об иностранном или католическом «заговоре» с целью захвата власти в «протестантской республике». Нативисты спекулировали на религиозных предрассудках и страхах коренных граждан, опасавшихся конкуренции дешевого труда иммигрантов. Они требовали, чтобы на работу принимали только «истинных» американцев<sup>6</sup>. Раздражала и естественная тенденция к обособлению этноконфессиональных общин, оказавшихся в чужеродной, подчас враждебной среде мегаполисов. В появлении замкнутых сообществ, землячеств, «кланов» усматривали доказательство преднамеренного сопротивления иммигрантов «американизации», пренебрежения с их стороны американскими традициями<sup>7</sup>. Крайние протестанты-оранжисты видели всюду козни Святого Престола и подрывной революционной организации «Молодая Ирландия». Они заявляли о том, что в стране идет великая борьба добра со злом, света и тьмы, «благословенного и проклятого», «неба и ада». Над «свободной, протестантской Америкой» нависла угроза гибели. «Иезуитские эмиссары покрыли сеть колледжей и монастырей все штаты. Ка-

---

<sup>2</sup> Carroll. 1856. P. 342; Brownlow. 1856. P. 58–59; Busey. 1856. P. 89.

<sup>3</sup> Foreign Immigration...

<sup>4</sup> Brown. 1871; Lathrop. 1894.

<sup>5</sup> McGlynn. 1887.

<sup>6</sup> Haynes. 1896. P. 83.

<sup>7</sup> Leonard, Parmet. 1971. P. 8, 54–57.



бинет, Верховный суд, чиновники, иностранные миссии и посольства, офисы государственной службы, финансовые институты, почтовое ведомство страны – все, все поражено этой чумой!». «Америка без ее Библии, ее воскресной школы, без Бога ...перестанет быть Америкой!»<sup>8</sup>.

Экстремисты хотели выслать из страны всех иммигрантов и католиков. Их главные лозунги – «Америкой должны управлять американцы» и «Наша страна, вся наша земля и ничего кроме нее!». Один из нативистов писал: «Америка для американцев. А почему бы и нет? Существует ли еще под солнцем какое-либо иное государство, кроме нашего, в котором родившимся за границей позволяют занимать наиболее ответственные должности? При этом возлагают на них самые сокровенные надежды, чаяния, заветные упования страны, доверяют руководить ее внешней политикой?.. Америка для американцев, говорим мы. А разве не они создали ее, сражались за нее во время кровавой революции, превратили в державу, более мощную, чем старейшие империи на земле? Америка для американцев! Чтобы владеть ею и управлять, сохранить величие, творить, сделать страну еще более сильной и свободной. Для того чтобы избавиться от внутренних врагов, иностранных демагогов и иерархов...». «Недаром Т. Джефферсон жаждал появления «огненного океана, который отделил бы Америку от Европы, новый мир от старого». «Мы все время – днем и ночью – должны быть на страже... Постоянная бдительность есть цена свободы!»<sup>9</sup>.

О популярности подобных настроений свидетельствует факт участия многих известных граждан США в движении националистов. Так, одним из идеологов нативизма в 1830-е гг. был профессор скульптуры и живописи Нью-Йоркского университета, изобретатель телеграфа Сэмюэль Ф. Морзе (1791–1872)<sup>10</sup>. Другим прославленным нативистом являлся президент теологической семинарии в Цинциннати Лайман Бичер (1775–1863), отец знаменитой писательницы-противницы рабства. Морзе и Бичер называли радикалов «патриотами», отстаивали «право урожденного американца на свободу». Они считали, что в заговор против демократии вовлечены не только католические епископы долины Миссисипи, но и европейские монархические государства, а также лично реакционный канцлер Австрии Меттерних и русский царь Николай I.

В книге «Иностранные заговоры против свобод Соединенных Штатов» (1834–1835) Морзе указывал на «неминуемые опасности для свободных учреждений США», исходящие от «иммиграции, иностран-

<sup>8</sup> Carroll. P. 24.

<sup>9</sup> America for Americans... P. 40–43.

<sup>10</sup> См.: Prime. 1875.

ных денег» и распространения влияния католицизма: «Папство – это политическая система, деспотическая по своей организации, антидемократическая и антиреспубликанская, поэтому оно не может сосуществовать с американским республиканизмом». Он призывал к объединению всех американских протестантов в политический «Антипапский союз»<sup>11</sup>. В 1835 г. Бичер издал речь «Заявление для Запада». Он также произнес и опубликовал несколько антикатолических проповедей. Знаменитый пресвитерианский священник писал об опасностях, связанных с неконтролируемой иммиграцией: миллионы бедняков-католиков, могут оказаться послушным политическим инструментом для аристократических дворов Вены, Рима и Парижа<sup>12</sup>.

Ультра-протестанты не брезговали фальсификацией. В 1835–36 гг. в свет вышли в двух частях «Ужасные открытия» монахини Марии, якобы сделанные ею в одном из монастырей Монреаля, а также признания Ребекки Терезы Рид. В этих произведениях говорилось о преступном, безнравственном поведении католических священников, монахинь, об убийствах ими незаконнорожденных детей<sup>13</sup>. Фальшивки имели небывалый успех. К началу Гражданской войны было продано более трехсот тысяч экземпляров только одной книги Марии – огромный по тем временам тираж. Ее откровения имели исключительное значение в организованном экстремистами «крестовом походе» против католиков. По свидетельству современников эффект этой книги в деле развенчания католицизма был сравним с воздействием романа «Хижина дяди Тома» (1851–1852 гг.) Гарриет Бичер-Стоу в вопросе о рабстве.

На рабовладельческом Юге, в отличие от Севера, нативизм пользовался слабым влиянием, поскольку основной поток иммиграции направлялся в индустриальные центры и на свободные, пригодные для фермерства земли северных штатов. Можно выделить три волны нативистского движения: 1) 1830-е гг. – возникновение первых тайных организаций, публикация антикатолических книг и периодических изданий; 2) 1840-е гг. – национализм получает массовую поддержку, происходят вооруженные столкновения на этноконфессиональной почве, создаются локальные партии, которые приобретают успех на местных выборах в ряде штатов; 3) 1850-е гг. – нативизм выходит на федеральный уровень, создается мощная общенациональная политическая организация «ничего не знающих». Зарождавшиеся организации нативистов были тайны-

<sup>11</sup> *Morse*. 1835. P. 117–118. Репринты этой книги осуществлялись в Америке неоднократно – в частности, в 2007 и 2009 гг.

<sup>12</sup> *Beecher*. 1835. P. 50–53, 113–115.

<sup>13</sup> См.: *Awful disclosures...*; *Maria Monk and the nunnery...*; *Six Months...*

ми обществами, созданными по типу масонских орденов и лож, или консервативными протестантскими ассоциациями. В их создании принимали участие не только представители среднего класса, протестантского духовенства, но и рабочие. Примерами первых групп нативистов являются: «Нью-йоркская протестантская ассоциация» (1831 г.), «Американская партия» (1835 г.), «Сыновья 1776 года», «Нативистская Американская ассоциация» (1837 г.), «Американская республиканская партия» (1843 г.), «Орден объединенных американцев» (1844 г.), «Орден объединенных американских механиков» (1845 г.). Эти организации сумели спровоцировать уличные волнения на религиозной почве.

В августе 1834 г. полсотни фанатиков собрались возле монастырской школы урсулинок в Бостоне и сожгли ее. Преступление заблаговременно и тщательно готовилось. В качестве предлога для акции называлось освобождение девушки, якобы незаконно удерживаемой в монастырских стенах<sup>14</sup>. Католики не оставались в долгу, также проявляя агрессию. В мае 1832 г., придя на собрание нью-йоркской протестантской ассоциации, они спровоцировали религиозные дискуссии и столкновения. В 1834 г. группа католиков напала на баптистского проповедника в Балтиморе. В мае и июле 1844 г. в Филадельфии произошли вооруженные столкновения между католиками и протестантами. Были подожжены десятки домов, разрушены общественные здания. Правительственным войскам пришлось «расчищать улицы» Филадельфии при помощи сабель, прикладов и штыков. В результате кровавых инцидентов погибли около тридцати и были ранены несколько сотен человек<sup>15</sup>.

Большинство же нативистов были настроены на мирную политическую борьбу. Основным вопросом дискуссий являлась школьная реформа в штатах, ущемлявшая права католиков. На муниципальных выборах 1841 и 1843–44 гг. в Нью-Йорке нативисты впервые пришли к власти, сумев нанести сокрушительное поражение старым партиям вигов и демократов<sup>16</sup>. Политическая программа нативизма – «протестантский республиканизм» – включала следующие пункты: 1) борьба с иммиграцией (ее законодательное ограничение; затруднение натурализации иностранцев, продление срока получения ими американского гражданства с 5 до 14, 21 или даже 25 лет; высылка из страны всех нищих и бродяг некоренной национальности); 2) противодействие католикам и католицизму (борьба с политическим и религиозным влиянием Римской церкви и папы; запрещение католикам – «чужестранцам» занимать го-

<sup>14</sup> Burning of the Charlestown Convent...

<sup>15</sup> The Philadelphia Riots...

<sup>16</sup> The Legislatures of the Present Year... P. 47–48.

сударственные посты; применение в образовательном процессе только протестантского варианта Библии); 3) проведение санации общества при опоре на «здоровые силы» в американской нации (борьба с преступностью, защита правопорядка внутри страны; введение ограничений на продажу спиртных напитков – «ликерного» или «сухого» закона); 4) осуществление внешней политики, военных акций только исходя из национальных интересов, а не под влиянием других держав<sup>17</sup>.

Идеалом нативистов можно считать «протестантскую республику только для урожденных американцев». Ее фундаментом должна была стать единая политическая нация, связанная общими республиканско-демократическими и религиозно-нравственными ценностями. Объединяющими факторами были английский язык и американская культура<sup>18</sup>. Интересно, что дети и внуки иммигрантов, родившиеся в США, как правило, ничем не отличались от коренных американцев. Они иногда даже сами принимали участие в националистическом движении. Другое дело – недавно приехавшие иммигранты с иными поведенческими стереотипами, семейными ценностями, другой психологией, своей религией<sup>19</sup>.

Основным вопросом дискуссий являлась школьная реформа в штатах, ущемлявшая права католиков<sup>20</sup>. Демократы не поддержали ее, пытаясь получить голоса некоренных американцев и католического меньшинства, но в результате потерпели поражение. Виги же утверждали, что большинство избирателей на выборах выступили против «заговора» коррумпированных демократов с «папистами» и натурализованными иностранцами с целью удержания власти<sup>21</sup>. Демократы вначале недооценили нативизм, считая его неким «экзотическим растением, чуждым свободной земли». Они считали, что национализм возможен только в Старом Свете, в Америке же он входит в противоречие с демократическими принципами, заложенными в Декларации независимости, и традиционной религиозной свободой. Однако на муниципальных выборах

---

<sup>17</sup> National Unity...; Billington. 1938. P. 53–55.

<sup>18</sup> Еще в середине XVIII в. Бенджамин Франклин требовал полной ассимиляции германоязычных граждан Пенсильвании, составлявших треть населения штата (см.: Грин. 2001. С. 33–35). С тех пор борьба с двуязычием и «чужеродной» культурой стала важнейшей задачей американских нативистов.

<sup>19</sup> В качестве примера различий можно привести склонность ирландцев, баварцев, австрийцев, скандинавов, итальянцев к употреблению алкогольных напитков в выходные и праздничные дни. Эта привычка, ставшая частью национальной культуры некоторых европейских народов, вызывала негодование верующих американских протестантов, что нашло отражение в документах той эпохи.

<sup>20</sup> Bible in the Public Schools. P. 244–249.

<sup>21</sup> The Mystery of Iniquity...

1841 г. и 1843–44 гг. в Нью-Йорке нативисты, объединившиеся в Американскую республиканскую партию, впервые пришли к власти, нанеся поражение старым партиям вигов и демократов<sup>22</sup>. Нативисты получили подавляющее большинство мест в городском совете, а их лидер протестантский публицист Дж. Харпер стал мэром Нью-Йорк-Сити. Из четырех избранных в 1844 г. конгрессменов от штата только один не был «американским республиканцем»<sup>23</sup>. Вступив в союз с вигами, нативисты временно установили контроль над политической жизнью Нью-Йорка. В Филадельфии Американская нативистская партия усилила позиции на октябрьских выборах 1844 г. в городские органы власти. Ее поддержали правые виги. Но вскоре ее влияние пошло на спад.

Доминирование нативистов в Нью-Йорке также имело кратковременный характер. Рубежом стали кровавые филадельфийских эксцессы. Волнения, связанные с попытками погрома католиков, имели место и в других городах Северо-Востока в 1844–45 гг. После них многие ранее националистически настроенные демократы и виги, опасаясь подобного в родном городе, перестали поддерживать нативистское движение. Избиратели испугались и предпочитали на выборах голосовать за антинативистских кандидатов, преимущественно из числа демократов<sup>24</sup>.

В 1844–45 гг. на волне антикатолических бунтов возникли несколько тайных нативистских орденов. В декабре 1844 г. в г. Нью-Йорке появился «Орден объединенных американцев» (Order of United Americans). В течение десяти лет появились первичные организации в 16-ти штатах, а общее число их членов достигло 50 тысяч<sup>25</sup>. В 1845 г. в Филадельфии (Пенсильвания) был основан «Патриотический орден сынов Америки» (The Patriotic Order of Sons of America). Он претендовал на происхождение от знаменитой революционной организации времен борьбы за независимость «Сыны свободы», учрежденной в Бостоне в 1765 г.

В 1844–45 гг. сформировался «Орден объединенных американских механиков» (The Order of United American Mechanics). Первоначально он назывался «Союзом рабочих» (The Union of Workers). Это братство рабочего класса было учреждено в г. Джермантаун недалеко от Филадельфии. «Достоинство, свобода, патриотизм» стали девизом ордена. Это была изначально антииммигрантская и антикатолическая организация, объединявшая коренных американских рабочих. Она ставила перед собой задачу уничтожения «процветания» «чужестранцев» в Америке,

<sup>22</sup> The Legislatures of the Present Year... P. 50.

<sup>23</sup> *Mushkat*. 1971. P. 214–216, 219–220.

<sup>24</sup> Native Americanism...

<sup>25</sup> *Bennett*. 1995. P. 105–106, 111.

борьбы с «угрозой» со стороны переселявшихся в страну «чужаков». От членов требовалось прилагать все усилия для развертывания кампании против найма «дешевого иностранного труда». Механики должны были покровительствовать только «американским» предприятиям. Помимо ограничения иммиграции и борьбы с «пришельцами» братство имело другую цель – сохранение и расширение преподавания Библии в школах. По иронии судьбы первым руководителем ордена был Дэниел Пасториус – прямой потомок немца-иммигранта XVIII в. Френсиса Пасториуса. Последний основал поселение Джермантаун (англ. «Немецкий город») и получил неофициальное прозвище «отец немцев Америки».

Во второй половине 1840-х обострились социально-экономические и политические противоречия в американском обществе. Связано оно было с нерешенностью главной проблемы – вопроса о рабстве, ставшего «взрывоопасным». Это привело к распаду старой двухпартийной системы виги – демократы в начале 1850-х гг., что способствовало активизации различных движений, организаций и партий, рост влияния которых ранее сдерживался. В штате Нью-Йорк в 1849–1850 гг. возник новый секретный «Верховный орден звездно-полосатого знамени» во главе с Чарльзом Б. Алленом. Официально орден назывался «Национальным Советом Соединенных Штатов Северной Америки», но среди посвященных его иногда неформально именовали просто «Сэмом». У тайного братства имелось еще одно неофициальное название – «незнайки» или «Орден ничего не знающих» (The Know-Nothings). Дело в том, что члены ордена окутывали свою деятельность атмосферой тайны и на вопрос о делах организации отвечали: «Ничего не знаю» («I know nothing») <sup>26</sup>.

Организация «незнаек», руководимая крайне правыми кругами северных штатов, пользовалась влиянием не только в среде буржуазии, стремившейся ограничить права работавших по найму иммигрантов. Она имела успех и в массах фермеров, рабочих, мелких собственников, представителей среднего класса, недовольных притоком «чужеземцев», создававших конкуренцию на рынке труда, в сфере производства и торговли. «Чужаки» и «нищие католики», по их мнению, отнимали рабочие места у коренных американцев. Поддерживал нативистов и клир протестантских церквей, опасавшийся усиления влияния католицизма в стране.

Националисты стремились «сохранять и защищать фундаментальные американские ценности». Главной базой движения стал Северо-Восток <sup>27</sup>. Нативистские настроения в это время разделяли и в руководстве страны. Так, президент Миллард Филлмор отнесся прохладно к

<sup>26</sup> The Wide-awake Gift... P. 54–63.

<sup>27</sup> Haynes. 1897. P. 21-23.

визиту в Америку в 1852 г. Лайоша Кошута. Лидера венгерского национально-освободительного движения подозревали в стремлении втянуть США в конфликты Старого Света. В нем видели агента римского папы, создавшего заговор с целью завоевания власти над миром<sup>28</sup>.

В июне 1855 г. на Филадельфийском конвенте орден «ничего не знающих» был переименован в Американскую партию (The Know-Nothing or the American Party). Организация претендовала на статус общенациональной и стремилась занять место развалившейся партии вигов. Филадельфийский конвент ориентировал на невмешательство в вопросе о рабстве. Партия «Ничего не знаю» выдвинула кандидатов на выборах всех уровней и уже в 1855 г. добилась впечатляющих результатов. В палату представителей 34-го конгресса она провела 45 сторонников – 19% состава (83 конгрессмена были демократами, 108 – противниками рабства – республиканцами). В верхней палате к Американской партии принадлежали пять сенаторов. В 35-м конгрессе, который собрался в декабре 1855 г., было уже 75 нативистов. На региональных выборах они, как правило, набирали по 25–40% голосов. Многие вновь избранные губернаторы и мэры являлись членами праворадикальной организации<sup>29</sup>. Американская партия установила контроль над законодательными ассамблеями в Новой Англии. Она была ведущей партией, оппозиционной демократам, еще в девяти среднеатлантических и южных штатах<sup>30</sup>.

«Ничего не знающие» обрушились с необоснованными и подчас оскорбительными нападениями на католическую церковь. По мнению ультра-протестантов, в монастырях и приходах процветают аморальность, алкоголизм. Католики специально создают приюты, усыновляют тысячи детей американских протестантов, чтобы потом переманить их в свою веру. Опасались «инострannого влияния» и «иноземной религии, верховным главой которой является итальянец, живущий в четырех тысячах миль от нашей страны». Что еще хуже: он был светским правителем, «иностранным князем». Римский папа «командовал армией и флотом, правил с помощью деспотизма и обращался со своей страной, как и другие монархи Европы, подобно самодержцу».

«Ничего не знающие» всерьез верили в «угрозу вторжения в США войск папы и его союзников с целью подавления ненавистных ему демократических свобод и учреждений». По их мнению, американские католики в первую очередь «паписты» и лишь потом – американцы. Они – проводники интересов иностранной державы – Папской области,

<sup>28</sup> Barre. 1856. P. 370–374; Busey. Op. cit. P. 47–61.

<sup>29</sup> Anspach. 1855. P. 163.

<sup>30</sup> Berger. 1973. P. 14–20; McPherson. 1982. P. 88–90.

осуществляющей политической контроль над большими группами населения, «агенты влияния», зараженные монархическими идеями, изменники, поэтому им нельзя предоставлять избирательные права<sup>31</sup>.

В изданиях «ничего не знающих» приводились леденящие душу свидетельства преступной политики католицизма, сильно завышалось число жертв «кровавого кодекса инквизиции». Из того факта, что испанские фанатики в XVI в. уничтожили несколько поселений протестантов, делался вывод о том, что «Америка была крещена в протестантской крови папистами-иезуитами»<sup>32</sup>. «Примеры из истории свидетельствуют о том, что Рим погубил миллион альбигойцев и вальденсов, уничтожил полтора миллиона евреев и три миллиона мавров в Испании. Франция никогда не забудет Варфоломеевскую ночь, когда сто тысяч душ было загублено только в Париже! Кровь протестантов обогригла землю Англии, Германии и Ирландии. Подлинные документы Римской церкви показывают, что она приговорила к смерти шестьдесят восемь миллионов человек!». «...Медики удостоверяют, что кровь жертв составляет 272 миллиона галлонов, которых достаточно, чтобы река Миссисипи вышла из берегов и затопила все хлопковые и сахарные плантации Луизианы!... А сейчас справедлива данная характеристика римской иерархии? Изменилась ли она к лучшему? Отреклась ли от этих доктрин и методов? Нет, нет и еще раз нет! Она является той же тиранической системой, которой была всегда, и останется подобной в будущем, поскольку такова ее природа!»<sup>33</sup>. Папа именовался не иначе как «Антихристом». Святой Престол и «иностранные иезуиты» стремятся уничтожить политические и религиозные свободы в США. Протестантизм, направленный против епископата и монархии, обеспечивает политические свободы и демократию. «Потомки Лютера и Кальвина, пуритан и Пенна пришли в Америку, чтобы иметь церковь без папы, и они создали правительство без трона». В заговор против свободных республиканских институтов вовлечены внутренние и внешние силы. По мнению «ничего не знающих», под контролем римского папы находится ведущая американская партия демократов. Общая подрывная работа объединила «измену, социализм и иезуитизм»<sup>34</sup>. Во имя «торжества папского деспотизма на руинах Америки» используются «церковь, школа, религиозные учреждения, политические собрания, урна для голосования».

---

<sup>31</sup> *McGlynn*. 1887. P. 192–193.

<sup>32</sup> *Carrol*. 1856. P. 238.

<sup>33</sup> *Brownlow*. 1856. P. 55–56.

<sup>34</sup> О «мировом заговоре иезуитов» см.: *An historical narrative of the horrid plot...; Pitrat*. 1851; *M'Corry*. 1874; *Thompson*. 1894.



Иезуиты стремятся повлиять на законодателей, губернаторов, президентов, на прессу<sup>35</sup>. Иммиграция порождает пауперизм, рост безработицы, коррупцию, антиобщественное поведение. Данные полиции указывают, что, концентрируясь в городах, иностранцы бродяжничают, не хотят учиться и работать. Римская церковь намеренно организует массовый переезд из Европы многодетных нищих семей, опасных преступников, ирландских католиков, различных религиозных сектантов, монархистов, аболиционистов, социалистов, коммунистов, анархистов. Въезжают социальные паразиты, «бедняки, мошенники, шулеры, алкоголики, тунядцы». Не случайно и появление в 1840-е гг. знаменитых ирландских банд Нью-Йорка. Все делается для уничтожения Соединенных Штатов<sup>36</sup>.

Подобные представления свидетельствовали о широком распространении среди американцев в переходную эпоху конспиративистских настроений, социальных мифов и страхов. Американская психоистория, описывая политический радикализм, оперирует такими понятиями, как «параноидные процессы», «комплекс неполноценности», «параноидный коллапс», «передовые психоклассы», «параноидная тревога», «конспиративистский менталитет», «параноидное сознание», «внутренние групповые фантазии»<sup>37</sup>. Психологи утверждают, что теория заговора – конспирология схожа с функцией стереотипа, который дает упрощенную картину отдельного феномена. Нежелание широких масс общества прилагать усилия к пониманию структурных причин проблемы выливается в поиск простых ее решений. В конечном счете – в отыскивание врагов, персонально ответственных лиц, ликвидация которых должна привести и к устранению проблемы. Таким образом, концепции заговора дают выход хаотичной деструктивной социальной энергии.

В нативистских настроениях проявился не только иррационализм. Очевидна и рациональная составляющая. Ведь длительное время США были единственной значительной республикой в мире. Великие монархии Европы проводили реакционный курс в рамках политики Священного Союза, и особенно отличились католические страны – Австрия, Испания, Франция, итальянские княжества. В такой ситуации многим в Европе и Америке казалось, что римский папа был тормозом мирового прогресса. К представлениям о заговоре католической церкви, первоначально зародившимся среди антиклерикальных мыслителей Старого Света, оказались наиболее восприимчивы протестанты США.

---

<sup>35</sup> Carrol A. E. Op. cit. P. 23, 30.

<sup>36</sup> Busey S. C. Op. cit. P. 66–82, 107–137.

<sup>37</sup> См.: Hofstadter. 1965; Энтин. 2000; Ллойд де Моз. 2000.

Ксенофобия, ненависть к отдельным социальным группам (например, неприязненное отношение к интеллектуалам, к юристам, которых считали «крючкотворами и лжецами») роднили нативистов с другими радикалами и экстремистами, в частности с популистами 1880–90-х гг.<sup>38</sup> Белый расизм не играл существенной роли в идеологии нативизма. Расистское отношение к неграм переживет подъем только в 1860-е гг. в связи с отменой рабства и деятельностью Ку-клукс-клана. Антисемитизм также не был актуален в рассматриваемую эпоху<sup>39</sup>.

Бывший президентом США в 1850–53 гг. М. Филлмор официально присоединился к Американской партии в 1855 г. В опубликованном в прессе письме от 3 января 1855 г. к другу Исааку Ньютоу из Филадельфии Филлмор полностью поддержал принципы нативизма. Он заявил: «Я признаю в качестве общего правила, что нашей страной должны управлять урожденные американцы»<sup>40</sup>. В феврале 1856 г. Национальный Американский конвент номинировал ньюйоркца Филлмора на высший пост, а южанина Э. Дж. Донелсона – в вице-президенты. Однако в то время Американская партия превращалась в откровенно консервативную организацию. Руководство «ничего не знающих» заняло позицию нейтралитета в вопросе о рабстве, вышедшем на передний план во внутривнутриполитической борьбе в США. В итоге партия утрачивала в глазах избирателей ту притягательную силу, которую некогда имела.

Во время президентской избирательной кампании 1856 г. «ничего не знающие» выступали под лозунгом «За национальный Союз!». Они сообщали о «засилье ненатурализованных иностранцев», особенно в Нью-Йорке, об их влиянии на ход выборов. В прессе писали о характерных злоупотреблениях на местах – внесении имен неграждан в списки для голосования. В то же время, во многих официальных предвыборных публикациях нативисты старались избегать резких высказываний против «системы папизма» и католицизма. Филлмора сравнивали с Вашингтоном. Представляли его как «морально чистого» политика с незапятнанной репутацией, «патриота и консерватора»<sup>41</sup>. На выборах 1856 г.

---

<sup>38</sup> *Haynes*. 1896. P. 87. О популистском движении, напр., см.: *Peffer*. 1893; *Goodwyn*. 1978; *Beeby*. 2008.

<sup>39</sup> Связано это было с малочисленностью еврейской общины в Америке, несмотря на ее рост между 1820 г. и 1860 г. в девять раз – примерно до 150 тыс. чел. Американские евреи – в основном выходцы из Германии занимались преимущественно городской торговлей вразнос и пограничным товарообменом на Западе. Проявления антисемитизма в США в 1850-е гг. имели экономический характер: некоторые страховые компании предостерегали против страхования торговцев-евреев.

<sup>40</sup> *Barre W. L.* Op. cit. P. 382. См.: *Millard Fillmore Papers...*

<sup>41</sup> *Barre W. L.* Op. cit. P. 385, 408.

Филлмор получил голоса северных американских националистов и южных вигов, набрав более 21% голосов избирателей (около 900 тысяч из 4-х млн). Он завоевал поддержку восьми выборщиков Мэриленда<sup>42</sup>.

Влияние нативистов, достигнув пика в 1856 г., после выборов резко пошло на спад. Вопрос об иммиграции потерял актуальность, уступив место главной проблеме – рабовладению. Страна неотвратимо двигалась к Гражданской войне<sup>43</sup>. В Канзасе происходили вооруженные столкновения между сторонниками и противниками рабства. Федеральное правительство шло на уступки плантаторам. К 1857 г. большая часть северного крыла националистической партии поддержала антирабовладельческую Спрингфилдскую программу. Произошло объединение нативистов Севера с республиканцами, а южные расисты сблизилась с демократами. В итоге во многих штатах из-за борьбы по вопросу о рабстве местные организации партии «Ничего не знаю» полностью развалились. К осени 1859 г. Американская партия исчезла из политической жизни США.

Нативистские настроения отличаются живучестью, они сильны до настоящего времени. «Отцы-основатели» США в конце XVIII в. верили в то, что непротестант и даже нехристианин в недалеком будущем сможет стать президентом «страны свободы». Но эти предсказания не сбывались в течение 150 лет. Антикатолицизм прочно вошел в американскую политику XIX века. Важной чертой параноидного сознания в Америке являлись апокалиптические настроения, тревожные ожидания неминуемой социальной катастрофы, связанной с действиями заговорщиков. «Ничего не знающие» рисовали, используя часто заведомую ложь, крайне отталкивающий образ «внутреннего врага». Например, еще в 1893 г. Американская протестантская ассоциация распространяла в стране поддельную энциклику римского папы Льва XIII, призывавшую католиков США уничтожить, «искоренить» всех еретиков. Многие американцы-протестанты в тот год всерьез ожидали ширококомасштабного восстания католиков. Эти ложные антикатолические мифы оказались живучими и в XX веке. Так, во время выборов в 1928 г. республиканцы со всей серьезностью заявляли, что, если католик-демократ А. Смит будет президентом, то произойдет катастрофа. Все браки «еретиков»-протестантов в США окажутся недействительными, дети от них будут признаны незаконными, а папа римский станет верховным арбитром страны. Только в 1960 г. впервые в американской истории католик Дж. Кеннеди был избран президентом.

---

<sup>42</sup> Ex-President Millard Fillmore. Obituary...

<sup>43</sup> Van Buren M. 1967. P. 366–372.

### БИБЛИОГРАФИЯ

- An historical narrative of the horrid plot and conspiracy of Titus Oates, called the Popish Plot, in its various branches and progress. L.: W.E. Andrews, 1816. 284 p.
- Anspach F. R.* The Sons of the Sires: A History of the Rise, Progress, and Destiny of the American Party, and its probable influence to the next presidential election. Philadelphia: Lippincott, Grambo & Co, 1855. 223 p.
- Awful disclosures by Maria Monk, of the Hotel Dieu Nunnery of Montreal. N.Y.: Maria Monk, 1836. 376 p.
- Barre W. L.* The Life and Public Services of Millard Fillmore. Buffalo (N.Y.): Wanzer, McKim and Co., 1856. 408 p.
- Beeby J. M.* Revolt of the Tar Heels: The North Carolina Populist Movement, 1890-1901. Jackson (Miss.): Univ. Press of Mississippi, 2008. 280 p.
- Beecher L.* A plea for the West. Cincinnati: Truman & Smith, 1835. 172 p.
- Bennett D. H.* The Party of Fear: The American Far Right from Nativism to the Militia Movement. New York: Vintage Books, 1995. 608 p.
- Berger M.* The Revolution in the New York Party System. 1840-1860. Wash.: Kennikat Press, 1973. 172 p.
- Billington R. A.* The Protestant Crusade. 1800-1860. N.Y.: Quadrangle Books, 1938. 514 p.
- Brown J. H.* Pictures of Ireland // Harper's new monthly magazine. Vol. 42. № 250. March 1871. P. 496-514.
- Brownlow W. G.* Americanism contrasted with foreignism, Romanism, and bogus democracy, in the light of reason, history, and Scripture: in which certain demagogues in Tennessee, and elsewhere, are shown up in their true colors. Nashville (Tenn.): Pub. for the author, 1856. 208 p.
- Burning of the Charlestown Convent // Boston Evening Transcript. 1834. August 12.
- Busey S. C.* Immigration: Its Evils and Consequences. N.Y.: De Witt & Davenport, 1856. 162 p.
- Carroll A. E.* The Great American Battle: Or, The Contest Between Christianity and Political Romanism. N.Y.- Auburn: Miller, Orton & Mulligan, 1856. 365 p.
- Ex-President Millard Fillmore. Obituary // The New York Times. March 9. 1874. P. 1.
- Foreign Immigration // American Whig Review. 1845. Vol. 6. № 6. November 1847. P. 455.
- Foulis H.* The history of the wicked plots and conspiracies of our pretended saints: representing the beginning, constitution and designs of the Jesuite. With the conspiracies, rebellions, schisms... of some Presbyterians. L.: E. Cotes, 1662. 247 p.
- Goodwyn L.* The Populist moment: a short history of the agrarian revolt in America. Oxford: Oxford University Press, 1978. 349 p.
- Haynes G. H.* A Chapter from the Local History of Know-nothingism // The New England magazine. Vol. 21. № 1. September 1896. P. 82-96.
- Haynes G. H.* A Know-Nothing Legislature // The New England magazine. Vol. 22. № 1. March 1897. P. 21-23.
- Hofstadter R.* The Age of Reform. From Bryan to F.D.R. N.Y.: Knopf, 1955. 352 p.
- Hofstadter R.* The Paranoid Style in American Politics and Other Essays. N.Y.: Knopf, 1965. 314 p.
- Lathrop G. P.* Hostility to Roman Catholics // The North American Review. Vol. 158. № 450. May 1894. P. 563-573.
- Leonard I. M., Parmet R. D.* American Nativism. 1830-1860. N.Y.: Van Nostrand Reinhold Co., 1971. 185 p.

- Maria Monk and the nunnery of the Hotel Dieu. N.Y.: Howe & Bates, 1836. 60 p.
- McGlynn E.* The New Know-Nothingism and the Old // *The North American Review*. Vol. 145. № 369. August 1887. P. 195.
- M'Corry J. S.* The Jesuit in the nineteenth century: an historical sketch of the rise, fall, and restoration of the Society of Jesus. L.: Burns and Oates, 1874. 236 p.
- McPherson J. N.* Ordeal by Fire. The Civil War and Reconstruction. N.Y.: Knopf 1982. 694.
- Millard Fillmore Papers / Ed. by F. H. Severance. Buffalo (N.Y.): The Buffalo historical society, 1907. Reprint: General Books LLC, 2009. 384 p.
- Morse S. F. B.* Foreign Conspiracy Against the Liberties of the United States: The Numbers Under the Signature of Brutus, Originally Published in the New-York Observer. N.Y.: Leavitt, Lord & Co., G. & C. Carvill & Co. Boston: Crocker & Brewster, 1835. 188 p.
- Mushkat J.* Tammany. The evolution of a political machine. 1789–1865. Syracuse (N.Y.): Syracuse univ. press, 1971. 476 p.
- National Unity // *New Englander and Yale Review*. Vol. 6. № 24. October 1848. P. 586–587.
- Native Americanism // *The New York Daily Tribune*. Vol. 4. № 186. 1844. November 11.
- Peffer W. A.* The Mission of the Populist Party // *The North American Review*. Vol. 157. № 445. December 1893. P. 665–679.
- Pitrat J. C.* Americans warned of Jesuitism, or The Jesuits unveiled. N.Y.: J.S. Redfield, 1851. 276 p.
- Pope, or President? Startling Disclosures of Romanism as revealed by its own writhers. Facts for Americans. N.Y.: R.L. Delisser, 1859. 360 p.
- Prime S. I.* The life of Samuel F.B. Morse, LL. D., inventor of the electro-magnetic recording telegraph. N.Y.: D. Appleton & Co, 1875. 776 p.
- Six Months in a Convent, Or the Narrative of Rebecca Theresa Reed. Boston: Russell, Odiorne & Metcalf, 1835. 192 p.
- The Legislatures of the Present Year // *The United States Democratic Review*. Vol. 10. № 43. January 1842. P. 47–50.
- The Mystery of Iniquity. A Passage of the Secret History of American Politics, Illustrated by a View of Metropolitan Society // *American Whig Review*. Vol. 1. № 6. June 1845. P. 552–553.
- The Philadelphia Riots // *New Englander and Yale Review*. Vol. 2. № 8. October 1844. P. 624–631.
- The Wide-awake Gift: A Know-nothing Token for 1855. Edited by «One of “Em.”». N.Y.: J. C. Derby – Boston: Philips, Sampson & Co, 1855. 312 p.
- Thompson R. W.* Footprints of the Jesuits. N.Y.: Hunt & Eaton - Cincinnati: Cranston & Curts, 1894. 509 p.
- Van Buren M.* Inquiry into the Origin and Course of Political Parties in the United States. 1867. Reprint. N.Y.: August M. Kelley Publishers, 1967. 486 p.
- Грин Дж П.* Pluribus или Unum? Этническая идентичность в ранней колониальной Британской Америке // *Американский ежегодник*. 1999. М., 2001. С. 31–48.
- Ллойд де Моз.* Психоистория. Ростов-на-Дону: Феникс, 2000. 512 с.
- Энтин Д.* Теории заговоров и конспиративистский менталитет // *Новая и новейшая история*. №1. 2000. С. 69–81.

**Прилуцкий Виталий Викторович**, кандидат исторических наук доцент кафедры всеобщей истории Брянского государственного университета им. акад. И. Г. Петровского vitaliuyr@ya.ru

С. Ю. МАЛЫШЕВА

## «СВОЕ», «ЧУЖОЕ» И «ЧУЖДОЕ» В СФЕРЕ ДОСУГА: ОПЫТЫ РЕФЛЕКСИЙ И САМОРЕФЛЕКСИЙ ГОРОЖАН В РОССИИ ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XIX – НАЧАЛА XX В.\*

---

Сфера досуга российского провинциального города второй половины XIX – начала XX в. рассматривается в статье как пространство интенсивной коммуникации горожан и городских групп, их спора о содержании и формах досуга, как пространство формирования и поддержания идентичностей. Указанные процессы изучены на примере Казани – крупного губернского города в центре России, с пестрым социально-сословным и национально-конфессиональным составом населения.

*Ключевые слова:* досуг, культур(аль)ная история, идентичность, повседневность.

---

Во второй половине XIX – начале XX в. в России происходят важные изменения в понимании досуга. Он становится самостоятельной сферой жизни и деятельности горожанина, быстро коммерциализировавшейся частью сферы потребления. Формирование концепта досуга в условиях складывания потребительского общества и масс-культуры в России сопровождалось изменениями в языке и системе представлений об «отдыхе», интенсивной коммуникацией представителей различных городских групп по поводу содержания и форм их досуга, выступавшего важным фактором осознания собственной идентичности.

В свое время, характеризуя локальные общества Казани и Саратова 1870-1914 гг., Л. Хефнер писал о них, как о феномене во-обществления (*Vergesellschaftungsphaenomen*) индивида, а об этом во-обществлении (социализации) – как коммуникативном процессе<sup>1</sup>. Однако «общество», о котором шла речь, по его оценке, являло собой примерно 1,5-3% населения города, причем, мужского и взрослого населения.

Сфера досуга представляется намного более обширным пространством интенсивной коммуникации и формирования идентичностей<sup>2</sup>, так как она охватывала все население города, его разные слои и группы. Верно подмечено, что «в своей досуговой деятельности, – больше, чем в

---

\* Статья подготовлена в рамках стипендии Германского исторического института в Москве и Фонда Герды Хенкель (Дюссельдорф, ФРГ) AZ 12/SR/06.

<sup>1</sup> *Häfner*. 2004. S. 13.

<sup>2</sup> Идентичность рассматривается в хабермасовском смысле, как индивидуализация через социализацию в историческом контексте, как целостность человека, реализуемая, прежде всего, в межсубъектном пространстве диалога-коммуникации.

рабочее время, – люди получали возможность принимать и утверждать избранные ими социальные идентичности»<sup>3</sup>. В этих коммуникативных процессах важную роль играли характеристика жителями городского досугового сообщества, размышления о взаимоотношениях внутри него, о взаимоотношениях между собой его отдельных групп, а также досугового сообщества и групп с отдельной личностью.

В этом плане интересный материал дают источники личного происхождения, художественная литература, авторская публицистика, материалы печати. Указанные процессы ярко высвечиваются на примере одного из крупных губернских городов в центре России, с развивавшимися промышленностью и торговлей, научной и культурной жизнью – Казани. Население города, насчитывавшее в середине XIX в. чуть более 60 тыс. чел., к концу первого десятилетия XX в. выросло в три раза, составив 180 тыс. чел. Оно было пестрым в социально-сословном и национально-конфессиональном отношении<sup>4</sup>. Не только наличие значительного мусульманского компонента, но и само расположение Казани в центре многонационального региона на своеобразной «ментальной границе» между российскими «Западом» и «Востоком», «Европой» и «Азией» обусловило смешанную «географическую идентичность» города. Казань позиционировалась как последний западный или первый восточный город на Сибирском тракте. Столь же смешанной была «идентичность» Казани и в отношении провинциальности и столичности: выступая в качестве провинциального города перед лицом российских столиц, для более мелких провинциальных городов, в том числе уездных, она воплощала в себе многие качества и стандарты столичного города. Досуговая культура Казани характеризовалась как общими чертами провинциального города, так и особенными, отражавшими ее специфику. И в этом плане рефлексии и саморефлексии жителей Казани по поводу досуговых практик и сообществ представляют большой интерес.

Представители образованных слоев, интеллектуалы характеризовали как «свое» лишь небольшую часть городского досугового сообщества, позиционируя остальную его часть как «чуждую». Так, профессор

---

<sup>3</sup> Rearick. 2001. P. 202.

<sup>4</sup> Большинство населения в конце XIX в. относилось к сословию крестьян (52,8%) и мещан (30,8%), дворянство составляло 8,8%, духовенство – 1,9%, купцы – 1,8%, почетные граждане – 1,5%. 71,1% населения города составляли русские (большинство – православные), 21,9% – татары (большинство – мусульмане), 1,2% – поляки, 1% – евреи, 0,8% – немцы, в городе проживало не менее полутора десятков представителей других национальностей, каждая из которых составляла менее 0,5% населения. См.: Первая всеобщая перепись населения. Т. 14.

Казанского университета Н. Н. Булич в своей публичной речи «Литература и общество в России за последнее время» (Казань, 1865), а также в личной переписке подразделял сообщество на три досуговые общности – по содержанию и интеллектуальной, духовной наполненности их досуга. Первые две представляли собой, фактически, части того локального общества, о котором писал Л. Хефнер: первая – «живущая и наслаждающаяся» – здесь «жизнь не задумывается и радостно играет своими первобытными силами. Карты и вино, лошади и охота, удаль своеволия и физической силы, светская жизнь и общественные сплетни и, наконец, женщина» как игрушка, «(...) сплетни, азартные карточные игры, особенно т.н. «стуколка», бесконечные веселые пикники, попойки, в лучшем случае – «вечеринки» и «балики», а иногда грандиозные кутежи и оргии «с цыганками», (...) повальное пьянство, особенно в «табельные» и «именинные дни»» – вот содержание наслаждения этой части досугового общества. Вторая часть общества – «живущая и мыслящая», к которой Булич относил «представителей лучшей части казанской интеллигенции, преимущественно из профессорской среды». Досуговые развлечения этой части общества составляли, помимо чтения, «игры, танцы, домашние спектакли, концерты, научно-литературные вечера, записи и альбомы «на память» и публичные лекции». Третья, не подпадающая под это деление, самая многочисленная – «та большая половина народа, где мысль не присутствует, а наслаждение слишком грубо, та часть, которую мы называем «живущею и страдающею», но она (...) не читает и не мыслит, а бьется из-за куска насущного хлеба»<sup>5</sup>.

Булич позиционировал себя как представителя второй досуговой группы, относя большинство казанского «общества», в котором ему приходилось бывать, к первой. В письмах родным он подчеркивал скуку этих досуговых собраний, пустоту их времяпрепровождения, собственную «чуждость» ему, наконец, заявлял о решении не бывать в этом обществе, запершись дома с книгами. 12 декабря 1859 г. он писал: «Жизнь в провинции Казанской, ей-богу, не изменилась нисколько в эти два года (...). Те же карты и обеды, те же вечеринки и балики с теми же лицами, которые были и прежде. (...) Так как я совершенно не играю в карты, то занимаюсь, как говорят здесь, козеткой. Но если б ты знал, что за разговор пустой выходит и как решительно говорить не о чем! Хорошо еще, если бывают молоденькие девушки: тогда разговор оживляется молодой болтовней, а при старых наших барынях, апатичных и вялых, привыкших к картам и сплетням, удивительно трудно выдержать разговорный

---

<sup>5</sup> Булич. 1930. С. 929-931, 935-936.



вечер. Слова не вяжутся, зевается сильно и все мысли дома, около книг, в своем уютном углу. Говорят по большей части об одном и том же: что делается в Казани и вечные наблюдения над одними и теми же лицами»<sup>6</sup>.

Попытки отстраниться, укрыться от этого досугового сообщества, к его удивлению, оказывались напрасными. Так, Булич сообщал, что, вернувшись в город в конце января 1861 г. после некоторого отсутствия, он намеренно никого не оповестил о своем возвращении. Однако инфраструктура коммуникативных связей этого досугового сообщества оказывается столь разветвленной и бесперебойно работающей, что на другой день к нему явились с визитом знакомые, вызвав его возмущенный возглас: «Можно ли жить в такой публичности!»<sup>7</sup>.

Характеризуя как «свое» лишь небольшую часть местного досугового сообщества и, таким образом, позиционируя остальную его часть как «чуждую», представители образованных слоев нередко подчеркивали близость «своего» досугового мира «чуждому» миру западноевропейских интеллектуальных развлечений и удовольствий. Так, в своих частных письмах Булич, сетуя на пустоту и убогость местных развлечений, противопоставлял им музыку и театр «чужих стран»: «Сидишь, сидишь целый день за книгами, и хотелось бы вечером чем-нибудь развлечься, а решительно нечем: театр скверный, в гости идти не хочется из боязни услышать пошлости, и потому остаешься дома с тяжелой головой, облегчить которую нечем. И вспоминаются роскошные прогулки, и хорошая музыка, и театры чужих стран. Вот о музыке поневоле взгрустнется. У нас, в хорошую погоду, играет раза три в неделю на Черном озере роговая музыка, но слушать ее не тянет потому, что кругом все знакомые противные рожи вроде П.Ф.». Он заявлял: «Спасаясь только воображаемым путешествием в Италию и сижу над картой и книгами, подготавливающими к созерцанию божественной страны»<sup>8</sup>.

Тем самым затрагивался еще один важный аспект противопоставления «своего» и «чуждого» в сфере досуга, касающийся оппозиции/диалога «провинциального» и «столичного» (в самых разных вариациях – «зарубежного» и «российского», «нашего» и «не нашего»).

Провинциальные самоописания местной досуговой жизни и досугового сообщества отличали определенные культурно-психологические

---

<sup>6</sup> Там же. С. 933.

<sup>7</sup> Там же. Скорость «передачи новостей» по такому каналу неформальной коммуникации как слухи, в свое время была высчитана известным популяризатором науки Я. И. Перельманом: по его прикидкам, в провинциальном 50-тысячном городе время распространения «новости» равна 1-2,5 часам. Об этом: Орлов. 2008. С. 43.

<sup>8</sup> Булич. 1930. С. 932.

особенности. Они отражали столкновение «провинциального» и «столичного» стандартов досуга, способы саморефлексии провинциальной культуры по поводу ее «провинциальности» и реакции на «культуртрегерские» претензии «столичного».

В провинциальном дискурсе «своя» досуговая жизнь изображалась нередко как сонная, неповоротливая, капризная и непредсказуемая. Так, в 1869 г. корреспондент местной газеты писал: «Наша общественная жизнь, всегда неповоротливая, нынешней осенью, по причине дурной погоды, была тише обыкновенного. Клубы, биржа, театр – все было пусто и мертво, как будто кое-как влачили они последние дни своего существования... То жизнь кипит и в клубах, и в театре, и повсюду в городе, то вдруг все спрячется по своим углам (...)»<sup>9</sup>. Единственное, что могло оживить и вытащить членов «общества» из этих углов, по словам автора этой заметки, – это общественные обеды, проводимые несколько раз в год<sup>10</sup>. Те же мотивы слышатся в газетных репортажах и анонсах конца XIX века – ссылки на «известность в Европе» приезжих гастролирующих артистов должны были привлечь внимание публики, а пассажи вроде – «в этом отношении (распространенности одной из новых форм досуга. – С. М.) Казани приходится только догонять другие губернские города, *не говоря уже о столицах*»<sup>11</sup> (выделено мной. – С. М.) – были вполне обычным приемом самоописания в провинции.

В то же время довольно распространены были сравнения собственных досуговых практик не со столичными, а с более близкими провинциальными – других, «равных по статусу» (например, губернских) или близких территориально городов. Их жизнь живо интересовала горожан. Так, посетители городской публичной библиотеки Казани в местной печати жаловались на отсутствие газет поволжских городов, события в которых вызывали их пристальный интерес. Характеризуя прием гастролирующих артистов казанской публикой, местная газета сообщала, как именно их до этого принимала публика других поволжских городов<sup>12</sup>.

---

<sup>9</sup> Казанский биржевой листок. 1868. 5 декабря.

<sup>10</sup> В 1868 г. таких обедов в Казани было четыре – «один коммерческий, один гражданский, один духовный и один ученый», т.е., соответственно, один – в честь проезжавшего председателя нижегородского биржевого комитета, один – купеческий обед в честь губернатора, один – в честь 100-летия казанской духовной семинарии, один – в честь годовщины основания университета. (Там же).

<sup>11</sup> Казанский телеграф. 1893. 31 октября.

<sup>12</sup> Казанский телеграф. 1893. 15 апреля, 4 мая. Сообщая 4 мая о горячем приеме в Казани известного певца Фигнера, чей концерт прошел с большим успехом при наплыве публики (сидели даже в оркестре), корреспондент иронически оговаривался: «Принимали, конечно, весьма горячо, но все не так как в Саратове. Там, как со-

Однако, признавая первенство досуговой культуры «столиц», провинциальное население, «общество» и местные власти порой довольно ревностно защищали перед лицом столичных властей особенности «своих» повседневных и досуговых практик и способы их регулирования. Это проявилось и в многолетних попытках части населения и городской думы узаконить в «параллельном» досугово-праздничном календаре специфику местной досуговой культуры<sup>13</sup>. Это отразилось и в упорстве местной полиции в отстаивании собственного, сложившегося «патерналистского» способа разрешения конфликтов с «гуляющими» студентами<sup>14</sup>. Об этом же свидетельствовал и ответ казанского губернатора в 1886 г. на запрос военных властей и их предложение последовать примеру Петербургского военного округа, запретившего офицерам посещение некоторых увеселительных заведений Петербурга и окрестностей. Губернатор отказался признать какие-либо увеселительные заведения Казани непристойными для посещения их офицерами, заявив, что «таких увеселительных заведений, в которых непристойно было бы бывать господам офицерам, в г. Казани нет»<sup>15</sup>.

В то же время «экономическая экспансия» в провинцию динамично развивавшейся в столицах индустрии досуга, столичных стандартов досуга, влиявших (в том числе с помощью рекламы) на идеальные модели досуга провинциального горожанина, – в отличие от «политического» вмешательства, не вызывала отторжения. Напротив, новые досуговые предложения, появлявшиеся на казанском рынке развлечений, привлекали внимание различных групп горожан, и коммерциализация досуга интенсивно шла как в столицах, так и в провинции.

Проблема «нашего» и «ненашего» досуга остро фиксировалась в различиях между досуговыми практиками различных социальных, образовательных, национально-конфессиональных слоев. На эти расхождения указывал не только Булич. Например, местная печать, особенно в начале изучаемого периода, весьма показательно «проговаривала» раз-

---

общает «Саратовский листок», очумевшие от восторга барыни забросали г. Фигнера (...) носовыми платками).

<sup>13</sup> См. об этом: Малышева. 2009. С. 225-266 (раздел «Время отдыха торговых служащих и борьба за «параллельный» календарь выходных и праздников»).

<sup>14</sup> В рапорте казанскому губернатору от 25 января 1899 г. полицмейстер описывал этот способ, заключающийся в том, чтобы «по-хорошему» уговаривать толпу студентов разойтись, а арестовывать лишь небольшую группу упорствующих «гуляк» (НАРТ. Ф. 1. Оп. 3. Д. 11293. Л. 26). В своих рапортах «наверх» губернатор, как правило, воспроизводил положения и доводы рапорта казанского полицмейстера.

<sup>15</sup> НАРТ. Ф. 1. Оп. 3. Д. 6809. Л. 4.

личия между досуговыми практиками «нашего» «многолюдного избранного общества» и «многочисленной толпы рабочего народа»<sup>16</sup> (того самого, в котором, по словам Булича, мысль не присутствовала, а наслаждение было слишком грубо). Такие описываемые в прессе досуговые формы, как балы, праздники, танцевальные вечера в клубах и собраниях, конские бега на городском ипподроме четко позиционировались как «наши», а «кабачный» досуг и балаганы, ставившиеся на масленицу, – как «не наши», как «развлечение для народа». При этом, живописуя убогость «народного» досуга, представители городского образованного общества, писавшие заметки в газете, патетически подчеркивали определенную ответственность этого «общества» за качество досуга народа, несамостоятельность «кабачно-балаганного» выбора народа: «Нельзя не заметить при этом, что для народа мы предоставляем удовольствия крайней дешевизны и неразборчивости, доходящей даже до цинизма. Как велика должна быть потребность у народа в каком-нибудь другом развлечении, помимо кабачного, если он идет посмотреть на глупейшего паяца, высовывающего ему язык и только, или послушать музыку, состоящую из турецкого барабана и флейты?»<sup>17</sup>.

Однако эти патерналистские порывы тут же сходили на нет, как только представители «народа» обнаруживались, например, в «нашем театре». В том же номере газеты «преобладание пошлости на сцене» казанского городского театра объяснялось спросом на нее «настоящих ценителей» (как язвительно их обозначил автор заметки), сидящих в райке, т.е. тех самых представителей народа, о качестве досуга которых так сокрушалась газета несколькими строками выше. Автор подчеркивал, что это преобладание пошлости и бессодержательности вынуждает «записных, серьезных людей» не посещать театр<sup>18</sup>. Эта мысль не доводилась мысль до логического конца, однако она очевидна: вторжение «народа» в досуговое пространство «избранного общества» в глазах многих его представителей оскверняло чистоту и утонченность досуговой формы.

Четверть века спустя городская печать уже не проводила столь резких разграничительных линий между «нашим» и «народным» досугом, предпочитая употреблять более нейтральные выражения, говоря о «публике», об «обывателях», «жителях» города. Более того, сообщая об отдельных инцидентах в городской досуговой сфере, например о «безобразиях» во время катаний на лодках по озеру Кабан (пьяные катаю-

<sup>16</sup> Из заметок газеты «Казанский биржевой листок» 1869 г. (5 января, 9 марта).

<sup>17</sup> Заметка о казанской масленице // Казанский биржевой листок. 1869. 9 марта.

<sup>18</sup> На прощанье с театром // Там же.

щиеся мужчины приставали к катающимся дамам<sup>19</sup>), газета предпочитала не упоминать о социально-классовой принадлежности обижаемых и обидчиков. Такие упоминания – с оттенком городского шовинизма – появлялись лишь, когда речь шла о столкновениях в сфере досуга с крестьянами окрестных деревень: это и упоминание о местных деревенских (села Дербьшки) крестьянских парнях, пристававших к дачницам и напавших на юного велосипедиста, и о деревенском «лапте», забредшем на загородное гулянье «Пикник»<sup>20</sup>, и др. Таким образом подчеркивалась «чуждость» городского досуга (в том числе дачного) сельскому населению. Но в рассказах о городских формах досуга, о «народных праздничных увеселениях» (балаганах) на Николаевской площади, промелькнувшее наряду со словами «посетители» и «поштенная публика» слово «народ» звучало довольно нейтрально<sup>21</sup>. Формы городского отдыха, при всей пестроты и разнообразии их ассортимента, уже не связывались напрямую с практиками досуга какой-либо части населения города.

Рефлексии по поводу различий досуговых практик разных социальных, образовательных, национально-конфессиональных слоев, и даже внутри них отражали описания «чужих» или «чуждых» форм досуга, их атрибутов в произведениях реалистической художественной литературы. В начале XX в. татарская художественная литература освещала проблему «нашего» и «не нашего» отдыха, споры, которые велись внутри татарского общества, о допустимости, возможности и необходимости принимать новые, современные формы и практики досуга<sup>22</sup>.

Так, Ф. Амирхан в своих рассказах с одобрением и симпатией описывал татар, перенявших новые повседневные и досуговые практики (он называет их «европейскими», но речь идет, скорее, о практиках современного ему российского общества). Он описывает появившиеся в домах татарской интеллигенции, образованных средних слоев «картины на стенах с изображением живых существ, и огромный рояль в углу, и русские куличи на столе вместо традиционного праздничного татарского пирога. (...) общество молодых людей с необритыми головами без тубетек, девушек и женщин с изящными калфакками<sup>23</sup> на волосах». Упоминается посещение героями литературных вечеров, драматических и

---

<sup>19</sup> Казанский телеграф. 1893. 11 июля.

<sup>20</sup> Казанский телеграф. 1893. 17 июня, 25 июня.

<sup>21</sup> Казанский телеграф. 1893. 29 декабря.

<sup>22</sup> Эта проблема была частью более глобальной проблемы – модернизации татарского общества, проявившейся, например, в споре «старомодников» и «джадидистов». См. о джадидизме: *Kanlidere*. 1997; *Абдуллин*. 1998; *Noack*. 2000; и др.

<sup>23</sup> Калфак – традиционный женский татарский головной убор.

оперных спектаклей в театрах, городских и загородных парков, умение играть на рояле и изучение ими французского языка<sup>24</sup>.

В то же время, Амирхан карикатурно изображал как страх консервативной части татарского общества причаститься этих «греховных» развлечений, так и стремление некоторых представителей татарской молодежи (малообразованной, но располагающей средствами) к внешней, показной, вызванной модой, рецепции отдельных атрибутов современной массовой досуговой культуры города. Сын богатого торговца Гайса Азизов, привлекая к себе внимание, демонстративно листает на палубе парохода русские юмористические журналы. Он курит и хвастает дорогими сигарами, выписанными из Германии, играет в карты и рассуждает о достоинствах вин и крепких спиртных напитков, хвалится умением танцевать модный танец матчеш, а также хвастается сестрой, умеющей играть его на рояле<sup>25</sup>.

Писатель, таким образом, показывает намечавшуюся дифференциацию в восприятии современных досуговых практик различными частями татарского общества. Лучшие, образованные его представители воспринимают наиболее интеллектуальные и духовные формы досуга, другие слои отдают предпочтение незатейливым демократическим формам, составлявшим часть формировавшейся масс-культуры провинциального города, третьи совершенно не приемлют современные досуговые практики, противоречащие религиозным запретам и предписаниям. Соответственно, если освоение и присвоение первой частью татарского общества «чужого» в сфере досуга совершается органично, то попытки показного присвоения «чужого» представителями второй категории выглядит смешно и карикатурно, сопоставимо с категорическим отторжением «чуждой» досуговой культуре консервативной части татарского общества.

Таким образом, пореформенные десятилетия характеризовались интенсивной рефлексией горожан о досуговых практиках, складыванием представлений о досуге. Формулируя представления о досуге, идентифицируя себя как представителя того или иного досугового сообщества и отграничиваясь от «чуждых» досуговых сообществ и присущих им моделей поведения, вступая в конфликт с представителями «чужих» досуговых сообществ или активно проявляя интерес к его практикам – отдельные индивиды и их группы вовлекались в диалог между собой, а также с местным «обществом» и «властью». Эти ментальные и комму-

<sup>24</sup> Амирхан. 1975. С. 26-27, 30; 275, 282; и др.

<sup>25</sup> Там же. С. 52, 56-57, 64, 66.

никативные процессы объективно способствовали сближению досуговых практик горожан различных слоев и классов, их относительной гомогенизации, складыванию массовой городской культуры досуга.

### БИБЛИОГРАФИЯ

- Амирхан Ф.* Избранное. Рассказы и повести / Пер. с тат. Г. Хантемировой. Вступ. статья Л. И.Климовича. М.: Художественная литература, 1975. 320 с.
- Абдуллин Я. Г.* Джадидизм среди татар: возникновение, развитие и историческое место. Казань: Иман, 1998. 41 с.
- Булич А. К.* Николай Никитич Булич и современное ему Казанское общество (Семейная переписка и воспоминания) // Ученые записки Казанского государственного университета им. В. И.Ульянова-Ленина. 1930. Книга 5. С. 907-939.
- Казанский биржевой листок. Казань, 1868, 1869.
- Казанский телеграф. Казань, 1893.
- Казанский телеграф. Казань, 1893.
- Мальшева С.* «Еженедельные праздники, дни господские и царские»: время отдыха российского горожанина второй половины XIX – начала XX в. // *Ab Imperio*. Исследования по новой имперской истории и национализму в постсоветском пространстве. 2009. № 2. С. 225-266.
- Национальный архив Республики Татарстан. (НАРТ) Ф. 1. Канцелярия казанского губернатора. Оп. 3. Д. 6809; Д.11293.
- Орлов И. Б.* Политическая культура России XX в. М.: Аспект Пресс, 2008. 223 с.
- Первая всеобщая перепись населения Российской империи. Т. 14. Казанская губерния. 1897 год.
- Häfner L.* Gesellschaft als lokale Veranstaltung: Die Wolgastädte Kazan' und Saratov (1870-1914). Köln: Böhlau Verlag, 2004. XII, 594 S.
- Kanlidere A.* Reform within Islam. The Tajid and Jadid Movement among the Kazan Tatars (1809 – 1917). Conciliation or Conflict? Istanbul: Eren, 1997. 199 p.
- Noack Ch.* Muslimischer Nationalismus im russischen Reich: Nationsbildung und Nationalbewegung bei Tataren und Baschkiren; 1861 – 1919. Stuttgart: Franz Steiner Verlag, 2000. 614 S.
- Rearick Ch.* Consumer Leisure // *Encyclopedia of European Social History from 1350 to 2000* / Ed. by P.N.Stearns. Vol. 5. Culture, Leisure, Religion, Education, Everyday Life. Detroit: Scribner, 2001. P. 201-217.

*Мальшева Светлана Юрьевна, доктор исторических наук, профессор кафедры историографии и источниковедения Института истории Казанского (Приволжского) федерального университета; Svetlana.Malycheva@ksu.ru*

*М. Ф. НИКОЛАЕВА*

## **ДИНАМИКА ОБРАЗА ВРАГА В СОВЕТСКОМ ПЛАКАТЕ (1917-1941) И МОДЕЛИ ИДЕНТИФИКАЦИИ СОВЕТСКОГО ЧЕЛОВЕКА**

---

В статье представлен подход к проблеме идентификации советского человека в культуре 1920-1930-х гг. через анализ культурных стереотипов, связанных с созданием плакатных образов врага, таких как «капиталист» и «интеллигент». Наряду с выявлением признаков, по которым происходило противопоставление советского «мы» враждебному «они», целью статьи является рассмотрение символического пространства советской культуры, определяемого визуальным соотношением образа врага и образа героя в рамках плакатного произведения. Анализируется вклад плакатного искусства в конструирование когнитивного пространства советского человека.

**Ключевые слова:** *советский человек, плакат, идентификация, стереотип, когнитивное пространство, образ врага.*

---

Несмотря на обилие исторических, политологических, социологических работ, необходимость дальнейшего исследования советской культуры обусловлена осознанием значения этого сложного феномена мирового культурного процесса XX в. Крепнущее представление об устойчивости культурных форм в сравнении с социально-политическими институтами делает очевидным масштабное и неоднозначное влияние «советскости» на формирование постсоветской идентичности. Советская культура является значимой предпосылкой современной культуры, так же как сама она, несмотря на пафос отрицания, была во многих аспектах наследницей культуры дореволюционной России.

Современный интерес к личностной и групповой идентификации связан с процессом глобализации. Вместе с тем, возникновение проблемы относится к более раннему времени и обусловлено модернизацией: «стремление индивида идентифицировать себя с тем или иным сообществом, возникает при разрушении традиционного уклада, где потребность самоопределения в системе социальных взаимосвязей не актуализирована»<sup>1</sup>. В современном научном обиходе «идентичность» существует как социологический и психологический термин, а также как принципиально междисциплинарная категория. В рамках данной работы мы имеем дело с социокультурным понятием и, следовательно, признавая связь психологического и социокультурного уровня, методологически

---

<sup>1</sup> Ядов. 1994. С. 269.



выделяем второй в качестве объекта изучения. Кроме того, немаловажно, что непосредственным предметом анализа становятся *модели* идентификации на материале искусства, а значит, среди основных теоретических подходов к анализу социальной идентификации личности (психоаналитический, ситуативный, когнитивистский), продуктивным для исследования может быть признан когнитивистский подход. Не менее важной теоретической основой для изучения плакатных образов с точки зрения их роли в познании и конструировании социальной реальности является теория стереотипов<sup>2</sup>. Произведения искусства транслируют стереотипы, а именно через категоризацию происходит моделирование собственного образа и образа Другого. К базовым свойствам социальных стереотипов относятся: согласованность (стереотипные представления разделяются большим количеством людей); схематичность, упрощенность; эмоционально-оценочная нагрузка; устойчивость, ригидность.

В культурно-историческом исследовании изучение стереотипа может пролить свет скорее на носителя стереотипного образа, чем на его объект; рассмотрение гетеростереотипа неотделимо от анализа автостереотипа членов данной группы. Несмотря на то, что межличностный, межгрупповой, межкультурный диалог предполагает оперирование категориями «я» и «ты», «мы» и «вы», Б. Ф. Поршнев показал, что категории «они» – первична, и предшествует даже категории «мы»<sup>3</sup>.

Роль плакатного образа в создании и трансляции социокультурных стереотипов трудно переоценить. В пространстве советской культуры заметна тенденция к устранению невраждебного (позитивного или хотя бы нейтрального) образа Другого. Самоопределение советского человека отталкивалось от образа врага. Плакатный образ визуализирует врага, конкретизируя его. Враг получает лицо и имя, а название врага уже отчасти снимает страх перед ним, помогает с ним справиться. Можно таким образом утверждать, что политический образ врага создается в массовом сознании именно посредством распространения его изображений. Э. Гомбрих в статье «Арсенал карикатуриста» утверждал, что карикатурист «мифологизирует» политический мир посредством того, что «физиономизирует» его<sup>4</sup>, то есть с помощью персонификации.

Социальная идентификация множественна и имеет несколько уровней. Обычно, рассуждая об аспектах идентичности, начинают с этнической и национальной идентификации, представляющей базовый

---

<sup>2</sup> Lippman. 1949; Tajfel. 1981.

<sup>3</sup> Поршнев. 1979. С. 82.

<sup>4</sup> Gombrich. 1978.

уровень развития индивидуального и коллективного самосознания. Однако, говоря о символическом пространстве советского плакатного искусства, можно заметить, что традиционные этнические, национальные, расовые стереотипы здесь используются сравнительно редко. Более значимыми критериями противопоставления, прослеживаемыми на плакатном материале, являются классовый, территориальный, темпоральный, собственно антропологический<sup>5</sup> критерии. Поэтому уместно рассматривать советское плакатное искусство, во-первых, с точки зрения его вклада в конструирование «когнитивной карты» советского пространства в сознании его обитателей, а во-вторых, с точки зрения создания набора признаков, отличающих советского человека как «мы» от плакатных образов врага, определяемых как «они». Надо отметить также, что в данном случае для нас неважно, насколько вымышленным является критерий противопоставления или тот или иной признак, применяющийся для характеристики враждебного образа (например, критерий классовости<sup>6</sup>), поскольку мы в любом случае говорим лишь о модели идентификации, идеологическом и когнитивном конструкте.

Конституирующим для любого пространства является представление о его границах, о центре и периферии. Размышляя о соотношении между изображением «мы» и «они» в рамках изобразительного поля плаката нельзя не отметить постепенное изменение роли центра и периферии, а также изменение статуса границы. В ранних советских плакатах (как символических, так и карикатурных) враг часто помещается в центр плакатной композиции. Положительный персонаж либо отсутствует вовсе (как на многих плакатах В. Дени), либо показан в уменьшенном масштабе по сравнению с вражеским образом. Примерами могут служить известный плакат А. Апсита «Интернационал» (1918/19) и не менее известный «Смерть мировому империализму» Д. Моора (1919). В двухфигурных композициях, изображающих прямое противостояние, оба противника зачастую показаны равноправными, как на плакате Дени «Или смерть капиталу, или смерть под пятой капитала», где в двух одинаковых по формату частях изобразительного поля представлены иллюстрации обеих частей лозунга, абсолютно равноправные в композиционном смысле<sup>7</sup>, а иногда (как, например, на плакате В. Лебедева

---

<sup>5</sup> Для создания образа врага в политическом плакате часто использовались зооморфные или фантастические персонажи.

<sup>6</sup> *Фитцпатрик*. 2001.

<sup>7</sup> Противоположный пример (расстановка смысловых акцентов с помощью композиционного приема) представляет сравнение эскиза и окончательного варианта плаката Д. Моора «Казак, ты с кем: с нами или с ними?» (1920).

«Мародер» (1920)), фигура отрицательного персонажа занимает центр изобразительного поля, а положительный персонаж, пытающийся оказывать ему сопротивление, оттеснен на периферию и выглядит беспомощным. В большинстве ранних советских плакатов присутствует свободное отношение к композиционному центру плаката, что часто делает сообщение неоднозначным и ставит его в зависимость от зрительских интерпретаций. Для плакатов 1930-х гг., напротив, устоявшейся традицией является масштабный и композиционный символизм: вражеский образ, как правило, представлен фигурой меньшего размера и вынесен на периферию, часто за рамки основного изображения, где он выступает скорее в роли наблюдателя, чем участника действия. Характерные примеры – плакаты «Жить стало лучше, жить стало веселее» (1937), «Кого мы били» (1939). В тех случаях, когда образ враждебного представлен не отдельной фигурой, а изображением пространства западного города, это пространство, сдвинутое к краю изобразительного поля (центр которого в этом случае занимает изображение советской стройки или нового советского быта), характеризуется в изобразительном плане теснотой, а часто еще и плохой освещенностью («Пролетарий Запада, на леса социалистического строительства в СССР!» и другие).

Советское символическое пространство может быть охарактеризовано не только через проблему центр – периферия, но едва ли не более выпукло — через проблему границы. Знакомство с плакатным дискурсом середины 1920-х гг. позволяет выдвинуть на передний план не столько классовый критерий (скорее номинальный, если не фиктивный в условиях ранней советской действительности), сколько критерий временной. Он основывался на представлении о том, что революция – это конец одного времени и начало другого или вообще кризис привычного представления об историческом времени. Для взглядов большевистских теоретиков 1920-х гг. характерно понимание пафоса революции как тотального разрушения. Революция была «хирургической операцией», отсекающей старое от нового, которому еще только предстояло быть созданным. Плакат В. Дени «Последний час» (1920) использует образ часов, единственная стрелка которых – длинный острый нож, постепенно приближающийся к шее обреченного «капиталиста»; полный ужаса взгляд жертвы устремлен на неумолимо движущееся оружие<sup>8</sup>.

---

<sup>8</sup> Этот изобразительный сюжет впервые был введен в 1906 г. в картине молодого художника И. Мушкетова «Часы». На картине была изображена голова рабочего на фоне циферблата, а к ней приближалась часовая стрелка в виде острого меча. См.: *Бутник-Сиверский*. 1960. С. 14. До того, как этот образ был использован в плакате Дени, он был многократно воспроизведен как в плакатах, так и в советской

В послереволюционной риторике 1920-х гг. господствует призыв не к *изменению* культуры, быта, человека и т.п., а к *замене* старой культуры, старого человека новыми конструктами. То, что этого «нового» человека, равно как и нового быта, в 1920-е гг. еще не существовало, не подрывало оптимистической веры в неизбежное появление новых моделей жизни. Плакаты периода Гражданской войны уверенно изображают новый мир, противопоставляя его старому, подлежащему исчезновению. Приведем в качестве примера плакат Д. Моора «Прежде: один с сошкой – семеро с ложкой; теперь: кто не работает – тот не ест». Плакат состоит из двух зеркально симметричных рисунков, разделенных горизонтальной границей. Нижний рисунок, представляющий справедливое «теперь», содержит изображение обедающего крестьянина, из-за плеча которого виднеется морда его жующей лошади. Реальное положение крестьянства в 1920 г. в разоренной и голодной стране не могло служить опровержением описываемой плакатом реальности. Революция остановила бег времени, и настоящее стало равно будущему. Каждый из рисунков-частей плаката заключен в отдельную рамку, что подчеркивает непроницаемость границы между прошлым и настоящим-будущим («теперь» надо читать как «отныне и впредь»). Среди прочих плакатов Гражданской войны, построенных на противопоставлении «прежде – теперь», можно упомянуть плакат Л. Саянского «Прежде одни дворянчики в гимназиях учились – а ныне повсюду советские школы открылись!» (1920), а также произведение неизвестного автора «Бывало муж жену за волосы таскает – а ныне ей вслух газету читает» (1920).

Совершенно уничижительным был в 1920-е гг. эпитет «бывший» («бывшие хозяева», «бывшие господствующие классы»). На первый план выдвинулся вопрос о происхождении и занятиях до революции. Заслуги перед новым режимом и деятельность в послереволюционный период значили теперь меньше, чем компрометирующие обстоятельства прошлого, немедленно отправлявшие в категорию «бывших людей»<sup>9</sup>. Утвердившаяся со времен Гражданской войны категория врагов, обозначаемая как «помещики и капиталисты» и воплощаемая в стереотипном карикатурном образе, перекочевывает из плаката в плакат. Иконография

---

печати, хотя разумеется, в перевернутом виде, как приближение «последнего часа капиталистов».

<sup>9</sup> Злоупотребление классовой терминологией уже не могло замаскировать фактических причин дискриминации, поскольку, как известно, классовая принадлежность не была зафиксирована в официальных документах, удостоверяющих личность, и могла выводиться только из дореволюционного рода деятельности человека, а также свидетельских показаний и личных заявлений.

«классового» врага в большинстве советских плакатов 1920-х гг. почти не претерпевает изменений; продолжают эксплуатироваться изобразительные штампы, берущие начало в традиции журнальной карикатуры 1905–07 гг. Факт этот достоин внимания, поскольку политический плакат – тот жанр, где актуальность художественного языка особенно важны, что неоднократно подчеркивалось критиками и рецензентами советских плакатов. Тем не менее, ни один из них не считает нужным отметить, что категории, которыми оперируют плакатысты, создавая образ врага, безнадежно устарели. Скорее такая трактовка противника кажется вполне естественной как создателям, так и зрителям политических плакатов 1920-х гг.; ведь и сам этот враг – «бывший», он принадлежит другой эпохе, другой системе координат. Например, в плакате В. Дени «Враги пятилетки» (1929) мы встречаемся с такими персонажами, как «помещик», «меньшевичок», «вояка белый». И если двое последних даны нам в ряду зарубежных врагов, таких как «капиталист»<sup>10</sup> и «продажный журналист», что является очевидным намеком на эмиграцию бывших белогвардейцев и политических оппозиционеров, то «помещик» остается символическим внутренним врагом пятилетки, хотя говорить о наличии крупных землевладельцев в советской действительности периода перехода к плановому хозяйству представляется абсурдным.

Итак, образ врага в ранних советских плакатах трактуется через проблему темпоральной, а не территориальной границы. Что касается границ пространственных, они должны быть уничтожены (лозунг одного из плакатов, изданных на немецком языке в Саратове так и звучит: «Мы уничтожаем границы между странами»<sup>11</sup>). Интересный пример визуального текста, где отношение к границе выражено косвенно, через композицию, представляет антирелигиозный плакат К. Мельникова «По копейке с крестьянства собралось церковей убранство / серебро и золото / Что ж вы встали черным станом? Все должны отдать крестьянам / умирающим от голода». Центр плакатной композиции занимает церковный «черный стан» в виде окруженного сплошным забором замка, за пределами которого мы видим истощенные фигурки крестьян. Значение символической границы, разделяющей «богатства церкви» и «умираю-

<sup>10</sup> Наделив «капиталиста» характерными атрибутами: моноклем и цилиндром, художник счел необходимым подчеркнуть его американское происхождение еще и цветом кожи: «капиталист», как ни странно, чернокожий.

<sup>11</sup> “Wir vernichten die Grenzen zwischen den Laendern”. Другой пример – плакат с лозунгом «Кооперация не знает границ», изображающий паровоз. Паровоз как символ движения и преодоления пространства – распространенный символ ранних революционных плакатов. Противоположный ему символ в этом контексте – изображение пограничного столба, т.е. того, что сдерживает движение.

щих крестьян», имеет однозначно негативный характер. Эта граница, как и прочие, должна быть разрушена<sup>12</sup>.

Напротив, нет нужды доказывать, насколько важной стала идея границы для культуры 1930-х гг. Плакаты этого периода часто визуализируют линию границы и пограничный столб как символы, обеспечивающие суверенность «своего» пространства. Неприкосновенность границы сама по себе становится триумфом победы над врагом. Лозунги плакатов середины – конца 1930-х гг. на все лады воспевают государственную границу и воина, охраняющего ее: «Красная армия – зоркий часовой советских границ» (В. Дени, 1934), «Те, которые попытаются напасть на нашу страну, получат сокрушительный отпор» (Н. Эллис, 1935)<sup>13</sup>, «Любой агрессор разобьет свой медный лоб о советский пограничный столб» (В. Дени, 1939) и т.п.

Наконец, положение человека в пространстве также может быть истолковано символически. Герои революционного плаката часто показаны в движении (иногда – отрывающимися от земли<sup>14</sup>), в позе, символизирующей активное действие, в то время как положительный персонаж политического плаката 1930-х гг. нередко изображен застывшим в уверенной позе, твердо, обеими ногами, стоящим на земле, демонстрирующим силу, но не предпринимающим активных действий в отношении врага. Вражеские фигуры, напротив, часто показаны висящими<sup>15</sup>, или летящими кувырком; они лишены твердой опоры, неустойчивы.

Суммируем наиболее типичные (шаблонные) способы представления соотношения между положительным и отрицательным образом в рамках отдельного плакатного произведения в виде нескольких схем:

1) *Один положительный герой, данный обычно в увеличенном размере, сражается с большим числом мелких врагов; герой и враг композиционно противопоставлены друг другу.* Сравнительно редкий вариант: противостояние одного героя и одного врага. Подобные плакаты

---

<sup>12</sup> Аналогичным образом, как разрывание границы, может быть истолковано символическое рассечение границы круга на плакате Л. Лисицкого «Клином красным бей белых». Все эти примеры удивительно легко укладываются в характеристику, данную В. Паперным «культуре 1», как культуре горизонтального движения и «растекания» в противоположность тенденции к иерархии и «затвердеванию», характеризующей сталинскую культуру. См.: Паперный. 2007.

<sup>13</sup> Лозунг плаката – изречение Сталина. Описание плаката в Летописи Изоизданий имеет такую формулировку: «Фашистское свиное рыло с ножом в руке крадется к границам СССР». Само наличие границы уже дает врагу «сокрушительный отпор».

<sup>14</sup> С. Иванов. Первое мая. Да здравствует праздник трудящихся всех стран! (1920).

<sup>15</sup> А. Каневский. Сильная и мощная диктатура пролетариата (1933).

(один из них произвел большое впечатление и вызвал эмоциональную интерпретацию С. Плаггенборга<sup>16</sup>) более характерны для военного времени, времени открытой конфронтации с противником. Вне военного контекста излишняя индивидуализация *рядового* противника<sup>17</sup> скорее вредит действенности плакатного образа, мешая ему вписаться в общий идеологический дискурс враждебного.

2) *Изображение врагов занимает небольшую часть поля (в углу или внизу), будучи отделено от основной части рисунка сплошной линией.* Этот тип изображений берет начало в дуалистических плакатных текстах типа «прежде – теперь» или «у нас – у них». Пространственное соотношение между двумя частями плаката со временем становится все более неравномерным, враг оттесняется на периферию, его присутствие продолжает ощущаться, но уже не в плакате, а скорее за его пределами. Враги, изображаемые на периферии, начинают играть роль зрителей со знаком минус, вступая в диалог с основным плакатным изображением. Зритель плакатов, воспевающих мощь советского государства или справедливость сталинской конституции, не должен забывать о тех, чья эмоция по поводу плакатного сообщения противоположна его собственной.

3) *Враг не является частью изображения, его присутствие композиционно не акцентировано.* К обнаружению врага зритель приходит в результате расшифровывания риторической фигуры (например, визуализированной метафоры) или восстановления контекста. Ключ к пониманию плаката лежит вне самого плакатного текста.

Обнаружить прямых предшественников советского плакатного образа буржуа не составляет труда. Тип капиталиста как толстого человека в цилиндре и с сигарой находим уже в графике эпохи Великой Французской революции<sup>18</sup>. В период между Февральской и Октябрьской революциями, вследствие распространившейся «моды на социализм», растут тенденции политизации любой дискуссии, где в качестве аргумента использовалось обвинение в «буржуазности»<sup>19</sup>. В этот период распространяются стереотипы, на основе которых, спустя короткое время, сформировался иконографический тип «буржуй» в советском плакате.

<sup>16</sup> Плаггенборг. 2000. С. 185-189.

<sup>17</sup> Речь не идет об изображении знаковых фигур вроде Троцкого, Чемберлена или папы римского.

<sup>18</sup> *Hobsbawm*. 1978.

<sup>19</sup> «...введено новое бранное слово: – Буржуа... Кажется, по своему ругательному значению это слово занимает как бы среднее место между 'подлец' и 'скотина', а широкое употребление его объясняется, по-видимому, его полемическими удобствами». Русское слово. 1917. 22 марта; цит. по: *Колоницкий*. 1994. С. 196.

Распространенный стереотипный образ «паука»-капиталиста и угнетаемых им «мух»-рабочих, который широко использовался в большевистском плакате периода гражданской войны<sup>20</sup>, также не являлся изобретением большевиков. Эта образность заимствовалась в 1917 г. пропагандистами разной партийной принадлежности из брошюры Вильгельма Либкнехта «Паук и мухи»<sup>21</sup>: «Пауки – это господа, сребролюбцы, эксплуататоры, дворяне, богачи, попы, сводники, дармоеды всех родов! ... Муха – это несчастный рабочий, который должен подчиняться всем законам, какие только вздумает создать капиталист – должен подчиняться, ибо у бедняка нет и куска хлеба»<sup>22</sup>.

В период становления советского плаката в годы гражданской войны оформляются в один букет основные черты образа буржуа: его корпулентность, такие атрибуты как цилиндр, галстук-бабочка, мешок с деньгами. Одним из основоположников типа буржуа в советском плакате стал В. Дени. Однако тип буржуа у Дени, особенно в ранних плакатах, не связан напрямую с деньгами, богатством (эта ассоциация в более позднем советском плакате должна была на популярном уровне символизировать классовый характер борьбы). К примеру, в плакате «Учредительное собрание» (1919) большим денежным мешком наделена фигура французского жандарма (с разъяснительной надписью: «Франция»), а фигура с надписью «буржуй», никакими отличительными чертами, кроме франтоватого костюма и цилиндра, не обладает. С другой стороны, именно Дени в плакате «Капитал» того же года связал образ толстого человека в цилиндре и с цепочкой на животе с россыпями золотых монет<sup>23</sup>, фабричными зданиями на заднем плане и паучьей сетью. А. Плюм<sup>24</sup> прослеживает аналогию между этим плакатом советского художника и образом «финансиста» в политической графике национал-социализма, где образ «капиталист» сливается с образом «еврей»: уже в раннем плакате 1924 г. мы встречаем образ капиталиста-толстяка, кото-

---

<sup>20</sup> В. Дени. Паук и мухи (1919); В. Дени. Капитал (1919).

<sup>21</sup> Авторство этой брошюры позднее приписывалось Карлу Либкнехту. Книга «...выдержала более 20 изданий, ее выпускали и большевистские, и эсеровские, и меньшевистские издательства...» (*Колоницкий*. 1994. С. 189). Исследователь называет брошюру В. Либкнехта «бестселлером», приводя примеры высказываний солдат и рабочих, на которых этот текст произвел большое впечатление.

<sup>22</sup> Там же. С. 189-190.

<sup>23</sup> Отдельный атрибут образа (цилиндр, например) может метонимически замещать целое: так, фигура капиталиста в советском плакате начала 1930-х гг. карикатурно редуцируется до изображения плотно набитого мешка (Б. Клинич. Великий идол социал-фашизма. 1933; Кукрыниксы. Свобода буржуазной печати. 1931).

<sup>24</sup> *Плюм*. 1998.



рый держит в руках «нити», с помощью которых манипулирует изображенными рядом «рабочими». Эти нити, по мнению немецкой исследовательницы, синонимичны изображению сети у Дени, карикатурные мотивы которого заимствуются нацистской пропагандой.

Понятно, что тип «буржуй» или «капиталист» не имеет прямой связи с классовостью. Как любой другой отрицательный образ, тип «буржуй» обладает набором черт, которые можно произвольно расширять. Так, легко заметить, что отрицательные плакатные образы В. Дени часто легко взаимозаменяемы. Одна и та же фигура (с небольшими иконографическими изменениями, касающимися костюма и атрибутов) могла изображать и капиталиста<sup>25</sup>, и кулака<sup>26</sup>, и священника<sup>27</sup>, и западную страну<sup>28</sup>, и фашиста<sup>29</sup>. Но на одном случае такого расширения, хочется остановиться: иконографический тип «капиталист» становится в советской плакатной пропаганде основой для иконографии «кулака».

Как отмечает Б. И. Колоницкий, обиходное использование понятия «буржуй» в 1917 г. включало не только определение более высокого (по сравнению с собственным) социального статуса, но и помогало маркировать «антизападные» или «антигородские» настроения говорящего: «Есть и такие, что считают буржуем всякого, кто ходит в шляпе и имеет 'господское обличье'»<sup>30</sup>. Привычное недоверие крестьян к городским «буржуйам» облегчало идентификацию типа «капиталист в цилиндре» как враждебной фигуры. Затем, поскольку данный тип был узнаваем, а собственные критерии наглядного выделения «кулака» из массы крестьян отсутствовали, в основу визуализации образа врага в деревне были положены знакомые очертания фигуры «капиталиста», но одетого в крестьянскую рубаху (цилиндр был соответственно заменен картузом). Этот иконографический тип широко использовался на протяжении 1920-х гг. Он слегка пошатнулся в начале 30-х, когда ему был нанесен удар в сталинской речи о партийных работниках в деревне (на короткое время возобладала рисунки, где тип «кулак» заимствовал свои черты не у «капиталиста», а скорее у «бюрократа» – одной из вариаций типа «интеллигент»), однако позже прежний тип был восстановлен.

<sup>25</sup> В. Дени. Капитал (1919).

<sup>26</sup> В. Дени. Хлебный паук (1920). Костюм «кулака» отличается от костюма «капиталиста», место денег заняли туго набитые мешки, однако не только поза персонажа и сеть за его спиной, но и цепочка на животе остались теми же.

<sup>27</sup> В. Дени. Паук и мухи (1919). Этот образ больше отличается от двух предыдущих, но образ паучьей сети усилен тем, что самой фигуре приданы паучьи черты.

<sup>28</sup> В. Дени. Германия (1940).

<sup>29</sup> В. Дени. Сталинград (1943).

<sup>30</sup> Добров. 1917. С. 3. Цит. по: Колоницкий. 1994. С. 195.

Корпулентность – отличительный признак враждебных фигур, относящихся к типам «буржуй», «поп» или «кулак», имеющим между собой много общего. Следующий иконографический тип характеризуется уже другими чертами. «Интеллигент-вредитель», узнаваемый часто по такому атрибуту как очки и распространившийся с конца 1920-х – начала 30-х гг. – венец большого пути формирования клишированного способа визуализации, история которого полна неожиданных поворотов.

Понятие «интеллигент» в российском общественном сознании начала XX в. имело еще меньше шансов стать термином, опирающимся на какой-либо социальный критерий, чем понятие «капиталист». Мы не будем останавливаться на дореволюционных самоопределениях российской интеллигенции, носящих по преимуществу элитарный характер и сводящихся к противопоставлению собственной малочисленной группы массе мещан, чей образ жизни и внешний вид служат воплощением пошлости<sup>31</sup>. Ограничимся упоминанием стереотипного облика интеллигента-либерала в общественном сознании: его атрибутами являлись длинные волосы и свободно повязанный галстук или бант на шее<sup>32</sup>.

За февральской революцией последовал краткий период «интеллигентократии», «либеральный» вид стал повальной модой: если раньше различие между рабочим и, например, членом Государственной Думы легко прочитывалось по внешним признакам, то после февраля 1917 г. атрибуты высокого общественного положения стали одними с презрением, другими – из конформизма – отвергаться: «Да и сами члены Временного Правительства совершенно не соответствовали традиционным представлениям о руководителях государства: “...одеты они были более чем небрежно, и походили скорее на рабочих, чем на интеллигентных людей”, вспоминал адмирал, хорошо знавший образ жизни и манеры поведения представителей высшей власти дореволюционной России»<sup>33</sup>.

Красный цвет моментально завоевал огромную популярность, сохраняя ее на протяжении всего революционного года: красные банты, шарфы, повязки стало носить практически все городское население. Отметим и случаи стереотипного соотнесения в 1917 г. неформального внешнего вида и принадлежности к радикальным партиям. «Начальник штаба Черноморского флота вспоминал: “В начале июня в Севастополь

---

<sup>31</sup> См.: *Воуп.* 1994.

<sup>32</sup> «Он носил черный галстук, повязанный либеральным бантом... Он был, как говорили мои тетки, шипением своего ужаса, как кипятком, ошпаривая человека, «красный»; мой отец его вытащил из какой-то политической истории (а потом, при Ленине, его, по слухам, расстреляли за эсерство)» (*Набоков.* 1990. С. 142).

<sup>33</sup> *Колоницкий.* 2001a. С. 6.

прибыло несколько матросов Балтийского флота. Вид у них был разбойничий — с лохматыми волосами, фуражками набекрень, — все они почему-то носили темные очки. Было ясно, что это большевистские агенты”. Не все агитаторы-балтийцы были на деле большевиками, но показательно, что “партийная принадлежность” определялась на основе подобных внешних признаков<sup>34</sup>. Отголоски стереотипного образа матроса в 1917 г. как лохматого человека в широченных брюках клеш и в темных очках<sup>35</sup> можно обнаружить в рисунке В. Козлинского «Матрос» (1921), а также в легкой неприязни, с которой рабочие после революции относились к матросам, называя их «клёшниками».

Однако в советском политическом плакате такие детали внешнего облика, как длинные волосы и очки, конечно, не могли стать атрибутами матроса-большевика. Они прочно закрепились за изображением эсеров и меньшевиков<sup>36</sup> – тех, кто в отличие от ненадолго увлекшихся революционной модой матроса или солдата не пошел дальше этой моды. Ранний плакат неизвестного художника из Тифлиса «Остерегайтесь меньшевиков и эсеров: за ними идут царские генералы, попы и помещики» изображает лохматого сублильного человечка в очках, с красным бантом на шее и с самодельным знаменем, на котором слова «Земля и воля народ<ная>. Да здравствует Учредительное собрание»<sup>37</sup>. Очень похожая маленькая фигурка встречается у художников РОСТА<sup>38</sup>; интересно, что здесь тип «эсер» получает дополнительный атрибут – книгу. Сама по себе книга является в большевистском плакате положительным символом. Так, в плакате художника В. Спасского «К маяку коммунистического Интернационала» (1919) рабочий использует книгу в качестве плота, который должен помочь ему в борьбе со стихией<sup>39</sup>. Однако в

<sup>34</sup> Колоницкий. 2001б. С. 205-206.

<sup>35</sup> «...Особое внимание уделялось волосам, стричь которые считалось положительно неприличным. Шик был в наибольшем “коке” и лихо закрученных усах» (Колоницкий. 2001а. С. 38).

<sup>36</sup> Наиболее ранняя разновидность типа «интеллигент» в советском плакате.

<sup>37</sup> Фигура эсера лишена той мрачности, которая очевидна в облике идущих за ним. Эта же традиция высмеивания политических оппонентов прослеживается, например, в карикатуре К. Ротова «На арене борьбы» (1923). В виде боксерского поединка Красной Маски против Черной Маски показана борьба между германским рабочим и фашистом (оба весьма устрашающего вида). У рабочего под ногами путается маленький комичный «меньшевик» с тем же бантом, в очках и в больших клоунских башмаках. Подпись под рисунком: «Германский рабочий: – Как только начнешь бороться с этим чудовищем, так меньшевистский рыжий под ногами тут как тут!».

<sup>38</sup> М. Черемных. Окно РОСТА № 580 (1920).

<sup>39</sup> Полуобнаженная фигура рабочего, выдержанная в иконографической традиции Французской революции, очевидно, символизирует стихийность революции

сочетании с образом маленького, лишенного мускулатуры человека в очках такой атрибут, как книга, приобретает обвинительный характер.

На протяжении 1920-х гг. политическому плакату приходилось обслуживать множество мелких и крупных кампаний: борьбу с голодом и разрухой, ленинский призыв в партию, партийные чистки, борьбу со спекуляцией, бюрократией и т.п. Перед художниками-плакатистами и редакторами вставал вопрос об изображении негативных персонажей. Репертуар образов, оставшихся с Гражданской войны, был ограничен, но имел несомненное преимущество по части узнаваемости и моментальной оценки<sup>40</sup>. Для визуализации типа «бюрократ» чаще всего использовались черты того типа, который мы обозначили как тип «эсер». Как отмечает финский исследователь Т. Вихавайнен<sup>41</sup>, если «мелкобуржуазный политик-интеллигент» в советской прессе регулярно изображался в виде маленького человека с трусливым выражением лица и зонтом<sup>42</sup>, то образ бюрократа с ним практически совпадал, с той разницей, что к атрибутам бюрократа прибавлялся портфель<sup>43</sup>. Однако иконографический тип «интеллигент» был очень подвижным и не ограничивался распространением своего потенциала на иконографию типа бюрократа. Он с успехом применялся для визуализации таких с трудом дифференцируемых типов как «продажный журналист»<sup>44</sup> или «классовый враг в колхозе»<sup>45</sup>.

Ирония в том, что культурный тип «интеллигент» стал в 1920-х – начале 30-х гг. средоточием «мелкобуржуазного», «индивидуалистского» мировоззрения, т.е. «мещанства», в оппозиции к которому сформировалось само понятие российской интеллигенции. В 1924 г. Троцкий называет эсеров и меньшевиков «революционными мещанами». Однако всего через несколько лет в плакатную пропаганду войдет и закрепится тип врага, основанный на портрете Троцкого. Календарь 1923 г. (рисунок В. Дени), изображающий Троцкого еще героем, уже имеет, на взгляд более позднего зрителя, несколько карикатурные черты, поскольку религиозно-героический сюжет не вяжется с фигурой Троцкого, а тем более – с очками. Возможно, это был дружеский шарж. В ран-

---

онного движения, которому книга (на ее страницах видны слова «Карл Маркс» и «Пролетарии всех стран соединяйтесь») должна помочь обрести сознательность.

<sup>40</sup> Так, Маяковский, создавая комплексный образ бюрократа-спекулянта, воспользовался чертами давно распространенного типа «буржуй» (корпулентность, фрак и т.п.), добавив в качестве специальных атрибутов перо и бумаги.

<sup>41</sup> Вихавайнен. 2004. С. 30.

<sup>42</sup> Электрificazione и контрреволюция (1920?).

<sup>43</sup> Волокитчика, бюрократа, вредителя вон из Совета! (1925).

<sup>44</sup> Кукрыниксы. Свобода буржуазной печати (1931).

<sup>45</sup> Преодолеем сопротивление классового врага (1933).

ние 1920-е гг. это не было странным: можно привести и другие примеры (шарж на Бухарина и Преображенского<sup>46</sup>). В 1930-е гг., когда портретное изображение Троцкого в плакате уже однозначно сигнализировало врага, он приобретает и такие атрибуты, как фрак, что должно было приблизить его к облику дореволюционной аристократии<sup>47</sup>.

В плакатах первой пятилетки появляется новая фигура «врага-интеллигента»: человек в фуражке инженера и в очках, натягивающий на пути у несущегося паровоза социалистического строительства веревку с надписью «вредительство». Это уже тот типаж, который появится в плакате В. Дени на тему дела Промпартии «Ставка интервентов бита» (1931), но он имеет и более ранние проявления, например, у Маяковского в Окнах РОСТА<sup>48</sup>. «Контрреволюционер-вредитель» (плакат Дени) отличается от этих персонажей более зловещим видом, а кроме того, в его облике можно заметить черты аристократа (например, запонки).

Транслируемые плакатом культурные стереотипы весьма устойчивы, поскольку любой из них «выступает как продукт коллективной категоризации, связанный с присвоением некоей группе лиц собирательного имени и с приписыванием им атрибутов, определяемых данным именем», а это, в свою очередь, означает «установление эквивалентности между названным человеком и ему подобными»<sup>49</sup>. Необходимость оперативно реагировать на текущие события и в краткие сроки визуализировать политический лозунг заставляла художников-плакатистов использовать имеющийся дореволюционный опыт и опираться на существующие иконографические традиции. Громадные объемы плакатного производства, наряду с принципиальной многозначностью изобразительного образа, затрудняли трансляцию четкого идеологического посыла, размывая его, давая простор для интерпретации плакатного рисунка зрителем, не обладавшим твердым знанием генеральной линии партии. Именно предшествующий зрительский опыт аудитории (в первую очередь городской) помогал ей устанавливать эквивалентность между плакатным образом и имеющимся культурным стереотипом, «общественно разделяемым способом когнитивного упорядочения мира людей»<sup>50</sup>.

<sup>46</sup> В. Дени. Коммунистические святители (1923?)

<sup>47</sup> На плакате Дени «Шагают к гибели своей» (1937) маленькая фигурка Троцкого указывает путь «фашистам», несущим бомбу. Один из них изображен в очках.

<sup>48</sup> В. Маяковский. Раньше инженер сидел в конторе... (1923). Характерно, что в первых частях этого повествования из шести листов «инженер» обладает очками, но к концу становится товарищем рабочих и теряет этот интеллигентский атрибут.

<sup>49</sup> Социальные стереотипы... 2002. С. 85.

<sup>50</sup> Там же. С. 84.

Таким образом, рассматривая массивы плакатных произведений, мы можем изучать *семантическое* пространство социальной идентичности, которое *осложняет* социальное пространство, превращая его в *социокультурное* и делая его объектом культурологического изучения.

### БИБЛИОГРАФИЯ

- Бутник-Сиверский Б.С.* Советский плакат эпохи Гражданской войны 1918-21. М.: Изд-во Всесоюз. книжной палаты, 1960. 696 с.
- Вихавайнен Т.* Внутренний враг: борьба с мешанством как моральная миссия русской интеллигенции. СПб.: Коло, 2004. 416 с.
- Горощенко Г.* Оформление упаковок. М.-Л.: Огиз-Изогиз, 1932. 56 с.
- Добров М.* Что такое буржуазия. Пг.: Тип. «Копейка», 1917. 15 с.
- Колоницкий Б.И.* Антибуржуазная пропаганда и «антибуржуйское» сознание // *Анатомия революции*. 1917 год в России: массы, партии, власть. СПб.: Глаголь, 1994. 444 с.
- Колоницкий Б.И.* Погоны и борьба за власть в 1917 году. СПб.: Остров, 2001а. 84 с.
- Колоницкий Б.И.* Символы власти и борьба за власть: К изучению политической культуры российской революции 1917 года. СПб.: Дмитрий Буланин, 2001б. 349 с.
- Набоков В.В.* Другие берега // *Собр. соч.*: В 4 т. М.: Правда, 1990. Т.4. С. 133-302.
- Паперный В.* Культура Два. М.: НЛЮ, 2007. 408 с.
- Плаггенборг С.* Революция и культура. Культурные ориентиры в период между Октябрьской революцией и эпохой сталинизма. СПб.: Журнал «Нева», 2000. 416 с.
- Поршнев Б.Ф.* Социальная психология и история. М.: Наука, 1979. 257 с.
- Ядов В.А.* Социальные идентификации личности в условиях быстрых социальных перемен // *Социальная идентификация личности-2*. Годовой отчет института социологии РАН за 1994 г. М.: РАН. Институт социологии, 1994. Кн. 2. С. 264-290.
- Социальные стереотипы: вчера, сегодня, завтра // Социальная психология в современном мире*. М.: Аспект Пресс, 2002. С. 76-95.
- Фитцпатрик Ш.* «Приписывание к классу» как система социальной идентификации // *Американская русистика: вехи историографии последних лет*. Советский период: Антология. Самара: Изд-во «Самарский университет», 2001. С. 174-207.
- Voyn S.* Common Places: Mythologies of Everyday Life in Russia. Cambridge, Mass., London: Harvard University Press, 1994. 384 p.
- Gombrich E. H.* Das Arsenal der Karikaturisten // *Gombrich E. H.* Meditationen über ein Steckenpferd. Von den Wurzeln und Grenzen der Kunst, Wien, 1973. P. 195-216.
- Hobsbawm E.* Man and Woman in Socialist Iconography/ *History Workshop*. 6/1978. P. 130-149.
- Lippman W.* Public Opinion. New York: Macmillan, 1949. 272 p.
- Plum A.* Die Karikatur in Spannungsfeld von Kunstgeschichte und Politikwissenschaft. Eine ikonologische Untersuchung zu Feindbildern in Karikaturen. Aachen: Shaker Verlag, 1998. 381 p.
- Tajfel H.* Social stereotypes and social groups // *Intergroup behavior/ Ed. by J.C. Turner, H. Giles*. Oxford: Basil Blackwell, 1981. P. 144-167.
- Николаева Марина Филипповна***, магистр истории искусств, аспирант кафедры теории и истории культуры РГГУ; nikolaevamf@yandex.ru

А. А. БЛАГИН

**«СВОИ И ЧУЖИЕ»  
В АНГЛИЙСКИХ ШПИОНСКИХ РОМАНАХ 1950–60-х гг.  
К ВОПРОСУ ОБ ИДЕОЛОГИЧЕСКОЙ КОНФРОНТАЦИИ  
В ПЕРИОД ХОЛОДНОЙ ВОЙНЫ**

---

В статье рассмотрены некоторые инструменты пропаганды, используемые для формирования образа врага, на примере английских шпионских романов периода холодной войны, прослежена их взаимосвязь с историческим контекстом, с основными направлениями британской политики того времени.

*Ключевые слова:* Великобритания, шпионские романы, общественное мнение, образ врага, холодная война.

---

История холодной войны была насыщена драматическими событиями. Противостоящие блоки, возглавляемые США и Советским Союзом, раскололи мир надвое. Обе системы оказались не в состоянии соотнести национальные интересы с интересами других государств и народов, что позволило возникшему противостоянию перерасти в непримиримую вражду. В настоящее время расширяется тематика исследований данного периода, осваиваются новые направления и подходы, ставится проблема «войны идеологий», исследуются особенности формирования образа врага, представлений и стереотипов, которые во многом определили общий эмоциональный климат холодной войны.

Идеологическое противостояние было тесно связано с экономическим, политическим и военным соперничеством. Психологическое противостояние выливалось в конфронтацию свободного мира либерализма с СССР и его сателлитами<sup>1</sup>. Понятие «свободного мира» распространялось на страны Западной Европы и Америки, государства с демократическим устройством, рыночной экономикой, свободой прессы и т.д. Одно из них – Великобритания, где демократические ценности начали развиваться еще со времен Славной революции и издания «Билля о правах английских граждан»<sup>2</sup>. Английскому правительству, вынужденному

---

<sup>1</sup> Системная история международных отношений... Т. 3. 2003. С. 14. Пропаганда представляла собой распространение и утверждение в массовом сознании идеологически обусловленных систематизированных взглядов и представлений, составляющих мировоззренческие позиции личности и общества в целом. Стереотипизация сознания населения обладает рядом особенностей: схематизмом, упрощенностью, легкой усвояемостью, что обеспечивает закрепление созданных образов (стереотипов) в стабильных и прочных суждениях. Подробнее об этом см.: Грачев. 1998.

<sup>2</sup> Подробнее об этом см.: Томсинов. 2010.

признать лидерство США в глобальной политике, приходилось соотносить свои действия с возможными ответными реакциями Америки. У британских лидеров не было намерения полностью сдавать позиции на мировой арене. Но для усиления «политического веса» и влияния в международных вопросах требовалась поддержка общества, его определенное эмоциональное состояние, иными словами национальная идея.

В период холодной войны коммунистическая угроза западному миру стала основным и самым очевидным элементом идеологического противоборства, создававшим условия для корреляции общественного мнения в зависимости от менявшейся международной обстановки. На первый взгляд, идеологические противоречия между ведущими мировыми державами являлись причиной возникновения блокового противостояния, но в реальности они тесно переплетались с геополитическими вопросами при доминировании последних.

Пропагандистское воздействие осуществлялось разными путями: на уровне межличностного общения – устное выступление, лекция, а также с использованием технических средств массовой коммуникации: пресса, радиовещание, телевидение, информационные агентства, кинематограф и книгоиздательское дело. Именно на СМИ возлагалась задача не только информировать граждан по политическим, экономическим и другим вопросам, но и влиять на гражданское сознание. Поскольку идеология представляет систему убеждений, мифов и стереотипов касательно основных сфер деятельности людей<sup>3</sup>, то задачей каждой стороны конфликта ставилось преломление отдельных суждений у личности, коллектива, части общества. Применение таких элементов пропаганды, как манипуляция, стереотипизация и мифологизация, приводило к взаимной демонизации образов соперников: советская пропаганда «устрашала» собственное общество замыслами уничтожения Западом СССР, точно так же, как британская – убеждала общественность в намерении Москвы распространить коммунизм на весь мир<sup>4</sup>. Подобные образы играли важную роль в создании общественного мнения, консолидации нации в борьбе за утверждение необходимых ценностей.

Ряд исследователей считает, что нельзя рассматривать литературное произведение как источник по изучению конкретной исторической эпохи, поскольку в нем преобладают творческая фантазия и вымысел. По мнению других (М. Румянцева, И. Беленький, Е. Цимбаева), художественное произведение отражает настроения общества; литература важна для выяснения «внутренней правды эпох, отличающихся особым

<sup>3</sup> Подробнее об этом см.: *Ольшанский*. 2001. С. 360–383.

<sup>4</sup> Системная история международных отношений. С. 14.



трагизмом»<sup>5</sup>. Естественно, художественное произведение имеет черты, не свойственные традиционным источникам: во-первых, наличие системы художественных образов и идей. Другим отличием является взаимоотношение действительности и отражения ее в тексте; их сопоставление позволяет выявить замысел и цели автора, определить уровень субъективности литературы, окрашенной творческой фантазией писателя. Изучая шпионский роман, надо учитывать его отстраненность «механизмами культурной трансляции от породившей его человеческой активности». Писатели интегрированы в данную среду, из-за чего нередко происходит отражение особенностей «не личности и сознания, но порождающих их социокультурных систем»<sup>6</sup>. Действие шпионских романов происходит в эпоху создания текста. Подробно излагая в них сложности и нюансы борьбы разведывательных служб, писатели исходили из собственного жизненного опыта, поскольку были связаны со спецслужбами. Одни непосредственно являлись оперативными работниками «Интеллидженс сервис»<sup>7</sup>, другие сотрудничали с данным управлением (например, в качестве «свободных» журналистов)<sup>8</sup>.

В послевоенные десятилетия XX в. массовым читательским спросом пользовались произведения с приключенческим и детективным сюжетом на актуальном международно-политическом материале. Наиболее ощутимо возрос удельный вес жанра, который принято называть «политическим шпионским романом». Произведения Яна Ланкастера Флеминга, автора серии романов о Джеймсе Бонде стали бестселлерами 1950-х – начала 1960-х гг., равно как и Джона Ле Карре, создавшего «Шпиона, пришедшего с холода», «Войну в зеркалье». Не менее известны были Лен Дейтон, Грэм Грин, расширивший географию действий своих героев в романах «Комедианты», «Наш человек в Гаване», «Тихий американец», а также Кен Фоллетт и Алистер Маклин с романами «Последняя граница» и «Дьявольский микроб».

Причины интереса к таким произведениям лежали в особенностях политической ситуации в период холодной войны<sup>9</sup>, в противоречиях глобального масштаба, затрагивающих основы человеческого существования. Кризисные ситуации стали чаще возникать на прежней периферии – вне Европы, в странах Азии, Африки и Латинской Америки. Сни-

---

<sup>5</sup> Вестник Российской Академии Наук. Том 73. № 8. С. 758-760.

<sup>6</sup> Шкуратов. 1997. С. 89.

<sup>7</sup> Секретная разведывательная служба (МИ-6), орган внешней разведки Великобритании. Служба входит в состав Объединённого разведывательного комитета.

<sup>8</sup> Блоч, Фитцджеральд. 1987. С. 72.

<sup>9</sup> Price. 1994. P. 49–66.

жение ядерной опасности в Европе вело к усилению напряженности в странах «третьего мира»<sup>10</sup>. Угроза катастрофы от распространения ядерного оружия заставляла людей напряженно вглядываться в меняющиеся контуры международной политики. Желание понять причины возникающих конфликтов подталкивало читателя к политическому детективу.

Шпионский роман – разновидность жанра политического детектива. Детектив второй половины XX в. в модернистской и постмодернистской версиях, в его внутрижанровых модификациях нес на себе печать современной культуры; постепенно трансформируясь, становился многоуровневым и многомерным, наполненным социокультурной значимостью. Большинство шпионских романов в той или иной степени отражали концепции и взгляды авторов на мировую политику и происходившие события. Политическая тема произведения неизбежно вызывала политическую оценку, выражавшуюся либо непосредственно, либо через синтез с психологической, эстетической проблематикой. Следует подчеркнуть, что положительные и отрицательные герои были продуктом мифотворчества. Знаменитый английский писатель Дж. Ле Карре писал: «С конца прошлой войны и с начала холодной мы живем мифологией <...> в газетах нам постоянно рассказывают о шпионах, пойманных на Востоке или на Западе. Литература присвоила себе эту тему и создала миф, искажающий действительность...»<sup>11</sup>. Главным образом, мифы конструировались вокруг потенциального противника, создавая образы врагов.

Болгарский писатель Б. Райнов выделял два поджанра в зависимости от особенностей сюжета и проблематики: в одном использовался материал разведки, в другом – контрразведки<sup>12</sup>. Такое разграничение было связано с определенными тематическими отличиями материала и своеобразной трактовкой нравственных проблем, вытекающих из этих различий. Другой наиболее распространенной классификацией является подразделение «шпионской литературы» на реалистическую и фантастическую. В произведениях реалистического направления, представленных Дж. Ле Карре, Л. Дейтоном, Г. Грином, раскрывались проблемы человеческих взаимоотношений в кризисных ситуациях, их герои – реальные люди, действующие и погибающие в реальном мире, обладающие интеллектуальными, дедуктивными способностями. Фантастическое направление – это баланс «жанра глубокомысленной “шпионской” истории и пародии на этот жанр»<sup>13</sup>. В таком романе условность персо-

<sup>10</sup> Егорова. 2008. С. 29.

<sup>11</sup> Цит. по: Райнов. 1975. С. 256.

<sup>12</sup> Райнов. 1975. С. 187.

<sup>13</sup> Косов, Митрохин. 1992. С. 398.

нажей, ироничность автора и сентиментальные вставки сочетались с описанием ужасных убийств; главный герой предстал перед читателем в образе супергероя. Пример такого героя-символа – Джеймс Бонд, созданный Я. Л. Флемингом, либо герои романов А. Маклина.

Несмотря на такое деление, в каждом произведении формировалось представление о собственной нации через изображение враждебных персонажей, происходила оценка деятельности государства на фоне угрозы извне. Образы других народов как механизм понимания соседей – плодом внутреннего мифотворчества, важный фактор конструирования собственной «Я–концепции», включающей три компонента. Во-первых, это национальная идентичность, находящая отражение в основополагающих для нации ценностях. Второй, более изменчивый элемент – статус собственного государства. Самый подвижный, третий компонент привносит политическое руководство страны, по-своему понимающее идентичность и статус государства и генерирующее ситуативные образы<sup>14</sup>: образы другого, чужого, союзника, врага. Подобные образы других народов занимали крайние позиции на сравнительных шкалах, отражающих значимые ценности общества в тот или иной период. В положительном секторе оценочной системы располагалась собственная нация, а другие народы – в отрицательном. Национальное сознание и культура постоянно формировали архитектурную конструкцию значимых отрицательных отличий, приписываемых другим народам. Накладываясь на практику личного общения, исторический опыт, воздействие средств массовой коммуникации, образ другого превращался в многослойную толщу, задающую разграничительные оценки для дихотомии «мы – они», «свой – чужой»<sup>15</sup>. В разные периоды истории этот образ приобретал различные эмоциональные, политические и другие оценки.

Мир «чужих» в британском обществе формировался, прежде всего, вокруг образов близких соседей: ирландцев, французов, голландцев. Истинно английское, национальное начало с его разумным самоограничением, следованием принципам, содержательной простотой противопоставлялось рациональности и изнеженности «континента». Далее находился «широкий» мир, в котором периодически возникали значимые для английского сознания первообразы «других». Важное место в нем отводилось России, которая воспринималась как суровая северная страна, лишенная стремления к свободе, тотально зависящая от центральной власти<sup>16</sup>. Основной характеристикой всего связанного с «русским» яв-

<sup>14</sup> Журавлева. 2008. С. 265; Киселев. 2003.

<sup>15</sup> Журавлева. 2007. С. 182.

<sup>16</sup> Braithwaite. 2008. P. 247–254.

лялось переходное состояние между «цивилизованным» Западом и «варварским» Востоком, неспособным к восприятию западной культуры, ее цивилизационных норм. Указанные образы с учетом реалий времени нашли отражение в английском сознании в период холодной войны, представляя уже Советскую Россию олицетворением жестокости, со всяческим пренебрежением к индивидуальным правам и т.д. СССР в умах британцев выступал не как «другой», «чужой» или «союзник», а в качестве одной из категорий образа потенциального врага<sup>17</sup> в одних произведениях, либо как соперник с собственной идеологией, внешней политикой и методами ведения войны – в других.

Основные идеи такого повествования можно условно разделить на две группы. К первой группе относятся фантастические шпионские романы, где превалирует сюжет о «коммунистической угрозе», исходящей от СССР. Набор схем в политических детективах данного направления предстает в разнообразных вариациях, построенных на политических реалиях современности и имеющих сходные элементы: разоблачение заглавного агента «красных», раскрытие советского заговора, угрожающего безопасности западного государства, гонки с преследованиями и убийствами, предотвращение угрозы благодаря высокому профессионализму сотрудников английских спецслужб и их преданности принципам свободного мира. В реалистических романах описываются события, имевшие место в действительности. В них нередко присутствуют реально существующие личности: генералы, правители и др. Излагая материал сухо и точно, с подробным описанием деталей, писатель все же стремился уйти от оценок, оставляя читателя наедине с героями.

Шпионские романы второй половины XX в. отличались по качеству, содержанию, степени достоверности<sup>18</sup>. Определенная их часть создавалась для «среднего человека», поскольку не каждый хотел читать научные труды по политическим темам, даже имея на это время. Ян Флеминг (фантастическое направление), создавший «бондиану», в гротескной форме описывал вымышленные истории о противниках Великобритании и ее героях в период холодной войны. К излагаемым событиям не следовало относиться слишком серьезно, досконально проверяя их с точки зрения исторической и житейской достоверности: его герои действовали в невероятных ситуациях, сражались с мифическими организациями. В качестве положительного персонажа выступал агент британской разведывательной службы Джеймс Бонд. Автор предполагал создать исключительно героический образ, воплощавший в себе соци-

---

<sup>17</sup> Ibid. P. 252.

<sup>18</sup> *Burroughes. Heroes and forever...*

альные ценности западно-либеральной системы. По замыслу, Бонд являлся универсальным бойцом, который умел драться, быстро и точно стрелять, водить машины, легко обращаться с самолетами, кораблями, вертолетами и т.д. Совсем в ином виде на страницах романов Флеминга представляли противники главного героя: Голдфингер («Голдфингер»), Блофельд («На Тайной службе Ее Величества»), Ле Шифр («Казино Рояль»), Скамарагна («Человек с золотым пистолетом»), Доктор Но («Доктор Но»), Дракс («Мунрейкер»). Все они имели непритязательный внешний вид и характер, были прямо или косвенно связаны с СССР, выступавшим заказчиком «коварных злодеяний», которые могли погубить западный мир. Отрицательные персонажи менялись, оставались неизменными их типажи, выражавшие явную антипатию не только своими внешними данными, но и ужасными планами, которые они намеривались воплотить в жизнь. Например, антигерой Блофельд – это очень хитрый и коварный человек, умевший перевоплощаться в разных людей: сначала он мог иметь вес «добрых 20 стоунов, это чуть ли не полтора центнера». Внешность такого героя соответствовала описанному выше внутреннему состоянию: «высокого роста, с бледным лицом, с коротко стриженными темными волосами, темными глазами и резко выделяющимися на их фоне белками, ну точно как у Муссолини, отвратительные тонкие губы, длинные руки с вытянутыми пальцами, длинные ноги...». Однако после ряда обстоятельств Блофельд умело менял вид, становясь похожим на типичного англичанина: «длинные, хорошо ухоженные, почти щеголеватого вида волосы с благородной серебристой сединой <...> ни одной складки обвисшей кожи». К тому же этот таинственный человек являлся главой опасной секретной организации под названием СПЕКТР – шпионской сети, помогающей советской разведке, в которую входили одни «наемники, независимая банда, работающая на любого, кто готов им платить». Другой злодей, воплощавший образ СССР, – контрабандист высшего класса Голдфингер. Данный персонаж – это полное отсутствие пропорций: маленький рост, крупное тело на коротких и толстых крестьянских ногах, увенчанное большой, круглой головой, росшей прямо из плеч: «Складывалось впечатление, что этот человек был составлен из частей, принадлежащих разным людям <...> Из него мог бы выйти великолепный неудачник <...> страдает запорами, имеет извращенный ум»<sup>19</sup>. Демонический образ Голдфингера становился еще ужаснее, когда он для достижения целей намеревался применять различные отравляющие вещества, атомные бомбы и другое опасное оружие для удовлетворения корыстных интересов.

---

<sup>19</sup> Флеминг. На Тайной Службе Ее Величества...

А. Маклин, автор «Последней границы», «Дьявольского микроба», также работал в этом стилевом направлении, уделяя основное внимание динамике развития событий и героическим качествам главных персонажей. В «Последней границе» автор повествовал о выдающемся ученом, занимавшемся в социалистической Венгрии разработкой баллистических ракет. Описания главного героя создавали образ преданного Британии разведчика: «Для Майкла Рейнольдса было характерным не тратить времени на ненужное самоедство, пустые рассуждения о дальнейших возможных вариантах действия. Он был научен суровой и жестокой жизненной школой, где излишние роскошества, наподобие самообвинений о невозвратном прошлом, аханья над разлитым молоком, были строго запрещены». Выполнение долга любой ценой, стремление к совершенствованию, отличная физическая форма составляли основные характеристики данного персонажа: «Рейнольдс находился в превосходной форме – он просто обязан быть в таковой». Противник британского агента – венгерская секретная полиция «АВО» (аналог КГБ). Под этой аббревиатурой скрывалось самое страшное подразделение, целью которого были пытки собственных граждан, поимка шпионов, наведение страха. Никто в Венгрии не хотел попасть в руки АВО, «наводящей на всех ужас и считающейся в настоящее время самой жестокой и безупречно эффективной даже за “железным занавесом!»<sup>20</sup>.

Внешне герои и антигерои ничем не отличались друг от друга: «Покрытое морщинами, усталое лицо человека среднего возраста, обрамленное густыми снежно-белыми волосами. Лицо глубоко чувствующего человека, отточенное опытом, печалью и страданием <...> В лице было больше доброты, мудрости, терпимости и понимания, чем мог наблюдать Рейнольдс ранее на лицах других людей. Перед ним был человек, повидавший все, испытавший все, знающий все, но сохранивший и по сей час сердце ребенка». Но «внутренний стержень» британских разведчиков, их преданность делу, стремление выполнить задание любой ценой позволяли выстоять в холодной войне. А. Маклин приво-дил и некоторые политические рассуждения. Заслуживает внимания его высказывание о том, что холодная война, возникшая по вине «национальной прессы, которая всегда определяет мышление народа <...> но главным образом все же правительства»<sup>21</sup> разводила нации по разные стороны невидимой идеологической границы. По его мнению, каждая нация содержит положительные и отрицательные характеристики.

---

<sup>20</sup> Маклин. Последняя граница...

<sup>21</sup> Там же.

Герои и антигерои, окружающая их обстановка не являлись чистым вымыслом упомянутых писателей. Ян Флеминг в гротескной форме развивал наиболее актуальные вопросы международных отношений, например, огромное влияние разработок ядерного оружия и постоянное обсуждение этой проблемы в прессе. В романах Флеминга «Голдфингер» (1959), «Шаровая молния» (1961) поднимались вопросы государственной безопасности, противостояния ядерных держав, хотя автор больше внимания уделял развитию головокружительного сюжета и героическим действиям Джеймса Бонда. В книге «Голдфингер» рассказывалось о контрабандисте Голдфингере и советской шпионской организации СМЕРШ, которые вместе собирались ограбить самое крупное банковское хранилище США с помощью атомной бомбы. Близкой к теме ядерной войны была проблема разработок и применения бактериологического оружия. В романе «На Тайной Службе Ее Величества» (1964) Я. Л. Флеминг описывал вымышленные события, происходившие в начале 1960-х гг., но непосредственно связанные с действительностью – проблемами распространения бактериологического оружия, возможных атак на сельхозугодия Великобритании со стороны СССР. Сюжет повествования был довольно прост: опасные концентраты бактерий должны были быть завезены в Великобританию и распространены во всех животноводческих фермах графств. Автор в подробностях описал возможные последствия массового заражения домашних животных, если бы не героические действия Джеймса Бонда, сумевшего разгадать истинные цели СПЕКТРа и Советского Союза. Для усиления образа СССР как бездушного и аморального государства результаты «биологического нападения» рисовались в ужасных картинах: «Три миллионадохлых или полудохлых птиц, вся страна – большая свалкадохлятины, да еще валютой надо оплатить незапланированные поставки из-за границы <...> можно предположить, что наша валюта, образно говоря, провалится в тартарары вместе со всей страной!»<sup>22</sup>.

Сходный сюжет находим в романе А. Маклина «Дьявольский микроб» (1962). Как и Флеминг, в этом рассказе писатель поднимал вопрос об опасности бактериологического оружия. По замыслу автора, английские ученые занимались разработкой новых видов бактерий, способных уничтожить все живое на земле: «англичане, осмелев сказать, дали понять великим державам недвусмысленно, что бактериологическое оружие, которое у них имеется, сильнее всех бомб <...> Это оружие, если его применить, не оставит на всей планете ничего живого»<sup>23</sup>. Од-

<sup>22</sup> Там же.

<sup>23</sup> Маклин. Дьявольский микроб. 1990. С. 35.

нако смертоносные микроорганизмы были похищены, а подозрение в первую очередь упало на коммунистов: «Мы предполагали, что имеем дело с безумцем, но талантливым безумцем, однако, по всей видимости, здесь идет речь о коммунистическом заговоре, который хочет уничтожить мощное британское оружие»<sup>24</sup>. Оба автора использовали темы, связанные с распространением оружия массового поражения, однако облекали всю сюжетную линию фантастическими вымыслами. Основное внимание в романах такого рода (по сравнению с реалистическими) уделялось нескольким элементам: наличие собирательного образа врага под именем «коммунизм», наиболее актуальные проблемы международной политики 1950–60-х гг., склонность к динамическому описанию.

У авторов реалистического направления (Дж. Ле Карре, Г. Грин, Л. Дейтон) иными были видение потенциального соперника, отношение к исторической действительности, характер повествования. Отличительными (для данного направления в целом) были следующие: во-первых, погружение персонажей в историческую действительность, ее точное описание; во-вторых, наличие в романах рассуждений на политические темы, стремление с разных сторон показать описываемое, реально происходившее событие и дать ему разные оценки. Третьей, но не менее важной, особенностью являлось изменение представления о мире «чужих» и «своих». Если в начале 1950-х гг. образ другого выступал как синоним слова «враг», то с 1960-х гг. происходит его эволюция. Основным содержанием «другого» становится наличие специфических черт, не имеющих эмоциональной отрицательной окраски.

Ле Карре не стремился полностью обелить Западный мир и представить его в выгодном свете. Применительно к романам писателя следует говорить не о конструировании образа врага, а описании образа другого, формировании дихотомии «мы – чужие». В 1963 г. Ле Карре издал книгу «Шпион, пришедший с холода», ставшую откликом на происходящие на европейском континенте события – берлинский кризис и разделение Германии на два государства. Действия романа происходили в начале 1960-х годов в ГДР и ФРГ, где постоянно осуществлялись вылазки агентов с той и другой стороны «стены». «Берлинская тема» оказалась в центре внимания всего мирового сообщества, в частности британского общества. Кризис конца 1950-х – начала 1960-х гг. и строительство бетонной стены сильно повлияли на английское общественное мнение в отношении СССР. Об этом свидетельствовали социологические опросы, проведенные Службой Британских Опросов Обще-

---

<sup>24</sup> Там же. С. 123.



ственного Мнения (ВИПО). Простого обывателя пугали тем, что если произойдет раскол Германии, а западные страны пойдут на уступки Советскому Союзу, то последствия будут похожими на Мюнхенский сговор 1938 г. Поэтому на вопросы интервьюеров британцы высказывались за сохранение целостности Германии, опасаясь новой войны с Советским Союзом, которого воспринимали как сильного противника<sup>25</sup>.

В 1965 г. вышло еще одно произведение, вызвавшее необычайный интерес у публики – «Война в зеркале», где получила дальнейшее распространение «берлинская тема». В романе была показана деятельность служащих одного из секретных управлений британской военной разведки, занимавшейся изучением баллистических ракет на побережье ГДР, где Советский Союз развернул целую их сеть, направленную в сторону Великобритании. Детально описывая борьбу разведывательных служб, следуя ходу развития исторических событий, автор рассуждал о важных политических и идеологических проблемах современной ему действительности. Писатель указывал на свою неприязнь к британским политическим институтам, к разведывательным службам, ставил знак равенства между ними и политическими структурами социалистических стран. Для него весь этот конфликт под названием «холодная война» бессмыслен и враждебен человеку, потому что в нем обе стороны одинаково антигуманны и агрессивны: «В работе разведки существует один единственный нравственный закон: цель оправдывает средства. С этим законом поневоле считались даже мудрецы из Уайтхолла»<sup>26</sup>. Критикуя собственную страну, ее законы, нормы поведения и несовершенный общественный строй, Ле Карре пришел к выводу о том, что лучше оставаться в системе (Великобритании), к которой привыкли, чем отправляться в полную риска неизвестность, которая уже точно не так хороша, а может быть, и хуже. Другой «неизвестностью» предстал Советский Союз, который был таким же безжалостным, циничным и жестоким, манипулирующим сознанием народа и эксплуатирующим его. Неслучайно писатель приводил диалог главного героя Лимаса («Шпион, пришедший с холода») и его возлюбленной, коммунисткой: «людей обманывают и надувают, их жизнями швыряются без раздумий, людей расстреливают и бросают в тюрьмы, целые группы и классы списываются в расход. А твоя партия? Бог вам судья, она воздвигла свое здание на костях обычных людей»<sup>27</sup>. Тем самым автор пытается показать реалии социализма, его будничность, схожую с повседневностью Запа-

<sup>25</sup> Рукавишников. 2005. С. 278.

<sup>26</sup> Ле Карре. Шпион, пришедший с холода. С. 10.

<sup>27</sup> Там же. С. 137.

да. Рассказывая свои истории серьезно, бесстрастно, он раскрывал напряженное столкновение человеческих устремлений, характеров. Каждое произведение по сюжету отличалось от остальных, однако было связано с ними одним главным героем – агентом разведки Джорджем Смайли. Персонажи, созданные Ле Карре, обладали совсем иными чертами характера, нежели известный Бонд: шпионы, разведчики со сложным внутренним миром, «борющиеся в нескончаемой битве, где никогда никто не победит»<sup>28</sup>. По словам автора, его шпионские романы не были идеологизированы, в них отражались реальные события современной жизни: «Я не был искушен идеологически... хотел видеть лишь то, что было в действительности»<sup>29</sup>, их отличала гуманистическая направленность, большое внимание к человеческой жизни, персонажи британской разведки выглядели как обычные люди, подобные своим врагам. Писатель так описывал Лимаса: «Лимас был коренастым мужчиной с коротко остриженными серо-седыми волосами и фигурой пловца. К одежде он подходил весьма утилитарно... У него было приятное лицо – мускулистое и с волевой складкой у рта, маленькие карие глаза. Он выглядел человеком, с которым шутки плохи, который знает счет деньгам и своего не упустит, даже если придется действовать не совсем по-джентльменски»<sup>30</sup>. Противники главного героя обладали такими же внешними данными. Каждый из них имел собственную идеологию, взгляды, позволяющие существовать в мире холодной войны, оправдывать свои поступки: «Наша работа – и ваша, и моя – строится на принципах теории, гласящей, что общее куда важнее индивидуального...»<sup>31</sup>.

В произведениях Дж. Ле Карре содержались сведения о Советском Союзе, точнее, о его внешнеполитической деятельности и быте его граждан. Писатель, будучи связан с разведывательной службой, обладал значительной информацией, что нашло отражение на страницах романов в измененном виде, однако вполне поддающемся расшифровке. «Восточногерманское мыло нам достать не удалось. Наверно, вам придется самому позаботиться об этом уже там. Как я понимаю, мыло у них дефицит», а также «ботинки <...> поляки экспортируют их в Восточную Германию»<sup>32</sup>. Писатель стремился показать негативные стороны как западного, так и социалистического миров, указывая на необходимость прекращения холодной войны.

---

<sup>28</sup> *Finder*. 2008. 25 Sept.

<sup>29</sup> In praise of ... John le Carré. 2008. 17 Sept.

<sup>30</sup> *Le Carré*. Шпион, пришедший с холода. С. 11.

<sup>31</sup> Там же. С. 74.

<sup>32</sup> *Он же*. Война в зазеркалье. С. 283, 284.

Большинство авторов не соглашались, что их произведения имеют яркий политический оттенок, отрицая свое вмешательство в сферу деятельности политиков. Однако Грэм Грин признавался: «С 1933 года политика все настойчивее вторгается в мои книги». Он много путешествовал по миру: «Места, где я бывал, давали мне сюжеты для книг намного реже, чем можно предположить. Я не искал сюжетов. Я наткнулся на них, хотя писательское чутье наверняка не дремало, когда я решал ехать через Сайгон, Порт-о-Пренс или Асунсьон и писал о Гаити до “Комедиантов” или о Парагвае...»<sup>33</sup>, – отмечал писатель в автобиографическом сочинении «Пути спасения». В 1955 г. вышел его роман «Тихий американец», который в наибольшей степени соответствовал исторической реальности: действие разворачивается во Вьетнаме 1950-х гг., где британский журналист становится свидетелем борьбы за власть различных политических сил, противостояния разведывательных служб и жестокости, которую породила гражданская война между правительством Нго Дин Дьема и революционными коммунистическими силами.

Автор показал скрытое содержание международной политики, стремление мировых держав чужими руками выполнять их желания. Здесь нет прямых описаний образов других, а рассуждения в рамках дихотомии «мы – они» осуществляется через монологи персонажей о перипетиях взаимоотношений государств с разным политическим устройством и идеологией: «Ах, уж эти мне ваши “измы” и “кратии”. Дайте мне факты <...> У нас больше нет партии либералов, зато либерализм заразил все другие партии. Все мы либо либеральные консерваторы, либо либеральные социалисты; у всех у нас чистая совесть. Лучше уж быть эксплуататором...»<sup>34</sup>. Данный роман был написан в форме репортажа, благодаря чему текст воспринимался как единое достоверное целое, поскольку Грин был участником происходящих событий. В мемуарах о «Тихом американце» он написал так: «Мне кажется, что в “Тихом американце” больше прямого *reportage*, чем в какой-либо другой моей книге <...> Пресс-конференция – не единственный пример документального описания событий... Я был в пикирующем бомбардировщике, был с десантным патрулем Иностранного легиона неподалеку от Фатдьема. Я до сих пор отчетливо вижу мертвого ребенка, лежавшего во рву рядом с мертвой матерью. Их опрятные раны врезались мне в память сильнее, чем горы трупов в окрестных каналах»<sup>35</sup>.

<sup>33</sup> Грин. Путешествия без карты...

<sup>34</sup> Он же. Тихий американец. С. 88.

<sup>35</sup> Он же. Путешествия без карты...

Содержащиеся в произведении ужасы войны полностью документальны. В сентябре 1945 г. началось создание независимой Демократической Республики Вьетнам (ДРВ), но французские власти отказались признавать утрату своей колонии. Туда были переброшены войска, которые осенью 1945 г. восстановили контроль колониальной администрации в южной части Вьетнама. После переговоров, которые обе стороны использовали для наращивания своих военных сил, началась война. После первых успехов с французской стороны их боевые действия зашли в тупик. С 1950 г., получив значительную военную поддержку от Китайской Народной Республики, силы ДВР начали проводить контрнаступления. К 1954 г. ситуация для французских сил стала безнадежной, а война была крайне непопулярна во Франции. Как упоминалось выше, Грин создал роман в 1955 г., однако в его произведениях можно увидеть предугадывание возможных политических и экономических событий. В «Тихом американце» писатель показал стремление американцев вытеснить французов из азиатско-тихоокеанского региона. Пока французские власти занимались войной, правительство Америки пыталось наладить торговлю: «они заставляют французов продолжать войну, а сами тем временем захватывают их торговлю»<sup>36</sup>.

В романе «Наш человек в Гаване» автор продолжил развивать тему безжалостности холодной войны, бессмысленности капиталистического и коммунистического противостояния, приводившего к локальным гражданским войнам и невинным человеческим жертвам в результате «политических игр» США и СССР как главных акторов международных отношений. Действие романа разворачивалось на Кубе, где английская разведка пыталась создать агентурную сеть из числа британцев, осевших здесь в прежние времена. Но завербованный человек (главный персонаж романа) не понимал смысла этой затеи в стране, где идет гражданская война. Роман высмеивал деятельность Ми-6 и все британское правительство. По мнению Грина, оно являлось таким же, как формируемый ими образ «красной угрозы», под которым подразумевался Советский Союз: «Я не испытывал угрызений совести. Мне казалось, что над министерством иностранных дел – или разведкой – посмеяться будет не грех»<sup>37</sup>. Каждый роман Грина был сочетанием реальности и комедии, политики и вымысла, но в то же время автор стремился привлечь внимание на волнующие проблемы современности. Его произведения по-новому раскрывали понятия «своих» и «чужих», предоставляя возможность читателю самому проводить оценку окружающей реальности.

<sup>36</sup> *Он же*. Тихий американец. С. 58.

<sup>37</sup> *Он же*. Путешествия без кары...

Таким образом, эпоха холодной войны была отмечена не только гонкой вооружения, экономической борьбой за рынки сбыта и источники сырья, взаимными политическими обвинениями, но и войной разведывательных служб, агенты которых после выхода в отставку пробовали себя на литературном поприще (например, Ле Карре, Флеминг). Обладая богатым багажом знаний и имея колоссальный опыт работы, они создавали произведения, являвшиеся «зеркалом» холодной войны, отражением надежд и разочарований целого поколения. «Шпионские романы», ставившие целью развлечь обывателя, позволяли конструировать представления о мире «чужих», создавать «образ другого» и «образ врага», формировать взаимовосприятие народами друг друга.

### БИБЛИОГРАФИЯ

- Блоч Дж.* Тайные операции английской разведки: Ближ.и Сред. Восток, Африка и Европа после 1945 г. / Послел. Ф. Эйджи. М.: Политиздат, 1987. 237 с.
- Вестник Российской Академии Наук. Том 73. № 8.
- Грачев Г. В.* Информационно – психологическая безопасность личности: состояние и возможности психологической защиты. М.: Изд-во РАГС, 1998. 125 с.
- Грин Г.* Путешествия без карты [Электронный ресурс] // Электронная библиотека Александра Белоусенко, 2005. URL: [www.belousenko.com/wr\\_Green.htm](http://www.belousenko.com/wr_Green.htm).
- Грин Г.* Собрание сочинений: В 6 т.: Пер. с англ. М.: Худож. лит. Т. 3. Тихий американец; Наш человек в Гаванне; Ценой потери: Романы. 1994. 573 с.
- Грин Г.* Собрание сочинений: В 6 т.: Пер. с англ. / Грэм Грин; Редкол.: С. Бэлза и др.; М.: Худож. лит. Т. 4.: Комедианты; Путешествие с тетушкой: Романы. 1994. 500 с.
- Егорова Н. И.* “Холодная война” и поляризация общественно-политических сил СССР и США, 1945–1964 гг. // Война и общество в XX веке: в 3 кн. М.: Наука, 2008. Кн. 3: Война и общество в период локальных войн и конфликтов второй половины XX века / Науч. рук. М. Ю. Мягков; отв. ред. Ю. А. Никифоров.
- Журавлева В. И.* Образ России в репрезентациях американских карикатуристов в начале XX века // Диалог со временем. 2008. Вып. 25/1. С. 241–262.
- Журавлева В. И.* Образ русской революции в американской политической карикатуре // Российско-американские отношения в прошлом и настоящем: образы, мифы, реальность / Под ред. Е. И. Пивовара; сост. В. И. Журавлева. М.: РГГУ, 2007.
- Киселев И. Ю.* Образы государств в международных отношениях: механизмы трансформации [Электронный ресурс] // Полис (политические исследования), 2003. № 3. URL: [www.politstudies.ru/N2004fulltext/2003/3/5.htm](http://www.politstudies.ru/N2004fulltext/2003/3/5.htm).
- Косов Г., Митрохин Л.* Последействие к изданию “Джеймс Бонд”: [Романы] / И. Флеминг. Джеймс Бонд – агент 007: [Романы: Пер. с англ.]. М.: Республика, 1992.
- Ле Карре Дж.* Война в Зазеркалье: Детективные романы / Пер. с англ. – “Мастера остросюжетного детектива”. М.: Центрполиграф, 1993. 560 с.
- Ле Карре Дж.* Шпион, пришедший с холода: Роман / Пер. с англ. А. Славинской, В. Топорова. Л.: Худож. лит. Ленингр. отд., 1991. 206 с.
- Маклин А.* Дьявольский микроб. Пер. В. Дробышева. М.: Юрид. лит., 1990. 189 с.

- Маклин А. Последняя граница [Электронный ресурс] // Библиотека OCR Альдебаран. URL: [www.lib.aldebaran.ru/author/maklin\\_alister/maklin\\_alister\\_poslednyaya\\_granica/maklin\\_alister\\_poslednyaya\\_granica\\_\\_1.html](http://www.lib.aldebaran.ru/author/maklin_alister/maklin_alister_poslednyaya_granica/maklin_alister_poslednyaya_granica__1.html) (дата обращения 02.04.2010).
- Ольшанский Д. В. Основы политической психологии: Учеб. Пособие для вузов. Екатеринбург: Деловая книга, 2001. С. 360–383.
- Райнов Б. Черный детектив. М.: Прогресс, 1975. 288 с.
- Рукавишников В. О. Холодная война, холодный мир: общественное мнение в США и Европе о СССР, России, внешней политике и безопасности Запада. М., 2005. 864 с.
- Системная история международных отношений в четырех томах. События и документы. 1918–2003 / Под ред. А. Д. Богатурова. Т. 3. События. 1945–2003. М.: Научно-образовательный форум по международным отношениям, 2003.
- Томсинов В. А. “Славная революция” 1688–1689 гг. в Англии и Билль о правах. М.: Зерцало-М., 2010. 250 с.
- Флеминг Я. Голдфингер [Электронный ресурс] // Библиотека OCR Альдебаран. URL: [www.lib.aldebaran.ru/author/fleming\\_yan/fleming\\_yan\\_goldfinger/fleming\\_yan\\_goldfinger\\_\\_0.html](http://www.lib.aldebaran.ru/author/fleming_yan/fleming_yan_goldfinger/fleming_yan_goldfinger__0.html).
- Флеминг Я. Джеймс Бонд – агент 007: [Романы: Пер. с англ.] / Послесл. Г. Косова, Л. Митрохина; худож. В. И. Андреев. М.: Республика, 1992. 399,[1] с.
- Флеминг Я. Казино “Руаяль” / Пер. С. В. Козицкого. М.: Ют, 1990. 123 с.
- Флеминг Я. Операция “Шаровая молния” / Пер. с англ. Ю. Никитиной, В. Исхаков.; Когда пробыет восемь склянок / Алистер Маклин; перевод с англ. В. Исхакова. – Свердловск: Сред.-урал. кн. изд-во: Ассоц. урал. издателей, 1991. 283 с.
- Флеминг Я. На Тайной Службе Ее Величества // Библиотека OCR Альдебаран. URL: [www.http://lib.aldebaran.ru/author/fleming\\_yan/fleming\\_yan\\_na\\_tainoi\\_sluzhbe\\_ee\\_velichestva/fleming\\_yan\\_na\\_tainoi\\_sluzhbe\\_ee\\_velichestva\\_\\_0.html](http://www.lib.aldebaran.ru/author/fleming_yan/fleming_yan_na_tainoi_sluzhbe_ee_velichestva/fleming_yan_na_tainoi_sluzhbe_ee_velichestva__0.html).
- Шкуратов В. А. Историческая психология. Учеб. пос. для дополн. образования. 2-е изд. перераб. М.: Смысл, 1997. 505 с.
- Braithwaite R. Russophobia in Britain / R. Braithwaite // Россия и Запад: исторический опыт XIX–XX веков. М., ИВИ РАН, 2008. Р. 247–254.
- Burroughes T. Heroes and forever: the James Bond thrillers [Электронный ресурс] // Cultural notes. Дата обновления: 14.02.2010. Систем. требования: Adobe Acrobat Reader. URL: [www.libertarian.co.uk/lapubs/cultn/cultn029.pdf](http://www.libertarian.co.uk/lapubs/cultn/cultn029.pdf).
- Finder J. The World: ripping yarns; the spy novel returns // New York Times. 25.09.2008. In praise of... John le Carre // The Guardian. 2008. 17 September.
- Le Carre John. Spy who came from cold / John Le Carre. – L.: Pan Books, 1963. – 270 p.
- Price Th. Popular perceptions of an ally: the special relationship in the British spy novel // Journal of popular culture, 1994. № (28)2. Р. 49–66.

**Благин Александр Андреевич**, аспирант исторического факультета Ярославского государственного университета им. П. Г. Демидова; [blagin\\_aleksandr@mail.ru](mailto:blagin_aleksandr@mail.ru).

А. А. САЛЬНИКОВА

## «СВОИ» И «ДРУГИЕ», ВЗРОСЛЫЕ И ДЕТИ В ВИЗУАЛЬНОМ РЯДЕ ТАТАРСКОГО НАЦИОНАЛЬНОГО БУКВАРЯ «АЛИФБА» (КОНЕЦ 1980-Х – 1990-Е ГГ.)<sup>1</sup>

---

В статье на примере визуального ряда татарского национального букваря «Алифба» показана специфика репрезентации «своих» и «других» в учебном тексте, предназначенном для самой младшей возрастной категории учащихся. Путем сопоставления позднесоветских и ранних постсоветских учебников прослежена трансформация в них образа «другого», механизмы его представления, замещения и вытеснения, конструктивная и конструирующая роль «инаковости» в наделении детей национальной идентичностью. Показано влияние политической и социокультурной ситуации в Татарстане конца 1980-х – 1990-х гг. на содержание визуальных текстов и соотношение в них национального и постсоветского дискурсов.

**Ключевые слова:** национальный букварь, Татарстан, национальная идентичность, визуализация, деконструкция текста.

---

Перефразируя известный афоризм Нормана Дугласа – «об идеалах нации можно судить по ее рекламе», скажем: об идеалах нации можно судить по ее букварям. В самом деле, букварь в наиболее четком и завершенном виде воссоздает образ некой «идеальной реальности», каким он сформировался и отложился во «властном» сознании, каким транспонировался в образовательно-воспитательный процесс, и, соответственно, каким он должен был отразиться и закрепиться в сознании детей.

Значение букваря многократно возрастает в ситуации культурного соседства, противоречивого сочетания сосуществующих в едином пространстве культур, с их противоборством, с присущей каждой из них тенденцией к доминированию и, вместе с тем, с их взаимопроникновением и взаимообогащением. Так называемые «национальные» буквари – учебные издания на национальных языках – призваны, в первую очередь, обучить родному языку детей «своего» народа. Но зачастую не менее важной их задачей является обучение «чужому» языку детей «других», живущих рядом, обогащение и диверсификация за счет освоения этого языка межнациональных коммуникативных практик и расширение возможностей проникновения «своей» культуры в культуры этих «других». В силу объективных и субъективных обстоятельств,

---

<sup>1</sup> Статья подготовлена при финансовой поддержке РГНФ (проект № 11-06-00275а «Семантико-педагогическое исследование иллюстраций в учебной литературе для начальной школы 1986-2006»).

ограничивающих и сужающих в ряде случаев доступ к инокультурным и иноязычным текстам, именно «национальные» буквари становятся подчас теми единственными вратами, через которые дети попадают в мир «других» (взрослых, этнически отличных и пр.). Успешно сочетая в себе образовательную, воспитательную, художественно-эстетическую и развлекательную функции, букварь становится для ребенка главным культурно-конструирующим текстом, тяготеющим к канонизации.

Особенно существенной становится роль букварных изданий в условиях борьбы за этнокультурное возрождение, становления национального самосознания. За подчеркнутой внешней деидеологизацией скрывается явная политическая ангажированность: национальный букварь обычно пропагандирует те образцы «национальной» жизни и «национального» поведения, которым следует подражать, причем, принимая во внимание целевую читательскую аудиторию, делает это в доступном и понятном для ребенка виде. По мнению психологов, «в полиэтнических регионах ребенок очень рано усваивает стиль межэтнических отношений; у него формируется глубинно присущая ему эмоциональная позиция по отношению к своему и другому этносу, проживающему в едином геоисторическом пространстве»<sup>2</sup>. Бинарная оппозиция «мы – они» на межэтническом уровне осознается детьми достаточно четко. И потому то значение, которое будет в нее заложено, имеет огромный смысл и далеко идущие последствия для самих этих детей и для будущих судеб тех этносов и наций, к которым они принадлежат.

В этой связи весьма показательным является пример татарского национального букваря «Алифба», имеющего многовековую историю развития и богатый опыт функционирования в мультикультурном пространстве. Возникнув, по утверждению ряда специалистов, еще в период Волжской Булгарии<sup>3</sup> (утверждения эти опираются, правда, только на косвенные источники – на содержащиеся в трудах арабских и татарских средневековых авторов сведения о наличии разветвленной сети образовательных учреждений у татар в XII–XIV вв.), и совершенно достоверно существуя уже в последней четверти XVIII в.<sup>4</sup>, татарский национальный букварь прошел сложный путь вместе с развитием самого татарского этноса, сыграл исключительную роль в процессе становления татарской

---

<sup>2</sup> Мухина. 1999. С. 315.

<sup>3</sup> Амирханов. 1992. С. 36-37; Сабирзянов. 2002. С. 478 и др.

<sup>4</sup> В 1778 г., в типографии Московского университета печатается первый татарский букварь для обучения учащихся русских гимназий татарскому языку — «Азбука татарского языка с обстоятельным описанием букв и слогов». Автором его был преподаватель татарского языка Первой казанской гимназии Сагит Хальфин.



нации<sup>5</sup>, в формировании у татар новометодной, «протосветской» образовательной традиции<sup>6</sup>, впоследствии – в превращении татарского народа в «один из братских народов великой многонациональной социалистической Родины» и наделении его «советскостью», а затем – в процессе суверенизации Татарстана и его борьбе за обретение независимости. Букварь в значительной степени отразил на своих страницах и всю долгую и непростую историю отношения к Иному, причем само представление об этом Ином и «инаковости» неоднократно менялось. Эти процессы могут быть прослежены и путем сопоставления позднесоветской и ранней постсоветской «Алифбы», отчетливо демонстрирующих и трансформацию отображаемого образа Иного, и механизмы его презентации, вытеснения и замещения, и конструктивную и конструирующую роль «инаковости» в ходе обретения национальной идентичности.

Учитывая тот факт, что в смешанном (креолизованном) букварном тексте визуальное (особенно на первых порах обучения) доминирует над вербальным, мы сосредоточили внимание на характеристике и анализе визуального ряда. Букварь – учебник, предназначенный не только для чтения, но в значительной степени для рассматривания, – позволяет выяснить, насколько полно и репрезентативно отражалась на страницах этого учебного издания, свободно функционирующего в гетерогенном политическом, социальном и культурном пространстве и являвшегося его продуктом, сама эта гетерогенность и как она соотносилась с национальным дискурсом. Рассмотрение вопроса о том, как репрезентировались в «Алифбе» «свои» и «другие», дети и взрослые, позволяет выяснить, насколько такая репрезентация, а, следовательно, и сама «Алифба», способствовала сохранению и упрочению межнациональной толерантности, делающей Татарстан, по мнению ряда политиков и ученых, поистине уникальным феноменом в глазах мирового сообщества.

Иллюстрации «Алифбы» образуют самостоятельный, достаточно целостный, законченный визуальный текст, который может быть подвержен процедуре прочтения и интерпретации, с применением достаточно широко употребляемой в современном исследовательском дискурсе практики «разглядывания» источника, когда визуальный текст прочитывается подобно «телесной партитуре»<sup>7</sup>. При этом мы вполне осознавали определенную ограниченность выводов, поскольку «рассматривали» букварь глазами взрослого, а не ребенка. Несмотря на вы-

---

<sup>5</sup> Усманова . 2004. С. 110.

<sup>6</sup> Этот термин был применен для характеристики сочинений ряда представительниц татарской исторической мысли рубежа XIX-XX вв. (Там же. С. 112).

<sup>7</sup> Дашкова. 2002. С. 105-106.

сокую степень «навязывания» детям взрослых (учителя, родители и пр.) трактовок содержащихся в букваре визуальных символов и образов, дети определенно «прочитывают» и объясняют их по-своему, исходя из собственных, детских представлений об окружающем мире и понимания своего места в нем. Поэтому изучение детских интерпретаций букварного текста (как вербального, так и визуального) представляет собой важную исследовательскую задачу, причем применительно к текстам национального букваря необходимо сопоставлять трактовки и «прочтения», предложенные как «своими», так и «другими» детьми.

Процесс суверенизации и борьба Татарстана за обретение независимости сопровождалась острой полемикой по вопросу о будущем национального языка, путях и способах его развития, ведь именно языку в ходе «татарского национального возрождения» была отведена роль «основы национальной жизни»<sup>8</sup>. Принятая 30 августа 1990 г. Декларация о государственном суверенитете Татарской ССР провозгласила, а последовавшая за ней Конституция Республики Татарстан от 6 ноября 1992 г. законодательно закрепила наличие в республике двух равноправных государственных языков – татарского и русского. Принятие законов «О государственных языках Республики Татарстан» (8 июля 1992 г.), «Об образовании» (19 октября 1993 г.), а также «Государственной программы Республики Татарстан по сохранению, изучению и развитию языков народов РТ» (24 июля 1994 г.) призвано было наполнить конституционные установки реальным содержанием.

Одним из наиболее быстрых и доступных путей решения проблемы представлялось возрастание удельной доли татарского языка в образовании, в том числе посредством расширения сети национальных и смешанных школ и обучения татарскому и русскому языку в равных объемах в русских школах и классах. Однако задача эта была отнюдь не простая. В связи с попытками воплощения в СССР идеи создания новой исторической общности людей – советского народа с единым сакрализованным советским русским языком – сфера функционирования татарского языка в Татарстане к 1990-м гг. резко сузилась: если в 1960/61 уч. г. было 1458 татарских школ, в которых обучалось 118 700 учащихся, то через двадцать лет число школ сократилось до 995, а число учащихся – до 104 400. В 1988/89 уч. г. в результате специально принятых мер число татарских школ несколько возросло – их стало 1059, но отток контингента предотвратить не удалось: в национальных школах (в большинстве своем – сельских) занималось 70 103 школьника, что составляло лишь

---

<sup>8</sup> Тагиров. 2001. С. 69-73.

около 12% от всех учащихся республики<sup>9</sup>. Данные социологических опросов конца 1980-х гг., показали, что в Казани 80% школьников-татар не владели родным языком даже в минимальном объеме<sup>10</sup>. На более чем 200 русских школ здесь приходилась лишь одна татарская<sup>11</sup>. Как отмечал в 2001 г. известный историк и политик И. Р. Тагиров, процесс «возрождения языка очень сильно уступал процессу его исчезновения»<sup>12</sup>.

В этих условиях остро встал вопрос об учебниках татарского языка для начальной школы, особенно о букварях: тысячи детей, в том числе русскоязычных, впервые переступали школьный порог, и всех их нужно было учить татарскому языку. В идеале для разных типов школ и разных категорий учащихся нужны были разные буквари. Вплоть до второй половины 1990-х гг. в ходу было два издания, отличавшихся адресатом – для носителей и не носителей национального языка. С 1986 г. Татарское книжное издательство (с 1993 г. — издательство «Магариф» («Просвещение»))<sup>13</sup> выпускало «Алифбу» Р. Г. Валитовой и С. Г. Вагизова для первого класса 4-летней татарской школы (в официальных документах Министерства образования и науки РТ прозванную «красной» по цвету обложки). Однако большинство татарстанских детей в 1990-е гг. обучалось по «синей» «Алифбе» для трехлетней начальной школы, созданной теми же авторами еще в 1964 г. и выдержавшей более 30 переизданий. Именно «синяя» «Алифба» была «главным» букварем, и сегодня многие учителя татарского языка по-прежнему продолжают считать ее лучшим учебником для начинающих.

Позднесоветская «синяя» «Алифба»<sup>14</sup> представляла собой довольно типичный советский учебник со встроенным национальным дискурсом и в чем-то, безусловно, была очень близка известному «Букварю» В. Г. Горещкого<sup>15</sup>. Но если темпоральная модель «Букваря» и «Алифбы» во многом совпадали (доминанта «наших дней»), этого никак нельзя было сказать о модели пространственной. Визуальный ряд «Букваря» открывал перед ребенком огромный, пока еще не познанный, но познаваемый мир, населенный «другими» людьми. Вот огромная красная

<sup>9</sup> Агеева. 2000. С. 51.

<sup>10</sup> Бареев. 1989.

<sup>11</sup> Султанбеков, Харисова, Галямова.. 1998. С. 430.

<sup>12</sup> Тагиров. 2001. С. 69.

<sup>13</sup> Учебно-педагогическое издательство «Магариф» было создано по распоряжению правительства Татарстана в 1992 г. Главной его задачей стало издание учебной литературы на татарском языке и обеспечение ею учащихся русскоязычных школ. Уже к 1995 г. заказ властей был выполнен полностью.

<sup>14</sup> Валитова, Вагизов. 1987-1991.

<sup>15</sup> Горещкий, Кирюшкин, Шанько. 1987-1991.

карта «СССР – страны мира и труда», которая «велика и красива». В этой большой стране есть разные города – вот Красная площадь в Москве, набережная Невы с крейсером «Аврора» в Ленинграде, другие безмянные, но прекрасные советские города, вот широкие и полноводные реки – Дон, Днепр, Двина. Мир этот по мере знакомства с букварем все более расширялся: изображенные в «Букваре» самолеты «Аэрофлота» всегда могли перенести в любую точку земного шара, а быстро мчащийся поезд – доставить в любую точку назначения. Вот портрет Юрия Гагарина – «советского человека», первым побывавшего в космосе и облетевшего на космическом корабле «голубую планету Земля», на которой живут «дети разных национальностей. У них различный цвет кожи. И говорят они на разных языках». А вот и сами эти дети, одетые в национальные костюмы, на фоне голубого неба со взмывающими ввысь белыми голубями. Они «другие», но, как и все советские дети, «хотят счастья, светлого, солнечного неба» и готовы вместе с советскими ребятами «бороться за мир»<sup>16</sup>. Сам букварь, по утверждению его авторов, как раз и существовал для того, чтобы, как сказано в фактически завершающем его стихотворении, увидеть «весь СССР, всю Землю с этой вышки»: «Тебе чудесные края откроет путь от “А” до “Я”»<sup>17</sup>.

Предназначение «Алифбы» оказывалось совсем иным, хотя нигде прямо и не декларировалось. Однако анализ и вербальной, и в еще большей степени визуальной составляющей этого учебника отчетливо свидетельствовал о том, что изображаемая на его страницах реальность была пространственно ограничена, а представленная на них культура преимущественно (если не сказать – исключительно) сельской. Подобный подход неизбежно вел к сознательной «фрагментации», «самопоглощенности», сокращению масштаба изображенной на страницах учебника действительности. Именно село олицетворяло здесь Родину. Репрезентируемый образ жизни, занятия и поведение и детей, и взрослых, «населяющих» учебник, были типичны для людей, живущих в деревне, в селе, в крайнем случае, в районном центре, но уж никак не в большом городе. «Сельский» дискурс разворачивался уже на обложке. Там была изображена радостная, улыбающаяся первоклассница, которую по дороге в школу в этот ее первый школьный день сопровождали не родители, не сверстники, не забавные персонажи известных сказок, как у Горьцкого, а дворовая собачонка. Такая картинка выглядела более чем странной применительно к ситуации большого города.

<sup>16</sup> Там же. С. 54, 59, 71, 72, 77, 78, 91, 101, 124.

<sup>17</sup> Там же. С. 125.

«Сельские» персонажи были представлены в учебнике как «образцы социального поведения». На картинках букваря дети вместе со взрослыми участвовали в сборе урожая, пасли лошадей, набирали воду в ведра на колонке, катались на санках с горы на фоне деревенского пейзажа, помогали родителям на конюшне, на пасеке, в крольчатнике, на птичьем дворе, а сопровождающие тексты поясняли, что Алсу носит воду, Марат и Самат поят лошадей, Сабир и Булат собирают мед, Чулпан кормит цыплят, Якуп и Гаяз кормят кроликов и т.д.<sup>18</sup> Дети ходили на экскурсию на элеватор, а на концерт – в сельский клуб. «Классическая» букварная иллюстрация «Семья», изображавшая сгрудившихся у экрана телевизора родителей с детьми и бабушку, сопровождалась следующим текстом: «Наша семья большая. Отец и мать работают в колхозе. Марьям-апа на ферме смотрит за скотом»<sup>19</sup>.

В позднесоветской «Алифбе» не было ни одной картинке с изображением Казани, не говоря уже об изображении других городов России и мира. Детишки из татарского букваря никогда не покидали родного села (исключение составляет лишь иллюстрация к тексту «Слон», детям удалось увидеть его в зоопарке<sup>20</sup>), они радостно махали вслед пролетавшим мимо самолетам, совсем не собираясь, в отличие от своих букварных сверстников, куда-либо улетать на них сами<sup>21</sup>. В некоем абстрактном «большом городе» на странице 76 идущие в школу дети были изображены на фоне 5–8-этажных домов, а в сопроводительном тексте сообщалось, что в этом городе есть «завод», «фабрика», «много машин и людей на улицах» и «много школ» («много» — это сколько?).

Очень показательно визуальное представление в «Алифбе» ряда повседневных понятий, например, понятия «машина». Впервые ребенок встречался с ним на странице 27, где был изображен трактор с сеялкой, а под ними надпись: «Это машина. Машина сеет». На странице 31 изображался комбайн. Сопроводительный текст гласил: «Это машина. Машина рожь убирает». На странице 71 была изображена погрузка тракторов на железнодорожную платформу на фоне заводских корпусов, а в приводимом ниже тексте пояснялось, что на заводе делают машины, которые в колхозах и совхозах «сеют, жнут, молотят, веют». Единственный изображенный в учебнике легковой автомобиль появлялся только на странице 92 и то на Красной площади в Москве.

<sup>18</sup> Валитова, Вагыйзов. 1989. Б. 16, 34, 48, 53, 56, 61 и другие.

<sup>19</sup> Там же. Б. 78.

<sup>20</sup> Там же. Б.72.

<sup>21</sup> Ср.: Горейцкий, Кирюшкин, Шанько. 1989. С. 30; Валитова, Вагыйзов. 1989. Б. 32.

Такая сознательная отстраненность и закрытость от городской жизни в «Алифбе» в принципе была вполне объяснима. Учебник создавался для татарских сельских школ, подготовившие его специалисты сами были преподавателями Арского педагогического училища, и применялся он в то время, когда отток молодежи из села превратился в острую и трудноразрешимую проблему. Так зачем же было живописать перед юными, неокрепшими еще умами все прелести и соблазны городской жизни? Не лучше ли было просто умолчать об этом и максимально «эстетизировать» сельскую жизнь как идеал повседневности?

Национальный дискурс в советской «Алифбе» был сильно потеснен дискурсом советским. Сигнификация национального осуществлялась путем стереотипных визуальных образов и простейших комментирующих их слов, фраз и текстов. «Алифбу» населяли и очеловечивали татарские дети и их родители, одноклассники и учителя, друзья и соседи. Их изображения были достаточно стандартизированы, а «национальные» маркеры – типичны и немногочисленны: четко вырисованные антропологические черты лица, элементы национальной одежды (тюбетейки на головах мальчиков, платки на головах женщин, особенно пожилых), изображение национальной борьбы на празднике Сабантуй, танцоров в национальных костюмах на сцене, имена детей. Национальный дискурс татарского советского букваря не был ни назойливым, ни наступательным, ни уж тем более агрессивным. Русских в «Алифбе» не было вообще, как, впрочем, не было здесь и представителей других «братских народов» СССР. Если в «Букваре» Горьцкого мы находим визуальный образ этой самой «братской дружбы» многонационального советского народа (на фоне все той же «красной» карты с надписью «СССР» изображены улыбающиеся дети – представители 15-ти союзных республик в национальных костюмах)<sup>22</sup>, то для «Алифбы» такой сюжет был неприемлем и даже опасен. Ведь изображение представителя автономной республики в одном ряду с его союзными сверстниками было бы политически не корректно и могло быть неправильно понято.

Принимая во внимание схожесть социальной судьбы жителей советской деревни, вне зависимости от их национальной принадлежности, можно предположить, что нишу архетипического «другого» занимали в позднесоветской «Алифбе» не столько русские, сколько горожане. Однако встретить их на страницах учебника было практически невозможно. Поэтому маленький читатель букваря волен был сам составлять представление об этих «других», исходя из своего детского опыта и

---

<sup>22</sup> Там же. С. 127.

восполняя пробелы за счет использования других источников информации (рассказы взрослых, телевидение и т.д.) и собственной фантазии.

Ситуация резко изменилась в начале 1990-х, когда крах советской системы и борьба за суверенитет и национальное возрождение потребовали «переписывания» «Алифбы» в рамках этнонационального канона.

Ранние постсоветские буквари, по существу, представляли собой лишь исправленный и дополненный вариант позднесоветских изданий. Не составила исключения в данном случае и «Алифба», медленно и постепенно избавлявшаяся от проявлений «советскости».

Возможности отхода от общесоветской педагогической парадигмы создали гораздо более комфортные, чем прежде, условия для утверждения и укрепления в букваре национальной культурной специфики. Хотя «национальные» маркеры оставались в визуальном ряде «Алифбы» 1990-х гг. практически неизменными<sup>23</sup> (все те же четко прописанные антропологические черты лица, тюбетейки, платки, ичиги, книги на татарском языке на полках, портреты классиков татарской литературы — Габдуллы Тукая, Галимджана Ибрагимова, Мусы Джалиля, праздник Сабантуй, выступление татарского детского танцевального ансамбля, имена детей), в новых условиях «суверенизации» персонажи национального букваря должны были не просто демонстрировать атрибуты национальной культуры — они должны были стать носителями и трансляторами национальных традиций и ценностей, более того — некой «этнической эксклюзивности». Вот тут-то вполне и пригодилась «сельская» ориентация учебника, поскольку именно сельское социокультурное пространство характеризуется «традиционностью». Однако если подобное сочетание «национального» и «сельского» было вполне уместно вплоть до начала 1990-х гг., когда «Алифба» была ориентирована на сельскую татарскую школу, то теперь ситуация существенно изменилась. По этому букварю стали учиться городские дети, и подобное выстраивание нарратива неизбежно обрекало учебник на коммуникативный разрыв и трудности в понимании и транскрибировании предложенных текстов, причем как русскими, так зачастую и татарскими городскими школьниками. Городской ребенок был удивлен — ведь он редко видел на улице мальчиков в тюбетейках, а маму в домашней обстановке — в белом головном платке. Он испытывал ощущение скорее не мультикультурности, а некой инако-

---

<sup>23</sup> К «Алифбе» 1990-х гг. применимо понятие «учебниковой» инерции — набор усвоенных в начале 1990-х гг. штампов переходил из издания в издание, «не становясь объектом какого-либо переосмысления, превратившись в практически невидимый и неосязаемый, но весьма унылый стереотип», главным достоинством которого было соответствие стандартному национальному канону. (Касьянов. 2004. С. 85).

ности. В учебнике, таким образом, был нарушен один из главных для детского издания принципов – принцип узнаваемости и, соответственно, ощущения принадлежности, «близости» (“belonging”), которая, как известно, конструируется социально<sup>24</sup>. Этот букварь скорее разъединял, нежели объединял, хотя и не ставил перед собой такой задачи.

Совершенно другую картину являла собой «красная» Алифба Р. Г. Валитовой и С. Г. Вагизова для первого класса 4-летней татарской школы, которая преимущественно в татарских школах и классах и применялась. Это был букварь, обучавший – в отличие от «синей» «Алифбы» – родному языку, и потому национальный дискурс был здесь обозначен гораздо сильнее. Рассмотрим в качестве примера издание 1995 г.<sup>25</sup>, когда, с одной стороны, прошло еще не так много времени, чтобы полностью «переписать» учебник, а, с другой, вполне достаточно, чтобы существенно обновить и видоизменить его.

«Красная» «Алифба» была учебной книгой, существенно расширившей свой пространственный охват по сравнению с «синим» изданием. Хотя она еще и не выводила ребенка за границы Татарстана, но с традиционной «сельскостью» отныне было покончено. В книгу были включены картинки с изображением столицы республики – Казани и отдельных достопримечательностей города, скверов, площадей и памятников столицы Татарстана. Изображенные в букваре современные средства передвижения заключали в себе потенциальную возможность перемещения, причем в комфортных условиях и на большие расстояния (самолет «Аэрофлота», электровоз и пр.)<sup>26</sup>. Теперь «машиной» для юного пользователя букваря был и грузовик, и автобус, и легковой автомобиль<sup>27</sup>, хотя и представленная в учебнике сельскохозяйственная техника выглядела вполне современно<sup>28</sup>.

«Этнокомпонент» в «красной» «Алифбе» середины 1990-х гг. резко усилился: в том или ином проявлении он присутствовал практически на каждой странице. Многие дети и взрослые изображены в национальной одежде или с ее отдельными атрибутами: мальчики и мужчины в тубетейках, девочки – в фартуках, женщины – причем не только пожилые (как в «синей» «Алифбе»), но и молодые – в головных платках, повязанных особым образом, фартуках, ичигах и кожаных тапочках с национальным орнаментом, в серьгах специфической формы, в браслетах на

---

<sup>24</sup> Вагитов .1991. Р. 12-27.

<sup>25</sup> Валитова, Вагыйзов. 1995.

<sup>26</sup> Там же. Б. 77,100.

<sup>27</sup> Там же. Б. 89.

<sup>28</sup> Там же. Б. 18, 70,102.



обоих запястьях и т.д. Характерно, что молодые женщины облачались в традиционную одежду преимущественно в домашней обстановке, а пожилые повсеместно<sup>29</sup>. Девочка Нафиса в день своего рождения, в отличие от приглашенных подружек, наряжена в национальный костюм<sup>30</sup>. Одновременно вне дома мы видим женщин в современной одежде: врача в белом халате-мини (с. 14), учительницу физкультуры в облегающих узких брючках и свитерке (с. 42), учительницу начальных классов – с хорошей стрижкой «каре» и в стильной красной кофточке (с. 56).

В книге появилось много героев татарских народных сказок, существующих и в авторских пересказах («Болтливая утка» А. Алиша, «Водяная» и «Шурале» Г. Тукая), которые, что вполне естественно, также были одеты в татарскую национальную одежду<sup>31</sup>. В такую же одежду были облачены и персонажи русских народных сказок (скажем, Лиса и Журавль)<sup>32</sup>. Любимыми куклами у девочек тоже были отнюдь не Барби, а куклы в национальных костюмах<sup>33</sup>. В букваре присутствовал визуальный материал, повествующий о национальном народном промысле – изготовлении кожаных сапог (ичигов)<sup>34</sup>. Хотя в детском саду детям предлагали ставшие уже вполне «интернациональными» «борщ, щи и кашу», в гостях их угощали татарскими национальными блюдами – эчпочмаком и бэлешом<sup>35</sup>. Юные джигиты скакали на игрушечных лошадках с развевающимся флагом суверенного Татарстана в руках (с. 30). Красно-зеленые цвета флага преобладали даже на их головных уборах – тюбетейке и жокейке. Двое других играющих в песочнице ребяташек – мальчик и девочка – с восхищением смотрели им вслед<sup>36</sup>.

Большой знаковый смысл несла картинка, изображающая татарского мальчика в национальном костюме с указкой у огромной красной карты с надписью «Татарстан». Мальчика окружали его сверстники в костюмах бывших союзных республик, а ныне независимых государств. Была среди них и русская девочка в сарафане и кокошнике. Внизу располагался текст: «Вот карта Татарстана. Татарстан – Родина. Родина –

---

<sup>29</sup> Там же. Б. 15, 31, 32, 34, 55, 60, 65, 72, 75, 104 и другие.

<sup>30</sup> Там же. Б. 110.

<sup>31</sup> Там же. Б. 22, 36, 68. Попутно заметим, что изображая главную героиню одноименной сказки – золотоволосую Водяную, художник не погрешил против сюжета и не побоялся вполне целомудренно, но совершенно открыто показать обнаженное женское тело, что совершенно не соответствовало правилам «букварных» изданий.

<sup>32</sup> Там же. Б. 12.

<sup>33</sup> Там же. Б. 5, 8, 28, 32 и другие.

<sup>34</sup> Там же. Б. 47.

<sup>35</sup> Там же. Б. 110, 116.

<sup>36</sup> Там же. Б. 30, 52.

страна (край) дружбы. А они – дружные братья». Отныне, наконец, стало возможным сделать то, что недопустимо было в советской «Алифбе»: Татарстан был представлен в тексте и на картинке наравне с другими, равным среди равных, в том числе и с Россией<sup>37</sup>. Не удивительно, что воспитанные на таком букваре дети впоследствии часто ошибались, определяя политико-географический статус Татарстана, и при опросах даже восьмиклассники нередко называли его «страной»<sup>38</sup>.

Оптика указанного букваря не представляла возможности для ознакомления ребенка с таким феноменом, как «нетитульные» этнические группы. И это четко прослеживалось даже визуально. Черты лица букварных персонажей были тщательно прописаны и не оставляли сомнений в их этнической принадлежности. Во всем учебнике при изображении жителей Татарстана, больших и маленьких, не встречалось ни одного блондина, которых на самом деле даже среди татар более чем достаточно. Не встречалось в нем и ни одного русского имени. Таким образом, герои «Алифбы» как будто сознательно изолировались от окружающего их многонационального пространства. Иные «другие» представлены были в указанном букваре также очень ограниченно. Помимо вышеописанной сцены у карты Татарстана, можно упомянуть, пожалуй, лишь торжественное шествие по бахче, усыпанной не только плодами, но и цветами, улыбающихся детей, радующихся богатому урожаю. Это представители среднеазиатских государств – девочка, несущая большую дыню, и мальчик верхом на ослике, везущий арбуз, а вместе с ними – и татарский мальчуган, с трудом удерживающий в руках огромную тыкву. Все дети одеты в национальные костюмы.

Однако несправедливо было бы не заметить, что в этом учебнике уже был виден размах, выход за узкие, «ограничительные» территориальные рамки, сочетавшийся со строгим «родиноведческим» подходом, и при этом — с несвободой от идеологии.

Таким образом, 1990-е гг. ознаменовались в Татарстане постепенной, но, в конечном итоге, достаточно радикальной деконструкцией прежнего букварного текста и поисками его современных аналогов. Этого требовала новая политическая и социокультурная ситуация, складывавшаяся и в самой республике, и в России в целом, влияние которой легко прочитывалось на страницах букварных изданий, в том числе и в содержащихся в них визуальных текстах. Политическая конъюнктура выступала здесь, безусловно, не столь оголтело и прямолинейно, как в

<sup>37</sup> Там же. Б. 52.

<sup>38</sup> Об этом см. подробнее: Сальникова. 2007. С. 223.

букварях советского периода, но обязательно присутствовала, подчас – в скрытой, латентной, вероятно, не всегда понятной и «прочитываемой» ребенком с первого взгляда и требующей дополнительных разъяснений и комментариев со стороны взрослых, форме.

Национальный дискурс безусловно доминировал в постсоветских татарских букварях и определял их суть. Именно посредством его и шло, по существу, постулирование этой самой «постсоветскости». Одной из основных, если не главной задачей «Алифбы» в рассматриваемый период, стала задача формирования и укрепления национальной идентичности и складывания понятия национального «мы». Татарский ребенок и члены его семьи – родители, бабушки и дедушки, братья и сестры, дяди и тети – оставались, как, впрочем, и в советское время, главными героями татарского букваря и именно на данных персонажах была возложена эта важная политико-воспитательная миссия.

Национальное «мы» господствовало в «Алифбе» априорно и всецело, не допуская актуализации образа «другого» и – благо – сопоставления или противопоставления образов «своих» и «других». Такой подход представлялся, безусловно, возможным, и, как показывает практика, всегда успешно реализовывался в учебниках иностранного языка. Но то, что было применимо к изучению и проникновению в мир действительно культурно и территориально отстоящих «других», оказывалось, вероятно, далеко не самым продуктивным в условиях ситуации «срединности», которую воплощал собой Татарстан<sup>39</sup>. Здесь сложился многовековой опыт сосуществования двух основных для этого региона национальных общностей – татарской и русской, сплавленных в едином «культурном котле» и не потерявших при этом своего своеобразия. Эта мультикультурная среда окружала татарстанцев с момента их рождения, они сами являлись ее неотъемлемой составной частью, и потому отсутствие ее в национальных букварях существенно обедняло эти издания, снижая степень их полноты и достоверности отображения действительности.

В роли слабо обозначенных «других» оказались в «Алифбе» и представители современной городской культуры. Отстраняясь от нее, как таковой, и от неразрывно связанных с нею достоинств и недостат-

---

<sup>39</sup> По мнению ряда современных исследователей, модель ситуации «срединности», предложенная Р. Уайтом (White R. 1991) и трактуемая им как «процесс взаимного и творческого непонимания» (Р. 53), успешно работает и в условиях Казани – «имперского “хартленда”, где русские и татары (православные и мусульмане) не были ни “друзьями”, ни “врагами”. Они были “соседями, и их каждодневные отношения на межгрупповом и индивидуальном уровнях формировались в *ситуации срединности* (выделено авторами)». (Редакция Ab Imperio. 2010. С. 12).

ков, преимуществ, соблазнов и пороков современного постсоветского общества потребления, воспевая «пастушескую» идиллию отлакированной сельской жизни, «Алифба» 1990-х уже плохо вписывалась в складывавшуюся тогда ситуацию, отмеченную постепенным возрастанием роли Татарстана в общемировых процессах, встраиванием его в Большой мир и охватившие его глобализационные тенденции.

Анализ «Алифбы» 1990-х гг. показал, что и ранние постсоветские модели построения национального букваря, базирующиеся на принципе встраивания национального компонента в прежнюю единую советскую схему и ее последующее размывание, и более поздние его образцы, прямо и открыто опирающиеся на концепцию «этнической эксклюзивности» и «идеальный» образ нации, оказались не состоятельными с точки зрения достоверного и репрезентативного описания нового политического, экономического и социокультурного пространства Татарстана и населяющих его субъектов – как больших, так и маленьких. Они не сумели стать той «зоной культурного билингвизма», о которой писал Ю. М. Лотман<sup>40</sup>, и которая так необходима была и самому многонациональному Татарстану, и его юным жителям. Противопоставить им можно было бы, пожалуй, лишь «Азбуки» и другие учебные пособия, предназначенные для обучения русскому языку учащихся татарских школ, где межнациональные коммуникации были обозначены гораздо сильнее<sup>41</sup>.

### БИБЛИОГРАФИЯ

- Агеева Л.* Путешествие во времени // Республика Татарстан: Новейшая история. События. Комментарии. Оценки / Авторы-составители Ф. Х. Мухаметшин и Л. В. Агеева. Казань: Медикосервис, 2000. С. 51.
- Актуальная проблема перестройки // Советская Татария. 1989. 10 февраля.
- Асадуллин А. Ш., Ягафарова Р. Х.* Азбука: Учебник для 1 класса четырехлетней татарской начальной школы. Казань: Татарское книжное издательство, 1991.
- Бареев Т.* О чужой боли // Вечерняя Казань. 1989. 27 марта.
- Беседа с учителем татарского языка Сьюмбюль Г., г. Высокая Гора, Республика Татарстан. 19 апреля 2010 г. // Архив автора.
- Горецкий В. Г., Кирюшкин В. А., Шанько А. Ф.* Букварь. Изд. 7–11. М.: Просвещение, 1987–1991.
- Вэлитова Р. Г., Вагъйзов С. Г.* Элифба: Өчеллык башлангыч мәктәпнең 1нче сыйныфы өчен дәреслек. 23–27 басма. Казан: Татарстан китап нәшрияты, 1987–1991.
- Вэлитова Р. Г., Вагъйзов С. Г.* Элифба: Дүртгеллык башлангыч мәктәпнең 1нче сыйныфы өчен дәреслек. 4 басма. Казан: Татарстан китап нәшрияты, 1995.
- Амирханов Р.* Развитие народного образования у татар в дооктябрьский период // Мәгариф. 1992. № 8. С. 36–37.

<sup>40</sup> Lotman, Uspenskii. 1984. P. 3-35.

<sup>41</sup> См., например: Асадуллин, Ягафарова. 1991.

- Дашкова Т. Идеология в лицах. Формирование визуального канона в советских женских журналах 1920 – 1930-х гг. // Культура и власть в условиях коммуникационной революции XX века: Форум немецких и российских культурологов / Под ред. К. Аймермахера, Г. Бордюгова, И. Грабовского. М.: АИРО–XX, 2002. С. 105–106.
- Касьянов Г. «Пикник на обочине»: Осмысление имперского прошлого в современной украинской историографии // Новая имперская история постсоветского пространства. (Библиотека журнала “Ab Imperio”). Казань: Центр исследований национализма и империй, 2004. С.85.
- Мухина В. С. Возрастная психология: феноменология развития, детство, отрочество. М.: Academia, 1999. С. 315.
- Редакция Ab Imperio. Не возлюби ближнего: Динамика соседства, дружбы и вражды // Ab Imperio: исследования по новой имперской истории и национализму в постсоветском пространстве. 2010. № 3. С. 12
- Сабирзянов Г. С. Букварь // Татарская энциклопедия: В 5-ти т. Казань: Институт татарской энциклопедии. 2002–. Т. 1. С. 478.
- Сальникова А. А. Российское детство в XX веке: история, теория и практика исследования. Казань: Казанский государственный университет, 2007. С. 223.
- Султанбеков Б. Ф., Харисова Л. А., Галямова А. Г. История Татарстана. XX век. 1917–1995 гг.: Учебное пособие. Казань: Хэтер, 1998. С. 430.
- Тагиров И. Р. Европейская хартия региональных языков и языков национальных меньшинств и положение татарского языка в Российской Федерации // Тагиров И. Р. Европейские стандарты прав человека и законодательство Республики Татарстан. Казань: Татарское книжное издательство, 2001. С. 69-73.
- Усманова Д. Создавая национальную историю татар: историографические и интеллектуальные дебаты на рубеже веков // Новая имперская история постсоветского пространства. (Библиотека журнала “Ab Imperio”). Казань: Центр исследований национализма и империй, 2004. С. 110.
- Wauman Z. Modernity and the Holocaust. Cambridge: Cambridge UP, 1991. P. 12–27.
- Lotman Yu. M., Uspenskii B.A. The Role of Dual Models in the Dynamics of Russian Culture (Up to the End of the Eighteenth Century) // Lotman Yu. M., Uspenskii B.A. (ed.) The Semiotics of Russian Culture. Ann Arbor (Mich.): Ardis, 1984. P. 3–35.
- White R. The Middle Ground: Indians, Empires, and Republics in the Great Lakes Region, 1650–1815 (Studies in North American Indian History). Cambridge: CUP, 1991. P.53.
- Сальникова Алла Аркадьевна**, доктор исторических наук, профессор, заведующая кафедрой историографии и источниковедения Казанского (Приволжского) федерального университета; Alla.Salnikova@ksu.ru

Ф. В. НИКОЛАИ

## ПОЛЕМИКА О ГРАНИЦАХ СВОЕГО И ЧУЖОГО В АМЕРИКАНСКОЙ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ИСТОРИИ

---

В статье рассматривается полемика представителей американской интеллектуальной истории (М. Джея, Д. ЛаКапры, Э. Сантнера, Х. Уайта, Ш. Фелман) о способах формирования идентичности в контексте оппозиции *своего* и *чужого*. Общей установкой большинства исследователей в этой полемике становится признание некоего полупрозрачного барьера между *своим* и *чужим* — границ репрезентации прошлого. **Ключевые слова:** интеллектуальная история, пределы репрезентации, предельные события, социальная идентичность, диалог.

---

«Без отсылки к Другому субъекта нет и не может быть»<sup>1</sup>. Это высказывание Ж. Лакана можно назвать аксиомой гуманитарных исследований второй половины XX в. Человек всегда выстраивает свою идентичность через оппозицию образу Другого. В США периода холодной войны «демократические ценности» представлялись во многом именно через противопоставление их конформизму и авторитаризму, приписываемым советскому обществу. После распада последнего в 1990-е гг. (когда прежний Другой стал стремиться стать «таким же»), американцы столкнулись с проблемой собственной национальной/социальной идентичности. Причем эта ситуация воспринималась достаточно болезненно — как кризис, во многом аналогичный ситуации рубежа XIX–XX вв.

Одним из проявлений кризиса стал внезапный рост национального самосознания сразу нескольких диаспор — крайне болезненный симптом для общества, исповедующего мультикультурализм и широкую толерантность. Отметим, что академические исследователи, даже дистанцируясь от откровенно ангажированных проектов, в этой ситуации не могли игнорировать бурный рост социального интереса к истории. К тому же именно на рубеже 1980–90-х гг. существенно изменились представления об историческом дискурсе; начала складываться новая парадигма с центром в виде исследования памяти. История оказалась неразрывно связана со своего рода социальной работой по сохранению памяти и идентичности разных общественных групп. В результате академические исследователи в США заняли свое место внутри «индустрии Холокоста» (в которую также вовлечены культурные исследования и *trauma studies*); в освещении «белых пятен» женской истории; в постколониальных исследованиях; в сохранении устной истории локальных сообществ. Зна-

---

<sup>1</sup> Лакан Ж. 2002. С. 7.

чительный интерес к «memory studies» стали проявлять и представители интеллектуальной истории, активно обсуждавшие вопрос о границах репрезентации прошлого<sup>2</sup>, который, по сути, определял особую позицию историков и в рамках указанных социально-ориентированных проектов. Обозначим лишь ключевые позиции сложившегося спектра мнений.

На одном полюсе – Ш. Фелман и Д. Лауб. Они делают акцент на «разрыве означения» и работают с видео-свидетельствами жертв Холокоста. В книге «Свидетельские показания: кризис свидетельства в литературе, психоанализе и истории» они декларируют «радикальный кризис истории, который переходит в кризис литературы, поскольку литература становится свидетелем (возможно, единственным свидетелем) этого исторического кризиса, не артикулируемого в категориях исторической науки»<sup>3</sup>. Подобно тому, как улыбка человека, рассказывающего о смерти близких или о случаях каннибализма, не укладывается в рамки нашего понимания, так и свидетельские показания в целом выходят за границы нашей способности суждения<sup>4</sup>. Главным выражением этого аспекта свидетельства становится молчание героев. Парадигматический пример – обморок ключевого свидетеля на процессе Эйхмана – писателя К. Цетника – его физическая невозможность высказать свой опыт. Главной интеллектуальной стратегией для Фелман становится метонимия, которая предполагает подстановку себя (своего тела) на место жертв. Эта концепция свидетельства исходит из приоритета тела над речью и языком<sup>5</sup>. По мнению Фелман, свидетельства о предельных событиях и ситуациях экзистенциального выбора разрывают любые символические связи и выходят за рамки воображения. При этом границы между *своим* и *чужим*, казавшиеся практически непреодолимым барьером, парадоксаль-

---

<sup>2</sup> Показательный пример – организованная Солом Фридландером конференция «Исследуя пределы репрезентации» (1990). *Probing the limits...* 1992.

<sup>3</sup> *Felman S., Laub D.* 1992. P. XVIII.

<sup>4</sup> Как отмечает Фелман, одним из первых осознал эту проблему известный французский режиссер К. Ланцман (автор документального фильма «Шоа»), который долгое время не мог сделать репортаж об Израиле или написать о нем книгу, и в результате обратился к жанру фильма-свидетельства. Фильм Ланцмана «стал свидетельством и показанием невозможности письма». *Ibid.* P. 248. Впрочем, необходимо уточнить, что «Шоа» Ланцмана (как и «Хиросима — любовь моя» А. Рене и М. Дюрас) – это не только фильм, но и книга, изданная самим Ланцманом.

<sup>5</sup> «Говорящие тела производят речевые акты, которые превосходят любые философские интерпретации и дидактические цели (включая мои собственные). Эту перформативную власть языка данная книга стремится не только прочесть, но и задействовать — продемонстрировать в действии. <...> Психоанализ показывает, что речь всегда связана с телом». *Felman S.* 1983. P. IX. «Свидетель бессознательно дает показания свои телом». *Felman S.* 2002. P. 163.

ным образом полностью стираются самим перформативным жестом принятия новой идентичности, когда Я занимает место Другого<sup>6</sup>.

Максимально резко позицию Ш. Фелман и ее сторонников критикует известный историк Д. ЛаКапра. По его мнению, слабость внутренней и внешней критики исторических свидетельств несет опасность полной самоидентификации с жертвами предельных событий прошлого, нивелирующей границы между *своим* и *чужим*. Свидетельства о предельных событиях говорят, в первую очередь, о субъективном опыте жертв, и лишь во вторую – о самой реальности. Но именно поэтому важна «проработка прошлого» – его осмысление и стремление прийти к согласию с ним. Исследователь особо подчеркивает, что диалогичность любого текста или видео-свидетельства принципиально несводима к монологическому рассказу: диалог с прошлым может не просто отражать, но и преобразовывать реальность, ибо его участники «прорабатывают» опыт прошлого – смягчают его бремя. О кризисе исторической науки говорить в этом смысле не приходится, поскольку даже историзм XIX в. не был монолитен и монологичен, как и реализм, достигающий своей кульминации в текстах Ф.М. Достоевского и иронии Бахтина.

Продолжая дерридианскую критику бинарных оппозиций<sup>7</sup>, ЛаКапра подчеркивает мобильность стратегий чтения и особое понимание диалога, предполагающее осознание дистанции по отношению к другому, и уже во-вторых – этически отрефлексированную эмпатию (к жертвам трагических событий прошлого) или критическую проработку (применительно не только к палачам, но и к их добровольным жертвам). Это отношение нельзя смешивать с произвольной и исключительно субъективной оценкой событий прошлого: оно может быть методологически отрефлексировано через призму психоаналитических категорий (трансфер, аффективное повторение, проработка, замещение и т.д.)<sup>8</sup>. Речь идет об осознанном диалоге с прошлым, проблематизирующем подвижные границы *своего* и *чужого*, индивидуального и социального, внутреннего

---

<sup>6</sup> *Felman S., Laub D.* 1992. P. 137. В ходе полемики Фелман несколько изменила позицию, перенесла акцент с кризиса непонимания на перформативный потенциал суждения. Разделяя боль выжившего и его бремя истории, мы сами становимся свидетелями предельных событий прошлого. *Felman S.* 2002. P. 241-242.

<sup>7</sup> ЛаКапра усматривает за этими оппозициями (внутренний vs. внешний, *свой* vs. *чужой*; и т.д.) противопоставление имманентного и трансцендентного как результат неосознанной секуляризации. *LaCapra D.* 2004. P. 19, 50.

<sup>8</sup> ЛаКапра подчеркивает, что психоанализ не должен сводить указанные категории к бинарным оппозициям. Скорее он представляет собой «внутренне историзированный способ мышления, тесно связанный с социальными, политическими и этическими отношениями». *LaCapra D.* 1994. P. XI-XII.



и внешнего. Согласно ЛаКапра, стремление «раздвинуть» границы прошлого, зачастую подчиняя им настоящее, приводит к мистификации понятия опыта, который становится нерепрезентируемым истоком всякого представления. Делая акцент на «некодируемом», современная теория ставит под вопрос собственный критический потенциал, застывая в священном ужасе перед лицом предельных событий и предлагая в качестве основы идентичности либо этическое смирение, либо приверженность постсекулярным аналогам религиозного Искупления.

«Среднюю позицию» к ЛаКапра и Фелман занимают М. Джей и Э. Сантнер, утверждая, что рамки нашего восприятия прошлого формируются, в первую очередь, символической традицией (в случае Холокоста – апокалиптической) и укоренены в истории европейской культуры. Для Джей все фигуры нашего воображения неразрывно связаны с длительными интеллектуальными трендами, которые воплощаются в устойчивых образах или аллегориях (слепая Фемида, падающий Икар, кораблекрушение и т.д.), и работа историка основана не на метонимии, но на разделении образа и идеи внутри аллегории. В частности, Холокост как аллегория «радикального зла», скрывает «метаисторический нарратив ‘искупления’ современности»<sup>9</sup>. Выступая против радикального разрыва или дерридиаского *Различья своего и чужого*, Джей считает игру ситуативных *различий* (метафор света и тьмы, высокой и низкой культуры, эмансипации и роста социального контроля) свойственной эпохе модерна в целом. Поддерживая в этом ЛаКапру, он ставит под сомнение новизну и продуктивность самой идеи *пост*модерна, вслед за Хабермасом признавая модерн «незавершенным проектом». Однако Джей далек от идеи проработки прошлого. Подчеркивая невозможность снять противоречие между автором и читателем, настоящим и прошлым, исследователь говорит о «силовых полях», где напряжение мысли не снимается ни герменевтическим «слиянием горизонтов» в духе Гадамера, ни предлагаемой ЛаКапра моделью диалога, основанного на эмпатии. Между поляризованными силами (*своим* и *чужим*) идет постоянная борьба, которая никогда не заканчивается устойчивым синтезом<sup>10</sup>.

В отличие от Джей, Э. Сантнер делает акцент не столько на многовековую историю европейской культуры, сколько на системный кризис рубежа XIX–XX вв.<sup>11</sup> Помимо важных социально-политических изме-

<sup>9</sup> Jay M. 2009. P. 106.

<sup>10</sup> Jay M. 1993. P. 9. Позиции Джей и Фелман совпадают и по ряду других вопросов, особенно в трактовках меланхолии или «неспособности к трауру» В. Беньямина.

<sup>11</sup> Для Джей этот кризис также имеет принципиальное значение, хотя и несколько меньшее, чем длительные культурные тренды модерна. См.: Jay M. 1988.

нений этот кризис предполагал деградацию старых моделей легитимации и символических авторитетов. Именно последний момент не только углубил и сделал очевидным раскол между Я и Другим, но и превратил его в *травму* или *стигмату* XX века. Кризис прежних символических институтов блокировал пути для инвестиций социального напряжения, веры и надежды на Искупление во что-то трансцендентальное. В результате эти конфликты оказались интернализированы – воплощены в психо-соматические страдания и удовольствия человека XX века.

Осознание этих новых символических механизмов и попытку их проработки Сантнер связывает с интеллектуальной традицией постлакановского психоанализа и философией диалога в духе Ф. Розенцвейга. Отвечая на вопрос о том, что значит «быть открытым чужой культуре», Сантнер пытается разделить *глобальное* и *универсальное* сознание: «Для глобального сознания конфликты создаются благодаря *внешним* различиям между культурами и обществами, тогда как для универсального сознания (как я понимаю этот термин) важна взаимная открытость обсуждению и даже бурной полемике, *имманентным* любой идентичности. <...> С этой точки зрения, спасение предполагает не полное слияние или окончательную победу в этой полемике, но скорее работу по преодолению нашей фантазматической организации и разрушение внутреннего барьера в отношении нее. Иначе говоря, для глобального сознания любой чужак в конечном счете похож на меня, в конечном счете знаком или близок мне; его или ее инаковость является лишь функцией иного словаря, — отличающегося набора имен, который всегда можно перевести. Для психоаналитической концепции универсальности, которую я здесь рассматриваю, все как раз наоборот: возможность ‘Мы’, сообщества [communality], возможна на основе того, что каждый наш близкий — существенно другой, и даже мое Я в некотором смысле мне не знакомо»<sup>12</sup>. Человеческая жизнь представляется Сантнеру постоянным поиском ответа на онтологический вызов, брошенный нам Ближним (одновременно монстром и святым) в его материальности и «вещности». Этот ответ в принципе не может быть полностью переведен в национальный проект или какой-либо конструкт *своего*. Постоянное взаимодействие с Ближним создает неустрашимый избыток реальности, растворяющийся в *психотеологии* повседневности, которую Сантнер называет «сердцевиной жизни»<sup>13</sup>.

«Отец-основатель» новой интеллектуальной истории Х. Уайт занимает в вопросе соотнесения *своего* и *чужого* также скорее среднюю

<sup>12</sup> Santner E. 2001. P. 5-6.

<sup>13</sup> Ibid. P. 117-121.

позицию, хотя его аргументация стоит в полемике несколько особняком. Специфика его взглядов предполагает перевод дискуссии из эстетического (Фелман) или этического (ЛаКапра) в тропологическое русло. «То, что последовательность реальных событий должна иметь трагическое или комическое значение, — мифологическое утверждение» — пишет он<sup>14</sup>. Рассматривая тексты свидетельств о предельных событиях как «двойную аллгорию», Уайт подчеркивает, что эффективность подобного свидетельства формируется, во-первых, благодаря отсылке к мифу, поэзии или литературе, а во-вторых, благодаря значительной их самокритичности, поскольку они сами признают свою невозможность свидетельствовать о Холокосте. То есть, Уайт также склонен деконструировать оппозицию *своего* и *чужого* как миф, ибо любое выражение опыта, памяти о прошлом или социальной позиции отсылает к другим символическим конструктам. На примере насыщенных аллгориями текстов Примо Леви, посвященных Холокосту, исследователь поясняет: «Описание реального человека, которого Леви узнал в специфических обстоятельствах прошлого, не стоит сбрасывать со счетов как неточное и субъективное. Наоборот, данная последовательность очертаний полностью и эксплицитно референциальна; она выступает средством отсылки к подлинному человеку в реальном пространстве и времени. Более того, в той степени, в которой она выражает этическую оценку (пронизывающую его форму), она, можно сказать, даже более ‘объективна’, чем любая другая попытка буквального описания»<sup>15</sup>.

В целом линия Уайта, на наш взгляд, чуть ближе стратегии ЛаКапры. Утверждения о «кризисе литературы и истории» в духе Ж. Деррида или Ш. Фелман вызывают с его стороны весьма ироничную критику: «Литература редуцируется к письму, письмо к языку, а язык в завершающем пароксизме фрустрации — к болтовне о молчании»<sup>16</sup>. Однако, в отличие от позиции ЛаКапры, диалог для Уайта невозможен: субъект-позиции растворены в языковых тропах, поэтому они в принципе не могут претендовать на самостоятельную проработку прошлого.

Таким образом, снимая противоречие между позициями Фелман и ЛаКапры, Сантнер и Джей, а в определенной степени и Х. Уайт, стремятся сохранить их сильные стороны и обозначить ту общую почву, на которой они стоят. Новая интеллектуальная история стала результатом лингвистического поворота. Поэтому вполне оправданно развивать ее нацеленность на заложенные в языке возможности перформатива. По-

<sup>14</sup> White H. 2004. P. 117.

<sup>15</sup> Ibid. P. 122.

<sup>16</sup> White H. 1978. P. 262.

лемика о границах репрезентации убедительно показывает, что барьер между *своим* и *чужим* невозможно ни устранить путем метонимии, ни обойти, используя лишь внешнюю критику и дистанцию. Между ними всегда остается некая черта или смысловая лакуна. Однако работа исследователя должна заключаться в том, чтобы, осознавая трудности перевода, все-таки пронести через этот «слэш» зерна смысла.

### БИБЛИОГРАФИЯ

- Лакан Ж.* Образования бессознательного. Семинары 1957/1958 гг. Кн. 5. / Пер. А. Черноглазова. М.: Гнозис, 2002. 608 с.
- Felman S., Laub D.* Testimony: crises of witnessing in literature psychoanalysis and history. N.Y.: Routledge, 1992. 314 p.
- Felman S.* The juridical unconscious: trials and traumas in the twentieth century, Harvard University Press, 2002. 272 p.
- Felman S.* The scandal of the speaking body: Don Juan with J.L. Austin, or seduction in two languages. 1983. 176 p.
- Jay M.* Allegories of Evil: a response to Jeffrey Alexander // Alexander J. Remembering the holocaust: a debate. Oxford University Press, 2009. P. 105-114.
- Jay M.* Fin-de-Siècle socialism and other essays. Routledge, 1988. 220 p.
- Jay M.* Force fields: between intellectual history and cultural criticism. Routledge, 1993. 288 p.
- LaCapra D.* History in transit: experience, identity, critical theory. Ithaca: Cornell University Press, 2004. 282 p.
- LaCapra D.* Representing the Holocaust: history, theory, trauma. Ithaca: Cornell University Press, 1994. 230 p.
- Probing the limits of representation: nazism and the 'Final Solution'. / Ed. by S. Friedlander. Cambridge, 1992. 407 p.
- Santner E.* On the psychotheology of everyday life. Chicago: Chicago University Press, 2001. 168 p.
- White H.* Figural realism in Witness Literature // Parallax. 2004. Vol. 10. N. 1. P. 113–124.
- White H.* Tropics of discourse. Essays in cultural criticism. Baltimore: The Johns Hopkins University Press, 1978. 287 p.
- Николай Федор Владимирович**, кандидат исторических наук, доцент кафедры всеобщей истории и дисциплин классического цикла Нижегородского государственного педагогического университета; [fnik@list.ru](mailto:fnik@list.ru).

## SUMMARIES

---

**L. P. REPINA. 'National character' and the 'image of the other'.** The article analyses the concepts of a 'national character' and the 'image of the Other'. It is focused on the studies of intercultural interactions and of ethnic and national identity. The author demonstrates that the historical contents of the oppositions 'us-they', 'own – alien' is of great importance for the understanding a particular culture and its self-consciousness.

**Keywords:** national character, identity, dialogue of cultures.

**N. I. DEVYATAYKINA. The idea of nation in the culture of the early Renaissance (the works by Petrarch, 1350-1370s).** The analysis of the works by Petrarch enables one to reveal the frequency of use and various meanings of such terms as 'Italy', 'motherland', 'patria', 'nation', 'ethnic group', 'italic'. The author concludes that Petrarch contributed greatly to the development of Italian national consciousness through his life and personal example.

**Keywords:** Petrarch, nation, national character, cultural patriotism, Italy.

**E. A. VISHLENKOVA. 'Russian nation' – an 'orthodox nation'? Graphic versions of the 18<sup>th</sup> – early 19<sup>th</sup> cc.** The author focuses her attention on the correlation of ethnic, national and imperial components in the space of 'visual studies of peoples' of the Russian Empire in the 18<sup>th</sup> – early 19<sup>th</sup> cc. and offers the results produced in the process of deconstruction of graphic representations that structured the variety of the population of the Empire.

**Keywords:** 'Russian people', Empire, Orthodoxy, visual images.

**A. B. SOKOLOV. The English character: a German 18<sup>th</sup> –century travelogue in the context of contemporary cultural anthropology.** The author analyses works by British 'moral philosophers' of the early 19<sup>th</sup> c. and the work by a German traveller K. Moritz who visited England in 1782. He compares reflections on the manners, style of communication and behaviour of the English, their humour, patriotism, cuisine and fashion with conclusions presented in C. Fox's study (2004) written in the genre of 'cultural ethnography'.

**Keywords:** national character, image of a country, travelogue, patriotic discourse, K. Moritz, cultural ethnography, C. Fox.

**E. A. KULAKOVA. British works about travels to Russia in 1820s-1840s.** The author analyzes books by British writers about their travels to Russia in 1820–1840s; most of them have never been translated into Russian. The article demonstrates that nationality of European travelers (the British, the French, or the Germans) did not determine the differences in their perception of Russia and the Russian character (in this case common trends prevail), but rather specified the intentions for travelogues publishing and the manner of writing.

**Keywords:** travelogue, the British, travels to Russia, Russian-British links.

**N. I. NEDASHKOVSKAYA. 'To write in Russian'. The project of national philological culture: Free Society of the lovers of letters, sciences and arts, 1801–1813.** The article presents a reconstruction of a plan and cultural practices of reforms of the Empire, developed by the 'Free Society of the lovers of letters, sciences and arts', members of which began to implement their project of new 'philological culture' for Russia 14 years prior to creation of Pushkin's 'Arzamas' and its well-known confrontation with Shishkov's circle.

**Keywords:** philological culture, Slavic studies, intellectual project, ideology, ideologem, nation-building, Russian verse, national character.

**A. E. AFANASYEVA. Science, literature, and empire: African travelogues by British writers, 1850s-1870s.** The article is focused on the ways the British travel writing on Africa was produced and perceived in the mid-Victorian period. The African travelogues of the 1850s – 1870s are viewed as a particular genre at the intersection of science and literature. The transformation of the language of Victorian travel writing is analysed through the study of British travelers' African accounts.

**Keywords:** travel writing, African travelogues, empire, Victorian Britain

**M. V. BELOV. 'Slavonic character': Russian writers of political essays, literary critics and travellers in the first half of the 19<sup>th</sup> century in search of 'narodnost'.** The development of the concept of 'Slavonic character' in Russia is considered in the context of the 19<sup>th</sup>c. debates about narodnost' and the positioning of the intellectual elite among the Slavonic milieu. In the article an emphasis is made on the naturalistic models of the 'national anthropology' of the given period as well as the visual effects

used by it. An appeal to the heroic examples of 'Slavonic spirit', prevailing in the Balkans, has become an argument for the existence of the active pole of 'Russian soul'.

**Keywords:** national character, Slavonic revival, «narodnost»), travel literature.

**M. V. LESKINEN. The concept of 'national character' / national temper in the language of of the Russian social sciences in the second half of the 19<sup>th</sup> century.** The article considers meanings and functions of concepts 'national temper/national character', 'national customs', 'national psychology' etc. in various fields of human knowledge in Russian science of the second half of the 19<sup>th</sup> century. These concepts are analyzed in the context of the process of ethnicity's construction, which was reflected in the ethnographic descriptions of the peoples of Russian empire.

**Keywords:** Russian Empire, ethnicity, national character/temper, Russian ethnography

**N. N. RODIGINA. The representations of literary journeys to Siberia in Russian political journals of the second half of the 19<sup>th</sup> century.** The author studies the role of monthly journals in popularizing of literary 'development' of Siberia and analyses the geographical images of the travels to the region presented on the pages of the journals.

**Keywords:** literature journeys, journals, geographical images, images of journeys.

**O. A. KIRIYASH. Practice of travelling as a way to shape the images of space for the Russian historians of the second half of the 19<sup>th</sup> century.** The author studies letters, diaries and memoirs of the Russian historians of the second half of the 19<sup>th</sup> c. and reveals their particular perceptions of the European space. Aims, objects, and itineraries of their travels are analyzed.

**Keywords:** space, image of Europe, Russian historians.

**O. B. LEONTIEVA. Narod as "nation" and as "demos" in the historical memory of the Russian society in the 19<sup>th</sup> – early 20<sup>th</sup> cc.** The article examines the strategies which were built around the concepts of 'nation' or 'demos/working people'. The author traces the transformations of Romantic narrative in Russian culture and argues that the images of an 'enemy' and 'oppressor' in Russian historical memory were more often associated with Russian despotic state than with foreign invaders. The concept 'people' was often understood as community united by the definite vision of the Truth and by the willingness to uphold it.

**Keywords:** historical memory, Russia, people, nation, intelligentsia.

**I. V. KRUCHKOV. Vienna and Budapest: two imperial centers in the texts by Russian travellers.** The author analyses of Russian travelers's perception of Vienna and Budapest. There were much more texts about Vienna than texts about Budapest, because Russian travelers preferred visiting Vienna to visiting Budapest. The author concludes that it was the positive image of capitals that prevailed in the texts of Russian travelers, especially in the beginning of the 20<sup>th</sup> c. They frequently presented such images as models for the development of Russia.

**Keywords:** tourist, hotel, café, perception, leisure, Austro-Hungary.

**A. V. KORENEVSKY. On the Trans-Siberian railway, Moscow, Russian 'No!' and the 'quintessence of the Byzantine spirit': A. J. Toynbee's notes about his travel to Russia.** The article is dedicated to an obscure page of A. J. Toynbee's biography – his journey from China to Europe via the territory of the Soviet Union in 1930. This trip immediately preceded the beginning of *A Study of History*; and impressions of the journey had exerted a significant influence on the conceptual framework for his *opus magnum*. Intellectual background of this event is reconstructed from Toynbee's works and through the documents from the archives of the Bodleian Library and the Royal Institute of International Affairs.

**Key words:** Toynbee, Russia, travelogue, civilization, Trans-Siberian Railway, Soviet Power.

**N. A. SELUNSKAYA. Italy, people, commune in the totalitarian discourse of medievalism: Gioacchino Volpe and V. I. Rutenberg.** The article studies the parallels in the developments of historilac thought revealed in the works by medievalists, similarities between the actualized images of the past produced by historians in Italy and Russia during the period of totalitarianism. The author does not emphasize simple links between national schools of historiography or direct adaptations but rather suggests intellectual parallels.

**Keywords:** historiography, Medieval Studies, history of concepts, intellectual biography, academic schools, history of Italy.

**E. E. SAVITSKY. *Is nationalism the last threat to democracy? European studies of nationalism and their post-colonial criticism in 1980s – 1990s.*** The article shows how the historical context of the debates on nationalism in 1980s-1990s influenced the changes in the attitudes to the problem, and how these transformations were criticised by Postcolonial scholars. He pays attention to the opinions of Ranajit Guha, Partha Chatterjee and Shahid Amin on the interpretation and representation of inter-national and inter-ethnic violence.

**Keywords:** *nationalism, violence, democracy, colonialism, humanism, post-colonial studies, Ranajit Guha, Shahid Amin, Partha Chatterjee.*

**A. B. KHAZINA. *Antinomy 'self – other' in historical narrative: a view of Hellenistic historiography.*** The author analyzes the works by Posidonius of Apamea, the representative of Average Stoa of I c.BC. The numerous fragments from his 'Histories' allow the author to conclude that Posidonius' portrayal of barbarians was not restricted to a mere reproduction of the steady clichés, both negative and idealizing, and overcoming of these clichés drew upon his encyclopedic views and ethical concept.

**Keywords:** *Greek-barbarous antagonism, ethno cultural stereotypes, historical narration, Hellenistic historiography, Posidonius of Apamea.*

**D. A. DOBROVOLSKY. *Perception of Polovtsians in the 11<sup>th</sup>–13<sup>th</sup> cc. Russian chronicles.*** Relations between Old Rus' and steppe are one of the most important places of memory of Russian culture. Modern historiography imposes this relationship to be nothing but an acute opposition. However, from contemporary point of view the situation seemed to be more complex. Study of characteristics and functions attached to Polovtsians in chronicles allows us to understand the complexity of Rus'-steppe relationship in XI–XIII centuries.

**Keywords:** *Old Rus', steppe, Polovtsians, Russian chronicles, perception of Other*

**S. S. KHODYACHIKH. *'Angli' vs. 'Normanni': problems and paradoxes of Anglo-Norman inter-perception.*** The article examines "paradoxes" of Anglo-Norman inter-perception from the standpoint of their impact on ethnic and social self-identification of the Norman aristocracy in England after 1066. Analysis of diverse sources has shown that Normans, acknowledging their exclusivity, regarded Anglo-Saxons as a defeated nation, the enemy, while inhabitants of England paradoxically committed their further destiny to the hands of God, pessimistically complaining about the evil of *outsider* people. The conflict between Anglo-Saxons and Normans above all is founded on ethnic sphere.

**Keywords:** *Norman Conquest, Anglo-Saxons, Normans, ethnic self-identification, social self-identification, England in the Middle Ages*

**E. V. LEZHNIINA. *The image of the 'enemy': the Irish Catholics as viewed by Anglicans at the late 17<sup>th</sup> – early 18<sup>th</sup> cc.*** The author observes the British Anglicans' practice of creating adverse stereotypes of supposedly hostile Irish Catholics at the late 17<sup>th</sup> – early 18<sup>th</sup> cc. She interprets the image of the 'enemy' in religious and political texts of the period as a discernible element of the ideology of 'protestant ascendancy' and as the discriminatory attitude of powerful ethnic and confessional minority to other opposing group.

**Keywords:** *Anglicanism, Irish Catholics, «Protestant ascendancy», anti-Catholicism, Jacobitism, British identity.*

**N. V. SEREDA. *'Kinsmen' – 'aliens' – 'the other' in the context of W. Cox's notes and their fate in Russia.*** The author argues that the main reason for all but total obscurity of W. Cox's work in Russia was the traveler's assessment of Russia's past and present day conditions. He maintained that False Dmitry I was the real Prince Dmitry, referred to the late 18<sup>th</sup> c. Russia as to a barbaric country and criticized Peter I while associating all possible positive changes with Catherine II. For Cox Peter I was an 'alien', barbaric ruler, whereas Catherine was regarded as a 'near akin' personality in terms of her mindset. Cox's appraisals proved to be 'alien' and even dangerous for the reigning House of Romanov, and contradicted both the views of the Russian historians of the late 18<sup>th</sup> – early 19<sup>th</sup> c. and the conceptions of Soviet scholars.

**Keywords:** *Russia, traveling, sources, travelogues, historiography.*

**O. YU. SOLODYANKINA. *Perceptions of Russians in letters, diaries and memoirs by two British governesses.*** The purpose of the article is to compare Russian impressions of two British governesses who

worked in our country with an interval almost in hundred years (in 1730 and 1820); to find out what opinions about Russia and Russians were steady-stereotypic in perception of foreigners from the same professional strata, and which ones depended on personal qualities (educational background, readiness to recognize new things, inquisitiveness, etc.).

**Keywords:** *Russia, governesses, cross-cultural communications, stereotypes*

V. V. PRILUTSKY. *Nativism in the USA in 1830-1850s*. The article is dedicated to the American Nativism before the Civil War. Nativism is an opposition to immigration and to an internal minority on the grounds of its imputed foreign connections. The term 'nativism' distinguishes between Americans who were born in the U.S., and the 'first generation' immigrants. In Protestant countries it is often closely tied to anti-Catholicism. This theme was popular since the Protestant Reformation, stimulated by American fears of French, Spanish, and papal threats in the New World. Anti-Catholicism peaked from the 1830s through the 1850s, concomitant with the growing debate over slavery.

**Keywords:** *Nativism in the USA in the 1830s - 1850s, Anti-Catholicism, xenophobia, conspiracies, political struggle, American party.*

S. YU. MALYSHEVA. *The 'self', the 'other' and the 'alien' in the sphere of leisure: reflections and self-reflections of Russian town dwellers of the second half of the 19<sup>th</sup> – early 20<sup>th</sup> c.* The author examines the sphere of leisure in the Russian provincial town of the second half of the 19<sup>th</sup> – early 20<sup>th</sup> c. It is scrutinized as a space of intensive communications between townspeople and other city groups, as a space of their debates about the sense and forms of leisure, as a space of design and constructing of identities. These processes are studied on the base of Kazan that was a provincial city in the center of Russia with heterogeneous populations in the social, estate, national and confessional relations.

**Keywords:** *leisure, culture, cultural history, identity, everyday life.*

M. F. NIKOLAEVA. *Dynamics of the image of enemy in the Soviet posters (1917-1941) and the models of identification for a Soviet citizen*. The article represents an approach to the issue of cultural identification of the Soviet citizen in 1920-s – 1930-s through the analysis of cultural stereotypes connected with creating poster enemy images such as 'the capitalist' and 'the intellectual'. The article aims at considering the symbolic space of the Soviet culture defined by the visual opposition of the enemy image and the hero image within a poster picture. The analysis focuses on the contribution of poster art into constructing the mental map of the Soviet space by Soviet citizens.

**Keywords:** *Soviet citizen, poster, identification, stereotype, cognitive map, enemy image.*

A. A. BLAGIN. *The 'self' and the 'other' in British spy novels of 1950s-1960s: ideological confrontation of the Cold war period*. The article presents a study of some propaganda instruments, which were used to form the image of the enemy in Great Britain, in particular the British spy novels of the period of the cold war. The author shows correlation of novels with the history and political context of that time, as well as with the main trends of British policy. The subject of the study is the image of the Soviet Union in the period of the Cold war, as well as a process of image forming in mass media.

**Keywords:** *Great Britain, spy novels, popular sentiment, image of enemy, cold war.*

A. A. SALNIKOVA. *The 'self' and the 'other', adults and children in visual context of the Tatar national textbook "Alifba" (late 1980s-1990s)*. An article is dedicated to the Tatar national primer "Alifba" visual images. The author retraces the process of the transformation of the image of 'others', mechanisms of its presentation, constructing role of the 'otherness' in delegating national identity to the children. Special attention is given to the influence of the general historical, political, social and cultural situation established in Tatarstan at the end of the 1980s – beginning of the 1990s, to the visual text meanings, and to the correlation of the national and post-Soviet discourses in the examined texts.

**Keywords:** *national primer, Tatarstan, national identity, visualization, text interpretation.*

F. V. NIKOLAI. *The debates on the limits of the 'self' and the 'other' in American intellectual history of 1990s*. The article deals with the discussion of several American intellectual historians (M. Jay, D. LaCapra, E. Santer, H. White and S. Felman) on the identity formation based on the opposition between the *Self* and the *Other*. Their conclusion is the acknowledgement of the limits of historical representation or the semitransparent barrier between the *Self* and the *Other*.

**Keywords:** *intellectual history, limits of representation, social identity, dialogue.*



# CONTENTS

---

PREFACE ( <i>M. V. Belov</i> ).....	5
-------------------------------------	---

## ***SPIRIT OF NATION, NATIONAL TEMPER, CHARACTER***

<i>L. P. Repina</i> 'National character' and the 'image of the Other' .....	9
<i>N. I. Devyataikina</i> The idea of nation in the culture of Early Renaissance (the works by Petrarch, 1350-1370).....	20
<i>E. A. Vishlenkova</i> 'Russian nation' – an 'Orthodox nation'? Graphic versions of the 18 <sup>th</sup> – early 19 <sup>th</sup> centuries.....	34
<i>A. B. Sokolov</i> The English character: a German 18 <sup>th</sup> -century travelogue in the context of contemporary cultural anthropology.....	59
<i>E. A. Kulakova</i> British works about travels to Russia in 1820s-1840s.....	79
<i>N. I. Nedashkovskaya</i> 'To write in Russian'. The project of national philological culture: Free Society of the lovers of letters, sciences and arts, 1801–1813.....	94
<i>A. E Afanasyeva</i> Science, literature and Empire: African travelogues by British writers, 1850s-1870s.....	106
<i>M. V. Belov</i> 'Slavonic character': Russian writers of political essays, literary critics and travellers in the first half of the 19 <sup>th</sup> century in search of 'narodnost'.....	124
<i>M. V. Leskinen</i> The concept of 'national character /national temper in the language of the Russian social sciences in the second half of the 19 <sup>th</sup> century.....	148
<i>N. N. Rodigina</i> The representations of literary journeys to Siberia in Russian political journals of the second half of the 19 <sup>th</sup> century .....	170
<i>O. A. Kiriyaash</i> Practice of travelling as a way to shape the images of space for the Russian historians of the second half of the 19 <sup>th</sup> century.....	183
<i>O. B. Leontieva</i> Narod as 'nation' and as 'demos' in historical memory of the Russian society in the 19 <sup>th</sup> – early 20 <sup>th</sup> centuries.....	196
<i>I. V. Kryuchkov</i> Vienna and Budapest: Two Imperial centers in the texts by Russian Travelers...	213
<i>A. V. Korenevsky</i> On the Trans-Siberian Railway, Moscow, Russian 'No!' and the 'quintessence of the Byzantine spirit': A. J. Toynbee's notes about his travel to Russia.....	228

*N. A. Selunskaya*

Italy, people, commune in the totalitarian discourse of medievalism:

Giocchino Volpe and V. I. Rutenburg..... 240

*E. E. Savitsky*

Is nationalism the last threat to democracy? European Studies of nationalism

and their post-colonial criticism in 1980s-1990s..... 256

**THE 'SELF' – THE 'OTHER' – THE 'ALIEN': A FRIEND OR AN ENEMY?**

*A. V. Khazina*

Antinomy 'Self – Other' in historical narratives:

a view of Hellenistic historiography..... 271

*D. A. Dobrovolsky*

Perception of Polovtsians in the 11<sup>th</sup>–13<sup>th</sup> century Russian chronicles..... 286

*S. S. Khodyachich*

'Angli' vs. 'Normanni': problems and paradoxes of Anglo-Norman inter-perception 295

*E. V. Lezhnina*

The image of the 'enemy': the Irish Catholics as viewed by Anglicans

at the late 17<sup>th</sup> – early 18<sup>th</sup> centuries..... 308

*N. V. Sereda*

'Kinsmen' – 'Aliens' – 'the Other'

in the context of W. Cox's notes and their fate in Russia..... 325

*O. Yu. Solodyankina*

Perceptions of Russians in letters, diaries and memoirs by two British Governesses... 334

*V. V. Prilutsky*

Nativism in the USA in 1830-1850s..... 347

*S. Yu. Malysheva*

The 'Self', the 'Other' and the 'Alien' in the sphere of leisure: reflections and self-

reflections of Russian town dwellers of the second half of the 19<sup>th</sup> – early 20<sup>th</sup> c..... 362

*M. F. Nikolaeva*

Dynamics of the image of enemy in the Soviet posters (1917–1941)

and the models of identification for a Soviet citizen..... 372

*A. A. Blagin*

The 'Self' and the 'Other' in British spy novels of 1950s – 1960s:

Ideological confrontation of the Cold war period ..... 387

*A. A. Sal'nikova*

The 'Self' and the 'Other', Adults and children in visual context of the Tatar

national textbook 'Alifba' (late 1980s- 1990s)..... 403

*F. V. Nikolai*

The debates on the limits of the 'Self' and the 'Other' in

American Intellectual History of 1990s ..... 418

SUMMARIES..... 425

# СОДЕРЖАНИЕ

---

ВМЕСТО ПРЕДИСЛОВИЯ (М. В. Белов).....	5
---------------------------------------	---

## **НАРОДНЫЙ ДУХ, ПРАВ, ХАРАКТЕР**

<i>Л. П. Репина</i> «Национальный характер» и «образ Другого».....	9
<i>Н. И. Девятайкина</i> Национальная идея в культуре раннего Ренессанса (по сочинениям Петрарки 1350–1370 годов).....	20
<i>Е. А. Вишленкова</i> «Русский народ» – «православный народ»? Графические версии XVIII – первой четверти XIX века.....	34
<i>А. Б. Соколов</i> Национальный характер англичан в литературе путешествий конца XVIII – первой половины XIX века.....	59
<i>Е. А. Кулакова</i> Сочинения британцев о путешествиях в Россию второй четверти XIX века....	79
<i>Н. И. Недашковская</i> «Писать по-русски»: проект национальной филологической культуры Вольное общество любителей словесности, наук и художеств, 1801-1813.....	94
<i>А. Э. Афанасьева</i> Наука, литература и империя: африканские травелоги британцев 1850-х – 1870-х годов .....	106
<i>М. В. Белов</i> «Славянский характер»: русские публицисты, литературные критики и путешественники первой половины XIX века в поисках «народности».....	124
<i>М. В. Лескинен</i> Концепция «нрава народа» в языке описания российской науки второй половины XIX в.: дефиниции, способы выявления, функции.....	148
<i>Н. Н. Родигина</i> Литературные экспедиции в Сибирь второй половины XIX в.: мотивы, маршруты, репрезентации.....	170
<i>О. А. Кирьяш</i> Путешествия как способ формирования представлений о пространстве русскими историками второй половины XIX века.....	183
<i>О. Б. Леонтьева</i> Народ-нация и народ-демос в зеркале исторической памяти российского общества второй половины XIX – начала XX века.....	196
<i>И. В. Крючков</i> Вена и Будапешт: два имперских центра в текстах русских путешественников..	213
<i>А. В. Корневский</i> О Транссипе, Москве, русском «Нет!» и «квинтэссенции византийского духа» (путевые заметки А.Дж. Тойнби о России).....	228

*Н. А. Селунская*

Италия, народ, коммуна в тоталитарном дискурсе медиевализма:  
Джоаккино Вольпе и В. И. Рутенбург..... 240

*Е. Е. Савицкий*

Национализм – последняя угроза демократии?  
Об обсуждении национализма историками в 1990-е гг..... 256

**«СВОЙ» – «ЧУЖОЙ» – «ДРУГОЙ»: ЕСЛИ НЕ ДРУГ, ТО ВРАГ?**

*А. В. Хазина*

Антиномия «свой-чужой» в историческом нарративе:  
взгляд эллинистической историографии..... 271

*Д. А. Добровольский*

Половцы в восприятии летописцев конца XI — начала XII в..... 286

*С. С. Ходячих*

Проблемы и парадоксы англо-нормандского взаимовосприятия..... 295

*Е. В. Лежнина*

«Образ врага»: ирландские католики глазами англикан  
в конце XVII – начале XVIII века..... 308

*Н. В. Середа*

«Свои» – «чужие» – «другие»  
в контексте записок У. Кокса и их судьбы в России ..... 325

*О. Ю. Солодянкина*

Представления о русских в письмах, дневниках, воспоминаниях  
двух английских гувернанток..... 334

*В. В. Прилуцкий*

Идеи нативизма в США в 1830-1850-е годы..... 347

*С. Ю. Малышева*

«Свое», «чужое» и «чуждое» в сфере досуга: опыты рефлексий и  
саморефлексий горожан второй половины XIX – начала XX в..... 362

*М. Ф. Николаева*

Динамика образа врага в советском плакате 1917-1941 и модели  
идентичности советского человека..... 372

*А. А. Благин*

«Свои и чужие» в английских шпионских романах 1950–60-х гг.:  
к вопросу об идеологической конфронтации в период холодной войны..... 387

*А. А. Сальникова*

«Свои» и «другие», взрослые и дети в визуальном ряде татарского  
национального букваря «Алифба» (конец 1980-х – 1990-е гг.)..... 403

*Ф. В. Nikolai*

Полемика о границах «своего» и «чужого»  
в американской интеллектуальной истории в 1990-е гг..... 418

SUMMARIES..... 425